

Даниил Гранин

3

Даниил
Гранин

3



Даниил Гранин

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ**



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1989

Даниил Гранин

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ТРЕТИЙ**

Повести и рассказы



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1989

ББК 84.Р7

Г 77

Оформление художника
Б. ОСЕНЧАКОВА

Г $\frac{4702010201-066}{028(01)-89}$ подписное

ISBN 5-280-0063-X (Т. 3)
ISBN 5-280-00860-5

© Состав. Издательство «Художественная литература», 1989 г.

Повести и рассказы

КЛАВДИЯ ВИЛОР

I

В апреле 1942 года Клавдия Денисовна все же добилась, чтобы ее взяли в армию. Она работала лектором горкома, и ее направили на курсы усовершенствования политсостава. По окончании курсов присвоили звание политрука. Три кубика в петлицах и красная звездочка на рукаве. Послали в Краснодар, где находилось Винницкое пехотное училище, — преподавателем социально-экономических дисциплин.

Преподавать она любила и умела; хотя в военном училище она оказалась единственной женщиной, но, в конце концов, это была та же школа, и парни были те же мальчики, чуть повзрослевшие.

Военная форма ей шла. Ей нравились строй, четкость движений, щелк каблуков, отрывистые слова команды... Она чувствовала ответственность каждого своего слова и жеста. Она была не просто преподавателем, она была еще и командиром. На первой же лекции она объяснила происхождение необычной своей фамилии. Вилор означало: Владимир Ильич Ленин Организатор Революции. Она не захотела брать неблагозвучную фамилию мужа, а муж не соглашался, чтобы она оставила свою девичью фамилию Бурим. Ему, естественно, хотелось, чтобы они и их дети носили одну фамилию, тогда вот она и придумала эту звучную фамилию — Вилор. Ведь это было в тридцатые годы, когда фамилии, имена детей, все хотелось связать с революцией, с коммунизмом.

В середине июня 1942 года, когда началась подготовка к наступлению немецких войск на Юго-Западном направлении, училище срочно в полном составе было направлено на фронт.

Клава Вилор поехала вместе со своими курсантами, назначенная политруком 5-й роты 2-го батальона. Два

месяца она участвовала в боях, защищая подступы к Сталинграду. Она ходила в разведку, стреляла, бросала гранаты, она рыла окопы вместе со своими курсантами, а теперь бойцами, налаживала связь, она делала все то, что делали солдаты и командиры рот и взводов на всех фронтах, от ленинградских болот до Кавказских гор. С одной лишь особенностью: она была *женщина*. В годы войны мне приходилось встречать женщин-снайперов, пулеметчиц, связисток и, разумеется, санитарок. Известны были летчицы, были даже женщины-танкисты. Но женщина политрук пехотной роты — такое мне не встречалось. Особенное заключалось тут и в самой фронтовой ее жизни, достаточно, конечно, трудной для женщины, и, главное, в том, что произошло впоследствии — в цепи невероятных происшествий, и положений, и мук, и взлетов, и падений, — что опять же проистекало из ее военной должности и звания.

Два месяца боев сделали политрука Клаву Вилор опытным солдатом. За эти шестьдесят с лишним дней вблизи ее головы просвистели тысячи пуль и осколков. Все пространство вокруг нее было сплошь продырявлено свинцом и железом. А сколько раз она сама нажимала спусковой крючок, выдергивала гранатное кольцо, падала ниц, ползла, заряжала.

— ...Утром пошли танки, накрыли нас самолеты, я кричала всем: «Не бойтесь! Кидайте гранаты!»... Тут нас поддержали «катюши». Танки стали отходить, дух у ребят поднялся. Я закричала: «Вперед!» За мной побежали... На разборе боя полковник похвалил мои действия.

Слушая Клавдию Денисовну, я и так и этак пытался представить себе, что вместо нашего комиссара полка Капралова, вместо Медведева, или Саши Ермолаева, или Саши Михайлова была бы у нас комиссаром женщина. Стоило вообразить, и сразу же возникала недоверчивая усмешка. Никак я не мог поставить на место огромного, могучего Саши Ермолаева, с которым мы, лежа на огороде между грядками моркови, обстреливали немецких мотоциклистов, — женщину. Или на место Медведева, который поднимал нас мертво спящих и впихивал в танк, уже заведенный им, разогретый, и потом ехал на башне и все шутил и трепался, свесясь к нам, в открытый люк, пока мы двигались на исходную.

Ну а все же, если бы на его месте была женщина... В конце концов, мастерство литератора, даже талант литератора в том и состоит, чтобы представить себе: «а что, если бы...», видеть то, чего не видел, что кажется невероятным. Я заставлял себя, пересиливал... и не мог, поэтому и захотелось мне узнать как можно больше об этой необычной судьбе.

— ...Когда ранили командира роты, мне приказали отвести роту, восемьдесят человек, к совхозу «Приволжский».

Она и сейчас — ничего, настолько живая, энергичная, что возраста ее не замечаешь, она из тех женщин, которые не становятся старухами, сколько бы лет им ни было. Пожилая — да, но не старуха, и тем более не старушка. А тогда, судя по немногим сохранившимся фотографиям, она была женщиной интересной, в полном расцвете, — было ей в 1942 году тридцать пять лет. Коротко стриженная, завитая по тогдашней моде, лицо круглое, правильное, глаза яркие, большие, губы пухлые, но с волевой прямизной, и в ее сощуре глаз — то сильное, чисто женское, связанное с властью семейной, сложной, требующей чутья и понимания сиюминутного смысла событий. Особенно хороша была у нее фигура. И даже плохо подогнанная военная форма не портила ее фигуры, вернее, не могла скрыть ее красоты.

— ...Как-то прислали нам штрафников. Я вышла к ним. «Ты кто?» — спрашивают. «Я политрук». Они завывали, засвистели: «Э-э-э, баба — комиссар!» А я стою, смотрю на них. Усталые они с марша, запыленные, злые. Но мужики — они и есть мужики, и разговаривать с ними надо исключительно как с мужиками. «Вы голодны?» — спрашиваю. И сразу все изменилось. Накормила их, раздобыла им курева...

В женском материнском естестве состояло великое ее преимущество и даже превосходство.

С начала августа полк подвергался непрерывной бомбежке. Завывая, на окопы пикировали самолеты, бомбя и обстреливая. Огненная колесница катилась вдоль фронта с рассвета дотемна. От грохочущего, стреляющего неба некуда было укрыться.

Курсанты держались, усмехались криво искусанными в кровь губами. Под взглядом этой женщины они из всех сил изображали бравых гусар. Чисто мужская гордость поддерживала малодушных. Само присутствие ее заставляло тянуться. Нельзя было ныть, когда она ря-

дом копала траншеи, и становилось совсем стыдно, когда она, баба, поднимала их в атаку. Все же, что бы там ни было, война — дело мужское, и солдат — это мужчина. Она словно бы возбуждала тот самый воинский дух, о котором сама им рассказывала, вычитав из старинной русской книги и запомнив эти прекрасные слова: «Истинному воину присуще мужество и храбрость до забвения опасности, воинственность, благородство, сознание своего долга перед отечеством, вера в свои силы, и в начальников, и в свою военную среду».

Но тут нельзя было пережать.

Приходилось все время искать точную меру, чтобы щадить мужское самолюбие.

* * *

«21 августа после мощной авиационной и артиллерийской подготовки противник вынудил правофланговые части 15-й гвардейской стрелковой дивизии отойти от совхоза „Приволжский“», — говорится в истории Сталинградской битвы. 15-я дивизия была соседом курсантского полка. Из-за ее отхода к вечеру немецкие танки появились на стыке с 64-й армией, и курсанты оказались в окружении.

Полк не дрогнул. Прошло то время, когда слово «окружение» у иных вызывало панику. Курсанты продолжали вести бои, держа круговую оборону. Через два дня кончились патроны. Вечером кухня не подошла. Еды не было. Со штабом армии связь прервалась. Немецкие танки прорвались в расположение пятой роты, отсекая ее от полка. Замолчал последний пулемет. Клава бросилась туда, к командиру взвода: «Баранов, почему не стреляешь?» — «Заело!» — крикнул он. Клава рванулась было к пулемету и упала, раненная в правую ногу. Немецкие танки утюжили окопы. Танки были не так страшны, как автоматчики, что двигались за ними. От танка в глубоком окопе можно схорониться. Танкисты в самой близи ничего не видят, они «дальнозорки». А вот автоматчики, строча перед собою, уже прыгали в окопы. Клава, лежа на боку, начала отстреливаться, но тут ей прошло очередью левую ногу.

Все последующие действия и события запомнились в растянуто-тягучих подробностях. Она отстегнула карман гимнастерки, вынула ротные списки коммунистов,

комсомольцев, свой партбилет, попросила Баранова зарыть эти документы. Автоматчики приближались. За изломом окопа мелькали их каски. Одиночные выстрелы и очередь, выстрелы и очередь. Немецкая речь. Все громче. Автоматчики бежали и поверху, по брустверу окопов.

Клава попросила Баранова застрелить ее. Она боялась. Фашистский плен — ничего страшнее она не представляла.

— Не говори глупостей, — сказал Баранов. — Я этого не могу сделать. — Он не сумел увернуться от ее глаз и закричал: — Я этого не сделаю. Слышишь? Не сделаю! Может, отобьемся!

Он стал срывать пришитую к рукаву ее гимнастерки красную звездочку — знак политсостава.

— Выдашь себя в крайнем случае за медсестру.

Рядом оказался еще и помкомвзвода, они стреляли, стреляли, не желая оставить ее.

...Из-за поворота траншеи выскочили немецкие автоматчики, сшиблись вплотную, навалились...

* * *

Солдатская наша жизнь была пронизана затаенным, самым мучительным страхом из всех страхов и ужасов войны — страхом попасть в плен к фашистам. Ни ранения, ни даже смерти так не боялись, как плена. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» Лозунг испанских революционеров вошел в быт нашей войны жестокой заповедью: «Лучше смерть, чем плен». Смерть действительно была легче. Но знали мы и то, что война могла подстроить такие ловушки, при которых самых отважных настигала эта беда. Мы знали об этой опасности, это была самая страшная угроза, и бесчестье, и позор...

До сих пор Клавдия Денисовна, рассказывая про этот момент своей жизни, оправдывается, все пытается защититься от всевозможных подозрений. Я знаю, откуда это, редко какой солдат первых лет войны не поймет ее. Мысленно я примериваю эту судьбу.

С первого месяца войны на всю жизнь запомнился мне седой интендант, который сел в лесу на пенек, не в силах дальше уходить в лес от наседавшего на нас немца, отказался от нашей помощи, вынул пистолет и, как только мы отошли, застрелился. Он сделал это спокой-

но, с достоинством и честью офицера. В годы войны я часто вызывал в памяти образ этого старого интенданта — чтобы найти силы в себе вот так же, до конца, остаться офицером. Во время боя, на миру и смерть красна, в те минуты особых проблем не возникает, куда хуже, когда вдруг окажешься один, как это случилось со мною под деревней Самокражей, когда меня послали с пакетом в штаб дивизии, а вернувшись, я увидел у входа в нашу землянку немецких автоматчиков. Или в Восточной Пруссии, когда мы, проскочив мост, оторвались от своих, и тотчас мост позади взлетел в воздух и наш танк остался один на вражеском берегу перед немецким городом Шталюпеном.

...Тот бой у совхоза «Приволжский» закончился разгромом, стали слышны стоны раненых, и далеко — стрельба наших пулеметчиков. Полк, там, справа, еще вел бой, а здесь, вокруг, стояли гитлеровцы, наставив автоматы.

Баранов и Борисов, оглушенные, раненые, с трудом вытащили Клаву из окопа, кое-как перебинтовали.

— В случае чего мы тебя на руках понесем, — шептал ей Баранов. — Ты только не отчаивайся, убежим.

Клава была в гимнастерке и брюках. Юбку на штаны она сменила, уберегая своих ребят от насмешек соседнего батальона над «юбочным командиром».

Немцы ее потащили, потом заставили идти, пиная прикладами.

По дороге, любопытствуя, гитлеровские солдаты подходили, тыкали ей в грудь, проверяя, женщина ли, удивлялись.

Вскоре узнали (очевидно, кто-то из курсантов проговорился, а может, нашелся предатель), что она политрук, и это вызвало еще большее любопытство. Впрочем, слово «политрук» сразу заменили на привычное — «комиссар»... «Женщина-комиссар» — это было нечто новое; потом в лагере ее показывали как диковинку.

А вдали все продолжалась стрельба и бомбежка, и отчаянная надежда на чудо еще теплилась — полк перейдет в наступление и отобьет их. Так ведь бывало во многих фильмах и романах — в самую последнюю минуту нагрянут наши. Полк продолжал бой. Она это слышала. Ее волочили все дальше от переднего края, раненная в обе ноги, она не могла даже вырваться, побежать, так чтобы подставить себя под пули.

Пройдет много лет, прежде чем она узнает, что остатки курсантского полка Винницкого пехотного училища действительно героически держались до поздней ночи и в темноте, прорвав вражеское кольцо, двинулись сквозь немецкие боевые порядки. Три колоннами они продвигались; спереди, развернутым строем — рота автоматчиков, уничтожая на пути встречающиеся патрули, линии связи, и так шли всю ночь, пока не соединились с нашими частями. Они прошли двенадцать километров, сохранив свое оружие, артиллерию.

Прочтет это она в книгах лишь в шестидесятом году — про славный исход последнего своего боя.

— ...Всю ночь наши самолеты нещадно бомбили гитлеровцев, а я мечтала об одном, чтобы упала бомба и убила меня, только не оставаться в ужасном плену, у немцев.

В общении с Клавдией Денисовной надо было преодолеть ее боязнь недоверия. Чувство это у нее воспаленное. Она все время предъявляла доказательства — письма, вырезки, справки...

II

А что же меня заставляло собирать и восстанавливать шаг за шагом эту ее долгую историю? Война накопила много подобных историй, героических, открывающих новые, невиданные пределы человеческого духа. Еще одна? Ну что ж, еще одна. Но есть в ней, в этой истории Клавы Вилор, своя отдельность, хотя у каждой военной судьбы есть свое, непохожее. Так вот, прежде всего нельзя было пройти мимо этой истории. Наше писательское дело — собирать их, и как можно тщательнее, факт за фактом, свидетельство за свидетельством, там видно будет, что из них пригодится.

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

В этих стихах Тютчева, которые, наверно, ныне можно понимать разное, слово «сочувствие» открыло мне смысл моего влечения к истории Клавы Вилор. Именно сочувствие подтолкнуло меня, Тютчев прав, все соображения ума можно опровергнуть, на доводы найти дру-

гие доводы, а вот сочувствие дается помимо логики, соображений пользы; сочувствие приходит в душу теми тайными путями, какими достигают и действуют на нас музыка, краски, стихи. История, пережитая Клавдией Вилор, вызывала прежде всего сочувствие, открыла возможности человеческой души, о которых я не подозревал и которые поэтому хочется приобщить к портрету воина Великой Отечественной войны.

...Военнопленных свозили к озеру Цаца. Клава вышла из машины, опираясь на кого-то из ребят. Раненые ноги ее были обмотаны тряпками, коричневыми от крови. Тошнотная слабость охватила ее, голова кружилась, пот холодными каплями стекал по телу. Ей бросили шинель, она повалилась на нее. Курсанты, ее курсанты, окружили ее. Мальчики — растерянные, испуганные — смотрели на нее с ожиданием.

Она лежала перед ними, все силы собрав, чтобы не разрыдаться. Это из-за них она не могла ни плакать, ни кричать от страха, от боли, от стыда. Она должна была показать им пример той стойкости, которой она учила их. Всего три месяца назад они сидели перед ней в аудитории за партами, и она читала им лекции про гражданскую войну, про коммунистов на войне, про Чапаева и Фурманова, про Фрунзе, про Ленина на Десятом съезде. Про Гастелло и Зою и про героизм русского народа в Отечественной войне двенадцатого года. Она убежденно повторяла это, переходя из аудитории в аудиторию, соответственно программе и расписанию. Про комиссаров, которые формировали и воодушевляли отвагой молодую Красную Армию, а также насаждали дух дисциплины... Канцелярские обороты, из которых она старалась вырваться, обесцвеченные слова, которые она изгоняла, сейчас вдруг свежо и грозно вспыхнули в ее обмирающем сознании. Слова эти обернулись на нее, слова, когда-то ею произнесенные, они обступили ее в виде этих юнцов обескровленно-бледных, с глазами, где загоралась и гасла остаточная надежда.

Втайне Клава завидовала тем командирам, что преподавали матчасть, тактику. Там была вещественность. В кабинетах у них стояла всякая техника, ящики с зелеными холмами и голубыми озерами из стекла, висели карты, таблицы. А у нее были только слова. Теперь она должна была оправдать все произнесенные ею когда-то слова, высокие слова, которые она спрашивала с этих мальчиков...

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...

Подошел гестаовец с переводчиком и фотографом. Клава поднялась. Фотограф наставил объектив... Если бы ее повели на расстрел, она знала бы, как себя вести. Она решила ничего не бояться и показать пример своим. Она подготовилась ко всему, но не к фотоаппарату. Она закрыла лицо руками, испугалась, что снимут, напечатают фотографию в фашистских газетах и ее имя будет навеки опозорено.

Офицер ударил ее плеткой, ей скрутили руки и все же сфотографировали. Спустя какое-то время стали выкрикивать: «Политрук пятой роты Вилор Клавдия Денисовна!» Ее подняли, тыча в спину пистолетом, повели к обрыву, поставили лицом к озеру Цаца — начали так называемый публичный допрос. Спрашивали громко, чтобы пленные, стоящие кругом, слышали. Кто здесь коммунисты, кто комиссары, кто евреи? Кто какие должности занимал? Почему она, женщина, пошла в армию, разве у большевиков не хватает мужчин? Какие лекции она читала курсантам, чему учила?

Отвечала она без вызова, без крика, с подчеркнутой вежливостью, наконец-то она могла подать ребятам пример, чем-то оправдаться. Перед всеми. Хотя бы своим спокойствием. Хорошо, что у нее есть слушатели.

— Где находится двадцать пятая Дальневосточная танковая армия, которая прибыла под Сталинград?

— Первый раз слышу про такую армию.

— Покажите комиссаров.

— Я недавно в училище и мало кого знаю.

Снизу от озера тянуло прохладой, виднелись заволжские дали, дрожащие в мареве августовской жары. Плясала мошка, пахло полынью — все было, как в детские летние дни под Ставрополем, где жили они огромной своей семьей. Откуда ж тут немецкая речь? Звуки эти были невероятны, явь превращалась в сон.

— Какие лекции ты читала своим бойцам?

Вот это она могла рассказать — о патриотизме, о любви к Отечеству, о верности воинскому долгу...

Ее ударили в лицо. И прекрасно. Это была первая победа. Пусть все видят. Здоровые немецкие офицеры бьют пленную, бьют женщину, израненную, еле стоящую на простреленных ногах. Она обтерла кровь,

спросила, продолжать ли. Тоска перед близкой смертью словно бы расступилась, осталась внизу, и Клава всплыла, чувство было даже сильнее, будто бы она воспарила в последнем усилии — она, женщина, принимала муки на глазах своих однополчан и не согнулась, не испугалась, хоть этим-то искупая позор плена. Она утешала себя, что пример ее чем-то поможет курсантам, приободрит их...

Ее били. Потом заставили идти к машине. Каждый шаг вызывал обморочную боль. Она вскрикивала, стонала, и вместо слез крупные капли пота катились по лицу. Трое немцев подняли ее в кузов.

— Прощайте, товарищи! — крикнула она, уверенная, что это последний ее путь. Но путь ее только начинался.

Дальше Клавдия Денисовна рассказывать не может. То есть вот так подряд, связно — не может. Глаза ее наполняются слезами, губы дрожат, ужас нарастает в глазах. До сих пор она не в состоянии отстраниться от того, что с ней было. Тридцать лет не отдалили, а словно бы приблизили прошедшее. Первые годы после войны она как-то лучше владела собой.

Приходится пользоваться записями и документами тех лет. Кроме того, я слушаю рассказы ее дочери, мужа, друзей, наконец, однополчан, и из всего этого что-то складывается.

* * *

Машина въехала в большой двор, там было устроено немецкое кладбище. Солдаты вытащили ее, дали лопату, заставили копать могилу. Клава отказалась. Она легла на землю, потребовала расстрела. Ей хотелось одного — чтобы скорее все кончилось. Переводчика не было, она показала на пальцах — стреляйте. Над ней посмеялись: это кладбище для немцев, а не для русских политруков. Расстреливать на немецком кладбище — это неприлично, это не принято.

Опять появился фотограф, стал совать ей в рот сигарету, чтобы заснять русскую бабу, «комиссара-проститутку», как объяснил он офицеру.

Она выплевывала, отворачивалась. Сперва ее упрасивали, потом били, но по сравнению с болью в ногах это были пустяки. Она хотела расстрела и покоя. Пуля

принималась как прекращение боли и тоскливого этого сна. Расстрел становился целью оставшейся жизни.

Снова везли.

Вдоль дороги лежали трупы красноармейцев. Она всматривалась в искаженные смертью лица, в невероятные повороты голов, скрюченные руки — ее ждало то же самое, скоро и она станет мертвой, не узнаваемой ни для кого, останется без охраны, без собак, без этого назойливого, пакостного любопытства. Поскольку расстрел был неотвратим, то лучше умереть скорее.

Некоторые раненые ползли сюда, к шоссе, и гитлеровцы пристреливали их с проходящих машин. Колонны машин тянулись к Сталинграду. Озеро Цаца, Плодовитое, Абганерово — спустя годы она будет читать в книгах, в мемуарах об этих исторических пунктах великой Сталинградской битвы. Через них пойдут стрелы, начерченные в картах гитлеровской Ставки, а спустя несколько месяцев, в октябре — другие, красные стрелы пронижут их на карте Ставки Верховного Главнокомандования в Москве, изогнутся огромной петлей нашего окружения.

Вот тогда-то окажется, что бои, которые ей пришлось пережить, шли на самом главном направлении. Солдат никогда не знает, какой бой ему выпадет на долю — решающий или же вспомогательный, местного значения или стратегического, входящего в замысел высшего командования, не знает об этом и его командир, в том-то и секрет войны, что любой бой может оказаться историческим, тем самым Бородином или Сталинградом, который приведет к перелому войны.

Откуда ей, политруку Клавдии Вилор, было знать, что Сталинград окажется тем самым Сталинградом?

Откуда ей было знать, что на Сталинграде столкнулось все накопленное взаимное упорство войны, ярость войны? Она понятия не имела, какие усилия предпринимала Ставка, отправляя сюда, к Волге, части, которые еще формировались, бросая последние резервы, лишь бы помешать немецко-фашистским войскам выйти к Волге.

Высшие стратегические соображения воплотились для солдат и для Клавды Вилор в одну фразу приказа № 227: «Ни шагу назад!»

Под вечер ее привезли в штаб какой-то части, в село Плодовитое. Гестаповец сносно говорил по-русски. Военные сведения его не интересовали. Его занимало дру-

гое — почему она, женщина, оказалась в армии на такой должности? Во время допроса связной принес пакет. Гестаповец вскрыл, прочитал:

— Ах, значит, ты и есть Вилор? Ви-лор, В-и-л-о-р...

С улыбочкой он расшифровал букву за буквой. В бумаге все было сказано, да Клава и сама не скрывала. Ого, какая она революционерка. Стопроцентная, вплоть до фамилии. Ну что ж, подходящий экземпляр для эксперимента. Берется чистая, без всяких вредных примесей, без страха и сомнений, коммунистка, и проверяются на ней разные приемы воздействия.

Она предпочитала немедленный расстрел, он успокоил ее: капут будет, пусть не беспокоится, только не сразу.

Воздушным налетом прервало допрос. Немцы побежали в укрытия. Клаву увели к церкви, наполненной сотнями военнопленных. Внутри не ввели, оставили на паперти рядом с часовыми. Вокруг сновали женщины. Пользуясь тревогой, они пробовали передать пленным узелки с картошкой, хлебом, салом. Охрана отгоняла их, Клава, улучив момент, попросила принести ей какое-нибудь платье. На ней висели остатки разодранных штанов, под ними — мужские кальсоны, икры завернуты обмотками, которые служили бинтами. Она хотела перед смертью переодеться во что-то пристойное, обрядиться. Была тут и чисто женская потребность... Вскоре одна из женщин вернулась с платьем — обычным ситцевым, которое показалось Клаве лучше всех нарядов, что когда-нибудь ей шили. Больные ноги подвели ее — нагнулась, вскрикнула от боли, и часовой заметил сверток, вырвал и тут же изорвал платье.

Гитлеровцы понимали, что, будь на ней обычное женское платье, ей стало бы легче, а ей не должно быть легче.

На всякий случай они обыскали ее. Велели раздеться, срывали с нее гимнастерку, все ее лохмотья... В сапогах нашли часы. Ее, дамские, и часы заместителя командира роты Татаринцева, погибшего в прошлом бою. Она собиралась отослать их его семье и не успела. Письмо написать тоже не успела. Пока немецкие солдаты делили найденные часы, какая-то женщина бросила ей кофточку. Клава ее надела, зеленую, трикотажную, великоватую в плечах, до сих пор она помнит спасительную эту кофту.

Гестаповец позвал из церкви военнопленных, стал спрашивать: «Расскажите, чему она вас учила? Что она читала вам из газет?» Она стояла перед ними раздетая, беспомощная и, казалось, униженная. Ей думалось, что и курсанты смотрели на нее отчужденно. Гестаповец бил ее и спрашивал: «Это она требовала, чтобы вы умирали за власть комиссаров?.. Чем она еще заморочила вам головы?»

Ночью всех военнопленных загнали в церковь. Народу набилось столько, что сесть никто не мог, все стояли, прижатые, плечом к плечу. Когда Клаву втолкнули туда, она застонала. Малейшее прикосновение к избитому телу вызывало страшную боль. Курсанты, ее курсанты, совершили невозможное, они раздвинулись, отжали толпу так, чтобы Клава могла лечь. Узнав, в чем дело, мужчины теснились, ей постелили шинели, и она легла. Вокруг нее стояли всю ночь сотни людей. В голубой росписи купола на пухлом облаке плыл Саваоф, бессильный и в своей ярости, и в своей любви.

Ей дали лечь — единственное, что ее курсанты могли для нее сделать. Долго, бесконечно долго длилась эта ночь... «Ничего, не беспокойся, — сказал Клаве какой-то пожилой контуженный артиллерист — это хорошо, когда есть о ком заботиться, это очень нам сейчас нужно».

Утром они расстались. Пленных погнали дальше, а Клаву повезли в штаб возле Котельникова, опять били, опять спрашивали, сколько убила немцев, в чем состояла ее политработа...

III

Многое из того, что происходило в войну, кажется ныне непостижимым. Кажется, что вынести это невозможно. Совершить это человеческому духу и организму невероятно — невероятно даже с точки зрения чисто физиологических ресурсов, с точки зрения медицинских законов. Многое невероятно так же, как, например, невероятным кажется то, что происходило в ленинградскую блокаду с людьми, которые жили, работали, существовали, хотя они «должны были» давно умереть. Судеб таких достаточно много для того, чтобы чудо человеческого духа предстало перед нами именно чудом, непонятным, невозможным, необъяснимым.

Все-таки, несомненно, помимо каких-то физических законов, связанных с энергией человека, с условиями превращения этой энергии в движение, в речь, в зрение, во все человеческие чувства,— помимо этих законов существует еще не понятый ни медициной, ни физикой, ни даже самим человеком закон силы духа человеческого. Откуда черпаются эти силы — из веры, из идеи, из любви к Родине, как это все происходит,— не знает в точности ни психология, ни этика, ни искусство. История сохраняет примеры таких подвигов духа, легендарные, как Жанна д'Арк, и нынешние, как Зоя Космодемьянская.

Когда конвоир передавал Клаву поездной охране, не было произнесено ни слова «политрук», ни слова «комиссар». Клава заметила это, решила воспользоваться и сказала на платформе громко, чтобы слышно было: «Я — медсестра». Выглядело правдоподобно. И относились к ней по дороге несравнимо с тем, как если бы знали, что она политрук. Ее не истязали, на остановке даже накормили бурдой. То же продолжалось и в концлагере, куда ее привезли. Может быть, документы запаздывали, во всяком случае немецкий порядок давал сбой. Версия о медсестре пока действовала.

Так она получила передышку. Главной же радостью было то, что в Ремонтновском лагере она встретила своих комвзводов Баранова, Борисова и командира батальона Носенко. Они уговаривались бежать. Лагерь был пересыльный, и они боялись, что их повезут еще дальше в немецкий тыл, а оттуда бежать к фронту будет труднее. Надо было постараться бежать сейчас, пока слышна канонада. Они хотели взять Клаву. С часу на час должно было выясниться, что она вовсе не медсестра — у немцев были заведены документы на нее,— и как только это выяснится, ясно, что ее забьют, она не вынесет. Во всяком случае, сил для побега у нее не хватит.

Многие тогда задумывали побег. Однако охрану в лагере усилили. Побег сорвался. Тогда Носенко решил выдавать Клаву за свою жену. Хоть как-то это могло — надеялись — защитить ее от избиений. Носенко был капитан и знаков отличия не снимал: наоборот, подчеркивал свое офицерское звание и требовал к себе соответственного отношения. Поначалу это действовало: его не били, на время оставили в покое.

Пошла третья неделя плена. Их почти не кормили. Носенко одной рукой опирался на палку, другой под-

держивал Клаву. При малейшей возможности он старался выстирать свой подворотничок, почистить сапоги. Он выделялся своим аккуратным видом.

Куда-то опять везли на машинах. Гнали пешком сквозь жару. Менялись лагеря. И всюду кричали, раздавались слова команды, лай собак, удары... Снова машины, снова дороги. Опять какие-то сараи, пыль, жара. Сознание путалось... Клава помнила тоску страдающего тела, руку Носенко и нарастающее свое желание скорее оборвать все это, умереть. Она понимала, что вряд ли ей удастся отсюда выбраться, она только тяготит своих друзей — и Носенко, и Баранов, они из-за нее гибнут.

И вот — снова Котельниково, снова допрашивали. А потом уже не задавали вопросов, только били. Все немцы для нее разделились: на тех, кто бьет и кто не бьет; и те, которые били, тоже делились по тому, как больно били. Среди этого кошмара запомнился улыбчивый, кудрявый штабной офицер, который бил каждый раз в живот, только в живот. Он отбил почки, вскоре после этого она стала страдать недержанием мочи.

Приказ 6-й гитлеровской армии о наступлении на Сталинград начинался так:

«1. Русские войска будут упорно оборонять район Сталинграда. Они заняли высоты на восточном берегу Дона, западнее Сталинграда, и на большую глубину оборудовали там позиции... Возможно, в результате сокрушительных ударов последних недель у русских уже не хватит сил для оказания решительного сопротивления...»

В соответствии с этими планами 14-й танковый корпус немцев 23 августа, после ожесточенного боя, сумел прорваться к Волге и отрезать нашу 62-ю армию, а наутро следующего дня немецкие танки начали наступление на Тракторный завод. Они должны были взять его с ходу, но не смогли.

В тот день, когда Клаву отвели на вокзал и посадили на открытую платформу с другими военнопленными, — в этот самый день 14-й танковый корпус немцев был отрезан от своих тылов. Войска Сталинградского фронта атаковали его с фланга. Наступали критические дни Сталинграда. Ставка вызвала Жукова с Западного фронта и послала его в Сталинград. Дивизии, танки, машины, все, что было возможно, посылали под Сталинград.

Кажется, это было в Цимлянском лагере. Она плюхнулась на землю у самых ворот. Дальше не могла идти. Она лежала лицом вниз. Перед ней остановились немецкие офицерские сапоги. Плохо выговаривая по-русски, спросили:

— Кто такая?

— Медсестра.

Немец удивился. Может быть, в руках у него были какие-то списки? Клава не знала. Она не могла даже поднять головы, повернуться. Она не хотела повернуться и посмотреть. «Медсестра? Откуда медсестра?» — озадаченно бормотал он. Отошел. А через несколько минут по лагерю загремел голос: «Комиссар Вилор! Комиссар Вилор! На допрос в штаб!»

Клава лежала. К ней подошли и, пиная ногами, подняли. Привели в штаб. Увидев стул, она, не ожидая разрешения, повалилась на него.

— Встать! — закричал офицер и стал бить ее палкой. На конце палки был гвоздь. Она этого не видела, а чувствовала этот гвоздь. Ей надо было подняться. Она не сумела. Она кричала, что-то выкрикивала и никак не могла заплакать. Слезы исчезли. Слезы, которые всегда помогали ей, как помогают каждой женщине, — не появлялись. Она не могла плакать. Было слишком больно, слишком тяжело, все было за пределами слез.

Это происходило 29 августа 1942 года.

«В это время я поддерживал весьма тесный и приятный контакт с этими американскими офицерами (Эйзенхауэр и Кларк). С момента их прибытия в июне я — обычно по вторникам — устраивал завтраки на Даунинг-стрит в 10 утра. Эти встречи, казалось, были удачны. Я почти всегда был один с ними, и мы подробно обсудили все дела, как будто бы мы были представителями одной страны. Я придавал большое значение таким личным контактам. Моим американским гостям, и особенно генералу Эйзенхауэру, очень нравилась тушенная баранина с луком и картофелем. Моей жене всегда удавалось обеспечить, чтобы это блюдо было приготовлено.

Мы также провели ряд неофициальных совещаний в нашей нижней столовой. Начинались они в 10 утра и продолжались до поздней ночи, и каждый раз мы говорили только о деле. Но в этот момент из Вашингтона пришло неожиданное известие, которое произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Между английскими

и американскими начальниками штабов возникли значительные разногласия относительно характера и размаха нашего вторжения в Северную Африку и оккупации этого района. Американским начальникам штабов не нравилась сама идея участия в широкой операции за Гибралтарским проливом. Они, видимо, считали, что в какой-то момент их армии будут отрезаны в районе этого внутреннего моря. Генерал Эйзенхауэр, с другой стороны, полностью разделял английскую точку зрения, что энергичные действия в районе Средиземного моря, и прежде всего в Алжире, крайне необходимы для успеха дела. Его точка зрения в той мере, в какой он настаивал на ней, видимо, не оказала влияния на его военное начальство».

(Уинстон Черчилль. Вторая мировая война.
Т. 4. С. 517.)

— Ты почему врешь, что ты медсестра? — кричал штабист. — Ты комиссар, ты проститутка. Ты многих немцев уничтожила. Сами твои курсанты признались.

Немец был высокий, чистый, Клава смотрела на него и представляла, как он мылся сегодня утром, с мылом... Много чистой холодной воды и мыла.

— Да, я стреляла, — сказала она, медленно шевеля пересохшими губами. — На то война. Вы тоже стреляете и много наших уничтожили.

Офицер спросил ее: кто этот капитан, который вел ее? Клава сказала, что он ее муж. Это вызвало веселье: «Семья!» Такого еще не было, не попадалось: жена — комиссар, муж — командир. «Значит, что же? Муж и жена командовали вместе?!» Привели Носенко. Он подтвердил, что Клава — его жена. Тут началось зубо-скальство и всякие сальные шуточки. Носенко слушал внимательно. Он не возражал, не возмущался. А потом вытащил, аккуратно расправил немецкую листовку и прочел выпендренные заявления о гуманности немецкого командования к русским военнопленным.

— Почему же вы так обращаетесь с нами? — сказал он. — Вы ведь нарушаете свои заверения.

На это ему было сказано, что листовка рассчитана на тех, кто добровольно переходит к немцам.

— Извините, — вежливо сказал Носенко. — Здесь сказано точно — не «перебежчики», а «военнопленные», то есть попавшие в плен. Согласно условиям, вами же сформулированным, вы не имеете права допра-

шивать военнопленных русских офицеров и тем более избивать женщину, независимо от того — медсестра она или из политсостава. И в том, и в другом случае она относится к военнопленным. Я требую к себе и к моей жене гуманного отношения.

Его четкая педантичная речь почему-то произвела впечатление. Наивность его была непритворна. Он требовал с убежденностью человека, который доверяет печатному слову.

Им выделили угол в бараке и оставили там до утра. Носенко уложил Клаву. Они впервые могли спокойно, не торопясь, обговорить свое положение. Впрочем, что они могли придумать или изобрести? О побеге нечего было и мечтать — уж слишком они были истощены и обессилены. Немцы угрожали отправить их в Германию, демонстрировать там уникальную пару: муж — командир, жена — комиссар! Скорее всего, так или иначе выяснится, что никакие они не муж и жена, и получится только хуже.

Носенко пришел к выводу, что Клаве нет смысла снова выдавать себя за медсестру. После этого ее только больше избивают. Наоборот, следует вести себя дерзко, ошеломлять их. Может быть, так и надо было. Но у Клавы на это уже не было сил. Однажды она решилась на такое поведение и не выдержала, отступила. Не хватило духу. Ей бы выиграть хоть два-три дня, немного отойти, передохнуть. Поэтому она так ухватилась за версию медсестры и не могла отказаться от нее.

Носенко продолжал ее убеждать. И вдруг она согласилась, с тайной надеждой, что комиссарское звание скорее приведет к расстрелу. Боль была главным врагом. Боль высасывала всю волю, мысли, лишала возможности понять, что происходит, путала сознание...

Женщина-комиссар была той диковинкой, как бы деликатесом, которым гестаповцы угощали разных начальников. То и дело Клаву вызывали на допрос, а точнее, не на допрос, а на показ. И вопросы были с шуточками, пакостные, у всех одни и те же, и те же улыбки, ухмылки.

Повезли в город Шахты. Опять — концлагерь. (Сколько их было, концлагерей!) Как только Клава вылезла из машины — а это тоже было мучительно, потому что прыгать на израненные ноги было невозможно, —

как только она ступила на землю, в лагере уже кричали: «Комиссар Вилор! Комиссар Вилор!»

— Я комиссар Вилор! — отозвалась Клава и шагнула, опираясь на руку Носенко.

Подбежали немецкие солдаты, оттолкнули прикладами Носенко и повели Клаву в штаб.

Все повторялось — угрозы, ругательства. И в этом повторении, монотонном, не действующем на чувства, ее уже ничто не могло ни обидеть, ни оскорбить. К ней мало что доходило. Они были все одинаковы. Ругались без выдумки, грозили одним и тем же — «расстреляем!», «повесим!», «будем водить по Германии на веревке!». В этом повторе было даже нечто успокаивающее. Успокаивало, что они не могли придумать больше ничего пугающего. Они исчерпали все ужасы с самого начала, и от повторения угрозы становились все менее страшными.

В чем-то следуя Носенко, Клава, ссылаясь на международное право, потребовала поместить ее в отдельную комнату, как женщину, имеющую ранения. На все выкрики она отвечала твердо и строго: «Вы не имеете права держать меня вместе с военнопленными-мужчинами». Она повторяла эту фразу, почти не слыша себя, чувствуя только, как шевелится тяжелый, царапающий язык. Да, может быть, и саму фразу ей подсказал Носенко.

Она вообще не участвовала в том, что происходило. Действовала какая-то женщина, которая была снаружи, которая двигалась, говорила, стонала, а сама-то Клава внутри скорчилась в комок и застыла, занемев, лишь бы ее не обнаружили внутри этой измученной, воющей оболочки.

Что за такое международное право, есть ли оно на самом деле — она и сама толком не знала. Но, может, и эти гитлеровские унтеры этого не знали. Во всяком случае, они, поговорив между собой, отвели ее в маленькую комнату, где на цементном полу уже сидели две женщины. У Клавы была с собой плащ-палатка, отданная ей Носенко. Она расстелила ее, и все три женщины легли.

Утром опять был допрос. Опять были крики коменданта, крики переводчика. Заходили любопытные офицеры. У стен стояли двое из училища — командир взво-

да Морозов и командир роты Федосов. Их перед этим допрашивали о Клавдии Вилор.

— Вот она, которая командовала вашими солдатами, учила вас, как жить!

«Вот она» должно было означать: «Смотрите, кто вами командовал! Смотрите на это ковыляющее, изможденное, потерявшее всякую женскую привлекательность существо, в лохмотьях, грязное, простоволосое, жалкое! Это существо в кровоподтеках, синяках, от которого несет мочой! И вы, офицеры, позволяли ей командовать наравне с вами!»

Какую цель преследовали эти бесконечные допросы и избиения? Никакими особо ценными военными секретами Клава не обладала. Вряд ли гитлеровцы рассчитывали раздобыть у нее какие-либо значительные сведения. Может, и их чем-то озадачивала ее личность! Существование такой, никакими разведками еще не предсказанной, фигуры женщины-политработника? Может, они хотели понять: что же перед ними такое — случайность или новая сила противника? Что же это, от отчаяния берут женщин на такую работу или тут есть какой-то расчет? Может быть, им нужно было что-то уяснить себе?

Уже не первый раз я ловлю себя на том, что хочется найти какие-то мотивы их поведения. А раньше этого не было. Раньше мы не искали причин и мотивов фашистской жестокости. Раньше все было почему-то ясно: фашисты мучили наших, уничтожали, потому что они фашисты. И мы их ненавидели, потому что ненавидели фашизм. Они решили нас истребить, уничтожить, захватить нашу Родину... И мы должны были стрелять, уничтожать их.

Клава стояла в углу, заложив руки за спину, — не стояла, а лежала на стенке. Комендант ходил перед нею, время от времени хлестал Клаву по ногам плеткой. Она не могла удержаться, вскрикивала. Хотя ей было стыдно за свою слабость перед товарищами, как она ни силилась, она не могла остановить стон.

— Видите, — комендант показал плеткой на нее, — кому вы подчинялись? Какие же вы офицеры?

Федосов стоял тоже у стены.

— Личный состав любил и уважал товарища Вилор, — сказал и обеспокоенно покосился на Клаву: не сделал ли он ей хуже таким признанием?

— Справедливый она человек и храбрый, — подтвердил Морозов. — Кому хочешь в пример.

От этих слов Клаве хотелось заплакать. Какое было бы счастье, если бы она смогла плакать. Их признания, здесь, в плену, были дороже любых наград и поощрений. До сих пор она помнит эти слова как самое дорогое, что случилось в ее пленной жизни.

Комендант размахнулся и на этот раз ожег ее плеткой так, что она упала. Он пнул ее ногой, приказал утащить в соседнюю комнату.

— Тебе сегодня капут, — сказал он вслед.

Возможно, ей пришлось бы легче, если б командиры отозвались о ней как-нибудь пренебрежительно, и, как знать, тогда судьба ее в немецком плену сложилась бы не так тяжело. Вероятно, они тут же сами пожалели о своих словах, видя, как комендант озлился и истелстал ее. Вряд ли они поняли, что Клаве эти слова помогли. Эти слова были как итог ее военной службы — итог, потому что жить ей больше не хотелось. Хорошо было бы заснуть и не проснуться!

Когда она открыла глаза, перед ней стояли капитан Носенко и старший лейтенант Демьяненко. В одной руке у Демьяненко была бутылка, в другой — огурец. В плену все сопоставляется и понимается мгновенно, без слов. «Предатель!» — поняла Клава. Да он и не скрывал этого. Он подтвердил, что сегодня ее расстреляют, и стал рассказывать, как и когда он перешел к немцам.

Капитан Носенко, ее нареченный муж, молчал. Костистое лицо его ничего не выражало. Но обостренным своим чутьем Клава уловила в глазах его не жалость, а отстраненность, холодную, чужую. И она сразу увидела себя со стороны так, как они видели сейчас ее, — изуродованную, страшную, безобразно растерзанную, лежащую на полу с раздвинутыми от боли ногами. Этот человек, которому она всегда нравилась, смотрел на нее взглядом, от которого вся ее женская суть возопила. Казалось, что уже ничто не могло поранить ее душу, так ведь нет, нашлась еще одна боль! Не кует тебя, так плющит тебя! От Демьяненко отвернулась, так вот на это напоролась — на такой взгляд Носенко! Со всех сторон обступило!..

Это длилось недолго, мгновение. Носенко притушил свой взгляд и стал рассказывать, как его допрашивали и сказали, что если он не откажется от Клавдии Вилор,

то его расстреляют вместе с ней. Немцам стало известно, что у него есть жена и ребенок в Краснодаре, — известно из допросов других курсантов. В конце концов, он не мог больше этого скрывать, отказываться и сказал все как есть.

Он не оправдывался перед Клавой. Да и какое право она имела требовать, чтобы он не признавался? Почему он должен идти с ней под расстрел? Ради чего? Он не мог ее ни выручить, ни спасти. Но в ту минуту она не слышала никаких доводов. Она ненавидела их обоих и презирала их.

— Спасайте, спасайте свою шкуру! — кричала она, соединив этих двоих словами «предатели, изменники».

Несправедливо, нечестно было называть капитана Носенко изменником, но она его ненавидела в этот момент сильнее, чем этого немецкого прихвостня Демьяненко.

Лоб у Носенко стал белым, и глаза побелели от бешенства.

— Спасибо! — он поклонился. — Спасибо вам за все! Взгляд его упал на плащ-палатку.

— А это отдайте! Зачем вам от изменника.

Наутро опять допрос, красные лица расплывались, что-то кричали, дышали в затылок. Она закрывала глаза. Они не исчезали... Они покачивались, забирались под веки, в череп и там стучали в виски.

Слышался крик Демьяненко: «Эта сволочь была самая активная у нас!»

Кто-то что-то шептал ей. Боль появлялась в разных местах. Клава кричала, соглашаясь на все, обещая, умоляя. Но как только боль отходила, она погружалась в молчание и лежала, стиснув зубы, ни на что не отзываясь. Так ничего и не добившись, ее бросили во дворе, сказав, что завтра отвезут в Сталино и там скинут в один из шурфов.

И как только это было решено, все круто изменилось. С ней вдруг стали все откровенны и спокойны. Она была приговорена. Она была выведена за ту незримую черту, за которой кончились все страхи — и ее собственные, и страхи этих людей — перед тем, что она могла кого-то выдать, или пересказать, или передать их признания. Она была выведена из круга страстей человеческих. Никто не мог представить себе, что все эти слова и признания, которыми люди почему-то вдруг захотели поде-

литься с ней, как на исповеди, — все они сохраняются, запечатленные в ее мозгу, и через несколько лет определяют судьбу многих.

Как они сохранились в ее памяти? Как они отпечатывались? Она ведь даже плохо слышала эти голоса. Они доходили к ней сквозь какой-то розовый туман, что колыхался в ее голове. Но память продолжала фиксировать все, как будто память знала заранее то, что предстоит, и то, что будут когда-то о них спрашивать и выяснять.

Военнопленных грузили на машины. Они шли по двору, перешагивая через Клаву. Кто-то наклонился, что-то говорил ей. Потом перед ней присел Носенко, протянул ей кусок хлеба и огурец.

— Пожалуйста, — попросил он, — возьми!

Она не смогла удержаться и взяла. Он сидел на корточках и смотрел, как она ест.

Демьяненко удивился: зачем Носенко ее кормит? С какой стати? Ей все равно капут. Зачем зря еду перевозить?

— Увидят немцы, и будет тебе хана, — предупредил он. — С ней разговаривать незачем.

Когда он отошел, Носенко сказал, что, судя по всему, Демьяненко решил поступить в добровольческую армию и его следует остерегаться.

— Вот и остерегайся, — сказала Клава. — И отойди от меня, и говори, что знать меня не знаешь. Веди себя примерно. Может, понравишься.

Она не научилась еще в те дни прощать даже минутные слабости. Она ненавидела в себе измученную, ноющую и болящую плоть.

— Уродина я? — вдруг спросила она у Носенко. И это тоже была слабость.

IV

Сталинград горел... Город был как костер. Горели целые улицы, кварталы, горел асфальт.

Городской комитет обороны мобилизовал к 30 августа две тысячи стрелков-минометчиков. В городском саду им выдавали оружие, и армейские командиры вводили тут же сформированные батальоны на фронт. Военнообязанных тысячами вывозили на левый берег Волги.

...Машина везла Клавдию Вилор все дальше в немецкий тыл.

В грузовике, рядом с Клавой, сидели две женщины — полячка и русская Галя, беременная. Галя все время плакала. Мужчины сидели молча, опустив головы. «Обстановка уныния — обстановка подлости», — сказала себе Клава. Уныние — как безверие, это путь к предательству.

Боль вдруг ушла, спустилась куда-то к ногам. Надо было что-то делать. Она была политрук, а вокруг нее были люди, были бойцы, пусть военнопленные, но все равно бойцы. Командир — тот без своей части перестает быть командиром, а политрук всегда остается политруком, особенно когда рядом есть люди. Такая это должность. Работа, которая требует откуда-то черпать бодрость, силу духа, веру и щедро оделять ими всех окружающих. А откуда брать эту бодрость? Где пополнять ее запасы?..

Что же она могла сделать? Единственно, на что у нее хватило сил, — это запеть. Сперва она запела что-то бодрое — «Смелого пуля боится, смелого штык не берет...». Но это на людей не действовало: слишком это было далеко от их нынешнего состояния. Тогда она запела «В темном лесе...», а потом вспомнила свадебную, грустную — «Не заря ль ты моя, зорюшка, не заря ль моя вечерняя...».

В той дальней, совершенно невероятной, мирной жизни она и мать были в семье единственными женскими голосами. Все остальные в семье — мужчины: двенадцать братьев и отец. И когда они пели, то женскими голосами поднять могли песню только она с матерью.

Она пела и вспоминала семейные вечера — «Вечерний звон» и потом любимую старшего брата — «Выхожу один я на дорогу». Да, песни были грустные. Мужчины отворачивались, сморкались. Она чувствовала, что это было то, что нужно. Она чувствовала это по собственной душе — где что-то очищалось, светлело. И когда Демьяненко, что сидел в той же машине, закричал: «Кончай петь! Ты, политрук, заткнись, а то из-за тебя всем попадет!» — ему сказали тихо, разом: «Молчи уж! Не учи!»

Первое, что они увидели во дворе концлагеря в Сталино, были огромные ямы. Туда кидали умерших от голода и ран военнопленных. Это был лагерь страшнее пересыльных лагерей, которые она прошла. Здесь про-

исходила сортировка. Штаб гестапо перебирал поступающих военнопленных: кого — в добровольческую армию, кого — на работу в Германию, безнадежных, не годных ни к тому, ни к другому, — на расстрел. Огромная штабная машина работала с утра до поздней ночи.

Носенко помог сойти с машины. Опять подбежали немцы.

— Кто ты?

— Я политрук, — отчетливо сказала Клава.

— Ага, комиссар!

И сразу повели на допрос.

— Говорят, здесь твой муж?

Ей захотелось еще раз увидеть Носенко. Последний раз перед смертью. Не сегодня-завтра ее должны были все же расстрелять и до расстрела будут держать отдельно: комиссаров обычно изолируют от остальных военнопленных. А кроме того, если она станет отрицать, что здесь ее муж, ее могут начать избивать, подумают, что скрывает.

— Да, мой муж здесь, — сказала она, — капитан Носенко.

Как она и ожидала, его вызвали. Он грустно посмотрел на нее и сказал, что жена его в Краснодаре, а Клавдия Вилор — товарищ по фронту.

Пуговицы у него были начищены, гимнастерка затянута ремнем. Воротничок болтался на исхудавшей шее, и даже ноги его так исхудали, что голенища стояли раструбом.

Вызвали курсантов, чтобы проверить. Они говорили о политруке Вилор осторожно, уже наученные допросами. Повторяли: «Заботливая женщина», — и только.

На ночь отвели ее в комнату, где были две женщины, что ехали с ней в машине.

Цепь ее злоключений только начиналась.

Можно было бы не перебирать эту цепь звено за звеном, а рассказать сразу о самом существенном. Ничто, за исключением одной малости, не мешало опустить все это промежуточное, останавливало одно — подлинность перенесенных страданий. Никак не мог я в угоду литературным выгодам — как бы ни соблазняли они — пренебречь и откинуть реальные муки этой женщины, выбрать из них лишь подходящее для сюжета. А кроме того, то, что происходило с Клавдией Вилор в плену, как-то меняло ее душу, и, может быть, без этих изменений нельзя было понять дальнейшего.

На этот раз ее били не больно. Били по щекам, лениво и без особой злобы. Но оттого, что по щекам, она словно бы очнулась. Так обидно ее еще не били. Немцы были совершенно искренне убеждены, что перед ними существа низшие, полуживотные, что ли. Они били в перчатках, брезгливо морщились.

Армады немецких бомбардировщиков тянулись на Сталинград по воздушному мосту. Тяжко завывая, катились над головами тонны бомб — предстоящие через несколько минут взрывы, пожары, предстоящие смерти, разрушенные дома и укрепления!.. Они плыли по шелково-синему небу над тишиной перезрелых хлебов, и не было им конца...

Есть не давали. Подкармливала Галя, делилась хлебом, баландой, — та самая беременная Галя из Одессы. И была еще в комнате с ними полячка. Они, как сошли с машины, так и двигались втроем, соединенные случаем три женщины, сквозь эти дни и ночи.

Две считали, что попали сюда случайно. Они не воевали, ни в чем не были замешаны, и обе не понимали Клаву.

— Медсестрой на фронт — еще куда ни шло. Хотя тоже не тот ведь, конечно, возраст у вас, — рассуждала Галя. — Но как же вы политруком согласились? И дочку бросили!

— Не бросила, а отдала невестке.

— Ну, все равно, — невестке. Какая же вы мать?

Давным-давно... Когда-то... жила-была Клава Вилор. Был у нее муж, были две дочери, дом, буфет с посудой, шкаф с платьями. Утром она уводила обеих дочек в детский сад и шла на работу в лекторское бюро. Год назад. Короткий срок по понятиям мирной жизни! Два месяца на фронте — это значит десятки лет назад; может, и больше. Она мысленно перебирала, просеивала свой путь. Как же он привел ее сюда? Смерть младшей дочери? Она умерла в первые дни войны. А может, Клава виновата в этом? Зачем она пошла в армию? А что, если правы были в райкоме, когда отговаривали ее? Что же это было? Цепь ошибок? Та неумолимая связь, где одно вытекает из другого, где стоит ошибиться — и все пойдет дальше вкось, и по новой неуклонной колее, как следствие той, первой ошибки? Как мало она успела повоевать! И оправдать-то не успела свою жизнь!

Как ни кружились ее мысли, все равно возвращались к дочке, единственной оставшейся. И тогда ее решение умереть, умереть достойно, не поддаваться, снижало перед тоской о единственной своей дочери, перед жаждой жить, чтобы ее увидеть.

Если бы она могла снова стать одинокой и свободной, как была до замужества, Клавой Бурим!

Вспоминался отец, его руки, всегда поблескивающие от въевшегося в кожу золота. Когда-то золотил клиросы сельских церквей, — не настоящим золотом, а фальшивой позолотой, которая требовала деликатной работы с лаком, «драконовой кровью», расплавленной серой. С детства помнились ей этот запах и отец, который среди желтых паров железной ложкой разливал кипящую серу и произносил странные слова — «микстьен», «мардан». А через несколько лет она, комсомолка, шпыняла его за эти клиросы и иконостасы. Самоуверенно поучали и перевоспитывали его всей своей домашней ячейкой — двенадцать братьев и она. Это была первая комсомольская ячейка на селе — двенадцать братьев и она. Как в сказке.

Сперва отец спорил, потом — кротко улыбался, отговариваясь тем, что нет зазорной работы, а потом — потом уже и не спорил, побаивался ее слов про «опиум», про «религиозный дурман», «реакцию». Слова были чужие, злые. И Клава вспоминала, как робел отец от них, как отмалчивался, опустив голову, и уходил, задыхаясь неизлечимым кашлем.

Запоздалый стыд настиг ее вот здесь, в концлагере, перед самым расстрелом. Господи, как все просто выглядело для нее в те годы, как жестока и глупа была она! Да ведь будь жив отец, он первым пошел бы воевать! И никакой бог не помешал бы ему, не остановил бы его. Какой же он «идейный противник», отец ее, — ее отец, который вот и ее, и сыновей всех вырастил в такой любви к своему дому, к России?! Она знала, что никто из ее братьев не дрогнет, не станет предателем, вроде Демьяненко.

Как люди вообще становятся предателями? От страха? Но почему одни могут выстоять, а другие — нет? И, сравнивая и размышляя, она думала о самой себе. Сумеет ли она выстоять, не изменив себе до самой последней минуты расстрела? Она побаивалась себя, побаивалась своей слабости, что дрожала где-то в глубине

ее тела, а может быть, уже проникла и в душу, своего страха перед болью. Боялась, что силы иссякнут.

— Приказ-то ночью пришел. Пришел приказ, и отправили нас на фронт,— объясняла она Гале.— На марш ночью училище подняли по тревоге. Ну что же я? Не увольняться же. Я же в военном училище.

Ей хотелось во что бы то ни стало оправдаться перед дочерью через эту Галю,— оправдаться перед маленькой за все то, что случилось, за то, что оставляет ее одну, сиротой, за свою смерть оправдаться...

Она ничего не могла избежать, когда ночью училище их подняли по приказу и бросили на Сталинградский фронт, но, честно говоря, она и не собиралась ничего избегать, она рвалась на фронт.

Они лежали трое в большой побеленной пустой комнате, с дырками от гвоздей в стенах, с затоптанным крашенным полом, с голыми окнами. Непонятно, что это была за комната в этом здании клуба имени Ленина: класс, где занимался какой-то кружок? Канцелярия? Может быть, чей-то кабинет? Из окна был виден двор. Толпы военнопленных лежали, сидели на лестнице, теснились в узкой полоске тени вдоль забора. Там укрывались от солнцепека раненые. Когда она смотрела из окна на этих безоружных мужчин, казалось, что Сталинград пал.

Привезли еще партию пленных. Из машин вываливались моряки в бушлатах, танкисты, летчики — раненые, измученные.

Слухи, непонятные и отчаянные, ползли или умышленно распространялись. Да и не мудрено — подвиг Сталинграда только творился. Удары немцев еще не иссякли, весы сражения еще колебались. А ведь на памяти было недавнее окружение наших войск под Харьковом, враг прорвался к Воронежу и к Новороссийску... В мае наши войска ушли из Керчи. Отступления, отходы, поражения первого года войны терзали души людей.

Как там было сказано, в приказе № 227, который Клава прорабатывала во всех взводах? «Отступать дальше — значит погубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину!»

А слухи множились, разрастались... Поговаривали о том, что снова отступают за Волгу, уходят, оставляя города, что немцы уже на Кавказе, в Баку, добрались до нефти... И люди здесь поддавались этим слухам, как-то оправдывая тем самым себя, свой плен.

Однако на допросах Клава особым чутьем оглохшего и ослепшего от боли человека чувствовала нервозность допрашивавших. Она вдруг однажды подумала, что если бы Сталинград пал, то ведь немцы объявили бы об этом. Они не стали бы этого скрывать. С какой стати им скрывать такую новость? «А Сталинград-то держится», — неожиданно для себя самой произнесла она вслух. Ее ударили, прикрикнули, но никто не посмеялся над ее словами, не опроверг.

Уборная находилась далеко. Полицай водил ее туда через весь двор. Она шла медленно и повторяла так, чтобы все слышали: «А Сталинград-то держится!» В словах этой страшно избитой, невесты откуда появляющейся женщины была уверенность.

Надо было найти какую-то свою линию поведения. На что она могла опереться, — она, военнопленная, что само по себе уже было позорно, она, женщина, измученная страхом побоев? Да, она не выдавала коммунистов, не рассказывала ни о каких военных секретах. Но в этом лагере про секреты и не спрашивали. Может быть, нашли предателей, может быть, еще что... Ах, если бы ей надо было что-то хранить, что-то защищать, что-то держать в тайне, может быть, ей было бы легче. Нет, какую-то иную линию надо было найти. За что-то надо было бороться, чему-то сопротивляться. И она вдруг решила: держаться за Сталинград!

Давали себя знать отбитые почки. Клава часто просилась в уборную и всякий раз, выходя во двор, объявляла: «А Сталинград-то держится!» Она повторяла это, как заклинанье. Проходили часы, дни — и оказывается, она могла все время повторять: «А Сталинград-то держится!»

Она не знала: может быть, Сталинград держался последние часы, каждую минуту он мог пасть, но пока что Сталинград держался. Каждый день был победой, каждый день жизни Сталинграда она могла повторять это всем и каждому и чувствовала, что этим она может уязвлять немцев, может им что-то противопоставить. Для них ведь тоже к сентябрю многое уже воплотилось в Сталинграде. Сроки, поставленные Гитлером, уже давно прошли, а Красную Армию удалось потеснить только к окраине города. Взять Сталинград — удастся или нет? Сумеют ли гитлеровские армии сломить сопротивление советских войск до наступления зимы? 6-я германская армия с 28 августа не могла продви-

нуться к городу ни на шаг. Только танкам 4-й армии удалось вклиниться в нашу оборону в районе Гавриловки. 1 сентября Военный совет фронта обратился к защитникам города, призывая не допустить врага к Волге. Все же на следующий день немцы прорвали фронт, и наши войска стали отходить к окраинам города. В воздухе гудели немецкие самолеты, на земле господствовала немецкая артиллерия и немецкие танки. Казалось, еще одно усилие — и последние поределые советские дивизии будут сброшены в Волгу. Немцы были уверены в этом. Они уговаривали себя, убеждали.

И когда эта ковыляющая на простреленных ногах, изуродованная женщина, словно кликуша, выкрикивала, выстанывала про Сталинград, — и немцы, и полицаи выходили из себя. Никто не понимал, зачем она это делает. Зачем она прет на рожон, напрашивается на зуботычины и удары? Они не понимали, что Сталинград — ее опора. Она держалась тем, что держался Сталинград. Она была для себя тоже Сталинградом.

Возвращаясь с допросов, она старалась не стонать. Всеми силами следовало скрывать от полицаев побои. Стоило им увидеть свежие ссадины, как они зверели, — запах крови возбуждал их, и они тоже принимались избивать ее.

Особенно свирепствовал заместитель начальника полиции, старшина лагеря по имени Виктор. Моряк, здоровенный красавец, он хвалился своим предательством. От него пахло одеколоном, сытостью, хорошим табаком. Все на нем выглядело живописно — обтягивающая грудь тельняшка, сияющая золотом морская фуражка, часы, хромовые начищенные сапоги, золотой портсигар.

— Жить надо! — рассуждал он. — А пока жив — надо жить как можно лучше.

Он пощелкивал плеткой, белозубо смеялся. Следил, как сбрасывали в ямы очередную партию умерших к утру от избиения, ран, голода. Бил он жестоко, иступленно, забивая иногда свою жертву насмерть.

К Клаве он заходил побеседовать, «на политминутку», как он говорил.

— Хлеба хочешь?

— Конечно, хочу.

— А комиссарам хлеба нет. Комиссары — самая вредная часть армии. Ну, ты-то чего связалась с ними? Была бы медсестрой, жила бы. А теперь расстреляют.

Тебя со всеми твоими идеями не будет, а я буду! Смотри, как я живу! Скажешь, мародер? Ну и что? Это слова, в дело они не годятся. Жизнь-то, она короткая, комиссар. А знаешь, как хорошо, когда кругом завидуют! Вот ты жрать хочешь, а я сыт. Значит, ты мне завидуешь. Идеи твои тебя никак не кормят, а я — сыт, пьян и нос в табаке. Значит, моя идея правильная. А у меня идея такая: всех вас передавить! Ну ты мне скажи, вот ты баба. Зачем тебе все это? Чего ты на своем стоишь? И за что ты цепляешься?

— Так ведь все равно помирать, — отвечала Клава как можно равнодушнее. — Раньше, позже — все равно помирать. Чего ж я буду подличать, пресмыкаться. Приятно умереть человеком, чтобы уважать себя.

— Ага, человеком! Вот-вот, ты сказала «человеком»? Ну, а как же ты можешь помереть человеком? Ты посмотри на себя, разве ты человек? Вот я — человек, и живу как человек!

Она не могла прогнать его, не могла обругать. Он искал признания или хотя бы возвышенных споров. И не так-то просто было опровергать его и противостоять его сытости.

Ей хотелось узнать, как он стал таким. Очень просто: был осужден на десять лет за хищения, ему заменили срок передовой, и он перешел к немцам. Он ничего не скрывал: она, Клава Вилор, была безопасна — скорый мертвец; а его тешила собственная откровенность. В этой откровенности была жажда не только самоутверждения, но и какого-то самооправдания, что ли. Ему мечталось услышать от нее какое-то признание в правоте его выбора, или его страха, или его цинизма.

Иногда казалось, что он наговаривает на себя, когда он рассказывал, как, защищая Одессу, во время боя стрелял исподтишка в комиссаров, политруков.

Он ничего не скрывал от Клавы Вилор. Он ее ни в чем не переубеждал, ничего не требовал, не допытывался. Ему нравилось беседовать с ней о своей душе. Ему словно хотелось выработать какую-то свою линию самоуважения. То, что он хорошо жил среди умиравших от голода, израненных, измученных военнопленных, то, что он ненавидел все советское, — этого было еще недостаточно. Он пытался понять самое существо Клавиного упорства, то есть не обязательно именно ее упорства, а упорства всех тех, кто, попадая в плен, оставался самим собой, всех тех, кто не сдавался.

Шестого сентября (и как это память ее сохранила все даты!) к ней потихоньку пробрался Баранов и сказал, что он все подготовил для побега. Нынче — последняя возможность. Не согласится ли она попробовать бежать вместе с ним? Она с горечью показала ему свои израненные ноги, поцеловала его на прощание, пожелала удачи и больше его не видела. Его побег вселил надежду, что Баранов где-то там, — если он благополучно доберется, — за линией фронта расскажет о ней...

Наконец наступил день, когда во двор въехала зарешеченная закрытая грузовая машина и ее, Клаву Вилор, вместе с другими военнопленными повезли на расстрел. Расстреливали за городом, у шурфов затопленных шахт. В эти шурфы сбрасывали расстрелянных, а часто сталкивали и живых.

Привезли. Построили. Приказали раздеться. Начали подводить группами к яме.

Клава была шестнадцатой. Перед ней было убито пятнадцать человек. Когда ее подвели к краю, она закрыла глаза. Уже несколько последних военнопленных немцы не расстреливали, а просто сталкивали. Она тоже стояла, ожидая толчка. Вдруг ее взяли за плечо, отвели в сторону и приказали одеться. То же приказали и другим.

Вот эти-то минуты, даже мгновения, когда она стояла, закрыв глаза, — казалось мне, что эти мгновения должны были врезаться и остаться в душе ее так сильно, как это было, например, у Достоевского. Мне почему-то больше всего вспоминался Достоевский. Наверное, потому, что, как никто другой, он отразил эти последние мгновения перед расстрелом, когда он сам стоял на Семеновском плацу на эшафоте и впоследствии снова и снова возвращался к своей казни. В том же «Идиоте», когда он описывал казнь расстрелянием и казнь на гильотине, и как самую ужасную муку эти последние минуты — когда всякая надежда отнята и знаешь, что человеком больше не будешь *наверно*.

Но тут у Клавдии Вилор ничего похожего не было. Муки ее жизни были сильнее ужаса перед смертью. Смерть была бы прекращением боли. Стоя перед шурфом, Клава просто ждала того, к чему давно приготовилась. Она ждала смерти, как ждут снотворного. И Клава не то чтобы была разочарована, — нет, но не испытывала никакой радости от избавления и так же равнодушно, а может быть, даже с тоской перед новыми муками ста-

ла по приказу одеваться вместе с другими и снова последовала в гестапо.

Выяснилось, что их, оставшихся, возили к шурфу для запугивания. Но лично для нее никакого запугивания уже не могло существовать. Ее доставили в бывшую гостиницу «Донбасс», стали угощать яблоками, грушами, поставили перед ней вареную курицу и предложили подписать признание, что она пошла в армию по принуждению большевиков, которые вынуждены использовать женщин. А потом надо будет выступать перед военнопленными, рассказать им, что хотела перейти к немцам.

Психологический эффект, конечно, получился, но обратный, — она вскочила, проклиная их за то, что они ее не расстреляли.

— Когда вы меня расстреляете?! — крикнула она. — Гады! Мучители, расстреляйте меня скорее... стреляйте же!

Через несколько часов, избитая, она очутилась в одиночной камере. С этой минуты, в любое время дня и ночи, дверь открывалась, и немецкие офицеры из командировок, из госпиталей, а то и просто с гулянья заходили посмотреть на редкий экземпляр: женщину-комиссара. Они останавливались в дверях и обсуждали ее, разглядывали.

V

Жизнь человеческую можно изображать как перечень бед, невзгод, несчастий. У каждого они есть, есть всегда, и составляют свою непрерывную цепь. Впрочем, так же, как существует и своя цепь радостей, любви, счастья. Чаще всего они даже сосуществуют параллельно — обе эти линии в человеческой жизни.

Но та пора в судьбе Клавдии Вилор была составлена, пожалуй, только из бед, мучений, горестей. Наверное, поэтому так тяжело и рассказывать сплошь подряд обо всех ее нескончаемых страданиях в этом повествовании.

И все же... В том-то и особенность любой человеческой жизни, что даже при самых тяжелейших испытаниях, в самой мрачности и безысходности, она, эта жизнь, умудряется сама себе создавать какие-то просветы. И одним из таких просветов у Клавдии Вилор была песня.

Она пела с детства, по любому поводу и просто так. Здесь же, в плену, песня стала для нее единственным способом забыться. Песней она поддерживала себя, поддерживала окружающих. Песня была для нее наиболее доступной формой протеста. В этой массе военнопленных, где старались уничтожить всяческую человеческую индивидуальность, а тем более личность, песня позволяла Клаве ощутить свое «я». Голос у нее был сильный, и в тюрьме, сидя в этой одиночной камере, она старалась петь. Рождала песню тоска, но песня и отгоняла тоску. Она складывала песни — складывала их о самой себе бесхитростными, неуклюжими строками, где главными были, может быть, не столько слова, сколько чувства: «Ах ты доля, злая доля, доля горькая моя! Ах, зачем же, злая доля, до гестапо довела? Очутилась я в подвале, и в холодном, и в сыром. Здесь я встретила с подружкой: «Здравствуй, друг! И я с тобой». — «Ах, зачем же, дорогая, как попала ты сюда?» — „Сталинград я защищала и там ранена была“».

В соседних камерах подпевали. Где-то неподалеку, тоже из одиночки, доносился мужской голос. Клава узнала, что это был летчик, подбитый на Кавказском фронте. Она пела ему: «Лети, мой милый сокол, высоко и далеко, чтоб счастье было на земле!» Пели и в других камерах. Ее голос выделялся. Когда она начинала петь, тюрьма замирала, наступала тишина. Чувствовалось, как слушают заключенные. И тогда во весь голос, назло, она пела не только с вызовом, но и с угрозой: «...И вернется армия, и придут желанные, что тогда, легавые, скажете вы им? С мыслями продажными, с мыслями преступными невозможно будет вас уж оправдать!» Вот здесь главными были слова, нескладность действовала сильнее знакомых, запетых текстов. И так будет и дальше — в тюрьме и потом во всех злключениях Клаву будет сопровождать песня.

Есть люди, которые и радости, и горести выражают с помощью песни. Это большей частью натуры музыкальные. Музыкальность позволяет им через мелодию, через песню выразить любые чувства, музыка становится поступком, ей передается вся сила, неистраченная энергия. Может быть, это сродни пению птиц, чисто природному инстинкту самовыражения. Вот такая непроизвольная потребность в песне была глубоко заложена в натуре и этой женщины.

В камеру к ней поместили четырех женщин. Вначале они вели себя с ней осторожно, потом, увидев ее состояние — избитую, с коростой сукровицы, с грязными тряпками, присохшими к ранам на ногах, этот тяжелый, зловонный запах, который шел от нее, — они поняли, что она не «подсадная», прониклись к ней сочувствием и состраданием сразу же, как это может быть только в одной камере; стали вызывать тюремного врача и добились, чтобы ей сделали перевязку.

Они все четверо были из одного партизанского отряда. Теперь они перед ней больше не скрывались. Две из них — Шура и Вера — были разведчицами, причем Шура уже была награждена орденом Ленина, уже бежала однажды из гестапо и сейчас опять договаривалась, чтобы бежать, когда повезут на допрос или на расстрел. Партизанок избивали. У Шуры требовали сказать, куда она спрятала орден Ленина.

Среди партизанок была одна пожилая женщина, которая просила Клаву не петь, зная, что за это избивают. Но однажды наступил день, когда она вдруг махнула рукой на это и стала подпевать, сказав, что с песней умирать веселее. Между прочим, это бывало часто: люди пугались, когда Клава запевала, а потом голос ее завораживал их, или подзадоривала песня, они подхватывали уже с совершенно иным настроением: один — вызывающе, другие — с неожиданной беспечностью.

Режим в тюрьме стал строже, избиения — чаще. Избивали во всех камерах. Люди стали кончать с собой — вешались, резались.

Побеги не прекращались, несмотря на то что за бежавшего заключенного расстреливали каждого двадцатого, десятого.

Клава договаривалась с девушками, что если пощастливится бежать и если кто-нибудь из них доберется к партизанскому отряду, то партизанам обязательно надо будет сделать налет на их тюрьму и освободить заключенных.

Они строили всевозможные планы — и как они будут воевать дальше в партизанах, и как отомстят и уничтожат здешних полицаев-предателей. Эти планы, один отважнее и фантастичнее другого, воодушевляли Клаву. Женщины-партизанки принесли сюда совершенно новые чувства: она вдруг поняла, что и в этих условиях можно воевать, бороться, что и здесь, за линией фронта, существует не только душевное, но и во-

оруженное сопротивление. Раньше для нее, как для многих солдат, партизаны были понятием отвлеченным. Впервые она познакомилась с настоящими партизанками, которые уже много месяцев действовали в немецком тылу.

Однажды утром всех четырех партизанок увезли в лагерь гестапо. Клава распрощалась с ними, поняв, что прощается навсегда. Они тоже понимали, что вряд ли выйдут оттуда живыми. И тем не менее Клава попросила их в слабой надежде, что, если кто-нибудь останется в живых, — пусть сообщат в город Ворошиловск о том, как она, Клава Вилор, погибла.

Ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее дочь и родные знали, что она погибла как честный человек, никого не выдав, не дав согласия служить фашистам. Она относилась к себе уже как к человеку неживому, как к расстрелянному. Ее будущее заключалось лишь в возможности как-то передать вот эту последнюю весть. Ее интересовало только одно — честь, собственная честь. Она хотела оставить эту честь, которую она хранила из последних сил, ради которой она терпела все муки, — оставить эту честь дочери и чтобы дочь узнала... Есть старое выражение: «Жизнь — Родине, а честь — никому». В конце концов, она ведь старалась действительно не ради кого-нибудь, а ради себя, своей чести. Жизни давно уже не было, с той минуты, как она попала в плен, а честь была, и честь она никому не отдавала. Но иногда ей казалось, что смысл ее борьбы пропадет, если никто из родных не узнает о том, как честно она погибла.

Потом, много позже, она дойдет и до другого понятия своей чести, когда самым высшим будет не забота о том, чтобы узнали другие, а забота о своем собственном суде над собой, — перед самой собой ни в чем не погрешить, ни в чем не отступить!

Расстрелы производили два раза в неделю — по средам и пятницам. Тюрьма в эти дни замирала. Все ждали своей очереди. Минуты и часы растягивались, длились мучительно долго. Никто не разговаривал. Все прислушивались. И когда машина уходила, забрав очередную партию, оставшиеся заключенные приходили в себя.

На смену увезенным партизанкам в камеру втолкнули молодую девушку — Марусю Басову, которая жила на хуторе Ковалевском. Ее привезли вместе с братом, который был политруком и был направлен в тыл к не-

мцам. Одна из завербованных им женщин оказалась предательницей и выдала потом всю группу — шестнадцать человек. Марусиново брат схватили во время передачи по радиации сведений нашим войскам.

В камеру попадали люди из-за тех или иных неудач. Именно эти неудачи проходили перед Клавой поучительной и горькой школой — предательство, неосторожность, провалы, неумелая конспирация.

Маруся Басова прикидывалась на допросах ничего не знающей, утверждала, что понятия не имеет ни о работе брата, ни о какой группе. Вскоре ее отпустили домой.

Как раз в день ее ухода из тюрьмы Клаву вызвали на допрос и так избили, что она, вернувшись в камеру, легла на холодный пол, не будучи в силах двинуться. Маруся сказала:

— Лучше бы ты умерла, Клава. Все-таки своей смертью легче умирать.— И заплакала, обняла, не обращая внимания на то, что Клава такая грязная, что от нее так пахнет. Прощаясь, сказала, что обязательно расскажет о ее гибели, о том, как погибла Клавдия Вилор.

На следующий день ее брат и вся группа были расстреляны. А Клаву вдруг оставили в покое, и в течение двух месяцев не было ни одного допроса.

...А потом с ней сидела другая партизанка — Лида Мартынова. Ее все время возили на облавы, чтобы она выдала своих партизан, а она все прикидывалась слабоумной, говорила, что забыла, ничего не помнит. Ее били, а потом перевели в другой лагерь и расстреляли. Об этом Клава узнала уже позже.

...А потом сидела с ней Соня Булгакова, которую посадили за кражу немецкого обмундирования.

...И еще были Катя Анфимова и Софья Шмит, которую немцы время от времени брали как переводчицу.

Женщин использовали на уборке коридоров, уборных в тюрьме, на мытье полов. Поскольку женщин было мало, их всех заставляли работать. Мужчин до вечера угоняли работать в город, а женщины работали в тюрьме.

Клава попросила Софью Шмит похлопотать, чтобы ее послали работать на кухню. В конце концов Шмит этого добилась. Почти ежедневно Клаву стали посылать в первый этаж, где помещалась кухня, работать вместе с Катей Анфимовой.

Катя сидела в тюрьме уже полгода. В Макеевке у нее жила семья: отец, мать, братья, сестры. И немцы, посылая Катю на кухню, письменно предупредили, заставили расписаться, что в случае побега члены ее семьи будут повешены.

Катя делала, что могла, чтобы как-то помогать заключенным: передавала потихоньку в камеры какие-то записочки, приносила пить, бросала в камеры иногда бураки, иногда кусок хлеба. И Клаве она старалась помочь, хотя в присутствии полиция делала вид, что ее ненавидит.

Раны на ногах у Клавы затянулись; работая на кухне, она несколько окрепла и сразу же стала подумывать о побеге. Работа на кухне эту возможность давала. Трудность состояла в том, чтобы достать женскую одежду, потому что совершать побег в шинели или в тех лохмотьях, которые были на ней, было бессмысленно.

Она стала уговаривать Катю Анфимову достать какую-либо одежду. Катя отказывалась, боясь за себя и за своих родных. Никакие клятвы, что Клава ее ни за что не выдаст, не действовали.

Между тем мысль о побеге все больше овладевала Клавой. Она понимала, что положение ее шатко, что не сегодня-завтра ее не выпустят из камеры и тогда пропадет последняя возможность. Ее могут снова вызвать на допрос, поставить условие, дать последний срок. Она умоляла Катю. Катя не соглашалась. Из-за этого возникало немало трудностей в их отношениях, тем более что их связывала и работа, и жизнь в одной камере.

Наступил день, когда Клаву снова вызвали на допрос. Это был самый ужасный из всех допросов. На ее глазах огромная собака набросилась на заключенного, Клава стояла в углу комнаты, заложив руки за спину. Ей сказали, что если она не даст согласия подписать обращение, выступить, то на нее точно так же напустят собак. Если же она согласится с их предложением, ее оденут, создадут хорошие условия. «Ноги починим, — говорили ей, — вылечим. Фамилию дадим другую. Никто и знать не будет. За что ты держишься?» Она попросила у офицера дать два-три дня подумать. Другого выхода у нее не было. Ей нужно было, чтобы ее отпустили назад.

Теперь единственным ее спасением было уговорить Катю. Немцы срочно разгружали тюрьму, большую

часть заключенных увозили на расстрел, других — в Германию.

Вернувшись в камеру, она сказала Кате, что если сегодня или завтра она не сумеет убежать, будет уже поздно, и Катя Анфимова будет виновата в том, что ее, Клаву, немцы расстреляют. Это был последний аргумент, последняя, пусть жестокая, но возможность как-то убедить Катю.

Она понимала, что у Кати есть своя правда, что, в конце концов, перед Катей тяжкая проблема: имела ли право она, Катя Анфимова, рисковать своей семьей, родителями ради побега этой малознакомой женщины? Почему жизнь этой женщины ей должна быть дороже жизни ее родных? Причем и побег-то был почти безнадежен, напрасен, потому что вряд ли Клава Вилор могла уйти в таком состоянии далеко, ее так или иначе немцы поймают.

И все-таки перед угрозой Клавиного расстрела Катя Анфимова согласилась. Не вынесла. Прежде всего она уговорила женщину, которая приходила на кухню за картофельными очистками, чтобы та принесла какую-нибудь рваную фуфайку. Женщина принесла и спрятала фуфайку в отбросах в углу кухни. Затем у другой заключенной, у Маруси из девятой камеры, выпросила платье под предлогом того, что, мол, политруку нечего надеть. Кроме того, Катя дала свой большой шерстяной вязаный платок. Теперь надо было решить вопрос насчет обуви. Катя сказала:

— Когда будешь бежать, во-первых, с гвоздя сними этот мой платок, а под скамейкой возьмешь галоши.

Она приготовила еду на дорогу. Наконец, надо было дать адреса. Катя дала адрес, и дала адрес Соня Булгакова. Катя предупредила, что как только Клава убежит, буквально через несколько минут придется поднять тревогу. Она, Катя, скажет, что политрук сбежала и украла у нее платок и галоши. Это было необходимо, чтобы как-то спастись самой Кате.

Целый день они шептались и обдумывали, когда лучше бежать. Решено было, что самое выгодное — бежать примерно в шесть часов вечера: производится смена полицейских. Сразу после шести, после того как на кухню наносят воду и будет помыт котел, их, всех женщин, отправляли в камеры и закрывали. Вот этот промежуток и надо было использовать.

Наступил назначенный день побега — 26 января 1943 года. Они, как всегда, работали на кухне вчетвером, четыре женщины. Ближе к шести часам трое из них начали носить на кухню воду, Клава же осталась на кухне, якобы для того, чтобы мыть котел. Около шести вечера, пока заключенных еще не привезли, она быстро надела фуфайку, на голову — платок, на ноги — галоши, взяла узелок с пищей, приготовленный Катей, в другую руку — помойное ведро (это на всякий случай, как предлог: якобы она идет вылить помои) и начала спускаться по лестнице. Перед ней шли с ведрами Катя и Лида.

Показалась площадка, которая просматривалась полицаем. И тут Катя взяла ее за руку и шепнула, чтобы она не уходила. В последнюю минуту ей стало страшно. Клава ничего ей не ответила. Оторвала ее руку и юркнула в дверь.

В тюремных воротах никто не стоял. Пока все было так, как они и рассчитывали. Она медленно вышла за ворота, пошла по запущенному, заросшему высоким репейником саду, бросила туда ведро и пошла быстрее и быстрее, начисто забыв о том, куда повернуть, — о той дороге, о которой ей рассказывала Катя.

Она шла долго, а когда вспомнила об этом повороте, об этом свертыше, то было уже поздно. Навстречу двигались машины, и казалось, в каждой из них сидят немцы, которые ищут ее. И вдруг она вышла на проволочное ограждение концлагеря...

VI

Мог ли подумать когда-либо отец Клавы Вилор, что эта огромная семья, которую он воспитал, выходил, будет начисто истреблена в войну — сыновья, сколько их было, дочь, сестры, братья, невестки, внуки? Дерево, которому расти и расти, которому, казалось, сносу не будет, — все почти подчистую было вырублено войной. Они пострадали еще и в предыдущую войну — гражданскую. Уже тогда смерть прошла по ним. Уже тогда белые вели на виселицу мать, лишь чудо спасло ее. Женщины — родоначальницы и продолжательницы — в их роду обладали той жизненной силой и счастливой судьбой, которая спасала от гибели корневище этой семьи.

Клава стояла перед проволочной оградой концлагеря, знакомого ей до тюрьмы, а в тюрьме уже поднималась тревога, потому что Катя, как уговорились, начала кричать, что политрук сбежала. А еще за несколько минут до этого истопник нашел брошенное помойное ведро и принес его коменданту.

Катю тотчас вызвал комендант и стал допрашивать, кто помог бежать комиссару Вилор. Катя твердила:

— Откуда я могу знать? У меня украла она вещи, удрала, и я за нее отвечаю!

На всякий случай ее избили и посадили в камеру под замок.

И вот в эти минуты у проволочного заграждения на встречу Клаве Вилор вышла какая-то женщина. Клава спросила ее, как пройти на Рутченковку (это адрес, который дала ей Соня). Женщина осмотрела ее и безошибочно определила:

— Ты что, из лагеря сбежала?

Клава ответила, что она из Макеевки и ищет своих знакомых.

— А почему же ты города не знаешь? — спросила ее женщина.

— Я приезжая.

— Рутченковка далеко. Ты туда сегодня и не дойдешь.

Клава молчала.

— Ну, если у тебя паспорт есть, пойдем ко мне, — сказала женщина.

Клаве не понравилось что-то в ее взгляде, и она отказалась, сказав, что будет искать знакомых.

Она повернула назад. Ноги болели. Было холодно. Наступал комендантский час. Она шла осторожно, остерегаясь любой случайности.

Поздним вечером она добралась в нижнюю часть города. Остановилась. Увидела женщин, которые возвращались с работы. Подошла. Спросила, где 18-я линия, дом 31.

Одна из женщин сказала:

— А кого тебе там надо?

Она ответила:

— Катю.

Оказалось, что женщина живет в этом доме. Согласилась ее довести. По дороге спросила:

— А что тебе надо от них в такое позднее время? Ты, поди, из лагеря сбежала?

Несмотря на фуфайку и на платок, все почему-то безошибочно определяли, что она из лагеря. Печать голода и мучений, очевидно, слишком явно лежала на всем ее облике.

Она подвела ее к квартире. На стук вышла молодая женщина. Клава сказала, что она от Кати. Женщина впустила ее и попросила ничего не говорить матери. Мать услышала их разговор и, сразу все поняв, стала выгонять Клаву. Дочь упрашивала ее разрешить Клаве остаться.

Клава подошла к печке согреться. От холода моча не держалась. И этот запах, и лужа на полу возмутили старуху, она потребовала, чтобы Клава ушла. Но Клава не в силах была оторваться от печки. Она отвечала на любые вопросы старухи, призналась, что она — политрук, рассказывала про Катю Анфимову. Она могла рассказывать сейчас без конца о чем угодно, лишь бы стоять, прильнув телом к теплой печке. А старуха взяла ее за руку и вытащила на улицу. Стала объяснять Клаве, как пройти к Полине Михалко (это был второй адрес, который дала ей Катя Анфимова).

Дорога была запружена машинами, танками, тарахтели военные мотоциклы. Клаве пришлось свернуть и идти параллельными улицами, прячась, когда она встречала патрули. Так она добралась до центра. В темноте узнала гостиницу «Донбасс», где находилось гестапо и куда ее водили на допрос.

Ветер со снегом бил ей в лицо. Она так замерзла, что уже не чувствовала рук и в темноте перестала разбирать дорогу. Забралась в какую-то яму, сидела там, пока не начало рассветать. На рассвете вылезла из ямы, но идти не могла. Ноги и руки ее не слушались. В ней жило лишь туловище; если бы можно было, она бы покати-лась по земле, это было легче, чем передвигать ногами, от каждого движения ими хотелось кричать, выть... Она искала Нефтяную улицу. Это был последний адрес, который она имела.

Наконец она нашла Полину Михалко. Та уже соби-ралась на работу.

— Я от Кати, — сказала Клава.

Полина смотрела на нее, и Клава понимала, что сей-час от этого взгляда решится ее жизнь. Полина имела полное право сказать: «Я не могу вас принять», «Я бо-юсь вас принять», «Я не одна», «Ко мне нельзя», — да мало ли какие причины она могла привести, а могла

и вовсе не приводить... «Уходите!» — и все тут. И, вероятно, потому, что Клава Вилор это поняла, такая тоска появилась в ее глазах от ожидания этого ответа, — может, от этого Полина сказала, что оставит ее, но только боится, чтобы Клава ее не обворовала. Это было совсем неожиданно.

— Что вы! — сказала Клава. — Разве вы не видите? Разве мне до этого?

Полина закрыла ее на замок, предупредив, чтобы она не подавала никаких признаков жизни.

Она прожила у Полины восемь дней, прячась за железным корытом, когда кто-нибудь входил. И вот тут, пожалуй, начало проявляться то особое качество характера Клавы Вилор, которое так сильно развилось в ней дальше.

За эти восемь дней Полина Михалко преобразилась. До прихода Клавы Полина жила замкнуто, боясь всего. Сестра ее и зять работали до войны в Сталинском обл-исполкоме, они эвакуировались, а она, оставшись здесь, боялась каких-либо допросов, гонений. Живя с Клавой, она несколько распрямилась, вспомнила, что она медсестра по специальности и ведь могла принести какую-то пользу Родине. Однажды она вдруг сказала:

— Знаете что, Клава, давайте спать в комнате.

Вместо того чтобы прятаться в чулан, в бочку с углем, Клава легла на кровать, в комнате, вместе с Полиной.

Она не выбирала, она работала с теми людьми, каких посылала ей судьба. Она была уверена, что каждый, самый запуганный, самый трусливый человек может распрямиться и что-то сделать. Что-нибудь. У каждого человека есть мечта что-то совершить. Неважно, как много, неважно, насколько значительным это окажется, важно стронуть человека.

По вечерам, в темноте, они шептались. Клава рассказывала о себе. Ее история была и исповедью. У человека есть потребность открыться. Это касалось отношений Клавы с мужем, той печальной ссоры, какая произошла у них перед самой войной, когда он взревновал и уехал, и так все нелепо оборвалось.

Полина пыталась связать ее с местным подпольем, но не сумела. Однажды она повинилась перед Клавой: ведь она как медработник обязана была пойти служить в Красную Армию, должна была и не пошла, за это наказана скотским своим существованием. На что она об-

рекла себя! Служить этим гадам, всего бояться, смиренно молчать, потупив глаза, глотать оскорбления, угодливо улыбаться, прятать свои мысли, чувства, следить за каждым жестом. Ни разу не посметь сказать вслух то, что думаешь. Ни выругаться, ни возмутиться. Постепенно это становилось привычным, и все реже она мучилась и презирала себя.

Горячее это признание придало ей смелость, очистило ее.

Они говорили друг другу, что не боятся умереть, совершенно не боятся умереть, потому что нет смысла так жить.

Назавтра Полина согрела воду, смыла с Клавы тюремную грязь, помыла ей голову. На чистом, истончавшем до прозрачности теле выступили иссиня-черные следы побоев, незаживающие раны, рубцы, ссадины, и было их столько повсюду, и так страшно было это зрелище, что Полина зарыдала.

— Куда же ты пойдешь такая? Я тебя не пущу, ты же не дойдешь. Господи, что ж это делают с человеком!

Но Клаве надо было уходить подальше от Сталино, где продолжали ее искать после побега, передавали по радио ее приметы. И она отправилась через Смолянку в сторону Рутченковки, к родным Сони Булгаковой, Полина провожала ее не таясь, а главное — не желая отныне ничего страшиться.

Помогая Клаве, она ощущала свою смелость. И ни за что не хотела возвращаться в прежнее свое существование.

В этот день штаб фельдмаршала Паулюса вел переговоры со штабом нашей 64-й армии об условиях капитуляции; немцы, не дожидаясь конца переговоров, бросали оружие тут же в снег возле универмага. Было утро, был мороз, немецкие офицеры суетились, кутались, готовясь к долгому пути пленных.

Клава добралась до Рутченковки. К сожалению, сестра Сони не могла достать ей какого-либо документа, по которому она могла бы дальше двигаться к линии фронта. Она лишь накормила ее лепешками из макухи и вывела дальше в сторону Матвеева Кургана. (Клава сказала, что она с Матвеева Кургана и идет домой.)

Сестра Сони проводила ее до самой окраины, показала путь, глухой, заброшенный, через рудники в Чулковку, Алексеевку, Мандрыкино, Мушкетово. Посоветовала не говорить, что сидела в гестапо, и сказала, что

на этой дороге каждый шахтер ее примет. Дорога действительно была заброшенной, в каких-то ямах, Клава часто проваливалась в глубокий снег.

Неподалеку от шахты ее встретила бежавшая навстречу женщина.

Она спросила:

— Не видели ли вы, куда погнали пленных? Их, говорят, увозят в Германию. Там один совсем босой. Замерзнет. Вот несусь ему бурочки.

Клава сказала, что не видела, и, решившись, призналась ей, что тоже военнопленная, убежала недавно из лагеря и не знает, где можно переночевать, согреться, так как сильно замерзла. Женщина посмотрела на нее с жалостью и попросила, чтобы Клава ее подождала, а сама побежала догонять пленных с надеждой передать бурки.

Клава села на снег, не зная, ждать или нет. Сил не было.

Где ночевать? Ждать ли? Ведь так совсем можно замерзнуть. Ждать или не ждать? Можно ли верить той женщине? Клава научилась определять людей по неуловимым признакам: по взгляду, по движениям лица. В ее распоряжении были считанные секунды, да что там секунды — мгновения, когда приходилось решать: довериться или нет. Слова ничего не значили, значило то таинственное, тот ток, что всегда возникает между двумя людьми. Другой человек и ты, другое «я» и твое «я», вы еще ничего не сказали друг другу, только посмотрели, и уже что-то установилось, почему-то оно, это другое «я», стало симпатичным, или же, наоборот, появилась к нему неприязнь. Ничего не произошло, а отношения возникли, и приходится полагаться на эти отношения, потому что проверять себя некогда, выяснять ничего невозможно, а есть лишь безмолвное, мелькнувшее, как тень, чувство.

Здесь же получилось так, что и лица женщины в сумерках не разглядеть было.

Сидеть становилось невмоготу. Начинало клонить в сон, и Клава понимала, что замерзает. Она заставила себя встать, пойти, в это время издали закричали, к ней бежала женщина, махала рукой. Это была та самая, что искала пленных. Так она их и не догнала, и теперь, найдя Клаву, она снова усадила ее, стащила с нее рваные сапоги, надела теплые, фетровые, отороченные кожей бурки и повела к себе.

Она спросила Клаву, куда та идет и как ее зовут. Клава на всякий случай назвалась Катей Остапенко, сказала, что идет домой в Матвеев Курган.

Женщина жила с мужем-шахтером и сыном. Жили они совсем плохо, немцы им ничего не давали, а все, что можно было поменять на продукты, они поменяли. Последнее, что оставалось в доме ценного, были бурки. Поля — женщину тоже звали Полиной — понесла их продавать, но, увидев по дороге пленных, решилась отдать им.

Войдя в хату, Клава поразилась бедности этих людей. Единственная еда была — несколько бураков. Женщина говорила, что бураков хватит, если растянуть, примерно на неделю.

Через два дня Поля, вернувшись из церкви, сказала, что немцы устраивают облавы, делают обыски и всех забирают на окопы.

Клава решила уйти. Для этого ей надо было достать хоть какой-нибудь документ. Поля, поговорив с мужем, вместо документа решила отвести ее в Прохоровку, к одной женщине — Петровне, считая, что этот дом будет самым безопасным.

Когда Поля привела ее в Прохоровку, к Петровне, та приняла ее странно и непривычно для Клавы — как великомученицу, которую послал к ней Илья-пророк. Клава не могла представить, что со стороны, для окружающих людей, она, Катя Остапенко, и впрямь выглядела страдальцей, принявшей неслыханные муки и лишения, — оборванная, израненная, с горящими глазами. Муж Петровны уподоблял ее святой Екатерине, имя которой, известно, означает «всегда чистая». По уверению же Петровны, всем своим обликом и фигурой Клава походила на любимую ее святую Варвару-великомученицу, которой дана благодать спасения от насильственной и внезапной смерти. К великому смущению Клавы, среди верующих, усердно посещавших Петровну, пошел слух о ниспосланной им мученице, и одна за другой стали к ней обращаться женщины, матери, жены, просили заступиться за своих, защитить их от пули, от снаряда, от военной гибели. Отговорки Клавы не доходили до них. Она уверяла в своем бессилии, но эти женщины по-прежнему смотрели на нее с мольбой и верой в чудо.

Клава считала, что она, как коммунистка, обязана бороться с религиозным дурманом, и в то же время что-

то мешало ей прямо высказать этим женщинам свое безбожие. Удерживали не опасения, а скорее жалость. Она понимала, что в эти тяжкие времена слабые души обращаются к религии. Заполнив маленькую горницу, женщины в три ряда стояли на коленях, впереди Петровна, и клали земные поклоны, тихо пели, а потом молились.

«Пресвятая дева, веру нашу укрепи, надежду утверди, дары любви сподоби. Умилосердствуйся, всемилостивейшая госпожа наша, на немощные люди твоя: заблудших на путь правый наставь, избави нас от голода, губительства, огня, меча, нападения вражия, наглыя смерти, тлетворных болезней. Утоли моя печали...»

Клава вслушивалась, слова эти ее смущали, она видела, как женщины уходили успокоенные, просветленные. Клава понимала, что утешение их ложное, и в то же время завидовала им. Молитва давала им надежду, помогала жить, существовать, и Клава не смела лишить их этой надежды, да и уместно ли это было сейчас?..

— А как еще охранить матери своего сына? — говорила Петровна. — Чем другим, если не молитвой? Назови это любовью, все одно. Знаешь, как сказано: «Давайте, и дастся вам. Какой мерою мерите, такой же и отмерится вам».

Дивные эти слова согревали душу, но потом начиналась какая-то маета. Бездеятельная вера возмущала бурную натуру Клавы. Будь это мужчины, все было бы проще, она нашла бы, что им ответить, но перед ней были голодные солдатки, матери с малолетками.

Полицаи и немцы не трогали Петровну. В домике ее действительно можно было жить сравнительно спокойно.

Клаву здесь любили, за ней ухаживали, и никто из них не мог понять, почему она однажды утром, расцеловав Петровну, покинула ее гостеприимную хату. Ни уговоры, ни предостережения не могли остановить ее. А ведь было заманчиво: принимать проходящих, советовать им, объяснять, успокаивать, а самой тем временем искать связи с подпольем, собирать сведения о немцах.

Скупые, осторожные слова ее чудесным образом утешали женщин. Было так легко вселить в них надежду и вместе с надеждой — веру в разгром фашизма, в скорое освобождение от оккупантов, а значит, и в необходимость борьбы.

Но эти исстрадавшиеся, иссохшие души жаждали чудес. И когда пошел слух, что она исцелила кого-то, а другой предсказала, что сын жив, и вскоре пришла весточка от него откуда-то из-под Харькова через партизан, — тут вот Клава и решила: хватит, надо уходить.

Она поняла, что может еще что-то делать, но для этого надо избавиться от личины, от навязанного ей Петровной образа святой великомученицы, от религиозной подоплеки, от нимба, который претил ее душе.

Так начались долгие ее скитания из одного дома в другой, от одной семьи к другой. Не просто спасение от гестаповцев, начиналось нечто иное — осмысленность ее пребывания здесь, в этом фашистском тылу, среди измученных лишениями и террором людей.

VII

Теперь уже всех и не вспомнишь. Солдатки, вдовы, голодные ребятишки, заснеженные хаты, где жизнь теплилась у печки, перед чугуном, в котором парились, а то и варились бураки — сахарная свекла. Они нарезались малыми ломтями, желтые, точно сливочное масло, заменяя хлеб, сахар, картошку, мясо, — единственная еда тех голодных мест.

Клава переходила из одного поселка в другой, ее как бы передавали — вернее, она сама выискивала те невидимые тропки, что петляли между семьями.

Она являлась не агитировать, не странницей-проповедницей, она приходила жить. Ей помогали. Ее укрывали, это всегда понимали, даже если об этом и не говорилось ни слова. Она не была гостем. Она жила и старалась поддерживать людей своей верой. Она говорила про Сталинград, иногда от этого люди как бы приходили в себя, поднимались с лежанок, наводили в доме порядок, мыли детей. Клава делилась надеждой, и от этого в ней самой прибывало уверенности. Она знала, что где-то тут действует подполье, еще Катя Анфимова рассказывала ей про партизан где-то неподалеку, чуть ли не в этой же области. Но выйти на них никак не удавалось. И тем не менее присутствие их делало ее сильнее. Она чувствовала себя как бы уполномоченным, политруком, мобилизованным на работу среди гражданского населения.

Впрочем, так и воспринимали ее: как человека, за которым что-то стоит, какие-то силы.

После войны Клаве пришло письмо:

«Здравствуй, дорогая Катя, то есть Клавдия Денисовна!

Вот как будто я и не вам пишу, Клава. Как я рада, что ты прошла и со своей дорогой крошкой вместе теперь! Я так беспокоилась за вас, утро, вечер и ночь призывала имя твое, чтобы ты прошла благополучно к своему ребенку. Я так боялась, чтобы ты не попала к тем извергам опять в плен. Вспоминаю, как ты переживала в плену и у Петровны. Но я стесняюсь тебя затронуть. Петровна все говорила, что тебя прислал Илья-пророк».

Письмо без конверта, сложенное треугольником, как многие другие письма из той пачки, что сохранилась у Клавы Вилор.

«Ксения Алексеевна Пискунова» — по этой подписи вспомнилась старушка, крепенькая такая, каленая, хотя по разговору еле слышная, к ней привела Клаву Феня Жукова.

Весь день Ксения Алексеевна варила какие-то травки, коренья, томила из них кашицу, пекла лепешки, кормила Клаву, ухаживала за ней, как за дочерью. Все казалось ей, что собственная дочь ее в медсанбате, ранена и попала в плен и так же измучена и истощена, как Клава.

Раны на ногах медленно затягивались. Это от нее, от Ксении Алексеевны, Клава стала готовиться перейти линию фронта. Ксения Алексеевна наготовила ей лепешек и накануне всю ночь молилась за благополучный исход. Утром вместе с Феней пошла ее провожать.

VIII

Уже после освобождения выяснилось, что партизанка Вера Великая бежала.

Было интересно сравнить ее письмо с тем, что рассказала о себе Клава Вилор.

«Однажды ночью меня и другую партизанку нашего отряда Шуру Стеблякову толкнули в камеру № 3. Заговорив, мы узнали, что тут женщина. Познакомились. Она была ранена в обе ноги в тридцати пяти километрах от Сталинграда, политрук РККА Вилор Клавдия Денисовна. В тюрьме мы сдружились. Вилор Клавдия вела

себя прекрасно. Мы громко пели революционные песни, вели себя вызывающе по отношению к полицейским и немцам, называя их легавыми. Вилор К. вела себя как подлинная патриотка нашей Родины, ненавидевшая немцев, и в этом ужасном застенке держалась стойко, мужественно, гордо. Мы знали много друг о друге. Клава всегда подбадривала, придавала нам силы своим спокойным голосом. Она научила нас не унывать и научила бежать. И мы ее завет осуществили... С допросов Клава возвращалась избитая, измученная... Но врагам не удавалось узнать от Клавы ни слова полезного. Очень жаль нам было расставаться с нашей подругой. Ее приговорили к расстрелу. Немцы ее звали комиссаром. Нас отправили в концлагерь СД; будучи там, однажды я узнала от вновь прибывших, что 25 января 1943 года К. Вилор бежала. Я была рада, как за собственную жизнь... 20 февраля 1943 года, когда Красная Армия, наша освободительница, подошла близко к городу Макеевка, немцы в панике бежали, захватив с собой мужчин, а женщинам чудом удалось спастись. Я разыскала дочку К. Вилор Нелличку...»

Феня отправилась провожать ее дальше, через рудник, чтобы Клаву не задержали. И действительно, там встретили их двое полицейских, потребовали у Клавы документы; Феня сказала, что они из Чулковки; полицейские, которые знали Феню, пропустили их. Когда полицаи скрылись, Феня распрощалась, и Клава осталась одна.

Вечером она пришла в Мосино. Никто не согласился пустить ее переночевать, она стучалась, просилась, прошла до дальнего хутора и наконец забралась в скирду соломы. Она понятия не имела, что происходит на фронтах: наступают наши, отступают, где проходит передний край, но слух уже прошел, что немцы под Сталинградом разгромлены, уничтожены, что Сталинград не только выстоял, но и победил. Туда, к Сталинграду, она и шла, и будет идти, ползти, пока душа шевелится.

И опять же, я по себе помнил странную эту уверенность, с какой мы шли из окружения к Ленинграду. Хлюпали по болотам, по ночным лесам, не оставались ни в партизанских отрядах, ни в деревнях. Нам говорили, что Ленинград взят, а мы только отмахивались. Таллинн, Псков, Новгород, Луга — сколько городов уже оставлено нашими и сколько еще предстояло оставить,

но не Ленинград, только не Ленинград. Это было чувство, иногда похожее на заклинание, иногда на самовнушение: не может так быть, чтобы немцы разгуливали по Ленинграду, невозможно это...

Утром пошла дальше — в Кутейниково. Шла целый день. Кругом копали окопы. Останавливаться было опасно. По всем селам объявлен карантин: свирепствовал сыпной тиф. Въезд и выезд были запрещены. Она не знала, как ей пробраться в Кутейниково. На всякий случай пришла туда тогда, когда стемнело. И опять никто не согласился дать ей ночлег. Боялись и немцев, боялись и тифа.

Встретив на улице женщину, она, потеряв всякую осторожность, попросила ее дать ночлег. Женщина осмотрела Клаву и, конечно, спросила:

— Ты что, военнопленная?

— Да.

И тогда она ее пустила, накормила, уложила спать. Рано утром в хату вошли двое полицаев. Один из них — муж хозяйки. Случайно они нагрянули, предупредила ли их хозяйка — так Клава и не узнала. Они сразу забрали Клаву и направили в лагерь здесь же, в Кутейникове. Убежать отсюда оказалось нетрудно. Вечером она перелезла через забор, ушла в степь.

Теперь она стала двигаться еще осторожнее. Направилась через кирпичный завод к селу Ивановке. Ночевала ночью в степи в скирде. Где-то выли волки, ревели моторы... Она закапывалась все глубже в солому. Утром еле выбралась, дошла до Екатериновки. На окраине села ей повезло: пустили в хату старики Штода. Старуха рассказала, как на прошлой неделе здесь повесили четырех комсомольцев, посоветовала идти дальше, к ее дочери Екатерине, в хутор Новопавловский, что под Репиховкой. Екатерина обязательно примет и поможет устроиться куда-нибудь. Здесь же в любую минуту могли зайти патрули.

Она слушала старуху сквозь забытие. Снова надо было куда-то идти, в сторону, опять не к фронту, а силы кончаются. Снежная каша чавкала под ногами, дороги ветвились, петляли, и казалось, она обречена всю жизнь брести и брести. В Репиховке, совсем обезножев, она постучалась в первую же хату. Раны ее открылись. Дальше она не могла двигаться. Рассказала о себе, что

она медсестра, военнопленная. Это был дом Марфы Ивановны Колесниковой. Марфа Ивановна предложила пожить у них. Семья была большая — три сына, две дочери. Они хотели уйти в армию, эвакуироваться с нашими войсками, но по дороге их колонну немцы отрезали, и они возвратились домой.

После войны Клава получила такое письмо от одной из дочек:

Здравствуй, роскошная роза!
Здравствуй, прекрасный букет!
Здравствуй, любимая Клава!
Шлем тебе сердечный свой привет!!!
Клава, привет горячий посылаем,
Целуем много-много раз,
Всего хорошего желаем
И не можем забыть о вас.

Далее это торжественное вступление сменяется сердечными словами:

«Приезжай к нам в гости, Клава. Без тебя не с кем посоветоваться. Безродные мы теперь вдвоем — я, Шура и мама. А ребят нет: Андрюша с Ваней в армии. Отца нашего не слышно, и не слышно брата Феди.

Клава, пожалуйста, не забывай нас.

Колесникова Мария Федоровна».

Колесниковым она призналась, кто она такая.

Она заметила, что люди, узнав, что она политрук, что она бежала из тюрьмы, сперва пугались, потом многие смелели. Подобное признание налагало на людей ответственность, они становились как бы соучастниками. Они ее прятали, они ей помогали, следовательно, они что-то делали. Это было очень важно здесь, в немецком тылу, — дать возможность людям что-то делать.

К Колесниковым приходила молодежь. Клава разучивала с ними песни, фронтовые, а то и просто самодельные, высмеивающие фашистов и предателей. В селе все это не могло остаться незамеченным. За ней стал следить полицай, и она была вынуждена уйти на хутор Новопавловский.

Там Екатерина Штода помогла устроиться на работу к хуторянке Варваре Вольвич. Муж ее воевал, а до войны работал директором совхоза. Она же, то ли вынужденно, то ли по характеру своему, быстро приспособилась к немецким властям, угощала их, оказывала им

мелкие услуги и создала для себя довольно сносные условия жизни.

Клава ходила обрабатывать ее поля — полола, окучивала, мотыжила. Но и там, в поле, она старалась собирать вокруг себя молодежь, а потом и старших селян и рассказывала им о подвиге Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, о капитане Гастелло, все то, что знала, весь тот политматериал, с которым работала в армии, вернее — все те случаи, которые ей были известны до плена. Ее слушали здесь иначе, чем в армии. В армии это непосредственно как бы переходило в действие, укрепляло дух солдат, здесь же повергало людей в задумчивость, в угрюмость, в тоску, у каждого по-своему терзало совесть, требовало действия от мужчин, кто по тем или иным причинам остался в тылу у немцев.

После Сталинграда немцы предприняли контрнаступление. В начале марта они нанесли удар в районе Люботина, шестнадцатого марта вновь овладели Харьковом, пошли на Белгород, захватили его, заявили, что цель их летней кампании 1943 года — взятие Москвы. Их пропаганда старалась изо всех сил.

* * *

Постепенно установился обычай идти вместе с Клавой в поле. Ее даже спрашивали, пойдет ли она, и если она шла, то хуторяне шли охотно. В поле они были в безопасности, садились вокруг нее и слушали. Ее звали «ходячая книга».

Не так-то много книг по истории она прочла, но оказалось, что биография ее часто и по-разному связана с историей страны. Это было даже поразительно — обнаруживать в своей жизни подобные связи. Дома у них — она вспоминала — останавливался Буденный (она уже точно не помнила, с кем из старших братьев он был связан), помнила она, как жил у них в доме Василий Иванович Книга, бывал Литвиненко, а потом и Апанасенко. Это все были легендарные герои гражданской войны, которых помнили и здесь. Два ее старших брата организовали в те годы партизанские отряды на Ставрополье.

В доме хранили оружие красных, знамена. Все это было для нее когда-то само собой разумеющимся, и вдруг она обнаружила, что это, знакомое ей с детства,

звучит как история, которая волнует людей. Оказалось, что материал можно черпать не из книг, а из своих воспоминаний, в жизни ее семьи тоже отразилась История. Рассказывала Клава и про комсомольскую ячейку, которую создали ее братья, — первую в их селе Дивном комсомольскую организацию. Про то, как белогвардейцы посадили ее мать за содействие красным, потом собрали все село, решив публично ее повесить. И дальше, как селяне подняли шум, вмешался священник, отец Ипатий, и в конце концов ее освободили. Тут же она рассказывала и про подвиг Зои Космодемьянской, не потому, что она его знала так хорошо, — наоборот, она его знала лишь из газет, — но потому, что в судьбе Зои было что-то сравнимое с ее собственной судьбой, и она раскрашивала, расцвечивала эту историю, вкладывая в нее собственные переживания, отдавая Зое свои муки и страхи, наделяла ее своей болью.

Хуторяне работали за нее в поле, приносили поесть, попрекали хозяйку: «Тоби, Варька, соромно людыну мучаты. Вона, бачишь, яка хвора».

Местные полицей, Спиридон и Степан Штода, решили было повести ее в жандармерию, в село Екатериновку. Хуторяне стали отговаривать их: «Ну шо вона вам зробыла?..» Она прикинулась, что совсем обезножела, везти ее было не на чем, и до поры до времени ее оставили в покое. Но она понимала, что все это до случая.

Она выбрала из молодых ребят троих, самых активных, договорилась с ними перейти линию фронта. Тайком собрались и отправились.

По дороге, не доходя до Матвеева Кургана, наскочили на минное поле. Один, самый молоденький хлопчик, подорвался, другие были задержаны, а Клава случайно выскользнула, скрылась.

Неудача подкосила ее, и крепко. Со всех сторон она была виновата: и в гибели того хлопчика, и в судьбе тех, которых схватили, угнали в Германию. И то, что сама она осталась при этом невредима... Увлечь сумела, провести не смогла.

А они ей поверили: как же, военная, догадывались, что офицер Красной Армии, ей тут все верили, каждое ее слово ловили.

Но что она могла обещать? Фронты с апреля перешли к обороне. Все ее надежды на быстрое, безостано-

вочное наступление наших войск не оправдались. И силы ее иссякали. Она не знала, дотянет ли.

Начинался третий год войны. Был июнь, лето стояло ветреное, легкое, с быстрыми дождями. Некошеные одичалые травы поднялись высоко, цвели не виданные раньше в этих краях цветы, с белым влажным тычком посреди маковых лепестков. Тычки были похожи на пальцы, указывающие на небо.

Целыми днями она лежала в степи. Не было ни сил, ни желания что-то делать, идти, говорить. Да и что она могла сделать? Все потеряло смысл. На что надеяться? Скитаться по хуторам, пока не изловят и не отвезут в Сталино? Прятаться, спасая свою шкуру? Подвергать других людей опасности? Надоело видеть страх, рабство.

Где-то под Харьковом действовали партизаны, там воевали, но туда не добраться, — и мечтать нечего с ее-то ногами.

Из пяток у нее сочился гной, большой палец на руке не заживал, там была гниющая рана. Ноги опухли. Нарывы, вши... Кому она нужна такая — ни подпольщикам, ни партизанам, ни себе самой, — всем обуза. Выходит, только немцам она нужна — для расстрела.

И людям, что шли к ней за утешением, она теперь не находила что сказать. Она пряталась ото всех. Что-то хрустнуло у нее внутри. У самых сильных вдруг рвется душевная струна, гаснет свет, и тот источник, что питает душу стойкостью, неизвестно почему иссякает.

Люба Ятченко не оставляла ее, приходила в степь, подкармливала; глядя на нее, Клава не могла понять, откуда это Люба находит в себе силы жить. Откуда находят силы Колесниковы, Зацепины, Алексины — терпеть голод, видеть, как мучаются их детишки. Зачем жить среди этого нескончаемого унижения, бессловесности, голодухи, издевательств? Для чего?

Как будто такая жалкая жизнь имеет какой-то смысл или цель. Ради чего ей, Клаве Вилор, терпеть эти мучительные боли, страдания своего тела? Чего ради? В тюрьме она знала, что отвечать полицаю, предателю Виктору. Теперь же, на воле, в открытой степи, она была бессильна перед обступившими ее вопросами. Для чего страдать, тянуть эту лямку, цепляться за каждый день?

Все, что привязывало ее к жизни, все разом отпало, показалось незначительным, несостоящим, она смотрела

в это небо, что раскинулось над ней в своей вечной невозмутимой красе, безразличное к железному гулу самолетов. Летели бомбардировщики. Земля сжималась, все живое затаивалось, но само небо было как в детстве.

И запахи были из детства, и пчелы. Казалось, что она сейчас вскочит девочкой, в коротеньком платьице, побежит домой, подпрыгивая и напевая. Почему она прячется? На своей земле, под своим небом? Как все это получилось? Как фашисты очутились здесь, в середине Родины, в ее степях? И отчего она, Клава Вилор, живет под чужим именем, перестала быть собой, от себя самой прячется?

Она задавала себе те самые вопросы, какими осаждали ее хуторяне. Что же она отвечала им? Она пробовала вспомнить и не могла. Какие-то — для них — она находила слова, для себя же слов не было.

Она всегда умела ответить колхозникам про отступление, про неудачи наших войск, приводила причины, находила оправдания, объяснения.

Впервые она сама себе задавала вопросы, без оглядки, напрямую.

Внутреннее чутье подсказывало, что мысли эти ослабляют ее, они не нужны, они разрушают ее волю. Другому, может, это и полезно, ей же не стоит копаться в себе, пробовать отвечать на эти вопросы.

Грязная, немощная, в рваном своем сарафане, лежала она среди цветущего душистого травостоя. Не хотелось приводить себя в порядок. Не было ни жалости к себе, ни отвращения. Она бесчувственно смотрела, как по ней ползают вши и какие-то маленькие черные муравьи. Изредка облачком наплывала мысль о дочке и таяла. Ничего не оставалось в душе онемелой, опрокинутой, как это пустое, обманное небо.

Если бы у нее хватило сил покончить с собой! Она надеялась, что жизнь сама уйдет из ее измученного, уже не желающего существовать тела.

* * *

— Неужели вам не хотелось узнать про победу?

— Хотелось.

— Так как же вы... Это же сорок третий год, когда война вошла в полную ярость. У нас, например, каждый

мечтал добраться до Берлина, хоть глазком одним взглянуть на конец войны, а там уж пожалуйста.

Клавдия Денисовна смотрит на меня с удивлением.
— Действительно... Я ведь тоже...

Она не может сейчас объяснить себя тогдашнюю. И я тоже не в силах понять отчаянья той Клавы Вилор. Если бы еще в сорок первом году, при отступлении, а то в сорок третьем, после Сталинграда.

Мы вместе с ней пытаемся разгадать, каким образом она вышла, выкарабкалась из того состояния. Мы занимаемся разбором ее поведения, и она готова осудить свое малодушие, вернее, свою тогдашнюю ограниченность. Но ведь она так была оторвана, так мало знала... Незаметно она старается как-то оправдать себя, приукрасить наивные свои понятия, скрыть, приуменьшить свои заблуждения. Я останавливаю ее. Мне не нужны ее поправки, они мешают видеть, какой она была. Мы много поняли и узнали за эти десятилетия и невольно переносим свой опыт в те военные годы. Мы видим себя умными, дерзкими, критически мыслящими лейтенантами, знающими, кто чего стоит, и как кончится война, и как надо наступать, понимающими значение Сталинграда и замыслы наших маршалов.

Но мне дорога та Клава Вилор и в своей слабости и отчаянии, и в жестокости и безоглядности.

Через нее я восстанавливал и какие-то собственные черты. Какими были мы, танкисты третьего полка тяжелых танков, и солдаты второго укрепрайона. Каким был мой комиссар Медведев.

Может, помогло Клаве Вилор выкарабкаться из отчаянья то, что кажется нам сегодня нетерпимостью, прямолинейностью.

А может, подействовали речи Любы Ятченко про силу советского народа и обреченность фашизма, о превосходстве наших идей, о возрастающем упорстве и мастерстве Красной Армии.

Люба по-своему, поглубже, попроще пересказывала Клаве Вилор ее собственные доводы и примеры. Клава с трудом узнавала их. Они возвращались усиленные, окрепшие от повторов. Было там много общих слов, так что становилось совестно, и непонятно было, почему они действовали, но и добавлены были раздумья, накопленные долгими ночами матерей и солдаток.

Вероятнее, все-таки сыграло тут другое — Клаву разыскали комсомольцы Иван Колесников и Николай

Ятченко. Их вызвали на регистрацию: то ли рыть окопы, то ли собирались отправить в Германию. Они пришли к Клаве за советом. Им не было дела до ее уныния, до ее болей. И это было правильно. Они хотели знать, что делать. Они даже не совета ждали, а указания. Клава прикинула и так и этак, предложила им скрыться, уйти в степь. Она сама ушла с ними подальше, несколько дней пряталась в посевах подсолнуха.

И наступило обновление. Проще всего объяснить это, как выражались в старину: «На нее снизошло». Туманно и вместе с тем определенно. Потому что, бывает, после долгих терзаний, сомнений, поисков вдруг каким-то толчком открывается, приходит то, что называют прозрением, причем чаще всего самое что ни на есть простое, вроде очевидное понимание, стыдно, как это раньше не подумалось, такое само собой разумеющееся, единственное.

Дело ее ясно определилось. Отныне она шла с хутора на хутор не странницей, в поисках приюта, не беглянкой... Какое ж это было дело? Что она могла — бездомная, калека, преследуемая, живущая под постоянной угрозой быть выданной, схваченной?..

Могла беседовать с людьми, рассказывать про Сталинград, про фашистские лагеря. Могла утешать людей, советовать, укреплять их дух. Все это она уже делала. При каждом удобном случае старалась делать; теперь же, вернувшись из степи, она утвердилась в этом как в своем прямом назначении. Словно бы она для этого здесь находилась.

Но было и другое. Она могла не только подбадривать, она должна была и тревожить, спрашивать с людей, не только утешать, но и взывать к их совести. Она не сторонилась ненадежных, малодушных. Она шла к ним и предупреждала, чтобы они не помогали немцам. Она тревожила, даже угрожала. Она строго допрашивала, она стыдила. Можно было подумать, что она являлась как представитель, как специально посланная, засланная, уполномоченная.

Она предлагала прекратить всякую помощь немцам. Скоро, имейте в виду, очень скоро придется за эту помощь, за пособничество ответить! Придут наши и спросят.

Зайдя к своей хозяйке Варваре, она застала ее за шитьем немецкого мундира.

— Зачем вы это делаете? Какая нужда вам? — допытывалась Клава. — Вы что, голодная сидите? Разве вас немцы заставляют?

— Вот именно заставляют, — сказала хозяйка.

— Ничего подобного. Вы сами взялись. Я вас предупреждаю: пока не поздно, отдайте им обратно.

— Что значит — «не поздно»? Да ты кто? Какое твое дело?

— А то, что вас будут считать фашистской прислужницей. Как вы станете оправдываться? Хотя бы — перед мужем? Он же у вас коммунист. Думаете, он вам простит?

Хозяйка кричала, гнала ее, плакала. Вернуть немцам «фрицевки» она не решалась, но и Клавы боялась. Казалось — чего проще отделаться от Клавы: стоило шепнуть кое-кому, и в тот же день ее забрали бы в гестапо, она исчезла бы навсегда. Толкни ее — она упадет, такая слабая, чего ее бояться, стукни — и не встанет... Однако это ничего бы не изменило. В том-то и сила ее была, и все это чувствовали. Она была не она, не Клава Вилор, или Катя, как называлась она в тех местах, она была всего лишь напоминание о долге. Ее воспринимали как нечто почти безличное, почти служебное, вестник, голос предостережения.

Она приходила к женщинам, которые работали при немецких столовых, прачечных, госпиталях, на дорогах, в мастерских, требовала саботировать, предлагала не выходить на работу. Некоторые соглашались, другие уступали, уstraшенные ее угрозами, третьи возмущались, кричали ей: а кто детей кормить будет? Она? Лозунгами их не накормишь. И листовку им не сваришь. Детям каждый день что-то надо жевать. Сама-то она небось чужой милостью кормится, не от Красной Армии довольствие получает.

Ее не щадили. Она понимала безвыходность их жизни, но глухо стояла на своем: нельзя работать на немцев. А дети? Как быть с детьми, со стариками, они, что же, должны помереть? Да, лучше помереть, издохнуть... Как же она может, мать она или изверг? А как они могут: ведь дети подрастут, им скажут — вот чем мать ваша занималась в войну, — так они вас проклянут, будут стыдиться.

Случалось, что ее ругали, гнали, а она твердила и твердила свое. У нее не было тогда еще никаких связей, одиночество в этих незнакомых ей местах угнетало

ее, и все же она продолжала действовать безжалостно, уверенная в своей миссии.

* * *

— Что-то тут не так, — говорит Клавдия Денисовна.

— Давайте исправим.

— По фактам все правильно, а вот... Неужели я не считалась ни с чем?

— Я ведь иду по вашим записям, которые вы делали спустя два года после войны. Есть еще ваши объяснения для парткомиссии, есть материалы проверки.

— Что ж, я и детей не жалела?

— Может, и жалели, а все равно требовали.

— Даже не верится.

— Это всегда так. Легче понять другого, чем самого себя. Вам кажется, что вы были не такая, но, может, это потому, что вы изменились, а та Клава Вилор осталась прежней.

— Скажите, разве так может быть, чтобы тогда было правильно, честно, а теперь за то же самое неловко?

— У меня так было.

— Может, мы все же тут насочиняли, может, вы от себя прибавили?

Я старался излагать факты, не оценивая их от себя, не делая выводов, не рассуждая о поступках моей героини, я ничего не сочинял, хотя ничего плохого нет в этом слове, литература — это всегда сочинение, сочинительство. Но по крайней мере я пробовал свести тут сочинительство на нет, как мог — вытравляя, вычеркивая. Полностью отстраниться я не мог.

С какого-то предела характер стал рассыпаться на факты, даты, поступки... Я перестал понимать своего героя. Чтобы понять, я должен был додумать, со-вместить, придумать — значит, все-таки сочинить, сочинить. Узнать было не у кого. От той военной поры у каждого сохранилась своя Клава Вилор, малая часть ее истории.

Мало-помалу она все же продвигалась ближе к фронту.

Шла от хутора к хутору, из села в село. Повсюду оставляла записки с адресами родных, чтобы в случае гибели сообщили о ней.

В селе Марфинка, уже Ростовской области, поселилась, совершенно случайно, как это всегда бывало, у Муратовой. Жила Муратова с тремя детьми в сенях своей горелой хаты, которую сожгли за то, что Марфа Семеновна Муратова прятала военнопленных. Еды не было, дети были такие слабенькие, что ходили, опираясь на палочки. Клава посоветовалась с Марфой Семеновной и пошла проситься на работу к местному врачу Погребной, в больницу. Амбулатория и больница обслуживали местное население и существовали за счет тех продуктов, какими расплачивались пациенты.

Клава выдала себя за медсестру. Вид у нее был ужасный — рваный сарафан, босые распухшие ноги забинтованы солдатскими обмотками.

— Я военнопленная. Медсестра. Помогите мне. Дайте мне работу.

Погребная вежливо отказала, посоветовала идти в тыл, там устроиться легче. Здесь, в прифронтовой полосе, немцы придираются, проверяют...

— Мне нужна работа у вас, — повторила Клава, глядя ей прямо в глаза.

Значительно и твердо сказала, что в тыл не пойдет, там ей делать нечего, ей необходимо быть здесь. Понятно?

В кабинете врача находились медсестры, все смотрели с опаской на эту оборванную просительницу с мрачно горящими глазами.

Погребная стала пояснять, что штатные места все заполнены, показывала какие-то бумаги, Клава отодвинула их, сказала, что ей необходимо поговорить с Погребной наедине, что она придет к ней вечером. Она заставила дать адрес, именно заставила, пользуясь тем, что ее боятся. Какая-то гипнотическая сила росла в ней.

Конечно, риск был, Погребная могла пожаловаться полицаям, вечером Клаву ожидала бы засада. Почему-то, однако, ей все сходило, ее не выдавали, чем требовательнее она держалась, тем надежнее она себя чувствовала.

Красная Армия наступала, самолеты сбрасывали листовки, сообщая, что наступление на Курском и Белгородском направлениях будет продолжаться, пока полностью не изгонят оккупантов. Ощущение приближающихся наших охраняло ее.

Придя к Погребной, она попросила удалить детей и рассказала Софье Алексеевне все про себя, вплоть до

того, что сбежала из гестапо, хочет перейти к своим, просит дать ей работу, чтобы пережить это время, а как будет возможность, она перейдет фронт.

Она говорила ровно, без всякой интонации, словно диктуя. Погребная не собиралась уступать. Она твердо стояла на своем. Вовсе не за себя она боялась. Как врач она прежде всего отвечала за больных в своей больнице, она не имела права подвергать их опасности, нанимая беглого политрука, которого ищет гестапо. Пострадал бы, несомненно, и лечебный персонал — медсестры, санитарки; есть, наконец, и у нее, у Погребной, дети, о них она должна думать.

У Погребной было много доводов, и все же она поддалась, против своей воли, против всякой логики. Согласилась взять медсестрой без оплаты, давать ей хлеб, яйца, огурцы, что получают от пациентов. Условие она поставила одно: не заниматься агитацией среди больных. Категорически. Чтобы не навлечь репрессий на персонал.

Клава обещала. Она согласилась охотно, мечтая лишь о том, как бы прокормиться и прокормить детей Марфы Семеновны. Легкое это условие оказалось, как ни странно, самым трудным. Для нее, для Клавдии Вилор. Она подсаживалась к больным, прежде всего мужчинам, и не могла удержаться, чтобы не прочесть им очередную листовку, прикидывая с ними, когда наши войска войдут в Марфинку: то ли в конце августа, то ли в начале сентября. Некоторые ей не верили. Она спорила, убеждала. Вскоре об этих разговорах стало известно.

Погребную вызвали в гестапо, расспрашивали про Клаву. Она вернулась бледная, напуганная, однако Клавды не выдала. Это был поступок. Она исполнилась самоуважения. Неприятности, которые Клава доставляла людям, все же окупались. Погребная потребовала немедленно прекратить разговоры с больными. Клава обещала, и опять у нее сорвалось. Тогда Погребная предложила покинуть больницу. Вот это Клава отказалась сделать. Софья Алексеевна Погребная не знала, как поступить. Прибегнуть к помощи властей — означало предать, донести, этого она не могла, но и рисковать больше она не имела права. Она требовала, она просила, умоляла Клаву ради своих детей. Непреклонность Клавды возмущала Погребную: ведь здесь же не на немцев работают, здесь лечат своих, русских людей, —

какое же оправдание есть у Клавды так жестоко вести себя? Право войны, отвечала Клава, на войне ничего нельзя жалеть для победы, ничего, все для победы, все!

Погребная заплакала. Наверное, она ненавидела Клавду в тот миг за бесчеловечность, и, вероятно, ее можно было ненавидеть. Но впоследствии Погребная всегда вспоминала о ней с уважением. Видимо, какой-то последней черты справедливости Клавдия Вилор все же не переступала.

Спустя несколько месяцев после прихода наших войск Софья Алексеевна прислала Клаве такое письмо:

«Добрый день, милая Клавдия Денисовна! Посылаю Вам характеристику, как бывшей сотруднице моей, медсестре русского лазарета.

Когда нас немцы выслали с Марфинки, я со своей сестрой ушла к родственникам, и, как только советские войска вошли, я сейчас же послала письмо командиру, в котором сообщала о Вас и просила оказать Вам помощь... Меня интересует, нашел ли он Вас... Итак, я до сего времени не могу забыть тех страшных ужасов, какие мы пережили в период оккупации. Никак не верится, что остались живы. Я очень рада, что Вы живы и дочь Ваша жива и здорова... Мой муж погиб в бою за социалистическую Родину в ноябре 1942 года и похоронен в г. Сочи, брат тоже убит. Единственное утешение, что Красная Армия быстро движется вперед. Работаю врачом в районной амбулатории.

*Всего Вам наилучшего.
Погребная».*

Все же Клава ушла из лазарета. Сама. Во время ночного дежурства надо было сделать укол больной. Клава не сумела это сделать. Больная умерла. Медсестры обвинили Клавду в этой смерти. Погребная защитила ее, заявив, что больную нельзя было спасти. После этого Клава решила уйти.

Все три медсестры ее не любили. Вместо ухода за больными они напропалую гуляли с немецкими офицерами. Посреди дня за ними приезжали на машинах, на мотоциклах. Никакие Клавины уговоры не действовали.

«Мы не с немцами гуляем, а с мужиками, — говорили они. — Вреда никому, а нам польза».

«Наше дело молодое, — говорили они, — незамужнее. Мы тебя не трогаем, и ты нас не зацепляй».

«Завидуешь? — говорили они. — На тебя, такую, конечно, не польстятся».

А у одной из них образовалась настоящая любовь с немецким капитаном.

Ничего подобного Клава принять не могла, называя их последними тварями, грозила, ругала, и опять же девки эти, не любя ее, понимали ее ненависть, не калялись, но и не мстили ей. И когда Клава уходила, по своему хотели помочь, устроить ее в немецкий госпиталь, где дадут паек, по крайней мере она спасется от голода. Обещали рекомендовать ее через своих дружков.

Нервы у Клавы не выдержали. Кажется, впервые за время своих мытарств она сорвалась. Затопала ногами, иступленно закричала, подняв кулаки: «Побираться пойду, издохну, а фашистскую сволочь лечить не буду! Стрелять их, а не лечить! Стрелять всех фашистов, душить, и раненых душить буду!»

Вопила на весь лазарет и такое, что за годы оккупации разучились произносить даже шепотом.

Голос ее гремел, вырывался в распахнутые окна, на улицу, запруженную военными грузовиками.

В кабинете врача все заткнули уши, зажмурились, не зная, что делать с этой бешеной. Испуг окружающих подхлестывал Клаву. Вкус слов запретных, потаенных опьянял. Она кричала, наслаждаясь своей, пусть минутной, безоглядной свободой. И злорадство владело ею, и торжество.

— Прекратите! Иначе я сообщу про вас в комендатуру, — сказала старшая сестра. — Вас не просто заберут. Вы понимаете это?

— Еще бы! Да только вы не сообщите.

— Это почему же?

Клава вдруг успокоилась, посмотрела на нее с жалостью:

— А как вы тогда жить будете?

Она знала, что втайне они ненавидят фашизм. Ей хотелось вызвать эту ненависть наружу. Хотя бы тем, чтобы заставить думать о будущем, том будущем, которое надвигалось вместе с грохотом бомбежек, с надеждой, с освобождением, справедливостью, возмездием.

Папка, набитая письмами, справками, характеристиками, отзывами.

Часть из них — документы, которые Клавдия Денисовна вынуждена была собирать в 1948—1949 годах, когда ее исключили из партии и она писала протесты в парткомиссию, в ЦК, собирала материалы, свидетельства, чтобы как-то опровергнуть нелепую формулировку обвинения: «...недостойное поведение тов. Вилор, которое выразилось в том, что сообщила в гестапо свою принадлежность к партии и службу в Красной Армии».

Ее товарищи возмущались несправедливостью, протестовали смело, писали: «Как коммунист заявляю, что с т. Вилор поступили жестоко, исключив ее из партии, тогда как она заслуживает награды и уважения за свой подвиг».

Вера Великая писала:

«Вилор К. Д. достойна высокой правительственной награды: она проливала кровь за Родину, вела себя всегда как настоящий коммунист, политрук».

Вместо наград были письма людей, с которыми она встречалась в долгой своей одиссее. Письма стали приходить сразу после освобождения Донбасса, они и ныне — как дорогая награда, может, самая дорогая. Подписаны они уже знакомыми нам именами, но иногда и неизвестными, теми, про кого Клава забыла упомянуть, а то и просто случайными знакомцами, которым врезалась в память эта женщина.

Больше всего писем деревенских, на тетрадных листках, разлинованных карандашом, сложенных треугольником, коряво написанных, полуграмотно, тесно, чтобы каждое местечко заполнить.

Каким-то образом узнавали, что она спаслась. И сама она разыскивала своих спасителей. Долго еще прибывали те записочки... Иногда приходили и такие письма:

«Здравствуйте, Клавдия Денисовна! Может быть, Вам покажется странным, кто пишет Вам это письмо. Может быть, Вы хорошо помните мою мать, которая помогла Вам выйти из немецкого тыла, — это Ксения Алексеевна Пискунова. Да, хорошая у меня старуха; видимо, спасая

Вас, она думала, что спасает меня, так как я была в тяжелые дни для Родины на фронте медиком и была тоже под Шахтинском, и под Изюмом, и под Барвенковым...»

А Клава тоже слала свои бумаги по многим адресам:

«Председателю Анастасиевского райисполкома.

Прошу оказать помощь семье военнослужащего, проживающего в селе Марфинка, колхоз им. Луначарского, Муратовой Марфе Семеновне.

В 1943 году, сбежав из гестапо, я пришла в Марфинку с целью соединиться с нашими передовыми частями. Меня приютила, поддержала, сохранила мою жизнь Муратова М. С., которая знала, кто я есть... Кроме меня, она, рискуя собою и своими детьми, сохранила жизнь многим военнопленным... В настоящее время Муратова М. С. находится в крайне тяжелом материальном положении. У нее нет жилья, она остро нуждается материально. Узнав об этом, я не могу ограничиться молчанием...

-К. Д. Вилор».

Это была та самая Марфа Семеновна Муратова, которая спасла до Клавы, как потом выяснилось, двенадцать советских военнопленных. Клава была тринадцатая.

К Муратовой и возвратилась Клава из лазарета.

Возвратилась в голод. Не позволяла себе взять ни кусочка у голодающей семьи. С утра уходила из дома в поисках работы. Однажды она попала к Цапиной, которая имела большой фруктовый сад. Клава нанялась работать в саду без всякой оплаты, лишь бы разрешали есть яблоки. Вечером она возвращалась к Муратовым, напихав за пазуху опадыши. По ночам вместе с детьми тащила по полям тачку, выкапывала бураки и везла их домой. Четыре свеклы в день на пять человек. Вот чем поддерживали жизнь в те времена.

Муратова выдавала ее за сестру Екатерину, которая действительно у нее была и жила в Таганроге. Впрочем, немцы не обращали внимания на это измученное, оборванное существо, ее почти не замечали, как не замечали старух побирушек, богомолков.

У Муратовой она познакомилась с танкистом по имени Дмитрий и получила от него задание узнать, где тут, в Марфинке или в Синявке, склад боеприпасов. Полученные сведения он должен был куда-то передать

по рации. До сих пор она, кроме имени, ничего больше не знает об этом советском разведчике.

Это было за несколько дней до прихода наших войск. Клавдия Вилор выполняла его поручения, наконец-то она занималась тем, чем занимались партизаны, народные мстители, тысячи патриотов в немецком тылу.

Много новых имен, судеб, историй снова возникает в ее рассказах, но этот поворот открывает следующее повествование, связанное с отступлением немцев, приходом нашей 28-й армии и с тем, как Клавдия Вилор возвращала себе свое единственное заработанное в войну звание — политрук...

Из этой новой ее жизни, может, надо сказать про то, как наши самолеты бомбили Марфинку и Синявку, и прежде всего склады боеприпасов, которые разведала Клава. Склады были взорваны в Анастасьевке, в Селезневке и большой склад во фруктовом саду у Цапиной. Пожар охватил всю Синявку. Рвались снаряды, горели машины, дома. Клава плясала от радости, не видя, не слыша, как Марфа Семеновна плачет, жалея родную деревню и своих односельчан.

В семье Колесниковых, которую она посещала, за эти два с лишним года оккупации подросли младшие сыновья, вошли в призывной возраст и жаждали что-то делать, идти в партизаны, воевать, потому что им стыдно было ждать, пока их освободит Красная Армия. Фронт приближался, нетерпение их возрастало. Клава успокаивала их — войны еще хватит на их долю. Немцы угоняли население, она уговаривала прятаться, днем с соседями уходила подальше от чужих глаз, в камыши.

«Обстановка в зоне Синявки заставила командира немецкой части собрать всех немцев и добровольцев русских и объявить район на осадном положении с круглосуточной усиленной охраной, боясь, что большевики могут сбросить десант.

Когда я узнала об этом распоряжении, я была вне себя, я все думала, что можно сделать для того, чтобы как можно больше насолить этим фашистским гадам. Знала, что командир немецкой части вовсе не подозревает, что во мне — грязной, завшивленной — народный мститель».

Это из ее записей, сделанных после войны. Народный мститель — она присвоила себе это звание, оно нравилось ей, оно отвечало самым сокровенным ее чувствам.

«Привет в Ставрополь с моего дома!!!

Здравствуй, дорогая и много раз уважаемая Клавочка!

Посылаю я тебе свой пламенный чистосердечный привет и желаю тебе наилучших успехов в твоей жизни, и жму я тебе и твоей дочери правые ручки. Дорогая Клавочка, мы тебя дожидаем каждый месяц в гости, а тебя все нет и нет, и не знаю я, когда ты уже приедешь, приезжай побыстрее... От Андрюши писем нет и нет. От папы и Феди писем нет. Клавочка, я как вспомню те дни, когда ты была у нас и ты пела нам песни, а мы слушали и волновались, так и сейчас сердце болит. И все вспоминаю свои и твои переживания и все, что мы пережили и говорили «отомстим». Клава, одних твоих врагов нет, Спиридона не слышно, где он, а про других я говорю всем, что вот скоро ты приедешь и отомстишь тому, кто за шкуру людей губил. Мы работаем и часто вспоминаем тебя в поле...»

Долго еще после войны ждали ее по хуторам и шахтерским поселкам во многих семьях. Ей бы надо было поехать. Если бы не дочь, не работа, не дела, связанные с исключением, а потом с восстановлением в партии, и если бы не болезнь...

Она была нужна. Ждали, что она приедет. Кого-то поддержит, утешит, с кого-то взыщет, кому-то подскажет, поможет.

Сохранились только эти письма, по ним можно восстановить ее переходы из семьи в семью, надежды, которые она оставляла, безверие, уныние, которые она исцеляла.

Каждый человек, каждая семья, хутор знал только часть ее истории, малую часть, связанную с ними, и лишь из писем, из воспоминаний, из материалов проверки восстанавливается нескончаемый путь этой изглоданной мучениями и ранами женщины. Босая, голодная, возникала она внезапно на пороге хаты, приведенная кем-нибудь, а чаще одна, неулыбчивая, со строгим иконописно-темным лицом. Исчезала на заре, в туманном холодке, в дорожной пыли или в снежной волчьей ночи. В памяти на годы оставался ее след, покрывался легендой. Считали, что она была кем-то послана. У нее была особая должность — советчицы, укорительницы, утешительницы. Она слушала. Она понуждала думать, верить. Она была как бы подразделением наших войск — не партизаном, не диверсантом, скорее всего

именно политруком. В сущности, она не сменила свою специальность: в рваном сарафане, без знаков различия, без аттестата и жалованья, она продолжала свою службу. Одним она внушала страх, другим — уверенность, третьим напоминала о долге.

Людям запомнилась она по-разному — как отчаянная, как суровая, как добрая, как неунывающая. Сохранилась, например, записочка: «Этот конверт исторический. Я его хранила восемь лет. Адрес мне продиктовала живая, веселая Клава. Если она жива, здорова, пусть она мне напишет по адресу...»

Значит, была и такая — веселая. Плакать она разучилась, оставалось одно — смеяться.

Внешний облик ее, черты лица, глаза, движения — все то, что составляет наружность, — забывались быстро. Ее не успевали рассмотреть. В ее облике не было ее самой, соответствия. Так в блокадном Ленинграде ничего нельзя было разглядеть в черно-копотных, обмороженных лицах женщин, голод превращал их всех в одинаковых старообразных, укутанных блокадников, где не отличить было ни возраста, ни красоты, память удерживала нечто общее, образ умирания и стойкости, предел человеческих мук и мужества.

Вера Великая писала ей: «Большое спасибо за фото, мне кажется, что я бы тебя сейчас не узнала».

Вера всматривалась в ее фотографию, совмещая это изображение с тем внутренним портретом, с тем характером Клавы, какой запомнился по полутемной камере.

«Бедная Клава! Сколько горя пришлось перенести тебе. Я думала, что теперь все будет обстоять прекрасно, но эта болезнь...» — писала Катя Анфимова.

Они воспринимали это как несправедливость. Они были разочарованы. Они так верили, что после Победы ее ждет счастье, спокойная жизнь, слава, нечто райское, недаром же она столько выстрадала. Кто же, как не она, должен быть вознагражден? Вместо этого на нее обрушились новые невзгоды. Война не отпускала ее. Появились приступы, если по-народному, падучей: она теряла сознание, падала, билась об пол. У нее были отбиты почки, она страдала реактивным неврозом. Недуги накиннулись на нее. Окончательно подкосило ее еще исключение из партии в 1946 году.

Оказалось, что Клава Вилор вовсе не железная, не легендарно неуязвимая, что она из того же мира, где живут и Колесниковы, и Алексеевы, и Муратова, что и

с ней могут обращаться не по заслугам, и она может быть слабой, обиженной, беспомощной.

Большинство ничего не узнало про ее беды. Они по-прежнему звали ее, ждали ее приезда. Она, как могла, скрывала свои неприятности. Не нужно, чтобы люди узнали про партийные ее дела. Не полезно. Тем более что должны были разобраться, все равно ее восстановят. Она хотела оставаться почти для всех, кто ее скрывал, кормил, спасал, счастливой, сильной. Пыталась казаться такой, какой они мечтали ее видеть: соответствовать. Пусть им будет приятно, что их усилия не пропали даром. Люди ведь больше всего любят тех, кому они сделали добро. Через Клаву Вилор многие из них приобщились к Победе, чувствовали какое-то оправдание своей жизни в оккупации, хоть в чем-то были сопричастны народной борьбе.

Клава рассылала письма, направляла ходатайства. На фотографиях, которые она посылала, рядом с ней были ее найденная дочь и муж-полковник. Она снова вышла замуж, все трое красивые, веселые — вполне счастливая семья. В конце концов, спустя десять лет, в 1956 году, когда ее восстановили в партии, все так и получилось, пришло в соответствие. Отпечатки прошлого сейчас в ее жизни еле заметны, остались малозаметные тюремные привычки. Например, она все время считает. Шагая по комнате, считает шаги. Считает ступени, поднимаясь по лестнице. Покупая, считает мандарины, считает пирожки, считает дни и часы.

Она не может смотреть фильмов о войне.

За исключением таких мелочей, это энергичная, деятельная женщина, которая воспитывает внушек, ведет хозяйство, принимает гостей. Никто из соседей, из нынешних знакомых не подозревает всего того, что с ней было. Да и близкие не знают подробностей.

Изредка, ночью, вдруг откуда-то из, казалось бы, наглухо запертых тайников вырывается не то стон, не то видение. Ров под Сталино, заполненный мертвецами. Машины привозят и сбрасывают погибших военнопленных. Тех, кто умер от ран, от голода. Многие еще живы, они шевелятся, когда немцы аккуратно посыпают ров хлоркой. Клава никак не может проснуться, она все стоит и стоит перед рвом, и к ней из-под белой шипящей известковой коры вылезают, тянутся руки...

И снова ее ведут к шурфу расстреливать...

Про эти сны она призналась случайно, когда речь зашла о предателях.

Армия продолжала наступление, а Клавдия Вилор осталась работать в полевом военкомате. Она обнаружила двух полицаев, которые выдавали советских военнопленных. На сборном пункте, куда приводили освобожденных военнопленных, она совершенно случайно обратила внимание на человека, который показался ей знакомым. Она стала присматриваться. Чем-то он был похож на того Виктора, старшину лагеря. На всякий случай она сообщила уполномоченному контрразведки. Его арестовали, устроили очную ставку с Вилор, и было установлено, что она не ошиблась, это и есть он, он самый, Виктор — мародер, истязатель, насильник, убийца. Его судили показательным судом.

С тех пор она целыми днями проводила на пункте сбора освобожденных военнопленных, стараясь выявить изменников. Она узнала и разоблачила Гапонова, Иваненко, Парамонова, двух врачей, нескольких полицаев — всего около двадцати человек.

Возмездие, жажда возмездия владела ею. Мечом карающим она себя чувствовала, за ров под Сталино, за шурфы, за все и за всех. Чем еще можно было ответить на все то, что она увидела и испытала?

Однажды в военкомат пришел старик и просил ее помочь вытащить девочек из подвала. Она отправилась с ним; взяли с собою четырех солдат. Девочки были его дочери, комсомолки. Когда пришли немцы, он выкопал в сенях неглубокую яму-подполье и спрятал их там. «Я бы выкопал глубже, — объяснял он, — так стала вода грунтовая проступать. Кое-как успел досками настлать». Они просидели в этом подвале больше двух лет. Кто же знал, что немцы столько пробудут. Теперь вот не выходят оттуда, боятся, не верят. Кормил он их тайком, спускал туда, в подполье, специально прилаженный ящик на веревках. В доме все это время жили немцы, и старик совсем извелся, он ни разу не мог туда спуститься к дочерям, ни разу не мог вывести на воздух. Он выглядел восьмидесятилетним стариком, совсем ветхим, хотя ему не было и шестидесяти.

Клава и так и этак уговаривала их выйти, кричала девочкам в подполье, что фашистов уже прогнали, что вернулась советская власть. Снизу доносилось неясное

шуршание. Поставили лестницу, солдаты спустились за ними. Там был такой запах, что один из солдат потерял сознание. Девочек вынесли на руках. Закрыли двери, окна, чтобы постепенно привыкли к свежему воздуху. На расспросы Клавы они еле шевелили губами, издавая не шепот, а еле различимый шелест. Длинные волосы их свалились и стали бесцветными. Совершенно прозрачные волосы, ничего подобного Клава не видела. Кожа свисала, сухая, бумажная. Старик отец не узнал, не мог различить их. Со всеми предосторожностями Клава отправила их в госпиталь. Она не знает, что стало с ними, они остались в памяти, какими их подняли из подполья.

Такое терзало душу. Не знаю, смогла бы она вынести все, что с ней было, если бы она позволила себе усомниться, пожалеть врага, если бы душа ее не затвердела от ненависти.

Судьба предлагала ей немало искушений, причем не обязательно бесчестных. У нее были возможности остаться на хуторах, устроиться работать и жить, как жили некоторые, приспособиваясь к обстоятельствам. Ничем не поступаясь, никому не во зло. Было на это, по-видимому, и моральное разрешение. Она была женщина, она обязана была думать о судьбе своей дочери, она была ранена, больна. Имелись разные самооправдания. Вполне уважительные. Она навидалась за эти месяцы достаточно слабостей у мужчин, у военных. Иные плакали, кончали с собой, смирялись, душевно ломались. Так что она тем более могла позаботиться о собственной жизни.

Она была одна среди этих хуторов, поселков, в том смысле одна, что никто от нее ничего не требовал. Если она что-либо решала, то сама для себя. Ей не у кого было спрашивать и не у кого было искать поддержки. Ей самой следовало находить свою линию поведения.

На что могла опираться ее душа? Каким таким свойством обладала ее душа?

Призвание? Особый дар, что совпал с ее званием политрука?

Лет двести назад она, может, стала бы проповедницей. Из подобных натур возникали святые, уходили в раскол, такие вели людей за собою проповедническим словом, примером.

Клавдия Денисовна Вилор верила не в чудо, а в справедливость и раздавала свою веру людям, у которых кончалась сила жить. В ней самой едва теплился огонек жизни, осталось лишь сознание своего назначения. И она брела от дома к дому, твердя, что мы победим. Ей не хватало фактов, доказательств, информации. Она действовала на мысли и на какие-то чувства, что есть, хранятся в каждом народе. Чем-то соответствовала той женщине-матери, в образе которой не случайно изображают Победу. Подвиги женщин всегда особые, будь то Орлеанская дева или Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина. Подвиг Клавды Вилор не обозначен поступком. У нее не было своей Голгофы. Подвиг ее растянулся на месяцы, это была жизнь, это был скорее не подвиг, а подвижничество. Она действовала одиноко, не имея ни задания, ни оружия, ни тайны.

Через историю Клавды Вилор я, наверное, старался понять собственное фронтовое прошлое. Когда я обернулся на свою войну, многое мне показалось невозможным, непонятно, как мы могли вынести такое, откуда мы брали силы. Человеку труднее всего увидеть самого себя и понять, каким он был много лет назад.

Мы знаем, кто мы такие сейчас, но не помним, какие мы были, на что мы были способны. И уж совсем забыли прошлые наши суждения. А ведь мы судили не так, как сейчас. Мы пришли на войну юнцами, и не мудрено, что иные из нас готовы были валить на старших вину за наше отступление, за неудачи первых месяцев. Я вспоминаю себя и нескольких ребят из нашего взвода: мы были несправедливы и бездушны; только позднее уразумели мы, что поколение Клавды Вилор приняло на себя главную тяжесть первого года войны. Некоторые из них, из старших, казались нам в чем-то ограниченными, закоснелыми, подобно генералу Горлову из печатаемой тогда в «Правде» пьесы Корнейчука «Фронт». Мы находили у старших черты Горлова. Они говорили лозунгами и по каждому поводу толкали речи. Они все оправдывали. Они были слишком прямолинейны. Были такие. Наверное, эти недостатки существовали. Каждое поколение имеет свои изъяны. Но стойкости мы учились у них. И мужеству, и убежденности. Что-то было в этом, теперь уже уходящем поколении, что-то завидное, цельное, что ныне, спустя десятилетия, стало виднее. Это

были исполненные веры люди, не знающие сомнения, и, может, именно эти качества, вместе взятые, помогли нам — и старым, и молодым — довести войну до победы.

В старых, потрепанных справках написано:

«На тов. Вилор Клавдию Денисовну мы, граждане поселка Марфинка, даем доверительные подписки.

...Она осторожно и умело сообщала об огромнейшей мощи и высокой технике Красной Армии и с большой точностью и уверенностью сообщала, что в последних числах августа 1943 года наш район будет полностью освобожден от фашистского ига, что в действительности и случилось».

Они читаются как справки о чуде, о верности, о любви, как справки, данные в оправдание прожитой жизни. Никогда я не думал, что подобные канцелярские справки существуют...

1975

СМЕРТЬ ИНТЕНДАНТА

Хозяйка резала хлеб.

Я не запомнил ни той хозяйки, ни избы, но как сейчас помню ее руку и длинные — полумесяцем — ломти с лаковой коркой. И горшок в зеленых цветочках, полный густой желто-белой сметаны.

Четвертый день наш полк выходил из окружения. Мы шли глухими проселками. Пыль тянулась за нами далеко, плотным облаком, в котором брели отставшие, ослабелые от голода и жары.

В полдень приказано было свернуть к деревне. Как это все произошло — не знаю. Может быть, вперед послали разведчиков, — мы тогда об этом не беспокоились. У нас был взводный, у нас был ротный и в голове колонны — командир полка и штабное начальство. Наше дело было солдатское: держись поближе к кухне и подальше от начальства, как учил Саша Алимов. Но поскольку никаких кухонь у нас не имелось, нужно было не теряться. Пока там чухались кого куда, Саша быстро сориентировался, и вот мы сидели с ним за столом и ели сметану.

Заглянул взводный.

— Пристроились? Вот это скорость, — сказал он. — Ладно, закругляйтесь — и ко мне. Я напротив. — Он вздохнул. — Вы, ребята, того... брюхо пожалейте. Потом замаетесь, по кустам бегавши.

Мы только промычали. Такой у нас был тогда штатский разговор, потому что все мы пришли в ополчение с одного завода и взводный наш был мастер с прокатки, хороший мастер, наверное за это комвзводом и поставили. Больше я ничего не слышал и не видел, я клал сметану на хлеб, сыпал себе соль прямо в рот, ел сметану с ложки. Ни о чем я в ту минуту не думал, иначе бы обязательно запомнил свои мысли, и говорить мы ни

о чем не говорили, мы были слишком голодны. С тех пор как кончились сухари, мы ели лишь то, что попадалось у дороги, — недозрелый овес, щавель, зеленую чернику, землянику, даже сырые грибы жевали.

Вдруг возле самой избы затрещал пулемет. Хозяйка вскрикнула. Послышался еще один пулемет, и подальше еще и еще...

— Немцы! — вот что крикнула хозяйка.

Какую-то секунду мы еще сидели за столом с набитыми ртами — пока сообразили, что у нас в полку не осталось пулеметов. Ни пушек у нас не было, ни пулеметов, только винтовки и гранаты.

Саша рванул в сени и сразу вскочил обратно:

— На огород давай!

Окно кухни, где мы сидели, выходило в огород.

— Вы уж простите, хозяйюшка, — успел сказать Саша и высадил прикладом раму.

Я выпрыгнул за ним, мы побежали, пригибаясь между гряд. Воздух свистел, прошитый пулями. Мы упали в картофельную ботву, перевернулись и увидели деревню. Огород спускался к речушке. Мы лежали на косогоре и впервые увидели эту деревню, вытянутую по гребню, и в просвете между избами тарахтел зеленый мотоцикл. Немец сидел в коляске и бил по нам сверху из ручного пулемета. Удобно сидел, а по дороге ползли бронемашины и лупили во все стороны, а в самой деревне взад-вперед носились мотоциклетки, и там тоже удобно сидели в колясках немцы. Впервые мы видели их так близко. Саша клацнул затвором и выстрелил в пулеметчика. Но, может, и не в пулеметчика, просто выстрелил туда, но выстрелил, и от этого я перестал смотреть на немца и тоже поднял винтовку, и приспособился за шестом пугала, за тоненьким шестом, жердиной, и стал стрелять. Пугало надо мной махало на немцев драными рукавами пиджака. Кепка с него слетела простреленная, а оно все махало, махало. Саша вытащил гранату, чуть приподнялся, швырнул ее, — это была ерундовая маленькая граната РГ, но мотоцикл отъехал за избу, пулемет умолк. Мы покатались вниз, нырнули в ивняк, перемахнули через речку и побежали к лесу. Сперва шло мелколесье, ольшаник, а дальше — лес, редкий, болотистый, но все-таки лес.

Где-то в кустах мы свалились. Я отдышался, осмотрел себя, показал Саше сумку противогаза; ее пробил в двух местах. Противогазы мы давно выбросили.

В сумке лежали гранаты. И — хлеб? Это был хлеб, который мы только что ели. Как я успел его туда сунуть, так я никогда и не понял.

— А могли бы взорваться? — сказал я, и мы захохотали. Хохотали изо всех сил, до слез хохотали.

— Здорово мы их шуганули, — сказал я. — Сколько ты выстрелил? Я раза четыре.

Мы воевали второй месяц. Окапывались, отходили, куда-то стреляли, но немцев мы по-настоящему не встречали и делали то, что приказано, — а тут мы стреляли без команды.

— А где твоя шинель? — спросил Саша.

Скатка осталась в избе. Я до того расстроился, что хотел возвращаться назад, в деревню. Еле меня Саша удержал. Все настроение у меня испортилось. Попадет мне за шинель. Да и как объяснить взводному?

Послышались звуки моторов. «Броневики», — сказал Саша, и мы стали забираться в глубь леса. Мох бесшумно пружинил под ногами. Надо было искать наших. Они не будут нас ожидать. Мы шли, винтовки наперевес, готовые теперь ко всякой внезапности.

Посреди брусничной прогалины мы увидели военного. Он сидел на пне. Фуражка лежала у его ног. Редкие седые волосы плотно слиплись. Наверное, он был из нашего полка, но я его не знал. В малиновых петличках у него была шпала и интендантский значок.

Мы так обрадовались, что бросились к нему, махнув на все уставы. Он посмотрел на нас и не пошевелился. Нам стало стыдно за свою панику. Я застегнул ворот гимнастерки. Как можно спокойнее мы спросили его: где наши?

Он пожал плечами. Мы ничего не понимали.

— Нет полка, — сказал он. — Разбежались.

— Как же так, — сказал Саша, все еще на что-то надеясь. — Ведь это ж полк. Командир полка. И наш взводный, Леонид Семенович...

— У меня его кружка и помазок, — сказал я.

Интендант не слушал. Он даже не смотрел на нас. Глаза его были словно обращены внутрь, как будто он что-то рассматривал внутри себя.

Мы ждали, пока он объяснит обстановку. Он был командир, правда интендант, но все же командир, кадровый. Теперь нам нечего беспокоиться.

Из деревни по лесу начали стрелять минометы. Интендант вытащил наган, рука его тряслась.

— Товарищи,— сказал он шепотом.— Помогите мне.

— Вы что, ранены?— спросил Саша.

Он покачал головой и сказал самым обыкновенным голосом:

— Пристрелите меня.

— Как так? За что? Да вы что? Пойдемте.

— Не могу,— сказал он.— Сердце.

— Мы поведем,— сказал Саша.

— Я не могу идти. Совсем. Сейчас немец будет прочесывать лес. Давайте скорей.— Он протянул Саше наган.

Саша отступил.

— Есть приказ,— четко, по-командирски сказал интендант.— Живым в плен не сдаваться! Знаете?— Рыхлый, грузный, он вдруг выпрямился, задеревенел.— Документы я закопал,— сказал он.

— Мы вас понесем,— сказал я.

Саша посмотрел на болотистый кочкарник, который тянулся неведь куда.

— Исполняйте,— сказал интендант,— эх вы, ополчение.

Несколько раз за войну я вспоминал этого интенданта. В голодную зиму сорок второго года, когда мы пухли в окопах под Пушкином. После прорыва блокады, когда наш полк — это был уже другой полк — ушел вперед, оторвался. Вспомнил на бетонном прусском шоссе, когда я командовал танковой ротой.

— Ополчение,— повторил интендант.

Старшим лейтенантом я понял, что он имел в виду. Ведь это был полк — почему же не выставили охранения, дозоров, как нас могли застать врасплох, как мы могли разбежаться без боя из-за нескольких мотоциклистов? Но тогда мы с Сашей Алимовым ничего этого не понимали.

— Едут,— сказал интендант, прислушиваясь. Ревели моторы. Возможно, неподалеку была дорога и по ней двигались броневики.— Товарищи... ребятки... есть же приказ...— И он заплакал. Он пробовал поднять, повернуть к себе дрожащее дуло нагана и не мог.

Страх его передался мне:

— А как же мы? А нам куда же?

— Перестань,— сказал Саша опасным от стыда голосом.— Пошли.— И он пошел, не ожидая меня.

— Стой,— сказал интендант.— Приказываю.

— Катись-ка ты...— сказал Саша, не оборачиваясь.

— Стой,— повторил интендант.— Стрелять буду!

Саша раздвинул ельник. Интендант вдруг вскинул наган и выстрелил. Саша подпрыгнул, упал, ломая ельник. Я стоял рядом с интендантом. Мне ничего не стоило вышибить или просто отнять у него наган. Вместо этого я стоял и одурело смотрел на него — как он выстрелил, потом положил руку на сердце, сидя все так же прямоугольно. Саша выругался, я кинулся к нему, в глубь ельника. Пуля не зацепила его. Мы постояли, прислушиваясь. Станные звуки донеслись с прогалины. Не то всхлипы, не то полузадушенный стон. А может, мне это показалось? Я ни о чем не спрашивал Сашу. Мы старались не смотреть друг на друга. Потом мы шли, сохраняя азимут нашего полка, чтобы солнце оставалось справа. Иногда мы останавливались, отдыхая, прислушивались. И через час, и через два мы все еще слушали тишину за нашими спинами. К вечеру мы встретили двух солдат из нашего полка. У них был компас, и теперь мы могли двигаться точно на Ленинград. Ночевали в лесу. Я лежал, прикрытый полой алимовской шинели, и все еще прислушивался, пока не заснул.

После войны День Победы был нерабочим днем. Бывшие солдаты надевали свои ордена, медали, гвардейские значки и ходили на вечера, или просто в пивные, или культурно — в гости.

Меня пригласили на завод, посадили в президиум. В антракте я спустился в буфет. Там я увидел Сашу Алимова и с ним какого-то парня на костылях, тоже из ополчения. Мы заказали «Московскую» и пиво.

— Будем вспоминать?— сказал Саша.

— А почему не вспомнить,— сказал инвалид.— По крайней мере, я тогда стоящим делом занимался.

— Ты помнишь того интенданта?— спросил я Сашу.

— Какого интенданта?— спросил инвалид.

— Был такой интендант,— сказал Саша.— Героический командир. Некоторые умилялись.

— Это я, что ли, умилялся?— сказал я.

— Забыл? Забыл, как всех воодушевлял, когда по лесу шли? В пример ставил. Во исполнение приказа — живым в плен не сдаваться.

— Точно, был такой приказ, — сказал инвалид. — От такого приказа, случалось, больше драпали. Кое-кто. У нас был случай...

— погоди, — сказал я. — Неужели я это говорил?

Я ничего такого не помнил. Удивляясь, я слушал, как Саша рассказывал про меня.

— Сознайся, когда мы в болоте застряли, ты тоже небось подумывал, — сказал Саша.

— С чего ты взял?

— А с того, что я сам об этом подумал.

— Ты? — сказал я. — Думал? Ты кричал, а не думал.

— Чего это я кричал? — спросил Саша Алимов.

— Всю дорогу ты ругался и кричал, что не желаешь больше. Что раз так, ты не желаешь.

— Естественно, — сказал инвалид.

— Странно, — сказал Саша.

И он так сказал это, что я не стал говорить, как он плакал.

— Вот тебе и шутки-баламутки, — сказал инвалид. — У командиров, у них пистолет, а солдату попробуй из винтовки, застрелись. Конечно, в общем и целом приказ помогал. Вот после войны у меня было положение...

— Такие мы тогда были мальчики, — сказал Саша. — Ладно, выпьем за них.

Мы выпили.

— Штука этот ваш интендант, — сказал инвалид. — Как его фамилия?

— Не знаю, — сказал я.

— У нас там тоже был один такой.

— Ты что, был в нетях? — спросил я.

— Вот чудила. А про что я толкую? Выясняли, почему, мол, в плен попал. А дело было так. Когда нас прижали под Старой Руссой...

И он стал рассказывать нам свою историю.

1965

МОЛОКО НА ТРАВЕ

Нас осталось четверо. Саша Алимов еще хромал, раненный в ногу. Мы по очереди помогали ему идти. Оно было бы ничего, если бы Валя Ермолаев не проваливался. Он был такой грузный и большой, что кочки не дер-

жали его. А путь наш лежал через болота, и мы часто останавливались и тащили Ермолаева за ремень или протягивали ему жердины. Измученные, мы потом лежали на кочках.

— Это парадокс: ничего не жрет, а такая же туша, — злился Махотин. — Почему ты не худеешь?

— Бросьте вы меня, — ныл Ермолаев. — Не могу я больше.

— Надо было сказать это раньше, тогда б мы тебя не тащили.

Лежать долго было нельзя, кружилась голова от дурманного запаха багульника и болотных трав. Надо было подниматься и снова брести, опираясь на винтовки.

Хорошо, что ночи стояли светлые. Мы шли и ночью. На четвертую ночь мы выбрались в сухой березняк и увидели огни и слышали голоса. Голоса были женские. Мы подошли ближе. Сперва нам показалось, что это табор. Стояли телеги, плакали ребятишки. Говорили по-русски. Это были погорельцы. Бабы и старики. Деревня сгорела, и они ушли в лес. Спали в телегах. Днем хоронились, а ночью рыли землянки, варили картошку.

Когда мы вышли на свет костра, женщины испугались.

Мы стали совсем страшные на этих болотах, волосы в тине, гимнастерки, штаны — бурые от ржавой воды. Морды заросшие. Только винтовки мы держали в порядке, мы обматывали их тряпками, поднимали их над головой, когда лезли в трясину.

Мы сели погреться и сразу заснули. Проснулся я в землянке, на овчине. Это была не землянка, а какая-то нора. Не сравнить с нашими фронтовыми землянками, сделанными саперами. Низкая, без нар, стены земляные, пол земляной. Вместо двери висели два половика. Старуха и женщина лет тридцати сидели на полу и месили тесто в бадейках. Женщина заметила, что я проснулся, и дала мне печеной картошки. Я лежал, ел картошку, а она рассказывала про свое житье. Вечером они собирались пойти на пожарище поискать листы железа. Надо печки складывать. Я спросил, зачем печки. Она посмотрела на меня. Они были очень похожи, видно, мать и дочь. К холодам надо готовиться. Ночи холодные скоро пойдут, а там и дождить станет.

— Что ж вы, в деревню не вернетесь?

— Пепелище там, — сказала старуха.

— Наша деревня-то у самого шоссе. От немца там замучаешься,— сказала дочь.

Был август сорок первого года. Я ни разу еще не подумал о том, сколько может продлиться война. Даже в голову не приходило. И никто у нас тогда не задумывался. Мы никогда не говорили об этом. А эти бабы думали. Они знали, что придется зимовать и надо сложить печи и приготовиться к зиме. Я слушал их и впервые задумался, что же будет с ними и со всеми нами зимой.

— А куда вы идете, может, в Питере немцы,— сказала старуха.

— Не знаю,— сказал я.— Может быть. Только все равно нам надо идти.

— А то остались бы. Помогли бы нам печи сладить.

— Нет,— сказал я,— нам надо идти. Винтовка где моя?

— Я запрятала,— сказала дочь.

В это время в землянку влезли Махотин и Саша Алимов.

— Что делать будем?— сказали они.— Есть такое мнение — задержаться.

— Надо бабам помочь,— сказал Махотин.— И вообще...

— Картошечка, витамины,— сказал Саша.— И тэ пэ.

— А где Ермолаев?— спросил я.

— Ермолаев влюбился и чинит ей сапоги.

— Полное разложение,— сказал Саша.

— Вот печки просят сложить,— сказал я.

— Это я умею,— сказал Махотин.

Потом в землянку втиснулся дед. Он ходил искать коров и не нашел. Стадо куда-то потерялось при бомбежке, и сколько дней все ищут, ищут его и так и не нашли.

— Видать, немец порезал,— сказал дед.— Без коров пропадем.

Дочь всхлипнула, хотела высвободить руку из теста и не могла, тесто тянулось за ней, тянулось...

— Между прочим,— сказал Саша Алимов,— как у вас, кобылицы есть? Я вас могу насчет кумыса научить. Нет, серьезно.

Они с дедом о чем-то пошептались и выползли из землянки.

Денек был туманный, теплый. Отовсюду доносился приглушенный осторожный шумок. Звякали чугуны,

потрескивала береста. Тут было семей пятнадцать-двадцать — все, что осталось от деревни. В корыте, подвешенном между двух берез, стонал больной ребенок. Мать качала люльку.

— Может, кто из вас врач? — спросила она.

Среди нас не было врача, мы все были с одного завода. Из разных цехов, но с одного завода. Мы ничего не понимали в медицине. Когда у Саши Алимова рана начала гноиться, мы просто вырезали ему кусок ножом, а потом прижгли. Вот и вся была наша медицина.

Ермолаева я нашел под телегой, возле самовара. Ермолаев лежал, положив голову на ноги красивой бабе в тельняшке. Она была такая же рослая, как и он. Она гладила его волосы, и на траве лежали чашки, и пахло самогоном.

— Вот, Таисья, наш красный командир идет, — сказал Ермолаев. — А ему невесту найдешь? — Он пробовал подняться и не мог.

— Не знаю, как так вышло, — сказала женщина. — Всего полстаканчика и выпил. Видать, ослаб.

— Точно, ослаб, — сказал Ермолаев. — Во всех смыслах ослаб я. А Илья где?

— Здесь.

И тут из-за кустов вышел босой парень с перевязанной рукой.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — ответил я. — Раненый?

— Было дело, — неопределенно сказал парень.

Мы сели. Парень достал бутылку:

— Выпьете?

Тут подошел Махотин. Он взял бутылку, поболтал, понюхал, отдал мне. Я тоже понюхал, потом посмотрел на Ермолаева и отдал ее парню.

— Дезертир? — спросил Махотин.

— Вроде тебя, — сказал парень. — Мне в госпиталь надо.

— Зачем тебе в госпиталь, оттуда тебя через неделю выпишут. А тебе тут лафа. Один наряд — баб обслуживать.

Парень засмеялся. Он не хотел ссориться, он хотел, чтобы мы остались в этой деревне. Он уже был в окружении под Псковом. Потом, когда они выбрались, их долго расспрашивали — почему да как... Теперь он боялся возвращаться. В партизаны — пожалуйста. Да и куда возвращаться?

Мы с ним тогда не спорили. Мы сидели и мирно пили чай и толковали про немцев, и про наших командиров, и про здешние леса.

— Я бы лично остался, — сказал Махотин.

И я бы остался. Мы рассказывали друг другу, как хорошо было бы остаться. Хотя бы недельку. Отоспаться, и подкормиться, и помочь бабам... Только теперь мы начинали чувствовать, как мы измотались.

Илья налил полный стакан самогонки, протянул мне:

— Раз остаетесь, можно выпить.

— Да, — сказал я, — тогда можно было бы надраться будь здоров.

— Нам сейчас много и не надо, — сказал Махотин. — Видишь, как этого бегемота укачало.

Илья пододвинул ему стакан.

Мы смотрели на этот стакан. Кто-то прицокнул языком. Это был Саша Алимов, мы не заметили, как он появился со своим дедом. Кругом нас стояли бабы и ждали.

— Ежели идти, так сейчас, пока туман не согнало, — сказал старик. — Вам шоссе переходить.

— Эх, дед, что ты с нами делаешь, — простонал Ермолаев. — Ребята, больной я, что ж это происходит, люди... — Он встал, чуть не плача, и шатаясь побрел куда-то.

— Ты смотри, — сказал мне Махотин. — Похудел наш Ермолаев. За одну ночь похудел. Загадка природы!

Ермолаев вернулся, неся все наши четыре винтовки.

Илья посмотрел на нас и выпил стакан самогона. Взяв винтовки, мы смотрели, как он пьет, запрокинув голову. Он вытер губы и сказал нам, хмелея на глазах:

— Пролетариат. Нет в вас корня земляного. Бросаете товарища своего.

Мы распрощались. Ермолаев обнял свою знакомую.

— Адреса нет у тебя, Таисья, — сказал он. — Вот что худо. И у меня нет. Нет у нас с тобой никаких адресов.

Ермолаев снял пилотку и низко поклонился:

— Простите нас, дорогие товарищи, женщины и дети.

Мы тоже поклонились. Мы не знали тогда, что за война ждет нас, не знали о мерзлых окопах, о блокаде, о долгих годах войны. Мы ничего не знали, но мы уже чувствовали, что уйти отсюда просто, а вернуться нелегко.

Женщины смотрели на нас сухими глазами. Покорно и молча. Никто больше не уговаривал нас и не осуждал. Таисья во все глаза смотрела на Ермолаева, прижимала к себе сапоги, они блестели, смазанные жиром.

— Возьми сапоги-то. Возьми,— сказала она.

Ермолаев замотал головой:

— Не возьму.— Он притопнул босой ногой.— Я привыкший.

— Обуйся,— сказал я.

Ермолаев обнял меня за плечи:

— Может, шинели им оставим? А? Мы и так дойдем. А им зимовать.

— Обуйся,— сказал я.

Он отступил.

— Сердца в тебе нет!— крикнул он.— Бюрократ.

Ребята смотрели на меня, как чужие. Они тоже готовы были снять с себя сапоги и шинели, я чувствовал это. Я протянул руку и взял сапоги.

— Не трогай!— закричал Ермолаев.

Я бросил ему сапоги.

— Надевай,— сказал я.— Или оставайся тут.

Я пошел, не оборачиваясь. Потом я услышал, что за мной идут ребята. А потом услышал, как нагнал нас Ермолаев.

Через час мы добрались к шоссе. Еще не доходя до шоссе, мы пересекли ту погорелую разбитую деревню. Беленые русские печи высились, широкие и могучие, среди выжженной земли. Сохранилась околица — кусок изгороди с воротами, закрытыми на веревочное кольцо.

По шоссе ехали мотоциклы и машины. Мы лежали в кустах. Машины ехали не торопясь, потому что туман еще не сошел, но нам-то казалось, что не торопятся они потому, что уже некуда торопиться. Такие у нас были тогда горькие мысли.

Наконец мы проскочили шоссе и снова шли лесом. Под вечер на закате мы вышли к речке, к стоптанному лужку за омутом. Здесь мы увидели коров. Вернее сказать, что они увидели нас. Они бросились к нам. Не подошли, а подбежали. С десятков коров и молодой бычок. Подбежали, мыча и толкаясь. С ними никого не было. Они глядели на нас и мычали.

— Недоенные,— сказал Ермолаев.— Молоко горит. Страшное дело.

Он наклонился, потрогал ссохшиеся соски. Через минуту, зачерпнув в котелок воды, он, приговаривая, ловко обмыл вымя у беломордой пеструхи. Корова вздрогнула, когда он, осторожно оттягивая соски, начал доить.

— Дай-ка мне,— сказал Махотин,— а ты другую готовь.

Ермолаев подготовил и мне.

— Ты обеими, обеими руками, по очереди,— учил он.

Только Саша Алимов не мог доить, потому что мешала больная нога.

Сперва мы доили в котелки и тут же пили молоко, а потом доили про запас. А потом некуда было доить.

— На землю,— скомандовал Ермолаев.

Мы стали доить прямо на землю. Молоко лилось нам на сапоги, впитывалось, разливалось лужицами. Мы все доили и доили. Трава торчала из белых парных луж. Молочные ручейки стекали в омут.

— Наверное, это их коровы,— сказал Саша.

— Слушай, командир, отведем? Отведем скотину, а?— попросил Ермолаев.

— Как же ты погонишь через шоссе?— сказал я.

— Давайте так,— сказал Махотин.— Кто-нибудь смотается туда, приведет мальчонку или кого из баб, а там уж пусть они сами переправляют.

Я прикинул — выходило, нам надо задержаться почти на сутки.

— Невозможно,— сказал я.— Не имеем мы такого права.

— Пропадут ведь,— сказал Ермолаев.— Понимаешь, скотина пропадет.

— Что там скотина, детишки пропадут,— сказал Махотин.

— Вот что,— сказал я.— Ищите себе другого командира. Давай, Ермолаев, становись за командира. На черта мне это сдалось. Хватит. Ты кем был на заводе? Член завкома? Вот и командуй.

— Не дури,— сказал Саша.

Но я лег на траву и вытянул ноги.

— Бюрократ,— сказал Ермолаев.— Куда мы бежим? Куда, я тебя спрашиваю?

Я смотрел на небо, на облака, которым было все равно куда плыть.

— Ладно,— сказал Ермолаев.— Черт с тобой.

Коровы щипали траву, но как только мы двинулись, они пошли за нами. Махотин отгонял их, махал винтовкой, а они перлись за нами сквозь кусты и буреломы.

— Надо пристрелить их,— сказал Махотин.

— Я тебе пристрелю!— сказал Ермолаев.

— А есть такой приказ, ничего не оставлять врагу.

— Ах, приказ,— вдруг сказал Саша.— А детей оставлять врагу — такой приказ тоже есть?

Махотин отодвинулся за мою спину.

— Что ты психуешь?— сказал он.— Значит, по-твоему, пусть они немцам останутся?

— Кончай разговоры,— сказал я.— Идите.

Они пошли, а я остался с коровами. Потом я побежал от коров в другую сторону, перепрыгивая через пни.

Запыхавшись, я догнал ребят и сменил Махотина, который помогал идти Саше Алимову.

...К утру мы перешли фронт где-то у Александровки и спустя час разыскали в Пушкине штаб нашей дивизии.

1965

СОЛДАТ НА КП

Согласно приказу армии, танковая дивизия должна была обеспечить выход к переправе.

Артподготовка не удалась. Не хватило снарядов. Колонна со снарядами застряла под Старой Руссой, где разбомбили мост.

Согласно приказу дивизии, полк Голубцова должен был овладеть предмостными укреплениями.

После первых же попыток выйти из рожи, что тянулась низиной до самого берега, были подбиты две машины, и Голубцов понял, что вся затея безнадежна.

Он сидел на КП у радиации и пытался связаться с командиром дивизии. КП помещался в бывшей немецкой землянке, единственной на этом болоте. Но еще раньше в этой землянке стояли наши минометчики. От наших на стойках остались росписи химическим карандашом, от немцев остались гранаты на длинных деревянных ручках и открытка с какой-то девкой, пришпиленная к доскам нар.

Голубцов занимал глухую половину землянки, отделенную плащ-палаткой. Над столом Голубцова горела фара, подключенная к аккумуляторам. От близких разрывов болотная земля вздрагивала, песок толчками сыпался из щелей наката. Он сыпался на фуражку Голубцова, на карту, в тарелку со шпротами.

Молоденький радист сидел на ящике и смазывал умформер, не переставая твердить в микрофон: «Василек, Василек, я Сирень, я Сирень». Масленка в его руках звонко щелкала, и это раздражало Голубцова так же, как его беспечный голос.

— Долго ты будешь тыркаться? — сказал Голубцов. Радист посмотрел на него, сдвинул наушники.

— Слушаю, товарищ майор.

— Связь давай, связь! — закричал Голубцов и выругался.

Радист сморщился, прижал наушники и вскочил.

— Второй слушает.

Лампочка мигала в такт словам Голубцова.

— Кончай, — сказал командир дивизии. Они воевали вместе уже год, и Голубцову стало ясно, что командир дивизии больше ничего сделать не может.

— Топчешься, топчешься, — сказал командир дивизии. — С ходу, с ходу прорывайся. Ну огонь, ну огонь, а ты как думал? — И оттого, что он ничем не мог помочь Голубцову, голос его накалялся. — Ты как думал, бубликами тебя встретят? Какого черта застряли! В штрафную захотел?

Голубцов тоскливо смотрел на мигающую лампочку. Комдив говорил ему все то же самое, что сам Голубцов только что говорил командиру первой роты. Немцы остановили полк справа, и теперь вся надежда была на полк Голубцова.

Он вызвал командиров рот. Командир первой сообщил, что загорелась соседняя машина.

— Где артиллерия? — спросил он. — Товарищ майор, где артиллерия?

— Ты сам артиллерия, нет артиллерии, — сказал Голубцов. — Догадываешься? Правее забирай и вперед с ходу.

— Некуда вправо. Болото, — сказал командир роты. — Там совсем... — Он выругался и самовольно отключил связь.

И хотя он вроде бы руганул болото и артиллерию, но Голубцову ясно было, что все это относится к нему, ко-

мандиру полка, который ничем не может помочь и талдычит все то, что сам комроты видит и знает лучше его. Единственное, чего комроты не знал, так это про полк справа, но и это знание не могло помочь там, на болоте.

Радист спросил: вызвать ли снова первую роту?

В глазах его была усмешка.

— Помолчи! Ты мне еще тут... — крикнул Голубцов. Он закурил и стал тянуть жадно, глубоко, так, что голова закружилась. Откинув плащ-палатку, он вышел к связистам. Там пищали зуммеры телефонов, кого-то распекал помпотех. Очки прыгали на его носу, одно стекло было разбито, и глаз в пустой роговой оправе прицелился на Голубцова черным зрачком. Голубцов тяжело задышал, его качнуло, он схватился за стойку и увидел на нарах солдата. Солдат сидел, сняв сапог, перематывал портянку. При свете коптилки была видна белая ступня с желтоватой пяткой. Солдат громко жевал и смеялся.

— Ты чего? — Голубцов выплюнул папиросу. — Ты чего?

— Да вот, — солдат показал на картинку с голой девкой, подмигнул и снова хохотнул.

Голубцов задышался:

— Ты... ты...

Солдат всмотрелся, вскочил, сдвинул ноги — босую и в сапоге.

— Товарищ начальник...

— Прячешься? Портянку мотаешь, придурок, — сказал Голубцов. — Молчать! Откуда? Чтоб духу твоего... К автоматчикам! Стрелять! Марш! Бегом!

Он кричал и кричал, уже не слыша своих слов, чувствуя только блаженное забытие.

Из-за плащ-палатки выглянул радист.

— Товарищ майор, вас двадцать третий.

Голубцов круто повернулся, радист попятился и щелкнул масленкой.

Взяв наушники, Голубцов стоя слушал начальника штаба армии.

— Па-а-чему не двигаешься? Ты что, операцию хочешь сорвать? Отсиживаетесь? Думаешь, я тебя не раскусил! Где машины? — Голубцов придвинул карту, наугад ткнул в бледно-зеленый квадрат. — Правее заходи, правее! — закричал начальник штаба.

Какую-то секунду Голубцов медлил, так просто было сказать «Слушаюсь», и податься вправо, и залезть в бо-

лото, откуда не выбраться, и сохранить машины и людей. Но он вспомнил командира первой роты.

— Нет,— сказал он и стал объяснять.

— Я тебе застряну! Имей в виду, милый мой,— ласково сказал начальник штаба,— не обеспечишь — под трибунал пойдешь. Танкисты-гвардейцы, так вас... Я тебе приказываю с ходу прорываться. Понятно? На полном ходу.

Голубцов представил, как по белой шее начальника штаба ходил острый кадык. Представил себе его пахучую трубку, и желтый прокуренный палец над этой трубкой, и веселые усики. Больше всего на свете Голубцову хотелось сказать сейчас все, что он думает про этот бой и про начальника штаба. Но он ничего не сказал и не понимал, почему он не может сказать, и от этого ему стало еще тяжелее.

Он положил наушники и зачесался. Тело его зудело. Он чесался, раздирая кожу.

Вбежал старший адъютант. Сообщил, что подбиты еще две машины.

— Ну и что? — сказал Голубцов. — Ну и что? В штаны наложил? Мне переправа нужна. Переправа. Машины подбитые потом сосчитаем. Сам сосчитаю. Слыхал? Отправляйся.

— Товарищ майор, нужно хотя бы...

— Молчать,— сказал Голубцов. — Отправляйся.

Старший адъютант посмотрел на него грустно и сочувственно. Он повернулся, щелкнул каблуками. Понеслось, как хлопнула дверь землянки. Голубцов перечеркнул на карте еще два ромбика. Надо было связаться с командирами рот, но он не знал, что им сказать. Наступил тот предел боя, когда слова стали бесполезны, и нечем было ободрить, и нечем было угрожать. Начальство дивизии и армии могло кричать на него, ему кричать было уже не на кого.

Внезапно наступила тишина, короткая пауза, какой-то обрыв, и Голубцов услышал, как кто-то за плащ-палаткой говорил:

— ...дымится наш-то, голубчик, погорит...

Когда его позвали к телефонистам, он увидел, что все в землянке изменилось. На нарах лежал старший адъютант и хрипел. Гимнастерка его была задрана, рубаха залита кровью, санитар прикладывал тампон к животу. Вместо четырех телефонистов остался один, он быстро и уныло повторял: «Резеда, Резеда». На полу

валялись катушки с проводами, чьи-то вещевые мешки. Из полураскрытых дверей вползал дым.

Голубцов наклонился к старшему адъютанту.

— Молодец, — сказал он. — Ты молодец. А наши-то все-таки вышли к переправе.

Адъютант открыл глаза и посмотрел куда-то далеко-далеко.

Голубцов выпрямился, огляделся. В темном углу он увидел солдата. Солдат сидел на нарах и аккуратно наматывал портянку. Рядом стоял котелок. Зеленая краска облупилась, пятнами светился алюминий.

Голубцов глубоко вздохнул и улыбнулся. Не переставая улыбаться, он подошел к солдату, схватил его за борт шинели. Солдат податливо поднялся.

— Ты что же это не выполняешь, — сказал Голубцов.

Почему-то солдат оказался высоким и сутулым. Голубцов все силился рассмотреть лицо солдата, оно расплылось среди желтого полумрака, и он видел лишь черную дыру рта, она то исчезала, то появлялась, обдавая его спокойным махорочным запахом.

— Я тебе покажу, сучий сын, как укрываться, — сказал Голубцов и вытащил пистолет. — Я тебе покажу, как портянки мотать.

Он толкнул его вперед к выходу. Солдат подхватил одной рукой сапог, другой винтовку. Голубцов шел сзади, толкая его пистолетом в спину. На лестничке портянка у солдата размоталась, он нагнулся и подоткнул ее.

Только они вышли, выглянул радист.

— Товарищ майор! Где майор?

В это время совсем рядом ухнул снаряд, все зашаталось. Снаружи что-то закричали, радист выбежал.

Вскоре он привел Голубцова, перепачканного землей. Несколько секунд Голубцов стоял, прислонясь к косяку, закрыв глаза, и рука его с пистолетом крупно вздрагивала.

Наступление захлебнулось. Восемь машин, все, что осталось от полка, пятились в глубь рощи. Командир дивизии приказал Голубцову лично на командирской машине повести их к переправе с исходного рубежа второго полка.

— Чего молчишь? — сказал комдив. — Немец на исходе. Что я тебе могу... свою машину? Посылаю. Чего молчишь?

— Ладно,— сказал Голубцов.

Затем его вызвал начальник штаба армии.

— Все торчишь на КП? Приказ не выполнил! Все чухаешься? Рядовым пойдешь! Я тебе покажу...

Через полчаса Голубцова вытащили из разбитой машины и принесли в землянку. Ему раздавило грудь. Его положили на нары рядом с мертвым старшим адъютантом. В землянке стонали обгорелые, раненые танкисты. На полу лежал с разбитым бедром командир первой роты. В руке у него был оптический прицел, и он колотил им по доскам.

Голубцов открыл глаза. У своих ног он увидел солдата. Согнувшись, солдат что-то делал со своей ногой. Голубцов приподнялся на локтях. Солдат стянул сапог, содрал слипшуюся портянку, расправил ее и начал вытирать большую белую ступню.

Голубцов засмеялся, голова его упала. Серая суконная спина солдата быстро увеличивалась и закрыла все. Когда Голубцов очнулся, он увидел над собой открытку с голой девкой, длинные ноги ее были раздвинуты. Он не чувствовал боли. Внутри у него становилось пусто, как будто там уже ничего не было и нечему было болеть.

Он скосил глаза. Солдат аккуратно обертывал ногу портянкой, разглаживая каждую складку.

— Я ж тебя расстрелял,— сказал Голубцов.— Ты ж убит.

Солдат повернулся к нему, прислушался.

— Эй, санитар!— крикнул он.— Начальник ваш пить просит.

Перешагивая раненых, подошел санитар, посмотрел.

— Кончается, видно,— сказал он.— И эвакуировать нельзя.

Солдат натянул сапог, притопнул ногой, наклонился, поднял гранату.

— Немецкая,— сказал санитар.— Зачем тебе?

— Свои кончились.

Радист выскочил из-за плащ-палатки.

— Форсировали! Товарищ майор...

— Все,— сказал санитар.— Не слышит майор.

— Эх, черт... не успел,— с досадой сказал радист.— Наши-то все-таки форсировали, у Замошья. Выходит, теперь ему и не узнать? — Удивляясь и все еще недоумевая, он уставился на санитаря. Тот махнул рукой, отошел к раненым.

Радист, мрачней, посмотрел на солдата.

— Пехота,— сказал он,— помоги-ка мне рацию погрузить.

Они потащили рацию наверх.

Болотистая с кривыми низкими сосенками роща дымилась.

— Молодой был?— спросил солдат.

— Немолодой, но отчаянный был. Жаль его, мы ведь с ним...

Солдат оступился и выругался.

— На кочках этих ногу сотрешь в момент,— сказал он.— А у меня плоскостопие.

Они погрузили рацию на танк, радист вскочил на броню.

Танк двинулся, подминая сосняк, выплевывая мшистый торф из-под гусениц. Солдат посмотрел ему вслед, подоткнул полы опаленной, искровавленной шинели и захлюпал по тропке к сборному пункту.

1964

ПЛЕННЫЕ

Ночью было видно, как горел Ленинград. Издали пламя казалось безобидным и крохотным. Первые дни мы гадали и спорили: где пожар, что горит,— и каждый думал про свой дом, но мы никогда не были уверены до конца, потому что на горизонте город не имел глубины. Он имел только профиль, вырезанный из тени. Прошел месяц, город все еще горел, и мы старались не оглядываться. Мы сидели в окопах под Пушкином. Передний край немцев выступал клином, острие клина подходило к нашему взводу совсем близко, метров на полтора-два. Когда оттуда дул ветер, слышно было, как выскребывают консервные банки. От этих звуков нас поташнивало. Сперва казалось, что к голоду привыкнуть нельзя. А теперь это чувство притупилось, во рту все время ныло. Десны опухли, они были как ватные. Шинель, винтовка, даже шапка становились с каждым днем тяжелее. Все становилось тяжелее, кроме пайки хлеба.

И еще мы слышали голоса немцев. Отдельные слова. Были слова, которые почему-то доносились к нам целиком. Когда-то я любил немецкий язык, мне он легко давался. Наверное, у меня была хорошая память. А может, у меня были способности. Елена Карловна ходила

между партами — милая, чистая старушка с лиловыми щечками. «Горшкоф, уберите свои грязные ноги». Ботинки у меня были всегда грязные. И сейчас сапоги тоже грязные, в обмерзлой глине. Кирзовые сапоги промерзали насквозь. Пальцы на правой ноге болели, обмороженные. Я шагал, ступая на пятку. У хода, ведущего к землянке, мы встречались с Трущенко, медленно поворачивались и шли обратно, каждый по своему участку. На таком морозе нельзя было останавливаться. У Трущенко тоже были обморожены ноги и руки. Нам полагались валенки. У нас во взводе была одна пара валенок. Мы отдали ее Максимову. Он добывал мороженую картошку. Откуда он ее выкапывал, неизвестно. Он уходил с вечера и возвращался с несколькими картофелинами.

Никогда я не слышал, чтобы снег так громко скрипел. Он вопил под ногами.

Прошлой зимой мы уезжали в Кавголово. Мокрый снег шипел под лыжами, не было никакого скольжения, и мы мечтали о морозе...

Неужели все это было? И я, Толя Горшков, спал в постели на простынях, и мать утром будила меня.

Я пошел назад. Я шел, держась за мерзлые стены окопа, потому что кружилась голова.

Какое отношение я имел к тому парню, который учил этот проклятый немецкий, который ходил на лыжах, носил полосатую футболку, ездил трамваем в институт? Никакого отношения я к нему не имел. Мы были совсем чужие люди. Я знал все, что он делал, но никак не мог понять, почему он так делал и почему он так жил. А он и вовсе не знал меня. Прошное отдиралось слоями, как капустные листья. Неужели, если я выживу, я опять стану другим, и все это: окопы, голодуха — останется лишь воспоминанием о ком-то, кто воевал под Пушкином?

Мы сошлись с Трущенко и, дождавшись, когда немцы пустили ракету, осмотрели друг у друга лица, нет ли белых пятен. Когда ракета погасла, мы услышали голоса. Оттуда. В темноте почему-то лучше слышно. Голоса доносились не из немецких окопов, а ближе. Странно было, что разговаривали не таясь, весело. Мы поднялись на приступку и сквозь снег увидели двоих, две тени. Они двигались прямо на нас. Они шли во весь рост, один большой, другой поменьше. Они обнимались, притоптывали и что-то кричали, не нам, а себе.

Мы подняли винтовки. Взлетели ракеты. Мерцающий свет посыпался на этих двоих; они приближались к нам, они были совсем рядом, на низеньком была голубиная офицерская шинель с меховым воротником.

Трущенко прицелился — я остановил его. Он сперва не понял, а потом понял, и мы стали ждать.

Высокий поддерживал маленького, свободными руками они дирижировали себе и орали какую-то песню про Лизхен.

— Стой! Хальт! — закричал я.

Трущенко толкнул меня:

— Чего орешь?

Я и сам не знаю, зачем я крикнул. Но немцы и ухом не повели. Они вскарабкались на бруствер и свалились к нам в окоп. Мы наставили на них винтовки. «Хенде хох!» Они ползали по дну траншеи, не обращая на нас никакого внимания, и ругались. Когда солдат ругается, это всегда понятно, на каком бы языке он ни ругался.

— Ох и нализались! — сказал Трущенко. — Мать честная!

Прибежал взводный, мы доложили ему про немцев. Взводный приподнял офицера за воротник и разозлился.

— Что вы мне брешете, — закричал он, — там же заминировано!

Мы ничего не могли ему объяснить. Нейтральная была заминирована нашими еще осенью, потом ее минировали немцы, потом снова наши. Ее минировали без конца. Она была вся утыкана минами; как прошли по ней эти двое, никто не понимал.

Взводный приказал тащить немцев в землянку. Лейтенанта кое-как доволокли, а с ефрейтором мы замучились. В узком окопе его никак было не ухватить. Чуть его стукнешь — он сразу начинал петь. Голосище у него здоровенный. Он висел на нас, обнимая за шеи, и вопил эту идиотскую песню про Лизхен.

В землянке мы свалили их на пол, и они сразу захрапели, даже не чувствовали, как взводный обыскивал их. Максимов дал мне ломтик картошки. Она была гнилая. Я посасывал ее осторожно, чтобы не тянуть кровь из десен. Ребята спорили, зачтут ли нам с Трущенко этих двоих как пойманных «языков». За каждого «языка» обещали звездочку или по крайней мере медаль.

Ефрейтор храпел, распустив губы, блаженный, краснощекий. Лейтенант свернулся калачиком, поло-

жил голову ему на живот. Максимов присел перед ними на корточки, потянул носом.

— Не иначе как ром,— сказал он,— вот сволочи! От них пахло кисло и сытно. От этого запаха мутило.

— Выкинуть их на мороз!— сказал кто-то.

Их бы и выкинули, но ни у кого сил не было.

Проснулся я, когда взводный будил немцев. Первым заворочался ефрейтор. Он застонал, отодвинул лейтенанта, сел и уставился на нас без всякого смысла и выражения. Голова лейтенанта стукнулась об пол, и лейтенант тоже проснулся. Он долго потягивался, зевал. Потом повернулся на бок и увидел нас. В землянку набилось много народу. Все молчали. Трущенко рядом со мной тихо закашлялся, зажал рот рукой. Лейтенант тупо посмотрел в его сторону и вдруг засмеялся. Медленно, зябко так засмеялся. Потом поднял руку в перчатке, с любопытством оглядел ее, погрозил нам пальцем, сладко зевнул и снова улегся спать. Ефрейтор схватил его за плечо:

— Русиш! Русиш зольдат!

Тут лейтенант подпрыгнул, вскочил на ноги, схватился за пистолет. И как это мы забыли разоружить его? Он выдернул свой вальтер, но ребята даже с места не стронулись. Командир роты стоял в дверях. Он усмехался. И мы, тоже усмехаясь, смотрели на лейтенанта и ждали. Рука лейтенанта дрожала.

— Гут морген,— сказал капитан.

Все засмеялись. Тихо так засмеялись, и лейтенант тоже засмеялся. Тогда мы перестали смеяться и смотрели, как смеется он, и разглядывали его красные десны. Лейтенант сморщился, потер голову. Видно, голова у него трещала. Он сказал несколько слов ефрейтору.

Ребята смотрели на меня. Неделю назад меня посылали в штаб, там требовались переводчики. Я сказал, что не умею переводить. Я не хотел работать в штабе, я хотел стрелять, а не возиться с пленными. Мне удалось отговориться, и ребята не выдавали меня, но теперь им очень хотелось узнать, что говорил лейтенант.

— Он сказал, что все это сон, что им снится дурной сон,— перевел я.

Лейтенант прислонился к стене, зевнул. Ефрейтор моргал, ничего не понимая, дурацкая у него была морда. Потом он начал икать и попросил пить.

— Болезный ты мой,— сказал Трущенко.— Опохмелиться тебе? Квасу тебе? Рассолу тебе? Из-под

капустки? Вот тебе, сука!— И ткнул в лицо ефрейтору кукиш из синих, помороженных пальцев.

Тут все словно очнулись. Ефрейтор попятился к лейтенанту, глаза его от страха побелели, он схватился за грудь и стал блевать. Трущенко совсем зашелся, вырвал у лейтенанта пистолет, еле его оттащили.

— Дайте воды,— сказал ротный.

Котелок дрожал в руках ефрейтора, вода расплескивалась, он пил, отфыркивался, мотал головой, словно лошадь, а глаза его оставались белыми. Лейтенант сполз по стене и сидел в блевотине, покачиваясь из стороны в сторону, открывал глаза, и снова закрывал, и снова открывал, словно на что-то надеясь.

— Спроси, Горшков: как они попали к нам?— сказал ротный.

Я спросил. Лейтенант, улыбаясь, закрыл глаза.

— Не понимают,— сказал я.

— Встать!— крикнул командир роты.— Смирно!

Он гаркнул так, что мы вскочили, и лейтенант вскочил и вытянулся, как и мы.

— Вот так-то,— сказал командир роты.— А ты, говоришь, не понимают. Поведете их в штаб армии.

Сопровождать приказали Максимову и мне. Нам передали пакет с их документами. Я пробовал отговориться. Никто из нас не любил ходить в город. Но взводный сказал, что сопровождающий должен на всякий случай знать ихний язык.

Новенький скрипучий снег завалил траншеи. Немцы, проваливаясь, шли впереди. Утро догоняло нас. Оно поднималось такое ясное, жгучее, что глазам было больно. В поле нас два раза обстреляли минометы. Мы падали в снег, и в последний раз, когда мы упали, я остался лежать. Максимов что-то говорил мне, а мне хотелось спать. Или хотя б еще немного полежать. Максимов ткнул меня ногой. Зрачки лейтенанта сузились, они быстро обегали меня, Максимова, пустынное белое поле и на краю этого поля развалины пушкинских домов, где сидели немцы и от которых мы ушли совсем недалеко.

Я поднялся и стряхнул снег с затвора.

Главное было перебраться через насыпь железной дороги. Взбирались мы осторожно, хоронясь от снайперов. Немцы ползли впереди, снег сыпался нам в лицо, над нами блестели кованные железками толстые подошвы. Максимов запыхался и отстал. На полотне я при-

лег между липких от мороза рельсов. Немцы уже спустились вниз и ждали нас, а Максимов еще карабкался по насыпи; он махнул мне рукой: иди, мол, я отдышусь.

Немцы ждали меня у подножия насыпи. Я скатился прямо на них. Они расступились. Им ничего не стоило повалить меня, отобрать винтовку. Непонятно, почему они этого не делали. Ефрейтор ожидающе смотрел на лейтенанта, а тот стоял, закрыв глаза, потом он мучительно сморщился и открыл глаза.

Лейтенант ловил мой взгляд. Голова у меня стыла от мороза, и меня все сильнее тянуло в сон.

— Алкаши вонючие, сволочь фашистская, — говорил я, — захватчики, выродки вы оголтелые!

Я крикнул Максиму. Я испугался, что он замерзнет. Максимов был удивительный старик. Никого я так не уважал, как Максимова. Он не прятал свой хлеб, утром отрезал кусок, съедал, а остальное клал на котелок и уходил в наряд. И кусок этот лежал на нарах до вечера. И все, кто был в землянке, старались не смотреть туда. Ругали Максимова и так и эдак, а потом сами начали оставлять свои пайки. Намучились, пока привыкли. Только Трущенко съедал сразу: чего оставлять, говорил он, а вдруг убьют.

Мы вышли на шоссе и двинулись прямо на город. Он был перед нами. Хочешь не хочешь, мы должны были смотреть, как он разворачивался впереди со своими шпилями, и трубами, и соборами, и дымными столбами пожарищ, которые поднимались то там, то тут, такие толстые прямые колонны с завитками наверху.

Для немцев это, наверное, выглядело красиво, и солнце в дыму, и воздух, который красиво искрился и рвал нам горло. Шелестя, проносились над нами невидимые снаряды и взрывались где-то посреди города. Мы ощущали лишь глухой толчок земли. Сперва мягкий шелест над головой, потом удар. Воздух оставался чист, и небо оставалось голубым. Мы держали оборону, мы защищали город, а они все равно добирались туда через наши головы, они били, били каждое утро и после обеда, перемалывая город в камень.

Шоссе было пустынно. Мы держали винтовки наперевес. Я уже не чувствовал пальцев. Вряд ли я сумел бы выстрелить, если б немцы побежали. Они шли впереди. Они шагали так, что мы не поспевали за ними, и тогда я кричал «хальт». Они послушно останавливались, лей-

тенант ждал нас, сунув руки в карманы. Щека его побелела. Я хотел было сказать ему об этом, но разговаривать на морозе было больно. Завыла мина. Немцы бросились в снег. Я остался стоять, только сжался весь. Я чувствовал, что если лягу, то уже не поднимусь. И Максимов остался стоять. Мы стояли и смотрели друг на друга. Мина рванула метрах в ста. Снежная пыль и мерзлые комья земли.

За контрольным пунктом полегчало, стали попадаться встречные машины. Мы перекинули винтовки через плечо, и я сунул руки в карманы.

На фронте было шумно, а в городе совсем тихо, и чем дальше, тем тише. Мы забирались в скрипучую тишину. Солнце горело на стеклах. Мы шли посреди мостовой, потому что панели были завалены снегом и щебнем.

Подул ветер. Он продувал насквозь. От слабости мы были такими легкими, что казалось, ветер этот может унести и покатить нас по проспекту. Я взял Максимова за хлястик.

— Ты чего? — спросил он, а потом понял, потому что сам был такой же легкий и его тоже могло унести.

— Зайдем, — сказал он, и мы зашли передохнуть в трамвай. Он стоял, занесенный снегом, с открытой дверью. Мы вошли и сели на скамейки.

— Зетцен зи, — сказал я, и немцы сели с нами. Напротив нас сидел замерзший старик. Каракулевый воротник его шубы был поднят. Наверное, тоже когда-то зашел сюда укрыться от ветра.

— Да, мы попались, капут, — сказал ефрейтор.

Лейтенант, не отводя замороженных глаз от старика, поднял воротник.

— О, mein Gott! ¹ Ты дурак. Мы не могли попасться, всюду заминировано. А мы даже не ранены. — Лейтенант кивнул на старика. — So das geht es nicht ².

Это была девятка. Каждое утро я садился на девятку и ехал в институт. У Флюгова подсаживались наши ребята из общежития. В вагоне становилось тесно и жарко. А в детстве мы ездили с матерью в Лесотехническую академию к отцу. Он учился там на курсах лесников. Мы ехали на девятке. Всю дорогу я смотрел в окно... Я открыл глаза и увидел замерзшего старика. Я закрыл глаза и увидел белый корпус института среди сосен.

¹ О, мой бог! (нем.) — Ред.

² Так не бывает (нем.). — Ред.

Как бы далеко в прошлое я ни уезжал на этом трамвае, он все равно привозил меня сюда, в эту зиму. Никак я не мог спрыгнуть на ходу и остаться там, в парке.

Лейтенант покосился на меня и сказал громко:

— Ничего, Рихард, я проснусь, и окажется, что я лежу у Прандборта на диване.

Ефрейтор смотрел на него со страхом.

— А я? — тупо спросил он.

— А ты тоже пьяный, как свинья, валяешься в коридоре.

Он говорил это уверенно и серьезно, обращаясь больше ко мне. Ефрейтор пытался улыбаться, но в его выпученных глазах белел страх. Он ничего не понимал. Вдруг я заметил у лейтенанта странную маленькую улыбку, словно он догадался, о чем я думаю, подслушал. Это была уличающая улыбка, тайный знак соумышленника.

Я стиснул винтовку.

— Ах ты подлец, — сказал я, — не надейся, ничего у тебя не получится!

— О чем речь? — спросил Максимов.

Я перевел ему. Тогда Максимов пристально стал разглядывать лейтенанта.

— Ловко придумал, гаденыш.

Маленькое лицо лейтенанта напряглось.

— Что он сказал, пожалуйста, я хочу знать, — обеспокоенно спросил он.

— Хитрите, вот что он сказал. — Я видел, как ефрейтор насторожился.

— А вы сами... разве это не сон... вы ведь тоже... — горячо начал лейтенант, но Максимов поднялся.

— Кончай разговор!

Выходя из трамвая, лейтенант потрогал свою белую щеку и, видимо ничего не почувствовав, успокоился.

Посреди улицы чернела большая воронка. Пришлось карабкаться по заснеженному завалу из кирпичей и балок рухнувшей стены дома. А дом стоял как в разрезе. И перед нами были комната, стол, накрытый клеенкой, на столе блестела селедочница, а на стене портрет Ворошилова; грудь его была увешана орденами. Открытая дверь вела прямо в небо.

— Видишь! — обрадованно сказал лейтенант ефрейтору. — Видишь! — Он вытянулся, замахал руками, словно собираясь взлететь. — Видишь, видишь, что я говорил! — кричал он.

— Заткнись... ты!.. — сказал Максимов и стал снимать винтовку.

Лейтенант схватил меня за рукав так, что я пошатнулся, и заговорил быстро-быстро, засматривая в лицо:

— Так не бывает. А может, вообще вся эта война приснилась. Мне часто снилась война в детстве. Aber andere Krieg¹. Может, я проснусь и пойду в школу...

У него были совсем прозрачные, голубенькие глаза. «Господи, ему, наверное, тоже лет двадцать, — подумал я, — или двадцать два. Наверное, только что из дому...»

На перекрестке среди развалин работали несколько женщин и подростков. Женщины были в ватных брюках, а мальчишки закутаны в платки. Они вытаскивали из-под развалин станок. Каким-то образом они подсунули полозья и теперь пытались сдвинуть станок. Седая, совсем прозрачная женщина тихо кричала: «А ну, взяли еще раз, еще разик!» — и голос ее был прозрачный. Все толкали станок, но ничего у них не получалось. Они мгновенно уставали и отдыхали, привалясь к станку, а женщина продолжала тихо кричать: «Еще разик!»

Максимов молча показал немцам на станок. Женщины расступились. Немцы уперлись в станину, и мы тоже. Полозья отодрались, скрипнули, тронулись, женщины подхватили веревки, впряглись.

Мальчик в беличьей шубе, подпоясанной скакалкой, приблизился к лейтенанту и стал разглядывать его ноги в начищенных голенищах. Осторожно коснулся его плотной шинели и тотчас отдернул руку, почти брезгливо отдернул, и поспешил к женщинам, которые бесшумно удалялись от нас. Они шли, облепив станок, как будто он тащил их за собой, и приговаривали: «Еще разик, еще раз».

— Смотрите, фрицы, смотрите, — сказал Максимов. — Чтобы потом не обижались.

Я не стал им переводить, но лейтенант заговорил, он поминутно на ходу оборачивался ко мне, говорил, спотыкаясь о кирпичи, о выбоины, хватался за ефрейтора, выкрикивал, словно помешанный; я понимал уже не все, отдельные слова, обрывки фраз, но ему было все равно, он говорил не для меня.

— Unmöglich... Das Leben kann nicht so schrecklich sein... Traum... Alles ist möglich... Bei Freud steht... Es ist

¹ Правда, другая война (нем.). — *Ред.*

nicht war... Ein Traum ist nicht strafbar... Habe kein Angst... Alles vergeht... Ich weiß... Das wahre Leben ist Kindheit... Mein Onkel... Wir sitzen im Garten...¹

Мы обогнали старуху. Она брела, опираясь на палку, нет, то была не палка, а лакированная ножка столика. Девичьи золотисто-пепельные волосы свесились на ее закопченное лицо. Увидев немцев, женщина даже не удивилась, ничего не крикнула, она подняла палку, пошатнулась, я поддержал ее. Она могла только поднимать и опускать палку.

Ефрейтор закрыл голову руками. Лейтенант, не двигаясь, следил за ней, потом он взглянул на нас с торжеством.

— Бойтесь, — сказал я. — Angst!

Внезапно я понял, что никак не могу доказать ему, что это не сон. Что б он ни видел, он будет твердить свое, и ничем его не убедить...

Ефрейтор вдруг не выдержал и закричал, и тогда я тоже закричал, замахнулся прикладом на лейтенанта, а ефрейтор ударил его.

Максимов выстрелил в воздух, какие-то бойцы выскочили из дота, растащили нас.

— Дурила ты, так тебя растак! — накинулся на меня Максимов. — Под трибунал захотел? Пусть он утешается. Иначе тронуться может. Приведем психа, какой с него «язык» будет?!

У лейтенанта текла кровь из носа, он не вытирал ее и, твердо глядя мне в глаза, говорил:

— И во сне бывает больно.

Максимов погнал его вперед. Теперь я шел рядом с ефрейтором, а лейтенант шел впереди и говорил громко, безостановочно, не обращая внимания на цыканье Максимова.

Голос его гудел в моей голове. Я плотнее завязал на ушики, чтобы не слышать его. Если б я не знал языка!.. Хорошо было Максиму, он шел себе и шел и не обращал внимания на немца.

У самого штаба нам попались сани с мертвецами, уложенными в два ряда и прикрытыми брезентом. Внизу лежал труп молодой женщины. Волосы ее распусти-

¹ Невозможно... Жизнь не может быть так ужасна... Сон... Все возможно... У Фрейда есть... это не реально... Сон не наказуем... Не боюсь... Все пройдет... Знаю... Настоящая жизнь — это детство... Мой дядя... Мы сидим в саду... (нем.) — *Ред.*

лись, голова моталась, запрокинутая к небу. А над ней торчали чьи-то ноги, и сапоги стучали по лицу.

— Боже, сделай так, чтобы я проснулся! — хрипло сказал лейтенант. — Я хочу проснуться. Я буду жить иначе. Это ведь все не со мной... Это не я! Вы тоже спите. Вы все спите!

— Смотри, смотри, — говорил Максимов. — Может, когда приснится.

В штабе мы сдали немцев дежурному и сели у печки в комнате связных. Я сразу задремал. Максимов меня еле растолкал и заставил выпить чаю и дал кусок сахара. Это он заработал у связных за рассказ о немцах. Не знаю, чего он им наговорил. Я пил и смотрел в кружку, как тает и обваливается кусок сахара. Связные рассуждали: симулянт этот немец или он псих? Потом Максимов расспросил насчет второго фронта, когда его, наконец, откроют.

Под вечер мы собрались к себе, на передовую. Во дворе мы увидели наших немцев, их выводили после допроса. Ефрейтор посмотрел на меня и сказал:

— Он предал фюрера.

Лейтенант засмеялся. Обе щеки его были белые.

— Я свободен, — сказал он. — Пока я сплю, я свободен. Плевал я на всех. *Schert euch zum Teufel!*¹

— Послушай, что ж это получается, — сказал я Максиму, — видишь, как он устроился?..

— А тебе-то что?

— Так нельзя. Он хочет, чтоб полегче... Нет. Пусть он знает, — сказал я. — Иначе что ж это... я, мол, не я... Так, придурком, всякий может... — Я стал снимать винтовку.

— Эх ты, — сказал Максимов, — свернул он тебе мозги.

Раздался крик, не знаю, кто кричал. Мы только увидели, как ефрейтор прыгнул на лейтенанта, повалил его, схватил за горло.

Был момент, другой, когда все — связные и конвойные — стояли и смотрели. Не то чтоб даже момент, а некоторое время стояли и смотрели. Ефрейтор был сволочь, фашист, но они его понимали, и им тоже хотелось, чтобы он вышиб наконец из лейтенанта весь этот бред, эту надежду на сон. Когда немцев растащили, я слышал, как ефрейтор бормотал:

¹ Катись все к черту! (нем.) — *Ред.*

— ...Задущу!.. Он у меня проснется... Ночью задущу...

Обратно мы шли долго и часто отдыхали. Мы прошли контрольный пункт, и я вспомнил про ордена: так мы и не спросили, дадут ли нам за этих немцев ордена.

— А зачем тебе,— сказал Максимов,— за такое дерьмо... Я этого лейтенанта сразу разоблачил.

— А как ты разоблачил?

— А когда в землянке он за пистолет схватился.

— Ну?

— Ну, и не выстрелил. Если во сне, почему б ему и не пострелять?

Мы свернули с шоссе. Утренние следы наши замело, снег лежал снова пушистый и ровный, как будто никто тут никогда не ходил.

— Конечно, страшно им,— сказал Максимов.

— А ты не боишься?

— Мне-то чего бояться?

— А я боюсь... Нет, я другого боюсь,— сказал я.— Что потом забуду все, вот я чего боюсь...

Быстро темнело. Сзади захлопали зенитки, стало слышно, как бомбят город, и, наверное, горели дома. Мы не оборачивались. Иногда мы останавливались, отдыхали, и тогда я начинал думать про лейтенанта. Он не давал мне покоя.

— А что, если он и вправду вроде спит,— спросил я,— а потом проснется?

Максимов посмотрел на меня и сплюнул.

— Нет, ты подожди,— сказал я.— Вот у меня тоже бывает... только иначе, конечно... мне иногда кажется, что все это сон.— Я показал назад, на горящий город.

— Послушай, парень,— со злостью сказал Максимов,— ты лучше заткнись. И не мотай себя.

— Ладно,— сказал я.

Я старался больше об этом не думать.

Я думал о том, что у нас в окопах все же полегче, чем тут, в городе, от нас хоть можно стрелять, я думал о том, что, когда мы доберемся до взвода, будет темно, и хорошо, что темно, не надо пригибаться, как мы хлебом горячей баланды, ничего даже рассказывать не будем, а сразу завалимся спать.

I

Они стояли на углу, все трое, ожидая меня. Издали я узнал только Володю Лазарева. Мы с ним несколько раз встречались с тех пор. И кроме того, мы с Володей были тогда закадычными друзьями. Встречались мы случайно, шумно радовались, но кто-то из нас всегда спешил, мы записывали телефоны друг друга, кричали — звони, надо собраться...

Трое мужчин стояли на углу возле закрытого овощного ларя. Они не замечали меня. Нас разделяла улица. И еще кое-что. Один из них должен был быть Рязанцев. Он тогда был политруком, кажется второй роты. Я плохо помнил Рязанцева, я решил, что этот толстый, потный, в желтой клетчатой рубашке навыпуск и есть Рязанцев. Комбат не мог быть таким. А собственно, почему бы нет?

Недавно на аэродроме я увидел Лиду. Она шла в толпе прибывших, растрепанная, увешанная сумками, пакетами. Жидкие, давно выкрашенные волосы ее были полуседые. Наш самолет медленно тащили на взлетную. Я прильнул к стеклу. Когда мы сблизились, я понял, что это не Лида. А потом мы стали отдаляться, и она опять стала невыносимо похожа на Лиду. Что-то было в изгибе ее фигуры от Лиды. Правда, я никогда не видел Лиду в штатском. Я долго сидел, набираясь мужества перед простой мыслью: почему Лида не может стать такой?

И комбат мог стать каким угодно.

Я видел третьего, видел и не смотрел на него. Я просто видел какого-то человека. А то, что было в моей памяти комбатом, оставалось нетронутым, и я не сравнивал этих людей.

Мне захотелось повернуться и уйти, пока меня не заметили. Можно было тем же шагом пройти мимо, чуть

отвернувшись к витринам. Поехать домой, сесть за работу. Я знал, как опасно встречаться после долгой разлуки с людьми, которых любил. С женщинами — другое дело. Там неизбежны всякие морщины, полнота, там ничего не поделаешь, с женщинами становится грустно, иногда по-хорошему грустно. В худшем случае удивляешься — чего ты в ней находил.

Мужчины стареют иначе. Они становятся пустыми. Из них лезут глупости, поучения и злость.

До сих пор я очень любил того, нашего комбата. И после него попадались отличные командиры, с которыми наступали, освобождали, нас встречали цветами, мы получали ордена. А с нашим комбатом были связаны самые тяжелые месяцы блокады — с октября 1941-го по май 42-го. И комбата я любил больше всех.

С годами он становился для меня все лучше и совершеннее, я написал очерк о нем, вернее — о нашем батальоне, и о Володе, и о себе, но главным образом я имел в виду комбата. В этом рассказе все были хорошие, а лучше всех был комбат. На самом деле среди нас были всякие, но мне было неинтересно писать плохое о людях, с которыми вместе воевал. Через них я изумлялся своей собственной силе. Очерк мне нравился. Комбата теперь я помнил главным образом таким, каким я его написал, хотя я старался ничего не присочинять.

Тот, третий, кто должен был быть комбатом, повернулся, посмотрел на другую сторону улицы, на меня и дальше, по воскресному, полному прохожих, тротуару. Не признал. Время стерло и меня. Мы оба друг для друга были стерты до безликих встречных. Каждый из нас ушел в чужие — есть такая огромная часть мира, недоступная, а то и незамечаемая — чужие, незнакомые люди, которые безостановочно струятся мимо нас в метро, на дорогах. Многие друзья моего детства давно и, видно, навсегда скрывались в этом мире чужих.

— Здравствуйте,— сказал я, появляясь из этой безликости.

— Я ж вам говорил!— крикнул Володя.

Мы обнялись с ним. Тот, кого я считал Рязанцевым, тоже развел руки, а потом не решился, неловко хлопнул меня по локтю и сказал:

— Я бы тебя не узнал.

Третий улыбнулся, пожал мне руку. Я улыбнулся ему точно такой же настороженной, ни к чему не обя-

зывающей улыбкой слишком долго не видевшихся людей. Сколько-то лет назад существовало еще время, когда б мы кинулись целоваться, прослезились.

Он поседел. Он сгорбился. Пополнел. Бостоновый костюм с большими старомодными лацканами, галстучек в голубых разводах, велюровая шляпа, в руках авоська с каким-то пакетом — окончательно отдаляли его от того щеголеватого, стройного комбата, перетянутого в талии так, что и полушубок не полнил его. Ах, как он был красив — фуражка набекрень, смуглый нежный румянец, — наш комбат, насмешливый, молчаливый, бесстрашный.

...Старенький Володин «Москвич» вез нас к Пулкову. Зачем я поехал? То, что я помнил про ту зиму, было достаточно. И то, что я помнил про комбата.

Он сидел впереди с Володей, степенный, аккуратный, иногда оборачивался к нам, неспешно улыбаясь. Прежние черты проступали в нем как пятна, неуместные, словно нечто постороннее, — узкие калмыцкие глаза его, смуглые длинные кисти рук и плавные жесты ими. Ничего не осталось от легкости, той безоглядной непосредственности, которую мы так любили в нем.

Рязанцев безостановочно говорил, комбат слушал его, терпеливо и холодно щурился, к чему-то примериваясь. Я вспомнил эту манеру, которой мы подражали — завораживающее спокойствие, — с какой он мог сидеть под обстрелом, читать, покусывать спичку... Сколько ему было? Двадцать пять? Мальчишка. В голову не приходило, что он мальчишка. Даже Елизарову не приходило, а Елизарову было за сорок.

— Где Елизаров? — спросил я. — Что с ним?

— Какой Елизаров? — спросил Володя.

— Ты что! — воскликнул Рязанцев. — Комиссара забыл?

— Его понизили в звании, послали на пяточок, — сказал комбат. — Кажется, он погиб там.

— А почему его взяли от нас? — спросил Володя.

Комбат рассказал, как однажды, в феврале сорок второго, Елизаров предложил на случай прорыва немцев разбить батальон заранее на несколько отрядов, для ведения уличных боев внутри Ленинграда.

— Мы с ним стали обсуждать, — сказал комбат, — а при этом был Баскаков.

— Ну что с того? — спросил я.

Рязанцев положил мне руку на колено.

— Подумать только, ты был совсем мальчик. Носил кожаные штаны. А где вы теперь работаете?

Он все время путался — то «ты», то «вы». Заглядывал в глаза. Что-то в нем было неуверенное, бедственное.

— Ну и что Баскаков? — напомнил я.

— Интересно, где теперь Баскаков, — сказал Рязанцев. — Я многих уже разыскал. Хочу устроить вечер встречи. Шумиловский, начхим наш, помните? Директором трампарка работает. А Костя Сазотов, он агентом на обувной базе.

— Кем? — спросил я.

— Агентом, по части обуви.

Костя был героем батальона. Его взвод закопался в семидесяти метрах от немцев. У нас тогда все измерялось тем, кто ближе к противнику. Начхим, который обитал во втором эшелоне, — он директор, а Костя Сазотов — агент по тапочкам и сандалиям. А комбат? Кажется, он работает учителем. Впрочем, какая разница. Это не имеет никакого отношения к тому, что было. Мы были связаны прошлым, и только прошлым.

— Что же дальше было с Елизаровым?

— Неприятности у него были... — сказал комбат. — Приклеили ему пораженческие настроения.

Вот оно как это все было. А мы-то... Никто толком не знал. Ходил какой-то слушок. Что-то, мол, нехорошее, в чем-то старик замешан, и мы не то чтоб поверили, а как-то примирились, не расспрашивали.

— Какое ж это пораженчество, — сказал я. — Разве мы не боялись, что немцы прорвутся? Боялись. Факт. С января мы совсем от голода доходили. Снарядов не хватало...

Комбат обернулся ко мне. Наверное, я говорил слишком громко, вознаграждая себя за то, что такие вещи мы старались в те времена не произносить вслух, даже думать об этом избегали. Рязанцев, тот поежился, мягко пояснил мне:

— В тех условиях не следовало, особенно политработнику, допускать даже мысли такой... Мы должны были укреплять дух. Баскаков обязан был. У него свои правила. Представляешь, если бы мы заранее ориентировали на поражение...

— Сукин сын твой Баскаков,— сказал я.— Ведь он не возражал. Слушал и сообщал. Вот с кем бы встретиться! Спросить его...

Комбат, прищурясь, разглядывал меня.

— Сейчас спрашивать куда как просто,— суховато сказал он, и Рязанцев подхватил удрученно:

— Задним умом многие сейчас крепки стали.

Я заспорил с Рязанцевым. Комбат не вмешивался, он молчал бесстрастно, непроницаемо.

Машина плыла по Московскому проспекту, мимо безликих, скучных новых домов с низкими потолками, мимо новых универмагов, тоже одинаковых, с одинаковыми товарами, очередями, духотой, надменными лицами продавщиц... Нет, машина шла мимо огромных светлых домов, выстроенных на пустырях, где стояли халупы, которые в войну разобрали на дрова, мимо высоких современных витрин, где было все, что угодно, и внутри в длинных прилавках-холодильниках было полно пирожных, сыров и еще всякой жратвы, мимо кафе, закусочных, воскресных парней в джинсах, девочек с мороженым, они озабоченно поглядывали вверх, где затягивало плотнее,— видимо, собирался дождь.

Остановились перед светофором. Володя проводил глазами рыжую девочку в бархатных брючках.

— Ах, цыпленок!

— Не нравится мне эта мода,— строго сказал комбат.— Вульгарно.

Володя прищелкнул языком.

— При хорошей фигурке... А что, кавалеры, не заземлиться ли нам в ближайшей таверне. Возможны осадки, посидим в тепле. Помянем. Важно что? Что мы встретились,— и он подмигнул мне в зеркальце.

— Тоже идея,— поддержал я. У нас сразу с ним все восстановилось, как будто и не было двадцати лет.

— Дождя испугались?— сказал Рязанцев.— Небось в годы войны...

— Годы войны были суровым испытанием,— сказал Володя.

Комбат опустил стекло, посмотрел на небо.

— А помните, сюда мы в баню ходили,— сказал он.

— Точно, я Сеню Полесьева сюда водил!— И Володя произнес голосом Сени, чуть шепелявя:— «Первые шесть месяцев после бани чувствую себя отлично».

Я сразу вспомнил Сеню, его высоко поднятые брови, тонкую заросшую шею, его вспыльчивость и доброту.

— Если б не твой Баскаков, послали бы Полесьева переводчиком, — сказал я Рязанцеву.

— Почему мой? Какой он мой?

— До сих пор считаешь.

Рязанцев запыхтел, осторожно ударил себя в грудь.

— Мы делали общее дело. Конечно, отдельные нарушения были...

— Однополчане! — предостерегающе сказал Володя. — Разговорчики! — Ему хотелось вспоминать только веселое.

Он вез нас в ту военную зиму, к нам, молодым, не желая замечать, как мы изменились. А я видел только это, и чем дальше, тем сильнее меня раздражал Рязанцев и особенно комбат. Все в нем было не то. Все казалось в нем скучноватым, никак не соответствовало, не сходилось с тем задуманным нами когда-то. И эта обыденность, вроде бы стертость, запутанная мелкими морщинами от школьных хлопот и обязанностей, домашних забот или не домашних, а служебных, но таких же, как у всех, — чего-то уладить, добиться чьей-то подписи; эта заурядность неотличимого от всех остальных, конечно, не могла бы меня отвращать, если б он не был нашим комбатом. Но тут начинался иной счет. Наш комбат обязан был оправдать наши надежды. От него ждали блистательного будущего, траектория его жизни из той страшной зимы сорок первого угадывалась вознесенной к славе полководца, командующего армиями, к золотому сиянию маршальских звезд, или что-то в этом роде. На наших глазах он выдержал испытания и стойкостью, и мужеством, он стал нашей гордостью, нашим кумиром. Уж ему-то предначертано было достигнуть, и вот подвел, не достиг, и ведь не считает, что не достиг, вот что возмущало. Если б неудача, тогда понятно, было бы сочувствие и жалость, а так ведь чем утешился... И хотя я понимал, что мое разочарование — глупость, может, он хороший учитель, все равно, никак я не мог соединить того и этого. Ничего героического не оставалось в нынешнем. И никакой романтики.

За двадцать с лишним лет образ комбата выстроился, закаменел, он поднялся великолепным памятником, который я воздвиг на своей военной дороге, он стал для

меня символом нашей героической обороны. А теперь появляется этот самозванец в небесном галстуке и заявляет, что он и есть и символ, и кумир.

Не изменялись лишь те, кто погиб. Сеня Полесьев остался таким же, как лежал на нарах между мной и Володей и рассказывал о том, какой климат был здесь под Пулковом полмиллиона лет назад. Однажды он нашел немецкие листовки и прочел их нам. Баскаков узнал, заинтересовался, откуда он знает немецкий, да еще так свободно. Может, он его в чем заподозрил, тем более что отец Сени был из дворян. Сеня вспылил: «То, что я знаю немецкий, в этом ничего удивительного, многие знают немецкий. Ленин, например, знал немецкий и Фридрих Энгельс, удивительно, что вы на такой работе не знаете немецкого».

— А ты, оказывается, штучка, — угрожающе сказал ему Баскаков.

Под вечер немцы минами накрыли пулеметный расчет за церковью. Нас вызвали к комбату. Баскаков должен был отправиться туда к пулеметчикам проверить обстановку, и комбат предложил ему взять с собой двоих из нас. Мы стояли перед ним вытянувшись, все трое. Баскаков указал на меня. Это было понятно, я знал туда дорогу. Затем ему надо было выбрать Володю или Полесьева. Комбат ждал, покусывая спичку, и я помню, как он быстро усмехнулся, когда Баскаков указал на Полесьева.

— А знаете, почему он выбрал Полесьева? — сказал Володя. — Потому что он помнил, что надежней и храбрей Сени нет.

— Баскаков, между прочим, сам был не из трусливых, — вставил комбат.

— Совершенно верно. При всех своих недостатках, — обрадовался Рязанцев.

Неприятно, что комбат напомнил об этом, но это было так. Я полз первым, потом мне надоело ползти, я пошел по мелкому ходу сообщения, который был мне по грудь, пошел быстро, назло Баскакову. Он тоже поднялся и шел за мной, не отставая и еще посвистывая, и оглядывался на Сеню...

— Налево, — сказал комбат Володе.

У рощицы мы остановились и вышли на шоссе. Было тепло и пасмурно.

— Кто-нибудь из вас приезжал сюда? — спросил комбат.

Несколько раз за эти годы я проезжал здесь в Пушкин, однажды в Москву и всегда оглядывался и говорил спутникам — вот тут мы воевали. Как-то мы даже остановились, я хотел показать и ничего не узнал. Шоссе было обсажено липами, вдали выросли большие белые дома. Следовало, конечно, специально разыскать наши землянки, разбитую церковь. Я как-то предложил своим, мне хотелось поводить их по здешним местам. Они согласились. «А потом хорошо бы сходить в Пулковскую обсерваторию, — сказала дочь, — я там никогда не была».

Я не понял — при чем тут обсерватория?

Она смутилась. Она была честным человеком, мы с ней дружили, и она призналась, что, конечно, с удовольствием поедет, поскольку мне это интересно.

Получалось, что я хотел поехать ради них, а они ради меня. Это было нехорошо. Что-то неверное было в моих отношениях с прошлым. Словно с человеком знаменитым и неинтересным, ничего нового от него не ждешь. Словно с родственником, которого — хочешь не хочешь — надо иногда навещать. Или с человеком, который очень хорошо, слишком хорошо тебя знает и может в чем-то упрекнуть, с человеком, перед которым надо чем-то похвастать, а хвастать-то нечем.

И вот ведь что: одному поехать — в голову мне такой мысли не приходило, то есть приходило, в виде мечтаний, мол, славно было бы поехать, поискать, вспомнить. Но ничего конкретного не думалось. А ведь чего проще приехать сюда: сесть в автобус — и за сорок минут доедешь. И нынче ведь я решился поехать главным образом потому, что Володя уговорил.

— Нет, я ни разу не был, все собирался, — сказал Володя.

Никто из нас не был.

II

Мы пошли за комбатом. Сперва по шоссе, потом свернули вниз по тропке и по каменным ступенькам. За железной оградой стоял мраморный обелиск с надписью: «Здесь похоронены защитники Ленинграда в Великой Отечественной войне 1941—45 г.». У под-

ножья лежали засохшие венки с линялыми лентами. Комбат отворил калитку, она скрипнула пронзительно.

— Узнаете? — спросил комбат.

Мы молчали. Мы виновато оглядывались и молчали.

— Это ведь кладбище наше.

— Точно! — Рязанцев всплеснул руками. — Здесь мы хоронили Ломоносова.

— Васю Ломоносова! — Я тоже обрадовался, я вспомнил Васю — его только что приняли в комсомол. Его убили ночью, когда немцы вылазку устроили.

— А троих ранили.

— Верно, было дело, — сказал я, благодарный Рязанцеву за то, что он напомнил. — Мы с Володиёй тащили Васю сюда.

— Начисто забыл... Полное затмение, — огорченно сказал Володя.

— Ну, помнишь, Вася дал нам картошку? Они в подвале нашли штук двадцать.

— Картошку? Помню. А его не помню... Ломоносов, — повторил он, еще более огорчаясь, — а вот Климова я тут точно хоронил.

Но Климова мы все забыли. И даже комбат не помнил. Он следил, как мы вспоминали, почти не вмешиваясь.

— За могилой-то ухаживают. Памятник сделали, — удивился Володя.

Тогда была пирамидка, и ту, поскольку она была деревянная, кто-то сломал на дрова. Елизаров нашел каменную плиту, мы притащили ее и масляными красками написали на ней. После прорыва блокады батальон ушел на Кингисепп, там появилось другое кладбище и потом в Прибалтике было еще одно.

«Защитники Ленинграда» — те, кто ставил обелиск, уже понятия не имели про наш батальон. Жаль, что мы не догадались взять с собой цветы. Но кто знал? Комбат? Он держался с укором, как-то отчужденно, словно его дело было — показывать. Да, за могилой следили, красили изгородь, и эти венки, немного казенные на вид. Местные пионеры или еще кто, они ничего не знали о тех, кто здесь лежит. Для них — просто солдаты. Или, как теперь пишут, — воины. Мы припоминали фамилии, комбат писал их на мраморе карандашиком, у него, как и тогда, в кармашке торчал простой карандашик, тогда это было нормально, а теперь все больше ручки носят, и шариковые.

Помнил комбат куда больше, чем мы трое. Занимается воспоминаниями, наверное, больше ему и делать-то нечего. И карандашик этот старомодный.

Черные строчки наращивались столбиком.

Безуглый... Челидзе... Ващенко...

Иногда передо мной всплывало лицо, какая-то картинка, иногда лишь что-то невнятно откликалось в обвалах памяти, я звал, прислушивался, издалека доносились слабые толчки, кто-то пытался пробиться ко мне сквозь толщу лет и не мог.

Кажется, здесь мы похоронили и Сеню Полесьева.

— Его ранило, в первой атаке на «аппендицит», — сообщил Володя, как будто это не знали. — Я даже помню дату — двадцать первого декабря.

— Еще бы, — сказал Рязанцев.

— Почему — еще бы? — поинтересовался я. — Что за дата?

— А ты забыл? — недоверчиво удивился Рязанцев. — Каков? — он обличающе указал на меня.

Комбат слегка хмыкнул.

— Вот как оно бывает, — Рязанцев вздохнул. — День рождения Сталина...

Я молчал.

— Считаешь, что можно не помнить такие вещи? — обиженно сказал Рязанцев.

Странно устроена человеческая память, думалось мне, потому что я помнил совсем другое.

Пошел дождь, мелкий и ровный. Мы стали под березку. Молодая листва плохо держала воду. Комбат достал из авоськи прозрачную накидку, он один запасся дождевиком, мы сдвинулись, накрылись. Сразу гулко забарабанило, мы поняли, что дождь надолго.

— Не вернуться ли, — сказал Володя, — сам бог указывает. Примем антизнобин, посидим, а?

Стекало на спину, пиджак промок, желтые лужи пенились, вскипали вокруг нас. Не было никакого смысла стоять тут.

Рязанцев покосился на молчащего комбата.

— Может, подождем?

— Подождем под дождем, — откликнулся Володя. — Ждать — не занятие для воскресных мужчин.

Следовало возвращаться. Оно и лучше. Прошрое было слишком хорошо, и не стоило им рисковать. Когда-нибудь мы приедем сюда вдвоем с Володей.

Комбат потрепал меня по плечу:

— Ничего, не сахарные.

— Что у вас за срочность? — спросил я. — Что-нибудь случилось?

Комбат смутился и сразу нахмурился.

— Ничего не случилось.

— Вы-то сюда уже приезжали?

— Приезжал.

— Так в чем же дело? Если ради нас, то не стоит, — сказал я с той заостренной любезностью, какой я научился в последние годы.

Исподлобья комбат обвел меня глазами, мой дакроновый костюмчик, мою рубашечку дрип-драй.

— Как хотите, — он перевел глаза на Рязанцева. — Ты тоже костюмчик бережешь?

Рязанцев фальшиво засмеялся, вышел под дождь, похлопал себя по бокам.

— А что, в самом деле. Не такое перенесли, не заржавеет, — он запрокинул голову, изображая удовольствие и от дождя, и от того, что подчиняется комбату. — Нам терять нечего. Нам цена небольшая.

Мы стояли с Володей и смотрели, как они поднимались по ступенькам. Володя вздохнул, поморщился.

— Чего-то он собирался нам показать.

— Себя, — сказал я со злостью.

— А хоть и себя. — Володя взял меня под руку. — Все же мы его любили...

Да, за тем комбатом мы были готовы идти куда угодно. Если б он сейчас появился, тот, наш молодой комбат...

— А... помнишь, как мы с ним стреляли по «аппендициту»?

Что-то больно повернулось во мне.

— Ладно, черт с ним, — сказал я. — Ради тебя.

Мы догнали их у тропки. Мокрая глина скользила под ногами. Комбат подал мне руку.

— То-то же! Нет ничего выше фронтовой дружбы, — возвестил Рязанцев.

А комбат несколько не обрадовался.

III

Мы перебежали шоссе, по которому, поднимая буруны воды, неслись автобусные экспрессы, и двинулись, поливаемые дождем, напрямик через поле. Странное это

было поле, одичалое, нелюдимое. За железнодорожной насыпью местность стала еще пустыней и заброшенной. Слева белели сады с цветущими яблонями, поблескивали теплицы, впереди виднелся Пушкин, справа — серебристые купола обсерватории, здесь же под боком у города сохранилась нетронутая пустошь, словно отделенная невидимой оградой. Кое-где росли чахлая лоза с изъеденными дырявыми листьями, кривая березка, вылезала колючая проволока; мы перешагивали заросшие окопы, огибали ямы, откуда торчали лохматые разломы гнилых бревен. Землянки в два наката. И сразу — запах махорки, дуранды, сладковатый вкус мороженой картошки, ленивые очереди автоматов, короткие нары, зеленые взлеты ракет. И что еще? Разве только это? А ведь казалось, помнишь все, малейшие подробности, весь наш быт...

Чьи это землянки? А где наша? Где наша землянка?

Я озираясь, я прошел вперед, свернул, опять свернул, закрыл глаза, пытаюсь представить ее расположение, то, что окружало меня изо дня в день, неделями, месяцами. «Все заросло, — вдруг угрожающе всплыла чья-то строка, — развалины и память...» Я-то был уверен, что, приехав сюда, сразу узнаю все; даже если бы это поле было перепаханно, застроено, я бы нашел место нашей землянки, каждый метр здесь прожит, исползан на брюхе, был последней минутой, крайней точкой, пределом голода, страха, дружбы.

Володя окликнул меня. Я не хотел признаваться ему, я еще ждал.

— Послушай, а где «аппендицит»? — спросил он.

— Эх ты, — сказал я.

Уж «аппендицит»-то, вклиненный в нашу оборону, проклятый «аппендицит», который торчал перед нами всю зиму... Я посмотрел вперед, посмотрел вправо, влево... Вялая жирная трава вздрагивала под мелким дождем. Валялась разбитая бутылка, откуда-то доносились позывные футбольного матча. Все было съедено ржавчиной времени. Я рыскал глазами по затянутому дождем полю, где вроде ничего не изменилось. Я искал знакомые воронки, замаскированные доты, из-за которых нам не было жизни, даже ночью оттуда били по пристрелянным нашим ходам, мешая носить дрова, несколько раз пробили супной бачок, мы остались без жратвы и ползали вместе со старшиной, собирая снег, куда пролилась положенная нам баланда. Мы без конца

штурмовали «аппендицит», сколько раз мы ходили в атаку и откатывались, подбирая раненых. Лучших наших ребят отнял «аппендицит», вся война сосредоточилась на этом выступе, там был Берлин, стоял рейхстаг. Из-за этих дотов мы ходили скрюченные, пригнувшись по мелким нашим замороженным окопам, и в низких землянках нельзя было распрямиться, нигде мы не могли распрямиться, только убитые вытягивали перепревшие обмороженные ноги.

Я искал себя на этом поле и не мог отыскать, не за что было зацепиться, удержаться на его гладко-зеленой беспомысленности. Когда-то насыщенное жизнью и смертью, разделенное на секторы, участки, оно было рассмотрено, полно ориентиров, затаенных знаков, выучено наизусть, навечно... Где оно? Может, его и не было? Доказательства утрачены. А если б я приехал сюда со своими, — я со страхом слышал свои беспомощные оправдания...

— Ну, что, — приставал Володя. — Где?

Комбат — единственный, кто знал дорогу в ту зиму, кто соединил нас с нашей молодой войной. Мы догнали его. Покаянно, со страхом Володя спросил, и комбат указал на еле заметный холм, который и был «аппендицитом». Вслед за его словами стало что-то проступать, обозначаться. Поле разделилось хотя бы примерно: здесь — мы, там — немцы. Мы шли вдоль линии фронта, не отставая от комбата, и я готов был простить ему все, лишь бы он показал нашу землянку, церковь, участок первой роты, взвод Сазотова, вторую роту...

Развалины церкви сохранились, остатки могучей ее кладки, своды непробиваемых подвалов, лучшее наше убежище, спасение наше.

— Безуглый, — произнес комбат.

И сразу вспомнилось, как сюда ходил молиться Безуглый. Начинался обстрел, Безуглый вынимал крестик, целовал его. В землянке перед сном шептал молитву. Он ужасался, когда мы притаскивали с кладбища деревянные кресты для печки.

— Неоднократно я с ним беседовал, — сказал Рязанцев. — Из него бы можно было воспитать настоящего солдата.

— Он и без того был хороший солдат, — сказал я.

— Вы что же, религию допускаете?

Тогда мы тоже считали Безуглого темным человеком, одурманенным попами, и в порядке антирелигиоз-

ной пропаганды рассказывали при нем похабные истории про попов.

— Ты сам помогал отбирать у него молитвенник, — вдруг уличающе сказал Рязанцев.

— Я?

— Когда обыскивали, — неохотно подсказал мне Володя.

Они все помнили — значит, это было.

— Не обыскивали, а проверяли вещмешки, — поправил Рязанцев, — продовольствие искали.

— Ну, положим, не продовольствие, — сказал Володя, — а наши консервы.

— Это ты напрасно...

— Тогда у Силантьева свинец нашли, — отвлекая их, сказал комбат.

Интересно, как прочно вдавился этот пустяковый случай. Морозище, белое маленькое солнце, вещевые мешки, вытряхнутые на снег. Силантьев, сивоусый, кривоногий, в онучах, вывернул свой мешок, и комбат заметил что-то в тряпице, вжатое в снег. Поднял, развернул, там был скатанный в шар свинец. «Вы не подумайте, товарищ комбат, — сказал Силантьев, — это я из немецких пуль сбиваю». — «Зачем?» — «Охотники мы». До самой Прибалтики тащил он с собою свинец.

И тут я не то чтобы вспомнил, а скорее представил, как рядом со мной Безуглый выкладывает из своего мешка обычное наше барахло — бритву с помазком, полотенце, письма, рубаху и среди этой привычности молитвенник в кожаном переплете с тисненым крестом. Я схватил его, начал читать нараспев: «Господи, дай нам днесь...», гнусава ради общего смеха, «днесь» — слова-то какие! Что мне тогда были эти слова — глупость старорежимная. Подошел Рязанцев, перетянутый ремнями, и я торжественно вручил ему молитвенник, тоже, наверное, не без намека, да еще подмигнул ребятам.

Я-то себе лишь представлял, и то это было отвратительно, а они-то в точности помнили, как это было.

— Консервов не нашли, зато немного зерна нашли, — сказал комбат, выручая меня.

Может, не только молитвенник, может, комбат помнил за мной еще кое-что из того, что я давно забыл и теперь понятия не имею, каким я был и как это выглядит сегодня.

Мы шли, высматривая нашу землянку, раскисшая земля чавкала под ногами.

— Любой из нас натворил немало разных глупостей,— сказал я комбату.— Что мы понимали?..

Он долго молчал, потом сказал неожиданно:

— Ишь, как у тебя просто. Ничего не понимали — значит, все прощается?

— Бывает, конечно, что в молодости понимают больше, чем потом...— Я старался быть как можно язвительней.— Вершина жизни, она располагается по-разному.

— Вершина жизни,— повторил он и усмехнулся странновато, не желая продолжать.

— Между прочим, вы читали мой очерк?

— Читал.

— Ну и как?

— Что как?— Он повел плечом.— Ты не виноват.— И вздохнул с жалостью.— Ты тут ни при чем.

Это было совсем непонятно и даже обидно. Я ждал признательности, хотя бы благодарности. И что значит я не виноват? Как это я ни при чем?

— Конечно, я ни при чем.— Я хмыкнул, сообразив, что мой комбат и не мог понравиться ему, слишком они разные, может, он и не узнал себя, тот куда ярче, интереснее. Ему неприятно, потому что ничего не осталось в нем от того комбата. Может, и меня он не узнает?.. Ни в ком из нас ничего не осталось от тех молодых, ни единой клеточки не осталось прежнего, все давно сменилось, мы не то чтоб встретились, мы познакомились заново, только фамилии остались прежние.

— Где-то тут наш солдатский базар шумел!— крикнул Володя.

Комбат огляделся, показал на место, защищенное насыпью.

— А ну давай налетай самосад на портянки,— блаженно запел Володя.— Байковые, угретые.

А портянки... а портянки, вспомнилось мне, на ножки самодельные, а ножки на портсигары, на зажигалки. А зажигалки в два кремешка с фитилем. А портсигары алюминиевые с вырезанными на крышке цветком или парусником.

А откуда алюминий? С самолета разбитого. С нашего? Нет, с немецкого, он упал на нейтралку, ночью мы

потащили его к себе, а немцы, видать, тоже трос нацепили и тянут к себе, но тут началось — кто кого... И сейчас, переживая, как мы перетягивали сытых немцев, мы торжествовали, Володя расписывал ловкость, с какой мы до утра обмазали самолет глиной, для камуфляжа, чтобы не блестел, как потом все части пошли в ход...

Откуда у воспоминаний такая власть? Базар был курам на смех, почему же сейчас от этой нахлынувшей пустяковины перехватило горло?

IV

Окопы заплыли, обвалились — еле заметные впадины, канавки, где гуще росла трава, там стояли длинные лужи — все это было перед идущим впереди комбатом, а за ним уже возникали участок второй роты, снежные траншеи с бруствером, амбразурами, грязный снег, серый от золы и желтый от мочи, беленые щитки пулеметов, розовые плевки цинготников. Чьи-то фигуры мелькали — зыбкие, как видения. Звякали котелки. Над мушкой в прорези проплывал остов разбитого вокзала, пушкинские дворцы, Египетские ворота... У каждого из нас сохранилось свое. Если бы наложить друг на друга наши картины, может, и получилось бы что-то более полное.

Володя выяснял у Рязанцева, откуда начальство узнало про консервы. Тогда это было нам очень важно — кто стукнул. Но и теперь это было интересно.

— Агентура! — сказал Рязанцев.

Сам не знал и не хотел признаться? Или щадил кого-то?

Знаменитые консервы, которые мы притащили из разведки, были сразу съедены, а легенда все плыла, расцвеченная голодухой. Комбат решил с ней покончить, устроив всеобщую проверку. У кого-то нашли зерно, отобрали и раздали перед наступлением.

— Старались как-то подкормить вас, гавриков, — сказал Рязанцев.

По мере того как мы удалялись в ту зиму, к нему возвращалась уверенность.

— ...чем-то подбодрить вас хотели! — Жесты его становились размахистей, он подтянулся — наган на боку в гранитовой кобуре, планшетка, что-то он такое

доказывал, что-то он говорил тогда насчет нашего на-
ступления и еще чего-то...

— Значит, подготавливались? — Я еще сам не понимал, что именно нужно вспомнить. — К дате подготавливались?

Я старался говорить без интереса, но Рязанцев почувствовал, насторожился. Может, он и не знал, чего я ищу, скорее всего он тревожился, ощутив мои усилия вспомнить что-то, касающееся его.

V

«Нас было трое, нас было трое...» — у Володи это звучало как песня, как баллада. Трое молодых, отчаянных разведчиков — Сеня, Володя и я. Неверный свет луны спутал все ориентиры, высмотренные днем. Мы перестали понимать, где наши, где немцы. Ракеты взмыли где-то позади, мы повернули и очутились перед немецким блиндажом. Договорились так: я отползаю чуть влево, перекрываю дорогу к блиндажу и наш отход, Володя — вправо и, в случае чего, помогает Сене, который подбирается к блиндажу, швыряет туда противотанковую. Залегли. Тихо. Темная глыба блиндажа, узкий свет проступает из щели. Вдруг дверь распахнулась, фигура Сени во весь рост обозначилась в освещенном проеме. Вот тут-то и произошло невероятное: Сеня не двигался. Он изумленно застыл в светлом прямоугольнике с поднятой гранатой — вроде плаката «Смерть немецким оккупантам!». И тишина, будто оборвалась кинолента. Затем медленно, бесшумно Сеня начал погружаться внутрь блиндажа. Исчез. Тихо.

— Представляете? — смакуя, сказал Володя. — Душа моя ушла в нижние, давно не мытые, конечности. Лежим. Автоматы наизготовку. Не знаем, что подумать. Что происходит в логове врага? Я знал, что Баскаков сцепился с комбатом — возражал, чтобы Сеню отправляли в разведку. У Сени действительно настроение было скверное, любой фортель мог выкинуть. Как он говорил, фронт — лучшее место для самоубийства. Итак, мы лежим, светит пустой проем... — Володя передохнул, наслаждаясь нашим нетерпением, зная, что нетерпение это сладостное, оно-то и составляет нерв рассказа. И соответствует правде, ибо и там, в разведке, оно длилось бесконечно долго, измучило, вымотало душу.

— А этот железный хлопец, — Володя показал на

меня, — подполз ко мне и шепчет: «Выстудит им Сеня помещение».

Было ли это? Неужели я был таким и все это происходило со мной — первый скрипучий снег, молодая наша игра со смертью, морозный ствол автомата? Володя приседал, выгибался, показывая, какие мы были ловкие, находчивые, как нам везло — мушкетеры! И мне хотелось, чтоб так было, я любовался собою в рассказе Володи, в этой фантастической истории с немцем, который наконец показался, волоча какой-то узел, за ним Сеня; немец пошел, оглядываясь на нас, и тут Сеня шваркнул гранату в блиндаж, и поднялась стрельба, немец упал, ракеты, крики, немец вопит как сумасшедший, мы пятимся, скатываемся куда-то в низину, Сеня волочит узел, потом вытаскивает из узла бутылку. Отличный был ром. Захмелев, уже ничего не боясь, каким-то чудом пробрались мы через эту проклятую спираль Бруно, ввалились к своим. Развязали скатерть, там было мороженое месиво из сардин, сосисок, ананасов. Мы с ребятами — кто там был, вспомнить невозможно — срубали все эти деликатесы со скоростью звука.

— А вы через неделю консервы искали! — победно сказал Володя. — Смеху подобно!

И он не без таланта изобразил, как все произошло, когда Сеня распахнул дверь: посреди блиндажа стоял накрытый стол. Готовились справлять рождество. Всякие сыры и мясо, салфетки. Окончательно же пронзил Сеню зеленый салат, руку у него свело, не мог же он бабахнуть в такую роскошь. Психологически не в состоянии ввиду голода. На его счастье, там всего один фриц вертелся, снаряжал этот стол.

— Сенечка и предложил ему на языке Шиллера и Гете сгрести харч и мотать с нами, — сказал Володя, — а потом свои же и подстрелили этого фрица или ранили.

Мне-то казалось, что все было бестолковей, и консервов было всего несколько банок, и фрица я вроде не видал. Но кому нужна была точность? Так было куда интересней — это была одна из тех легенд, которые бродили по фронту, сохранялись никем не записанные, отшлифовывались из года в год, припоминались в дни Победы, когда всплывают происшествия смешные, невероятные, и прошлое протирается, обретает ловкий овал...

— А ты тоже сомневался в Полесьеве? — спросил комбат, впервые проявляя собственный интерес.

Володя честно задумался, и мне стало ясно, что комбат попал в самую точку, в яблочко, потому что из всего приукрашенного тот момент, когда мы томились, сохранился подлинным, и в этом моменте мы не то чтобы усомнились в Семене, нет, мы убеждали себя, что не сомневаемся в нем, — вот это-то и почувствовал комбат.

Непонятно только, почему он сказал «тоже».

Он вытащил какую-то бумагу, похожую на карту, надел очки, сверился, и Володя потащил меня к яме, полной воды, заросшей, как и другие ямы, неотличимой до того, пока комбат не указал на нее, ибо тут она превратилась в совершенно особую. Те же гнилые бревна вытаркивались из осыпи, Володя мягко ступал на них, показывая, где были наши нары, мое место, его место, присел, балансируя на скользком гнилье, вытянул из грязи конец черного шнура. Вернее, плесенно-зеленого, это мы увидели его черным, как он висел поперек землянки и горел в обе стороны, медленно, копотно выгорела изоляция — такое у нас тогда было освещение. На стене в золотой рамке висела настоящая картина, писанная масляными красками: дама в соломенной шляпе гуляет по набережной. Там светило южное солнце, море было зеленым, небо ярко-голубым, мы лежали на истлевшем бархате, найденном в разбитой церкви, и Володя пел Вертинского...

Вечером, после тошнотного хвойного отвара, когда от голода дурманно колыхались нары, не было ничего трогательнее этих песенок. Я тогда понятия не имел о Вертинском, он считался запретным. И почему так действовали на нас бананово-лимонный Сингапур, сероглазые короли, желтые ангелы...

Мадам, уже падают листья
И осень в смертельном бреду.

Голос у Володи остался такой же, низкий, с щемящей хрипотцой:

Уже виноградные кисти
Темнеют в забытом саду.

Сеня Полесьев лежал в своем углу холодный и твердый, это был уже не Сеня, а предмет, как доски нары, как банка с ружейным маслом. Мы еле дотащили его, раненого в живот. Он умер к вечеру, и через час мы по-

лучили за Сеню порцию хлеба, суп и поделили его сто пятьдесят граммов. Пришла Лида, мы налили ей в кружку и оставили немного супу — закусить. Она легла между нами погреться — как мужчины мы были безопасны.

В дверь заглянул комбат.

— Что за веселье? Что за песни?

— День рождения справляем, — сказала Лида.

— Чей это день рождения?

— Вы разве не в курсе? — сказала Лида. — Может, хотите присоединиться? У нас славная компания.

Никто, кроме Лиды, не позволял себе так говорить с комбатом.

Пригнувшись в низком проеме, он смотрел на Сеню, прикрытого газеткой. Мы знали, что он любил Сеню и защищал его перед Баскаковым... «Одиннадцатый», — сказал он голосом, обещающим долгий смертный счет, ничего не отразилось на его лице, и я позавидовал его выдержке.

Он ушел, а мы лежали и пели. И если уж откровенно — мы выпили за упокой Сени и потом чокнулись за здоровье вождя. Мы хотели, чтобы он жил много-много лет. Потом Володя отправился в наряд, а мы с Лидой заснули, прижавшись друг к другу. Проснулся я оттого, что почувствовал ее слезы.

— Не убивайся, — сказал я. — Война.

— Дурачок, я ж не о нем. — И вдруг она стала целовать меня. Спросонок я не сразу понял, гимнастерка ее была расстегнута так, что открылись голубенькие кружева ее сорочки, и я впервые заметил, какие у нее груди, несмотря на голодуху, какие у нее были крепкие груди. Но она ведь знала, что я ничего не мог, никто из нас тогда не мог. И все равно мне было стыдно за свою немощь. Я оттолкнул ее, потом выругал, ударил, скинул ее с нар, вытолкал из землянки. «Сука, сука окопная!» — кричал я ей вслед. Сейчас мне казалось, что потом я тоже заплакал, да, было бы хорошо, если б это было так, но я точно знаю, что я не плакал, я завалился спать, я считал, что я чем-то подражаю комбату, такой же непреклонный и волевой.

Какая подлая штука — прошлое. Ничего, ничего нельзя в ней исправить...

Я жду вас, как сна голубого,
Я гибну в любовном бреде...

Вместо Лиды сейчас подпевал Рязанцев, фальшиво и самозабвенно, и взгляд его предлагал мне мир и забвение.

Володя взял у комбата его бумагу и протянул мне.

На ватмане, заботливо прикрытом наклеенной калькой, вычерчены были позиции батальона с черными кружками дотов, пулеметными точками, с пунктиром ложных окопов. Рядом то льнула, то отступала синяя линия противника, с острием «аппендицита», занозой, всаженной в нашу оборону. Наискосок самодельную карту перечеркивала нынешняя ветка электрички, обозначен был и этот новенький домик под красной крышей, на котором растопырилась антенна. На антенне сидела сорока.

— Так восстановить обстановку! Я бы никогда не смог!— Володя изнывал от восторга.— А ты говоришь!

— Сохранились, наверное, старые карты,— сказал я.— Иначе как же...

Комбат засмеялся, махнул рукой:

— Где там, весь отпуск ухлопал.

Сколько раз пришлось ему приезжать сюда, бродить, выискивая заросшие следы на этих мокрых одичалых полях, вымерять шагами нашу тогдашнюю жизнь, извлекать день за днем, вспоминать каждого из нас.

— Да, работенка. Зачем-то, значит, понадобилось,— сказал я наугад.

— Тебе же и понадобилось,— сказал Володя.— Ведь это же здорово! Земляночку нашу определили!

— Наверное, были и другие причины.

— Совершенно верно,— сказал комбат.— Надо было кое-что выяснить.

Что-то опасное слышалось мне в его голосе, но никто ничего не заметил, Рязанцев подмигнул догадливо:

— Мемуары? Сознайся, а? Давно пора. Мы тебе поможем.

Комбат грубовато усмехнулся.

— Ты мне лучше помоги обоим достать приличные. У тебя на комбинате связи сохранились.

— Не мемуары, песни о нас слагать надо.— Володя обвел рукой поле.— Какой участочек обороняли! Сколько всего?— он заглянул в карту.— Три плюс полтора... Четыре с половиной километра! Мамочки! Один батальон держал. И какой батальон! Разве у нас был батальон? Слезы. Сколько нас было?

— На седьмое февраля, — сообщил комбат, — осталось сто сорок семь человек.

— Слыхали? Полтораста доходяг, дистрофиков! — все больше волнуясь, закричал Володя. — В чем душа держалась. И выстояли. Всю зиму выстояли! Невозможно! Я сам не верю! Один боец на тридцать метров. Сейчас заставь вас от снега тридцать метров траншей очистить — язык высунете. А тут изо дня в день... И это мы... Какие мы были... — Красным вспыхнули скулы его твердого лица, он попробовал улыбнуться. — Никому не объяснишь. И еще стрелять. Наступать! Дрова носили за два километра. Как мы выдержали все это... Ведь никто и не поверит теперь. Неужели это мы... — Губы его вдруг задрожали, расплылись, он попытался справиться с тем, что накатило, и не мог, отвернулся.

Рязанцев судорожно вздохнул, слезы стояли в его глазах:

— Потому что вера была.

— Одной веры мало. Комбат у нас был! С таким комбатом...

— Давай, давай, — сказал комбат.

— И дам! Ваша ирония тут ни к чему, — запальчиво отразил Володя. — Зачем мне подхалимничать? Думаете, я забыл, кто пайкой собственной разведчиков награждал? А каждую ночь все взводы обходил? Кто меня мордой в снег? Я уже совсем доходил. А он меня умыл, по щекам надавал, петъ заставил. Может, я вам жизнью обязан.

— Не один ты, — ревниво сказал Рязанцев.

— Кто ж еще? Ты, что ли? Или ты? — комбат ткнул в меня пальцем, непонятно злясь и нервничая. Измятое лицо его дергалось, руки бессильно отмахивались, только глаза оставались неподвижными — жесткие, сощуренные, как тогда в прицеле над винтовкой, отобранной у меня хреновой моей винтовкой с треснутой ложей. Он выстрелил, и сразу немцы подняли ответную пальбу, взвыли минами. Комбат не спеша передвинулся и опять пострелял. Это было в октябре, впервые он пришел к нам в окоп — фуражечка набекрень, сапожки начищены, — пижон, бобик, начальничек; взводный шел за ним и бубнил про приказ. Был такой приказ — без нужды не стрелять, чтобы не вызывать ответного огня. Ах, раз не стрелять — так не стрелять, нам еще спокойней. Мы, пригибаясь, шли за ними, матеря весь этот шухер, который он поднял. Комбат только посмеивался.

«Без нужды,— повторял он,— так у вас же каждый день нужда, и малая, и большая. Что же это за война такая — не стрелять?» И все стрелял и дразнил немцев, пока и у нас не появилось злое озорство, то, чего так не хватало в нашей блокадной, угрюмой войне. Нет, он был отличный комбат.

— Да и я тоже вам обязан,— вырвалось у меня.— И может быть, больше других...

Не обращая внимания на его смешок, я что-то выкрикивал, захваченный общим волнением: сейчас прошлое было мне важнее настоящего. Здесь мы стали солдатами, которые дошли до Германии, а эта тщательно вычерченная карта, настойчивость, с какой он тащил нас сюда, может, всего лишь наивный замысел — услышать похвалы своих однопольчан,— а теперь он нервничает и стыдится, что затеял все это...

Дождь измелечал, сыпал неслышной пылью. Позади остались залитые водой окопы Сазотова — наш передний край, наша лобовая броня. Мы шли на «аппендицит».

Комбат шагал один впереди, за ним его солдаты, три солдата, и все равно это был батальон. Снова, в который раз, наш батальон вступал на ничейную.

Из травы выпорхнула птица. Рязанцев вздрогнул, нагнулся, поднял серую кость — обломок челюсти. Мы ковырнули землю — обнажился ржавый пулеметный диск и рядом осколки, а глубже позеленелые гильзы, обломок каски, кости, осколки, всюду осколки, земля была полна осколков, ржа работала не так-то уж быстро.

— Великое дело восстановить правду войны,— рассуждал Рязанцев.— Возьмем историю нашего батальона...

Правда войны... восстановить правду — кто бы мог подумать, что это станет проблемой.

Летом наш отдельный батальон, то, что от него осталось, отвели на переформирование, мы не знали, кто, как взял этот «аппендицит», — так он и остался для нас неприступным.

Зеленый уступ его медленно приближался.

— И никто не стреляет,— удивился Володя.

Напряженность была в моей улыбке. Нас всегда подпускали поближе и начинали строчить. Наша ар-

тиллерия, бедная снарядами, не могла подавить их. Чернели воронки, десять, двадцать, все-таки кое-что, но стоило нам приблизиться — и «аппендицит» взрывался тем же смертно-плотным огнем.

Казалось, до сих пор весь объем этого сырого пространства исчерчен следами пуль. Со временем город продвинется, поглотит это поле, тут построят дома, залиют асфальтом землю, натянут провода. Никто уже не сможет различить за шумом улиц звуков войны, запахов тола, махорки, никому и в голову не придет, только для нас это пространство будет разделено линией фронта. Сеня Полесьев рухнул тут на колени, взвыл, держась за живот. Там упал Безуглый, и где-то тут, между ними, через две недели свалился и я... Все атаки слились в одну, мы шли, бежали и снова ползли в сером позднем рассвете. Память очнула старую боль раненой тогда ноги, дважды меня било в одну ногу, но обычно помнилось второе ранение на прусском шоссе, а сейчас я вспомнил, как полз здесь назад по снегу и ругался.

Травяной склон «аппендицита» был пуст, безмолвен. Комбат шел к нему спокойно, в полный рост. «Ему-то что, — сказал как-то Силантьев, — он заговоренный, а нашего брата сечет без разбора». Никто не ставил в заслугу комбату, когда он шел впереди по этому полю.

Я оглянулся. Позади, держась за сердце, брел Рязанцев. Желтая рубашка мокро облепила его тряские груди, живот, волосы слиплись, обнажив лысину.

Все-таки я вспомнил! «Наш подарок», — писал Рязанцев в боевых листках. Красным карандашом. Взять «аппендицит» к двадцать первому декабря. Его предложение. Его инициатива.

Рязанцев посмотрел на меня. Почувствовал, замедлил шаг, а я остановился, поджидая его. Деваться ему было некуда. Он заискивающе улыбнулся.

VI

...Не дождь шел, а снег, зеленый снег в пугливом свете ракет. И я вдруг увидел, что меня не ранило, а убило, снег засыпал меня, рядом лежал Безуглый, еще неделю мы лежали на этом поле, потому что у ребят не было сил тащить нас, потом нас все же перетащили. Баскаков вынул у меня партбилет, письма, Лидину карточку (черт меня дернул держать эту карточку

в кармане!). Он вынул ее при всех и отдал Лиде, и меня закопали вместе с другими. Так я и не знаю — взяли этот «аппендицит» и что с Ленинградом; для меня навечно продолжается блокада, треск автоматов, ненависть к немцам и наш кумир, величайший, навечно любимый мною, наша слава боевая, нашей юности полет... Но не надо над этим усмехаться — мы умерли с этой верой, мы покинули мир, когда в нем была ясность — там фашисты, здесь мы, во врага можно было стрелять, у меня был автомат, две лимонки, и я мог убивать врагов. А умирать было не страшно, смерти было много кругом. Теперь вот умирать будет хуже... А через двадцать с лишним лет пришел на это поле комбат и впервые вспомнил тот бой.

Слишком местного значения был тот бой, даже в батальоне вскоре забыли о нем, наступил еще больший голод, и были другие атаки и огорчения. Если бы не комбат... Только комбаты и матери помнят убитых солдат. Мы ожили его памятью и снова шли на «аппендицит».

Рязанцев приближался, хрипло дыша.

— Сердечко... поджигает,— он смотрел на меня, прося пощады.— Инвалид. Совсем разваливаюсь... Последствие...

Оказывается, его тоже контузило здесь, тогда вроде бы легко, а через несколько лет сказалось, и чем дальше, тем хуже. Со службой не ладилось, кто-то его подсиживал, его направили в кадры на обойную фабрику, оттуда в пароходство, а сейчас он ушел на пенсию, доживая остатки своего здоровья. Частые болезни надоели жене, еще молодой и крепкой, у нее завелась своя жизнь, и дети как чужие, тоже не нуждаются в его опыте. Но он держится — главное, не отрываться, он дежурит на агитпункте, беседует с нарушителями по линии штаба дружины.

От него несло тоской неудач, суеты малонужных занятий, и непонятно было, как же мы шли с ним по этому полю, и он стрелял, и всю эту зиму проявлял себя и другим помогал, находил силы агитировать... Его тоже могли убить вместе со мной, и тогда он остался бы храбрецом... Откуда же набралось в нем столько страха?

Но какое я право имею, чего это я сужу всех, как будто я так уж правильно прожил эти случайно доставшиеся годы...

Я обнял мягкие обвислые плечи Рязанцева, пытаюсь сказать что-то хорошее, от чего бы он распрямился и перестал робко заглядывать в глаза. Что бы потом ни случилось, он оставался одним из наших — с переднего края, из тех, кто жил среди пуль. Люди делились для меня когда-то: солдат — не солдат. Долго еще после войны мы признавали только своих — фронтовиков. Мы отличали их по нашивкам ранений, по орденам Славы, по фронтовым шинелям. Фронтовую шинель всегда можно было отличить от штабной.

А снег все валил, засыпая ходы сообщения, прежде всего надо было расчистить сектор обстрела, перед пулеметами. Лопатки были малые саперные, а откидывать на бруствер запрещалось, потому что не видно будет немцев. Рязанцев тоже ходил, проверял, требовал замок пулеметный держать в тепле... хоть на груди... Зимняя смазка густела... Замок липкий от мороза... Патроны с желтыми головками, с красными... Я помогал Володе тащить веретенное масло для противооткатных... Он сшил мне из старой шинели наушники... Паленая шинель. Наушники пахли горелым.

Я прижался щекой к мокрой щеке Рязанцева. Володя оглянулся на нас. Никого не было сейчас для меня ближе этих людей. Какие бы они ни были. С тех пор накопились новые друзья, мы собирались, ходили в гости, делились своими бедами, но никого из них я не мог привести в эту зиму. Одна зима, да еще весна — не так уж много, но ведь важно не сколько вместе прожил, а сколько пережито. А с этими... Я знал, что могу завалиться спать и Рязанцев не съест мою пайку хлеба. Это не так уж мало, как кой-кому может сейчас показаться. И они знали, что я не отстану и не залягу. Никто из моих друзей, там, в городе, не знал меня такого, только эти трое.

Я взял Рязанцева под руку, чтобы ему легче было. Нога моя еще ныла. Володя присоединился к нам. Комбат шел впереди. Травяной подъем «аппендицита» был скользким. На склонах или выше затаились железобетонные доты, непробиваемые, неодолимые, непонятно было, когда немцы успели их соорудить.

Бесшумно пронеслась электричка. Несколько секунд — и она была уже по ту сторону фронта.

Володя хвалился, как раздобыл недавно стенд для лаборатории с помощью гитары. Комбат поднимался по склону, торжественно, как по ступеням. Нам никогда не

удавалось дойти до этих мест. Оказалось всего-то метров триста.

Забравшись наверх, мы оглянулись. Отсюда прекрасно видна была наша позиция, темная скученность кустарника отмечала кривую линию окопов. Дальше тянулись поля, сейчас там высились белые дома, а тогда не было ничего — снежная равнина и постоянное наше ощущение пустоты за спиной, никого, кроме нас, до самых Шушар, может, до самого Ленинграда. Мы были последний рубеж, мы не могли ослабеть, убояться, отступать нам было некуда.

Отсюда немцам обнажалась вся наша голодная малолюдная слабость, наша бедная окопная жизнь. Они трусливо ждали, пока мы передохнем; по их подсчетам, мы давно должны были сдаться, околеть, сойти с ума, впасть в людоедство.

— А где же доты? — спросил я.

— Доты! — Комбат поспешно вытер лицо платочком, отряхнулся. — Не было дотов. В том-то и фокус-покус! — И хохотнул напряженно.

Он подвел нас к яме. Очертания ее еще сохранили четырехугольность колодца. Комбат стукнул ногой по стене — стены были выложены шпалами. В шпалы лесенкой забиты скобы. Колодец уходил вглубь метра на два с половиной, на три и загибался. Комбат заставил нас спуститься вниз, в заросшую сырую тьму. Всего комбат обнаружил семь таких колодцев. В каждом помещалось по два автоматчика. Он представлял их действия во время атаки: когда начинался обстрел, автоматчики укрывались в отсеки, пережидали, потом поднимались по скобам и встречали нас огнем. Практически они были неуязвимы. Прямое попадание снаряда в такой колодец исключалось. Между колодцами существовала система взаимодействия огнем. Мы примерились. Я стал в колодце, автомат дрожал в моих руках, я строчил по своим, я расстреливал себя, того, который бежал, проваливаясь в снег, полз сюда, я стоял с полным комфортом, попыхивая сигареткой...

VII

— Вот и вся хитрость, — сказал комбат. — Всего-на-всего...

Рязанцев сплюнул в колодец.

— Не верю я. Как же так? Ведь были же доты. Железобетонные. Может, их снесли?

— Ты что, видел их? Видел? Не было никаких дотов. В том-то и штука, — злорадно сказал комбат. — Чего ты упрямишься?

Мы молчали, избегая смотреть друг на друга. Напрасны, значит, были все наши артподготовки, сэкономили бронебойные, копили, берегли для штурма. Уверены были, что тут железобетонные колпаки. Кто мог предполагать — всего четырнадцать автоматчиков в колодцах.

— Чего другого мы могли? — сказал я. — Какая разница?

Комбат кошачьи прижмурился.

— Извиняюсь. Могли. Надо было минометами их доставать.

Это было так очевидно, что Володя выругался. Мы мучились от досады и стыда.

Володя покачал головой:

— Ай да комбат! Все же раскусил голубчиков, докопался. Ну и археолог. — Он перебирал в своих воспоминаниях, но мы поддерживали его, стараясь найти какое-то утешение. И мне даже пришло в голову, что не так-то уж заплешивал наш комбат. Понятно, что тянуло его сюда, — хотел разобраться в неудачах наших, доискаться. Может, просто так, для самого себя. Профессиональный интерес мастера. Приятно, что, значит, осталось в нем кое-что.

Мы пошли дальше в глубь «аппендицита», и я говорил комбату насчет своего очерка. Теперь ясно, что комбат имел в виду. Кто знал, что не было никаких дотов? Но все же мы наступали, это главное, и люди действовали героически.

— Не торопись, — устало сказал он.

Мысок «аппендицита» кончился. Комбат подвел нас к краю довольно крутого обрыва, где в спуске были выкопаны пещеры. В них, по его словам, размещался немецкий штаб со всеми службами. Судя по всему, жили немцы здесь безопасно и роскошно. Машины могли подъезжать сюда, доставляя из Пушкина горячие обеды, сосиски с гарниром, теплое пиво. Комбат выискивал следы мостков — это весной, в грязище, топтали они здесь по сухим деревянным мосточкам.

— Паразиты! И сюда минометы бы достали.— Володя стукнул себя кулаком по лбу.— Как это мы не доперли?!

— Ты-то тут при чем?— холодно сказал комбат. Володя обиженно заморгал.

— Ну а вы?— сказал я.— Вы-то куда смотрели?

— Не было у нас минометов,— поспешно сказал Рязанцев.— Не было.

Комбат терпеливо вздохнул.

— Минометы можно было раздобыть. Минометы не проблема.

— Так что же?

— Думаешь, нет причины? Причина, она всегда есть. Карта меня подвела. На наших картах обрыв не был обозначен.

— Так я и знал! Топографы, растудыть их.— Рязанцев помахал кулаком, но в голосе его было облегчение.— Дошло?

— Вот оно что,— сказал я.

Дождь кончился. Наверху разгуливалось, светлело. Ни с того ни с сего, где-то срываясь, отчаянно пропел петушок. Мы рассмеялись. Комбат снял накидку, стряхнул. Костюм на нем был сухой и галстучек небесно сиял.

— Прошлый год меня в ГДР командировали,— сказал Володя.— Толковые они приборы делают. И вообще — современные ребята, приятно, когда вместо хенде хох — данке шён.

Комбат прошелся мимо нас, в одну сторону, в другую. Мы следили за ним глазами.

— У меня сын тоже современный.— Рязанцев вздохнул.— Голоданием советует мне лечиться. У тебя, говорит, опыт богатый.

Комбат остановился, приглядываясь к нам как бы издалека, неведь откуда, и вдруг сказал воинственно:

— Карта, между прочим, тоже не оправдывает. Собождать надо было. Где еще, спрашивается, штаб мог разместиться? Достаточно понаблюдать за путями подъезда из Пушкина. Элементарная вещь. Тем более что времени у нас хватало. Слава богу.

Нельзя было понять, куда он клонит. Какого черта он наскакивает, не понимает он, что ли...

— Кто же должен был соображать? — не утерпел Володя.

— Я! — отрубил комбат, как на поверке, а потом добавил: — Кто же еще?

— Какого же черта...

Но Рязанцев перебил меня:

— Чего ты городишь, да разве мы днем могли наблюдать? Высунуться не давали. — И он переглянулся с Володей, что-то сигналив ему. Володя тотчас поднял руку.

— Свидетельствую. Правду, и только правду. Вы же во взводы лишь ночью могли добраться. С фонариком. Проверочка — все ли в пижамах. Помните песенку: «К нам приходят только ночью, а не днем на огонек»?

Комбат слушал его и не слушал, все поглядывал вправо от нас, в сторону пологого склона, начинающегося за крайним колодцем. Что-то ему не давало покоя. Он сверился со своей схемкой и уставился на пустой склон. Взгляд его застыл сосредоточенно-отсутствующим, словно комбат прислушивался к себе.

— ...Славная была песенка. Ловко ты ее сочинил.

— Я? Неужели я умел сочинять песни?

— Эх ты, растерял свои способности, — продолжал Володя. — Из тебя мог выйти Лебедев-Кумач или Окуджава.

Лицо комбата скривилось.

— Так и есть... — Он, как лунатик, сделал несколько шагов вслед неизвестной нам мысли, показывая на мелкие буераки, что рукавами стекали со склона, сливаясь в длинный, расширяющийся книзу овраг. Русло его в глинистых осыпях наискосок тянулось, сходя на нет, к нашим позициям, почти у правого фланга.

— Перебежками... Скапливаться... Проверим... в полный рост... — Он бормотал, ничего толком не объясняя, и вдруг попросил Володю и меня спуститься, пройти к нашим окопам и затем вернуться сюда, следуя по дну оврага. Рязанцев, тот посидит на обрыве, служа нам ориентиром.

— А в чем идея? — спросил я. — Что это еще за игра в казаки-разбойники?

— Надо проверить, — нетерпеливо повторил комбат. Он насильно улыбнулся. — Пробежитесь малость, согреетесь.

— Не пора ли нам, ребята? — Володя сладко потянулся. — Все было прекрасно. Насчет согрева есть другое предложение.

Я уселся на камешек, вытянул ноги.

— Проголосуем?

Рязанцев незаметно кивнул мне. Никто из нас не хотел участвовать в этой подозрительной затее.

Комбат растерялся. Он не мог гаркнуть, приказать нам. Он не думал, что мы взбунтуемся. Искательно улыбаясь, он совал мне плащ:

— Там в кустах мокро... Берите, берите. Чего вы, в самом деле. Вам же самим интересно. Ведь все равно... Пожалуйста. Имею я право...

Мне стало жалко его, так не шел ему этот просящий тон, но я не двинулся с места.

— Ах, эти штатские, гражданка-гражданочка, — напевал Володя. — Не поставить по стойке, не отправить в штрафную. Я сам в первые годы мучился. — Он посмотрел на комбата и вдруг сменил тон: — Послушай, может, не стоит.

Рука комбата больно стиснула мне плечо; бледнея лицом, он затряс меня:

— Вам-то что за дело!

Я поднялся, сунув руки в карманы, покачался на носках: «Не забываетесь ли вы, бывший наш начальник, раньше выяснять надо было, раньше, опоздали...» Но вместо всех фраз, которые вертелись у меня на языке, я театрально поклонился. Ладно, мы пойдем. Мы проверим. Только не пеняйте на нас, вы сами этого хотели.

VIII

Кусты приходилось сначала отряхивать, потом раздвигать. В овраге — впрочем, это был не овраг, а скорее лощинка — чисто пахло мокрой зеленью, воздух лежал теплый, грибной, цвели высокие розовые иван-чаи и желтенькие мать-и-мачехи; уголок этот, слабо тронутый войной, и чувствовался, и виделся иначе. Я подумал, что давно не был в деревне, так, чтобы были поля, коричневая вода в речке, большое небо.

— Чего он добивается? — расстроенно спросил Володя. — Чудик, Галилей Галилеич.

— Мы его предупреждали. И вообще — наше дело солдатское. Распрекрасное дело быть солдатом.

— Пардон, — сказал Володя. — Я больше люблю генералом.

Нет, я имел в виду другое — распрекраснейшее наше солдатское состояние: бесквартирное, безмебельное, свободное от покупок, моды, барахла, семейных смет и ночных объяснений. И наше солдатское дело — выполняй приказ, и никаких сомнений, психологических глубин, держись поближе к кухне, подальше от начальства, старшина обеспечит. Все мое со мной, все уместилось в вещмешке. Танки наши шли по Восточной Пруссии, через опустелые фермы, городишки. Мы ночевали в роскошных особняках, полных диковинного для нас шмотья, но нам ничего не надо было, мы шли вперед, оставляя за собой свободу, Германию, где никогда не будет фашизма, — и каждый из нас чувствовал себя всемогущим судьей, творящим высший и праведный суд.

— Тебе снится война? — спросил Володя.

— Давно не снилась.

— И мне давно.

— Тебе должны сниться научные сны. Штатные расписания, фонды, приборы. Зачем тебе военные сны?

— Нужно, — сказал он. — Иногда нужно.

Далеко наверху темнела сгорбленная фигура Рязанцева; комбата мы не видели.

— В колодце сидит, — сказал Володя. — Проверяет.

— Чего проверяет?

— Что было бы, если бы кабы... Пойдем на всякий случай повыше.

— Нехорошо. Ему ж надо знать...

— И что мы будем с этого иметь? Нет, отец, расстройств мне хватает в рабочее время, а тут в кои веки встретились...

Он взял меня за руку, потащил, забирая все выше по скосу, пока над уступом не показались голова и плечи комбата. Он что-то закричал нам, но мы продолжали идти, не теряя его из виду. Черный силуэт его вырастал над землей, поднимался по грудь, потом по пояс, он вставал из земли, словно один из тех, что полегли здесь.

— Неужели мы с тобой когда-то тут ползли и все это было? — спросил я. — Если бы прокрутить на экране, — представляешь, мы сидим в зале и смотрим.

— Кошмар. Просто чудо, что мы с тобой живы, старик. Для меня нынешняя жизнь — как бесплатное приложение.

С условленного места, где овраг разветвлялся сухими вымоинами, мы круто свернули на Рязанцева.

Володя закричал:

— Даешь «аппендицит»! Вперед! Нарушителей к ответу!

Мы хватались за кусты, карабкались наперегонки.

Мы выскочили прямо на Рязанцева.

— Сдавайся!

При нашем появлении они замолчали. Рязанцев пустыми глазами посмотрел на нас и отвернулся. Комбат вылез из колодца перепачканный в глине, растрепанный, галстучек его сбился, пуговица на пиджаке болталась. Он вытер руки о траву, спросил:

— Смухлевали?

— Да как можно, вы ж нашего брата насквозь, — затараторил Володя.

На мгновение комбат поверил, посветлел, видно было, как хотелось ему обмануться, но тут же вздохнул, расставаясь с несбыточным, нахмурился, снял зачем-то шляпу, повертел ее, рассматривая.

— Вот какая история... Так я и думал... Ах ты боже мой, что же выходит? Вы понимаете, как повернулось все... нет, не понимаете вы...

Он недоверчиво, как-то удивленно осматривал каждого из нас, словно не желая верить, что ничего исправить нельзя.

— Значит, что же? — тупо повторил он и задумался.

Мы почему-то успокоились, Володя вынул расческу, причесался, но вдруг комбат с какой-то отчаянностью и упорством, как бы наперекор себе, погрозил кулаком:

— Нет, раз уж так, я покажу! Я вам все покажу!

Зеленый рельеф, несмело высвеченный солнцем, лежал перед нами, как наглядное пособие в классе военного училища. Скомкав шляпу, комбат яростно тыкал ею в пространство, объяснял торопясь, словно боясь за свою решимость. Теперь, когда он убедился, что даже из крайнего колодца овражек не простреливается, ясно, что наступать надо было так, как мы шли с Володей, прижимаясь к другому склону, в мертвом пространстве, не доступном автоматчикам, и, круто свернув, выскочить сюда. Вот в чем слабость немецкой позиции. Тут у них и была слабина. И он знал, знал об этом.

— Откуда ты знал? — спросил Володя.

— Полесьев мне говорил. Ведь вы же по этому оврагу и отходили в ту ночь. Вспоминаете?

Володя изобразил удивление.

— Совсем в другом месте мы отходили. Никакого оврага там не было. Верно?

Он посмотрел на меня, я закивал головой и сказал:

— Может быть, немцы все же как-то подстраховались, перекрыли овраг?

— Не было у них тут ничего. Да и где тут что поставить? Разве что проволокой загородились. А я не поверил Полесьеву.

Рязанцев не вытерпел, нарушил свое оскорбленное молчание:

— Немцы могли заминировать овраг.

— Когда? — спросил комбат. — Они вообще наши участки не минировали.

Мы и так и эдак разглядывали чертов этот овраг, и путь через него становился все более очевидным. Мы ничего не могли с собой поделать, ужасно было подумать, как же мы не догадались использовать местность и перлись в лоб под огонь автоматчиков.

— Сейчас, в летний период, другой обзор, — не сдавался Рязанцев, — зимой овраг был скрыт снежным покровом.

— А от нас вообще ничего не разобрать, — убежденно сказал Володя. — Увидеть мы могли лишь сверху. С позиции господ бога. На том свете они, конечно, все видели.

— Снежный покров... — повторил комбат с надеждой, потом задумался. — Вряд ли. В декабре снегу было немного. Посдувало ветром. Это к Новому году навалило.

Он подождал наших вопросов, но мы молчали. Мы стали осторожными, своими вопросами мы только глубже залезли в эту трясику.

— Если не поверил я Полесьеву, тогда надо было разведку послать, — сказал он. — Так нет же! Торопился. Дата подпирала.

— Вы тут ни при чем, в такое положение поставили... — И я бросил взгляд на Рязанцева.

— Намекаешь, — сказал тот, тяжело краснея. — Мое дело было предложить.

— Зачем? Никто с тебя не требовал. Сам усердствовал.

— А ты другую сторону учел? Моральный подъем какой получился. У тебя был моральный подъем? Был? Если по-честному?

То-то и оно, что был. Вот в чем сложность. И мне следовало помалкивать, потому что я ничем не лучше его и не имею никакого права...

— Бросьте вы, — сказал Володя. — Главное, что каждый действовал вполне честно.

— Нет, погоди, я по команде обратился, — добивался своего Рязанцев. — Елизаров был против, а потом он позвонил, что комбат за.

— Его заставили, — неуверенно сказал я.

— Никто меня не заставлял, — сказал комбат. — Я сам... — Он взмахнул стиснутой в кулаке шляпой, остановить его уже было невозможно. — Первый раз пошли — ладно, легкомыслие, ладно, торопился, а второй, а третий? При чем тут дата? Восемнадцать убитых, тридцать раненых.

Мы не желали этого слушать, мы еще сохраняли ему верность, но перед нами лежали буераки, по которым можно было бежать, карабкаться, не вжимаясь в землю, не обмирая перед свинцовым присвистом, не птясь распластанно... Облачность совсем истоньшала, порвалась, открывая высокое синее небо. Солнечные просветы ползли по траве, никак не отзываясь в нас. Я шел по этому оврагу вместе с Безуглым, с Сеней и Володей, пальцы обнимали тяжелую лимонку, пули свистели где-то наверху, мы выскакивали прямо сюда...

— А может, и не было раньше этого оврага... То есть не то что вовсе... — поправился Володя. — Размыло его за эти годы. Вот у Виктора шевелюру выветрило. У меня зубы... Да и у тебя, комбат... — Его нелегкое веселье приглашало покончить на этом, забыть, уехать в город, выпить, спеть.

И я тоже старался помочь ему, что было — то было, уж кто-кто, а мы-то честно воевали, мало ли что может выясниться, важно, что тогда комбат делал все, что мог, не щадил себя, и сколько других героических дел мы совершили.

Комбат рассеянно кивал, и все смотрели на овраг.

— По кустам видно, — сказал он. — Овраг-то старый. — Он помотал головой, сморщился, как от сильной боли. — Как я мог... Как я мог... Что же теперь делать? — спросил он вполне серьезно, как будто можно было что-то исправить.

Он недоуменно потер лоб, оглядел нас.

— Вот вам и комбат.

Морщины все сильнее ветвились на его темном, ореховом лице. Он стоял перед нами, стареющий, сидящий человек, и невозможно было понять, с какой стати он должен отвечать за того — лихого, с фуражечкой на бекрень. Где-то там был и я, в кожаных штанах, стянутых с убитого старшины, нахальный... Выходит, и я должен отвечать за поступки того парня? С какой стати? Он жил в другое время и по другим законам, я не имею права его судить.

— Послушай, чего ты добиваешься? — в ярости произнес Володя.

— Может, я рассчитывал: поскольку доты, овраг перекроют? Так ведь не было дотов, — бормотал комбат.

— Ох ты господи! Объясните вы мне, что надо этому человеку!

Глаза комбата сузились в опасном прищуре.

— Не нравится? Вы уж простите, если испортил вам приятные воспоминания. Но давно меня это мучило. Да, да, профукал. Такую возможность упустил! Представляете, если б мы их вышибли отсюда... — Он зажмурился, мечтательно покачал головой из стороны в сторону. — Как я мог! Думаете, почему сюда тянуло? Я, когда эти колодцы нашел, ахнул... Смеюсь и чуть не плачу от обиды. А теперь еще и это. Одно к одному. — Он зябко поежился. — Что ж молчите? Ошибки надо анализировать. Не стесняться... — Взгляд его вдруг смягчился, что-то в нем появилось прежнее: сочувствие, забота о нас? — Вы что же — выгораживаете меня! Вот тебе и на! А зачем? Вы поймите: не было никаких броневых плит, и колпаков не было. Не утешайте меня и себя. Я понимаю: боевые заслуги, атаки, активная оборона. А тут нате, преподнес — дотов нет, операции разведкой не подготовлены... Неграмотность. Сейчас любому комбату дайте эту задачу... Да, не сумели разгадать. Это мы потом научились. В Прибалтике целый полк провел у них под носом, сквозь щелку. И ахнуть не успели. А тут... Перехитрили нас. Да какие могут быть оправдания? Вы что хотите — чтобы я вроде Баскакова?

— А что Баскаков? При чем Баскаков? — уцепились мы.

— Ему хоть бы хны. Встретил его в Крыму. Кругленький, в белой панамке. Вспоминает всех с гордостью. Прослезился: как, говорит, все было прекрасно... — Он

озадаченно повертел шеей, словно высвобождаясь из тесного воротничка. — Что ж, по-вашему, и я должен... Конечно, переделать нельзя, но передумать-то можно...

Действительно, что же ему — делать вид, что ничего не было? Отмахнуться? Хуже нет этих проклятых вопросов. Сколько раз за последние годы они появлялись передо мной: «Что я должен делать?» И сразу же: «А что я могу?» И затем: «Ну выступлю, ну скажу, а что от этого изменится?» Удобно. Вся штука в том, что, пока сам спрашиваешь себя, отвечать не обязательно. А когда тебя спрашивает другой? Нельзя эти вопросы произносить вслух. Что-то еще можно уладить, пока не сказано вслух. «Вот чего ты не любишь, — подумал я, — не любишь, когда вслух. С самим собой ладить ты умеешь, этому ты научился: жить, не ссорясь с собой». Но что изменится от того, что комбат будет рвать на себе рубаху? Ничего не изменится. Попробовал бы он признаться не нам, а ребятам, которые легли здесь... Извините, не учел неоправданные потери, ошибочка вышла. Что бы ему ответил Вася Ломоносов? Или Семен? Нет, бессмысленно, никому не нужна эта горечь. Говори не говори, ничего теперь не поправишь. Пусть все остается как было. Ну конечно, пусть все остается гладенько и красиво, как в твоём очерке. А в моём очерке не было неправды — откуда я мог знать, как оно обстояло на самом деле. А если б ты знал? Вот теперь знаешь — и что? Тебе и не нужна правда, в том-то и твоя хитрость. Тебе вполне хватает полуправды. Нет, если так рассуждать — любого можно обвинить. Нет, так не пойдет.

— Как в Библии, — сказал я вслух. — Пусть кинет камень тот, кто без греха.

Володя меня сразу понял.

— И тем, кто без греха, не разрешу кидать. Известно, как они сумели оказаться без греха.

Почему-то меня не обрадовала его поддержка. Что-то получалось у нас не то. Разговор иссяк. Снова промчалась электричка назад, к городу, освещенному сиянием. На горизонте тонко поблескивали шпили, синеватый знакомый профиль города струился в нагретом воздухе, как мираж. Таким он мечтался нам из окопов, а теперь он на самом деле такой. В конце концов, это же мы его отстояли. При всех наших промахах и неумелости. Мы. Ради этого все остальное можно простить.

Мне вдруг захотелось домой. Я вспомнил, что к жене приехала Инна, а к вечеру должны были подъехать

Матвеевы, рассказать о симпозиуме в Обнинске. Мы будем сидеть за столом, пить чай, и среди разговора я, наверно, вспомню эту минуту под Пулковом и пожму плечами — стоило ли так переживать, кому это интересно...

— Пошли? — сказал я.

Рязанцев вздрогнул, очнулся, схватил меня за рукав:

— Минуточку. Что же получается? А я? — Голос его сорвался вскриком. — Кто ему право дал?! Я не согласен.

— А мне зачем твое согласие... Если б я на тебя сваливал.

— Ты подожди, ты мне сперва ответь: мы для тебя — кто? Свидетели? Между прочим, я тоже участник. Пусть я пенсионер, инвалид. Может, у меня больше и нет ничего. Инвалид Великой Отечественной. Боевое ранение. Я воевал, в атаки ходил. Что, я был плохой политрук?

— Ты был хороший политрук, — сказал комбат.

— Что же ты сделал со мной? Кто я теперь? Чего я инвалид? Твоей халатности? Да? На кой, извиняюсь за выражение, ты мне тут раскрывал. Я-то гордился: бывший политрук знаменитого батальона, какой у нас комбат был — полководец! Я с воспоминаниями выступал. Допустим, после войны у меня все кувырком, никаких особых достижений. Не имею заслуг. Но война у меня настоящий пункт биографии, никаких сомнений. Полное идейное оправдание жизни. Ты, значит, обнаружил, признался, очистился. А мне что прикажешь? Ты обо мне подумал? Ты мой командир, обязан ты... подумал, что ты у меня отобрал? Может, самое дорогое... Под конец жизни. Что у меня впереди? У меня позади всё. Выходит, и позади под сомнением, наперекосяк...

Крупная дрожь сотрясала его рыхлое тело. Он защищался, как мог. Он защищал и меня, и Володю, наше общее прошлое. Покушались на нашу навоеванную славу, которая не должна была зависеть от времени, ошибок и пересмотров. Она была навечно замурована в ледяной толще блокадной зимы, там мы оставались всегда молодыми, мы совершали бессмертные прекраснейшие дела нашей жизни, и все наши подвиги принадлежали легендам. Такой, какой была эта война тогда для нас, такой она и должна оставаться. С героическими атаками, с лохмотьями обмороженных щек, с иступленной нашей верой, с клятвами и проклятиями...

Наше прошлое казалось недоступным и надежным, зачем же комбат портил его. Лучший из всех комбатов, умелый, бесстрашный, как Чапай, герой моего очерка, а выставил себя лопухом, не разобрался, угробил напрасно столько ребят, каких ребят! Совсем по-другому я видел, как мы поднимались под пулями, бежали вперед, проваливались в снег, кричали, подбадривали друг друга. Смелость наша поглупела, мы уже знали, что надо не так, и продолжали переть под автоматные очереди. Мы уже знали про овраг, и комбат знал и по-прежнему вел нас напрямую, в лоб, меня, и Сеню, и Рязанцева в желтой рубашке, потного, задыхающегося...

Шея Рязанцева багрово раздулась, на него страшно было смотреть, мы успокаивали его, он шарил рукой, не попадал в прорезь кармана. Володя помог ему, достал валидол.

Рязанцев закрыл глаза. Мы не глядели на комбата.

К машине возвращались медленно, Володя придерживал Рязанцева под руку, комбат шел сзади. Не доходя до шоссе, остановились передохнуть. Рязанцев сконфуженно извинился:

— Нервы... нельзя мне... Ничего, вы не обращайтесь...

— Нехорошо получилось, — сказал Володя.

Комбат стоял в мелком ручье и, морщась, смотрел, как вода билась у его ботинок.

— Что ж вы так? Я считал, что вам следует знать. Нам всем. А выходит, вам ни к чему.

— И тебе ни к чему, — твердо сказал Володя. — Если бы да кабы, так многое можно пересмотреть. И что это меняет? Мы шли под пулями, не трусили, ты впереди...

— Да разве в этом дело? Разобраться надо, чего вы боитесь... — В тихом голосе его было удивление.

Володя строго смотрел на него:

— Жалеть надо друг друга. Свои ведь... А ты, Виктор, не переживай. Тут тысячи вариантов. Гадать можно по-всякому. Про колодцы — и то нельзя наверняка. Верно, комбат?

Комбат молчал, глядя под ноги.

— И овраг, возможно, у них артиллерией был прикрыт. Дальнобойной. Вполне возможно.

Комбат поднял было голову и снова пригнул ее.

— А что? Абсолютно реальный шанс, — настаивал Володя. — Согласен?

— Может быть, — выдавил комбат.

— Видите. Так что ты, Витя, выше нос! Никто пути пройденного у нас не отберет!

Рязанцев пригладил волосы, он держался кротко, всепрощающе.

— Обидно, конечно. Ведь себя не щадили... Тем более — раз достоверно нельзя считать...

— По нулям, — сказал Володя. — Инцидент исчерпан. Забыть и растереть.

Я ждал, что ответит комбат. Не могло же так кончиться. Мы сели в машину, Рязанцев впереди, рядом с Володей, затем комбат; мы следили, как он садится, словно конвойные или почетный эскорт. Он уселся послушно, пряменько, машина тронулась, и он все молчал и потирал лоб, как будто не понимая, что произошло. У Пулкова шоссе свернуло к городу, участок нашего батальона остался позади, деревья, дома, заборы торопливо прикрывали его. Я понял, что все, больше уже ничего не будет, можно не беспокоиться, комбат наш останется на пьедестале, и мы у подножия, вокруг него, как на памятнике Екатерине, верные его сподвижники. Он останется хотя бы ради нас, не можем же мы сидеть, если наверху никого не будет. То, что было, — священно, никакие колодцы не меняют главного, и никто ни в чем не виноват. Нельзя разрешать, чтобы кто-то был виноват, в крайнем случае мы разделим вину по-братски, все немножко виноваты. Когда виноваты все, некого судить.

Мы сидели, раздвинувшись, и я ощущал свой висок под его взглядом. Каким он видел меня сейчас? Что у меня на лице? Я пытался представить себя со стороны — ничего не получалось. И так всю жизнь, никогда не можешь увидеть себя самого, движение лица, походку, жесты. Впрочем, так бывало, и отчетливо, в момент какого-то поступка. А если нет поступков? Если одни рассуждения и размышления. И наблюдения. И потом оценки и переоценки...

Приближался город. Машина, покачивая, уносила нас прочь от того одичалого поля, которое давно пора застроить, колодцы завалить, засыпать окопы, — не надо нам этих укоров, нам достаточно памятников, могил и действительно хороших воспоминаний. Какого черта, когда мы можем рассказать друг другу о том, как мы громили фашистов, какие мы устраивали окружения, клещи, освобождали Прагу, про то, как мы входили в Восточную Пруссию.

Сонно урчал мотор, в машине было тепло, мы двигались навстречу нашим женам, квартирам, работе и нашему расставанию с приятными словами и обещаниями.

«А поезд уходит,— вспомнилось мне.— Ты слышишь, уходит поезд, сегодня и ежедневно».

Это были слова из одной славной песни; очевидно, никто не знал ее, даже Володя не знал, но мне кажется, что они сразу поняли, что это за поезд, потому что все промолчали. Впрочем, я не уверен, что сказал про поезд вслух, я только слышал, как мы все молчим и машина набирает скорость после перекрестков. Каждый из нас мог сойти в любую секунду. Машина одолевала краткий промежуток между прошлым и будущим, и я вдруг почувствовал, что это тот миг, который дается для выбора. Или — или. Ничто, никакие оценки потом не заменят мне ни упущенного, ни совершенного. То, что есть сейчас, не повторится никогда. Поезд уйдет, это не страница рукописи, которую можно переписать.

— Артиллерия,— я откашлялся,— по оврагу артиллерия никогда не стреляла. Овраг не был пристрелян. Мы все это знаем. Чего же притворяться?

— Кстати, насчет обоев,— сказал Володя.— Мы тоже собрались ремонт делать.

— Устроим,— сказал Рязанцев.— И тебе, и комбату. Чего другого, а тут я могу.

— Звуконепроницаемые,— громче сказал я,— кислотоупорные, прозрачные, ароматные. Послушай, Рязанцев, говорят, ложь бывает гуманной, но если человек знает, что ему врут, тогда как, ему все же легче? Пора же о боге думать. Ну да, бога нет, но все равно дело идет к отчету. Чего вы испугались? Правды? Но ты-то, Володя, когда мы с тобой тут ползли, ты ж ни черта не боялся...

— Помолчи!— скомандовал Володя, не оборачиваясь, и в зеркальце отразились его глаза; я не знал, что у него могут быть такие металлические глаза. А он, по законам оптики, видел в том же зеркальце мои глаза и, может, тоже не узнавал их.

— Нет, не буду молчать!— с наслаждением сказал я.— Прикидываешься, что ты остался таким же!— Я чувствовал, что иду вразнос, безоглядный, блаженный разнос.— Нет, ты другой. И комбат другой. Только теперь ты боишься идти за комбатом. Потому что сейчас нужна другая смелость. По-твоему, комбат замахнулся на наше прошлое? Эх ты! Да разве правда может напор-

тить. Зачем нам украшать! Да, в тот раз мы промахнулись, не сообразили, не умели и все же выстояли, и ничего у немца не вышло. Без иллюзий еще прекрасней все остается, зря вы стухнули, забеспокоились. Факт, мы виноваты, мы прошляпили этот овраг. «Аппендицит» можно было взять. Не сообразили мы, что к чему. Мы проскочили бы по оврагу, и тебя, Рязанцев, может, и не контузило... Но это же надо знать. Ведь если снова идти на «аппендицит»... А ведь нам придется. Ну, может, не в смысле военном, но все равно...

Володя нервно крутанул баранку, выругался, сбоку грузовик взвизгнул тормозами.

— Из-за тебя, псих... чего ты несешь? Тоже мне обличитель! Хочешь, я тебя сейчас — наповал? Тогда в декабре или, нет, в январе, в марте, если бы ты узнал то же самое, стал бы вопить об этом? Нет. Чтобы комбата не подвести. Так что заткнись.

— А я лично не реагирую на подобные выпады, — с высоты небесной сообщил Рязанцев. — Но комбата мы не позволим дискредитировать. Это никому не удастся.

— Особенно после такого очерка, — едко заключил Володя.

Они говорили, не оборачиваясь, два затылка, две спины, уверенные в наводимом позади порядке.

— Да, тогда, в январе, я бы промолчал. Ну и что? И очерк мой дерьмо, — не так-то легко мне было произнести эти слова. Я вспомнил, сколько я переписывал этот очерк и сколько он мне потом доставил радости. — Дерьмовый очерк, — повторил я. — Потому что не понимал, что комбат может ошибаться.

— У нас был отличный комбат, — с силой сказал Володя.

Я посмотрел на комбата — морщины проступали на его темном лице, как немая карта. Видно было, до чего ему сейчас трудно. Может, труднее, чем в ту зиму. Сам он мог говорить о себе что угодно, он один мог судить себя. Одного из тех, которые талантом своим творили победу. Снова он полз по дну оврага, седеющая голова его была в снегу, пули нежно насвистывали где-то в вышине, он оглядывался, а мы залегли, мы оставили его одного, но он все равно карабкался, волоча автомат и авоську с плащом... Я положил ему руку на колено:

— Вы были вовсе не такой хороший комбат. Только теперь вы стали настоящим комбатом. Вы все же взяли «аппендицит». Пусть через двадцать лет.

Нога его отстранилась, и он сказал с неожиданной злостью:

— Опять я хорош. Виноват — хорош, не виноват — хорош. Выгодно, выходит, признаваться.

Слова его поразили меня, а Володя расхохотался:

— Получил? — Ему очень хотелось обернуться, посмотреть на нас.

Я откинулся на спинку сиденья. Незаслуженная обида вспыхнула во мне. Володя и Рязанцев беззвучно ликовали и потешались, но я чувствовал, что это больше над комбатом, чем надо мной. Что-то неумовимо изменилось, он перестал быть опасным, они отнеслись к нему покровительственно: наивный человек — отказаться от помощи, оттолкнуть единственного союзника, все себе испортить. А я, они считали, вынужден теперь присоединиться к ним, куда же мне еще деваться?

Один комбат ничего не замечал. Он близоручко согнулся над своей измятой схемой, водил по бумаге пальцем, допытываясь и обличая. Он был сейчас и подсудимый, и судья, он учитывал на своем суде и Володю, и Рязанцева, и меня, и обоих комбатов — того, молоденького, в фуражечке, и этого, в галстучке, с авоськой, и, может, других комбатов, которые существовали когда-то между этими двумя.

У Казанского собора Рязанцев сошел, долго примиренно прощался, просил не забывать его. Он обещал комбату сообщить про обои, утешающе похлопал его по плечу, потом отвел меня в сторону:

— Ты как считаешь, на вечере встречи он тоже... все это...

Я посмотрел на комбата. Он распрямился, мне показалось, он стал выше и лицо у него было другое, каждая черточка прорисована четко, со значением, как на старинных портретах, и костюм его перестал выглядеть старомодным, просто это был костюм из другой эпохи, так же привлекательный, как доспехи, ментики, камзолы. И осанка чем-то напоминала фигуру Барклай де Толли, памятник на фоне колоннады, твердое темное лицо его, и плащ, — и русских офицеров, их нелегкие законы чести, безгласный суд, которым они сами судили себя, приговаривая себя... Я позавидовал его одиночеству. Давно я не оставался в таком одиночестве. Отвык я от его неуютных правил — делать свое дело по совести, не объясняя своей правоты, не ища сочувствия.

— Да, он, конечно, может... — сказал я Рязанцеву.

— Как же быть тогда? — озабоченно спросил Рязанцев.

...Машина шла по Невскому, где-то позади остался встревоженный Рязанцев, скоро и мне надо было выходить. Я не знал, что сказать комбату на прощанье. Он тоже сидел озабоченный, ему тоже предстояло что-то решать и делать. И в себе я чувствовал эту озабоченность. Если бы мы служили в армии, тогда все было бы проще. На предстоящих учениях учтем. Научим курсантов. Или если бы мы писали военную историю. Комбату, пожалуй, легче, он учитель, а кроме того, он остается комбатом, вот в чем штука...

У Владимирского я увидел свою жену вместе с Инной, они возвращались с рынка. Мы остановились и вышли из машины.

— Как вы съездили? — спросила жена.

— Отлично, — сказал Володя. — Все было о'кей!

— Бедняжки, вы же промокли, — сказала Инна.

— Не считается, — Володя засмеялся, щурясь на ее золотые волосы, и она тоже засмеялась.

— А это наш комбат, — сказал я.

Он неловко и безразлично улыбался, держа свою авоську с плащом, голубенький галстук топорщился, грязные широкие брюки мокро обвисли, вид у него был истерзанный, как после схватки, и никто не знал, что он победитель.

— Я представляла вас совсем другим. — Разочарование прорвалось в голосе моей жены, но она ловко вышла из положения. — Знаменитых людей всегда представляешь иначе. — Она поискала, что бы еще добавить приятное, и, не найдя, обратилась к Володе, заговорила про его песни — она давно хотела его послушать.

Комбат посмотрел на меня.

— Обиделся?

Я кивнул и понял, как глупо было обижаться. Пока женщины и Володя разговаривали, мы с комбатом смотрели друг на друга. Забытая, явно не медицинская, боль сдавила мне сердце. Откуда-то возник жаркий августовский день, лесная заросшая узкоколейка, отец, еще крепкий, шагающий рядом по шпалам, желтый складной метр в кармане его холщовой куртки. Дорога свернула, и мы вошли в березовую рощу. Огромные бе-

лые березы обступили нас. Воздух сквозил, легкий и пятнистый. Я замер, пораженный этой доверчивой, нетронутой белизной. Сколько мне тогда было? Лет четырнадцать. Я никак не мог понять, почему красота способна причинять такую боль, сладкую неразбериху, мучительную до стыдных слез.

— Обязательно приду, — сказал Володя. — Готовьте коньяк.

Комбат протянул мне руку. Левой рукой он снял шляпу, густые волосы его поднялись, серебристый отсвет упал на лицо. Рука его была сильной и твердой. Он сжал мои пальцы, и я ответно подал ему руку, так, чтобы он знал, что я все понял... Губы его дрогнули, но усмешка не получилась, и он чуть заметно поклонился мне.

Они сели в машину. Володя помахал женщинам, отдельно Инне, и они уехали.

— Ты жалеешь, что съездил? — спросила жена. — Но ты ведь был готов. Ты и не ждал ничего хорошего.

— Зато твой Володя прелесть, — сказала Инна. — А этот, представляю, наверно, все о своих заслугах. Хотя видно, что был красивый мужчина.

— Не огорчайся, — сказала жена. — Мало ли как люди меняются с годами. Что тебе, впервой?

— Господи, да если б я мог стать таким, как комбат, — сказал я. — Если б мне хватило сил...

Я взял у жены сумку, и мы пошли домой. На Владимирском и на Невском — всюду стояли высокие белые березы, прохладные березовые рощи. Звуки города исчезали, было тихо, только наверху, в кронах, тревожно посвистывали пули.

ДОМ НА ФОНТАНКЕ

Время от времени мне снился Вадим. Сон повторялся в течение многих лет, однообразный, явственный: я шел по Невскому и встречал Вадима. Он ахал: «Не может быть, неужели ты остался в живых?» Он недоверчиво радовался: «Значит, ты не погиб?» Слегка оправдываясь, я рассказывал про себя и почему-то стеснялся спросить его... После войны я долго еще не верил, что он погиб, во сне же все переворачивалось: он удивлялся, что я уцелел. Он оставался таким же тоненьким, бледным. Глаза смотрели чисто и твердо, он слегка заикался, чуть-чуть в начале фразы. О Кате мы избегали говорить. Катя вышла замуж в сорок седьмом. Выяснилось, что Вадим работал в институте, в таком институте, что я и не мог ничего знать о нем. Но теперь, поскольку я нашелся, мы снова будем вместе.

Я любовался им, резким и прямодушным лицом его, я блаженствовал, молот какую-то восторженную чушь. Вадим подшучивал надо мной, все, что он говорил, было точно, неопровержимо, я, как всегда, чувствовал его превосходство, завидовал и корил себя за эту зависть. Где он был все эти годы, я не мог понять, я знал лишь, что если начну допытываться, то будет нехорошо, что-то случится. Мы шли по Невскому, я крепко держал его за руку. Проспект был нынешний, с метро, с подземными переходами, с незнакомой толпой. Когда-то мы обязательно встречали приятелей, наших сверстников, ребят из соседних школ, студентов, когда-то Невский был полон знакомых.

...Я просыпался и долго не мог понять, куда все подевалось. Где Вадим? Может быть, я не проснулся, а заснул? Сон был явственней, чем эта темная тишина, где спали моя жена, дочь, соседи, весь дом. Они смотрели сейчас свои сны, они были далеко и ничем не могли помочь. Пространство между тем мною, который только

что шел по Невскому с Вадимом, и тем, кто лежал в кровати, было ничем не заполнено. Ничего не соединяло нас. Я пребывал где-то в промежутке и не хотел возвращаться к себе, седеющему, контуженному, в жизнь, источенную застарелыми чужими заботами. Разрыв был слишком велик.

Однажды я сказал Вене про свои сны. Он серьезно посмотрел мне в лицо:

— Ты знаешь, мне тоже... Мне иногда кажется, что он жив.

Больше мы не говорили об этом.

Из всей нашей компании после войны остались только мы с ним. Миша погиб, Борис умер в блокаду, Ира умерла от тифа, Люда умерла несколько лет назад, Инна уехала в Москву. Мы и не заметили, как остались с ним вдвоем.

Он пришел ко мне в воскресенье, часов в двенадцать. Просто шел мимо и зашел, без звонка, без причины. Обычно мы виделись в праздники, дни рождения. Мне не хотелось говорить, мы сели, сгоняли две партии в шахматы.

— Пойдем погуляем,— предложил он.

Падал редкий снег; небо, низкое, серое, висело, как сырое белье.

— Ладно,— сказал я без охоты,— я тебя провожу.

На улице мы поговорили с ним про Китай, про наши болезни, я довел его до остановки и вдруг сказал:

— Пойдем к Вадиму.

Он не удивился, только долго молчал, потом спросил:

— Зачем? Ты думаешь, Галине Осиповне это будет приятно?

Нет, я так не думал.

— А нам? Стоит ли?

— Как хочешь.

Подожел его трамвай. Веня отвернулся:

— Чушь собачья. Теперь уже нельзя не поехать. Получается, что мы боимся.

Мы сели на другой номер, доехали до цирка и пошли по Фонтанке. Всю дорогу мы обсуждали гибель американских космонавтов.

Шагов за сто до парадной Вадима я остановился:

— А что мы скажем?

— Скажем, что давно собирались, да все думали — неудобно.

— А теперь стало удобно? Находчивый ты парень.
— Ну не пойдем,— терпеливо согласился Веня.
— Лучше скажем, что вот случайно были поблизости.

Так мне казалось легче, может быть потому, что это была неправда.

Обреченно мы переставляли ноги. Малодушные и страх томили нас. Сколько раз за эти годы мне случилось миновать этот серый гранитный дом. Я убыстрял шаг, отводил глаза, словно кто-то наблюдал за мной. Постепенно я привыкал. Почти машинально, лишь бы отделаться, я отмечал — вот дом Вадима. Все остальное спрессовалось в его имени, и чувства тоже спрессовались. В самом деле, почему мы не заходили к его матери, самые близкие друзья его? Впрочем, заходили. Я заходил, но я не хотел об этом рассказывать Вене. Он повернул бы обратно. Это было слишком тяжело.

Мы вошли в парадную. Тут на лавочке обычно сидела Фрося. Сохранилась эмалированная дощечка: «Звонок к дворнику». В блокаду Фрося пошла работать дворником, и так и осталась дворником. Она не менялась. Она всегда казалась нам одного возраста. Когда мы были школьниками, она уже была старой. Она нянчила Вадима, вела их дом. В январе сорок второго года я пришел сюда с банкой сгущенки и мороженым ломтем хлеба. Фрося сидела на этой лавочке, с противогазом. Я бросился целовать ее. Она заплакала и повела меня к Галине Осиповне. И после войны, когда я зашел, она сидела на этой лавочке, в черном ватнике, такая же прямая, в железных очках, седые волосы коротко острижены. А потом я перестал ходить по этой стороне Фонтанки, я делал крюк, чтобы не встречаться с Фросей. Но и это, оказывается, было давно.

В просторной парадной сохранился камин, висело зеркало. Мы посмотрелись в него и поднялись на второй этаж. Я хотел позвонить, но Веня заспорил, показал на квартиру напротив. Я удивился: неужели он мог забыть? И он поразился тому, что я не помню. Мы топтались на площадке, пока не вспомнили, что у Вадима был балкон. Спустились вниз, оказалось, по обе стороны парадной имелось по балкону. Мы снова поднялись. Нам и в голову не приходило, что мы когда-либо можем забыть двери его квартиры. Нет, нет, его дверь была налево.

— Послушай,— сказал я.— Ведь я был здесь после войны.

— Ты был? Почему ж ты мне не сказал?

Он не успел меня остановить, я повернул ручку звонка.

Крашенная коричневым дверь была глухой, без надписей, почтовых ящиков, расписания звонков. И сам звонок, врезанный посередине, был не электрический, а ручной, таких почти не осталось.

Послышались шаги. Щелкнул замок, дверь открыл румяный парень лет двадцати. Он был слишком румяный, здоровый, в желтой клетчатой рубашке, в тапочках на босу ногу. Неужели ошибся я? Худо было то, что я стоял первый, а Веня за мной. Мне пришлось спросить:

— Простите, Пушкарёвы здесь живут?

Сама по себе фраза прозвучала для меня дико. Я вдруг сообразил, что прошло двадцать, нет, уже больше двадцати лет. Целая жизнь прошла. Вся жизнь этого парня. Какие Пушкарёвы, он скажет, что за Пушкарёвы? И мы начнем объяснять, что они когда-то здесь жили, и станем выяснять...

— Вам кого, Нину Ивановну?

— Нину Ивановну? Какую Нину Ивановну? — Я оглянулся на Веню.

— Нет, Галину Осиповну,— сказал он.

Парень странно посмотрел на нас.

— Заходите,— и подошел к двери направо, постучал.— Нина Ивановна, к вам пришли.

Большая передняя медленно проступала в памяти — налево кабинет отца Вадима, Ильи Ивановича, полутемный, окнами во двор, с низким кожаным диваном, на котором мы листали огромную Библию с рисунками Доре. Там стояли шведские шкафы с книгами — механика, сопромат, мосты. Налево — столовая... Оттуда вышла маленькая старушка с желто-седыми стриженными волосами, с папиросой в зубах. Она вопросительно смотрела на нас. И парень стоял тут, любопытно ожидая. Что-то удерживало нас спросить Галину Осиповну.

— Мы товарищи Вадима,— произнес Веня.

Она слегка отшатнулась, прищурилась.

— Веня,— нерешительно сказала она, взяла его за руку, и он просиял.

— А вы... — и она назвала меня так, как меня звали только в этом доме.

А мы не помнили ее. Вернее, я медленно начал вспоминать тетку Вадима, шумную, веселую, с высокими вьющимися волосами.

Кажется, вешалка в передней была та же. И я повесил свое пальто, как всегда, на крайний крючок.

Мы вошли в столовую. Она удивила сумрачностью и теснотой. В ней до сих пор держался дух блокадной зимы. Громоздилась старая мебель из других комнат, та, что не стопили и не проели. С закопченного потолка свешивался грязный шелковый абажур. На облупленных подоконниках выстроилась посуда из-под лекарств, банки, молочные бутылки. Стеклянная дверь вела в соседнюю комнату, узкую, длинную, с балконом, там жил Вадим. Потом я узнал буфет. Он стоял во всю стену, с колонками, пыльными сверху, украшенными медными колечками. Наверху, на буфете, блестела керосиновая лампа. В углу поднималась железная печка. Печку я не помнил. Кислые запахи бедной больной старости путали мою память.

Сели за стол, мы с Веней рядом, Нина Ивановна напротив, они о чем-то заговорили, я смотрел на керосиновую лампу, пытаюсь понять, зачем она. Давно я не видел керосиновых ламп, может быть, это была единственная керосиновая лампа во всем городе.

— Вы почти не изменились,— сказала мне Нина Ивановна.— Вы просто повзрослели, стали большим мужчиной, совсем большим.

В каменной пепельнице лежали свежие окурки. Больше ничего не было на столе. Непонятно, чем занималась Нина Ивановна до нашего прихода. Можно подумать, что она сидела тут, курила и ждала нас.

— Веня, у вас глаза посинели. А были голубые. Ярко-голубые. Ну и лоб стал больше.— Она засмеялась и торопливо раскурила новую толстую папиросу.

Я покосился на Веню. Он был лысый, глаза его выцвели, но я вспомнил, какие они были небесно-голубые и как он нравился девчонкам. Он был самым добрым из нас и самым доверчивым. Он свято верил всему, что говорили, печатали, учили. Даже неинтересно было разыгрывать его.

— Галина Осиповна умерла, тринадцать лет назад...

Тринадцать лет... Это была такая давность, я ощутил только смутную запоздалую жалость; еще бы немного, и мы бы никого уже не застали.

— ...Нет, она не болела. Просто жить не хотела. Когда умер Илья Иванович, все для нее сошлось на Вадиме. Она не могла представить, что он не вернется... Она ведь долго еще ждала, вы знаете, она все надеялась...

Странно, что из всех погибших ребят я не верил только в смерть Вадима. И Веня не мог согласиться с тем, что его нет. Все остальные сразу становились мертвыми, а Вадим до сих пор...

Затем я вспомнил стол, за которым мы сидели. Он раздвигался во всю столовую, мы играли на нем в пинг-понг, собирались за ним в праздники, справляли окончание университета. Профессор Вадима сидел вместе с Галиной Осиповной, они шептались и посматривали на Вадима. Профессор казался дряхлым. Сейчас он академик и кажется довольно крепким. Вадим был зачислен к нему на кафедру. Можно подумать, что Вадим предчувствовал, так он торопился. Он кончил университет раньше на год. На лето он остался в лаборатории. Последнее время мы редко встречались, он никуда не ходил. Иногда он вызывал Веню помочь справиться с каким-нибудь уравнением. Я обижался, ревновал. Дружба втроем — это всегда сложно.

— Теперь бы он поступил в аспирантуру, — сказала мне Галина Осиповна, когда я зашел после войны.

Я тоже тогда поступал в аспирантуру.

— Язык он сдал бы сразу, — сказала она. — Он обо-
гнал бы вас, он хорошо знал немецкий.

Она высчитывала сроки защиты диссертации. Год за годом она представляла себе его жизнь. Кандидатскую, потом докторскую, рождения его детей, когда они должны были пойти в школу. Она расспрашивала меня про Веню, и про Люду, и про мою дочь, и все высчитывала.

Тринадцать лет... Я и понятия не имел. Выходит, она умерла через несколько лет после того, как я перестал заходить. Не обязательно было связывать эти события. По-видимому, я тогда уверял себя, что жестоко заставлял ее сравнивать, берeditь раны. Я ничем не мог помочь ей — для чего ж было приходить?.. Нужно ли навещать жен и матерей наших погибших товарищей — вот вопрос... Всегда чувствуешь себя виноватым. А в чем? Что остался жив? Виноват, что здоров, что смеюсь? Нина Ивановна смотрела на меня, и я почувствовал себя уличенным. Даже сейчас, спустя столько лет, в этом доме все заставляло, чтобы начистоту... Галина

Осиповна, конечно, не понимала, почему мальчики не приходят, что же случилось. А случилось то... Впрочем, ничего не случилось, все обстояло весьма благополучно, в том-то и дело...

— Зачем у вас керосиновая лампа? — спросил я.

— Это Фрося ничего не позволяет выбросить.

— Фрося? Она Жива?

— Да. Скоро она придет. Бедная, совсем плоха стала. Так-то физически ничего... — Нина Ивановна заметно расстроилась.

Мы помолчали.

— Можно, Нина Ивановна, посмотреть комнату Вадима? — попросил я.

— Пожалуйста. У меня там беспорядок, вы простите.

Мне хотелось заглянуть туда до прихода Фроси. Может быть, я побаивался ее.

Книжных полок там не было. Высокие книжные полки, где стояло собрание сочинений Джека Лондона в коричневых обложках, приложение к журналу «Всемирный следопыт», комплекты «Мира приключений», которые мы зачитывали и загоняли букинистам. Сохранился лишь его письменный стол. Тут мы готовились к экзаменам. Вернее, Вадим помогал мне готовиться. В школе он мне помогал, и когда я поступал в институт — он тоже помогал. С какой легкостью он решал любые мои сложные задачки. Он любил и выискивал головоломность. Он решал их вслух, волнуясь, заикаясь, и все становилось изящно, просто. Дверь на балкон раскрывалась, ветер с набережной выдувал занавеску. «Когда ты научишься логически мыслить?» — горячился Вадим.

На одном из портретов на столе я узнал Илью Ивановича — инженерная фуражка набекрень, полотняный китель, толстые усы; совсем забылось его лицо, а сейчас я вспомнил и то, как он читал и пел нам Фауста, объяснял, что Библия — это не страшно, ее надо читать как хорошую литературу; громадный, размашистый, резко непохожий на тогдашних взрослых. К тому времени редкостью стала фигура крупного инженера старой русской школы. Илья Иванович строил мосты на Волге, Оке... Знаменитые мосты, знаменитые изыскания, экспедиции, кольцо на руке, «прошу покорно», «стало быть, пожаловали»; была в нем независимость, гордость своей интеллигентностью — теперь всего не вспомнить.

Нас мало занимали взрослые, мы спохватываемся, когда их уже нет; ах, какие замечательные люди жили, оказывается, рядом, а нам и дела не было...

До сих пор не очень-то объяснишь, чем привлекал нас дом Вадима — интеллигентностью? добротой? еретичностью? Мы росли в коммунальных квартирах, в очередях, среди шума примусов; главным достоинством считалось наше соцпроисхождение, а в те годы для нас слово «интеллигент» звучало укором, примерно так же, как «белоручка», «спец», «мещанин», «бывший», — в общем, нечто подозрительное. И тем не менее нас тянуло в этот дом — весело-безалаберный, благородный, тут мы все были равны и пользовались теми же правами, что и Вадим.

И стояла фотография Вадима: остролицый, остроносый, петушисто-задиристый, в галстучке, уже студент. Узенький галстук, такой, как носят нынче, а пиджак с широкими плечами, обидно старомодный. Внезапно я отчетливо представил эту фотографию напечатанной в журнале рядом со студенческими фотографиями Иоффе, Жолио-Кюри, Курчатова. Погиб великий физик, и никто не знал об этом.

Карточка его имела ценность лишь для Нины Ивановны и для нас двоих. Так же, как его шаткий, исцарапанный стол с мраморной чернильницей. Старые вещи всем посторонним кажутся рухлядью. Это было единственное уцелевшее место, где сохранилась наша юность. В столовой висел большой портрет Галины Осиповны с маленьким Вадимом в коротких штанишках. Типичный маменькин сынок. Мы без жалости дразнили его, пока портрет куда-то не убрали. Мы дразнили его за вежливое обращение со всеми девочками, за то, что он не умел соврать, не желал материться и писать ругательства на стенах. С трудом мы научили его играть в очко на деньги. Но все прощалось ему за храбрость. В той большой драке с соседней школой... их было больше, мы отступили во двор, потом побежали кто куда, один Вадим остался, он не умел убегать. Он дрался в одиночку, пока его не повалили. Это и храбростью именовать нельзя, такой у него был характер. Бедный, заикающийся рыцарь в наилегчайшем весе...

— А вот и Фрося, — сказала Нина Ивановна.

Фрося не удивилась, увидев нас. Улыбнулась, как обычно, когда мы приходили, озабоченно, хмуровато. Конечно, она изменилась — сгорбилась, усохла, только

руки остались такими же, и от этого они казались чересчур большими, с цепкими, кривыми пальцами. Мы кинулись к ней. Взгляд ее ничего не выразил.

— Гости у нас,— сказала она.

— Фрося, здравствуйте, Фрося,— громко сказал я.

Глаза ее были мутны, она кивнула мне и стала вынимать из сумки свертки.

— Раз гости, надо чайку поставить.

Мы называли ей свои имена, кричали все громче,— не могла ж она забыть нас. Только что я со страхом представлял, как она скажет: пожаловал наконец, где ж ты был, паршивец этакий, друзья Вадечкины называются, паршивцы вы,— а теперь мне больше всего нужно было, чтобы она узнала нас.

— Фросенька, они с Вадей учились,— на ухо сказала ей Нина Ивановна.

— Да, да, стара я стала,— виновато сказала Фрося.— Вот, ватрушку принесла.

Нина Ивановна покраснела, взяла у нее пакет:

— Ватрушка — слабость ее. Если вы не торопитесь, мальчики, попейте чаю, она рада будет.

Она произнесла «мальчики» так же, как всегда говорили в этом доме.

— Там стоял рояль,— тихо сказал мне Веня.

Боря сидел за роялем. Мы чего-то сочиняли и пели. Что мы тогда пели? Нет, это вспомнить невозможно. Двадцать девятого июня. Спустя неделю после начала войны. Мы собрались последний раз. Я уходил в ополчение, Вадим тоже уходил в свою морскую пехоту. Веня ушел позже. То, что этот вечер последний, мы и думать не желали. Будущее было тревожным, но обязательно счастливым, победным, в маршах духовых оркестров, в подвигах, в орденах. Будущего тогда было много, о нем не стоило заботиться. Боря барабанил на рояле фокс, сделанный под Баха, мы пили хванчкару, темную, густую, заедали крабами. В магазинах было полно крабов. «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы». Мы с Вадимом были в гимнастерках, обмотках и отчаянно гордились. О войне говорили мало, мы не знали, какая она. Ошеломленность и недоумение первых дней миновали. Возникало оскорбленное сознание нашей правоты,— может быть, впервые в короткой нашей жизни у нас было такое ясное, бесспорное чувство правоты. Кто-то читал стихи. Ира заканчивала филфак, и все принялись обсуждать, что такое литературоведе-

ние — наука или искусство. Хорошо, уточним, что такое наука?

«Наука — это то, что можно опровергнуть», — сказал Вадим.

Он умел поворачивать привычное неожиданной стороной. Раз нельзя опровергнуть, следовательно, это уже перестает развиваться, перестает быть наукой.

Посреди нашего спора Галина Осиповна молча вышла. Вадим пошел за ней. И только тут тревожное предчувствие коснулось нас. Наверное, взрослым невыносима была наша беззаботность.

Погасили свет, открыли окно. Вода в Фонтанке отражала белое небо, свет без теней, слепые окна Шереметевского дворца, мы стояли обнявшись, ушастые, стриженные под бокс, чуть хмельные; жаль, что я себя не помню, себя никогда не представляешь, зато я помню пушок на щеках Вадима — он только начал бриться, позднее нас всех. Он вернулся и стал рядом со мной. До чего ж мы ни черта не понимали!.. Но я не испытывал сейчас никакого превосходства перед теми ребятами, перед тем собой. Скорее я завидовал им. То, во что мы верили, было прекрасно, и еще больше то, как мы верили.

— И с чего это вы решили пожаловать? — как можно мягче спросила Нина Ивановна. Она нарезала ватрушку, красиво раскладывала ее на вазочке.

Я молчал.

Фрося наливала чай, большие руки ее тряслись. Веня вздохнул, он привык, что во всех наших историях ему доставалось самое трудное.

— Мы давно собирались... случайно оказались...

Фрося пододвинула нам остатки ватрушки на бумаге.

— Что ты делаешь, Фросенька? — сказала Нина Ивановна. — Я ведь уже положила.

Та посмотрела на нее, не понимая. Нина Ивановна взглянула на нас и обняла Фросю, словно защищая.

— Ах, Фрося, Фросенька. Бесполезные мы стали. Соседи не дождутся, — она криво усмехнулась. — Уплотнить нас нельзя, сугубо смежные комнаты. Да, так мы о чем?..

— Ничего больше не выяснилось про Вадима? — быстро спросил Веня.

— Откуда ж... Разбомбили их в сентябре под Ораниенбаумом. Никого не осталось, только и успел написать два письма. — Она деликатно подождала, но мы не просили показать эти письма. Передо мной сразу возник детский почерк Вадима, я почувствовал сведенные мускулы своего лица, тупое, жесткое выражение, как маска, которую не было сил содрать.

— А как ваши успехи, Веня? — спросила Нина Ивановна. Откуда-то издалека доносился его послушный голос, и я тоже издалека увидел его жизнь.

Конечно, повезло, что он, провоевав всю войну, остался жив, но отсюда, из этой квартиры, судьба его никак не совмещалась с тем голубоглазым мечтательным Веней. Казалось, что останься Вадим жить, все сложилось бы иначе, была б настоящая математика, а не чтение годами того же курса в техникуме. Может, и мне Вадим не позволил бы уйти из аспирантуры, не то что не позволил, а я сам не ушел бы. Во времена Вадима я соглашался, что самое великое событие — это открытие нейтрона. Вади́на физика влекла меня больше, чем мои гидростанции.

Но вся штука в том, что он и не мог уцелеть.

Такие, как он, не годились для отступления. Начало войны, ее первые горькие месяцы, эта бомбежка под Таниной горой, с рассвета нескончаемые заходы самолетов в пустом июньском небе, когда мы, обмирая от потного страха, вжимались в стенки окопов, а потом пошли танки, и мы стреляли и стреляли по ним из винтовок, а танки неудержимо наползали, справа через фруктовый сад, ломая белые яблони, и слева по зеленому овсу. Не выдержав, мы выскочили из окопов и побежали. Мы бежали от танков, друг от друга, от самих себя. Задыхаясь, я перепрыгивал плетни, канавы, падал и снова бежал, пока не свалился, ломая кусты, в пробитый солнцем ивняк. Пальцы вцепились в землю, она судорожно вздрагивала от бомб, отталкивая, не в силах защитить меня. В этом гибнущем, распадающемся мире память моя ухватилась за Вадима — он не мог, не способен был так бежать, спастись, он остался бы в окопах. Я лежал и плакал от стыда. До самой осени, пока мы отходили, эти минуты возникали передо мной, как заклинания.

Нина Ивановна рассказывала про свой давний спор с каким-то студентом:

— ...тогда он заявил, что если бы Пушкин убил Дантеса, то уже не смог бы быть Пушкиным. Он доказывал, что и сам Пушкин изменился бы, и наше восприятие. Я готова была растерзать его.

В углу стоял старый телефонный аппарат с кнопками. Группа «А» и группа «Б». «Ребята, позвоните мне в комитет комсомола». — «Барышня, барышня, дайте мне Мишу». — «Мишу? Он убит», — сказала барышня. «Как убит, он же только что был здесь, он писал такие стихи!.. Барышня, а где ж тогда Люда, его невеста, черненькая Люда?» — «Она так и не вышла замуж, — вздохнула барышня, — жизнь ее сломалась и погасла». — «Вызовите тогда Борю. Борю Абрамова, композитора, помните, как он сочинял? А Митя Павлов, что с ним случилось? А Толя, почему не отвечает Толя? А Сева Махоткин... кем бы они могли стать?» «Полгода мне не хватило, — сказал мне Вадим, — хотя бы месяца четыре». Он мог не идти, но он поступал по законам своего дома. Он до конца прожил по этим законам. «Барышня, подождите хотя бы четыре месяца, и вы увидите...» — «Алло, куда вы пропали?» — сказала барышня...

Куда мы пропали? И где та барышня?

Остались только эти две старухи. Когда они умрут, всю эту мебель, фотографии, портреты, все барахло выкинут, комнаты побелят, оклеят.

Что-то произошло со мной. Прошрое меня влекло больше, чем будущее. В стране будущего мы никого не знали и нас тоже. Здесь же нам, оказывается, рады хотя бы эти две старые женщины. Здесь нас ждали. Прожитые годы были полны загадок, мы жили наспех, не всегда понимая то, что творилось вокруг. Теперь же, когда мы стали кое в чем разбираться, прошлое было недоступно.

Мы смиренно сидели под пытливыми взглядами старух. Секрет нашего появления все еще мучил их. Нина Ивановна начинала рассказывать про себя, про свою последнюю работу переводчиком в КБ, сконфуженно умолкала, чувствуя, что нам это неинтересно, — ей хотелось понять, что нам нужно. Маленькое личико ее наливалось краской, воспоминания набухали в ней, она стеснялась дать им волю. Волнение ее передалось Фросе, она все подсовывала нам ватрушку, смотрела то на Нину Ивановну, то на нас, мутные глаза ее метались — казалось, она вот-вот нас узнает.

— Вадим так и числится без вести пропавшим.— Нина Ивановна раскурила новую папиросу.— Нельзя мне курить, ничего не могу поделать.

Может быть, она стеснялась расстраивать нас рассказами про Вадима. Слишком хорошо мы знали, что означало «без вести пропавший...».

А вдруг и у меня когда-то были опасения: не попал ли Вадим в плен? Взяли раненым, без сознания, отправили куда-то в лагерь. Были эти подозрения или нет? Разумеется, нет, но я знал, я не раз убеждался, что слишком плохо помнил того себя, послевоенного. Боюсь, что я тоже считал правильным не доверять всем, кто жил в оккупации, и всем, кто был в окружении, всем, кто был в плену. Однажды я спросил себя: а что, если он жив, в плену,— ты рад? И не мог ответить, испугался. Какой же я был... Но ведь это тоже был я. Обходить этот дом — так было удобней. Он слишком много требовал. Он мог уличить, сравнить. Без него было легче.

Мы допили чай, встали. Нина Ивановна растерялась, она не удерживала нас.

— Стекла-то у нас сохранились,— вдруг сказала Фрося.— Заложили окна кирпичом. Амбразура, что ли.

— Это во время блокады. Она сама кирпичом закладывала,— пояснила Нина Ивановна.

Веня ни с того ни с сего заулыбался:

— А что, абажур тот же самый?

Нет, он спутал, висел совсем другой абажур. Тот абажур, желтый с черными фигурками, я подпалил, устроил какие-то опыты и никак не хотел признаваться. Галина Осиповна делала вид, что ничего не произошло, виновата лампочка, слишком большая...

Забытый детский страх вернулся маленьким, нестрашным,— сейчас все выяснится.

Нина Ивановна помедлила, пожала плечами, запрятал смех. Или мне показалось?

Фрося доедала ватрушку. Мы стояли, не зная, как уйти. Это было труднее, чем прийти сюда. Веня незаметно толкнул меня. Я и сам понимал, что мне надо что-то сказать.

В конце концов, я затащил его сюда. Но я все смотрел на эту комнату и молчал.

— Вы простите, нам пора,— хрипло произнес Веня.

— Ну что вы, мальчики, я была рада.— Нина Ивановна церемонно наклонила голову.— Кто бы мог подумывать...

Я смотрел вниз на давно не чищенный, почернелый паркет, словно разыскивая что-то. Рука Нины Ивановны вдруг легла на мою руку, пальцы ее дрожали. Мне захотелось наклониться и поцеловать ей руку, но я не умел, то есть вообще-то я умел, но сейчас я был из того времени, когда никто из нас не умел, не хотел уметь, слишком это было старомодно и смешно — целовать руки.

Она не сказала нам: заходите, приходите еще. Не решилась? Не надеялась? Не захотела?

Она взяла Фросю под руку, и они стояли в большой полутемной передней, обе маленькие, седые, и смотрели, как мы, пяясь и бормоча, уходили, так ничего не объяснив и не обещая.

Невский оглушил шумом воскресного многолюдья. Стучали каблуки, неслись машины, звуки сталкивались, разбегались, тревожные, как будто кого-то догоняли, кого-то искали. Глаза девушек из-под капюшонов быстро обегали нас и устремлялись дальше. Каждая из них напоминала мне Иру, Люду, Катю. И парни с поднятыми воротниками коротких пальто, высокие, нежнокожие, только начинающие бриться. Где-то среди них должен был идти Вадим. Я вдруг подумал — будет ли он теперь сниться, увижу ли я его еще?

— Растревожили, разворошили,— сказал Веня.— И им тяжело, и нам. Странно, чего нас потянуло?

— Жалеешь?

— Нет,— сказал он.— Когда-нибудь же мы должны были прийти.

В том-то и дело, подумал я, рано или поздно мы должны были вернуться в этот дом. Не ради Вадима, ради себя. Вот опять этот дом на Фонтанке появился в нашей жизни, он уже не тот, мы не те, но все равно... Что-то, значит, оставалось все эти годы, нам-то казалось, что уже ничего нет, мы вроде и не нуждались, какого ж черта!.. Словно кто-то позвал нас, словно те годы — они продолжали существовать. Запах паленого абажура, обмотки, Фауст, книги, дом честных правил...

— А что, если и к нам когда-нибудь пожалуют?— сказал я.

— Кто?— спросил Веня.

Потом он сказал:

— Ко мне? Сомневаюсь. Не тот дом. Ты считаешь, кому-нибудь понадобится?.. — Он покачал головой. — Пожалуйста, пусть приходят. В конце концов, мы честно воевали.

Потом он сказал:

— Надо было спросить Нину Ивановну, чем им помочь. Может, лекарства какие...

— Это верно, — сказал я.

«И кроме того... — подумалось мне, — и кроме того...» Но что кроме того, никак было не вспомнить, никак было не пробиться сквозь ржавчину времени.

Веня взглянул на часы, его ждали с обедом. Мы распрощались. Я пошел один. Эти парни и девушки поглядывали на меня — наверное, что-то произошло с моим лицом; может быть, я был слишком далеко, но мне было наплевать, мне было сейчас не до них, я думал про Вадима и все не мог понять, приснится ли он мне теперь.

I

В конце квартала, когда к нам съехались представители заводов с заявками насчет инструмента и творился суший бедлам, мне позвонила незнакомая женщина, она принялась расспрашивать про Волкова, которого я должен знать, поскольку я воевал вместе с ним на Ленинградском фронте. Сперва я решил, что это недоразумение. Не помнил я никакого Волкова. Но она настаивала — ведь был же я в сорок втором и сорок третьем годах в частях под Ленинградом. Что значит — в частях? В каких именно? Она не знала, — видимо, она представляла себе фронт чем-то вроде туристского кемпинга, где все могут перезнакомиться. В доказательство она назвала номер полевой почты. Как будто я помнил, какой у нас был номер. А вы проверьте, потребовала она. Интересно, где проверить, как, — меня все больше злила ее настырность. Есть же у вас письма, уверенно подсказала она. Нет у меня писем, закричал я, представив себе, что надо ехать за город, рыться в дачном сундуке, нету писем. На это она, словно успокаивая, сообщила, что специально приехала из Грузии повидать меня. Этого еще не хватало, очень жаль, но тут какая-то ошибка, я Волкова не знаю, я занят, я не смогу ей быть полезным, и так далее, — со всей решительностью и сухостью обозначил я конец разговора. В ответ она усмехнулась и объявила непреклонно, что все равно повидает меня, хочу я этого или не хочу, и лучше не спорить, потому что потом мне будет неловко. Самонадеянность ее могла вывести из себя кого угодно. Извините, извините, не слушая, повторял я и хлопнул трубку на аппарат. Она тотчас позвонила снова. У меня сидели заказчики, и я должен был взять трубку. Она гневно принялась стыдить меня фронтовым братством, хваленой преданностью боевым друзьям, которые, не жалея сил, ра-

зыскивают друг друга, — весь тот шоколадный набор, которым потчуют годами по радио, в киножурналах сладкоголосые, умиленные журналистки. Меня заело: теперь эта неизвестная будет учить меня фронтовому братству, да идите вы... Но она не слушала, она обещала привести какие-то неоспоримые факты, сыпала датами, именами и вдруг произнесла имя-имечко, каким давным-давно меня окрестили те, кого уже не увидишь на этой земле. Те, с кем маялся в нарядах, спал в казарме на двухэтажных койках, топал в строю по булыжникам тихого Ульяновска с посвистом и песней. Там, в училище, и прилепилось ко мне: Тох — Антон, Антоха, Тох — и докатилось до фронта, куда мы прибыли досрочными лейтенантами для прохождения службы в танковых частях, которых уже не было. Танки на Ленинградском фронте к тому времени превратились в огневые точки, закопанные в землю, торчала одна башня с пушкой.

С тех пор меня никто не называл Тохой.

Ладно, сказал я, приходите.

Что-то у меня сбилось с этой минуты. Конечно, я дал слабинку. На кой они нужны, фронтовые воспоминания, какая от них польза. Много лет, как я запретил себе заниматься этими цацками. Были тому причины.

Утешился я тем, что все кончится просьбой насчет инструмента. Вне очереди или без фондов чего-то отпустить. К тому все приходит. Из какого бы далека ни делались заходы — друзья-родичи, с женой в больнице лежали — и вдруг: вот тут бумажечка, подпишите. Никто ко мне так, за здорово живешь, не приезжает.

На этом я разрядился, забыл о ней, и, когда назавтра она позвонила, я не сразу сообразил, что это именно она. Появилась она в моем закутке как очередной посетитель, из тех, что томились в коридоре. Остановилась в дверях, оглядывая меня недоуменно.

— Вы Дударев? Антон Максимович?

На дверях было написано. Никто не задавал мне здесь такого дурацкого вопроса.

Она продолжала изучать меня удивленно, потом робко попятилась и вдруг хмыкнула. Смешок прозвучал неуместно, обидно. Она представилась. Я узнал ее низкий голос по легкому кавказскому акценту. Звали ее Жанна, дальше следовало труднопроизносимое отчество, и она просила звать ее по имени, как принято в Грузии. Она была не молода, много за сорок, но еще краси-

вая, крепкая женщина, копна черных волос нависала на лоб, делая ее мрачно-серьезной.

Волков Сергей Алексеевич, повторяла она упрямо, как гипнотизер, следя за мной угольно-черными глазами. Я подтвердил, что не помню такого. Слова «не помню» вызвали у нее недоверие. Ей казалось невозможным не помнить Волкова. А Лукина я помню? И Лукина я не помнил. Это ее не обескуражило, наоборот, как бы удовлетворило.

После этого она успокоенно уселась, выложила на стол объемистую оранжевую папку.

— Может быть, вам неприятно вспоминать то время?

Если бы она спросила от души, может, я кое-что и пояснил бы ей, но она хотела меня подколоть.

— Как так неприятно,— сказал я,— это наша гордость, мы только и делаем, что вспоминаем.

Она протянула мне письмо. Старое письмо, которое лежало сверху, приготовленное. На второй странице несколько строчек были свежеотчеркнуты красным фломастером:

«У нас лейтенант Антон Дударев отчаянно не согласен в этом вопросе. По его понятию, любовь только мешает солдату воевать, снижает боеспособность и неустрашимость. А вы как, Жанна, думаете? Малый этот, Тоха, как мы его называем, жизненной практики не проходил, можно сказать, школьный лейтенант-теоретик. Я же доказываю, что сильное чувство помогает сознанию. За любовь, за нашу молодость мы боремся против немецких оккупантов и защищаем великий город Ленина».

Лиловые чернила, какими теперь не пишут, косой ровный почерк, каким тоже не пишут, письмо о том, кто когда-то был мною.

Гладкое лицо ее оставалось бесстрастным, жизнь шла в темноте глаз, она мысленно повторяла за мной текст, и где-то в черной глубине весело проискрило. Это был отблеск той внутренней улыбки, с какой она сравнивала меня и того лейтенанта. Я увидел ее глазами обоих: тоненького, перетянутого в талии широким ремнем, в пилотке, которая так шла шевелюре, и в фуражке, которая так шла его узкому лицу, кирзовые сапоги, которыми он умел так лихо щелкать,— молочно-розовый лейтенант, привычный портрет, который она набросала по дороге сюда,— и другого, плешивого, с от-

вислыми щеками, припадающего на правую ногу от боли в колене, — скучный, малоприятный, невеселый тип, который ныне тот самый Тоха. Не ожидала она найти такое? От соединения их и произошла улыбка. Наверное, это было и впрямь смешно. За тридцать с лишним лет каждого уводит куда-то в сторону. Никто не стареет по прямой...

— Это про вас написано? — спросила она.

— Может, и про меня, теперь трудно установить.

— Никакого другого Антона Дударева в Ленинграде нет. Вашего возраста, — добавила она.

— Чье это письмо?

— Лукина Бориса.

Она ждала. Она была уверена, что я ахну, пущу слезу, что из меня посыплется воспоминания. Ничего не найдя на моем лице, она нахмурилась.

— Пожалуйста, читайте дальше. Читайте, — попросила она. — Вы вспомните.

Она как бы внушала мне, но у меня даже любопытства не было. Ничего не отзывалось. Пустые, давно закрытые помещения. После смерти жены я перестал вспоминать. Преданность воспоминательному процессу вызывала у меня отвращение. пышный обряд, от которого остается горечь.

«...Молодость, как гордо звучит это слово. При любой обстановке она требует своего и заставляет человека испытать хоть маленькую дозу своего напитка. Жанна, я самый обыкновенный парень, это нас должно еще больше сблизить, конечно, если вы ничего не имеете против. Несколько слов о себе. Родился в 1918 году. До войны работал проектировщиком. Проектная работа — мое любимое дело. Время проводил весело. Лучшим отдыхом были танцы. Музыка на меня действует сильно. В саду летом, в клубе зимой меня можно было встретить неумоимо танцующим вальс «Пламенное сердце», польское танго, шаконь и другие модные танцы. В общем, люблю жить, работать и отдыхать. Жанна, прошу выслать фотокарточку, как та, которую я видел у Аполлона. Жду ответа, с Вашего позволения шлю воздушный поцелуй. Борис».

Конверт розовенький, на нем слепо отпечатана боевая сценка — санитарка перевязывает раненого бойца. Такие конвертики и я посылал. Почему рисунок этот должен был успокаивать наших адресатов — неясно. Штемпель — май сорок второго года.

Та блокадная весна... Молодая, неслыханно-зеленая трава на откосе. Солдаты наши лазали за ней, варили в котелках крапиву, щавель, одуванчики, жевали, сосали сырую зелень расшатанными от цинги зубами, сплевывали горечь. Слюна была с кровью. Вспомнилась раскрытая банка сгущенки. Она стояла на нарах, после обстрела в нее сквозь щели наката насыпался песок... Крохотным стал круг, освещенный коптилкой. Со всех сторон подступал полумрак, в нем двигались какие-то тени, безымянные призраки.

— Припомнили?

— Нет.

— У меня есть его фотография.

Она действовала с терпеливой настойчивостью, надеясь как-то оживить мои мозги явного склеротика.

Одна фотография была пять на шесть, другая совсем маленькая, на офицерское удостоверение. На первой — мальчик, мальчишечка задрал подбородок, фуражка с длинным козырьком, плечи прямоугольные, скулы торчат, медалька какая-то блестит. Бессонница, голодуха обстругали лицо до предела, а вид держит бравый, упоен своей храбростью и верой, что обязательно уцелеет. Где-то и у меня валяется моя карточка, похожая, фотограф кричал нам: «Гвардейскую улыбочку!» Половина избы снесена. У печи угол, затянутый плащ-палаткой. Перезаряжать он лазил в погреб.

— Как же так, вы должны его знать, — непререкаемо сказала она, и я стал вглядываться.

— Это что же, адъютант комбата-два? — спросил я. — Так это старлей Лукин.

Чуб у него был золотистый, курчавистый. Вспомнился его хриплый хохоток. Франт, пижон, гусар — и отчаянный, без всякого страха. На другой карточке он уже капитан. На обороте написано: «1943 год, ноябрь». Полтора года прошло. А как повзрослел. Год передовой засчитывался нам за два — следовало его считать за четыре. По карточкам видно, как быстро мы старели. Тогда это называлось — мужали.

— Узнали! — сказала она. — Вот видите.

— Где он? Что с ним?

— Понятия не имею, — произнесла она без особого сожаления.

— Это всё его письма?

— Не все, часть.

— Вам?

— Мне.

— Значит, вы с ним долго переписывались?

— Долго, — она кивнула, понимая, куда я клоню.

— И чем это кончилось?

— Плохо кончилось, — весело сказала она. — Но это сейчас неважно. Я писала ему как бойцу на фронт, — пояснила она. — Было такое движение. Помните?

— Да.

Я помнил такое движение. Оно приезжало ко мне в госпиталь, это движение, прелестное зеленоглазое движение.

— С ним в одной части служил и Сергей Волков, — тем же внушающим голосом говорила она, следя за моим лицом. — Сергей Волков.

— У вас потом с ним что-то произошло?

— С кем?

— С Лукиным.

— Ничего особенного. Что вас еще интересует?

— А мне-то что... Не я к вам пришел.

— Между нами ничего не было.

Она нахмурилась. Угрюмость ей шла. Недаром Лукин что-то угадал в этой особе. Он разбирался в женщинах.

— Жив он?

— Не знаю.

— Как же так? — сказал я.

Она сердито мотнула своей черной гривой:

— Но вы тоже не знаете. Вместе воевали, друзья-товарищи, с вас больше спроса.

— С меня? С меня спрос кончился. Где вы раньше были? Явились не запылились, когда все быльем поросло... Тридцать лет, целая жизнь! И что? А?

Я сорвался, она не понимала, в чем дело, она выпрямилась, надменно и обиженно.

— Извините, вы тут ни при чем... — сказал я. — Что вам, собственно, нужно?

— Мне нужно расспросить вас о Сергее Волкове, с ним вместе вы служили... — Она раздельно вдалбливала каждое слово.

— Повторяю, я такого не помню, — так же раздельно ответил я. — Про Лукина — пожалуйста. К сожалению, я больше не могу отвлекаться.

Она поднялась, захлопнула папку.

— Тогда я вас подожду, — сказала она.

— То есть как это?

— Я не могу уехать, не выяснив.

— После работы я буду занят. Да кроме того, я вам уже все сказал.

— Вы вспомнили Лукина, вспомните и Волкова. Я буду вас ждать внизу, в вестибюле.

В кабинете было душно. Посетители приходили и уходили. Я подписывал бумаги, сочувственно кивал, вздыхал, отказывал, отодвигал бумаги, а сам незаметно растирал пальцы. Стоило мне завестись, поволноваться, как у меня сводило пальцы. Лет пять уже таким образом давала знать себя рана в плече. Очнулась.

В каморке моей умещались два облезлых кресла, старый сейф, о который все стучались. В сейфе я держал лекарства, девочки прятали туда подарки, купленные ко дню рождения кого-то из них. Полутемная скошенная конура выдавала с головой однообразие моей работы и невидность конторского существования. Мне представился Борис, такой, как на фотографии: чуб из-под фуражки, красноватый ремень со звездой, Борис тоже небось ухмыльнулся бы, оглядев эту дыру и облыселое чучело за столом. Мог бы он узнать во мне лейтенанта, с которым в последний раз встретился на развилке шоссе в Эстонии? Я прогромыхал мимо него на новеньком танке ИС — тяжелом, могучем красавце. Мы наконец-то получили машины. Колонна наша шла на запад. Я стоял по пояс в башне с откинутым люком. Кожаная куртка накинута на плечи, а на плечах погоны старшего лейтенанта. Черный шлем, ларингофончики болтались на шее. Мокрые поля, красные черепичные крыши хуторов, неслышные птицы в небе, неслышно кричит и машет вслед наш батальон, все заполняет лязг и грохот гусениц. Весь мир ждал нас, мы двигались освободить Европу, мы несли справедливость, свободу и будущее! Кем только я не видел себя в мечтах, будущее перевалилось, играло бриллиантовым блеском. «Ну, и чего ты достиг, Тоха? — спросил бы Борис сочувственно. — Зачем это ты сюда забрался?»

Эх, Боря, Боря, да разве можно являться через тридцать лет и думать, что все шло по восходящей. Если я был тогда молодцом, то так по прямой вверх и должен был возноситься?

— Нет, голубчик, так требовать нельзя, такой номер не проходит!

— Да я с тебя не требую, чего с тебя требовать, — сказал Колесников. — Инструмент ваш как был дерьмо-

вый, так и остается. И за таким дерьмом приходится шапку ломать. Было бы мне куда податься, ты бы меня тут кофеем поил с тортом, дверь бы передо мной открывал, а так я тебя должен в забегаловку водить. Ума много, а все в дураках хожу.

Я открыл было рот, он замахал руками:

— Знаю, знаю. Вы получаете негодный металл, который тоже выпрашиваете, станки у вас демидовских времен...

Разговор этот у нас повторялся ежегодно. Колесников единственный из заказчиков, который не боялся мне в глаза бранить нашу продукцию. Он честил ее теми же словами, что и я когда-то на наших совещаниях. Он единственный из заказчиков, кто позволял себе это, на этом мы и подружились. Он являлся в конце дня, и, сделав все дела, мы отправлялись с ним в «Ландыш». Со временем эта церемония вошла в привычку, мы топали туда независимо от судьбы его заявок, угощал я — за удовольствие послушать правду о качестве, о котором никто не смел заикнуться. Несколько лет назад я затеял битву за качество и, честно говоря, проиграл ее. Никто меня не поддержал. Упрекали в том, что я не патриот своего производства, что я «пятая колонна»... Колесников у себя на Урале тоже воевал с туфтой и показухой. Съеженный, тщедушный, бледно-синий, словно бы замерзший, он говорил с пылом, не осторожничая, расстояние между мыслью и словом у него было кратчайшее, безо всяких фильтров, он отпускал то, что было у него на уме, в натуральном виде.

— Я вас жду.

Жанна стояла у подъезда между колонн.

— Но я вас предупреждал. Мы с товарищем Колесниковым договорились, — сказал я.

— Господи, да у нас ничего срочного, — перебил меня Колесников, восхищенно уставясь на Жанну. В светло-сером плаще, с клетчатым шарфиком, она выглядела эффектно.

— Мы всего лишь перекусить собрались, — бесхитростно признался Колесников.

— Я бы тоже не прочь, — сказала Жанна, — я проголодалась. Если я вам не помешаю.

— Мне нисколько, — поспешил Колесников и посмотрел на меня.

Я пожал плечами.

Малозаметное кафе «Ландыш» не нуждалось в рекламе. Крохотная зеленая вывеска была известна всем, кому надо. Кафе служило прибежищем местным выпивохам среднего слоя, а также обслуживало нашу фирму. Здесь обмывали премии, справляли мелкие юбилеи, обговаривали деликатные дела. Сюда приходили после субботников, перед отпуском, после выговора. Рано или поздно сюда перекантовывались официантки нашей столовой. В «Ландыше» они быстро менялись — хамели, толстели, начинали закладывать, но нас, по старой памяти, привечали.

Обслуживала Наталья. В прошлый раз один снаб из Молдавии щедро отметил свою удачу, и сейчас она подмигнула мне, вспоминая тот шумный заход. Наталья предложила экстрамену: бульон, сосиски с капустой, бутерброд с чавычей, кофе и, разумеется, «бомбу» — шампанское с коньяком. Фирменным в этом наборе был кофе, который варили не в большом чайнике, а в джезве.

Поодаль от нас в ускоренном блаженстве опрокидывали свою порцию в честь конца работы разные ханурики. Публика сюда жаловала беззлобная, малоимущая, душевная, здесь всегда можно было найти себе слушателя, чье сочувствие бывает незаменимо.

— Это кто же, новая сотрудница? — без стеснения спросила Наталья.

— Моя личная знакомая, — сказал я. — Приехала сюда закусить из Грузии.

— То-то больно симпатичная. К вам в шарагу такая женщина не поступит.

Исключив Колесникова, Наталья соединила меня и Жанну оценивающим взглядом, в котором было черт знает что.

Мы ели и пили, Колесников нахваливал Тбилиси, произнес тост за Грузию и грузинок. У них сразу установились легкие, простые отношения.

— В нашем возрасте, когда такая женщина обращается к нам с любой просьбой, это уже счастье, — рассуждал он. — Зачем вам Дударев? Он слишком честен и зануден. У нас на Урале...

Он нахваливал Урал, нахваливал Грузию, и грубейшие его приемы действовали. Жанна оттаяла. Ела она с аппетитом, видно было, что она проголодалась, и я представил себе путь, проделанный в Ленинград, хлопоты, очереди, вагонную качку, вагонный коричневый

чай (именно представил поезд, а не самолет) — и все для того, чтобы встретиться со мной? Не могло этого быть.

Она вдруг стала доставать из сумки баночки, аккуратно закрытые. Баночка с ореховым вареньем — мне, баночка с инжировым вареньем — Колесникову, по связке чурчхелы каждому, мешочек с печеньем, которое она сама пекла, — мне. Тащила и тащила из небольшой сумки, как фокусник. Я стал упираться — да с какой стати, да зачем, да за что, да я сладкого не люблю.

Она с твердой ласковостью пояснила, что если я не люблю, то жена любит, дети любят, и вообще, нехорошо отказываться, таков обычай.

— Теперь я буду обязан, — сказал я. — Это похоже на взятку.

— Ха, разве взятки такие бывают? — сказала Жанна. — Вы нас обижаете.

Колесников даже заплодировал. Жанна сложила все подношения в приготовленные мешочки с видом Тбилиси. Один мешочек мне, другой — Колесникову, можно было подумать, что все у нее было предусмотрено, все заранее известно.

— Погодите, — сказал я. — Если этот гостинец предназначен источнику информации, то жив замком-полка по строевой части. Он знал всех офицеров. Он в Ленинграде. Давайте с ним созвонимся, я вам дам телефон.

Жанна помотала головой.

— Мне не источник информации нужен, мне нужны вы.

— Как это звучит! — воскликнул Колесников. — Все отдам за такую фразу!

Он преобразился. Присутствие интересной женщины воодушевило его, заставило забыть об уродствах планирования, проблемах экономики и прочих любимых его темах. И я тоже подумал о том, как давно я не сидел с женщиной в ресторане, и, хотя «Ландыш» не был рестораном, все равно было хорошо. Хорошо, что не грохотал оркестр; хорошо, что Колесников разошелся и мне можно было помалкивать.

— Весь почет, вся слава и любовь достаются фронтовикам, — говорил Колесников. — Мы, которым было пятнадцать-шестнадцать, оказались в тени, нам достался только комплекс неполноценности. Теперь мне все время приходится объяснять, почему я не был на войне.

Мы хватили голода, страха, насмотрелись ужасов и взамен ничего не получили. Я мальчиком работал на Челябинском, орудия собирал, только начал выдвигаться — вернулись фронтовики. И так всегда...

— Не завидуйте фронтовикам, — сказала Жанна. — Верно, Антон Максимович?

— Что за страсть оглядываться назад, — сказал я, — там нет никаких указателей, оттуда нет помощи.

— Скучный человек, не ценит вас. А вы слушаете его, а не меня. Потому что он фронтовик. Я понимаю, господа, я вам мешаю, Жанна, опровергните меня.

— Зачем опровергать, — сказала она. — Вы тонко чувствующий человек.

— Выставляете? Учись, Антон, как можно изящно выпроваживать людей. Но прежде я хочу выпить за женщин. Они выше нашего понимания. Логикой их не вскрыешь. Им лучше ввериться, идти за женщиной, как за охотничьей собакой, она тебя приведет.

Жанна прищурилась так, что Колесников смутился и выпил свою рюмку, не чокаясь.

После ухода Колесникова я налил себе полфужера шампанского и добавил коньяка. Этого должно было хватить.

При Колесникове все было проще и легче. К счастью, Жанна больше не спрашивала про Волкова. Она показывала мне письма и открытки Бориса. Их было много. Она могла составить целый сборник, книжицу типичных лейтенантских писем. Я сразу подумал о своих письмах той девице, забавно, если они у нее сохраняются, перетянутые такими же резинками от лекарств.

Первая открытка, написанная химическим карандашом, гласила:

«Привет с Ленинградского фронта! Здравствуйте, Жанна! Вы с удивлением возьмете эту открытку... Невольно подумаете, кто это написал. Объясняю. Я увидел Вашу карточку у моего друга по борьбе с немецкими оккупантами Гогоберидзе Аполлона. Вы его хорошо знаете, и я не мог ее выпустить из рук. Не отрываясь я смотрел на Вас. Кровь закипала в жилах, смотря на Ваши прелестные черты...» — и дальше катилось в том же духе. Не мудрствуя лукаво, брал быка за рога: «Эта открытка является залогом к дружбе с тобой, Жанна, много писать нет необходимости, т. к. нет ясности в нашей связи».

Начал на «Вы», кончил на «ты».

Писарский, ровно бегущий, без запинки и помарки, почерк.

«Здравствуй, милая Жанна! Отвечаю на твое письмо, не задерживаясь ни минуты. Я живу в настоящее время в горячих условиях войны, переднего края фронта... В конце своего письма ты вскользь намекнула о воздушных поцелуях. Ты глубоко ошиблась. К сожалению, мне некому их посылать. Товарищей очень много, а друзья все моего пола. И если ты так холодно приняла мой скромный дар, то это твое личное дело, и впредь я буду более благоразумный. Аполлон находится от меня в некотором отдалении. Все-таки, Жанна, я крепко надеюсь и с нетерпением жду благоприятного ответа и фото».

— Зачем вы их хранили?

— Не знаю. Может, для сравнения.

— Сравнения?

— Вы читайте.

— Кто это Аполлон?

— Гогоберидзе. Может, помните? Высокий красивый мальчик, с усиками. У него треугольник был. Или два? — Она помолчала. — Жених он был моей подруги. Мы втроем там на фото. Нино, я и он.

— У вас есть эта фотография?

— Где-то была... — Она стала перебирать бумаги. — Аполлон вскоре погиб. Его тяжело ранило в наступлении. В октябре сорок второго года. И он умер через три дня.

— В октябре сорок второго? Что за наступление? Наверное, в сентябре.

— Нет, в октябре. Это точно.

— Не могло этого быть.

— Вы сами сейчас прочтете. Мы получили официальную бумагу. — Она смотрела на меня с сожалением.

— Ладно, разберемся, — сказал я. Что-то тут было не так, но я не стал торопиться со своей правотой.

«Получил твое длинное письмо. Мне очень понравилось, как ты прямолинейно и действительно жизненно ответила на мои вопросы. Раз я могу надеяться, мы должны продолжать переписку и возможно лучше узнать внутренний мир друг друга. Правда, я не имею пока возможности писать подробно. Фотокарточку пришлю, как только снимусь, т. е. смогу отлучиться с передовой. Национальные отличия меня несколько не смущают, я сужу по Аполлону, с которым мы в оч. хор. от-

ношениях. Я вообще не знаю, какую роль может играть национальность в любви. Аполлон сильно ранен, не знаю, куда его отправили и жив ли он. Пиши чаще, письма дают моральную поддержку».

У нас в роте были узбеки, двое, это я точно помню. Они говорили между собой по-своему. Поэтому я помню. А других национальностей не помню, мы тогда начисто не интересовались этим вопросом.

— Жаль, что нельзя прочитать ваши ответы,— сказал я.

— Они к делу не относятся.

— К какому делу?

— К моему.

Наталья принесла мне кофе.

— Вы мне морочите голову,— сказал я.— Так же, как морочили бедному Борису.

— Откуда вы знаете, что я морочила? Он вам рассказывал?

— Нет, об этом легко догадаться.

— Неизвестно, кто кому морочил. Разве вы не видите по его письмам? Он не вкладывал в них ни труда, ни трепета.

— Трепета?— это слово меня озадачило. Наверное, я никогда его не произносил. Интересно, был ли трепет в моих письмах.— А вы?

— А я... я считала, что помогаю фронту.

— Ничего себе помощь.

Взгляд ее похолодел и отстранил меня, отодвинул куда-то вниз так, что она могла смотреть свысока.

— К вашему сведению, я днем ходила в институт, а вечером работала в госпитале.

— Кем же вы работали?— спросил я, еще не сдаваясь.

— Санитаркой.

— Тогда сдаюсь,— сказал я.— Санитаркам доставалось.

— Колесников прав, у вас фронтовое чванство... Вот та фотография.

Две девочки в довоенных белых платьицах сидели на скамеечке у цветущего олеандра. Над ними навис мальчик, вытянутый, нескладный, какими бывают в отрочестве, когда не поспевают за своим ростом. Крохотные усики темнели под горбатым носом. У одной девушки коса была перекинута на грудь, другая — стриженная, с ровной челочкой, и смотрела она на меня с восторгом

и смущением, будто слушала признание. Это была удачная фотография. Когда-то я занимался фотографией и знаю, что такой снимок — счастливая случайность, подстреленное влет мгновение. Всех троих объединяло что-то старомодное. То ли выражение лиц, то ли поза, не берусь определить, — что-то довоенное, присущее тем годам. Я давно заметил, каждое время накладывает свое выражение на лица. Дома, до войны, у нас висели портреты родителей отца. Я не знал их живыми, но любил смотреть на их нездешне-спокойные лица. Такие лица сохранились в картинных галереях.

Как бы там ни было, она привлекла внимание нашего старлея. С нынешней Жанной сходства оставалось немного. Фигура огрубела, лицо закрылось. Время увело далеко от той девочки, предназначенной для любви и счастья. Житейские огорчения, неудачи — что нарушило замыслы природы? Были у нее, конечно, и радости, и труд, и подарки судьбы, но сейчас, глядя на эту грузную властную женщину с тяжелым подбородком, бесстрастным, ловко раскрашенным лицом, умеющую скрывать свои чувства, думалось только о потерях. Бывает ли, что жизнь чем-то подправит давний проект судьбы? Вряд ли. Детеныш всегда хорош и мил; картина, задуманная художником, наверняка лучше той, что написана. Годы если что и подправят, то обязательно под общий манер...

Она хладнокровно позволяла сравнивать себя с девочкой, той самой, что побудила старшего лейтенанта к столь пылким заходам. Она сидела, не скрывая своих морщин, набухших усталостью мешков под глазами. Можно было отплатить ей за усмешку, с какой она уставилась на меня в кабинете.

Она вдруг кивнула моим мыслям:

— Вы правы. — И во тьме ее глаз вспыхнул огонь, что горел в распахнутых глазах девочки на фотографии, на какой-то миг обнаружилось их несомненное родство. Конечно, время нельзя победить, но она не чувствовала поражения. Может, это самое главное в нашей безнадежной борьбе.

«Здравствуй, милая Жанна! Твою фотографию я поместил между плексигласовыми пластинками, чтобы не истрепать. Т. к. я часто смотрю, она мое утешение. А настроение неважное. Аполлон умер. Он пал смертью храбрых вместе с теми, кто погиб в нашем наступлении. Он участвовал в уничтожении фашистской группиров-

ки. Мы держим оборону, несмотря на все усилия противника. Фотокарточку пока выслать не могу, сама понимаешь почему. Я пока жив и вполне здоров; очевидно, судьба улыбается и хочет, чтобы мы с тобой встретились. Она хочет, чтобы я взял тебя в объятия и прижал к груди. Смысл нашей переписки должен быть не пустой тратой времени и флиртом двух представителей молодежи, а искренним чувством, которое обязательно превратится в прямую идеальную любовь. Пиши чаще, не забудь Бориса, если хочешь быть с ним!»

Я посмотрел на фотографию, на тоненького мальчика в парке, наверняка я знал Аполлона, но внутри ничего не отозвалось. Только ошибка в письме Бориса кое-что напомнила, об этом я не стал говорить.

Борис и впрямь строчил не раздумывая. Временами я еле удерживался от смеха. Письма тоже изменились: легкость Лукина читалась пошлостью, уверенность его стала глуповатой.

— Там еще есть где про меня?

— Есть, есть.

По каким-то своим пометкам она быстро нашла письмо с подчеркнутыми строками: «...прочитал нашему Тохе там, где ты опровергаешь его рассуждения о любви. Он, конечно, стоит насмерть, но просил передать, что стихи ему понравились. Между нами, он сам стал переписываться с одной москвичкой. Она быстро вправит мозги этому бычку».

— Какие стихи? — спросил я.

Жанна не помнила. Мы оба всматривались в мглу, я никак не мог оживить эту сцену — где Борис мне читал, как это было, — ведь, значит, мы спорили, я о чем-то думал, куда ж это все подевалось, где искать следы? Но все равно — выходит, мы с Жанной давно знали друг про друга.

— Вот видите, — сказал я, — даже вас подводит память.

— Так это мелочь, эпизод, — сразу ответила она. — Если вы вспомнили Лукина, то Волкова тем более. Я приехала к вам из-за него.

— А что с ним?

— Нет смысла рассказывать, пока вы не вспомните.

— Кто он был по должности?

— Понятия не имею.

— Вот видите.

— Он инженер.

— Это на гражданке.

Она протянула мне большую фотографию. Неохота мне было смотреть на этот снимок. Она следила за мной. Вряд ли по моему лицу можно было что-либо прочесть. Давно уже я научился владеть им. При любых обстоятельствах. Безо всякого выражения я мог смотреть и на этот портрет и пожимать плечами.

Логика ее была проста: раз я вспомнил по карточке Лукина, то должен вспомнить и Волкова, они служили вместе, это ей точно известно, — следовательно, я знаю Волкова.

— Может, и знал. Разве всех упомнишь. Столько лет прошло. Кто вам Волков?

— Никто.

— Никто, вот и хорошо, — сказал я, взгляды наши столкнулись, словно ударились. Я поспешил улыбнуться. — Тогда невелика потеря.

Она чуть вздрогнула, пригнулась. Мне стало жаль ее.

— Жанна, я не знаю, зачем вам это нужно, — как можно безразличнее начал я, — и не хочу вникать. Не ворошите. Не настаивайте. Поверьте мне. Как сказал один мудрец, не надо будить демонов прошлого.

Она смотрела исподлобья, подозрительно.

— Вы-то чего боитесь? Только не уверяйте, что вы из-за меня. Я на вас надеялась. Бесстрашный лейтенант, вояка. А вы... Открещиваетесь. Неужели вы так напугались...

— Не стоит. На меня это не действует. Я о себе думаю хуже, чем вы.

— Вот уж не ждала. Если вы знали его, то как вы можете... Как вам не стыдно.

Злость сделала ее старой и некрасивой. Она была не из тех женщин, что плачут. Губы ее скривились.

— Впрочем, глупо и унизительно просить об этом.

Она допила кофе, вынула зеркальце, принялась восстанавливать краски. Она проделывала это без стеснения, — один карандаш, другой карандаш, — и снова была прекрасно-угрюмой, с диковато-чувственным лицом. Я ждал, что она скажет. Если она хотя бы улыбнулась мне, спросила меня — ну а вы-то, Тоха, как вы поживаете? Что-нибудь в этом роде. Но я не существовал, я был всего лишь источник информации, который оказался несостоятельным. Поставщик нужных сведений, только для этого я и требовался всем — уточнить, найти резер-

вы, подсказать, кому сколько, составить график. Никто не виноват в том, что я сам куда-то подевался. Пока я спорил, предлагал какие-то решения, пока не соглашался, я существовал... Ныне считается, что если я хожу на работу, то со мною ничего не происходит. Жена моя была единственным человеком, которого интересовало — как я, что со мною. После ее смерти уже никто не спрашивает, что со мною творится.

Аккуратно завязав папку, Жанна уложила ее в сумку.

— Здесь что, одни письма Лукина? — спросил я.

— Его и Волкова, — ответила она устало.

Я рассчитался, мы вышли на улицу. Жанне надо было на метро, я провожал ее через парк. В воздухе густо и беззвучно летал тополиный пух.

— Что ж вы, так и уедете?

— Посмотрим, — сказала она с неясным смешком.

Мы почти дошли до метро, когда я неожиданно для себя попросил ее дать мне эту папку до завтрашнего дня. Почитать. Может, что-то вспомнится.

Она посмотрела на меня задумчиво и безразлично, как смотрят на часы, проверяя себя, и нисколько не удивилась.

— Конечно, берите. Если что — позвоните, там записка с моим гостиничным телефоном, — преспокойно сообщила она.

— А как вам вернуть?..

— Завтра в двенадцать часов подъезжайте к Манежу, вам удобно?

Я несколько растерялся: похоже, что у нее все было предусмотрено. Полагалось бы пригласить ее в свой дом, но когда я заикнулся об этом, она сказала:

— Лучше, если вы завтра поводите меня по городу. Я хотела кое-что посмотреть.

Она отдала мне папку, распрощалась, не благодаря, не радуясь, как-то отрешенно, и скрылась в метро.

II

Почти год дощатый мой домик простоял на замке. В комнате накопилась тьма и сырость. Я открыл ставни, затопил печь. На столе стояла чернильница и открытая баночка с карамелью. Откуда здесь эта карамель? Я не люблю карамель. Но кроме меня никто не мог сюда зай-

ти. Я не приезжал на свой садовый участок с прошлой осени. И зимой не был. На подоконнике лежала дощечка с красным кружком, нарисованным масляной краской. Опять я ничего не мог вспомнить. Конечно, я сам рисовал этот кружок, но зачем? Кочергу пришлось поискать. На стуле висела моя синяя фланелевая куртка. Я совсем забыл о ней. В шкафу увидел справочник машиностроителя, мне его не хватало всю зиму. Вот он где, оказывается. Я прошел на кухню, привыкая вновь к своим вещам. Одни возвращались быстро, другие не сразу, а были такие, что не признавались ко мне, вроде этой дощечки. И карамель тоже не вспомнилась.

На участке висел умывальник. Я поднял крышку. Внутри было сухо, лежала хвоя и какие-то личинки. Ворот колодца пронзительно скрипнул. Я вытянул ведро, налил в умывальник, взял синий обмылок, пересохший, треснувший.

Крыльцо скосилось, доски подгнили, все собирался менять их, да так и не сменил. И желоб под умывальник проложить. Наверное, и в этом году не сделаю. Я уже прошел тот возраст, когда утром кажется, что за день все успеешь — и то, что не успел вчера, и еще столько же.

Я обошел участок. От выгребной ямы тянуло вонищей. Когда-то я хотел ее отделить туей, заборчик такой живой насадить.

Все на участке одичало, заросло. Грядки расползлись. Хотел еще посадить клены, серебристые елки, но посадил только два куста сирени. Сирень разрослась. Смотреть на нее было неохота, она напоминала о неделанном, лучше бы не было этих кустов.

В доме потеплело. Я выложил на стол оранжевую папку, пошарил в шкафу, нашел банку сгущенки, сварил себе кофе, но вместо того, чтобы приняться за письма, лег на диван. Там лежала книжка про Вселенную. Я стал ее читать, и оказалось, что когда-то я ее уже читал. Вспомнил по рисункам. Не много нам остается от прошлого. Каким я был год назад, когда лежал на этом диване и читал эту книжку? И зачем-то уехал, и что-то было с карамельками. Приходила сюда женщина, с которой было так хорошо, и вот расстались. Все это теперь забылось, стало непонятным. Непонятно, почему надо было расстаться. А если бы я убрал карамельки, выбросил их, то и этого я бы не вспомнил, и сидел бы тут, как будто ничего и не было.

Письма Бориса были пронумерованы, сложены в стопки, стопки перетянуты резинками, писем много. В сорок втором, сорок третьем годах переписка с Жанной шла энергично. Он отвечал, как правило, немедленно, слал много кратких открыток, неизменно пылких и напористых. Его энергия удивляла. За первую блокадную зиму мы так отощали и наголодались, что никакой мужской силы не осталось в наших слабых телах. Хватало лишь воли исполнять самое необходимое — стрелять, проверять посты, помогать чистить окопы от снега. В апреле к нам приехали шефы из Ленинграда, работницы швейной фабрики. После ужина, разморенные сытостью от пшеничного концентрата, сладкого чая с огромными флотскими сухарями, женщины уснули в наших землянках. Они раскинулись, нежно посапывая на наших нарах, покрытых коричневым бархатом. Мы сидели у печки, умиленные своей бережностью. Никто не пытался их притиснуть, подвалиться к ним. Мысль такая не возникала. Правда, и манков у них не осталось. Грудь, например, начисто исчезли. Разумеется, бабье все сохранилось, а вот не влекло. Не было желания, никаких желаний, кроме как подхарчиться и в баню сходить. Много месяцев нам не снилось снов томящих, разговоров про баб не было... Откуда у Бориса брались пыл, страсть? Сыпал ей стихами, долго не выбирая, брал из песен:

Я пришел немножечко усталый,
И на лбу морщинка залегла.
Ты меня так долго ожидала,
Много слов горячих сберегла.

Все больше о встрече в тот великий день, после Победы. Встреча и Победа у него соединялись в одно прекрасное Однажды. Судя по письмам, при встрече должно было произойти нечто неслыханное. Вначале, конечно, прижать к груди и сказать: «Ты моя!» После этого мир озарялся огнями, играли оркестры, пели соловьи, расстилался зеленый шелк лугов, солнце не уходило за горизонт. Они без конца целовались. Не могли наглядеться. Стояли, взявшись за руки, и в то же время лежали на высокой кровати.

Из месяца в месяц Борис не уставал расписывать радость Встречи. Он не замечал, что повторяется и становится однообразным. Потом в тоне его восторгов появилась некоторая озабоченность. Она нарастала. Если

бы что-то его смущало в письмах Жанны, он бы спорил, цитировал какие-то фразы. Нет, беспокоило нечто другое, но что именно, я не мог понять. Зачем-то Борис требовал от нее все новых обещаний. Добивался заверений в верности, хотел заручиться: что меня ждет, когда я приеду к тебе? Хочешь ли ты быть моей? Он требовал определенности, требовал гарантий, настойчиво, подозрительно. Удивляла его расчетливость, вроде он не такой был. Вытащил меня с нейтралки, когда я зачоченел, двигаться не мог, — рискнул, хотя не был обязан. На передке, правда, осторожничал, не стыдился ползать в мелком окопе, зря не подставлялся... Чего ради он так добивался заверений, как будто они обеспечивают любовь? В ответ на расспросы Жанны он написал о Волкове, впервые упомянул его:

«Да, я его знаю, короткое время я жил с ним в одной землянке. Адрес твой он взял у Аполлона. Вина моя. Видишь ли, я не удержался, рассказывал о тебе, показывал твою карточку, прочел отрывки из твоих писем. Поделился в минуту откровенности. Не знаю, что он тебе написал, но ведет он разговоры о женщинах не в моем вкусе. Воззрения его на жизнь не по мне. Я человек прямой и ценю откровенность, а не подходы. Что мне нужно, пишу прямо, интимными церемониями не занимаюсь, паутину не раскидываю. Длинные письма, Жанна, я не пишу, я предпочитаю писать короткую правду, чем длинную ложь. Вывод сделай сама».

Собственно, с этого началась та житейская история, что росла по извечным законам любви и ревности среди посвиста пуль и осколков, между боями местного значения, проходами в спиралях Бруно и минными полями, под гулом бомбардировщиков, летящих на Ленинград.

В следующий раз о Волкове он написал злее. Хотя, на мой взгляд, сдержанно, мог бы выставить его похуже... Но тут я обратил внимание на записку, приколотую к письму. Свеженько-белый листок, на нем знакомым сочно-красным фломастером написано: «Прошу Вас, читайте по очереди письма Волкова и Лукина, так, как я их получала. Ж.».

Будто угадала, что я предпочитал Борины письма, что в письма Волкова я не собирался заглядывать. Выходит, все у нее было предусмотрено — и то, что буду читать переписку, и что папка окажется у меня, и надо подсказать. Я вспомнил, как она преспокойно передала мне папку, словно зная, что в конце концов я сам по-

прошу. Не очень-то приятно, когда твои действия про-
сматриваются наперед, оказываешься примитивным
устройством, заводная игрушка — зеленая лягушка.

Волковских писем было много — три увесистые
пачки. Пронумерованы, разложены по порядку, с тем,
однако, отличием, что письма его истерты на сгибах,
помяты, — их, следовательно, перечитывали, носили
в сумочке, в кармане. Я разложил на столе нечто вроде
пасьянса: письмо, открытка, конверт зелененький, се-
ренький. Аккуратно-печатный почерк, каждое слово
вырисовано. Ох, как не хотелось мне братья за них. Не
мог заставить себя. Встал, вышел на крыльцо.

Вечерний птичий гам бушевал, стрекотал, заливался
в пахучей зеленой теплыни. Вот где распахивалась
жизнь. От заброшенности, неухоженности участка
жизнь выигрывала, прибывала. Всюду громоздились
кротовые грудки вывороченной земли. Дорожки зарос-
ли, захваченные повиликой, диким горошком. Я смот-
рел в небо, которого нет в городе, стараясь войти в по-
кой этого вечера. Птицы не занимаются воспоминания-
ми, думал я, они поют, переговариваются, поглощенные
счастьем и насущными заботами, и крот знает лишь на-
стоящее и будущую зиму.

Эти мудрые мысли меня тешили, но не помогали.
Я все больше погружался в прошлое, как в трясину.
Чугунное лицо Волкова, оживленное фотографией,
приблизилось вплотную. Обритая наголо, круглая
шишковатая голова напоминала бюсты римских импе-
раторов из черного мрамора, что стояли в Камероновой
галерее. Пули цокали по ним, не оставляя следов. Голос
его тоже звучал чугунно-звонко: «Читать чужие пись-
ма, лейтенант Дударев, это подлость!» Слово «под-
лость» звучало невыносимо, как «подлец!». И все сра-
ботало автоматически, я размахнулся дать ему по морде,
но он перехватил мою руку, вывернул так, что
я вскрикнул от боли, Волков был куда сильнее меня, но
то, что я вскрикнул, было унижительнее, чем его слова.

После бомбежки я нашел у развороченной землянки
листки. Не сообразив, чья это землянка, я поднял их
и стал читать, сперва про себя, потом вслух, потешаясь
над чьей-то любовной дребеденью. Это была разрядка,
и все обрадовались возможности похохотать, когда по-
дошел Волков. Моя шутка обернулась серьезным скан-
далом. Я кинулся на него с кулаками, он отшвырнул
меня — все это в присутствии бойцов! Я схватился за

револьвер. Меня оттащили. С этого дня я возненавидел Волкова. Потом было всякое, на передовой друг без друга не обойдешься, но обида засела во мне прочно.

Какие каверзы подстраивает жизнь! Зачем понадобилось через столько лет опять подсунуть его письма?

Я вернулся в комнату, оставил дверь открытой в сад, в неутихающий птичий шум, шорох молодых листьев. Я сел за стол. Что в них, в этих волковских письмах? Во мне все напряглось, как в детстве: сейчас меня обнаружат, поймают, уличат... Кроме той несостоявшейся драки, было потом куда более серьезное. Не за этим ли пожаловала ко мне Жанна? Потребовать ответа? Все же существует, значит, закон возмездия. Давно уже занимало меня действие его. Он то подтверждался, то нарушался, но я считал, что это не нарушение, а незнание мое. Потому что действие его могло быть скрытым, неизвестным мне. Рано или поздно зло должно наказываться. Не всегда виновнику — может воздаться детям его, потомству. Какое-то равновесие природа должна восстановить. Если справедливость не сумеет восторжествовать, тогда она зачахнет, тогда человеку не на что надеяться. От школьных лет остался в памяти у меня невнятным эпиграф к «Анне Карениной»: «Мне отмщение, и Аз воздам». Что он означает? Кроме божественного, уловлен ли тут закон, по которому творится суд над нами?..

Первое письмо было про то, как Волкова поразила фотография Жанны. «Как выстрел в упор из ракетницы». Фотографию Борис выпросил у Аполлона и повесил ее над нарами. (А про выстрел я вспомнил — был у нас случай: кто-то в землянке выстрелил из ракетницы, действительно ослепнуть можно.) Увидел Волков карточку, Борис ему прочел кусок из письма, и образовалось впечатление сильное — «беззащитностью Вашей, опасно соединенной с отзывчивостью и умением чувствовать тонкости, нам недоступные». Читать было неловко, какие он кренделя завивал: «Теперь стоит мне закрыть глаза, появляется Ваше лицо. Я изучал каждую его черточку. Глаза, уши, подбородок. Вижу милую расслабленность губ, восторг жизни в глазах. Я убеждал себя, что навоображал, но теперь знаю, что Вы существо необычное...»

Строчки эти неприятно резанули меня. Напыщенные выражения каким-то образом совпадали с моим собственным впечатлением.

Жанна ответила. Она охотно отвечала тому и другому. Переписка шла параллельно, у Бориса своя, у Волкова своя. Разница состояла в том, что Волков скрывал свою.

От чтения их писем попеременно чувствовалось, как нарастало соперничество. Поначалу преимущество имел Борис. Бурные его признания действовали. За ним было первенство, он имел фору. Кроме того, Волков явно переборщил. Ответ ему, очевидно, пришел суховато-ироничный. Я сужу по тому, как он сменил стиль своих писем. Отшутился — полагал, что сумеет воспеть ее по-восточному, в духе Руставели. «С чужого голоса не пой, свой сорвешь». И дальше без выкрутас, иронично принялся рассказывать о себе. О чувствах ни звука, о фронтовых наших перипетиях общими словами отделывался, как и Борис. Неторопливо разглядывал прожитые годы как бы издалека. Письма его, признаюсь сразу, читались. Дело заключалось не в литературности, я не большой охотник до беллетристики, — он заинтересовал меня своей судьбой. Обстоятельно и содержательно излагал он историю своей жизненной борьбы. Он был старше нас всех. Намного. Лет на пятнадцать. Совсем из другого поколения. Хотя по виду такой разницы не чувствовалось. Голодуха всех подравняла. В тесных задымленных наших землянках, в окопной зиме, закутанные, промерзлые, измученные снежными заносами, ночными тревогами, нехваткой патронов, мин, потерями от ран, от голодного довольствия, мы возрастов не различали. Тем более что Волков выделялся силой. В феврале, в самое голодное время, он в одиночку тащил ящик с противопехотными минами. Судя по некоторым фактам жизнеописания, было ему лет тридцать пять. Он описывал тот слой жизни, который мне был неведом, как бы в промежутке между моим отцом и мною. В письмах его, конечно, различался умысел. Ему хотелось заинтересовать Жанну своей особой. Я раскусил это сразу, но Жанна, казалось, не замечала, ее смущала рассудительная манера изложения, анализ своей жизни, который производил Волков, вроде бы специально ради нее.

Он выдерживал свою линию:

«Слишком взрослый мужчина пишет девушке слишком умные письма. С какой стати? А если я другие не умею? У Вас просквозил намек, будто я щеголяю. Давайте условимся, что мое умничание — средство от

моего непомерного аппетита. С помощью писем к Вам я усмиряю муки пустого желудка. Так что отнесите все излишества за счет желудка. Есть и другое соображение. Игривость — вещь легкая. Бойкость, нахальство всегда выигрывают. Здесь меня тоже попрекают умником. И начальству не нравится. В самом деле — почему я такой? Не знаю. Пробовал прикинуться чушкой — выходит фальшиво. Уж лучше оставаться каким есть. Может, моя биография виновата. Когда мне было двенадцать лет, весь наш класс отправился в кино, и я захотел. Нужно было двадцать копеек. Я спросил у отца. Он сказал: заработай, а у меня не спрашивай. С тех пор я ни одной копейки ни у кого не получал. Все сам зарабатывал. Видите, до чего всерьез я воспринял слова отца. Наверное, слишком. Он у меня был весовщик, мать прачка. У отца образование четыре сельских класса, мать неграмотная, и они признавали жизнь в труде, а не в образовании. Так как в кино я ходить хотел, то стал работать подручным у монтера. В 1920 году был голод, и я попал в колонию».

А мы числили его чуть ли не профессорским сынком. Он держался церемонно, строил из себя интеллигента.

«...Мы аккуратно обследовали помойки, куда из столовых выбрасывали головки от вобл. Воровали из кладовых продукты. Взламывали замок либо окно, мальчикам хватало щелки. Тащили сухари, сахар, прятали на кладбище Александро-Невской лавры. Днем делились, вечером шла на промысел другая тройка. Но все же я нашел в себе силы продолжать учиться, стал монтером. В последних классах я самостоятельно брал подряды на проводку освещения и зарабатывал деньги. Мои однокашники казались мне детьми».

Я вдруг вспомнил, как в школьные годы мы с приятелем зарабатывали починкой электрических звонков. Он снимал испорченные и устанавливал починенные, а я зачищал контакты прерывателя, заросшие мохнатой пылью, менял катушечки. Надоело у матери попрошайничать, и мы с охотой работали. Дети любят работать. Но мне было лет четырнадцать. И время другое.

В другом письме Волков рассказывал, как его потянуло к музыке. Тайком от отца он стал брать уроки «фортепианной игры» у одной старушки. Потом это открылось, произошел скандал. Были годы нэпа, была безработица... Я привык, что то время изображалось

в кинофильмах только как время нэпманов, бандитов, ресторанных разгулов, частной торговли. Нэповские времена казались более древними и темными, чем дореволюционные годы, о которых я знал по книжкам. От той скоротечной поры ничего не осталось. Ни обычаев, ни мемуаров, ни памятников, ни героев. Нэп как бы отпал, начисто отрубленный, только песенки, что напевала мать, какие-то романсы, мелодии без нот и пластинок — колыхание воздуха.

Волков брался за все, ловчил, чтобы устроиться в той непростой жизни. Окончил какие-то курсы Доброхима, стал читать лекции. Что за лекции мог читать пятнадцатилетний парень — не представляю. Зарабатывал деньги на чем придется, не гнушался никакой работой, не было тогда работы непрестижной.

«Химию я любил? Любил. Травил крыс в кооперативных и частных лавках. Научился. Стал авторитетным крысомором. Нанялся каменщиком — бил камни для мостовой, сидел на дороге, обмотавши колени портянками, между ног камень. По вечерам чертил диаграммы для лекторов. Опять деньги! Музыку я любил? Любил! Слух есть? Есть! У соседки был рояль, я по слуху разучил танцы того времени — падеспань, миньон, падекатр, шимми, вальсы, фоксы, несколько ходовых песенок:

Смотрите, граждане, какой я элегантный!
Какой пи-пи, какой ка-ка, какой пикантный!

Стал тапером на вечеринках, на танцульках. Деньги, плюс к этому — накормят. Я пить не пил, ни одной рюмки. Из-за этого и бросил выгодную таперскую специальность, уж больно приставали. А то бы так и остался бренчалкой».

Действительно, Волков не пил. Единственный из офицеров полка, кто отказывался принимать положенные зимой сто граммов водки. Демонстративно отказывался. Его пробовали высмеивать — он принципы выставил. Мол, во время первой мировой войны русские солдаты сражались без всякой водки. И хорошо воевали. Водка не помощник, и так далее. Был в этом как бы упрек нам. Многие возмутились — не чересчур ли берете на себя, товарищ лейтенант, приказ главкома не по вкусу? Предлагали ему выменивать свою водку на табак, на шпроты, в конце концов не хочешь пить — отдай желающим. Найдутся. Ни в какую, уперся в принцип. Хоро-

шо, что комиссар, мудрый мужик, перевел проблему на калории: в наших блокадных условиях водка — хлебо-во, дополнительное питание; слава этому замечательному приказу...

Из таперов ушел в дворники, поливал улицу из кишки.

Из дворников — на курсы слесарей при Институте труда, оттуда — на курсы чертежников. Устроился чертежником на завод. Сокращение. Опять взяли чертежником...

Он срывался, падал, снова карабкался и опять оступался, соблазненный лазейкой быстрого успеха или сомнительным заработком. Его мотало то к большим деньгам, то к стоящей специальности. Получая удары, теряя, ошибаясь, он ни на минуту не предавался унынию. Жизнецепкость, упорство этого питерского паренька свидетельствовали о сильном характере. Путь его был не прям и этим был мне симпатичен, он никак не совмещался с прямолинейно-четким Волковым, которого я знал.

Его путали собственные способности. Плюс его самомнение. Это был бурлящий характер тех двадцатых годов, когда ажиотаж наживы сменялся трубным зовом эпохи — учиться, учиться!

Все это можно было вычитать из его писем. О таком Волкове я не подозревал. Кажется, я понимал, зачем он писал о себе. Не из самомнения. В самом деле, о чем еще он мог писать? Описывать фронтовые будни? Не принято, не положено, да и не было в этом своего. О своих чувствах — ни за что. А вот о себе, про себя, — тут ему самому было интересно поразмышлять.

Тот Волков, который возникал из писем, мог привлечь внимание, во всяком случае заинтересовать своей судьбой. Будь они оба перед Жанной въяве, Волков бы сразу проиграл, ему помогала заочность. Я ревниво следил, как упорно он вел осаду, при этом писал, что ни на что не надеется, их отношения платонические и тому подобное. Конечно, я был необъективен. Я знал того Волкова, фронтового, и не знал этого, с его прошлым, с его влюбленностью в Жанну. Какой из них был настоящим? Вернее всего, что оба, но я никак не мог соединить их. Меня устраивал Волков, которого я не любил.

Жанна сомневалась в своей красоте. Волков горячо доказывал, как она красива, разбирал овал ее лица, описывал ее губы, шею, показывая классические про-

порции. Конечно, это пленяло Жанну. Но я-то видел в этом прием и жалел доверчивую девушку. Я выискивал хитрости, уловки, способы обольщения и в то же время понимал, что Волков от стеснительности пускается в отвлеченные поучения, деликатно избегает прямых признаний, он боится говорить о своих чувствах, боясь показаться смешным. Больше всего он боялся смеха над собой. Лишь бы не вызвать усмешки. Но и он все искал, как бы дать знать о своих чувствах.

«У нас с Вами, Жанна, одинаковые установки. Вы малым не хотите удовлетвориться. Мне понравились Ваши слова. Я тоже всегда хотел самого лучшего для себя».

Наконец я хоть на чем-то поймал его. Фраза эта могла свидетельствовать о тщеславии. Не совсем то, чего я искал, но и тщеславие годилось для моей неприязни к Волкову.

Письмо Бориса имело ту же дату. Сидя в соседних землянках, они писали свои письма, наверное, после ужина, когда стихал обстрел, темнело, можно было растапливать печь. За день землянку вымораживало так, что пальцы не слушались, ложку кулаком держишь, не то чтоб писать. Землянки у нас были низкие. Борису приходилось голову пригибать. Низко, тесно, а уютно. С наряда да с усталости завалиться на нары. Кто-то сидит, чинит гимнастерку, кто-то автомат смазывает. Машиново-бархатно светятся раскаленные бока печки. Кресло колченогое, которое притащили из разбитой церкви. И стоит оно, между прочим, на дощатом полу. Был у меня в одной из землянок дощатый пол. Запомнился! Да еще топор лежит в головах, чтоб не сперли. Топор — драгоценнейшая вещь в окопной зимовке.

«Добрый день, милая Жанна! Получил твое письмо и две фотокарточки. Радости не было границ. Честно говоря, я думал, что вряд ли получу от тебя (будем на «ты» называть друг друга, кажется, есть у Пушкина «сердечное «ты», пустое „вы“», так, Жанна?) что-либо подобное. Я надеюсь, что ты сердиться не будешь за то, что я называл тебя *милой* — иначе не могу. «Любовь твоя запала в сердце глубоко». Настроение прекрасное, хочется жить, бороться и приблизить час, в который мы с тобой, Жанна, должны встретиться. Ответь мне на один вопрос, который все объяснит: что меня ждет, если когда-либо я приеду прямо к тебе? Стоит ли мне думать о нашем будущем? Мы с Аполлоном были в Ленинграде.

Смотрели «Три мушкетера» А. Дюма, надеюсь, ты его читала».

Тут Борис промашку дал, обращается как с девочкой, снисходительно. Волков себе этого не позволял, он писал в полную силу уважения, может, нарочно преувеличивал, и наверняка Жанне это льстило. Прервав свою биографию, он разбирал биографии великих людей, которые служили ему примером. Один из любимых был у него Эдисон. Тоже рабочий паренек, без всякого образования, взмыл исключительно за счет таланта плюс коммерческая хватка. Насчет таланта Волков не беспокоился, он думать не хотел, что ему отпущено меньше, чем другим. Эдисон имел к двадцати годам три изобретения, Волкову семнадцать, у него к двадцати годам будет не три, а пять изобретений! Не в тщеславии была беда, тщеславие чисто мальчишеское, — беда в том, что он всерьез, без шуток относился к своему соревнованию с Эдисоном. Высокое мнение о себе осталось у него и на фронте. Многое можно было припомнить, но это было бы несправедливо, потому что нечто подобное происходило в семнадцать лет и со мною. Я ведь тоже увлекался Эдисоном. Папанин, Графтио, Чкалов были в этом списке, и был Эдисон, который спал пять часов в сутки и, за какую бы задачу ни брался, все у него получалось... Совпадение наших привязанностей вносило путаницу в мои чувства.

Прочитав в журнале «Наука и техника» о почтовой связи между Парижем и Лондоном, Волков взялся совершенствовать ее и разработал устройство «для приема световых сигналов с летящего самолета». Наверняка туфта, наплел, но Волков привел в письме номер патента — 4467, сообщил, что вышло отдельной брошюрой в издании Комитета по делам изобретений при СНК СССР. И о следующих изобретениях тоже сообщал номера — по памяти, что ли? Стоило мне усомниться, он сразу давал ссылку. Мог и в этом мухлевать, но я чувствовал, что не врет, все точно. В 1927 году опубликовал в таком-то номере такого-то журнала статью об изобретателях-самоучках. Успех воодушевил его, он принялся выступать по радио. К тому времени он устроился на должность конструктора. Изобретателей, имеющих патенты, биржа труда обязана была направлять на работу вне очереди. Действовало такое правило. Он мог выбирать, и выбрал завод, где больше платили. У него на иждивении были мать и племянник, отца которого за-

рубили колчаковцы. Про деньги описывал, как пытался тратить их с шиком — после танцев отвозил девиц на извозчике и одаривал кулками конфет. Публикация в журнале вскружила ему голову, он решил стать писателем. Все могу! Его приняли в литературный кружок при журнале «Резец», самое лучшее, как он подчеркнул, объединение молодых писателей города. И музыку он стал сочинять — в 1929 году исполнил на радиостудии собственную композицию «Наводнение в Ленинграде». По поводу пятилетия наводнения 1924 года. Отмечались и такие события. «Средним писателем я бы мог стать. Я в этом убедился. Модным, успевающим, наподобие Пантелеймона Романова или Льва Гумилевского. Но ничего среднего я не принимаю. Кому нужен средний писатель?»

И Волков поступил в Технологический институт. Вечерами он зарабатывал на чертежах, по выходным посещал университет культуры, утром, до занятий, бежал на стадион. Он хотел всего сразу, всюду преуспеть. Он слушал лекции по античной философии, по музыке, по истории, по астрономии, по географическим открытиям. Совершил двадцать восемь экскурсий в Эрмитаж. Столько же по городу, изучая петербургскую архитектуру. Ему надо было отличать барокко от ампира, понять гениальность Тициана, научиться слушать Бетховена и не скучать, глядя на стоящего спиной дирижера. Быть не хуже меломанов, которые свободно обсуждают, кто как исполняет. Знать про Платона и Сенеку. И чтоб не захлебнуться в этом потоке. Он боялся, что не сможет соответствовать званию инженера, потому что инженер для него означал высшую категорию людей. Инженер обязан знать и Овидия, и созвездие Орион, и историю Исаакиевского собора.

Совершить двадцать восемь экскурсий по Эрмитажу представлялось мне невероятным. Двадцать восемь — это уже не любознательность. И не изучение. Это скорее времяпрепровождение. Так ходят на прогулки дышать свежим воздухом, ходят на природу, ходят к друзьям, но чтобы в музей? Все-таки что-то было в этом Волкове, и эта грузинская девочка за тысячи километров уловила, учуяла.

В 1937 году он получил диплом. Его послали работать мастером, потом выдвинули начальником цеха, от туда — руководить конструкторским бюро. Подвигался

он быстро, еще немного — и достиг бы большего, но началась война, и он попросился в народное ополчение...

За окном прогудела машина, хлопнула дверца, за скрипело крыльцо, в комнату вбежала дочь, за ней вошел ее муж. Они заехали за мной по дороге, как было договорено, поскольку я думал к этому времени освободиться. Дочь чмокнула меня в скулу, под самым глазом, — место, куда она целовала меня школьницей, и на секунду так же привычно прижалась, ожидая, когда я поглажу, поворошу ее затылок. Я увидел у нее седые волосы. Их было совсем немного, скорее всего она еще не различала их, — три, четыре, их легко было выдернуть. Я чуть коснулся губами ее темечка, она вопросительно посмотрела мне в глаза.

— Тут такое дело, придется мне задержаться, — сказал я. — Надо к завтраму прочесть.

Она скользнула взглядом по письмам, разложенным на столе, и ничего не спросила, как будто это были деловые бумаги. Тогда я сказал:

— Любопытная тут фронтовая история... — И я рассказал в двух словах что к чему, и стал читать им из письма Волкова, где было про фронт и хоть немного про наше бытие.

Письмо он писал в газогенераторной машине. Были такие. Вместо бензина — сухие чурки.

«На бункере стоит моя походная чернильница из аптечной склянки. Кругом лес и болото. Вчера был случайно в Ленинграде, открылось несколько книжных магазинов, я их обошел, купил для Вас открытки с видами города. Женщины чистят город, видно стало на весеннем солнышке, какие они слабые. Голод унижает человека. Но сейчас, когда они вылезли из своих промороженных нор, когда они вместе и стараются очистить улицы, они уже не боятся обстрела. Это очень странно, они так рады солнцу, что при обстреле неохотно уходят из проезжей части в тень подъездов и подворотен. А я все ищу Вам какой-нибудь подарок. Но ничего в Ленинграде нет. Найти бы какую-нибудь вещь, которая сохранила бы память обо мне, ведь в любую минуту меня может не стать...»

Голос мой упал, перешел на скороговорку, я чувствовал, что им все это неинтересно. Это была не их эпоха. Те подробности, которые меня так волновали, нагоняли на них тоску. Моя война существовала для домашних контуженным бедром, которое время от времени прихо-

дилось растирать. Шрамом на плече — когда-то дочери гордились им. Рассказы о моей войне их перестали интересовать — сколько можно? Но им нравилось, когда я надевал ордена. И в то же время они считали, что меня обошли, я недотепа, не пользуюсь своими заслугами, позволил задвинуть себя до руководителя группы с зарплатой сто девяносто рэ.

Зять слушал, опираясь на дверной косяк. Бледно-розовый, рыхлый, скучающий, он был так похож на первого ее мужа, что я не понимал, какой смысл был их менять. Оба они строчили диссертации, оба оценивали свой успех должностью и степенью. И чужой успех так же. Они скучливо доказывали мне, что это — показатель «объективный и всеобщий: майор стремится стать подполковником, полковник — генералом, кандидат — доктором, доктор — членкором. Маленькая должность показывает низкую ценность человека, неспособность подниматься по служебному косогору. Жажда восхождения движет прогрессом. Им нравилось восходить, взбираться. Понижение у них означало неудачу, все равно что сорваться с кручи.

Я читал из упрямства. Они переглянулись. Дочь успокаивающе кивнула мужу, — может, она надеялась на какой-то поворот; я чувствовал, ей неудобно за меня. А мне было обидно за Волкова, мы были с ним сейчас заодно. Дочь отошла к окну, модные туфли на платформе — так они назывались — делали ее выше и тоньше.

— Мы оставили в коридоре мешок с бутылками, — сказал зять, как только я кончил.

— Ладно, — сказал я. — Поезжайте.

Она еще раз поцеловала меня и шепнула:

— Не расстраивайся.

Я вернулся к сообщениям Бориса про смерть Аполлона. «С Аполлоном мы в оч. хор. отношениях... рана его оказалась сильной, не знаю, куда его отправили и жив ли он». При чем тут хорошие отношения? Может, отвечал Жанне на какой-то вопрос? Следующая открытка серо-зеленая, шинельного цвета, с напечатанным на ней призывом: «Воин Красной Армии! Бей врага, не зная страха!» В открытке было про смерть Аполлона. То, что читала мне Жанна. Первая открытка о ранении написана 18 сентября. Наступление мы проводили 6 октября. Это я знаю точно, потому что меня в том бою контузило. Мы захватили насыпь железной дороги, выпрямили линию обороны и оказались над противни-

ком. Я отлеживался несколько дней в нашем медсанбате, пока не перестало тошнить. Легкое ранение мне все же приписали. У нас было много потерь. Семена Левашова убило. Комсорга нашего тоже.

Вот к этой операции Борис, очевидно, и приплюсовал смерть Аполлона. Потому что, возможно, она была случайной, бестолковой, и нам тогда казалось, что такая смерть огорчительней, чем смерть в бою. Меня очень мучил, прямо-таки пугал один случай. К нам прислали с дивизии связиста опробовать рацию. Мы стояли с ним у землянки, греясь на солнышке. Веселый усач травил мне анекдоты, была весна, в проталинах открылась прошлогодняя зелень, снег оседал, отовсюду слышалось урчание воды, стук капли. Голубые поля стеклянно блестели настом. Есть минуты в жизни, которые врезаются навсегда, со всеми красками, звуками, запахами. Мы расстегнули полушубки, подставляя себя долгожданной теплыни. Вдруг связист замолчал, как бы прислушиваясь. Потом он стал поворачиваться, пытаюсь заглянуть назад. Я обернулся. На спине его из черного полушубка вылез бледно-серый клочок овчины. Выторкнулся и задрожал. «Что это?» — спросил я, не успевая понять. Связист недоуменно прислушался, зрачки его расширились, и он, помедлив еще какой-то миг, цепляясь за меня этим недоуменным взглядом, мягко сгибаясь в коленях, повалился вниз, лицом в землю. Пуля, тихая, без свиста, — правду говорят, шальная, — пробила грудь навылет. Жизнь вышла сразу, вся, безболезненно, вместе с клочком овчины на спине. Не запомнилось ни фамилии, ни звания — помню, отдельно от его лица, недоуменное выражение, с которым он уходил. Смерть долго еще выглядела как серенький клочок, вылезающий на спине. Я сам хоронил его на нашем полковом кладбище, сам отписал домой, как он пал, храбро сражаясь. Во что бы то ни стало хотелось украсить его смерть. На войне гибель — зло неизбежное, но то, что убит он был как бы бесполезно, не в бою, попусту, — представлялось ужасным, чуть ли не стыдным. Случайная смерть казалась злом войны в чистом виде. Мы как умели расписывали в письмах родным про гибель наших солдат. Вместо обстрелов, бомбежек сочиняли бои, чуть ли не подвиги, полагая, что хоть чем-то утешаем родных. Так, видать, обошелся и Борис с гибельным ранением грузинского мальчика.

В июле 1941 года Сергей Волков ушел воевать с винтовкой и двумя гранатами «по полям Новгородской области». Кроме положенного взял в мешок сапожную щетку с кремом, общую тетрадь, махровое полотенце, зубной порошок в жестяной коробке, справочник по металловедению: «собрался между делом подучить». Так он представлял войну. Через неделю справочник выбросил, затем выбросил тетрадь, порошок высыпал, коробку оставил для пуговиц, ниток, мыло туда клал. Сапожная щетка пошла на растопку.

«...Тем не менее я до сих пор пытаюсь сохранить внешний лоск. Видите ли, Жанна, я вышел из самых низов, из дворников, прачек, все, что мне досталось в жизни, добыто огромным трудом, и я не могу позволить себе утратить заработанное. Другим проще. Они получили грамотных родителей, десятилетку, подушку в наволочке. У нас с Вами слишком большая разница в происхождении. Борис ближе Вам, Вы с ним из одной стаи. В этом смысле я очень чувствителен...»

Мы считали его кичливым зазнайкой, который щеголял своим инженерством, а он втайне мучился дворничьим происхождением. При этом на четырех страницах расписывал свое ленинградское житье, продуманный до мелочей уют, роскошь по тем временам:

«...В нише имеется новейшая химическая аппаратура — я занимаюсь дома некоторыми опытами. Появится какая-то идея, надо тут же проверить. Я люблю, чтобы на небольшом столике, наискосок от письменного стола, лежали последние газеты и журналы, стояли вазочки с конфетами и печенье. На письменном столе я люблю видеть букет живых цветов. Сидя в кресле, я могу, протянув руку, достать любой справочник с этажерки, могу включить радио. Не забудьте, что я монтер. Стены оформлены живописью. Импрессионисты, рисунки японских художников, архитектура Реймского собора, Врубель, зарисовки Рембрандта его жены Саскии. На окне у меня аквариум с вуалехвостками и небольшим фонтаном. А если помечтать и занять хороший телевизор, то, возможно, вы откажетесь пойти в театр и предпочтете провести вечер у меня в комнате».

Ну, расписал, ну, нахвалился, три дня не евши, а в зубах ковыряет! Телевизор! Я проверил дату — 1942 год, ноябрь. Это значит, в раскисшей окопной грязи, в самый непросых, когда мы мыкались с фурункулезом, он тайком мысленно нежился в своем уюте

с телевизором, Реймским собором и вуалехвостками. Дезертир, форменное душевное предательство!

«Я полагаю, что во всем этом нет мещанства, о котором Вы беспокоитесь. Я тоже против мещанства, но здесь, на фронте, мои понятия о мещанстве изменились».

Каждый против мещанства. Никто не скажет — я за мещанство! Но этот Волков не так-то был прост. Открестился — он против мещанства! Обезопасил себя, а на самом деле, что он описывает. Но откровенно говоря, я не очень понимал, что такое мещанство.

«Когда спокойная трудовая жизнь — трудятся-то у нас все,— когда дом, уют, пусть даже герань на окнах — Вы знаете, Жанна, отсюда, из окопов, все это выглядит так прекрасно, и мещанского не различить в этих приметах. Не могу согласиться с Вашей фразой «мои требования к жизни иные». Требовать от жизни толку мало, требовать надо от себя, и только от себя. Жизнь нам ничем не обязана. Мы усвоили, что государство должно о нас заботиться, устраивать, обеспечивать и жильем, и мыслями, чуть что — требуем. А ты от себя потребуй. Разве я могу требовать, чтобы Вы прониклись ко мне чувством? Некоторые у нас считают, что в тылу обязаны любить нас, хранить верность и т. п. А, собственно говоря, почему? Во-первых, мы, требующие это, сами себе позволяем... Во-вторых, война — это проверка, а не льгота. Я могу пытаться завоевать Вас лишь трудом своих чувств». Фразы о требовании были подчеркнуты простым карандашом.

«Посылаю Вам щепотку песка — ленинградской земли, в которую мы прочно врылись».

Я потряс конверт. Всего несколько песчинок высыпались на ладонь. Они поблескивали при свете лампы, чудом уцелевшие и сами чудо, как если бы лег на руки снег той зимы, пайка того хлеба.

Без перехода Волков выкладывал ей про кино: «Вы явно не поняли меня, и, простите, но Вы не представляете, что такое цветное стереокино, которое я смотрел на площади Маяковского в мае 1941 года».

Можно было подумать, что он умышленно цепляется к каждой ее фразе, чтобы втянуть в споры, надо же было завязать вокруг чего-то отношения. Но я-то знал его манеру цепляться, не соглашаться ни с кем, обо всем у него было свое мнение. Он позволял себе поучать и старших по званию. Начальнику штаба полка он

разъяснил, что кабель, обнаруженный нами, высоковольтный, направление его и так ясно, нечего его копать, проверять,— идет он на подстанцию, что около нашей хозчасти, использовать его для телефонной связи можно спокойно, потому что никаких ответвлений у высоковольтных кабелей не бывает. Разъяснял он, как школьнику, с терпеливостью, от которой начштаба зашелся и потом не раз попрекал нас всех без разбору умниками. Сейчас я сочувственно подумал, что копать мерзлую землю, чтобы проверить, не присоединился ли кто, было действительно неразумно.

Начальник штаба, аккуратный старичок, негнувшийся, как на шарнирах, неустойчиво требовал от нас донесений, сводок, схем; если бы не командир полка, он бы нас замучил. Вздорный, с воспаленной амбицией, чинуша — таким он увиделся по нынешним моим меркам. Нет ничего хуже начальника, который боится признаться в своем невежестве.

...Постепенно у Жанны и Волкова образовался почтовый быт. Куда-то девалась одна его посланная фотография, одно письмо застряло, зато другое письмо пришло почему-то быстро, через девять дней. Появились как бы общие знакомые, он отвечал Жанне на расспросы о Левашове, о его приятельнице Зине, которую затем убило под Синявином. Подруга Жанны, стоматолог, иронизировала над стилем волковских посланий. Однако он оставался верен себе: «Я буду писать Вам в том же духе, потому что это и есть я, с Вами пребываю самим собою». Он взвешивал каждое ее слово, и, видно, ей это нравилось.

Никто еще с ней так уважительно не обращался. Как у телефонной будки, мне была слышна лишь половина чужого разговора, я гадал о неведомых вопросах и размышлениях Жанны.

«Что такое подлинный оптимизм?— вдруг отвечал Волков.— Все же это не вера. Конечно, Вы правы, мы верим в победу. Но ведь не потому, что вера помогает сохранить боевой дух, т. е. верим, чтобы победить. Такая вера не оптимизм. Я предпочитаю знание. Я знаю, что мы победим. Идеи фашизма абсурдны и античеловечны, они не могут торжествовать. Мне возражают, ссылаясь на Тамерлана и Чингисхана. Они были просто завоевателями. Фашизм пользуется страшной идеей, ненавистной другим народам. Наши идеалы общечеловечны, и они должны победить. Вот в чем мой оптимизм.

Пессимистом приятно быть в юности. И, кстати, ничего плохого в этом нет. Но мне уже поздно быть разочарованным и несчастным. Я научился ценить мгновение. Мне б еще научиться помалкивать и соглашаться».

И далее он язвительно описывал, как всюду он суется со своей правотой, всех поучает, и, хотя то, что он требует, правильно, — например, когда предлагает другую схему заграждений, — это почему-то всех обижает. Про схему не знаю, но вспомнились другие нудные его поучения: старшине он доказывал, какая каша калорийнее, замполиту — где откроют второй фронт, поправлял нас — это виден купол не такого собора, а другого. Оттого, что он был прав, его терпеть не могли. И в звании его из-за этого не повышали.

В одном из писем он благодарил Жанну за открытку с изображением решетки Зимнего дворца: «Она очень хороша, но теперь этой детали уже нет, потому что вся решетка сада Зимнего дворца снята еще в 1917 году, свезена за Нарвскую заставу и поставлена у сада Девятого января. Там она плохо вяжется с окружением...»

Замечание показалось резонным. Жаль, что замысел Растрелли был нарушен, — вот что я подумал, но сразу же подумал и о том, что на фронте подобное его высказывание вызвало бы раздражение. Мы ругали артиллеристов, военторг, своих начальников, но не хотели слышать критику нашей жизни, не желали видеть плохого в ней. Последними словами поносили мы нашу телефонную связь. Волков рассуждал: радио изобрели у нас, почему же мы сидим без радиации? И вот этот его вполне логичный довод был неприятен. Почему не сообщают, сколько людей умирает с голода в Ленинграде? — допытывался он у комиссара, упрямо набычив каменно-гладкую голову. В письмах к Жанне все чаще встречались замечания рискованные. Цензура вычеркивала какие-то строки, а кое-что и проскакивало: «Что Вы скажете, Жанна, о гимне Советского Союза? Откровенно говоря, мне больше нравится как гимн «Интернационал»...» По тем временам такого рода высказывания могли кончиться неприятностями.

Мелькнула фамилия Припутышко, из-за фамилии он и вспомнился, увиделось не лицо, а мягкие ловкие его руки, оббегающие орудийный замок. Он орудийный техник, кроме того, возится с автоматами, диски у нас портятся. Волков обсуждает с ним работу диска и устанавливает ошибку конструктора. Убедительно и опять по-

чему-то неприятно. Левашов считал, что у Волкова талант сомнения, вымирающее качество. Единственный из начальников, кто защищал Волкова, был наш комиссар. Один еретик полезен для приправы, говорил он. После нашей стычки из-за письма Волков относился ко мне с подчеркнутой бесстрастностью, но я-то видел за ней брезгливость, неуважение — то, что уязвляло меня более всего. Кривя губы, посоветовал мне, как обложить пулеметные гнезда кирпичами с разрушенных печей. Пришлось так и делать — уж больно проста и выгодна была его идея. Меня это злило, и не было никакого чувства благодарности. Я подумал об этом с раскаянием. Привычный образ Волкова нарушился. Письма сдвинули фокус, изображение стало расплывчатым, раздвоилось.

«...Книжка может Вам показаться любопытной, как будущему строителю. Я перелистал ее. Грустно: чтобы снабдить ее данными и позволить автору делать выводы, потребовалось разрушить сотни домов, убить под развалинами десятки тысяч ленинградцев, сотни тысяч оставить без крова. Огромные потери делают автора глухим. На странице 120 он пишет: «Потери машин и людей, их обслуживающих, безусловно, окупались возможностью поддерживать нормальную работу заводов и учреждений». Чувствуете? Он же сам не слышит, какую чудовищную идею провозглашает. Да разве могут чем-то окупаться потери людей? Нормальной работой! Как же называть нормальной такую работу? Сколько людей можно, по-вашему, товарищ автор, принести в жертву, чтобы учреждение работало? Автор пишет, что лестничные клетки повышают сопротивляемость здания при бомбежке. Это наблюдение точное. Предлагаю проект наилучшего типа здания, сделанного по рекомендациям книги: совсем круглое, все на шарнирах, с большим количеством лестниц, с зенитной батареей наверху, а все люди, оборудование — в бомбоубежище за несколько километров. Когда будете просматривать книгу, увидите в ней трупы комаров. Я убиваю их на своей бритой голове, где их на квадратный сантиметр больше, чем на любом участке фронта. Книгу у меня вчера утащили, еле нашел. Взял ее Семен Левашов, мой приятель. Накануне я показал ему место про потери. Он парень толковый, но всегда удивляется, что можно видеть вещи иначе, чем принято. Вместе с Дударевым и Поляковым они обсуждали это место в книге и навалились на меня.

Молодые эти люди имеют ум острый, но неразвитый. Всё принимают на веру. Напечатано — значит, правильно. Видно, что им не приходилось заниматься изобретательством».

У меня похолодело внутри, когда увидел свою фамилию, красиво выписанную его рукой. Просто упомянул без вражды, чуть ли не с симпатией, вместе с Левашовым.

Между тем Борис, учуяв или поняв, что происходит, стал писать чаще, слал письмо за письмом, подтверждая свои чувства. Письма оставались короткими, он все пытался узнать, почему так изменился тон Жанны. О себе он сообщал, как и год назад, насчет здоровья, как рад был получить ответ Жанны, что смотрел в кино. Ни за что не скажешь, что писал офицер в разгар боев, когда снимали блокаду, брали Пушкин, стали быстро продвигаться к Эстонии. Сколько там всего происходило, а в письмах ни звука. И у Волкова то же самое, да и в моих собственных письмах родным, сколько я помню, ничего про войну. Почему так было — не знаю. Многого я теперь не понимаю в себе молодом.

Даже если бы Жанна не переписывалась с Волковым, все равно однообразие Борисовых писем должно было ей надоесть. Он не умел писать. Писать письма и для меня было мукой, собственная жизнь, когда садишься за бумагу, становится плоской, недостойной описания, куда-то пропадает значимость событий. Борис не замечал, как он повторяется и проигрывает. Ущемленное самолюбие подстегивало его, он злился и выглядел еще глупее. Его наградили орденом Отечественной войны за переправу, — знаменитый бой, о нем сообщали газеты, а Борис ни словом не обмолвился. Он не скромничал, повторяю, он просто не умел писать, не умел рассказывать о себе. Я хорошо понимал его. Это вовсе не достоинство. Несколько раз меня приглашали на пионерские сборы рассказать о войне. Добросовестно перечислял я населенные пункты, которые мы оставили, затем населенные пункты, которые мы взяли, пути наступления, бои. Ребята скучали, и самому мне было скучно.

В компании Борис умел и анекдот рассказать, и спеть, и изобразить любого из нас голосом, ужимками; вокруг него всегда было весело, он хорошо подходил к непрочному нашему житью. «Кррасотища!» — рычал он, вваливаясь в землянку весь в сосульках, и сразу

фитиль в высокой гильзе начинал бодрее потрескивать, прибавлялось света, тепла. Коричневый бархат театрального занавеса он приволок из разбитого клуба. Разрезал, раздал по землянкам, создав, по его выражению, пиратскую роскошь. Ничего этого Жанна не знала. Борис представал перед ней как недалекий бурбон. Письма Волкова Жанна читала подругам, письма Бориса ни читать другим, ни самой перечитывать не имело смысла. Знай Борис про то, как Жанне нравятся письма Волкова, он мог бы тоже расстараться. После той стычки с Волковым я рассказал ему о стиле волковских писаний и думал, что мы посмеялись и только. Борис считал, что всегда сдержанный Волков так вспылал потому, что совесть у него нечиста, потому что воспользовался откровенностью товарища и стал браконьерничать.

В ту пору у Бориса и прорвалось: «Здравствуй, милая Жанна! Сегодня счастливый день, я получил твое письмо после четырех месяцев твоего молчания. Долго ты меня мучила, но наконец я читаю твои слова. Милая Жанна, давай не будем больше испытывать друг друга, не будем ранить подозрениями и наводить тень на ясную будущую молодую жизнь нашу. Не может быть, чтобы ты плохо думала обо мне, у тебя нет на то оснований. Для меня самое главное в отношениях — откровенность. Чего-то ты не договариваешь. Я часто представляю, с какой радостью я прижал бы тебя к своей груди и рассказал все, что накопилось за период с первого твоего письма до последнего. Мой товарищ по оружию А. Дударев, — впрочем, я тебе упоминал о нем, — случайно после бомбежки подобрал письмо С. Волкова к тебе. В связи с этим, если можно, напиши подробнее, что тебе он пишет. Тоха удивляется, что ты в нем нашла. Напрасно ты полагаешь, что С. Волков — мой близкий друг. Не знаю, чего он тебе плетет, мы и раньше-то не были друзьями, а теперь и вовсе. Получалось, наверное, как в рассказе О. Генри «Блинчики». Обязательно прочитай. Если не найдешь, я в следующем письме пришлю. Я лично буду продолжать жить, бороться, имея мечту, что наши пути соединятся. Целую, твой Борис».

Использовал как бы невзначай меня для укола, сам же не позволил себе никаких выпадов против соперника, ничем его не ослабил. Он вел себя рыцарски, единственное — указал на рассказ О. Генри, впервые блес-

нул, мол, тоже не лыком шиты. Откуда я знал этот рассказ? Не был я поклонником О. Генри. Следовательно, Борис пересказал. Он пересказывал Зоценко, Мопассана и О. Генри. История с неожиданным концом. «Блинчики» — про то, как один простодушный, неотесанный ковбой влюбился в девушку. Соперник его, образованный, ловкий на язык парень обвел его вокруг пальца. Дело было так: ковбой хотел изувечить этого болтуна за то, что тот вклинился, но парень задурил ему голову, посоветовал для успеха у девицы вести разговор о блинчиках. На самом же деле, как потом выяснилось, в той семье терпеть не могли блинчиков. Что-то в этом роде. В результате ковбой был отлучен, изгнан, и тот парень, несмотря на недозволенный прием, восторжествовал и предложил свою руку девице. Такие получились «блинчики».

С помощью рассказа Борис позволил себе единственный упрек Жанне. Ревность усилила его чувства к девушке, которую он никогда не видел. Да как же Волков так мог, рассуждал он, ведь знал, что у меня всерьез завязывается. Я с ним по-товарищески поделился, а он воспользовался и тайком к ней... Самолюбие его страдало, казалось, он обладал всеми преимуществами, всеми правами и, однако, проигрывал. Из-за своей общительности он не мог удержаться, рассказывал, зачитывал и нам кое-что из насмешливых ответов Жанны. Я жалел Бориса, я негодовал, я искал случая отплатить Волкову за него, высказать все в глаза.

«Несколько часов тому назад в штабе мне передали Ваше письмо. Безобразие, как долго идут письма. Почти месяц! Три дня назад я получил извещение, что убит мой племянник. Он был мне как младший брат. Очень я его любил. Две недели назад умерла в Ленинграде моя мамочка. Дистрофия взяла свое. Так и не оправилась от блокады. Она все хотела умереть в начале месяца, чтобы оставить карточку своей сестре. Племянник мой погиб под Синявином, там много моих друзей легло. Он был совсем молодой, жизни не знал, зато смерти навидался. Об этом писать Вам не хочу, это не должно быть Вам интересно, хотя Вы будете доказывать обратное из вежливости. Лучше поговорим о красоте жизни, которую мы защищаем. У нас прибавили паек, помаленьку отъедаемся. Когда я был в городе, слышал по радио стихи Ольги Берггольц. Как хорошо она читала. Я думаю, что после войны мы будем ставить памятники в первую

очередь женщинам. И поэту Берггольц тоже. Вы пишете про кино. Я не сумел посмотреть ни «Воздушный извозчик», ни «Насреддин в Бухаре». Кино для нас труднодоступное удовольствие. Видел я «Антон Иванович сердится» — очень понравился, и фильм «Два бойца». В театр выбраться ни разу не мог. По поводу «Двух бойцов» Вы ставите вопрос: «Можно ли полюбить человека по письмам?» В фильме девушке пишет Аркадий, но подпись дает своего друга. Он вводит девушку в заблуждение. Простите, Жанна, меня вызывают... Был очень занят. Сегодня уже 10.11, т. е. на следующий день продолжаю. Вопрос Ваш не простой и для нас обоих важный. Отвечаю независимо от фильма. По-моему, полюбить можно, но только полюбить, не больше. Любить в полном смысле нельзя. И вот почему. Любить — это значит иметь человека, с которым хочешь соединить жизнь. Любовь не наступает сразу, это процесс. Природное сродство, взаимная тяга, привлекательность, начальная свободная валентность заставляет интересоваться, затем подстраиваться друг к другу. Происходят внутренние изменения, ты постепенно находишь новые приятные черты в другом человеке, и то, что, может, недавно оставляло тебя равнодушным, теперь стало нравиться. Почему? Да потому, что в тебе самом произошла подстройка, изменилась структура. Температура повысилась, и реакция соединения стала возможной. Простите, что я применяю здесь школьные физико-химические модели. Для меня любовь — это взаимное изменение влюбленных, изменение обоих навстречу друг другу. Есть тут общие требования — порядочность, целеустремленность, идейная общность, и сугубо личные требования. Допустим, внешний вид, привычки и т. п. Но когда перестройка произошла, то после этого перестаешь замечать вещи, которые раньше оттолкнули бы. У меня здесь приятель, Семен Левашов, получил письмо из дома, анонимное (не стесняются!), что жена его делает карьеру всеми частями тела. И Семен, побушевав, примирился с этим, потому что любит ее безумно. Но вернемся к переписке. Если общие требования Ваши можно выяснить в письмах, то личные Вы не проверите. Или получите о них не то представление. Это существенная опасность — допустим, Вам кажется, что он порядочный человек, тянется к Вам всей душой, рубаха-парень, молодой, горячий, передовых взглядов. Он понимает Вас, и у Вас впечатление, что нашли человека,

которого искали, плюс фотокарточка — облик отнюдь не уроды. Полупризнания с обеих сторон, откровенности, работа воображения, и появляется чувство. Полюбить можно, но так же, как можно попробовать суп из котла. Снять пробу. Как будто вкусно, но когда начнете есть, эффект может быть другой. Хотите, я сразу разрушу Вашу любовь? Вы увидели его воочию, и оказывается, он слишком высок, он скособожен, он неопрятен, у него пахнет изо рта, — разве узнаешь об этом по письмам? Возьмем не так грубо. Оказалось, он скуп. Скряга. Трясет над каждым рублем. Или он в первую же встречу обнимает, целует при всех, подмигивает, чтобы скорее уединиться. Нет ни цветов, ни трепета. Влюбленность не задумывается над совместным бытом, у нее нет желания соединить судьбы, она требует постоянного общения. Влюбленность, как всякое увлечение, рассчитана на короткое время, если не перейдет в любовь. Ну, хватит теоретизировать. Вы писали про архитектурный кружок и жаловались на эпидиаскоп. Действительно, у нас выпускают эпидиаскопы, не рассчитав их на долгую работу. Даю совет. Открытку, которую надо показывать, я прижимал сверху простым стеклом, она не коробится, когда вынимал, то обязательно вкладывал в толстую книгу...»

И долго еще инструктировал, с нудной обстоятельностью, лишь в конце появилось что-то наше, фронтовое:

«Сейчас 02 часа 33 мин. Озябли ноги. Сижу в ушанке. Кончились дровишки. На Ноябрьские дежурил по части. Это письмо доберется, наверное, к Новому году, поэтому поздравляю Вас и хочу, чтобы жизнь дала то, что Вы требуете. Кругом меня жизнь прохудилась, стала непрочной. Помогает мне смутное суеверие, что если Вы пишете мне ответ, то до него я должен дожить».

На Новый год и выпал мне повод объясниться с Волковым, вступить за Бориса, хотя он этого не просил. Но я считал себя обязанным вернуть ему похищенную любовь. Несправедливость, учиненная над Борисом, жгла меня, ибо для юности священна жажда восстановить справедливость. Сердца наши привлекали герои, которые терпели унижение за свои подвиги, которых преследовали клевета, наветы, козни, любимые отворачивались от них... Словом, Волков был типичный злодей, а Борис был как Овод или как Дубровский.

В конце концов, мне только исполнилось двадцать лет, по сегодняшним моим понятиям — мальчишка.

Был веселый офицерский ужин, кажется, была елка, откуда-то пригласили двух или трех женщин, мы с ними по очереди танцевали. Во время перерыва женщина, с которой я разговаривал, улыбнулась Волкову, который стоял неподалеку, и он улыбнулся ей. Она не слушала меня. Я подошел к Волкову и сказал, что хватит цепляться к чужим женщинам. Назвал его непорядочным человеком. Он позволяет себе лезть к невесте своего же товарища. Все это произнес хладнокровно, руки за спину, покачиваясь на носочках. Воспользовались, значит, доверчивостью Лукина. Думаете, если вы такой эрудированный, все позволено, а мы тут скобари, тухи серопузые. Очень я нравился себе этаким элегантным мстителем. Но Волков все испортил своей улыбкой. Ему явно было смешно, боюсь, что от моего тона. Взял он меня под руку, отвел в сторону и сказал уже серьезно, что я ставлю в жалкое положение Лукина, которого здесь нет, в таких случаях третьему человеку не стоит вмешиваться; если мне когда-нибудь станут известны обстоятельства, мне будет стыдно.

Через несколько дней Лукин вернулся из командировки, потом началась подготовка к наступлению, узнали Борис о новогодней истории, неизвестно, но больше он мне о своей переписке не рассказывал.

«...Встречали мы Новый год 1-го января в той самой деревеньке, из которой я писал Вам первое свое письмо. В 18.00 собрались в избу. Начали с доклада о международном положении. Доклад делал наш офицер. Читал, как пономарь, сообщая всем известные истины, что Германия будет разбита, что второй фронт будет открыт, что у немцев все больше ошибок, а у нас все больше уменья и т. д. Кончил, мы бурно похлопали, потом были выборы в совет офицерского собрания, куда я, раб божий Сергей, тоже попал по рекомендации С. Л., единственного здесь моего товарища. После выборов ком-р части прочел напутственное слово для офицеров, чтобы не напивались, не матерились, не дрались, чтобы консервы с тарелки брали вилками, а не руками и с женщинами обращались бережно, как с хлебом».

Я не вспомнил, а представил, как наш командир говорил, это была его интонация — не то в шутку, не то всерьез. Он сам умел выпить и погулять. Учил нас при

питье знать — сколько, с кем, что пьешь и когда. Ерш, говорил он, это не разное питье, а разные собутыльники.

«Солдаты принесли скамейки в избу. Мы вошли. Три стола с белыми скатертями, и на них яства, от которых мы отвыкли, — винегрет, хлеб черный, 25 % белого, капуста, шпроты, селедка, благословенная водка из расчета пол-литра на двоих. Стояла елка с игрушками. Вся комната была в лентах с золотым дождем. Перед входом в этот зал имелась маленькая комнатка, где мы прыскались шипром, ваксили сапоги...»

Господи, была же елка! Она появилась передо мной в золотых звездах, нарядней, чем в детстве, она вспомнилась вместе с тем замирающим чувством восторга, что вдруг нахлынул среди голодной зимы. Это была последняя в моей жизни елка, которая так взволновала. Тут смешалось все: и окопная бессонница, и прокопченная эта изба, и грубый наш офицерский быт, и — вдруг — это видение из прошлого, когда были еще мама, папа, братишка, тетка, наш дом, еще не спаленный, старый шкаф с игрушками. Нежный свежий запах елки, запах зажженных крохотных свечек, запах рождества мешался с запахами капусты, кожи, табака, пороха, неистребимым смрадом войны. Даже в детстве не было такого острого чувства благодарности и счастья, как от той елки в ночь на 1943 год. Я вспомнил, походил по комнате, любуясь этой картиной, чувствуя на лице улыбку.

«Первый тост предложили за победу, второй за Родину, третий за наших любимых. Приехали артисты из Дома Красной Армии». Вот артистов я плохо помнил.

«Они сидели с нами, мы кормили их котлетами с жареной картошкой, потом начались танцы. Между танцами артисты исполняли номера. Мне было хорошо и грустно. Безумная мысль мне досаждала — откроется дверь и войдете Вы, в голубеньком платице. Есть у Вас такое? Бывают ведь чудеса? Вы войдете, все с грохотом встанут, вытянутся. Вы будете обходить нас и вглядываться, отыскивая меня. Но время шло, и Вы не появлялись. А появился крепко поддавший лейтенант Д., приятель Б. Лукина, и принялся меня распекать за то, что я Вас «обольщаю» без позволения на то Бориса. Почему люди считают себя вправе лезть в чужие интимные отношения, судить о них, решать, что правильно, что неправильно! Танцевали под радиолу и под баян. Я сыграл несколько танцев, но получилось у меня грустновато. Потом устроили чай с пирожками с рисом.

Чай был сладкий. Артисты остались очень довольны, всем было весело, и я сейчас, когда пишу, понимаю, что было хорошо, вполне прилично. В два часа ночи был минометный обстрел, а на соседнем участке фрицы попытались пройти, но их неплохо встретили. Идет война, мы защищаем великий город, отечество, и при этом позволяем себе ссориться, ревновать, обижаться, говорить друг другу гадости. Нет, это недостойно нашей великой миссии. Надо быть достойным того, что мы защищаем. Я виноват, я попробую объясниться с Б. Л., хотя не знаю как. Любить, мечтать о любви — это, по-моему, достойно даже во время такой тяжелой войны...

Меня часто отрывают, поэтому письмо нескладное. А Борису я завидую, он сумел найти с Вами близкий язык, если Вы с ним на «ты». Буду надеяться, что когда-нибудь и я этого заслужу. Как бы ни сложились мои отношения с ним, лично я всегда буду ему благодарен за знакомство с Вами».

Вот и все, что было о той памятной мне истории. Без обиды, без гнева, после нее чай с пирожками, то, что чай сладкий, для него тоже существенно. А может, он прав. С нынешнего расстояния кажется смешно, несопоставимо, что в разгар войны, на передовой, такие страсти терзали нас. Идет минометный обстрел, а я петухом на скакиваю на Волкова — из-за чего?

«Наконец-то, дорогая Жанна, пришло Ваше письмо от 15.04. Не понимаю, почему Вы не получаете моих писем? Я написал Вам за этот месяц три письма, каждое страниц на десять. Неужели пропали? Я повторю ответ на Ваше письмо от 17.3, где Вы не соглашаетесь с моим мнением. Мысли Ваши меня поразили, они открыли для меня иную сторону вопроса, ту, которую видит женщина. Вы пишете, что пусть тот, кого Вы полюбите по письмам, окажется и роста другого, и хром, и болен, Вы согласны на это, Вы заранее готовы перетерпеть. Вы приготовьтесь к разочарованиям. Подозреваю, что Вам даже хочется пострадать, без этого любовь не в любовь. Лишь бы внутри возлюбленного имелась душа, ради которой Вы готовы отбросить многие претензии. Как у нас говорят — в милóm нет постылого. Вы, девочка, способны возвыситься до такого, чего я, взрослый, мужчина, все выдавший в жизни, не до конца могу постигнуть, могу лишь почувствовать в этом недоступную нашему мужскому племени мудрость. Я себя останавливаю: восторженность девичья. Попробует, помучается месяц,

другой, потом жизнь возьмет свое. Появится молодой да красивый, и она сменяет, почему не сменять? Но тут же чувствую, что обычная житейская логика не властна над женщиной, она ниже женского сердца. Тем-то любовь и удивляет, что любовь не поддается расчету. Разница между нами в том, что я, честно говоря, боюсь Вас увидеть. Хочу и боюсь. Потому что я составил себе Ваш образ, Ваш характер, я с Вами мысленно разговариваю и вижу каждый Ваш жест. Несомненно, Вы живая не совпадете с той, какую я сочинил из Ваших писем и фотокарточек. Расхождение, может, будет велико. Возможно, Вы на самом деле лучше, чем придуманная, но я-то свыкся, я-то буду обламывать Вас под прокрустово ложе. Поняли теперь, какова разница между нами? Ведь у Вас тоже сложился какой-то мой образ, а Вы нисколько этого не боитесь...»

Далее Волков зачем-то с подробностями описывал, как они, ночуя в сарае после немцев, обовшивели, вся солома кишела вшами: «Вы не представляете, что это за мерзость, когда чувствуешь, как по телу ползают десятки паразитов, и сделать ничего не можешь, смены белья нет, да ее и не доставить. Переправу через реку держат под непрерывным обстрелом. Вши заполняют все складки гимнастерки, брюк, они в портянках, в шинели, никуда от них не уйти, пришлось с ними жить более месяца. Сейчас нас отвели на отдых. Правда, всего за восемь километров от переднего края. Но все-таки эти пять-шесть дней были отдыхом. Третьего дня полностью избавился от паразитов. Раню утром затопили деревенскую баню, накалили каменку. Над каменкой развешивали белье, в котором все складки были заполнены гнидами, шинель, ушанку, вывернутые наизнанку. Каменка обливалась водой из ведра, я еле успевал выскочить, чтобы не быть ошпаренным. Прodelав это семь раз, я сам вымылся, натерев мочалкой тело до крови, и вот уже третий день наслаждаюсь покоем. Ни одного укуса. Утром осматриваю бойцов — чисто! Только испытал этот ужас, ценишь прелесть чистой кровати с подушкой и простынями. Мне хотелось написать Вам не только о картинах фламандской школы, но и о картинах нашей походной жизни, хотя бы об одной из них».

«Если бы Вы, Жанна, посмотрели на лица людей, прошедших через переправу! Вот с кого надо писать художникам. Будь здесь фотографы, получились бы бесценные снимки. Я ехал в кабине, метров за двести до

переправы девушка-регулирующий дает сигнал «стой!». Колонна машин останавливается. Пропускаем встречные с орудиями. Они идут занимать наши позиции. Непрерывный обстрел, бьют по лесу, бьют по переправе. Сидим молча в кабине я и шофер. В кузове у нас мины. При близком разрыве идущие впереди солдаты бросаются на землю. Осколки барабанят по машине. Становится скучно-прескучно. Время ползет медленно. Я смотрю то на стрелку секундную, то на девушку. Она стоит среди разрывов, не имеет права лечь на землю, не пригибается даже. Должна стоять и стоит. Что это — привычка? Но разве можно привыкнуть к свисту осколков и завыванию мин? Я, например, привык бросаться на землю. Когда ее убьют, встанет другая. Потому что без регулировщиц нельзя. И снова взмахи флажков. Сколько эта переправа вывела из строя людей! Наконец она махнула нам, шофер дает газ, спускаемся к реке. Медленно движемся по шаткому мосту. Я закрываю глаза, когда рядом взмывается столб воды, а шофер должен смотреть вперед. На первой скорости добираемся на правый берег, отъезжаем метров триста, шофер оборачивается ко мне и одним словом говорит все — «приехали!». Посмотри Вы на его лицо, запомнили бы надолго, такое в нем было ощущение жизни, которая вернулась. Почему я не художник...

Все это было со мной: баня, и свежее белье, избавление от вшей, и переправа, девушка-регулирующий. Я уверен, что это когда-то было моим и что-то похожее было в моих письмах. Если они хранятся у той... фамилию ее позабыл, помнил лишь, что жила она на Пресне. Провести бы опыт: дать мне почитать те письма. Перепечатанные на машинке. Вряд ли я узнал бы, что они написаны мною. Многие фронтовые подробности читались бы как чужие, то есть пережитое, но не обязательно мое, — оно как бы всеобщее, знакомое по кино, по книгам, слиплось неразлично. Но что-то, какие-то строки вдруг откликались, и за ними медленно всходили числа, названия, поднимая за собою забытые сцены.

Одно письмо Волкова было в подтеках, первую страницу с трудом разобрал. На последней сбоку приписка объяснила: «Случилось несчастье, проснулся в семь утра, ужас! Вода льется ручьями. Тают снега. Схемы, что чертил, — пропали, письмо тоже пострадало, у меня совсем нет времени переписывать его, посылаю в таком неприглядном виде. Сам весь мокрый. Ваш Сергей».

И я поежился, припомнив свою затопленную землянку. Нижние нары закрыло водой. Всплыли доски пола. А что же творилось в окопах? Я стал припоминать, и так как знал, что́ хочу вспомнить, то передо мною появились заливаемые ледяной водой ходы сообщения, вода хлынула с брустверов, с полей, ручьями устремилась в окопы, и все прибывала, грозя нас вытолкнуть на поверхность. Из распадка, где было боевое охранение, приползли все четверо моих бойцов, все отделение, мокрые до нитки. Распадок залило полностью. На завтра пошел дождь, снега поплыли, вода поднималась. Начштаба полка кричал про отводные канавки, про то, что он предупреждал, запрещал покидать позиции. Пулеметчиков на пригорке отрезало паводком, и мы никак не могли доставить им еду. Вода со снежным крошечком наступала неотвратимо, остановив наше продвижение, ни артиллерия, ни авиация не могли помочь нам. Как мы выдержали, не помню, вижу только уплывающие дровишки, с таким трудом заготовленные, диски ручных пулеметов, ящики с гранатами, как мы их тащили, поднимая над головой. Куда тащили? Наверное, на крыши землянок.

И то, что мы удержались, наполнило меня запоздалой гордостью. Испытание ледяной купелью не было отмечено ни в сводках, ни в газетах, за него не полагалось наград, оно исчезло из памяти, утонуло в весенней радости наступления. Вряд ли и в моих письмах упоминалось об этом эпизоде. Там было, наверное, снятие блокады в январские солнечные дни сорок четвертого, вроде того как писал Волков: «Освобождаем город Ленина, скоро узнаете об этом в газетах. По шоссе вереница легкораненых, мчатся санитарные машины, навстречу тяжелые танки с десантами, машины с боеприпасами, везут пленных фрицев...» Я жадно выискивал в письмах Волкова эти описания, в общем-то бесцветные. Все-таки в них сохранилась подлинность спешки, различались звуки, которые когда-то я слышал на том шоссе, запах, движение, от которого мы отвыкли, — движение, которое так вкусно пахло бензином, дизельной копотью, развороченным асфальтом. Сквозь февральскую влажность мы входили в Эстонию. Вот и она: «Пятнадцать градусов мороза, ночевал в открытом сарае, продрог, кругом треск от выстрелов и взрывов. Похоронили многих товарищей». В другом письме тоже:

«Леса Эстонии. Небо звездное. Прекрасно виден Орион и Сириус. Лежу в палатке. Рядом бойцы. Все спят. В двух километрах гремит бой. Воют наши «катуши». Наверху летит самолет, к которому несутся красные и зеленые линии трассирующих пуль. Недалеко раздается крик часового: «Стой! Кто идет?» Поднимаются сигнальные ракеты. Вчера два снаряда упали метрах в десяти от нашей палатки. Мы лежали и ждали смерти, а они не взорвались. Все мои ребята остались целы, настроение у меня поэтому прекрасное».

«Сижую около своего шалаша и давлую комаров. Напротив Надя развела огонь в ведре и положила мху. Валил дым. Мимо прошеествовал повар утверждать меню к командиру части. Спросил, чем завтра кормить будут. Слушайте: завтрак — каша из фасоли. Обед — суп лапша, картофельное пюре с селедкой».

«На чердаке дома во время поисков мин нашел интересную газетку. Сохранил и оставил у себя. Я люблю такие штучки: «Газета-Копейка» от 17 апреля 1915 года. Есть интересные заметки: «Цеппелин над Англией», „Как должны говорить телефонистки“».

«Вчера чудно пообедали. На первое кусок семги. Суп. Рисовая каша с отбивной котлетой».

Чего это он все про жратву? Довольно бестактно, у них там в Тбилиси в это время не густо было насчет пожевать. Но я уже по уши вошел в то время и мог сообразить, что иначе быть не могло: после вареной лебеды, гнилых капустных листьев, дележа хлеба, после отечности, дистрофии, фурункулов, цинги, после того, как Синюхина у меня в роте судили за кражу картошки из кухни, — украл и съел сырую картошку, — после всего этого обилие и разнообразие еды потрясало. Кусок семги — видение невероятное, так же как и обед из трех блюд с закуской — вместо термоса, который волокли ночью по ходам сообщения и потом у взводной землянки вычерпывали котелками промерзлую бурду. Каша, вываленная в макаронный суп, заменяла завтрак, обед, ужин. Все тут было вместе. Случалось, что термос пробивало осколком, и мы куковали на хлебе с сахаром.

За то, что Надю напомнил, поклон ему низкий. Не пригнись я тогда на ее крик, разбило бы мне череп. Сколько раз что-то спасало: прыгни в другой окоп — разнесло бы бомбой, задержись — попала бы пуля; сколько было таких разминок со смертью, она касалась меня стылым крылом, и сразу мир озарялся, приходили

в движение запахи, краски жизни. Эти восторги везения, казалось, навсегда останутся сияющим воспоминанием, но нет, забылись, стерлись.

И все же какие крупные, выпуклые были эти четыре года. Остальное послевоенное житие скомкалось в монотонное существование, не то что годы — десятилетия неразличимо слиплись.

Письма Бориса почти не менялись. Надежда в нем теплилась, и, что любопытно, Жанна время от времени как бы питала эту надежду. Чем-то Борис удерживал ее, какая-то ниточка не обрывалась. Простодушие, верность, прямота, а может, молодость Бориса, а может, она уставала от умных рассуждений Волкова, от его взрослости, образованности...

Пачки открыток с видами Ленинграда, каждую Волков заполнял пояснениями — что за здание, кто архитектор, когда построено. Память у него была исключительная.

«...Справа стоит одна из колонн с гениями Славы, подарок Фридриха-Вильгельма IV Прусского Николаю I в 1845 году. За колонной виден портик бывшего Конногвардейского манежа работы Кваренги (1804 год)». И остальное в таком роде. Он сообщал, что ведет переписку с вологодским химиком М. Чуевой о том, почему соль кристаллизуется в виде куба, разбирал с ней какой-то практический вопрос неорганической химии, еще о чем-то. Помимо архитектуры в его письмах были суждения о живописи Рембрандта, Рубенса, Ван Гога, Пикассо, отдельное размышление о картине Клода Моне «Бульвар капуцинов в Париже», из русских художников он разбирал Саврасова, Левитана. Писал о театре, критиковал статью в «Правде» Симона Чиковани «Грузинская литература в дни Отечественной войны». Замечания его были не безобидны. Со статьей Чиковани он расправился без жалости. Неосторожная ехидность его разбора читалась с удовольствием.

Тревожило, что он терял всякую осмотрительность, письма его Жанна читала с опаской, — я сужу по тому, как он досадовал на ее уклончивые ответы. Может быть, его опьянило наступление? У нас у всех появилась эйфория успеха. К тому же он один из немногих оставался не задетым ни пулей, ни осколком. Как заговоренный он орудовал своими минами и с немецкими минами, такая везучесть не могла хорошо кончиться. О своей везучести нельзя упоминать. Зачем же он писал

Жанне, как он неуязвим? Не надо было писать. Война полна примет и суеверий. Слишком много зависит от случая. Как бы ты ни смеялся над приметами, украдкой все равно сплевываешь через левое плечо.

После выхода на шоссе к Тарту нас сменили, и мы остались на отдых. Приехал генерал из штаба армии вручать награды. Прикрепляя орден, он смотрел глаза в глаза. Взгляд его молочно-голубоватых глаз выдержать было трудно. Я еле удержался, чтобы не подмигнуть ему. Потом угощали водкой с бутербродами. Мы стояли вдоль длинного стола. Генерал шел и чокался с каждым. Перед Волковым он задержался. Внешность Волкова останавливала начальников. Проверяющие, корреспонденты, инструктора обращались к нему. В нем чудилось им какое-то несоответствие: то ли разжалованный полковник, то ли случайно мобилизованный директор, — во всяком случае, что-то значительное, не соответствующее званию лейтенанта. Генерал заговорил с ним. Волков отделывался односложными ответами, хмуро, зло, кроме того, он не выпил. Генерал не привык к такому невниманию, не помню уж, как и чем поддел он Волкова, заставил его разговориться о нашей операции, за которую мы получили награды. Волков сказал, что форсировать реку и выйти к шоссе можно было без таких потерь. Генерал что-то возразил, но Волков зачеканил, не давая себя прервать. Голос его медно звенел. В этом наступлении погибла вся вторая рота вместе с Семеном Левашовым, но все равно Волков не имел права так вести себя и портить нам праздник. Не генерал, не комдив, а мы сами на него навалились, потому что нам вперед рвать надо, а не потери считать. Надо драться с фашистами, а не на наших штабников нападать. Нам казалось, что он принижает наш подвиг, развенчивает в глазах начальства, которое так хорошо отзывалось о наших действиях. Не наше дело думать о потерях, наше дело выполнять приказ. Мы разозлились на него, и он сорвался и бог знает чего наговорил — что мы заработали ордена на трупах! На следующий день нас вызывали по очереди, расспрашивали, и мы не щадили Волкова и за прошлые разговоры, и за этот.

Вскоре меня взяли в танковый полк, и от кого-то я потом узнал, что Волкова наказали, но дальнейшую участь его скрыло клубами пыли наших танков, самоходок, машин, идущих на запад.

В его письмах еще царило безмятежное неведение. Одно письмо с рисунком на всю страницу. Изображены были развалины дома, печка железная стоит на фундаменте, каменные ступени, извилистая линия бетонных опор. «Установите по этим руинам, какого стиля было сооружение, как его реставрировать. Нам теперь придется восстанавливать разрушенные города, и следует научиться сохранять дорогие истории нашей постройки. На печке сидит птичка, у нее голова большая от флюса, флюс мой, но она из-за него долго не сможет чирикать».

Некоторые намеки, шуточки я не понимал, наверное из их внутреннего обихода, которым они быстро обростали. У них были даже размолвки и примирения. Волков попробовал определить характер Жанны, нарисовать ее внутренний портрет. Очевидно, он перестался в своем правдолюбии, потому что она рассердилась (расстроилась?) и перестала отвечать.

«Я несколько раз ходил на выполнение задания и прощался с жизнью, было такое, что не верил, что меня минует чаша сия. Однажды я с двумя бойцами был отрезан и нас считали погибшими. Через несколько дней мы вышли, и вот, когда вернулся, я первым делом спросил о письмах. Я был уверен, что меня ждет Ваше письмо. Эта вера мне помогала всю дорогу. Жизнь ощущалась, как никогда раньше — вернулись, без ранений, всё выполнили. Вкус хлеба, вкус горячей каши, мягкость кровати, на которой можно вытянуться, лежать, сняв шинель, каждая мелочь радовала. Письма не было. Это казалось невероятным. Почему Вы перестали писать? Никого ближе Вас у меня сейчас нет. Так получилось. Ни здесь, в части, нигде в другом месте. Винить я Вас ни в чем не имею права, так же как и требовать. Отношения наши таковы, что все держится на чистом чувстве. Если бы Вы решили прекратить переписку, то что я могу? Ничего. У нас нет третьего, через которого я бы мог выяснить, что произошло. Не могу ж я обращаться с этим к Борису, да мы почти и не видимся, он на соседнем участке».

Дата последнего письма — 14 июля 1944 года. В нем ни слова о награде, о том происшествии. Есть такие строчки: «Погиб второй племянник. Погиб мой товарищ Семен Левашов. У него остался братик семилетний, родители умерли в блокаду, а братишка эвакуировался с детским домом в Саратов. Я решил усыновить мальчика, если останусь жив. Вы не против?» И вдруг он

переходит на шутливый беспечный тон: «Венчаемся в католической церкви — у нас есть на Невском, затем едем в православную — Владимирский собор, оттуда в загс, после едем в Тбилиси, там все повторяем сначала. Двоеженство наказуемо, а двоезагство? И вообще, если регистрироваться каждый год?.. Заказал для Вас «Живопись Ирака», достанут — сразу вышлю».

Я пытался вспомнить, разглядеть малый, последний промежуток от того происшествия до моего отъезда. Там, на отдыхе в Тарту, каким был Волков? Ничего не вспоминалось. Но почему-то мне представилось тяжелое его вдумчивое спокойствие, словно бы, зная о грядущей опасности, он относился к ней как к неизбежному злу, как мы относились к ледяной воде, затопившей окопы. И, двигаясь задним ходом, я иначе увидел столкновение с генералом. Слова Волкова зазвучали обдуманно, и все его поведение не было вспышкой. Он решил высказать свое мнение, чего бы это ему ни стоило. То есть он как бы заранее принимал беды, которые грянут над ним. Впрочем, все это могло придуматься, домысливаться сейчас. Проклятое беспамятство пользовалось всякими уловками, поджигало воображение, угодливо рисовало то, чего мне хотелось.

В чулане стоял сундук. Большой, крепкий, обитый железными узорными скрепами. Принадлежал он моей бабке, он один остался от охтенского их домика, с флюгером, с чугунной лестницей, с полированными перилами. В сундук этот кидал я вещи, которые хотели выбросить. Спасал всякое старье. Отслуживший, сточенный охотничий нож, школьные тетради дочерей. Думал, что взрослым им будет приятно увидеть свои каракули. Грамоты, которые получала жена, какие-то номера газет. На самом дне лежало то, что осталось от войны. Там был мой медальон — черный пластмассовый патрончик с фамилией и прочими данными, по которому должны были опознать мой труп. Смертный медальон — лучшее, что мы могли привезти с войны, дороже всех медалей и наград, как заявила моя бабка. Была там пилотка, полевые погоны, обойма от ТТ, танковый шлем, полевая сумка. А в полевой сумке вместе с последними листами карты Восточной Пруссии, на которых мы закончили войну, были всякие снимки, призма от триплекса и бумажки. Полевая сумка была из кирзы, потом мне предложили кожаную, но к этой я привык и остался с ней. Однажды я скатал свое военное имущество и увез, что-

бы выбросить, до того надоели мне все эти реликвии. Жена попробовала отдать их в школьный музей, но там уже были и планшеты, и полевые сумки. Тогда я решил выбросить, но в последнюю минуту почему-то привез сюда и спрятал.

Нынче я приехал сюда, чтобы покопаться в сундуке. На одной из общих фотографий должны были быть и Волков, и Борис. Могло там храниться и письмо Бориса, которое догнало меня под Кенигсбергом, в нем тоже могло кое-что быть.

Я поднял крышку сундука, и сразу дохнуло сладковатой прелью и слабым душистым запахом, знакомым с детства, когда сундук стоял у бабушки, прикрытый зеленой накидкой. Был он тогда огромным, как пещера. Давно я ничего не клал в него. Места хватало. Сундук, куда сбрасывают Прошлые. Но, наверное, наступила та полоса жизни, о которой вспоминать не придется. Уровень наполнения соответствует тому сроку жизни, который идет на воспоминания, формулировал я.

Я все никак не мог наклониться и достать полевую сумку с бумагами. Не хотелось ничего трогать. Прошлые безобидно долеживало тут до своего забвения. На самом деле я абсолютно честно ответил Жанне, что не знаю Волкова. Когда она спрашивала, я его начисто забыл. Так забывают то, от чего хотят избавиться. Это было нежелание, сопротивление памяти, ее инстинкт.

Что такое забвение, думал я, — здоровье оно памяти, ее защита или болезнь? Благо оно либо же чудовище, которое пожирает облики самых дорогих людей: слышны их голоса, а лица исчезли, колышется зеленоватое пятно, приближается и никак не может проступить родными чертами. Вдруг, как в насмешку, как подмиг, появляется какой-то краснорожий вагонный попутчик. Зачем изрыгнуло его чудовище памяти? Что копошится в ее недрах? Порой память целиком подчиняет себе человека, он начинает *страдать* памятью.

У нас была одна сотрудница, тихая, стеснительная женщина. Однажды кто-то из девиц, когда она что-то рассказывала о блокаде, сказал ей: «Подумаешь, делов, ваша блокада, — настоящие блокадники все на Пискаревском лежат». Глупая, даже подленькая фраза, пущенная много лет назад трусами, бездумно повторяется молодыми. Ее же эти слова поразили, она заметалась, и с той поры память накинута на нее. Зимой, в мороз, она надела валенки, подпоясалась платком, как это де-

лали блокадники, и пошла по улице тем путем, каким ходила в блокаду. Стояла у булочной, прислонясь к стене, садилась на панели отдохнуть, легла в подворотне, там, где лежала в сорок втором году. Когда узнали, что она не больна, собралась толпа, большинство не смеялось, задумчиво стояли над ней. Она продолжала свой путь «на ту блокадную работу», так же падала, беспомощно смотря на небо. Заходила в магазин на Литейном, где последний раз отоварила свою карточку. Врач-психиатр потом подтвердил, что она здорова, ею просто завладело прошлое, ей так нравилось. «Я разговариваю с ушедшими из жизни,— призналась она мне,— они меня понимают, они слушают, мне с ними хорошо». Работала она добросовестно, и со странностями ее смирились. Порой она чувствовала себя лежащей на Пискаревском кладбище, окруженной почестями, к ней идут экскурсии, кладут цветы... Эта история подействовала на меня, я не хотел отдаться во власть воспоминаний. Я избегал встреч однополчан, вечеров воспоминаний. Зачем? Я свое отвоевал, свое получил, оставьте меня в покое. Люди хотят слушать про подвиги, победы, и они правы. Что я буду им рассказывать? Как у меня вырезали взвод? Как мы душили немцев в овраге? Как прикрывались в поле трупами?

Осторожно, без стука, я опустил крышку сундука.

Мне вдруг подумалось, что та история с Волковым не канула бесследно. О самом Волкове я никогда не вспоминал, а вот мысль о потерях запала в душу и все последние месяцы войны не отпускала в коротких наших танковых боях, в засадах, особенно же когда нам на броню сажали пехоту...

Письма Волкова кончились. Оставалось одно, последнее, датированное 1949 годом, но я отложил его.

А от Бориса последней была телеграмма в Тбилиси, в ноябре 1945 года: «Выезжаю, встречай, целую. Борис». И все. Что было дальше — неизвестно. Письменных сведений нет. История обрывалась на самом интересном месте. Как поступают в таких случаях историки?

Итак, был только белый конверт с новым обратным адресом: Хабаровский край, почтовое отделение «Залив», С. А. Волкову.

Почерк почти не изменился. Шесть больших страниц, заполненных убористо сверху донизу,— писака чертов; если б как-нибудь уклониться от чтения! Где-то

там был заготовлен сюрприз, таилась предназначенная мне мина, с какой стати я должен переться на нее...

«Не удивляйтесь этому письму, не возмущайтесь. Почему человек, который страдает от одиночества, не может написать женщине, с которой когда-то у него были добрые отношения? Мы так и не увиделись. Я любил писать Вам, и, смею думать, Вы отвечали мне с охотой. Конечно, Вы сейчас замужем, возможно, у Вас дети, ну и что из этого? Думаю, в глазах мужа и детей то, что Вам несколько лет писал с фронта человек о своем житье-бытье, о себе, рассуждал с Вами о живописи и литературе, никак Вас не порочит. Более того, если этот человек на основании переписки проникся к Вам чувством, осмеливался мечтать о взаимности — в этом тоже ничего плохого нет. Среди тех, кто Вас любил, был и некий Волков, бедняге не повезло, но все равно он был один из самых верных Ваших поклонников. То, что Вас любили, это естественно, стыдиться тут нечего. Если Вы замужем — поздравляю Вас. Но почему-то мне кажется, что Ваш муж не Б. Л. Почему — не знаю. И если Ваш муж Б. Л. — все равно поздравляю. Все же он был храбрым и стойким солдатом. А то, что случилось со мною, в том не обязательно видеть его злое участие. Я сам творил свою судьбу, не буду повторяться, об этом подробно писал прошлый раз. Мне когда-то, в той жизни, хотелось познакомиться с Вашими родителями. И вот не пришлось. Иметь хоть одного общего знакомого. Подумать только — пять лет минуло! Я часто вспоминаю не то, что я Вам писал, а то, *как* писал, как это помогало. Одно письмо я писал под минометным обстрелом. Мы лежали в палатке — хорошо прикрытие! — и ждали, попадет или нет. Бежать укрываться было некуда. Трое моих бойцов нервно курили самокрутку за самокруткой, а я писал Вам. И тоже ждал — пронесет, не пронесет? И не переставал писать, из суеверия, ни словом не упоминая про мины. Приятно вспоминать былые невзгоды...»

Дальше шли его стихи про войну. Там были две строчки, которые почему-то тронули меня:

Еще заметен след,
Еще нас могут вспомнить.

Где-то у меня были припрятаны сигареты. На всякий случай. Самые дешевые горлодеры «Прима». Я нашел их в кухне, на шкафу, пыльные, высохшие. От пер-

вой затяжки поплыло в голове, и слава богу, чем-то надо было прерваться. Мало ли что могло быть дальше. Могло быть и про меня. Почему нет?

Шел первый час ночи. Туман колыхался над землей, делал поляну за окном призрачной. Редкие тонкие сосны струились и затаивались в неровном свете. Желтый электрический свет фонарей ненужно горел на белом небе. Опечаленность была в этой картине, в этом неизвестно откуда льющемся свете. Я стоял, курил, смотрел, как вдруг спросил себя: не потому ли Жанна явилась, чтобы спросить ответа за Волкова, за его судьбу? Что еще могло заставить ее приехать? Ее настойчивость, ее угрюмость, ее нежелание ничего пояснить, пока я не прочту, — все, все сцепилось, стало на место. Волков ей написал, где-то узнала, кто-то намекнул. Поскольку комиссара нет, командира полка нет, из тех лейтенантов один я остался, то с меня весь спрос. Вали на серого, серый свезет. Ладно, прочитаем, там видно будет.

Каждый абзац был как препятствие, надо было перелезть, а сил не было, за каждым препятствием могло оказаться наставленное дуло...

«Как будто в 45 году я посылал Вам одно или два письма с просьбой выслать мне посылку. Если б Вы знали, Жанна, до чего мне стыдно. Бог ты мой, как я мог так опуститься. Единственным, причем не заслуживающим внимания, обстоятельством могло быть только отчаяние. Очень было голодно. Послевоенное время для всех было трудное, для нашего же брата особенно. Когда я ходил на завод, я с трудом поднимался на второй этаж в свою лабораторию. По дороге три раза отдыхал. Дрожали ноги. В таком состоянии я не выдержал и послал Вам письмо, просил мыло, кусок сала, свитер, что-то в этом роде. Война отняла у меня всех родных, а приговор напугал тех немногих друзей, которые оставались. Почему-то я в этот момент устремился к Вам, это была слабость, бестактность, но тогда я полагал, что Вы так не сочтете. Простите меня, Жанна. Сейчас, когда я сыт, я вижу, что как бы хотел воспользоваться нашими отношениями и подкормиться. Воистину, сытый голодного не разумеет. За эти годы обстоятельства мои изменились к лучшему. Сегодня праздник — Седьмое ноября. Я вернулся из гостей. Ел настоящие сибирские пельмени, тушеную баранину с картошкой, пирожки, колымский ликер, какао и тому подобные вкусные вещи. Как Вы знаете, я был осужден,

срок у меня был небольшой, и я в точности тот же самый, кто писал Вам письма с фронта. Сейчас я сижу в кабинете директора завода. За окном воет пурга. Я работаю начальником производственно-технической части завода. Как раз по моей специальности технолога. Живу на вольной квартире. Оклад мой две тысячи рублей... Зачем я Вам пишу? Во-первых, чтобы принести извинения за то письмо, чтобы Вы убедились, что и в сытости я помню о Вас. Во-вторых, потому что скучаю без Вас. Та незримая связь, которая возникла у меня с Вами, не отпускает, держит меня, и слава богу. Разумом я сознавал, что Вы могли выйти замуж, но в душе, в самой ее глубине, мечтал, что Вы ждете меня. Только последнее время эта уверенность стала рушиться. Никаких оснований ни для уверенности, ни для сомнений у меня не было. Знал только, что не могла пропасть близость, которая у нас появилась. Мы рыли тоннель навстречу друг другу. Вы пробивались к моей душе, я — к Вашей. Никто так близко не добирался до моей сути, никому я так не открывался, и, хотя переписка оборвалась, Ваше место никто не может занять. Вы знаете, Жанна, физическое чувство, конечно, много значит. Но в постели взаимозаменяемость — вещь более легкая, чем в душе».

Хорошо было бы воспринимать это письмо как историческое, как архивный документ тех времен, когда автомобили гудели, паровозы дымили, письма писали чернилами. Письмо было длиннущее, очевидно, послано с оказией. Наконец-то Волков мог выговориться; он писал все так же без единой помарочки, без абзацев, что было правильно, поскольку жизнь идет сплошняком, без абзацев и без помарок. Ошибки — как их вычеркнешь? Он рассказывал о своих делах, отвлекаясь на пейзажи и описания здешней природы.

В 1946 году его отправили в Москву и предложили работать по специальности. То есть практически его скоро заметили. Он стал руководить научно-исследовательской темой. Ему дали лабораторию и полигон. Через два года случилось несчастье — произошел взрыв. Волкову обожгло руки, голову, переломало кости. Чудом сохранились глаза. Когда он подлечился, его опять наказали. Как руководитель, он должен был отвечать.

Отправили в Магадан, сразу на должность начальника производства. С неподдельным восторгом описывал он поездку на пароходе — пролив Лаперуза, по-

следний маяк Японии, Охотское море... Во время шторма он носился с кормы на нос, стараясь ничего не упустить. Качка на него не действовала. Он любовался бурей и сравнивал ее с картиной Айвазовского «Девятый вал». В свое время у него, видите ли, имелись сомнения — правильный ли цвет волны написал художник, бывают ли такие краски на гребне. Вцепившись в поручни, он проверял: огромный вал вздымался над головой, и оказалось, что Айвазовский прав. Приглядываясь к пылающим краскам тайги, он вспоминает Куинджи, Левитана, Шишкина, ну прямо заметки искусствоведа, будто он то и дело забегает в Русский музей сравнить.

Любой посторонний читатель вознегодовал бы — чего он строит из себя, ваньку валяет, до пейзажей ли? Манерничанье все это. Но я-то знал — кто пишет и кому. Ему показать надо было Жанне, что в любых условиях духовная жизнь его не гасла, в нем осталось поэтическое восприятие мира, не надо его жалеть, он все тот же, ему не нужны скидки. Иногда он перебирал в своих восторгах перед дикой красотой природы. Его благодушие сбивалось на фальшь. Однако ни одной жалобы, ни укора — ничего не позволил себе. Роль трудная, под конец ему все больше усилий стоило удерживать себя, сам себя за горло держал, иногда полузадушенный вскрик слышится — одиночество («Никого у меня не осталось, и уже не приобрести»), неуверенность («Хотел бы знать, что Вы думаете, читая это письмо»). А в целом справился. Получилась негибкая личность, живущая полноценной жизнью; ему все нипочем, никакие обстоятельства его не удручают. Всюду есть пища пытливому уму, вот вам целое исследование о блатном языке, происхождение словечек: «шмон», «прохаря», «чернуха» и других. На предпоследней странице были строчки, подчеркнутые знакомым алым фломастером: «Недавно стало мне известно, что срок мне сократили, благодаря хлопотам одного из наших фронтовиков. Признаться, от него не ожидал такого, помнил о моей участи. Узнать бы, что заставило его».

Кто ж это мог быть? Такой же волнистой чертой Жанна отмечала строки обо мне. Я перебирал всех, кого помнил, и все больше склонялся в пользу командира полка. Последние годы перед его смертью я несколько

раз бывал у него. Он вышел в отставку генералом. Однажды у нас был разговор про то наше наступление в Эстонии, и генерал сказал, что прав был тот лейтенант-сапер (фамилии его не называли), — неэкономная была операция, давай, давай! Азарт наступления подымал требования тактики. Это было в характере нашего генерала — вмешаться, позаботиться, не открывая себя.

Письмо обрывалось, будто Волков понял, что никакого конца быть не может. Потом он все же приложил узкий листок бумаги:

«Боюсь, не поставил ли я Вас этим письмом в трудное положение. Простите, я этого не хотел. Я не рассчитываю ни на участие, ни на ответ. Лет через пять, если буду жив, я вам еще раз напишу. До этого не опасайтесь. А ведь я к Вам привык, как ни странно. Какое прекрасное было начало, и как печально все завершилось. Но, может, еще и не конец. Как говорил мой отец, где конец веревки этой? Нету его, отрубили!»

Вот и все. Папка пуста. Никого из нас не назвал, не попрекнул. Долго, со стыдным чувством облегчения смотрел я на дату, механически поставленную в углу, потом повалился на диван и мгновенно заснул, не раздеваясь, как когда-то засыпал на фронте.

III

Солнце, наколотое на шпиль Адмиралтейства, припекало пустой летний город, пыльную его зелень, гранитные набережные. На площади стояли экскурсионные автобусы. По горячему асфальту тупо стучали деревянные подошвы. Немцы, шведы, финны, темные очки, челюсти, жующие жвачку...

— Ну как, вспомнили Волкова?

Вопрос вырвался из нее против воли. Она долго удерживалась, вела себя как положено, совершила вступительный обмен фразами насчет погоды, предстоящей прогулки по городу.

У Манежа белел новенький щит: «Выставка живописи Финляндии». С тележки продавали сливочные брикеты. Из картонного ящика дымил сухой лед.

— Ну как, вспомнили?

Все застроено, покрашено, ни одной приметы блокады не осталось. Все дочиста выскоблено. Кому нужны страсти той канувшей за горизонт поры?..

Я пришел за четверть часа, она уже сидела в сквере. Узнал я ее издали по спине, по шапке ее неистово черных волос. Она сидела неподвижно, глаза ее были закрыты. Неизвестно, как давно она тут.

— Еще бы не вспомнить, наш знаменитый сапер Волков, «сапер Советского Союза» его звали.

Губы ее шевельнулись, она нахмурилась.

— Вы должны мне рассказать о нем все, все, что помните.

Она волновалась, и я подумал: а что, как Волков жив? Мысль эта испугала и поразила меня.

— Вас что интересует?

— Все, все,— нетерпеливо подстегнула она.— Потом я вам отвечу.

Мы вышли на набережную. Мелкий блеск воды слепил глаза.

— ...Коренастый, невысокий, голос у него был густой. Он пел баритоном. Он был человек замкнутый.

Когда я произносил «был», ничто не менялось в ее лице.

— Что же он, много ниже меня?— Она остановилась передо мной.

— Значит, вы сами... вы не видели его?

Она напряженно дернула плечом:

— В том-то и дело. Я никогда не видела его.

Я подумал, что Волков был много ниже ее, сутулый, с обезьяньи длинными руками, совсем ей не пара.

— Плечистый он был,— сказал я.— Атлетического сложения, поэтому роста казался небольшого.

Если бы знать, что хотела она от меня услышать, каков ей нужен Волков.

— Его любили? Что у него за характер?

— А мы мало знали о нем. Он о себе не рассказывал. Специалист он был хороший...— Я двигался на ощупь, но ее лицо выражало только напряженное внимание, ничего больше.

— Вы знаете, я так и представляла, что в жизни он немногословен,— она оживилась.— А по письмам его этого не скажешь, верно?

— Я тоже удивлялся, читая. Борис, тот как раз был рассказчик — заслушаешься, в письмах он, конечно, проигрывал...

Для чего-то я старался защитить Лукина, восстановить справедливость. Могли же одну и ту же девушку любить два хороших человека. Не обязательно один из

них должен быть хуже или глупее. Почему всегда один из соперников оказывается трусом, себялюбцем — словом, недостойным? В молодости я тоже так считал. Когда Волкова осудили, тем самым как бы подтвердилось, что он хуже, что он не имеет права вставать Борису поперек дороги.

— Почему Волков развелся с женой?

— С женой... — Что-то мелькнуло, тень воспоминания, когда-то об этом толковали. — Черт, не вытащить, — признался я, — может, потом вспомню...

— А о нашей переписке Волков рассказывал?

— Ни слова. Не в его натуре. От Бориса я знал, что оба они обхаживают одну и ту же девицу. Извините, теперь я понимаю, что это — вы.

— Господи, вы становитесь все догадливее.

Я засмеялся.

— Это я нарочно подставляю вам борт, чтобы вам было легче. Между прочим, письма ваши я, кажется, видел, когда землянку Волкова разбомбило.

— Интересно бы их сейчас почитать. Я плохо представляю себе, что там было.

— Я тоже все пытался вообразить. Наверное, они были на уровне.

— Спасибо, — сказала она. — Да. Все дело в интонации. Может, сегодня я не сумела бы... Нам кажется, что мы с годами умнеем. Ничего подобного, уверяю вас. Тогда, в девятнадцать лет, я чувствовала больше и понимала не хуже.

— А что касается меня, то я был туп. Это точно. Даже вспомнить стыдно.

Мы некоторое время шли молча. Она взяла меня под руку и вдруг спросила тихо:

— Вы хлопотали за Волкова?

Я покраснел.

— Нет, это был не я. Наверно, это наш командир полка.

Она внимательно смотрела на меня.

— Вы не любили Волкова?

— С чего вы взяли? — я хмыкнул поравнодушнее. — Просто Борис был мне ближе. Пехота.

— Пехота тут ни при чем.

— Да, я был на стороне Бориса.

— Вам вообще неприятно вспоминать войну?

Она об этом уже спрашивала. Какого черта она опять лезет туда же?

— А почему мне должно быть приятно? Три года снилось, как у меня живот разворотило, никак кишки назад не могу запихать, скользкие они, длинные.

— Не пугайте меня, я это часто вижу и не во сне, — спокойно сказала она. — Почему же другие любят вспоминать?

— Не знаю. Мне хватает нынешних передраг. Вот мы сейчас воюем с Госпланом. Это же битва народов. Тридцатилетняя война.

— Вы с фронтовиками не встречаетесь?

В словах ее было больше утверждения, чем вопроса. Это была чисто женская способность внезапно, без всяких, казалось бы, оснований угадывать сокровенные вещи. Откуда она могла знать, что я давно перестал бывать на встречах? С тех пор, как хоронили нашего генерала. На гражданской панихиде я услышал, как дали слово Акулову. Он служил у нас в связи. В сорок втором году его за трусость исключили из партии. Он принялся писать на всех кляузы. Еле избавились от него. Появился он через несколько лет после войны и стал всюду выступать с фронтовыми воспоминаниями. Генерал наш негодовал, но помешать Акулову не мог. И вот он теперь встал у гроба и протянул руку. Я громко сказал: нельзя Акулову слово давать, это кощунство! Произошло замешательство. Но Акулов нашелся: ах, говорит, наш друг хватил с горя, ревновать начинает всех к генералу, меня ревнует, и не мудрено, потому что наш генерал любил каждого из своих офицеров, так любил, что... И покатило о том, какие мы были герои под водительством нашего командира, как мы освобождали, громили, какое чистое и честное было время, и вот ушел тот, для кого мы были не ветераны, а солдаты, он знал дни и ночи наших боев, а для других это были всего лишь даты... Кругом меня всхлипывали, сморкались. Ничего не скажешь, красиво говорил этот сукин сын. Но после этого я перестал ходить на встречи. Все было изгажено. Мне слышались в воспоминаниях медные трубы похвальбы и акуловский голос: «Ах, какие мы были бесстрашные, какие герои!» На пионерских сборах задавали вопросы, за которые было неловко, — какие подвиги совершили вы и ваши товарищи? Сколько у вас орденов, сколько фашистов вы убили? Две девочки с пушистыми косами водили меня по школьному музею боевой славы. Под стеклом лежали начищенные диски автомата. Была сделана модель землянки, стены обшиты досочками,

внутри зажигалась маленькая лампочка, укрепленная на пистолетной гильзе. Это было трогательно. Девочки попросили подарить музею мои именные часы и сказали, что если мне сейчас жалко расставаться, то чтобы им дали их, как только я умру. Милые девчушки, исполненные заботой о своем музее.

— Они что же, ссорились?

— Кто?

— Да Волков с Лукиным?

— Бывало. Цапались. А между прочим, Волков одеколонился, — неожиданно выскочило у меня, и я как-то по-идиотски обрадовался. Вспомнил, что Волков натирался после бритья тройным одеколоном и то, как нас возмущал этот поступок. Одеколон у него воровали и выпивали. Каким-то образом он вновь добывал его в Военторге, и за круглым этим пузырьком шутники охотились из принципа и, конечно, обнаруживали.

— Одеколонился, вы представляете!

Разумеется, она не могла взять в толк, что тут особенного.

— ...Справа стоит одна из колонн с гением Славы, подарок Николаю первому от прусского короля в 1845 году...

Казалось, что Жанна потихоньку переводит гида, который бойко шпарил по-немецки, но скоро я уловил несоответствие. Толпа экскурсантов потянулась к площади, а Жанна продолжала объяснять мне. Она наизусть повторяла текст волковских открыток. Поднимала палец, придавая словам торжественность. То же произошло и у Медного всадника, «созданного скульптором Фальконе в 1782 году», и так далее, и тому подобное. Потом она дала мне очередную открытку, изображающую Исаакиевский собор, отдекламировала ее текст и стала продолжать сама про колонны, осадку, ворота, про неудачный проект Монферрана... На черно-белой открытке мимо собора несли аэростаты заграждения. Три продолговатые, серебристые туши. Я никогда не видел их вблизи, всегда только издали. Даже в бинокль они плохо различались на фоне белесого неба.

Сейчас вместо аэростатов тянулась длинная очередь желающих попасть в собор. Я никогда не был в этом соборе. Меня не интересовал ни Монферран с его просчетами, ни голова Петра, которую, оказывается, лепил не Фальконе, а девица Колло, — меня больше занимало волнение Жанны, она никак не могла сладить со своим

голосом. Ровная безучастность прерывалась, будто ей не хватало воздуха. Она взглядывала на меня с необъяснимо просящим выражением. Я кивал, энергично поддакивал, но было неловко оттого, что не могу разделить ее восторга перед этими памятниками и ансамблями. Я рос среди них и не замечал, как не замечал уличного шума, вывесок, запаха нагретого асфальта. Я был потомственным горожанином. Я знал другой город — с очередями, колоннами демонстрантов, его лестницы, дворы, коммунальные квартиры. Внутрь собора попасть не было надежды. Без очереди пропускали организованные экскурсии. В большинстве это были иностранцы. Мы пытались пристроиться к немцам, но нас вежливо отделили. Зато я впервые дошел до самого входа и потрогал изображения святых на воротах.

Пройдя мост, мы очутились перед Биржей. Мы двигались по маршруту, обозначенному открытками.

— Левее Биржи здание Зоологического музея, — произносила Жанна. — Третьего по величине в Европе. По бокам — Ростральные колонны. Сама Биржа, в сущности, повторяет Парфенон в Афинах. Обратите внимание, — сказала она другим голосом, — он пишет с уверенностью человека, побывавшего в Греции. У него все перед глазами. «Калликрат был бы недоволен качеством материала, — продолжала она декламировать, — Фидий — отсутствием скульптур, а вообще, все выдержано точно в дорическом стиле. К счастью, с главного портала убрали световую рекламу, она мешала целостности впечатлений. Это место одно из самых красивых. Вот какой наш Ленинград! Гравюра принадлежит дивному художнику Остроумовой-Лебедевой, она умеет, как никто, показать прелесть нашего города. Здание Биржи получилось у Томона лучше его проекта. Редкий случай...»

Текст открытки кончился. Жанна продолжала показывать обуженные капители, портики.

— Да вы же ничего не чувствуете! — с горечью воскликнула она.

Какого черта я должен умиляться этим пандусам и Фидиям, я ничего не понимаю в архитектуре и не собираюсь в ней разбираться.

Она расстроилась. При чем тут пандусы, неужели мне ничего не говорят сами открытки, выпущенные в блокаду бог знает какими усилиями, что уже было подвигом, да еще посланные в те месяцы из осажденного

города в Грузию, а до того купленные и привезенные на фронт и там в окопе исписанные крохотными буквами, чтобы побольше уместилось, отправленные полевой почтой, сохраненные все эти годы и сейчас вновь привезенные сюда. Да как же всего этого не чувствовать! Одно это превратило их в поразительный документ. Черные глаза ее пылали. Надо быть бездушным человеком, чтобы не оценить любовь Волкова к городу, не оценить его эрудицию, да кто бы мог описать по памяти все это с такой точностью! А как ощущал он красоту города, в то время изуродованного, полумертвого. По этим открыткам она изучала Ленинград, из-за них она раздобыла альбомы и монографии. Она выучила город, вы зубрила его. И это место — стрелка Васильевского острова — действительно самое прекрасное место, она не представляла, что отсюда такой вид на Петропавловку.

Я понял, что впервые отдельные фотографии, картинки соединились для нее в панораму, какую можно было окинуть долгим взглядом. Арки мостов, берега Невы, раскинутые крылья набережных — она жадно оглядывала все это, но, я чувствовал, не своим взглядом, а как бы глазами Волкова. Она перестала обращаться ко мне, теперь она говорила скорее этим грязно-белым языческим богам, сидящим у подножья Ростральных колонн. Лицо ее озарилось сиянием, которое заставило остановиться туркмен в стеганых халатах, они благоговейно любовались ею, покинув экскурсовода. Я чувствовал себя виноватым. Вся эта история с открытками заслуживала, наверное, куда больше внимания, чем мне казалось. Для меня это была пустяковина. Нашел чем заниматься во время войны, показывал свою образованность, как будто впереди у этих двоих, у Волкова и Жанны, были годы и годы, — такие открытки могут писать в отпуске вот эти экскурсанты.

Но тут же я подумал о том, как не раз в своей жизни принимал за пустяки чьи-то смущенные признания, косноязычную просьбу, а потом из этого вырастала чья-то трагедия, менялись судьбы. Картины, о которых доложил старшина, оказались из Дрезденской галереи, а я даже не взглянул на них. События часто огибали меня и скрывались неузнанными. Маленькая Наташа, наша соседка, которая год упрашивала меня почитать стихи, была, оказывается, влюблена в меня и уехала во Влади-

восток, выйдя замуж за моряка. Волковские открытки остались и все эти годы будоражили чью-то душу.

— Никогда не знаешь, что останется от нас, — сказал я. — Наверняка не то, на что мы рассчитывали.

Мы шли по городу от одной открытки к другой. Ее интересовал только этот Ленинград. Может быть, я должен был сказать ей, что ее Волков создан из писем и фотографий, что он бумажный возлюбленный, она сделала его, отбирая лучшие фразы. Это было надувательство. Но я все не знал, надо ли это говорить.

— Ну, как вам его последнее письмо?

— Бодрое письмо. Работа по душе, ценят его...

Начала она слушать жадно, но быстро угасла.

— Неужели вы не заметили, что он никого не винит? — перебила она и поглядела мне в глаза, словно напоминая про мои страхи. — Он себя винит за ту просьбу! Меня оправдывает, а себя винит! — Холодное твердое лицо ее порозовело, залучилось нежностью. — Как деликатно он прощает, чтобы я не чувствовала себя обязанной. Верно? Прощать тоже надо уметь. Говорят, понять — значит, наполовину простить. Он понять не мог, не знал ничего, а простил. Меня бы месть, самолюбие спалили. Я не умею прощать. Это плохо. От его письма у меня совесть очнулась. Я увидела себя. Вы знаете, Антон Максимович, я подозреваю, что он приезжал в Тбилиси ко мне. Один непонятный случай был. Человек у дома моего стоял. У кабинета моего в поликлинике сидел. Правда, с шевелюрой был. Может, я потом навообразила...

Зеленая вода в каналах пахла гнилью. На маслянистой пленке колыхалось четкое отражение: двое над перилами, над ними голубое небо восемнадцатого июня. За четыре дня до начала войны, подумал я.

Из-под свода моста выплыла лодка, на корме сидела девушка с кружевным розовым зонтиком. Жаркое небо накладывало тонкий голубой слой на окна, на блеск машин, на воду. Город голубовато светился. Что-то обидное было в его обольстительной красе.

Дойдя до Симеоновской церкви, Жанна остановилась и показала мне место, где был дом Волкова. Дом снесли в прошлом году. Здесь был разбит сквер. «Дом Волкова» у нее звучало примерно так, как «дом Достоевского». Мы сели на скамейку. Я вытянул больную ногу, стараясь не морщиться. Знал я волковский дом. Он был ветхий, скучный, с узкими вонючими лестницами.

Несколько раз я бывал в нем. На втором этаже, в конце коммунального бедлама, когда-то помещалась ободранная нора моих коротких свиданий. В сущности, следовало бы благодарить и за это убежище. Хуже нет изматывающей бесприютности подъездов, садовых скамеек, дворовых закоулков с кошачьими свадьбами. Гнусная маета молодых бездомных, маета, в которой гаснут желания и перегорают страсти. Та женщина умела целоваться как никто. После поцелуя она сама восклицала: «Ах, как вкусно!» Под окнами тарахтел трамвай, мчались грузовики, и от этого шума мы почти не разговаривали друг с другом.

— ...приехала в Ленинград в сорок шестом году. Выхлопотала командировку. Через справочное разыскала адрес Волкова. Пришла, звонила-звонила, никто не отвечает. Вышла соседка. Старуха в меховой шапке. Я наплела ей, что один фронтовой раненый просил узнать про своего друга. Мне стыдно было сказать правду — я, девушка, разыскиваю такого взрослого мужчину. Старуха долго приглядывалась ко мне, потом шепотом сказала: не ищи, у него плохая судьба. Не ранен, значит, не убит, поняла я. А дома меня Борис ждал. Явился во всем гвардейском блеске. От него я узнала, что случилось с Волковым.

— Борис-то зачем приезжал?

— Предложение мне делал.

— А вы?

— Отказала.

— Отказали? Ему?

Я потрясен был всей силой моего восхищения Борисом, он возник передо мной во весь рост, голубоглазый, шинель внакидку, золотая кудряшка прилипла ко лбу... Жанна с улыбкой смотрела на мое видение. Он был тот же, не стареющий, двадцатитрехлетний, а она-то, как она решилась, как посмела?! К чувству недоумения примешивался вдруг интерес к той девятнадцатилетней грузинской девушке.

— ...геройский офицер из-под Вены приехал специально ко мне. Увидев меня, не разочаровался. Подруги завидовали. Женихи в цене были. Почти все наши мальчишки погибли. Как мама уговаривала меня! Борис ее очаровал. Да и мои отношения с Волковым ее беспокоили. К тому же Борис маме наговорил про него. Это я потом узнала, слишком поздно.

— Почему наговорил? Рассказал, — поправил я.

— Наговорил,— твердо повторила Жанна.— У Бориса и так были все преимущества. Ведь все выглядело романтически, нашу историю с ним пропечатали в газете.— В темном прищуре Жанна рассматривала что-то неведомое мне.— Знаете, что меня остановило? То, что он торжествовал. Он не жалел Волкова, он считал, что то, что случилось с Волковым, законно.

— Но если он так думал... Зачем вы писали Борису до самой победы, зачем вы его обнадеживали?

— Я отвечала на его письма.

— Отвечали... А он на ваши письма. Это и называется переписываться.

— Конечно, это было легкомысленно.

— За что же вы нас судите? У вас легкомыслие, у нас недомыслие.

— При чем тут вы?— холодно спросила Жанна.

— А я так же отнесся к той истории.

Я принялся объяснять ей, но ничего не получилось. Вопросы Волкова, которые нас раздражали, сомнения, которые мы отвергали, поступки, которые вызывали насмешки,— все потеряло убедительность. Не очень умно и симпатично мы выглядели, но тогда... Как показать ей расстояние, которое мы все прошли?

Она тронула мою руку.

— Меня тоже пугали высказывания в его письмах. А теперь я не могу их найти.

— Борис так и уехал?

Она кивнула.

— И все? Больше не писал?

— Ни разу.

Она могла стать женою Бориса, думал я, и мысль эта делала ее ближе, и в то же время порождала какую-то печаль и жалость к собственной судьбе, какая возникает, когда видишь красивую женщину, чужую и недоступную.

Он добирался до Тбилиси так же, как я до Ленинграда, на крышах, в тамбурах. Я все это легко представлял: кипяток на станциях, долгие стоянки, трофейное вино, офицеры, солдаты, гражданские — все перемешалось, и все это пело, ликовало, одаривало друг друга, захлебывалось планами, надеждами, травило байки, играло на перламутровых аккордеонах, выменивало, чокалось... И представил, как Борис возвращался. Из Тбилиси к себе в Костромскую. Отвергнутый — а за что, на каком таком основании? Он, кому весь мир при-

надлежал, потому что весь мир был обязан нам, и все эти бабы, девки, которые счастливы должны быть от одного нашего слова. Так оно было, так и я жил в тот хмельной послевоенный, салютный наш первый год на гражданке.

— Тыфу, это же чушь собачья,— сказал я.— Выходит, похвали Борис вашего Волкова, у вас все бы сладилось и вы пошли за него? По-вашему, он не имел права ругать соперника. Абсурд. Извините, это не проходит.

— Прошло. В моей жизни мало было абсурда. Я всегда поступала логично. Любила логично, разводилась логично.

— Вам не жаль, что вы так обошлись с Борисом?

— Нет,— мягко сказала она.— Отчасти я ему благодарна. Но тут другое. Думаете, я Волкова любила? Это была еще не любовь.

— Почему вы не дали мне предпоследнего письма Волкова, где он просил прислать мыло?

— Его нет. Я сама не читала его.

— Как так?

— Мать скрыла от меня, спрятала его.

Она проговорила это с натугой, хотела что-то добавить, но промолчала.

— Хотите проехаться на пароходике, тут недалеко пристань?— сказал я.

— Почему вы не спрашиваете, как все это было?

— Вам неохота говорить об этом.

— А вы не решайте за меня,— сказала она неприятным голосом.

— Вы же сами просили не задавать вам вопросов.

— Вы всегда такой послушный?

— Послушайте, Жанна, я разучился разговаривать с женщинами. Я никогда не знаю, чего они добиваются. Чтобы не обращали внимания на их слова? Ну зачем это им надо? Даже Лев Толстой не понимал женщин.

— Единственный, кто их понимал, это Толстой.

— Нет уж, извините, он в собственной жене не мог разобраться. Его сила состояла в том, что он знал, что женщин понять невозможно. Вы замужем?

Она неохотно усмехнулась:

— Надо выяснить, я об этом не задумывалась.

Что-то мешало ей начать.

— Не мучьтесь,— сказал я.— Зачем будить демонов?

— Будем будить,— твердо сказала она.— Иначе ничего не получится. Для этого я и приехала. Надо же мне оправдать поездку.

— Тогда не стесняйтесь, сыпьте без купюр.

Вот уж кто не стеснялся. Она говорила быстро и ровно, но как будто рассказывала не о себе. Глаза ее смотрели на меня невидяще, устремленные куда-то туда, куда она стремилась быстрее добраться.

— ...в госпитале я много писем писала раненым, под их диктовку. Редко кто из них не присочинял. Одни преуменьшали свои раны, другие преувеличивали, третьи расписывали свои подвиги, а те свою тоску и любовь. Вроде бы на меня после этого не должны были действовать письма Волкова, верно? А они действовали, и все сильнее, я привыкла к ним, как к наркотику. Мне их не хватало. Я их принимала один к одному. А вот много позже я усомнилась. Взрослость цинизма прибавила. Это я от первого мужа заразилась. Мне хотелось патенты Волкова проверить. И все оказалось правда. В Париже в музей ходила импрессионистов смотреть. Тоже ради проверки. Все хотела уличить его, хотелось низвести его. А за что? За то, что он обманул меня и бросил. Я после отъезда Бориса все ждала, что Волков сообщит о себе. А тут у меня отец умер от инсульта, мне больно было, что он умер голодным. В Тбилиси голодно было. Мама меня винила: вышла бы за Бориса, мы обеспечены были бы. Она вслух этого не говорила, но я знала, что она так думает. А от Волкова ни одной весточки. Потом меня сосватали, ну, в общем, уговорили, доказали. Муж был много старше, вроде Волкова, на вид молодцом, солидный, образованный, владел английским, любил поэзию. Он был приятен, и я уступила. Жизнь действительно стала легче, появились вещи, наряды, что ни день — застолье. Откуда-то шли деньги, с ними возможности, о каких раньше и не мечтала...

Она живо изобразила, как посреди пира муж вставал и проникновенно читал стихи Бараташвили или Тициана Табидзе. Это почему-то успокаивало ее. Ей казалось, что человек, любящий стихи, не может быть жуликом. В минуты откровенности он признавался, что его влечет риск коммерческих комбинаций. Наша цивилизация, говорил он, возникла благодаря торговле. Все началось с коммерческого таланта. Этот талант надо использовать. Грех, когда талант остается неиспользованным, и тому подобное. Он жил бурно, смело и погиб в горах

при неясных обстоятельствах. Сразу после этого выяснилось, что на него заведено дело.

— Мне доказали, что я нужна была ему для прикрытия, поскольку семья наша имела безукоризненную репутацию. В те дни я решила пойти учиться на врача. Я бросила строительный. Мне хотелось хоть чем-то испустить...

Несколько жизней, куда больше, чем я думал, уместилось между той девчонкой моих лейтенантов и этой женщиной, которая зачем-то ехала ко мне с их письмами.

Дети носились в сквере на том месте, где жил Сергей Волков, где над нами, в невидимом объеме, когда-то стоял аквариум, этажерка со справочниками, висела репродукция Рембрандта. Напротив нас возвышалась желтая с синим церковь Симеона, одна из самых старых в городе, как сообщила Жанна. По этой церкви Волков всегда сможет определиться. Хоть что-то осталось. А от нашего дома в Лесном и от соседних — ничего, все разобрали на дрова.

— Может, он еще жив? — спросил я.

— Я наводила справки. Он умер четыре года назад. Там, на Севере. Он там остался. Но лучше я по порядку...

И она продолжала с добросовестной откровенностью, как будто давала показания. У меня было ощущение, что, как в показаниях, любая подробность могла пригодиться, из этих подробностей складывался какой-то пока еще неясный смысл.

После первого мужа был второй, который оказался болезненно ревнивым.

— Он уверен был, что я его должна обмануть. Причем как женщина я его интересовала не часто, на какие-нибудь пять минут. Заставил меня аборт сделать. Не верил, что его ребенок.

Без пощады и без стеснения выкладывала она тайны своей женской жизни. У нее получалось так естественно и просто, что и я воспринимал это так же.

Она развелась и почувствовала облегчение, к ней вернулась независимость, ощущение своего «я». Замужем она побывала, долг свой выполнила, теперь она вольная птица. Семейный очаг у нее как бы был: мать — предмет забот и долга. И работа выиграла, она ушла с головой в медицину — самая лучшая в мире профессия, в которой можно не думать о карьере, о зва-

ниях и каждый день добиваться успеха. Мужчины появлялись и исчезали в ее жизни без особого следа. Был, например, один красавец, который делал карьеру. Он брал ее на приемы, водил как личное украшение. Аристократизм Жанны как нельзя лучше подходил к его планам. Выяснилась, правда, одна закорючка — отец Жанны имел иностранное происхождение. Еще в прошлом веке дед приехал в Грузию из Испании и долго сохранял испанское подданство. Жанна со злорадством наблюдала, как это обстоятельство путало все далекие расчеты ее кавалера. Бедняга не понимал, что безупречная биография может так же не нравиться и тормозить карьеру. Гладенького ведь никак не придержать, не за что зацепиться. Мужчины были вовсе не так умны, как представлялось ей в молодости. Все больше попадалось бесхарактерных, закомплексованных, плохо работающих, а главное — скучных и недалеких.

— Сама еще не сознавая, я все искала мужчину умнее себя, чтобы и культурный был, чтобы на него снизу вверх смотрела. Словом, обычные требования разочарованной женщины средних лет. Вот тогда начал мне вспоминаться Волков. Перечитывая его письма, я убеждалась в его преимуществах. Он становился крупнее и, как бы это сказать, — ощутимее! Вы понимаете?

— Да, пожалуй.

Она недоверчиво усмехнулась и пояснила, что поскольку Волков располагался в прошлом, то существование его обрело законченную реальность: когда-то у нее был возлюбленный, они любили друг друга и идеально соответствовали. Он был лучшим украшением ее женской биографии. При случае можно было показать подругам фото, хорошо, что он не мальчишка, с годами он все больше подходил ей. Иногда она мечтала: а что, как он объявится? Ей нравилось представлять свое существование жизнью до востребования. Она придумала ему оправдание — его гордость. Конечно, с годами фигура Волкова затуманилась, отодвинулась, осталось лишь приятное воспоминание. От него, пожалуй, перешло увлечение живописью, архитектурой — то, что когда-то заставляло ее тянуться, отвечая на его письма. Год назад умерла ее мать. Разыскивая документы, чтобы оформить похороны, Жанна наткнулась среди бумаг матери на письмо Волкова. То самое, которое я читал.

Находка ошеломила ее. Она стояла не в силах пошевелиться. Значит, он ей писал! А мама, для чего она утаила, спрятала? Из текста видно было, что было еще одно, а может, и два письма в 1945 году. Он сразу написал ей, как и должно было быть. Она кинулась искать, перерыла весь дом и не нашла. Перед гробом матери она стояла, вглядываясь в застывшие черты, пытаюсь понять, что же случилось, почему мать так поступила? В том, первом письме Волков просил о помощи, и она, Жанна, ничего не ответила, промолчала. То, первое письмо мать тоже спрятала или уничтожила. Но как мать могла? Тут было что-то дикое, несусветное. Она хоронила мать с тяжелым сердцем.

— Все перевернулось во мне, Волков ожил, появился, я чувствовала себя виноватой, опозоренной. Невыносимый стыд мучил меня. Вы только подумайте — на первое письмо не ответила, не помогла, на второе тоже. Что он подумал обо мне? Выходит, он все эти годы не забывал меня. Ждал ответа. Представляете, какое это предательство, какая низость... — Сплетенные ее пальцы побелели. Она смотрела на меня умоляюще.

— При чем тут вы? Что вы на себя валите? — горячо сказал я, и сказал это поглубже, я не хотел, чтобы она говорила о себе плохо, с такой болью.

— Нет, погодите, я восстановила, как все это было. Первое письмо пришло как раз в те дни, когда Борис приехал. Мама испугалась за меня. Не знаю, чем там Борис настрашал, но она, увидев обратный адрес, конечно, вскрыла. Страх... Многое надо было, чтобы она решилась на такое. В нашей семье вскрыть чужое письмо — этого нельзя представить. Но страх... Страх жил в ней. Я вам клянусь, если бы я сама прочла письмо, я бы все бросила, помчалась к нему. Мать это знала. А второе письмо пришло, когда у меня все было хорошо. Мать защищала мое счастье.

— Ее тоже можно понять.

— Но Волков ведь не знал, как все было. Он решил, что я струсил. Испугалась за свое благополучие. Поверила, что он преступник, — так ведь даже преступникам не отказывают в милосердии. А я отказала. Мыла кусок пожалела. Этот кусок мыла у меня из головы не идет.

— Но вы бы послали, если б знали.

— А почему я не знала? Почему? — воскликнула она режущим голосом и схватила меня за руку. — Думаете, потому, что мама письмо спрятала? Верно? Как будто

я ни при чем? Недоразумение, мол, случилось. Мама перестаралась... — Лицо ее перекосилось в усмешке. — Не проходит, дорогой мой Антон Максимович. На самом-то деле все из-за меня. Ах, если б можно было отнести все за счет случая, пожаловаться на судьбу. Да? А нельзя. Потому что судьба дала мне еще шанс. Судьба заботилась обо мне. Цыганка однажды предупредила меня — ты, говорит, счастливая, к тебе судьба всегда дважды будет обращаться, все исправить можешь. Второе его письмо пришло, и все можно было поправить. Но я была заверчена Сандро. Мой первый муж. Рестораны, примерки, поездки. Мама считала, что это счастье, я сама ей говорила. И с Борисом ведь так же было. Зачем я морочила ему голову? Вы правильно сказали. Не полгода — до самого конца войны морочила. Нравилось, что он приехал. Когда уезжал, какой он был жалкий, — хоть бы что шевельнулось у меня, а теперь перед глазами вижу: улыбочка его белая. Приезд Бориса — моя вина. От приезда все и пошло.

— Вы наговариваете на себя. Вы слишком молоды были.

— Я одна во всем виновата. Никто больше! Все из-за меня!

Глаза ее налились влагой, нелегким усилием она сдержала себя, чтобы слезы не выступили, лицо ее некрасиво ожесточилось.

— Плохой поступок всегда плохой поступок, — сказала она. — Что в старости, что в молодости — одинаково плохой. Когда-нибудь этот поступок тебя догонит. Вот он и догнал. А с бедным Сандро, думаете, иначе было? Как бы не так. Я глаза на все закрывала, думать не хотела, откуда все берется. У меня оправдание было — человек стихи любит.

Она запрокинула голову, прочитала, глядя в небо:

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут

Меня. И жизни ход оправдывает их.

Что стих? Обвал снегов. Дохнет — и с места сдышит

И заживо схоронит. Вот что стих.

— Как он читал Тициана! Даже эти хапуги-бразники ему аплодировали. Я защищалась ложью. Сколько всякой лжи я позволяла! Льстила тем, кого презирала. Иногда мне хочется прийти в мою школу, в мой класс, стать перед детьми и признаться им во всех моих грехах. Кому-то хочется признаться, но кому охота слушать... — Она брезгливо сморщилась.

Мне стало не по себе. Как будто ее откровенность изобличала меня. Мне вспомнилось, как после пожара в цеху один за другим мы выходили перед комиссией и каждый защищался, как мог. Энергетики показывали на монтажников, монтажники — на строителей. Все знали, что цех нельзя принимать в эксплуатацию. Приняли. Уступили начальнику. Никто не сказал: братцы, я виноват, я поддался, из-за меня люди пострадали, лежат в больнице. Почему совесть никого не подтолкнула, и меня не подтолкнула? Я радовался, что пронесло. Раз меня не судили, что ж себя судить.

— Вы знаете, Жанна, — сказал я голосом, которого давно не слышал у себя, — вы молодец. Вы молодец, что так говорите.

Я понимал, как трудно — найти свои проступки, оценить их как проступки, провести следствие над собой. В сущности, Волков, когда выступил насчет наших потерь, побуждал нас подумать, хотя бы смутиться чрезмерной ценой нашего успеха. Я сказал Жанне, как мы разозлились на Волкова, потому что не видели честности его поступка. До сих пор не знаю, что толкнуло его — гибель Семена или самодовольная наша праздничность? Но это был поступок, и он не прошел бесследно.

Скрипнули тормоза, возле нас остановился неведь откуда взявшийся старинный желтый автомобиль с высоким кузовом, похожий на карету. Оттуда высунулся мужчина с крашеными рыжими волосами.

— Как проехать в Театральный институт? — крикнул он.

Я показал ему. Он увидел Жанну и, не спуская с нее глаз, вылез из машины, подошел к нам. На нем была кожаная куртка и желтые блестящие краги, такие носили в начале века.

— Вы похожи на ту, которая мне нужна для картины, — сказал он. — Это фильм о любви. Неземная любовь, над ней все смеются. Вы не красавица, но понятно, что из-за вас можно было наделать глупостей. Вам не надо ничего играть. Вы будете сидеть на плоту.

— Я не могу сидеть на плоту, — сказала Жанна. — Я замужем. Я не могу смотреть на других мужчин.

Рыжий подмигнул мне, вручил визитную карточку с телефоном и уехал, сказав, что ждет вечером звонка.

— Нам помешали, — сказала Жанна, — рассказывайте дальше, рассказывайте.

— Собственно, это все.

— Вы не приукрашиваете его специально для меня? — сказала она подозрительно.

— Все делается ради вас, — сказал я. — Как же иначе.

— Не обижайтесь. Мне показалось, вы пересиливаете себя.

— Так оно и есть. Не очень-то приятно сознавать, как ты был глуп. Знаете, как хорошо, когда прошлое оставляет тебя в покое. Никаких с ним пререканий. А тут появились вы — и началось. Скажите, зачем вы приехали?

— Расспросить у вас про Волкова.

— Что расспросить? Зачем?

— Я думала... может, вы переписывались.

— И что? К чему вам теперь эти сведения?

— Верно, слишком поздно. Вот вместо дома сквер. Ничего не осталось.

— Вы не ответили. Зачем я вам понадобился, для чего вы заставили меня читать письма?

— Простите меня, я отняла у вас много времени.

— Не в этом дело.

— Я думала, вам будет приятно вспомнить про себя, узнать про товарищей.

— Ну что ж, это было действительно приятно. Пожалуй, я рад, что там побывал. Туда надо возвращаться. Но все же не ради этого ведь вы приехали. Не для того, чтобы пройтись по достопримечательностям и показать мне всякие фронтоны.

— Но ведь вы многого не знали. — Она быстро взглянула мне в глаза, сделав кокетливое выражение.

— Жанна, не держите меня за такого крупного дурака. Не хотите говорить — не надо. Будем считать, что у вас есть причина.

Она разглядывала свои пальцы.

— Когда вы уезжаете? — спросил я.

— Причина есть. Ее трудно объяснить словами. Но я вам обещала, вы имеете право. Так вот, мне нужно было, чтобы кто-то знал, почему так вышло. Я выбрала вас. Я считала, что вы фронтовые товарищи. Я хотела, чтобы вы знали, почему я не помогла Волкову. Не ради оправдания — понимаете? Просто, чтобы кто-то знал.

— Но что я могу?.. — сказал я растерянно. — Я ничем не могу помочь, он же умер.

— Ну и что с того, что умер,— сказала она звенящим голосом.— Я все равно должна была.

— Что вам, от этого легче?

— Вы не поняли. Так я и знала...— Она разом сникла.— Я не могу объяснить.

Тот узкий валкий мостик, что перекинулся меж нами, как бы согнулся и затрещал. Я стал уверять ее, что я что-то уловил и что-то мне брезжит. Может, и впрямь мне что-то мелькнуло, как бы приоткрылось на миг и исчезло,— какое-то ее непривычное понимание жизни, смерти, души. И я опять не понимал, зачем она приехала, зачем призналась мне и что ей с того, что я знаю. Вопросы мои были слишком грубы, я чувствовал, что касаюсь сокровенного и слишком для меня сложного. У Жанны Волков сейчас существовал реальнее, чем несколько лет назад, когда он был жив. Так бывает. Про Бориса мы почему-то так ничего и не стали выяснять, что с ним, как он,— он жил в наших разговорах, и нам этого было достаточно.

Вечером я провожал Жанну на поезд. Папку она уложила в чемоданчик. Дала мне веревку, и я старательно перевязал сверток, легкий, неудобный. «Купила в подарок хлебницу»,— сообщила Жанна. На ней был синий ситцевый халатик, тоже ленинградская покупка. Она сказала, что пойдет на вокзал в этом халатике, накинув легкий плащ, чтобы в вагоне не переодеваться. Она болтала о пустяках, была быстрой, домашней, только глаза были припухшие, красные.

А он, Волков, не принес бы ей счастья, вдруг понял я. Он был слишком тяжел для нее с его самолюбием и самомнением. А что, если освободить ее сейчас от ее угрызений? Это сделать совсем несложно. Она перестала бы себя корить. Но я решил ничего не говорить. Было жалко ее, и при этом я чувствовал, что не надо помогать ей.

Итак, события ее жизни соединились в некий рисунок. Письма, замужества, страхи, больничные дела, мамина шкатулка — все, что было позади, осветилось, и стала видна судьба. Понятие это всегда казалось мне надуманным. В чем состояла моя судьба? В своем прошлом я не мог различить никакого единства. Пестрые обрывки, да и те куда-то сдувало. Как будто за мною двигалась машина, которая перемалывала прожитое в пыль. В войне — там была цель, была пусть долгая, но ясная дорога к победе, был путь к Берлину. События

после войны — куда они меня вели? Был ли этот путь? Не могла же моя жизнь катиться просто так, наверное и в ней есть тайна, скрытая за суетой, за всем, что кажется таким важным сегодня и ненужным завтра. Может, лежат где-то запрятанные от меня письма, не дошедшие вовремя. Так я утешал себя.

Перед уходом мы присели. От рычащих внизу машин тонко дребезжали стекла. Мы сидели и слушали, потом поднялись одновременно. Путь до вокзала был короток, всего лишь пересечь площадь. Мы шли медленно, говорили о том, чем хороши деревянные хлебницы, о петергофских фонтанах. На вокзале на всех перронах гомонили, тащили чемоданы, толпа обнималась, всхлипывала, встречала, прощалась. Мы постояли у вагона. Зеленый его бок, раскаленный за день, источал тепло. Белый свет ламп мешался с высоким серебряным светом негаснущей зари. Последние минуты утекали впустую. Я не знал, чем их остановить. Наверно, я должен был что-то сказать. Передо мной стояла единственная на свете женщина, которая связывала меня с моей молодой войною, с той лейтенантской жизнью, когда мы влюблялись по фотографиям. Возлюбленные оживали в наших мечтах, тряслись с нами в танках, на заношенных фотографиях они все были небесной чистоты, пышногрудые ангелы наших сновидений. Жанна была из них, я знаком был с ней несколько часов и десятки лет. Через несколько минут она уедет, и вряд ли мы когда-нибудь увидимся. Это было неправильно. Я знал, что пожалею о своем молчании.

— Напрасно вы отказались сниматься в фильме, — начал я со смехом, который плохо получился.

И она начала улыбаться, но остановилась.

— Приезжайте, — сказал я.

Она посмотрела на меня, впервые на меня самого, хромого, морщинистого, в старенькой зеленой кепке, не усмехнулась, не удивилась, прекрасная ее мрачность вернулась к ней и обозначила этот миг серьезностью.

— Не знаю, — сказала она виновато.

Это было как фотовспышка. Я знал, что запомню ее такой. Горячую тьму ее глаз, смотрящих на меня не мигая. Белое и чистое лицо ее, смягченное грустью. За эти сутки она осунулась и посветлела.

До сих пор я был для нее источником сведений о Волкове, и вдруг я, кроме того, возник как самостоятельная личность.

— Еще не поздно, — сказал я. — Завтра поедем с вами на студию.

— И что?

— Начнете сниматься. Я уверен, что получится. Тем временем я буду вспоминать. Вы будете приходить после съемок, а у меня будут готовые воспоминания.

— Похоже на предложение, — весело сказала она. — Правда, слишком робкое.

Мы с облегчением рассмеялись. Все ушло в шутку. Она подала мне руку, поблагодарила, на площадке обернулась и что-то сказала, но я не расслышал.

На Невском фонари не зажигали, было светло илюдно. Я заметил, что нигде нет теней. Люди шли, не имея тени. И у меня тоже не было тени. Кошка пробиралась, лишенная тени, из урны шел дым, нигде не отражаясь, — все было отделено от земли. Проспект плыл, колыхаясь в этом идущем ниоткуда свете. Никогда прежде я не видел город таким приподнято-легким, молодым. Рассеянность, неуловимость света придавала всему загадочность. Незнакомая красота была во всех этих известных с детства домах, подъездах, перекрестках. Все было странным, как и то, что я сегодня услышал. Тоже вроде бы ясно — и непонятно. И приезд Жанны, и ее рассказ — все это вызывало у меня и благодарность, и удивление. Выходит, она действительно приезжала ко мне ради того, чтобы я знал. Но что мне делать с этим знанием, с этой памятью, если ничего нельзя исправить? Вот о чем я думал и знал, что мысли эти долго еще не будут давать мне покоя.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В день открытия конгресса был дан прием во Дворце съездов. Между длинными накрытыми столами после первых тостов закружился густой разноязычный поток. Переходили с бокалами от одной группы к другой, знакомились и знакомили, за кого-то пили, кому-то передавали приветы, кого-то разыскивали, вглядываясь в карточки, которые блестели у всех на лацканах. Там была эмблема конгресса, фамилия и страна участника. Кружение это, или кипение, с виду беспорядочное, бессмысленное, составляло между тем наибольшее удовольствие и, я бы сказал даже, пользу такого рода международных сборищ. Деловая часть — доклады, сообщения — все это, конечно, тоже было необходимо, хотя большинство лишь делало вид, что что-то в них понимает. Некоторые и не жаждали понимать, но все жаждали общения, возможности поболтать с тем, кого давно знали по публикациям, что-то спросить, рассказать, выяснить. Тут-то и происходило самое нужное, самое дорогое для всех этих людей, разлученных бóльшую часть жизни, разбросанных по университетам, институтам, лабораториям Европы, Америки, Азии и даже Австралии.

Тут были знаменитости прошлого, памятные только пожилым, некогда нашумевшие, обещавшие новые направления; надежды, как водится, не оправдались, от обещаний осталось совсем немного, слава богу, если хоть что-то, хоть одна мутация, одна статейка... Историей своей науки — генетики — молодые, как правило, не интересовались. Для них существовали корифеи сегодняшние, лидеры новых надежд, новых обещаний. Были знаменитости в каких-то своих узких областях — по болезням кукурузы, по выживаемости дуба, были знаменитости всеобщие, которые сумели что-то понять в наследственности, в механизме эволюции. А были та-

кие знаменитости, живые классики, о которых даже я что-то слышал. Между столами, между группами сновали молодые, у которых все было впереди — и громкая слава, и горькие неудачи.

Прием был тем замечателен, что знакомства, разговоры происходили в начале конгресса, можно было выяснить, кто — кто, кто присутствует, кого нет...

В этом совершенно хаотическом движении среди возгласов, звона рюмок, смеха, поклонов вдруг что-то произошло, легкое движение, шепот пополз, зашелестел. На рассеянно-улыбчивых лицах, оживленных как бы беспредметно, появилось любопытство. Кое-кто двинулся в дальний угол зала. Одни словно невзначай, другие решительно и удивленно.

В том дальнем углу в кресле сидел Зубр. Могучая его голова была набычена, маленькие глазки сверкали исподлобья колюче и зорко. К нему подходили, кланялись, осторожно пожимали руку. Оттопырив нижнюю губу, он пофыркивал, рычал то одобрительно, то возмущенно. Густая седая грива его лохматилась. Он был, конечно, стар, но годы не источили его, а скорее задубили. Он был тяжел и тверд, как мореный дуб.

Женщина, худенькая, немолодая, обняла его, расцеловала. Женщина была та самая Шарлотта Ауэрбах, чьи книги недавно вышли в переводе на русский, вызвали интерес, ее уже знали в лицо, в то время как Зубра в лицо не знали. Большинство подходили именно затем, чтобы взглянуть на него хотя бы издали. Шарлотта приехала из Англии. Когда-то она бежала туда из гитлеровской Германии. Зубр помог ей устроиться в Англии. Это было давно, в 1933 году, возможно, он забыл об этом, но она помнила малейшие подробности. Легкие женские слезы радости катились по ее щекам. Кроме радости была еще и печаль долгой разлуки. Сорок пять лет прошло с того дня, как они расстались. Миновали эпохи, весь мир изменился, а Зубр оставался для нее прежним, все таким же старшим, хотя они были одноклассниками.

Подошел американец, лауреат Нобелевской премии, нескладный, длиннорукий. Он обнял Зубра, захлопал носом. Он вел себя как хотел, вытирал нос рукой, он был корифей и мог позволить себе. За ним подошел грек Канелис, которого Зубр спас лет тридцать пять назад в Берлине, продержав его у себя до конца войны. Древний грек Антоша Канелис, как звал его Зубр, был не-

многословен, он знал все языки, хотя не говорил ни на одном, он любил молчать, он молчал на всех языках, и тем не менее все убеждались через его молчаливость, какой это прекрасный человек.

Деликатно выждав свою очередь, к Зубру приблизился Майкл Уайт, австралийская звезда, самоуверенный красавец; но тут он несколько смущенно принялся объяснять, что он тот самый юноша, который сопровождал Зубра и Феодосия Добржанского по Лондону, вернее, должен был водить, а он сопровождал, потому что Зубр и Добржанский разговаривали между собой, теряли его, потом спохватывались, кричали: «Где этот парень?» Зубр одобрительно хмыкал: «Федька Добржанский...» Как ни странно, Уайта он помнил, а Лондон помнился смутно. За Уайтом тянулся голландец, за ним группа немцев, за ней азербайджанский молодой профессор, которого представил его московский соавтор. С Джузеппе Монталенти Зубр перемолвился по-итальянски. Одним из украшений конгресса — ибо на каждом конгрессе, симпозиуме, съезде должно быть свое «высочество» — был швед Густафсон, он тоже протискивался к Зубру. А другое украшение конгресса — президент общества, представитель, уполномоченный, главный редактор, координатор и прочая, — человек светский, тертый, умеющий себя подать, всегда находчиво-острый, тут вдруг оробел и все допытывался у одной из наших молоденьких сотрудниц — удобно ли представить его Зубру.

Молодые теснились поодаль, с любопытством разглядывая и самого Зубра, и этот не предусмотренный программой церемониал — парад знаменитостей, которые подходили к Зубру засвидетельствовать свое почтение. Сам Зубр принимал этот неожиданный парад как должное. Похоже было, что ему нравилась роль маршала или патриарха; он милостиво кивал, выслушивал людей, которые занимались несомненно наилучшей, самой прекрасной и доброй из всех наук — они изучали Природу: кто и что растет на земле, все, что движется, летает, ползает, почему все это живое живет и множится, почему развивается, меняется или не меняется, сохраняя свои формы. Поколение за поколением эти люди старались понять то таинственное начало, которое отличает живое от неживого. Как никто другой, постигали они душу, что вложена в каждого червяка, в каждую муху, хотя, разумеется, вместо этого ненаучного назва-

ния они употребляли длинные труднопроизносимые термины; но тот из них, кто забирался глубоко, невольно замирал перед чудом совершенства ничтожнейших организмов. Даже на уровне клетки, простейшего устройства, оставалась непостижимая сложность поведения, нечто одушевленное. Прикосновение к трепетной этой материи невольно объединяло всю эту разноязычную, разновозрастную, разноликую публику.

Как всегда бывает, тут же возле Зубра вертелся один бойкий профессор, собирая свою мелкую жатву визитных карточек, рукопожатий; он произносил какие-то фразы, вероятно умные, но они пропадали, на них не хватало внимания.

Непосвященные шептались, стараясь не пропустить ничего из происходящего. Потому что чувствовали, что на глазах у них творится событие историческое. О Зубре ходили легенды, множество легенд, одна невероятнее другой. Их передавали на ухо. Не верили. Ахали. Было бы странно, если бы подобные рассказы подтвердились. Они походили на мифы, которыми пытались объяснить какие-то факты его жизни. О нем существовали анекдоты, ему приписывались изречения, выходки и поступки совершенно невозможные. Были просто сказочные истории, интересно, что не всегда для него лестные, некоторые так прямо зловещие. Но большей частью героические или же плутовские, никак не связанные с наукой.

Теперь, разглядывая его в натуральности, все невольно сличали его с тем образом, который витал в их воображении. И как ни удивительно, все сходилось. Видно было по его коренастой фигуре, по его ручищам, какой огромной физической силы был этот человек. Лицо его было изрезано морщинами жизни бурной и значительной. Следы минувших схваток, отчаянных схваток, не безобразили, а скорее украшали его сильную, породистую физиономию. И держался он по-иному, чем все, — свободнее, раскованнее. Чувствовалось, что безоглядность присуща его натуре. Он позволял себе быть самим собою. Каким-то образом он сохранял эту привилегию детей. В нем были изысканность и — грубость. И то и другое соответствовало легендам о его аристократических предках и о его драках с уголовниками.

У любимого его ученика Володи Иванова я увидел дома картину. Это было единственное, что он взял после смерти Зубра на память об учителе. В. Иванову было

предоставлено право выбора, и он выбрал картину. Ее называют «Три зубра». На ней изображен сам Зубр, он сидит, держит руки на фигуре зубра; на стене, над ним, висит фотография Нильса Бора. Обычная, известная фотография, но в соседстве с этими двумя зубрами у Нильса Бора тоже проступает «зубрость», бычье упорство, тяжелая челюсть, сосредоточенность и диковатость, неприрученность зубров, бизонов — «вида, почти начисто истребленного человеком». У них много общего — у Зубра и у Нильса Бора, недаром они так легко сошлись, когда Зубр приехал в школу Нильса Бора.

Фигура под руками Зубра как бы вырастает в матерую четвероногую сутулую махину весом чуть ли не в тонну, с мохнатым загривком, горбоносой мордой. Даже в заповеднике они не подпускают к себе человека ближе чем на тридцать метров.

А сам Зубр здесь еще в полной силе и красе. Художник рисовал его, когда ему было лет шестьдесят. А может, шестьдесят пять или семьдесят. Последние годы он оставался неизменным. Новые морщины не старили его. Я никогда не встречал похожих на него. Он из тех людей, которые запоминаются сразу, их ни с кем не спутаешь. Я видел его молодые фотографии и портреты — разумеется, лицо там гладкое, волосы дыбом, кудряво-черные, но выхватываешь его сразу, в любой группе. Даже на кадре плохо снятой кинохроники 1918 года его можно узнать в строю красноармейцев. День всеобуча в Москве 28 мая 1918 года. Красная площадь. У Исторического музея стоят в вольном строю красноармейцы. Над ними бархатные знамена-хоругви, «Да здравствует союз рабочих и крестьян!» и прочие надписи, уже плохо различимые. Красноармейцы в гимнастерках, ботинки с обмотками, фуражечки — козырьки лакированные. Среди прочих рядом с усачом стоит в профиль наш Зубр. Тоненький, но знакомо сутуловатый, узнаваемый безошибочно. Снимок был напечатан в 1967 году в журнале «Советский экран», и сразу начались звонки: «Видали? Это же вы! Мы вас сразу нашли...»

Художник на портрете написал его красной краской. Не знаю, что хотел красным цветом сказать армянский художник, но портрет получился. На нем кистью выражены куда лучше, чем я могу это сделать пером, раскаленность этой натуры, «зубрость».

...В бинокль я видел, как он выходил из чащи. Косматая туша, не приспособленная к заповеднику. Тесно ему было в этих малых, скупно отмеренных лесных угодьях, некуда запрятать громаду своего тела, некуда девать свою силищу. Воинственно уставив короткие рога, он шел почти бесшумно, влажные ноздри его подрагивали. Он казался громоздким, был излишне тяжел, излишне велик рядом с косулями, горными козлами и прочей живностью заповедника. В нем чувствовалась древность...

Мне вспомнилась больничная палата, уставленная койками в два ряда. Кроме Зубра там лежали еще человек десять. Я нашел его сразу, потому что все смотрели в его сторону. Он кого-то слушал, и время от времени раздавался его низкий мощный рык. Он был центром палаты. Где бы он ни появлялся, через какое-то время он становился центром. От него ненасытно ждали чего-то и чем больше получали, тем больше ждали.

Я сидел на койке в ногах у него. Густой запах лекарств, карболки, спирта, стеклянный звон пузырьков, скрип кроватей, охи недужных тел — больничный быт никак не вязался с Зубром. Он полулежал на подушках. В распахе казенной рубахи видна была широкая косматая грудь. Руки, мускулистые, обнаженные по локоть, вылеплены были безукоризненно. Кожа была гладкой, белой, неуместно нежной. Воинственно выпяченная нижняя губа придавала лицу и грубость, и породистость. В нем это сочеталось — мужицкое и утонченное. Зверское и аристократическое. В этом бязевом застиранном белье, таком же, как на всех, сотрясаемый тем же кашлем, подчиненный тем же процедурам, что и все, — уколы, осмотры, в этой обстановке не оставалось ни должностей, ни званий, ни окладов, ничего приобретенного, ничего из того, что ценилось там, за дверями палаты. Я проверил себя: может, мы приписываем ему многое потому, что знаем, кто он? Оказалось, что и здесь, в этой палате, больные, понятия не имея, кто такой Зубр, откуда он, чем знаменит, признали его старшинство, его превосходство.

Я рассказывал ему новости, когда вдруг луч зимнего солнца сбоку высветил его заросшую шею, уголок глаза, прикрытый морщинистым веком, седые космы его шевелюры. Непривычный ракурс, световая вспышка позволили увидеть нечто скрытое: это не возраст, не престарелость, а *древность*. Существо из другой эпохи,

архаичное, чудом уцелевшее до наших дней. Он был из той поры, когда стада зубров еще бродили в урочищах Кавказа и горах Гарца. Экземпляр давно вымершего вида, диговина вроде живой кистеперой рыбы — целаканта, которую все считали вымершей семьдесят миллионов лет назад.

Армянский художник запечатлел эту допотопность, возможно, даже не сознавая того. Мы все ходили вокруг да около, а он выразил то, что не давалось нам. Художники бывают провидцами. Перелистывая альбом рисунков Леонида Пастернака, я обратил внимание на портреты двух его сыновей — Александра и Бориса: два симпатичных мальчика, нарисованных отцом с любовью, и как явственно отличие облика Бориса, отмеченного печатью гения!

В этой случайной городской больнице, лишенный привилегий, в общей палате, он выглядел еще трагичнее и величественнее. Античный герой, римский император в изгнании, король Лир в рубище — разная такая ерундовина лезла в голову.

А еще протопоп Аввакум, которого Зубр чрезвычайно чтит, цитировал и приписывал ему свои собственные изречения для пущего авторитета:

— Вернемся на первое, как говаривал протопоп Аввакум, и посмотрим, почему же сие важно в-пятых, и увидим, что в-пятых сие вовсе и не важно.

Тощие подушки, и горелая каша, и хрип в груди были не важны, а важно было то, что он только что вычитал в английской книжке «Жизнь после жизни» — рассказы вернувшихся *оттуда*, после реанимации, тех, кто побывал на том берегу, заглянул за порог бытия. Вся мощь его ума, его знаний беспомощно застревала перед глухой стеной, в которую упирался конец жизни. Что там? Есть там что-нибудь или же нет? Куда же девается душа, сознание, мое «я»?

...Луч погас, видение пропало, передо мной снова был хрипящий, надсадно кашляющий больной, который болеть не умел, потому что болел редко, и оттого болел тяжело. Ощущение бренности, растущей непрочности его пребывания среди нас встревожило меня, пожалуй, впервые. До этой минуты он казался бессмертным, как Нева, как Уральские горы, как статуи римских консулов, что стоят в Эрмитаже... Цепь имела конец, другой конец ее уходил в неведомые нам двадцатые, тридцатые годы, в гражданскую войну, в Московский университет

времен Лебедева и Тимирязева, тянулся и далее — в девятнадцатый век и даже в восемнадцатый, во времена Екатерины. Он был живым, осязаемым звеном этой цепи времен, казалось, оборванной навсегда, но вот найденной, еще живой.

Вот тогда я решил записать его рассказы, сохранить, запрятать в кассеты, в рукописи хотя бы остатки того, что до сих пор транжирил в трепе с ним у костров, в застолье, в бестолковых расспросах. С этого дня я стал записывать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На перроне Казанского вокзала в морозный день 1955 года собралось довольно много встречающих. Большинство из них были знакомы, поскольку все они были коренные москвичи, связанные университетом, кафедрами, домами, общими приятелями. Встречать Зубра пришли не только биологи, были тут и физики, и филологи, и моряки, прежде всего друзья по поколению. Явились почему-то семьями, с детьми, чтобы показать им его, того самого, о котором столько толковали. Все ощущали торжественность, чуть ли не историчность момента.

Впервые Зубру было разрешено вернуться в Москву. Отсутствовал он тридцать лет, ибо отбыл из Москвы в 1925 году. Отбывал он с Белорусского вокзала в Германию, а возвращался ныне с Казанского, с Урала, с другой стороны земли.

1956 год был годом особенным, бурным годом прозрений, взлета общественного сознания, годом надежд, споров, освобождения от застарелых страхов. Страхи сидели глубоко, так что даже встреча Зубра на вокзале требовала некоторого гражданского мужества. Все были возбуждены и взволнованы. Не могли представить себе — кого они увидят, какой он стал, узнают ли? В тот год возвращались многие, но этот приезд был особенным. Зубр не возвращался, а приезжал их навестить, он как бы спускался к ним со своих Уральских гор.

Распаренные, счастливые выскакивали из вагонов пассажиры, суетились с чемоданами и тюками; и наконец показался Зубр с супругою. Он был в шубе барского покроя, с бобровым воротником-шалью; она, красавица, потомственная москвичка, которую он звал Лелька, вы-

ше его на полголовы, была к тому же украшена высоченной меховой шляпой. Их узнали сразу. Дети, те, кто никогда не видел их, выделили их безошибочно по абсолютной свободе манер, раскованности, той непринужденности движений, которая естественна, красива и почему-то так трудна. Тогда, в 1956 году, это было особенно заметно. Люди держались замкнуто, стесненно, тем более в публичных местах. У каждого времени своя жестикуляция, своя походка, своя манера раскланиваться, брать под руку, пить чай, держать речь. В пятидесятые годы вели себя иначе, чем в тридцатые или двадцатые. Например, на всех производило впечатление, что Зубр поцеловал руки встречавшим его женщинам. Тогда это было не принято. Поеживались от его громкого голоса, от неосторожных фраз. Что-то было в поведении приехавших не нынешнее, не тутошнее и в то же время смутно узнаваемое, как будто появились предки, знакомые по семейным преданиям. Этакое старомодное, отжитое, но было и другое — утраченное. Большинство встречающих учились либо с Лелькой в одной гимназии, либо с ним — в гимназии или университете. Они-то и узнавали общее, молодое, что сохранилось только у этих двоих — у Лельки и Колюши, как звали их однокашники.

Все эти дни и недели застолья сменялись выступлениями, докладами, обсуждениями, бесконечными сладостными спорами, рассказами, расспросами. Капица, Ляпунов, Ландау, Тамм, Дубинин, Сукачев, академики, студенты, знакомые знакомых, родственники — всем было любопытно; и те, кто побывал раз, старались прийти снова. Свита поклонников росла, привлеченная... Чем? Это поняли далеко не сразу.

А пока что... Чернобородый Ляпунов, из семьи великих математиков и сам замечательный математик, вдохновенно воспевал создание Академгородка под Новосибирском. При Академгородке будет создана школа для одаренных ребят, будущих математиков, которых будем выискивать по всей Сибири. Под эгидой математики, высшей из наук, будем выращивать и поощрять другие науки, ибо математика — наука всех наук. Ляпунов приглашал и гуманитариев, обещал им местечко под крылом точных наук. Математикам полезен некоторый гуманитарный блеск для общего развития. Матема-

тики возьмут шефство над музыкой, над живописью. Соперничество возникало с физиками, которые считали себя главнее. После атомной бомбы они возбуждали почтение и надежды. Может быть, им под силу создать изобилие энергии, даровым электричеством преобразить окраины, облегчить жизнь, труд, решить все проблемы. Ждали, что последуют новые и новые головокружительные открытия физиков, а тут еще подспела кибернетика, все зачитывались книгами Винера: фантастические картины будущего приблизились, казалось, вплотную — искусственный интеллект, роботы, обучающиеся автоматы... Строился город физиков в Дубне, атомная станция в Обнинске, институты в сибирском Академгородке. На физическом факультете были неслыханные конкурсы поступающих. Шли кинокартины о физиках, со сцены слышалось: «Эйнштейн», «протон», «кванты», «цепная реакция»... Физики были героями дня. Парни в клетчатых рубашках, лохмато-расхристанные, небрежно швыряющие жаргонными словечками, увенчанные между тем премиями, наградами, высокими окладами, судили обо всем категорично и свысока. Гуманитарии перед ними робели. Стыдились своего невежества. Филология, история, лингвистика, искусствоведение, философия казались науками отжившими, второстепенными. Будущее принадлежало экспериментаторам и теоретикам. Они, посвященные, таинственные, связанные с какими-то «ящиками», обещали перемену нравов, покровительство опальным художникам. Общественное устройство, экономика, право — все будет подчинено оптимальным научным законам...

Газетчики, лекторы доверчиво подхватывали их категорические пророчества.

По всем городам и весям страны полыхал спор о физиках и лириках. Кто развлекался, подначивал, кто всерьез, до боли сердечной, доказывал, что искусство осталось лишь для развлечений, оно — пустая трата времени, если не дает информации. Лирики смущенно отступали, склоняя голову перед новой силой.

За столом у Реформатских, Ляпуновых, у всех друзей только и слышно было, куда ехать, в какой научный центр, где будем строить науку, по каким новым правилам будем там жить, какие принципы положим... Дивное было время!

Биологию, ту тоже обещали перестроить, перевернуть, пере-пере... Молодые математики, физики, химики, засучив рукава, брались решить ветхозаветные проблемы биологии. Применить к этим козявкам, травкам электронику, она все измерит, все смоделирует. Приборы откроют двери для математиков. В конце концов вся ваша биология, биохимия, все это — физика и математика, это разные формы движения материи. Установим связи и познаем сущность самой жизни, а тогда станем управлять процессами в организмах, в природе на всех уровнях. Хватит вам сотни лет возиться у микроскопов, подсчитывать количество ножек у букашек.

Они считали Зубра своим союзником, но он только посмеивался. Грохот физических барабанов не производил на него впечатления.

— В каждом приборе, аппарате я прежде всего ищу кнопку «стоп!».

Такое от него слушать было странно. И отмахнуться было нельзя. О биофизике кому судить, как не ему — одному из ее создателей, основателей.

Физиков обескураживало, что Нильс Бор, Гейзенберг, Шредингер — их кумиры — были для него коллегами, с которыми он работал, общался. Его пригласил сам Капица сделать доклад на ближайшем «капичнике» — знаменитом сборище лучших наших физиков. Выступать на «капичнике» считалось смертельным номером. Здешняя публика воспитана была на крови и мясе. Могли загрызть, растерзать, сжевать, выплюнув любые регалии. Соображали быстро, усекали, что к чему и почему, за несколько минут.

Ничего этого он не боялся. Откуда он взялся, такой смельчак?

Насчет того, откуда он взялся, это он с удовольствием рассказывал. У него было множество рассказов о своих предках. Там имелись истории шутливые, трагические, скабрёзные, трогательные.

Как он рассказывал, с каким подмигом, рассыпчатым хохотом, как взгаркивал! Магнитофонная запись — всего лишь чертеж, переписанное в книгу — копия копии, тень рассказа.

От многих славных рассказчиков Зубр отличался тем, что каждая из его историй была не просто милой байкой, она рассказывалась зачем-то, что-то объясняла в нем. Но это мы уяснили себе позже.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Его детство было заполнено пращурами не только девятнадцатого, но и восемнадцатого века.

— ...Тимофеев-Ресовский — это я по отцу. А мать моя урожденная Всеволожская. Древняя-предревняя русская фамилия. На самый верх никогда не попадали, то беднели, то богатели, однако имений своих не теряли, так что окончательного разорения не достигали. Одна из невест Грозного была Всеволожская. При Петре один из молодых Всеволожских полюбился царю и был послан за границу учиться в числе прочих абитуриентов. Вернувшись, как положено, стал работать на благо отечества. Заимел дом в Санкт-Петербурге, процветал. Однако при Бироне, когда петровским птенцам приходилось плохо, его однажды предупредили об аресте, и он драпанул с чадами на своей лошадиной тяге. Смылся он на свои дикие земли в Нижнее Заволжье, куда-то на границу с киргизскими ордами. Поскольку барин он был хороший, из разных имений к нему потихоньку стали стекаться его мужички, тем более что Бирон имения эти реквизировал. Так этот Всеволожский обосновался ровно независимый князек. И задался он — не то чтобы пузо ублажить — полезной целью, государственную, можно сказать, задачу себе поставил: обезопасить торговые пути в Бухару, Хиву, Среднюю Азию, а потом в Персию. Грабили русских купцов хивинцы, кокандцы, всякие беспризорные кочевники. Он сражался с этими, как он говорил, азиатами. Собралось у него много казаков. Комфорт. Никакого начальства кругом до горизонта, никто глаза не мозолит, ни один мундир...

Смешок, вздох сочувствия, горделивый хмык, как будто не про восемнадцатый век, а про семейные дела, про дядю родного рассказывает. Прапрапрадеды стояли за его спиной, не какие-то пыльные предки, а живые родственники. Соотношение между дремучей давностью и горячим его чувством — вот какое несоответствие удивляло.

— ...Настоящий разбойник без убийства обходится. Ему страха вполне хватает. Для души было у родича отрадное им всем дело: узнав, что где-нибудь на Волге сажали губернатором, комендантом или еще каким начальником немца, он со своими казаками город сей брал

штурмом, немца сек публично и с великим срамом отпустил на все четыре стороны, пусть жалуется своему Бирону, а сам ускакивал в свое не ведомое никому поместье. Так он свои принципы тетешил, пользуясь тем, что веселая Елизавета и матушка Екатерина просматривали его. Был он ранен на девятом десятке в плечо, но тяжко. Верхом тем не менее доехал до дому, поддерживали его с обеих сторон его казаки. Похоронить себя приказал неподалеку на очень красивом месте. Там протекают никуда не впадающие реки Большой и Малый Узень, они в пески уходят. В овраге Малого Узеня и стояла усадьба. На склоне оврага похоронили его.

Имелся и другой пращур, вполне вроде благонамеренный мужчина, который, однако, дошел до пиратства. Он тоже, между прочим, был отправлен Петром за границу изучать землемерию. Вернувшись, стал землепроходцем, ходил всю жизнь на освоение охотских и камчатских земель. Интересовался образованием рек, озер и прочими объектами физической географии. В чине бригадира, семидесяти пяти лет, вышел в отставку и поселился в малом своем имении в Калужской губернии. Собрал он замечательную библиотеку на европейских языках по географии, минералогии, более же всего занимал его Гольфстрим. Изучал он иностранные сведения по дебиту Гольфстрима — куда деваются его воды. Считал, считал и решил, что известные ветви Гольфстрима не покрывают дебита, должно быть еще одно ответвление на восток от Груманта, ныне Шпицбергена, и Земли Франца-Иосифа. Если там есть острова, то это должны быть зеленые теплые острова, с доброй зимой и ярким летом. И так он возмечтал, так затуманился, что постановил отправиться в экспедицию. Все движимое продал, имение заложил, собрал полсотни своих мужиков-казаков и поехал в Архангельск. Там снарядил три шнеки, и поплыли на них эти чудики в Арктику открывать теплые острова...

Человек, так хорошо знающий своих предков, встретился мне впервые. В наше время дальше деда редко кто чего помнит и знает. Да и не было интереса большого. Что предки? Какая от них польза? «Отречемся от старого мира...» Заодно отрекались и от родословной. Там кто? Угнетатели или угнетенные, темные, забитые. Мы начало всему. Мы всё начинали заново. И снова

заново. И еще раз. Чтобы дворянского своего происхождения не скрывать, такого в те годы не водилось. Он же хоть и посмеивался, а рассказывал про своих куролесов с гордостью.

— ...Ехали они помаленьку вдоль кромки льдов. Пращур промерял температуру, скорости и другие качества и, по-видимому, убедился, что был не прав, — неучтенных ветвей Гольфстрима нет, и теплых зеленых островов на горизонте не будет. Добрались они до Груманта, там подхватили их штормы, вынесли в северную Атлантику и выбросили на берега Нормандии. Несколько человек потонуло, остальные вылезли на французские скалы и отправились в Париж. Вместо того чтобы просить русского посла в Париже отправить их домой, прашур затевает новое предприятие. Возвращаться-то ни с чем неохота. В это время французские коммерсанты осваивают Алжир, Марокко; а прашур мой всегда интерес имел к Северной Африке; и предложил он коммерсантам принять участие в их экспедиции в качестве охраны. Подрядились. Отправились в Марокко. Там напали на них марокканские воины, забрали в плен и продали в рабство. Привезли на рынок в Александрию египетскую. Пращур завязал приятельство с единовверными греками, и те кого выкупили из рабства, кого выкрали. Старика выкупили по дешевке — седой да тощий. Жили они у греков. И однажды увидели турецкий фрегат. Там были только часовые. Безлунной ночью вместе с греками на лодках подплыли, забрались, часовых скинули в море (все, как в романах Стивенсона!), подняли паруса и ушли на турецком корабле. Известно им было, что Россия все еще находится в состоянии войны с турецкой Портой, и стали они каперствовать. Согласно тогдашним порядкам, за участие в военных действиях частный корабль получал процент с награбленного имущества. Поскольку судно оказалось быстроходным, каперствовали успешно, причем на паях с единовверными греками. Море теплое, опять же — воля вольная. Мужичкам-казакам нравилось сие занятие, пока не напоролись на турецкий флот и были взяты в плен. Однако не рабами, а военнопленными. Посажены в лагерь в окрестностях Константинополя...

Далее шел рассказ о том, как снова помогали греки-единовверцы, устраивали побег за побегом, как пере-

правляли беглецов в Малую Азию, пока они не собрались всей компанией и опять долго разбойничали на Анатолийском побережье... Несколько раз я слышал этот рассказ, он повторялся — с мелкими разночтениями — в точности, но с вариациями и новыми подробностями, такими, которые появляются, когда проезжаешь одну и ту же станцию. Ни в каких печатных источниках история эта не зафиксирована, может, историк и сумел бы кое-что разыскать, но Зубр знал ее изустно: была она одной из внутрисемейных легенд, что передавались из поколения в поколение. Таких легенд набиралось много. Каждая имела сюжет, построенный на самобытном характере, действующем в гуще российской истории, подобно Аннибалу де Коконнасу из «Королевы Марго». Раньше я думал, что наша русская история слишком серьезна и мрачна, поэтому у нас не хватает таких героев, как в «Трех мушкетерах», как герои «Острова сокровищ», «Одиссеи капитана Блада». Ничего подобного, история тут ни при чем. Зубр показывал, что и у нас она богата и смехом, и отчаянными приключениями выдумщиков, пиратов, мечтателей, шутейством, авантюрами и такими анекдотами, которые украсили бы любой плутовской роман.

— ...Новенький линейный корабль и фрегат под турецкими флагами. Команда пировала на берегу. Ночью испытанным способом оглушили часовых и уплыли на север. Там князь Потемкин формировал в низовьях рек Таврический флот. В один прекрасный день видят, как два турецких военных корабля приближаются к нашим берегам. Однако они идут под русскими флагами. Поднялся переполох. Решили — обман какой-то, хитрость, но тут им на родном языке доступно разъяснили, что на кораблях не басурмане, а вполне русские люди. Было превеликое торжество и винопитие. Были отправлены гонцы к матушке Екатерине. Она распорядилась приобрести турецкие корабли у благополучно прибывшего из-за границы бригадира и включить их в состав российского флота. Бригадиру же через чин пожаловать генерал-лейтенанта и придворный чин генерал-адъютанта. Деньги немалые позволили ему возместить убытки экспедиции, выкупить именье, наградить своих мужичков...

Оказывается, имелись на эту эпопею документы и грамоты. В семейном архиве хранились дела о приоб-

ретении кораблей. Пожертвовали дела эти в Румянцевскую библиотеку, но не успели передать из-за войны.

— ...Не так-то просто государству что-нибудь подарить. В двадцать втором году калужские власти наконец разрешили нам вывезти архив, но к этому времени директор совхоза, украв все, что мог, стал замечать следы, устроил поджог. Сгорели дом, мебель, архив, уже принятый Румянцевской библиотекой и приготовленный к отправке. Черт с ней, с рухлядью, архива жаль. Я бы должен был содействовать, так я на фронты ходил, а когда возвращался, бежал в зоомузей к своим карповым рыбам и бычкам...

Архив сгорел, осталась память, прочная из-за обязанности знать и хранить родословную. Иначе быть не могло. Гордился ли он или стыдился кого из них, но все они составляли его прошлое, его корни в этой земле, в его жилах текла их кровь, в нем жили их гены, он был их продолжением.

Фамильной чертой и по отцовской, и по материнской линиям были поздние браки. Отец, Владимир Тимофеевич, родился в 1850 году, мать — в 1866 году, поженились они в 1895 году, то есть когда отцу было сорок пять, а матери двадцать девять лет. Он же, Николай, Колюша, родился в 1899 году, то есть еще в девятнадцатом веке. Обе бабки родились еще при Александре I. Одна из них умерла при Ленине — вот какой отрезок захватила! В имении деда жили три старика: повар, садовник и звонарь. Они еще дедом были переведены на пенсию, построили себе три избы и доживали там. Всех троих в 1912 году вывозили в Москву на празднование столетия Отечественной войны, наградили их бронзовыми медалями с надписью: «Не нам, не нам, а имени твоему!»

— ...Поскольку я в своем поколении был старшим, то первый к ним прилепился, они меня очень любили, я после обеда бежал к ним пить чай. Готовила им Надька, с их точки зрения девчонка, ей восемьдесят лет было, нянька моей матери. Тоже жила на покое. Я сидел уши растопыря слушал их байки начиная с наполео-

новских времен. Все это было ими пережито, весь девятнадцатый век, так что для меня это было как современность. История шла ко мне от людей, а не от книг...

В гимназии он живо почувствовал разницу в восприятии истории им и однокашниками. Для них что Отечественная война, что севастопольская кампания были одинаковой стариной, а для него в севастопольскую повар был уже пожилым человеком, служил казначеем в севастопольском ополчении, которое собирали по всей России...

Теперь могу признаться — слова надписи на медали я при случае проверил в Эрмитаже, в отделе нумизматики. Сперва специалисты сказали, что, очевидно, я перепутал: с подобной надписью медали давались сразу после победы участникам кампании 1812 года, серебряные и бронзовые. В столетие же, в 1912 году, медали были отчеканены с другой надписью. Я расстроился: одна неточность, другая — и рассказы Зубра могли превратиться в рассказы, тень подозрения могла покрыть многое. Я проверял для того, чтобы обрести уверенность. Мне нужна была уверенность. Я вернулся в Эрмитаж и попросил перепроверить. Они покопались в каких-то других справочниках и выяснили, что старикам солдатам, участникам кампании Отечественной войны, то есть тем, кому за сто лет, давали те самые медали 1812 года, их специально изготовили со старого штампа, сохраненного в Монетном дворе: «Не нам, не нам, а имени твоему!» Рассказ Зубра подтвердился. Кроме поразительной памяти можно было положиться на его добросовестность ученого.

По морской линии в предках у него были: адмирал Сенявин, тот, который кильватерную колонну выдумал; адмирал Головнин, который кругосветку плавал, у японцев в плену сидел; адмирал Невельской, который присоединил незаконно Дальний Восток к Российской империи, за что был разжалован Нессельроде.

— ...Почти разжалован! Почти! У этого Киссельвроде — так у нас дома его звали — не получилось. А было так...

Какое счастье, что я хотя бы часть дослушал, записал... Когда-то отец мой пытался рассказать мне про его деда, моего прадеда, и про какого-то чудака дядьку, но мне было некогда. Мне всегда было некогда, когда речь

заходила о прошедшем, в котором меня не было. Так я и не узнал ничего о своих предках, а теперь уже спросить не у кого. Позади, за детством, за отцовскими братьями и мамиными молодыми польскими фотографиями, смутно шевелятся безымянные фигуры, а дальше — пустошь, холодные просторы опустевших земель и селений...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— ...Этот отличился в турецкую кампанию восемьсот семьдесят седьмого — семьдесят восьмого годов на Черном море. Успешно применял мины против турецкого флота. У турок флот был новейший. Русские вместо торпед запускали паровые катера с шестовыми минами, которые надо было завести под корму или еще куда. Два добровольца, один обязательно офицер, другой — матрос, при попутном ветре разгонялись на полный ход против неприятельского корабля, который по ним, естественно, палил из всех пушек. Иногда они успевали его боднуть в бок бомбой. Она взрывалась и доставляла одним радость, другим — неприятности. Матрос и офицер мчались назад; если не успевали, то выпрыгивали и спасались вплавь. Так что они далеко не всегда погибали. Геройство лишнее у нас не поощрялось.

Так и произошло с моим двоюродным дедом, братом моего деда. Сам дед был одним из деятелей освобождения крестьян. Служил директором казенной палаты в Симбирске. Брат же его, моряк, был чудаковатый холостяк, однако офицер был превосходный. В данной истории взорвали они не какую-то посудину, а линейный корабль турецкого флота, вовремя сиганули в воду, потом выбрались на какую-то косу, спаслись. Наградили его золотым георгиевским оружием и офицерским Георгием четвертой степени — я его помню: белый тяжеленький крестик. Сделался он затем контр-адмиралом и наконец полным адмиралом.

Послали его с учебной флотилией по Средиземному морю. От порта к порту добрались они до Тулона. Стали там. Недалеко Ницца, Монте-Карло. Потянуло его туда, а как увидел рулетку, шарик этот журчащий, так решил рискнуть. Рулетка чем хороша? Это риск в чистом виде. Никакого умения, все расчеты исключены. Касаешься судьбы, выбор у тебя большой: можешь приблизиться

к ней с любого бока... Психология играющих в рулетку — занятная штука. У многих людей эта страсть дремлет. Проснулась она и у моего адмирала. Человек он был небогатый по тогдашним понятиям. Жалованье адмиральское — и только. Министерское жалованье и то было небольшое. Мой отец, например, получал вдвое больше министра. А профессор получал вдвое, а то и втрое больше министра. Адмирал взял с собою все золотые франки, какие у него были, немного, и никак не мог их проиграть: куда ни ставит, все ему прибавляется. Бог игры взял его за руку и повел. Игроки знают такое наваждение. Тут не рассуждай и не отрывайся. Дошел он до редкого события — сорвал банк Монте-Карло. Сколько в точности — не помню, три миллиона или же пять миллионов франков. Одним словом, в этот день банк прекращает платежи, и вся музыка кончается до завтрашнего вечера. Выплатили ему деньги. Он послал длинную телеграмму моему деду, своему братцу: посмотри, мол, хорошее именище поблизости. И отправил сколько-то тысяч франков в задаток. Сам же пошел со своей эскадрой дальше. Он не был ни кутила, ни пьяница, но, приезжая в очередной порт, отправлялся в ресторан и открывал его для местного населения, чтобы пили и гуляли в честь российского флота. Будучи в Италии мальчиком, мы с отцом заставляли еще в портах людей, которые вспоминали, как один русский поил и кормил горожан. Так он добрался до Константинополя. Оттуда дед получил от братца телеграмму — вышли сто рублей. Все миллионы спустил. Было это в начале девяностых годов. Вышел в отставку высокопревосходительством. Я видел его в парадной форме. Ослепительное зрелище! С этой формой тоже был случай на моей памяти, в девятьсот шестом году.

В Калуге сидел тогда отвратный губернатор. Земцы с ним не ладили. Они старались завести ветеринарные пункты, чтобы присматривать эпизоотическое состояние бессловесных скотов, кормящих всяких словесных скотов. Губернатор же чинил им препятствия. Адмирал слушал, слушал жалобы земцев, которых мало уважал, да как закричит на них: «Что вы языками попусту чешете! Как так губернатор противится? Раз дело правое, значит, заставить его надо». Велел заложить карету четвериком, на козлы — кучер, на запятки — матрос его бывший (он любил ездить по-старинному), а в карету приказал посадить полдюжины овец. И поехал в Калу-

гу. Подкатил к губернаторскому дому. Там увидели, что вылезает полный адмирал во всем обличье, при всех регалиях, лентах. Доложили губернатору. Тот выбежал на крыльцо приветствовать. Высокопревосходительство вошел в переднюю. «Мне,— говорит,— сообщили, что ты против ветеринарных мер». На «ты» его, начальственно. «Надо,— говорит,— вводить пункты ветеринарные. Но раз ты против, привез я тебе, милейший, полдюжины своих овец, лечи их». Хлопнул в ладоши, и матрос загоняет их в губернаторский дом. Губернатор в ужасе. Лепечет, что неправильно его поняли. «Ну, раз неправильно — другое дело. От тебя только бумажка требуется. Присылай в ресторан, я там обедаю. Пришлешь?» — «Пришлю».

Адмирал погрузил обратно своих овец. Поехал разыскивать земских деятелей. Повез их в ресторан. Сидят выпивают. Является нарочный от губернатора с бумагой. Земцы обалдели...

Адмирала Зубр хорошо помнил и кончину его помнил. Отпраздновав свое восьмидесятипятилетие, адмирал привел все дела в порядок, огласил завещание и застрелился из револьвера системы «бульдог».

Кончено дело, зарезан старик,
Дунай серебрится, блистая.

Первая строка его излюбленной присказки произносилась с мрачным наслаждением, затем переход к радостному удивлению и хохот.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— ...По случаю жары все участники семинара заходят в воду по горло, а докладчик по пояс,— предложил Зубр.

Докладчик, Владимир Павлович, хоть и фронтовик и в те годы отнюдь не пожилой, пришел в некоторое смущение, счел это неуместной шуткой, более того — неуважительной по отношению к докладчику: слушание в воде — обстановка явно неподходящая. Происходило это в Миассове в девятьсот пятьдесят восьмом году. К такому еще не привыкли. По крайней мере, биологи. Тогда Зубр со всей серьезностью поставил вопрос на голосование: подходящая обстановка или неподходящая?

Разумеется, большинством голосов признали, что в такую жару нахождение семинара в воде — вполне подходящая обстановка. После чего все слушатели разделись и полезли в воду — студенты, и доктора наук, девицы, и пожилые люди, и сам Зубр. Докладчик, хоть и остался на берегу, должен был разоблачиться до трусов. Свои графики он чертил мелом на опрокинутой лодке.

Из всех заседаний запомнилось более всего это, в воде. Запомнилось и самому Владимиру Павловичу, несмотря на то, что оно вроде бы шокировало его. Запомнилось всем участникам и его сообщение. Потому что — в воде. Хотя оно и само по себе заслуживало.

— После доклада он меня поцеловал. Это было посвящение. Я почувствовал: у меня отрастают золотые шпоры. — Он замолчал, пораженный какой-то мыслью, потом сказал: — Помните, в «Фаусте»: «Ты равен тому, кого понимаешь». Зубр был выше меня, потому что я его не понимал. Но дело в том, *как* я его не понимал. Так не понимал, что он был на две головы выше меня.

Владимир Павлович о себе достаточно высокого мнения. Он человек скорее скептический, чем восторженный. Характеристики, которые он дает людям, едки и разоблачительны, а здесь... Я раздумываю, в чем же непонятность Зубра.

— Он обладал стратегическим подходом к биологии. Это так же, как если бы я, мысля на уровне батальона, пытался понять мышление командующего фронтом.

Снова он вернулся к тому поцелую, которым гордился не меньше, чем фронтовыми орденами.

По вечерам на берегу Можайского моря устраивали костер и большой общий треп. Главой трепа был Зубр. Он заставлял выступать старых профессоров, докторов и прочих мэтров. Кто о чем: о своих путешествиях, о картинах Рериха, о женской красоте, о стихах Марины Цветаевой.

В желтом танцующем свете костра совершались превращения: некоторые известные, заслуженные ученые оказывались бесцветными рассказчиками, многословными, лишенными собственных мыслей. Они сообщали вещи банальные, от приближения эти люди проигрывали. Выйдя из храма науки, жрецы становились скучноватыми обывателями. Но были и такие — чем ближе, тем интереснее. Были сочинители весьма неплохих стихов, были остроумцы, были талантливые рас-

сказчики, были знатоки истории. Тем не менее все это рано или поздно приедалось, и тогда обращались к Зубру, упрашивали его что-нибудь рассказать о себе. Жизнь его казалась неисчерпаемой...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Наступали на юг, он был рядовым красноармейцем 113-го пехотного полка, потом военное счастье перевернулось, и они стали отступать перед «дикой дивизией», как называли мамонтовские части. Его назначили командиром взвода. Командовал он недолго, подхватил сыпняк. Его пришлось оставить на каком-то хуторе. Полк его расколошматили. Он лежал без призора не помнит сколько. Зима еще держалась. В бреду он выскакивал наружу, на снег. Мимо проходила красная воинская часть. Хозяин хутора постарался сбыть его. Санитары взяли его и, как тогда выражались, «ссыпали» на сыпной пункт, то есть на солдатский сыпнотифозный пункт. Разместился пункт на сахарном заводе километрах в двенадцати от Тулы. Лежали вповалку и командиры, и красноармейцы в главном заводском корпусе. Окна были выбиты. «Ссыпали» туда солдатиков сыпнотифозных, брюшнотифозных, с возвратным тифом, с пятнистым тифом — со всеми тифами; а также контуженых, простуженных и проч. В конце концов все получали тот или иной тиф в придачу к тому, с чем их привезли. Около двух тысяч лежало там. Колюша наш выжил прежде всего потому, что крепок был исключительно. Кроме того, по его теории, еще и потому выжил, что лежал у самого окна, на морозце. Уход за сыпнотифозными, поскольку врачей не имелось, заключался в том, что через день приезжали на санях солдатики, привозили свежих сыпняков, забирали очередные трупы, сваливали их рядками на свой транспорт и увозили. А заодно с больными привозили по два ведра на каждый зал «карих глазок». Суп варили такой из голов и хвостов воблиных. Сама вобла шла куда-то, видно воюющим солдатам, может, в детские сады, в детприемники, — кто его знает, а вот обрезки кидали в суп, туда же добавляли чуток пши, была такая дальневосточная дикая культура вроде проса. В Москве из всех каш была пша. Осточертела она всем до предела, поговорку даже переделали: тля есть травы, ржа — железо, а пша — душу.

Ведра с «карими глазками» ставили у входа, и проблема была — доползти, ибо сил не хватало. Когда Колюша оклемался, почувствовал он голод, зверский аппетит. Вернее так: почувствовал голод и понял, что перемогся, не помер. Слабость была ужасная, сил хватало только на то, чтобы на брюхе, крокодилом, переползать между больными. Подползал к покойничку, у солдата над головой в вещевом мешке всегда какая-нибудь жуйка хранится. Пошарит, пощупает — глядишь, корочку нашел. Сосал. Грызть сил не было. Потом добирался до ведра. Надо было подняться, чтобы мордой залезть в ведро. В зеленой водичке плавали вываренные воблины глаза, кругленькие, со зрачками, потому и назывался супок «карие глазки». Сухая корочка да «карие глазки» — вот чем душа держалась, не отлетала. Возможности человека в смысле голода велики, голодать человек может долго, если не паникует.

Начальствовала над этим учреждением сестра милосердия. Время от времени она появлялась, как фея, в красных резиновых сапогах, поверх шубки белый халат. Заглянет в зал, заплачет и уйдет. Ни лекарств у нее, ни санитаров. Случилось как-то раз — дошла она до Колюши. А он уже шевелил руками, двигался. Вокруг трупы. Ну она, естественно, обратила внимание на живого. Спросила:

— Ты кто?

Колюша докладывает: так, мол, и так, воюю краснопухом, а был студентом-зоологом Московского университета.

Студенту она очень обрадовалась и сообщила, что она тоже студентка-медичка из Москвы, мобилизована.

— Очень у нас тут ужасно.— И опять слезы побежали.

Колюша утешает ее: бывает, мол, хуже. Конечно, не сладко, конечно, жалко людей, но вот он, например, выжил! Теперь задача не загнуться от голода. Жрать охота до безумия. Может, он и добыл бы пропитание, но подняться не в силах. Пока до «карих глазок» доползет, измучается.

— Ну это,— говорит она,— я вам помогу, это я сейчас.

И принесла ему котелок гущи, корочку какую-то. У Колюши друг-приятель был Шура Реформатский. А у того сестры тоже медички-студентки. Так что общие знакомые нашлись. Милосердная сестрица с того дня

приносила кусочки клейкого хлеба из жмыха. Видно, часть собственного пайка отдавала. И Колюша стал быстро поправляться. Только его организм мог на таком рационе ожить и сил набирать. К стенке спиной прижметя и, помогая руками, всползает, поднимается. Стоял на дрожащих ногах. Сестрица брала его под руку, несколько шагов он делал. Потом сам ходить стал, держась за стенку. В один прекрасный день сестрица принесла ему бумагу и литер: «Красноармеец такой-то, перенесший сыпнопятнистый тиф, отправляется для поправки на шесть недель домой».

Были у нее на руках еще бумаги такие же на одного возвратника, то есть больного возвратным тифом по фамилии Сергеев. Вроде он выздоравливал, выписывался, а ночью умер.

— Возьми, — предложила она, — тебе пригодятся.

И действительногодились.

На следующий день с рассветом отправился Колюша пешком в Тулу. Одолеать пятнадцать километров для него было — что отправиться за тридевять земель. Спотыкался, падал, а упав, полз до забора, до дерева, потому что на гладком месте встать не мог. До Тулы добрался к ночи. Пятнадцать часов полз эти пятнадцать километров.

В Туле он знал лишь казармы 113-го полка, где квартировал однажды. Туда и побрел.

В своих рассказах о той поре Зубр ничего не обходил, не выгораживал себя. Что было, то было, не снисходил к объяснению того времени и тех обстоятельств. Воровал, мошенничал, побирался — только что не злодейничал.

Начал он воевать с берданкой 1868 года (как тогда величали ее — «пердянка»), а кончил, как-никак, с кавалерийским карабином. Отличная по тем временам штука — шестизарядная, надежная, а главное дело — легкая; он с солдатской нежностью вспоминал ее. Раздобыл он ее у какого-то деникинца из «дикой дивизии». Всю гражданскую войну он улучшал себе оружие. Был казацкий карабинчик, был германский, под конец достался этот, деникинский, японский. Когда в тифу лежал, все прижимал к себе свой карабин, боялся без него остаться. Полные карманы обойм сохранил.

Ничего не меняется, слава богу, в человеке. Солдат он всегда солдат. Тридцать лет спустя, на моей войне, я тоже старался добыть себе автомат. Выменивал на

свою семизарядную. Сперва ППШ, потом достался мне ППД... Чисто солдатское стремление. На войне, кроме стрельбы, атак и обороны, идет еще мена, торговля, всякие бесхитростные комбинации. Кто-то загоняет полушубок, меняет белье на консервы, кирзу на хром. Сколько разных коммерций в маршевых ротах, в госпиталях совершалось, как хвалились удачливой меной. Хвастались друг перед другом своей ловкостью, умением смухлевать, переторговать, махнуться не глядя. Это так же, как храбрый солдат любит рассказывать не про подвиг, а как оробел при бомбежке, как растерялся. В палате из всех фронтовых баек, а их там травят день и ночь, большая часть про то, как драпал, как на мины напоролся, как под наказание попал.

Колюша тоже никогда не расписывал свои доблести, все больше про то, как вляпался в плен к бандитам, как в курицу стрелял.

Добрался-таки, вполз в храпящую духоту ночной казармы и — к дневальному, что кемарил у ночного фитилька. Умолил пустить переночевать. Тот вертел, вертел бумаги, позволил прилечь рядом на топчане. Прилечь Колюша прилег, но спать не мог. Тело болело, ноги ныли. Разговорились. Колюша рассказал, что идет в отпуск, в Москву. Дежурный оживился, и у него сон пропал. Был он коренной москвич, портняжничал на Смоленском рынке. Колюша обрадовался: соседи! Он-то жил рядом. Подымили. Дежурный завидовал — в Москву вернется. Насчет «вернется» Колюша сомневался: как ползти, неизвестно, ноги не держат, руки не берут, на чем добираться, пропадет он, не одолеть ему дороги. Вспомнил он тут про добавочный документ покойного Сергеева. Показал бумагу дежурному. Тот посмотрел ее на свет, так и этак повертел.

— Замечательный документ, много стоит, — заключил он. Повздыхал, осторожненько примерился: сколько запросит за такую бумагу. Колюша открылся напрямую:

— Бери задаром. Одно условие — не бросай меня. Будь я здоров, я бы не глядя отмахал пешим эти двести верст до Москвы. Ныне в товарный вагон самому не влезть. Помогите мне добраться.

Взял с него Колюша клятву, и тот, как ни уклонялся, жуликовато зыркая глазами, вынужден был повторить про смертную лихорадку, что найдет на всех родных, про сепсис ног и лишай — самому себе, если обма-

нет, бросит... Сепсис наибольшее впечатление произвел на Петю Скачкова — так дежурного звали.

— Ни за что не обману. Мне только моих проведать. — И Петя бил себя в грудь. — Ты ведь мне подарил, себя обделив, за такую бумагу дом в Москве купить можно.

— Да зачем мне дом? — удивился Колюша. — Лучше хлеба в дорогу раздобудь.

Про хлеб он так уверенно сказал потому, что недавно из этих же казарм Колюшу посылали на охрану хлебных вагонов. Охранять-то их охраняли, но голод не тетка — наламывали себе корок хлебных, да впрок. Изнутри шинели нашивали карманы глубокие, куда корки опускали. На это Петр Скачков отвернул полу своей шинели, где такой же карман был нашит. Выходит, нынешний состав «своим ходом» добрался до такого же «органа». Сильно поразила тогда Колюшу эта способность следующих поколений изобретать в точности то же самое, приобретать те же «органы».

Скачков отправился на промысел. Колюша же со своим карабином уселся в казарме дежурить. Часа через два, до побудки, Скачков вернулся, притащил мешок хлебных обломков, где-то еще спер два ломтя шпика и тяжелый кус спекшейся на пожаре соли.

— Лучше всего мотать сейчас, — предложил он. — Я уже присмотрел на путях не шибко разбитый вагон.

Пришли на товарную станцию. Там, где надо было пробираться под эшелоном, Скачков тащил Колюшу за шкурку. Поднял в товарный вагон. Разместились с подветренной стороны по ходу. Скачков побежал раздобыть буржуйку: весна стояла холодная, утром лужи хрустели. Буржуйку где-то стащил, досок наломал от забора. Устроились солдатики совершенно замечательно. Буржуйку калили нещадно, благо, тяга на ходу была исключительная. Кипяточек — в любое время, хлебушком заедали да еще сальце сверху. Скорость была километров сорок в сутки. До Москвы неделю тащились. Вышли на площадь — все на месте: Казанский вокзал, Николаевский, бабы в ряд сидят с корзиночками. А в корзинках — семечки, печеная картошка, лепехи. Москва! Счастье-то какое! Извозчики стоят. В цилиндрах, важные.

Колюша прицокнул языком, подмигнул, предлагает:

— Давай найдем? Въедем в стольный град на коне.

— Это на какие же шиши найдем?

— А за кусок сала.

Выбрали, у кого лошадь белая. Ну не совсем белая, чалая была.

— Ты сало любишь?

Извозчик на них сверху прицелился.

— Сало в Москве не растет.

Показали ему большой шматок.

— Хочешь? На Смоленский рынок нас, только чтобы рысью.

На рысях, на чалом коне, ехали они, стоя в пролетке до самого дома в Никольском переулке.

У матери в доме была благодать. Работало центральное отопление. Несмотря на разруху, газ подавали. В ванной была горячая вода, и Колюша три дня лежал в ванне, отмачивая грязь госпитальную, копоть паровозную, наслаждался покоем, превращался, как он говорил, в недорезанного буржуя.

В ту пору он был для всех Колюша. Во многих старых московских семьях и до сих пор его зовут Колюшей. Когда я «завожу» на рассказы о нем, то и дети, и внуки повторяют: «Колюша, Колюша», что мне странно, поскольку я узнал его могучим Зубром в мерцающем ореоле славы и легенд, свойственных великим личностям.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Это началось в гражданскую войну и в послевоенные годы. Военный коммунизм, нэп — годы, дух которых мы знаем меньше, чем дореволюционную жизнь. Пушкинскую эпоху, екатерининскую, даже, может, Петровскую представляем себе лучше, чем парадоксы двадцатых годов.

— Повоюем немножко, отгоним беляков, отдохнем, снова повоюем, а как часть нашу разобьют, возвращаюсь в Москву, в университет, к своим рыбам, в кружок, которым тогда увлекался: логико-философский с математическим уклоном. Потом опять в армию, катим на фронт. Потому что стыдно — все воюют, а я как бы отсиживаюсь. Надо воевать! Постигнуть мозаику той жизни вам не дано. Неделю занимаешься какой-нибудь Софией Премудростью Божией, на следующей — едешь на деникинский фронт...

Не будем приукрашивать: Колюша шел в Красную Армию не из политических убеждений. Не было этого. Политика не затрагивала его глубоко ни в юности, ни позже. Политические убеждения, как он полагал, есть у коммунистов и беляков. Коммунистом он не был. Беляком тоже. У беляков всяких мнений-убеждений, как он насчитывал, было не менее пятнадцати: и монархия абсолютная, и ограниченная, и диктатура, и буржуазно-демократическая республика одного типа, другого, третьего... У Колюши и близких к нему людей убеждения были не политические, скорее патриотические. Чего это на Россию лезут всякие прохвосты — зеленые, белые, бурые, казаки, поляки, французы, японцы, англичане, антанты и прочие оккупанты? России нужна народная власть. Всю жизнь Колюша упрямо считал, что именно из-за этого первичного чувства их, голоштанных, разутых краснопухов, вооруженных однозарядной «пердянкой» образца 1868 года, не могли одолеть ни беляки, ни их союзники, вся эта шатия.

Насчет разутых — не случайно. В 12-й армии его зачислили в особую лыжную роту 17-го отдельного батальона. Лыж там и в помине не было. Дали им лапти. Да не липовые, как положено, а из ивовой коры, совсем негодные лапти, непрочные и жесткие. Вот так жизнь эта невероятная и шла: «то воевали, то философствовали, то добывали себе чего-нибудь пожрать».

В смысле «пожрать» он устроился на одно лето пастухом. И был счастлив, ибо убедился, что это лучшая профессия в мире. Во-первых, заработал за сезон во много раз больше ординарного профессора Московского университета. (Тогда профессора разделялись на ординарных и экстраординарных.) Получил натурой два куля ржи. А куль — это семь пудов! Во-вторых, ходил в одежде, которая была выдана: куртка, ватой подбитая, да еще на красной подкладке, очень живописный был пиджак, двое порток получил, сапоги. Подпaska имел, собаку. Кормился «в очередь». Утречком он собирал коров песней. Шел по деревне, распевая «Выйду ль я на реченьку», и под эту песню вел их. Двустволочка за плечами — это он гусей диких бил. С приятелем, местным фельдшером, наловчились они валерьянку — а у того было ее две четверти — превращать в спирт. Перегоняли. И гусей запивали этой жидкостью. «Великолепная была жизнь!» На интеллигентную умственную работу устроиться было невозможно. Деньги в цене

падали катастрофически. Счет шел на «лимоны», то есть миллионы. Заработать можно было физическим трудом.

Логико-философским кружком руководили Густав Густавович Шпет, смущая умы неслыханными парадоксами, расшатывая самые незыблемые основы этого мира, и Николай Николаевич Лузин, который, будучи крупнейшим математиком, умел находить в ней философскую мысль. Были там философы Сергей Булгаков, Бердяев, которого кружковцы прозвали Белибердяевым. Семен Людвигович Франк читал пронзительно-напевным голосом: «Искусство есть всегда выражение. А что такое выражение? Это самое загадочное слово человеческого языка. Скорее всего, оно означает отпечаток. Процесс отпечатывания чего-то в другом. Что-то незримое, духовное таится в душе человека; он имеет потребность сделать это зримым, явственным... Духовное облекается плотью. Но что именно он хочет выразить? Не только себя, а нечто объективное. Что это за «нечто»? »

Из философствующего отрока Колюша превращался в добросовестного зоолога, готового день и ночь возиться со всякой водяной нечистью, изучать ее, описывать, довольствуясь скромным положением ученого-ихтиолога. Превращение естественное, но с такой же легкостью он превращался в лихого вояку. Руби, коли, вперед, за власть Советов! — и ничего не оставалось от старательного студента. Можно подумать, что в нем вскипала кровь его военных предков.

Чтобы заниматься в университете, надо было где-то прирабатывать, чем-то кормиться. Кем только он не перебивал!

Однажды удалось устроиться в артель грузчиков при «Центропечати». И на такую работу попасть — требовалось знакомство немалое. Устроил его, ни много ни мало, управляющий делами Совнаркома Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. В революционные дни 1905 года одна из теток Колюши прятала Бонч-Бруевича от полиции. Вот он, желая отблагодарить ее, устроил племянника на хлебную работу. Артель упаковывала газетную бумагу, грузила книги, брошюры. Издавались они тогда активно: «Азбука коммунизма», «Анти-Дю-

ринг», буквари, Конституция, — типографии работали вовсю, бумаги было много, и рассылали книги по всему отечеству. За всеми этими грузами приезжали уездные и губернские комиссары. Грузчики получали дополнительные карточки — по четверти фунта хлеба. Из управделами Совнаркома отпускали на каждого рабочего артели по три обеденные карточки в третью столовую Совнаркома, которая помещалась в «Метрополе». Три тогдашних обеда, конечно, молодой организм грузчика не насыщали, но все же это было серьезное дополнение к карточкам. Так что грузчик была должность выгодная, максимум, о чем мог мечтать начинающий ученый. Артель, однако, находила и другие способы подкормиться. Пока грузили тюки — и артель не слишком торопилась, — из машины, стоящей под погрузкой, один мальчонка украдкой откачивал в артельный бачок «автоконьяк». В те времена грузовики в Москве работали на смеси газаolina со спиртом. На Сретенке был извозчий трактир. Там по-прежнему кормились извозчики да еще шоферы машин, какие ходили тогда по Москве, — не очень-то их было много. Являлась туда и вся артель грузчиков, человек двенадцать, хозяин получал бачок с «автоконьяком». Пьяницам выдавал по рюмочке. За это грузчики получали по тарелке суточных щей с убойной (мясо тогда называли убойной) и кусок настоящего хлеба. Наевшись, Колюша отправлялся в университет к своим работам, либо же — в кружок, где что-то вещал Брюсов, читал Андрей Белый. А то бежал слушать курс лекций Грабаря по истории живописи; от Грабаря — на лекции к Муратову; от Муратова к Треневу — о древнерусском искусстве, о фресках. Все хотелось знать, постичь. Привлекала красота словоречий, ускользающий их смысл, зыбкие формы... Довольно глубоко погряз он в этих вещах. Грыз, грыз всю эту философию и искусствоведение, пока не убедился, что это «пустое бормотанье», что нельзя менять прелестных водных тварей на такое суесловие.

Поэтому он стал биологом, а не искусствоведом. Хотя навсегда сохранил интерес к истории живописи, истории описательной, без всяких выкрутасов, что помогала узнать, когда и что происходило на белом свете, какой художник что делал, чем хорош, что придумал...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Здесь у автора записей обрыв, и затем ни с того ни с сего следует рассказать про денатурат. К чему это было рассказано, теперь трудно установить. Автор, то есть я, записывал кое-как, наспех, что записывал, а что и не записывал, слушал развесив уши, в свое удовольствие, забыв про обязанности. О чем-то спорил с Зубром, пытался себя показать, вместо того чтобы делать то, что положено писателю, — слушать, запоминать, записывать. Тут автор хочет пожаловаться на себя, поделиться своей запоздалой печалью. Если бы автор скромно слушал, это стоило бы многих его сочинений. Подобные дневники автору никогда не встречались. Немногие люди, которые ведут дневники, обычно заносят в них вещи, стоящие упоминания, события, с их точки зрения, более или менее значительные. Им кажется недостойным записать разговор женщин в магазине, про обед в столовой, про то, как проходило родительское собрание в школе, о ценах на рынке... Но откуда нам знать, что стоящее, а что нестоящее?

«Денатурат был зеленый, керенский...» Фраза эта интересна тем, что вся принадлежит тому времени. Никто из нас не знал, что денатурат был когда-то зеленым, и не знал, что деньги — керенки, выпущенные Временным правительством, были тоже зеленые.

Подмешивался к денатурату рвотный камень или еще какая-то дрянь. Во время войны Россия жила по сухому закону. В складах скопились водка, спирт, а также денатурат. Такие склады имелись в Кашине, неподалеку от госхоза, где Колюша пастушил. Когда начали громить склады в Кашине, селяне откомандировали на погром старого рабочего-активиста Ивана Ивановича и пастуха Колюшу. Снабдили их подводой и кувшинами. В Кашине творилось столпотворение вавилонское. Красноармейская команда сперва попробовала было спускать водку на землю. Пооткрывали краны, водка течет и на улицу. Пьяницы накинулись на эти водочные лужи. Бабы ложились и черпаками эту грязную жидкость сливали в посудыны. Колюша и тут научно подошел, убедил Ивана Ивановича, что к водке соваться нет большого смысла, надо пробраться к спирту. Но их не пустили. Тогда они свернули к денатуратным запасам, благо денатурат тот же спирт. Заполнили свои кувшины этим «зеленым змием». Выбрались оттуда

с боем. Смертельный был номер: кольями и ломами пробивались. Хорошо, что успели до подхода вызванной латышской части. Чуть не убили Колюшу. По глупому этому делу могли прихлопнуть как муху. Потом он научил селян, как очищать денатурат от всякой гадости. Но, естественно, перегонные аппараты, какие он сделал, накапывали медленно. Так что от сплошного пьянства, можно сказать, он уберег.

Характер его жаждал нахлебаться всякой всячины, прежде чем укрыться в тиши лаборатории. Как будто он знал о том, что ему предстоит. Юность его не была похожа на юность ученого.

Он мог сделать карьеру пением. Несколько раз судьба подкидывала ему такой соблазн.

Когда он после сыпняка вернулся в Москву, им в квартиру в порядке уплотнения вселили неких Эгертов. Сам Эгерт, бывший церковный регент, ныне руководил красноармейским хором. Эгерт, услышав, как Колюша распевает в ванной, стал уговаривать его пойти в первые басы. Тем более что Колюша хорошему пению был обучен. Пел в гимназии, пел в церковном хоре, пел он и в университете в Татьянин день — был такой студенческий праздник. Хор Колюша любил беззаветно. Где только можно, присоединялся к нему, у себя в Калужской губернии пел в серпейском любительском хоре. Солистом быть не стремился, нравилась ему именно хоровая слитность. Во всем индивидуальность, а тут — вот что любопытно — влекла его сообщность хора, где ты неотделим от других, сам не слышишь себя в мощном единстве голосов, где нет тебя, есть — мы.

Красноармейский хор был чисто мужским, без альтов и дискантов. Получали хористы два красноармейских пайка, что равнялось фронтовому пайку, на него могли существовать и мать, и две сестры.

К тому времени отпуск по болезни кончился. Для перевода в окружной красноармейский хор Колюша явился в комендатуру со своим японским карабином и сумкой обойм. Долго стоял в подъезде, поглаживая карабин, прислоненный к щеке. Не утешила и благодарность от начальства — его тогда повели к коменданту Москвы как образцового красноармейца, который в тифозном бреде сохранил свое оружие, патроны.

— Почему вы сдали свой карабин, если он вам так был дорог? Ведь тогда можно было оставить.

— Можно-то можно, но ведь приказ был сдавать.

Для него приказ был приказом, закон был законом, правильный, неправильный, но исполнять надо, раз это закон. Странная законопослушность бунтаря.

Бас у него был редкий по красоте. Не знаю, как насчет солиста, но в хоре Колюша считался незаменимым. Голос и музыкальный слух помогли ему в жизни не раз, порой выручали. Своим голосом пользовался он с юности. В 1916 году уговорили его Грабарь и Муратов «бублики» собирать. «Бублики» — это раскольничьи иконы. Во времена Николая I снова пошли гонения на раскольников, и приказано было иконы у них отбирать. Для этого в уголке иконы просверливали дырочку, на низывали иконы на веревочку и сдавали этот «бублик» церковному ведомству. Колюше было поручено ехать по Карелии собирать эти «бублики» по монастырям и церквям. Финансировали его по всем правилам, и экспедиция отправилась по Ладогге, затем по Онеге до Канда-лакши на лодках, пешочком. Приходят они в деревню, чаевничать начинают, ну он и пропоеет что-нибудь из репертуара калик перехожих:

Ай да книга та голубиная,
А и в книге той девяти сажень...

Особенно, если какая поповна на гитаре играет, он ей романсы, она им «бублики».

В детстве он просился, и его возили в Мосальск. Там в монастыре два раза в год, на троицу и осеннее заговенье, архиереи со всей России съезжались — басовитых протодьяконов выбирать. Классические дьяконские басы были в Новозыбковском монастыре и — рядышком с Тимофеевыми — в Мосальском. А еще он слушал богомольцев, что шли мимо них, брели к соловецким угодникам на север и к киево-печерским — на юг. Распевали они духовные песни.

Песен духовных знал он множество, и не было ничего интереснее, чем когда где-нибудь в биошколе, у костра, на Можайском море, а то и в Миассове, на Южном Урале, он вместо обычных туристских бренчалок затягивал старинные, никому не ведомые песнопения.

«Ныне отпускаеши...», «Да исправится молитва моя...» — заводил он с самых низов. И вдруг переходил, скоморошничая:

Десять чинов ангельских,
Столько же архангельских.

В трех лицах един бог,
Он на небе царствует,
На земле господствует,
Королевствует над нами
Подайте слепенькому, христа ради!

Михаил Васильевич Нестеров и Иван Флорович Огнев водили его, юнца, слушать хороших дьяконов ко всенощной. Как запоеет дьякон, так Иван Флорович проверяет, откуда начинается «Апостола»: если не с нижнего до, то это мальчишка. Хороший дьякон две с половиной октавы брал, доходить должен был до ми-бемоль, даже до фа.

Кто они такие были, эти старики? Нестеров Михаил Васильевич? Не художник ли? Об этом спохватываюсь я сейчас, проверяю имя, отчество. Действительно он, художник, один из любимейших моих художников. А Огнев Иван Флорович? По энциклопедии это известный русский гистолог, уволенный в 1914 году из Московского университета реакционным министром просвещения Кассо. Выходит, они дружили, Нестеров и Огнев, и каким-то образом судьба свела их с Колюшей. Ходили вместе, втроем, по московским церквам. Что они нашли в этом юнце? И что, кроме дьяконского пения, их связывало? Ведь Нестеров в ту пору — уже овеянный славой художник... Десятки вопросов возникают у меня. Слушая в свое время Зубра, не остановил его, не расспросил. Слишком поздно я спохватился. Чем больше я углубляюсь в его жизнь, тем чаще наталкиваюсь на свои упущения.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Почему вы, имея такой голос, пошли в науку?

— Да потому, что тогда этих паразитов, научных работников, было немного и большого вреда своему отечеству они не приносили.

Что, выкусил? Зубр хохочет. Так всегда: от него невозможно получить ожидаемый ответ.

— В двадцать первом — двадцать втором годах времени у меня было мало. Мы не считали допустимым зарабатывать деньги с помощью науки, зарабатывали работой.

Чем же он занимался? Чинил жнейки, косилки и прочие машины, у деревенских прирабатывал. Это —

летом. Зимой лекции читал. Уговорили его преподавать зоологию на Пречистенском рабфаке, только что организованном. Это была одна из первых просветительных затей московской интеллигенции, которая, кое-как отойдя от голодухи, стала по-своему помогать революции. Огромный был рабфак, чуть ли не двадцать пять тысяч народа. Собирали, чтобы готовить для высших учебных заведений рабочих, демобилизованных солдат. Рабфак давал ему кое-какое жалованьишко и небольшой паек. Жалованье ничего не стоило по той причине, что равнялось оно примерно трамвайному билету, а трамваи не ходили. Московская жизнь 1920—1921 годов еще не устоялась, не наладилась. Смоленский рынок, поблизости от дома Тимофеевых, пустовал. Недавно еще шумный, крикливый, он тянулся заколоченными ларьками. На замусоренной площади среди шелухи, бумаж, навоза бродили старушки, старички в пенсне, стыдливой скороговоркой предлагали на продажу всякие малонужные вещи: кофемолки, вечерние платья из черного газа со стеклярусом, желтые бумажные розы, мундиры со споротыми погонами и галунами. Попадались и горбушки черствого пайкового хлеба, куски мыла, серые куски рафинада в синей бумаге, осьмушки, а больше пол-осьмушки махорки.

Чтобы еще заработать на пропитание, стал он читать лекции по клубам — зоологию с революционным уклоном. За это давали красноармейский паек. Однажды привезли его в Центральный клуб Красной Армии. Ждала его огромная аудитория, тысячи полторы человек, командиры и жены командиров. Выясняется, что объявлена была лекция о Великой французской революции. Чего-то начальство перепутало. Колюша руками развел: он — штатный лектор по биологии, при чем тут Бастилия, конвент и всякие якобинцы? Завклубом за голову хватается: «Что делать? Выручайте, Христа ради!» Колюша — ни в какую.

Кто-то вспомнил, что в клубе имеется коллекция художественных диапозитивов по истории живописи и архитектуры. Что, если подобрать из них диапозитивы по эпохе французской революции?

— Это другое дело. — Колюша оживился. — По живописи я кое-что могу, между прочим я интересовался стилями, всякими рококо, барокко. Давайте так назовем: «Смена стилей в архитектуре и живописи Европы в период Великой французской революции».

Кто бы мог подумать, чем кончится его сочувствие к заведующему клубом? Лекция прошла благополучно и закончилась успехом. Он вдохновенно сменял стили, соединял их с революцией. А это привело к тому, что вскоре его как всесторонне образованного товарища назначили председателем культпросветкома Центрального управления снабжения Красной Армии. Мало того, что еще один паек выделили, так дали ему коляску с двумя скотами и кучера, что вполне равнялось автомобилю.

Зрелище было довольно комичное: Колюша садился с портфельчиком в экипаж, и везли его в университет, где он занимался своими рыбешками, слушал лекции, потом его везли в контору, а потом он сам читал лекции.

Из всех возможных занятий наука была самой невыгодной. Научная работа не давала ни пайков, ни денег, ни славы. В науку в те годы шли немногие. Мало сказать бескорыстные, вдобавок еще — чудаки. Или чудики. От этого и укрепился образ отрешенного, одержимого своей наукой, своими букашками, пробирками, формулами отшельника. В науку шли ради самой науки, исключительно подчиняясь древнему, неведь зачем возникшему инстинкту любознательности. Так что ответ Зубра на мой вопрос, почему он занялся наукой, не такой уж ернический.

Отметим, что перед Колюшей распахивались двери в многообещающие кабинеты с высокими креслами. Молодой, пришедший с фронта красноармеец, образованный и в то же время не царский спец какой-нибудь, неокончивший студент. А в те времена «студент» звучало почетно: что-то передовое от разночинцев, от демократов сохранялось в этом звании. Так что он мог продвинуться, и быстро, в большое начальство. Коляска катила его по этой дороженьке легко, весело, на мягких рессорах. Связи у него хорошие были, и родители терпимые по тем, старым понятиям: отец, хотя и дворянин, но инженер-путеец, не фабрикант, не буржуй, такие помогали революционерам. С Кропоткиными родственник. Язык подвешен что надо, а для того времени ораторские данные — существенное преимущество. Словом, он вполне годился для быстрого восхождения. То было время молодых, горластых, отчаянных. И нужно было сильное и точное призвание, чтобы удержаться от соблазна. Тем более что искушал не грех, не дьявол, его манил народный порыв к культуре, к грамотности. Только что отгремела гроза революции, и чистый воздух

надежд пьянил куда более опытных людей, чем Колюша. Он же направляется с утра на своей коляске в университетскую лабораторию, без стеснения подкатывая к подъезду, куда тянутся пешим ходом маститые профессоры и академики.

Оговоримся сразу: не было у него никаких терзаний. В заслугу ему нельзя поставить преодоление искусов. Он не делал выбора, не искал своего пути, после всех заходов, зигзагов он спокойно возвращался на него, как возвращаются домой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Его учителем был знаменитый Николай Константинович Кольцов, тот, кто разработал некоторые главные принципиальные положения современной генетики, экспериментальной зоологии, тот, кто создал, выдвинул, основал и так далее, и тому подобное; список заслуг Кольцова велик и бесспорен. А у Кольцова был свой учитель — тоже выдающийся зоолог, Михаил Александрович Мензбир, основатель русской орнитологии и зоогеографии, яркий пропагандист учения Дарвина. А у Мензбира были свои учителя, и главный из них — Николай Алексеевич Северцов, который опять же основоположник экологии животных, науки, разработанной впервые им вместе с его учителем Карлом Францевичем Рулье. В истории он известен как «замечательный зоолог, выдающийся теоретик биологии, создатель первой русской школы зоологов-эволюционистов». По этой цепочке можно идти далеко, от колена к колену, от одного замечательного к другому не менее замечательному, ибо мы попали на счастливый случай. Не у каждого ученого есть столь знатная родословная. Научное генеалогическое древо Зубра раскидисто, велико и почетно. Оно не менее славно, чем его дворянское древо, — ветвистое древо биологической школы, к которой Колюша принадлежал, обеспечило его хорошим происхождением и наследственностью, первоклассными традициями. Революция не прервала, не нарушила научную родословную. Профессора остались профессорами, карпы карпами, морской рачок вел себя так же, как и при Романовых.

Честно говоря, Колюша любил хвалиться своими предками и по материнской линии, и по отцовской. Но рассказы о них не выдерживали никакого сравнения

с его рассказами о Кольцове и Мензбуре, которого он застал ректором Московского университета.

Насчет Кольцова, что́ он был за человек, существуют бесспорные, всеобщие определения: талантливый, чрезвычайно работоспособный, порядочнейший. Далее мнения расходятся. Для Колюши наиболее существенным было то, что Кольцов — дивный зоолог. Хороших зоологов мало. Хороших математиков, физиков, химиков — этого добра хватает. А вот зоологи, да еще хорошие, наперечет; их нужно больше, как хороших людей, тем более что, как правило, они действительно хорошие люди. По глубокому убеждению Колюши, зоологи отличаются от прочего образованного человечества тем, что они в среднем лучше.

Начинал Кольцов как сравнительный анатом. Первая его студенческая работа была о лягушке. А первая взрослая — о голове миноги. Так что он по своему происхождению, как и Зубр, — «мокрый» зоолог. Работа о голове миноги сразу стала классической. От многообразия морской фауны Кольцов перешел к форме животных — почему у животных такие формы, а не другие — и далее перешел к форме клеток.

Значение Кольцова выходит за пределы генетики. Школа Кольцова была шире, чем ее понимают. Это хорошо втолковал мне Г. Г. Винберг:

— Кольцов начал экспериментальную биологию, организовал институт, который так и назывался — экспериментальной биологии. Это сейчас кажется само собой разумеющимся, а тогда, в девятьсот семнадцатом году, было в этом необычное, даже странное. Вся биология девятнадцатого века была описательной. Экспериментальное направление Кольцова вызвало иронию у профессуры. Он начал с приложения к биологии физической химии. Клетку можно было изучать живой, помещать ее в разные среды и так далее. Много надежд породил такой новый подход.

Сам Винберг не прямой ученик Кольцова, скорее «внучатый племянник». Он — ученик Скадовского, который был учеником Кольцова. Но Кольцова он видел, знал и говорит о нем без восторженности, к которой я привык. Суховато-скрипучий голос его иногда оживляется смешком, не причастным к словам. Что-то, видно, вспоминается помимо рассказа. Пока что он сообщает милые подробности о рисунках на доске, которые Кольцов делал цветными мелками с большим искусством.

— Ученые тогда ничего не получали, жили исключительно преподаванием.— Георгий Георгиевич собирается вздохнуть над их участью, но вместо этого хмыкает.— Золотая пора науки... В начале революции Кольцова в чем-то заподозрили, арестовали, приговорили к расстрелу. Вскоре дело разъяснилось, его освободили. В первом номере трудов Института экспериментальной биологии он поместил научную статью о влиянии психических переживаний на вес человека. Там говорилось, что тогда-то он был приговорен к смерти и питался в это время так-то. Калорийность была такая-то, достаточная, но похудел он на столько-то. В ожидании расстрела занимался самонаблюдением. Внешность? Эффектная. Толстовка, большой бант, элегантность.— Винберг делает паузу и так же скрипуче-суховато продолжает:— Как кот в «Синей птице» Метерлинка.— И, не меняя интонации:— Белые усы, всегда хмуро-хорошее настроение. Либерал, да такой, что не уместился в среду московской профессуры.

Сравнение с котом из «Синей птицы» вряд ли чисто внешнее. Георгий Георгиевич Винберг — крупнейший наш гидробиолог, членкор Академии наук, имеет репутацию человека, зря словами не кидающегося.

— Уж очень он примитивно понимал клетку. Увлекался часто несерьезными вещами. Например, омоложением. А то напечатает статью «О мыслящих лошадях».

Для Георгия Георгиевича это вещи непростительные. Отсюда и «кот». Но тут же я убеждаюсь, что за этим мнением есть следующее, несколько иное.

Он вспоминает жену Кольцова. Начинает насмешливо, снисходительно:

— Истеричная барынька, неумная, капризная, обожала изъясняться насчет своей любви к мужу до гроба, заявляла, что не переживет его. Над этим смеялись. Когда Кольцов умер — а умер он внезапно, будучи в Ленинграде,— к ней помчался сотрудник. На всякий случай, мало ли что. Нашел ее столь апатичной, что успокоился и вскоре удалился по похоронным делам. Когда вернулся, застал ее мертвой.

Голос его все так же сух, скрипуч. Но это для меня уже не важно.

Стоит понять его манеру рассказа, напускную ироничность, как и он сам, и жена Кольцова,— все оказывается другим. Трагедия любви меняет все превратные,

поверхностные суждения об этой женщине. Истеричность видится иначе в те опасные для Кольцова годы. Каким надо быть человеком, чтобы внушить такую любовь, и какое чистое и прекрасное сердце надо было иметь, чтобы так любить. Она, Мария Кольцова, была достойна своего мужа.

Владимиру Яковлевичу Александрову историческое выступление Кольцова в 1928 году запомнилось импозантным видом докладчика — вельветовый костюм, высокие сапоги и то, как он учил говорить: не хромозома, а хромосома. Главного, что было тогда в докладе, — рассуждения о матрицах, — Александров не воспринял. Хоть был молод, пылок ко всему новому.

— ...И, похоже, никто не воспринял, — размышляет он. — Ничего удивительного. Рановато. В науке механизм сопротивления новому естествен. Его только следует регулировать, чтобы он не тормозил движения. То есть трения должно быть достаточно, чтобы не пробуксовывало. Прошло время, понадобились матрицы, и они появились. Тогда вспомнили о кольцовском докладе. Бывает пообиднее. В тысяча девятьсот пятидесятом году праздновали поучительную дату — пятидесятилетие законов Менделя, которые открыли повторно в девятистом году. И что замечательно: трое ученых независимо друг от друга одновременно открыли их! Это спустя тридцать с лишним лет после Менделя. С девятисотого года и началось бурное развитие генетики.

Так оно и происходит: если упреждение слишком большое, открытие летит мимо цели.

Каждый из учеников Кольцова выбирает в его работах свои любимые идеи, каждый лепит свой образ, создает свой портрет. Если их накладывать друг на друга, изображение не станет правдоподобнее, случайные черты не сотрутся. Облик затуманится, живое исчезнет. Примерно то же самое происходит ныне и с Зубром. Слушая его учеников, уже не разберешь, каким он был на самом деле: один считает его дальновидным, другой — наивным, третий — скрытным. Один — идеалистом, другой — материалистом. Некоторые утверждают, что он был верующий, вторые — что он только в последние годы стал размышлять о боге, третьи доказывают, что он всегда был атеистом. Обычная история.

А вот в отношении Колюши к своему учителю никто не сомневается, в этом никаких разночтений. Когда люди уходят, образы их дwoятся, уплывают из фокуса, яс-

ными остаются лишь отношения между людьми. Вот где, оказывается, остается наиболее прочный след.

Разумеется, кроме Кольцова у Мензбира были и другие ученики. У Кольцова кроме Мензбира были и другие учителя. Но сколько бы ни было учителей, есть Учитель, и среди лучших учеников есть любимый Ученик.

Таким Учителем Колюши был Кольцов, таким Учеником Кольцова был Колюша. Сам Кольцов, когда был Учеником, был тоже вроде Колюши — отчаянным парнем с крайне левыми радикальными взглядами. И на этой почве у него произошло крупное столкновение с Михаилом Александровичем Мензбиром. В двадцатые годы столкновение это часто обсуждалось следующими поколениями учеников и учителей, и давнее происшествие, доисторических, можно сказать, времен, произвело серьезное впечатление на Зубра.

Дело в том, что Кольцов, связанный с либеральными кружками, хранил в лаборатории революционную литературу. Были годы реакции, и Мензбир, узнав об этом, накричал на Кольцова. Тот не внял. Тогда Мензбир попросту отнял у Кольцова лабораторную комнату и строго предупредил: коли ты получил возможность заниматься наукой, то не отвлекайся. Об этом конфликте вспоминали по-разному, по-разному его расценивали, но Кольцов двадцатых годов бурчал сквозь толстые висячие усы, что молодой доцент был глуп, мог подвести ни в чем не повинных сотрудников лаборатории, устроил чуть ли не склад неположенной литературы, в конце концов «правильно меня Михаил Александрович с моими брошюрками вытурил». А Мензбир объяснял, растягивая слова, кивая седенькой головкой: «...опасный возраст, ибо изволяет думать, что политические эскизы — наиважнейшее занятие, нет понятия о том, что полезнее нормальная научная работа. Подвергать опасности лабораторию, с таким трудом созданную, нет уж, увольте, я не мог. Ни за какие коврижки. Слава богу, Николай Константинович ныне понимает сие, достиг».

Красноармейское прошлое Колюши спорило с такими доводами. Он знал, как дорога и нужна бывает правда, заключенная в этих брошюрках, однако его смущало, что Кольцов соглашался с Мензбиром, подтверждал с высоты прожитого незыблемое преимущество науки перед суетой политических страстей, перед брошюрками, где вместо истины — агитация, сегодня одно, завтра

другое. Его уважаемые учителя не стеснялись так говорить, хотя еще полыхали митинги, шел дождь брошюр, плакатов, все было насыщено политикой, призывами; казалось, ими одними можно повернуть русскую машину к новой жизни. Но старики стояли на своем. Рано или поздно, считали они, приходит понимание: единственно стоящая цель — служение науке, она не обманет, не разочарует. Наука, лабораторная работа, познание тайн природы — это было красиво, ясно и ограждало от прочих обязанностей. А если рано или поздно, то лучше рано, не теряя свежих сил.

Не будем, однако, упрекать этих людей, было бы слишком примитивно считать их фанатиками, одержимыми наукой. Слово «одержимость» к ним не подходит. Они служили науке преданно и влюбленно, но и для них многое оставалось превыше науки, например правила чести и порядочности. В 1911 году во время событий в Московском университете тот же М. А. Мензбир в знак протеста против действий царского правительства ушел с поста проректора университета и покинул кафедру, которой он заведовал. Вместе с ним подали в отставку многие профессора — К. А. Тимирязев, П. Н. Лебедев, В. И. Вернадский, С. А. Чаплыгин, Н. Д. Зелинский.

Пригласили Н. К. Кольцова, предложили ему занять кафедру Мензбира. О чем еще может мечтать молодой доцент? Кольцов отказался без всяких колебаний. Оскорбился, что его могли счесть готовым на подобную непристойность. Стали искать другого кандидата. Предложили работавшему в Киевском университете Северцову Алексею Николаевичу. Тот согласился. Приехал из Киева и занял кафедру своего учителя. Щекотливость ситуации заключалась в том, что Алексей Николаевич Северцов был сыном Николая Алексеевича Северцова — знаменитого учителя М. А. Мензбира. Память своего учителя Мензбир высоко чтит. У отца была репутация честнейшего, всеми уважаемого человека. Рассказывали анекдоты о его рассеянности, но любили его и гордились его заслугами. И вдруг такое с его сыном! Огорчило это всех чрезвычайно, но простить не могли, за этот поступок его осудили единодушно. Приговор общественного мнения страшнее судебного. Не обжаловать. Не откупиться, не отмахнуться. Общественное мнение судило по неписаным законам порядочности. По этим законам поступок младшего Се-

верцова был сочтен непорядочным, и что бы потом Северцов ни делал, как ни старался организовать лабораторию, создать большую школу морфологов, его сторонились. Он написал хорошие монографии, разработал теорию появления новых признаков, их изменения — словом, обрел немало заслуг, тем не менее та история долго тянулась за ним, не покидая его, как тень. Общественное мнение в те годы было нетерпимо к прислуживанию перед властью, подозрительно относилось к правительственным наградам, беспощадно судило за ложь, за подделку данных... Поступок Кольцова был нормой, поступок А. Н. Северцова был нарушением нормы. Старшие ученики Мензбира — Сушкин, Кольцов — и те, кто помоложе, с годами смягчились и, видя, как тяжело Северцов переживает всеобщее отчуждение, сказали ему: так, мол, и так, Алексей Николаевич, надо вам идти просить прощения у Мензбира, иначе ничего не получится. Северцов пробовал было ерепениться, но виноват так виноват, признание не унижает. В конце концов он так и сделал — пришел к Мензбиру, посыпав голову пеплом, покаялся.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Давно мечтаю я написать книгу о чести и бесчестии. Собрать в ней поступки, известные по разным источникам, благороднейшие поступки, примеры порядочности, великодушия, добра, чести, красоты души.

Там было бы про Петра Николаевича Лебедева, перед которым тоже в 1911 году встал вопрос об уходе из Московского университета. К тому времени он с великим старанием собрал первую русскую школу физиков — много молодых сотрудников, которых он не мог покинуть, бросить. И сама лаборатория, наконец-то оборудованная, где он начал цикл новых работ, — как ее оставить? Куда пойти? На что жить? Других физических институтов в Москве не было. Его уговаривали остаться, уговаривали ученики и некоторые из преподавателей. Ему бы простили это отступничество, потому что все понимали особенность его положения. Мучился он, мучился и все же подал в отставку, ушел из университета. Очевидно, понимал, что иначе он сам себя не простит. Он не мог не присоединиться к протесту, хотя, подобно Мензбиру, политикой не интересовался. Впро-

чем, порядочные поступки не объясняются, им не ищутся причины.

В той книге о чести была бы история отношений Чарлза Дарвина и Альфреда Уоллеса. Как щедро уступали они друг другу приоритет! Особенно симпатичен мне в этом смысле поступок Альфреда Уоллеса. Как известно, он прислал Чарлзу Дарвину из Вест-Индии рукопись своей статьи, где излагал теорию естественного отбора, связь отбора с борьбой за существование. На пятнадцати страницах он полностью изложил все то, что готовил к печати сам Дарвин в своей книге «Происхождение видов». Друзья, зная, что Дарвин начал свои работы двадцать лет назад, решили опубликовать одновременно статью Уоллеса и частное письмо, написанное Дарвиным год назад с аннотацией своего труда, и доложить обе работы королевскому обществу. Так и было сделано. Альфред Уоллес заявил, что считает их действия более чем великодушными по отношению к нему. Никогда, ни разу в следующих своих превосходных работах, снова в чем-то обгоняющих Дарвина, он не претендовал ни одним словом на всемирную славу, которая досталась Дарвину и его великой книге. Он же первым стал применять термин «дарвинизм».

Мне хотелось бы написать про ученых, которые выступали мужественно, разоблачая собственные ошибки и заблуждения. Подобно русскому электротехнику Доливо-Добровольскому, сумевшему перечеркнуть свои многолетние труды, доказав их ограниченность. Про русских ученых, которые снимали с себя звания академиков, когда академия поступала несправедливо.

Или — про английского профессора в Кембридже, в семнадцатом веке, сэра Барроу. Неплохой математик, он заметил успехи нового своего ученика и стал всюду подчеркивать его талант, признал вскоре его превосходство. Мало того, отказался от кафедры, потребовав, чтобы занял ее ученик, которого тогда мало кто знал. Звали молодого ученика Исаак Ньютон. «Ваше место здесь, — сказал ему ученый, — а мое пониже».

Про историю самоубийства Пауля Каммерера. Австрийский зоолог свято верил в наследование приобретенных признаков. Он ставил опыты, чтобы доказать это на пятнистых саламандрах, на жабах. Над ним смеялись, он же все более упорствовал. Он опубликовал книгу о том, как он переделал одну жабу в другую, о том, что он получил якобы жабу с мозолью другой

окраски. Тогда американец зоолог Нобель приехал в Вену и стал исследовать препараты Каммерера. Внимательно осмотрев мозоли у жаб, он обнаружил, что в них впрыснута тушь. История эта получила огласку, и на Каммерера посыпались обвинения. Он покончил с собой. Позже выяснилось, что Каммерер искренне заблуждался. Для него было страшным ударом обнаружить, что это — подделка. Судя по мнению некоторых, он доверился своему единственному лаборанту, который пошел навстречу желанию Каммерера получить в потомстве нужную мозоль. Вполне вероятно, лаборант, чтобы отделаться от своего шефа, а может, желая ублажить его, впрыснул тушь, и Каммерер с восторгом принял долгожданный результат. Но в этой печальной истории привлекает понятие о чести ученого. Он не мог жить, если его подозревали в фальсификации данных.

В числе этих рассказов был бы и рассказ о Н. К. Кольцове. В 1893 году в Москве, в Дворянском собрании, происходил Всероссийский съезд естествоиспытателей и врачей. Съезд стал общественным событием. Русская наука заявляла о себе в ведущих темах мирового естествознания. На съезд явились гости из всех кругов русской интеллигенции. Приехал даже Лев Толстой. Одним из докладчиков был Александр Андреевич Колли, профессор органической химии. Доклад его слушал Кольцов, тогда еще студент. А. А. Колли задался вопросом: каким образом от маленькой клетки передается по наследству множество признаков? С помощью молекул? Но их может уместиться там немного, слишком мало. А если не молекулярно, то как?

Ответ на этот вопрос дал Кольцов. Однако в своей работе он приписал все авторство Колли, хотя у Колли ответа не было. Кольцов считал, что идея у него возникла благодаря точно поставленному Колли вопросу. Поэтому он не мог, не был вправе приписывать себе авторство.

Некоторые считают Кольцова основателем молекулярной биологии. На всякий случай оговоримся: одним из основателей. А вот как все эволюционно образовалось — об этом у него ничего не сказано. Дальше эволюционную генную идею на молекулярной основе развил Колюша. Но до этого было еще далеко. Надо было ему еще пройти большой практикум, университет и прежде всего — обучение у своего Учителя.

Со всей добросовестностью прорабатывали ученики Кольцова большой практикум. Колюша принадлежал к среднему поколению учеников. Через кафедру Кольцова, его лаборатории прошли: Серебровский, Скадовский, Астауров, Фролова, Живаго. Это поколение помогло организовать практикум, какого еще не было. Где только потом ни перебивал Колюша — в университетах Германии, Италии, Англии, Америки, — ничего подобного уровню кольцовского практикума он не видал. Два года продолжался практикум. Сперва студенты возились с кольчатыми червями, потом — с членистоногими, потом — с низшими позвоночными, кончалось это все ланцетником. Поскольку каждый студент должен был зарабатывать себе на пропитание — то ли лекции читать, то ли плотничать, чинить, паять, кто что умел, — лабораторию Кольцов держал открытой круглые сутки. Приходили работать кто когда мог. Утром, ночью, днем. Выбирался один день, когда всем было удобно, обычно в среду, и преподаватель устраивал лекцию по материалам, которые раздавались на ближайшую неделю для проработки. Некоторые занятия проводил сам Кольцов. Особенно по темам, которые он любил или же где он открыл что-то новое. И так длилось два года, от среды до среды. Изготавливали препараты, учились определять вид, вели живые культуры. У каждого имелась своя культура амебы, жгутиковых, инфузорий. Надо было все стадии деления, размножения фиксировать, сличать, зарисовывать. То же самое с губками, с кишечнополостными. И все делали самостоятельно. Резали всяких букашек, козявок, наблюдали регенерацию, трансплантацию у головастика, тритонов. Каждый сам копался, открывал, ахал, ошибался, спрашивал, чувствовал себя исследователем. Изучать моллюсков поручили Винбергу. И как их изучать? Он стал спрашивать. Путался. Нащупывал. А потом предложили доложить на семинаре. Были небольшие спецкурсы. Сергей Николаевич Скадовский вел курс по гидрофизиологии, Дмитрий Петрович Филатов — по экспериментальной эмбриологии, Петр Иванович Живаго — по цитологии. Каждая из этих фамилий вошла в историю биологии. Получилось, что с молодых лет окружали Зубра личности незаурядные.

Спецкурсов было шесть или восемь. И все это было без принуды. Хочешь — посещай, хочешь — нет, твое дело. Колюша как староста никакого учета прихода-

ухода не вел. Свобода, которую давал практикум, привязывала к нему крепче всяких приказов. Практикуму отдавали все силы, выкладывались подчистую, весь молодой энтузиазм уходил в соревнование, в жажду понять, не отстать. Никто не спрашивал: какой язык вы знаете? Дают Кольцов или Четвериков прочитайте статью на французском — значит, учи французский, словари давно изобретены. Колюше не повезло с первым рефератом: он получил монографию на итальянском. Два месяца давалось на ознакомление. Пришлось прочитать. Вкалывал чуть ли не круглые сутки. Однажды пришел в театр на галерку и заснул там. Сидит спит. Потом какой-то шум поднялся. Оказывается, две девицы, что сидели рядом, разрисовали ему лицо губной помадой под клоуна.

Участники практикума между 1917 и 1927 годами, все, кто прошел его в это десятилетие, считают себя счастливыми, это была лучшая пора их жизни.

Когда появлялся новичок, желающий заниматься у Кольцова, с ним знакомился Колюша как староста, докладывал о нем Кольцову, ему же обычно Кольцов поручал присмотреться к новому студенту, что, мол, за фрукт. Так появилась Елена Александровна Фидлер. Она начала учиться у Кольцова еще в университете Шанявского. Это была высокая девица с нежными чертами лица, безукоризненной фигурой. Происходила она из известной московской семьи Фидлеров, тех самых, которые содержали частную женскую гимназию, популярную в то время. Ей пришлось тоже немало хлебнуть, этой кисейной барышне, маменькиной дочке, с ее аристократическими манерами. Дело в том, что у Кольцова работал в числе педагогов М. М. Завадовский. Он организовал экскурсию в Асканию-Нову. Набрал группу слушательниц университета Шанявского, а там было большинство девиц, и отправились они в заповедник. А тут разгорелась на Украине гражданская война — загуляли банды махновцев, петлюровцев, гетманцев, анархистов. Дорога на Москву была отрезана, вернуться назад не смогли, можно было податься только в Крым; и девицы разъехались, разбежались кто куда. Приключений хватало, Елене Александровне пришлось хлебнуть всякого, спаслась чудом и добралась до Москвы зимой 1920—1921 года. Лена, или, как звал ее Колюша,

Лелька, преобразилась — повзрослела, расцвела. Колюша, у которого был роман с ее подругой, вдруг все перевернул и через две недели объявил о женитьбе на Лельке. Свадьба была весной, в мае месяце. Роман произошел бурно и непредвиденно для всех, кто сватал Колюшу за девиц, более подходящих ему по характеру, по положению, по росту. Лелька была выше его на полголовы и полной противоположностью характером. Никто не думал, что они уживутся. В мае не положено жениться: всю жизнь маяться будут. На самом же деле роман их, уже крутой, серьезный, начался после свадьбы, по мере того как они познавали друг друга. Они и впрямь казались несовместимыми. Она — спокойно-рассудительная, он — яростно-вспыльчивый; она — ровная, выдержанная, умеющая обращаться с самыми разными людьми и в то же время державшая их на расстоянии, он — оратор, ругатель, легко ныряющий в любую компанию, сразу облипающий интересными личностями. Лелька — домовитая, ей нужен порядок; казалось, она создает этот порядок, чтобы он имел удовольствие рушить его. Она распознавала людей лучше Колюши, была обязательной, исполнительной, умела экономно держать его безалаберный бюджет. Она появлялась на людях всегда причесанная, продуманно одетая, сияя своими зеленоватыми тихими глазами; он же — в рубашке навыпуск, в драных от своих экспедиций брюках, а то еще босой. Он — несдержанный на еду, на курево, на выпивку, она же могла лишь пригубить рюмку...

Как биолог она была безукоризненным исполнителем, умела ставить тонкий, долговременный эксперимент, обеспечивала успех там, где требовались терпение, точность, умение накопить тысячи повторных наблюдений. Могла отобрать, проанализировать сто двенадцать тысяч мух и найти среди них двенадцать светлоглазых, в другом опыте — получить потомство облученных мух и отобрать из девяноста тысяч трех красноглазых мух.

Общая работа объединяла их накрепко, потом соединила и чужая страна, в которой они очутились. С годами он нуждался в ней больше, чем она в нем, но зато она гордилась им все больше; рядом с ним другие мужчины проигрывали по всем статьям. С ними было скучно, пресно, в них не хватало куража, огня.

Ни он, ни она не рассказывали мне историю их отношений, и я не стал ее насочинять. Никогда я не видел, чтобы они ссорились, ругались — в бытовом, обыденном смысле. Им мешало взаимное уважение. Между ними, конечно, происходили столкновения, бывали обиды, размолвки, но на каком-то ином уровне, никто никого не унижал. Я застал их в тот период, когда Лелька вела всю переписку, читала вслух статьи, книги, потому что Зубр после некоторых событий стал плохо видеть.

По-видимому, он испытал немало увлечений — любовных, мимолетных: бабы к нему тянулись, но ни одна из них не могла стать Лелькой, стать нужнее, чем жена.

Впрочем, судя по некоторым воспоминаниям, я упрощаю, любовь их развивалась куда замысловатей, он терял ее и снова завоевывал. И то, что мы не знаем ничего достоверного, может, к лучшему.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В те годы учеба не могла поглотить всей его неумейной энергии. Засучив рукава, он ввязался в организацию Практического института. Предполагалось создать учебное заведение совершенно нового типа, с тремя факультетами — биотехническим, агрономическим и экономическим. Ему хотелось как-то приблизить биологию к нуждам народа, к хозяйственным заботам страны. Создать новый институт, да еще в тех условиях, было увлекательно, немыслимо — и куда проще, чем ныне. Главное богатство молодой власти было доверие. Чем она еще располагала в изобилии — это помещениями. Институт получил богатое пустое здание бывшего коммерческого училища на Остоженке. Остальное добывайте сами, ищите, хлопочите. Вскоре они добились права использовать запасы русского Красного Креста, получавшего во время войны всякое лабораторное оборудование. Колюша наряжался в свою военную форму, садился в двуконную коляску с солдатом на козлах и в таком грозном виде подкатывал к нужному учреждению. Требовал. Выбивал. Внушительно и значительно. Среди имущества находили новенькие микроскопы, лупы бинокулярные, монокулярные, микротомы, термостаты, ящики химической посуды...

К двадцать третьему году институт был оборудован лучше, чем биологические лаборатории университета.

Имелся еще один источник. Не очень честный, но что поделаешь. Нужда не церемонится. Пользоваться «вторично» тем, что первично приобретал и добывал П. П. Лазарев. Физик, академик, имевший куда больше прав и возможностей, чем этот «краснопуп в коляске», академик Петр Петрович Лазарев, или, как его называла молодежь, Пепелаза, получил поддержку от Ленина касательно мечты поколения русских физиков и геологов о Курской магнитной аномалии. Он разъезжал по разным учреждениям — уже на автомобиле! — являлся туда «под ручки со своей магнитной аномалией» и реквизирует всякую всячину, полезную для аномалии. Разбираться в этом хозяйстве у него не было времени. Числилась посуда — он забирал посуду, а вместе с биологической посудой попадала и кухонная, столовая; вместе с лабораторными халатами, салфетками и прочим добром шло постельное белье, чуть ли не подштанники. Пепелаза обследовал склады всяких насосавшихся за войну организаций, вывозил оттуда имущество в биофизический институт, который достраивался, складывал ящики во дворе, огороженном высоким забором! Наступила зима. Колюша с приятелями раздобыл санки. С наступлением темноты втроем подъезжали к забору лазаревского института. Двое перелезали во двор, среди ящиков на глаз определяли, что там и что может понадобиться, передавали через забор; там соучастник устанавливал добычу на салазки, и все удалялись. Вскроют потом какой-нибудь ящик, а там — китайский чайный сервиз. Выругаются — сервиз-то им без надобности. Им нужно лабораторное стекло, которое не изготовлялось тогда в отечестве. Куда девать сервиз? Ну, меняли хоть на полотенца. Действия не отличались высокой моралью, воровство оно и есть воровство, какие бы оправдания ни приводить. Оправдания же у них были такие: во-первых, не для себя, не корысти ради, во-вторых, они рисковали своими головами — тогда не церемонились, милиционеры могли пристрелить на месте за такие художества. Логикой грабители себя не затрудняли, они ставили себе в заслугу и то, что Кольцову ничего не говорили, чтобы не обременять совесть учителя.

Студенческие годы... Ничего общего с дореволюционным студенчеством. И с последующими рабфаковскими поколениями тоже разнились. Эти первые советские выпуски выделялись своими талантами.

Вундеркиндства не было. Колюше шел двадцать второй год, он все еще числился студентом. И нисколько этим не тяготился. Его занимало одно — проработать практикумы, которые его интересовали, и прослушать нужные ему курсы. Когда он это сделал, счел, что с университетом покончено, и не стал сдавать никаких государственных экзаменов. Так поступал не он один. Многие тогда считали дипломы никому не нужной формалистикой, пережитком прошлого, бюрократической отрыжкой. Бумажка не имела силы, на нее не опирались в науке, редкое население науки составляли чистые энтузиасты, искатели истины, любители приключений мысли, рыцари идеи или каких-то неясных врожденных стремлений. Они занимались бы наукой и бесплатно, лишь бы их чем-то кормили. Они не были ни фанатиками, ни одержимыми, лучше считать их романтиками.

Когда Колюша уехал за границу, там тоже никто не спрашивал дипломов. В результате свою карьеру он проделал без писчебумажности. По возвращении из долгой одиссеи, где-то в пятидесятых годах, спохватились, что он никто. К тому же в бурной их жизни Лелька не уберегла гимназический диплом, и Зубр оказался человеком без всякого образования. С трудом ему оформили жалованье старшего лаборанта...

Но это случится не скоро. Пока что он стал работать в одной из кольцовских лабораторий при КЕПСе (Комиссия по изучению естественных производительных сил России). Учреждения, комитеты появлялись тогда во множестве, одни организовывались, другие исчезали. Научная жизнь, несмотря на разруху, голодность, расцветала. Строился лазаревский институт, окреп кольцовский, появились институт Марциновского, Институт народного здравоохранения. Не возводили многоэтажных корпусов. Институты размещались в старых особняках, по нынешним понятиям вовсе маленьких, и людей в них работало немного — и все это тогда шло на пользу. Важно было и то, что за время мировой войны, потом гражданской накопились идеи, желания, замыслы. Все это ринулось в дело при первой же возможности, получился всплеск русской науки двадцатых годов.

Был возобновлен журнал «Природа», основан Кольцовым «Журнал экспериментальной биологии», Лазаревым — журнал «Успехи физических наук»...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Когда Колюша возвращался с Юго-Западного фронта, на каком-то разъезде попал он в плен к банде анархистов. Они считались «зелеными», воевали по-своему с немцами, наступавшими на Украину, и как «зеленые», да к тому же анархисты никому не подчинялись, не признавали никаких властей, считали, что порядок в России может родиться только из анархии. При всем при том с противниками своими они не церемонились. Атаманом этой банды был некий Гавриленко, который называл себя «учеником самого князя Кропоткина». Гавриленко допросил Колюшу; и кто знает, какой приговор он вынес бы этому подозрительно грамотному красноармейцу, неведь зачем пробирающемуся в Москву. Нельзя же было считать серьезной причиной в разгар гражданской войны исследовать карповых рыб. Что-то тут было не так. И чтобы не ломать себе голову, проще было его шлепнуть. В лучшем случае — всыпать горячих, чтобы не темнил. При динамическом характере Колюши легко представить себе, чем бы кончилась для него эта встреча, но тут любопытства ради он спросил Гавриленко: «Ты ученик Кропоткина, а ты его видел когда-нибудь?» Гавриленко, конечно, не видел и не стеснялся этого — кто же мог видеть самого Кропоткина? «А я видел! — заявил Колюша. — Поскольку родственник!» И рассказал, что Петр Алексеевич Кропоткин является двоюродным братом его бабушки, так что Колюша приходится ему двоюродным внучатым племянником.

— Мы с бабушкой бывали у него несколько раз, говорили о некоторых революционных проблемах. Кормил нас малиновым вареньем, которое ему, между прочим, Ленин подарил. К нему Ленин уважительно относился, навестил его, и он к Ленину расположился.

Правда, тут же Колюша сообщил, что он сильно спорил с Кропоткиным, да нет, не об анархизме, анархизм ему, Колюше, был ни к чему. Спор шел об эволюционных взглядах Кропоткина; и зря спорил, неправильно понимал тогда эти взгляды, потом прочел его книгу «Взаимопомощь как фактор в борьбе за существование» — отличнейшая работа — и признал: Кропоткин умница, хоть и барин большой. А кроме того, он еще создал геологическую теорию образования ледникового периода.

— Да как ты смел спорить с самим Кропоткиным! — закричал Гавриленко.

Но с той минуты проникся к Колюше почтением, приблизил к себе как представителя Кропоткина и стал брать на вылазки против немецких войск, которых клялся изгнать с Украины. В одной из таких вылазок немецкий улан хватил Колюшу плашмя шашкой по голове, он упал с лошади без сознания. Очнулся ночью. Конь стоит. Папахи нет. Влез на коня и, обиженный, что его бросили, поехал искать красноармейскую часть своей 12-й армии...

Судьба не могла в ту пору уберечь его от событий, от участия в них. Таков был его характер. Он вбирал в себя время жадно, хлебал всю гущу происходящего. Зато судьба заботливо выручала его из отчаянных положений, оттаскивала за волосы, за шиворот от самого края... Иногда мне кажется, что в этом не чудо, а явный умысел — донести, сохранить в живых именно подобный, отмеченный шрамами всех событий, экземпляр.

Приключения и случаи из его жизни всплывали беспорядочно, к слову, повторяясь и в то же время никогда не повторяясь. Как в калейдоскопе. Полагалось бы их свести вместе, сложить из разных вариантов один, самый полный, да я поостерегся.

...А в следующем рассказе Колюши идет показ, как его учили в кавалерии рубке лозы:

— Два есть главных момента: когда вперед руку несешь, чтобы ухо у коня не отхватить, а потом когда отмах делаешь, чтобы от задницы кусок не отрубить у коня. Поэтому руку надо вывернуть, что требует аккуратности и сноровки. Что хочешь руби, но имей в виду — ухо и задницу у коня не повреди!

И попутно выясняется, что банда Гавриленко попала в засаду, возвращаясь после очередного набега. Банда двигалась с обозом; бабы с ребятами на телегах, мешки, самовары, котлы, козы — кочующая республика. Колонна втянулась в горловину, с одной стороны — река, с другой — заросли кустарника, густые, не пройти, не проехать. Навстречу выскочил немецкий эскадрон. Гавриленко скомандовал: «Вперед!» Тут — кому повезет. Колюша рванул, пригибаясь к шее коня: выноси, милый! Кавалерист из него был не ахти, но держаться умел, конь понимал его, животные его понимали, и он

их пожимал, недаром он считался настоящим зоологом. Рванул, затем удар, затем звездное небо и лошадь рядом...

Ученому дар рассказчика, казалось бы, без нужды, а у него он каким-то образом входил в его научный талант. Известный математик А. М. Молчанов так определил его искусство:

— У Зубра была своя манера: держи главную идею. Расцвечивай сколько угодно, но возвращайся к ней. Сменные детали могли варьироваться, а вот основная идея всегда сохранялась. Прелюдии, отвлечения — на все это он был большой мастер. Но стальной поступью, шаг за шагом, идет главная мысль. Такие лекции томов премногих тяжелей. Когда умер Зубр и умер Келдыш, я с печалью сказал: «Мне больше некого бояться». Я боялся только этих двоих. По многим причинам. Оба они соображали настолько лучше меня, что могли меня выставить дураком в моих собственных глазах. Оба сильные были, подчиняли себе, что тоже не особо приятно... При том, что совсем не схожи, можно сказать, противоположны. Я, например, заметил, что говорю, интонационно подражая Зубру...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В 1925 году Оскар Фогт попросил у наркома здравоохранения Н. А. Семашко порекомендовать ему молодого русского генетика для берлинского института, для нового отдела генетики и биофизики.

Профессор Фогт был директором Берлинского института мозга. Его приглашали в Москву на консультации, когда заболел В. И. Ленин. После смерти Ленина, в 1924 году, Советское правительство попросило его участвовать в изучении мозга В. И. Ленина и помочь в организации Института мозга в России.

Семашко посоветовался с Кольцовым. Подумав, Кольцов предложил кандидатуру Колюши.

— Что за Тимофеев? — спросил нарком. — Не тот ли это молодец-тать, что с дубинкой напал на меня?

— Тот самый, — подтвердил Кольцов.

— М-да. — Семашко выразительно почесал затылок. — Разбойника с большой дороги рекомендуете?

— Настоятельно рекомендую.

Семашко расхохотался и велел пригласить к себе этого Колюшу.

Прежде чем произойдет их свидание, надо пояснить, откуда Семашко знал Колюшу и почему чесал затылок.

Год тому назад Кольцов уговорил наркома посетить обе кольцовские биостанции. Одну в Аникове, где работали сотрудники А. С. Серебровского, другую — по соседству у Звенигорода, где работал Колюша с друзьями.

Станция Серебровского, старшего ученика Кольцова, была известная генетическая станция, где изучали на курах генетику популяции. Имелись уже хорошие результаты, полезные Наркомзему.

Вторая, звенигородская, была как бы малопrestiжной, потому что там занимались какими-то мухами, что всем посторонним казалось абсолютной ерундовиной. Когда друг-приятель Колюши, Реформатский, организовал охоту и в последний момент Колюша отказался ехать, ссылаясь на мух, за которыми надо присматривать, его подняли на смех. Мухи, подумаешь, ценный материал! Глупо из-за каких-то мух упускать праздники, прелесть жизни. Он не мог объяснить, по крайней мере тогда еще не мог объяснить, что через тех ничтожных мушек открываются не ведомые никому процессы развития жизни. Двукрылые мушки на много лет стали источником его восторгов, разочарований, его славы, его неприятностей...

Мушка называлась дрозофила. Трехмиллиметровая мушка с тигровым брюшком. Если бы я писал научно-популярную книгу, я бы прежде всего воспел дрозофилу, сочинил бы нечто вроде оды этому насекомому, верному помощнику тысяч генетиков начиная с 1909 года. Оду за ее откровенность. Или за ее болтливость. Болтливый объект, который хорош тем, что так плохо хранит тайны природы. Трудно оценить, какую большую службу сослужила дрозофила науке. Если сочли возможным поставить памятник павловской собаке, то следовало бы увековечить и нашу благодарность моргановской мухе дрозофиле...

Один из учеников Зубра Николай Викторович Лучник записал речь учителя во славу дрозофилы:

— Незаменимый объект! Быстро размножается. Потомство большое. Наследственные признаки четкие. Мутацию не спутать с нормальной. Глаза красные, глаза белые. Во всех серьезных лабораториях мира работают на дрозофиле. Невежды любят говорить о том, что

дрозофила не имеет хозяйственного значения. Но никто и не пытается вывести породу жирно-молочных дрозофил. Они нужны, чтобы изучать законы наследственности. Законы эти одинаковы для мухи и для слона. На слонах получите тот же результат. Только поколение мух растет за две недели. Вместо того чтобы из мухи делать слона, мы из слона делаем муху!

В России работать с дрозофилой стали недавно, никакого авторитета мушка эта и труды над ней не завоевали. К слову сказать, мушке этой долго еще доставалось и в сороковых годах, и даже в пятидесятых. Ею стыдили, упрекали, она была примером оторванной от практики, ненужной науки, иметь дело с ней считалось опасным — преступная муха!

Итак, проведали на звенигородской станции, что нарком едет и сперва посетит станцию в Аникове. Пригорюнились. Потому что живо представили себе, какой там, на благоустроенной станции, зададут пир, выставят своих курей, спиртику. Может получится, что потом нарком и не успеет заехать на звенигородскую, а если и поедет, так торопиться не будет. Что делать? Колюша предложил перехватить наркома. Думали, думали и решили умыкнуть наркома силой. На развилке. Километрах в пяти была развилка: налево — в Аниково, направо — в звенигородскую.

Жили и одевались в то время на станции весьма натурально. Колюша, например, большей частью босиком ходил, были у него посконные штаны в полоску, носил еще серенькую рубашку навыпуск, Филатов Дмитрий Петрович, Астауров Борис Львович — примерно в том же виде, только что в ботинках. Решено было засесть в кустах у развилки. Вооружились дубинками.

Тогда наркомы ездили запросто: до Кубинки Семашко ехал поездом, там его должны были встретить и на коляске везти дальше. Сопровождал его всегда помощник, толстый-претолстый доктор.

Трусит по дороге тройка, в коляске — встречающие и нарком со своим помощником. И тут по всем правилам древнерусского разбоя выскакивают из кустов молодцы с дубинками. Да еще заросшие, бородатые, потому что не тратили времени на бритье.

— Стой! — И дубинками помахивают.

Помощник Семашко перепугался, в задний карман лезет, где у него пистолет лежит, никак достать не может.

Молодцы объявляют:

— Жизнь при вас останется, денег нам не надо, но поедете с нами, куда мы вас повезем.

Повернули коней на звенигородскую, кучера ссадили. Колюша на козлы, вожжи в руки, остальные с дубинками рядышком бегут в пыли в виде эскорта. Семашко быстро смекнул, в чем дело, и очень ему это умыкание понравилось. С того времени и завязалось у них знакомство.

Историю похищения наркома Зубр любил рассказывать, но выглядела она у него как очередное озорство, ничем серьезным, никакими оправданиями он не нагружал ее. Это потом Н. Н. Воронцов докопался до причин. В похищении было нечто от предков. В крови у Зубра играло что-то разбойное, натура была сильнее ученых пристрастий, натура то и дело опрокидывала его планы. Ни с того ни с сего он отмачивал какой-то очередной номер. Он, например, уговорил товарищей похищать девиц аниковских. Умыкать к себе на биостанцию для ухода за ними, танцев и игр, поскольку своих барышень не хватало. Кончилось это плохо. Похитили одну девицу, сунули ее в мешок. Лежит она себе тихонько, удобно тащить — толстая, мягкая. Принесли, потряхнули, а она не дышит! Оказывается, она в этом мешке в обморок скатилась. Лежит белая, глаза закрыты. Колюша с Астауровым перепугались. Хорошо, что их сотрудница Минна Савич не растерялась, привела ее в чувство, водой опрыскала, успокоила. После этого похищение дев прекратилось. Оля Чернова была тогда самой молоденькой сотрудницей на станции, но спустя шестьдесят лет она помнит все подробности той летней их жизни и слово в слово повторяет рассказы Зубра. Прирожденный верховод, он верховодство свое закрепил игрой, которую ввел в моду в университете. Волейбола тогда не было, в футбол он уже отгонял в гимназии, остались городки. С его азартом вскоре он стал чемпионом. Впрочем, он не мог быть просто игроком. Он должен был стать чемпионом. В любом деле он добирался до вершины, иначе не стоило браться. В университетском дворе он устраивал сражения зоологов с химиками. У химиков главным городошником был Несмеянов, у зоологов Колюша. На станции играли дотемна. Клади белые бумажки к рюхам.

Он вспоминает, как на звенигородскую станцию к ним Кольцов привез Германа Мёллера, знаменитого

американского генетика. А Мёллер привез им мушек дрозофил. После него у Четверикова появились пробирки с агаром, мушки, всякие красноглазые мутации, кроссинговеры, и, наконец, образовался Дрозсоор.

Что такое Дрозсоор, никто из непосвященных долго не мог мне расшифровать. Нечто вроде семинара или кружка, где обсуждали работы с этой мушкой.

Вначале было слово или вначале было дело? Вот перед чем всегда встаешь в тупик. Вот о чем спорили философы. И будут спорить и дальше. Потому что даже в том, что происходит на наших глазах, мы не всегда улавливаем, что же было вначале — слово или дело.

С чего начался Дрозсоор, творение Четверикова, столь любезное его сердцу, этот вопящий, кипящий ерлаш, из которого один за другим выходили, как тридцать три богатыря, зачинатели оригинальных направлений в генетике?

А начался он, судя по всему, из жажды общения. Но так, чтобы общаться, не стесняясь никакими принятыми формами заседаний. Предлагать, обсуждать без оглядки на мыслимое и немыслимое...

Все же что-то этому предшествовало.

После окончания университета полагалось заниматься наукой. Но университета, как известно, Зубр не кончал и госэкзаменов не сдавал. Не кончив учебы, он взялся за науку. Все это знали, и в университете знали, и этого было достаточно. Тогда, в первой половине двадцатых годов, писчебумажная жизнь в науку еще не проникла. Человек расценивался по делам, ученый — по работам, студент — по тому, как он понимает и на что способен. Райское время, когда все ходили нагишом, не прикрываясь дипломами и званиями. Когда Колюша уезжал за границу работать, его учитель Н. К. Кольцов дал ему письмо, в котором удостоверял, кто он такой. Это заменяло все справки и мандаты. Главное, что он его ученик и обучен.

И когда он, Колюша, организовал в Москве Практический институт, у него тоже на это не было никаких особых бумаг, было желание на основе биологии создать нечто необходимое, практическое.

Счастливая пора! Он вспоминал о ней с блаженной улыбкой: все враги, окружавшие Россию, разгромлены, и можно было заняться любимым делом.

Один из рассказов своих о тех годах он начал так:
— Как хорошо ко мне господь бог относился!
И, убедившись в этом, я занялся экспериментальной биологией.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Оскар Фогт был невролог, невропатолог, он много сделал для учения об архитектонике полушарий мозга, кроме того, был крупный специалист по шмелям, по их изменчивости. Он собрал крупнейшую в мире коллекцию шмелей. Короче говоря, его можно было считать зоологом, то есть, по рассуждению Колюши, можно отнести к лучшей части человечества. Фогт, обожающий своих шмелей, хотел генетически подойти к их изменчивости. В Германии подходящего генетика не было. То есть были, конечно, знаменитые Баур, Гольдшмидт, Штерн, но они занимались другими темами. Так что работа у Фогта обещала быть интересной. Однако Колюша категорически от нее отказался и к Семашко являться не стал, не имело смысла. Никаких уговоров не желал слушать. Зачем ехать в Берлин, когда ему и здесь хорошо? Кольцов настаивал. Надо отдать ему должное: он умел управлять своими строптивцами.

Почему Кольцов выбрал Колюшу? Способных, талантливых у него хватало. И годы показали, что все, буквально все ученики Кольцова стали выдающимися генетиками. И Астауров, и Николай Беляев, и Ромашов, и Гершензон... Но Колюшу он выделил как наиболее самостоятельного из молодых. Затем у Колюши уже было пять печатных работ. Из них одна большая. Когда он успел? Насчет этого тоже следует сказать особо. Работоспособность у него была ни с чем не сравнимая. Известно, что он продолжал преподавать, чтобы кормиться и кормить родных и свою семью, потому как Лелька к тому времени уже родила здорового, орущего благим матом сына Дмитрия, которого почему-то все звали Фомой. Новоявленный папаша приговаривал ему: «Ори, ори, морда шире будет».

Когда он мог это приговаривать, не известно, так же, как не известно, когда он мог дуться в городки. Расклад времени не сходится. Если, конечно, считать, что в сутках и тогда было двадцать четыре часа. Преподавание занимало у него до пятидесяти восьми часов в неделю.

То есть побольше девяти часов в день одного говорения. Из месяца в месяц. Такой нагрузки не выдерживал ни один преподаватель. Кое-кто пробовал за ним угнаться и быстро скисал. Он дразнил их: «Слабаки! Недоноски!»

Разумеется, в хоре он уже не пел. Фронтовые пайки за пение кончились, так что расчета не было. Всккивал от грохота огромного будильника. Будильник был куплен в седьмом классе гимназии, когда выяснилось, что времени не хватает. Единственным запасом, откуда его можно было брать, стал сон. Глупо тратить на сон восемь часов, треть жизни. Раз навсегда он поставил будильник на семь и стал ложиться все позже и позже, пока — уже студентом — не дошел до двух с половиной часов ночи. Поначалу было трудно. Чтобы сразу засыпать, он перед сном обегал несколько раз свой квартал и тогда уже засыпал мгновенно, намертво. Никаких сновидений и прочих глупостей не видел. Некогда было, надо было высыпаться. Постепенно сон утрамбовался, да так, что никакой сонливости не оставалось. Во времена кольцовского института нормальный сон его составлял четыре с половиной — пять часов. На этом он, к счастью, остановился. Всю остальную жизнь так и спал. Некоторые могут считать, что он лишил себя удовольствия поспать, но он считал, что жизнь — удовольствие большее, чем спать. Ему помогало правило, которое у них в семье усваивалось детьми строго-настрого: проснулся — вставай! Валянье в постели не разрешалось. (Были еще два правила, таких же неукоснительных: ничего на тарелке не оставляй и не ябедничай!)

Будильник трясся, подпрыгивал над головой. Через полчаса Колюша уже бежал к трамвайной остановке. В девять начиналось преподавание на Пречистенском рабфаке — с перерывами, чтобы перебежать, доехать с рабфака в медико-педагогический институт и обратно. Девять-десять часов на говорение, два часа на переезды-переходы. В девять вечера являлся домой, нажирался, как австралиец, раз в сутки, всем, чем можно было, и отправлялся в кольцовский институт, который, к счастью, был рядом. До часу ночи тешился там со своими обожаемыми пресноводными, а затем, с 1922 года, с дрозofiлами.

С той поры у него образовалось свое фирменное блюдо: вбухать в кастрюлю все, что есть в шкафу, в хо-

лодильнике — мясо, колбасу, кефир, вареную картошку, яйца, можно туда же сыр, помидоры, и все это — на огонь и по тарелкам, чтобы не тратить время на первое, второе да еще закуску.

Вернувшись домой, еще читал. Поглощал модную у студентов русскую философию — Федорова, Соловьева, Константина Леонтьева, Шестова.

Его пугали: от такой жизни неминуемо мозговое истощение и гибель. Он отмахивался: это у обыкновенных интеллигентов. Похоже, что он не истощался. Ни головой, ни телом. Гибели тоже не происходило. Бегал неутомимо и успокаивал всех, что голова по сравнению с ногами малоценный орган. Голова нужна бывает редко, а для каждодневной жизни ноги и руки много нужнее. Так и жил: ногами и изредка головой.

К 1923 году Кольцов взял Колюшу к себе в медико-педагогический институт вести малый практикум, подбросил какое-то жалованьишко, деньги эти были удивительные — впервые Колюша стал получать за науку.

Практический институт по-прежнему тянул его к себе. Интересное студенчество собралось там — те, кто в военные годы прервал учения, а тяга не пропала. Они подались в институт, где давали ясную специальность, читались циклы: лесная промышленность, зверобойная, водная — то, что добывают из запасов природы, но запасов возобновляющихся. В этом была суть. Изучали теорию эксплуатации и восстановления. Профессор зоологии М. Н. Римский-Корсаков, сын композитора, втянул его в создание новой биостанции, доказывал, что Колюша — замечательный лектор, талантливый педагог-организатор.

Однако Кольцов и друзья Колюши всерьез опасались за его здоровье. Перегрузка, да еще такая, могла кончиться печально.

Я еще не рассказал толком про Дрозсоор — главную душевную страсть всех участников. В Дрозсооре зародилась и выросла новая идея в эволюционном учении — воссоединить современную генетику с классическим дарвинизмом. Идея увлекла всех дрозофильщиков. Кольцов Дрозсоора не посещал, чтобы не давить своим авторитетом, не стеснять. Он пребывал как бы рядом, но наверху, на своей вершине, а они орали у подножия горы.

Дрозсоор расшифровывается как *совместное орание о дрозофиле*. Над совместным ором взмывал мощный

бас Колюши. Несомненно, слово «орание» обязано его голосу; он орал громче всех, он был оратель, крикун, вопило, басыло и прочее. Вполне вероятно, что это он придумал название «Дрозсоор», хотя в этом не признавался. Ор, орание имело для них и второй смысл: пахать, вкалывать, ишачить — словом, работать... Название прижилось и вошло даже в официальную историю мировой генетики.

В орании сохранялся своеобразный порядок, состоял он, пожалуй, в единственном правиле «красной ниточки»: прерывай, неси любую чушь, а докладчик все же свою красную ниточку тяни!

Кольцов не понукал и не давал поблажек. Он был из тех людей, любовь которых распознать непросто. Со всеми одинаково вежлив и никаких любезностей. Они гордились им. В самое тяжелое время никто из них не отвернулся от него. Он не учил их порядочности, но так получилось, что всех его учеников, от старших и до младших — Рапопорта, Сахарова, Фризена, — отличает щепетильная порядочность.

Теперь понятно, почему Колюша не хотел ехать в Берлин. На кой ему этот Берлин, когда здесь работы по горло, самый ее смак, когда генетика в Советской стране на подъеме, когда такой известный ученый, как Герман Мёллер, поговаривает о том, чтобы переехать из Соединенных Штатов работать в Москву. Нет, не поедет он к басурманам в Берлин, к Фогту, в этот клистирный институт, где больше медицины, чем биологии.

Кольцов все же привел его к наркому. Семашко говорил о необходимости укреплять, поднимать авторитет молодой Советской Республики. Тут такой выгодный случай: есть возможность организовать в Европе совместный германо-советский научный центр. Грех не воспользоваться.

— Да, да, надо думать не только о своем научном интересе, — поддержал его Кольцов.

— Обыкновенно русские ученые ездили за границу учиться, — доказывал Семашко, — либо к какому-то корифею, либо методику осваивать, с аппаратурой знакомиться, а тут просят русского генетика поехать, чтобы создать генетическую лабораторию, фактически учить — не зулусов, а немцев.

Ситуация была, конечно, обольстительно редкая: молодой русский ученый двадцати пяти лет едет в Гер-

манию, откуда всегда везли «учености плоды», везет туда русские плоды.

А у Кольцова был и другой мотив:

— Там гоняться по лекциям не надо, жалованье обеспеченное, можно будет полностью заняться исследованиями, генетикой, то есть наукой и ничем другим. А организационный период? Так это же немцы, у них будет *Ordnung* — полный порядок. Сказано — сделано, сделано — переделывать не надо. Новая работа избавит от перегрузок, от отвлекающих забот. Ну и что ж, что басурманы, — немецкий-то язык вы знаете.

Немецкий он знал хорошо, немецкий и французский. И гимназия, и домашние учителя сделали свое. Что же касается обучения «басурман», то тут Семашко был не совсем прав — бывало и раньше, что русские ездили за границу учить. Взять хотя бы отца Колюши, Владимира Николаевича Тимофеева-Ресовского. Отец окончил физико-математический факультет Петербургского университета. Поехал в Среднюю Азию в 1871 году наблюдать какое-то затмение. Но вместо затмения посмотрел окрест и ужаснулся состоянию земной поверхности отечества нашего. Подобно Радищеву, «душа его уязвлена стала», но не страданиями человеческими, а состоянием дорог, первобытной беспутицей, от которой происходила тьма, глухомань, бескультурье и несправедливость. Никаких средств сообщения на тысячи километров! И так это его пронзило, что махнул он рукой на ученую свою карьеру, на астрономию. Диссертацию-то он защитил блестяще, а затем, приведя в изумление и печаль окружающих, поступил в только что реорганизованный Институт инженеров путей сообщения. Изучал он там чисто инженерные предметы, покончил с институтом за два года и немедленно отправился на строительство дорог. С тех пор строил и строил железные дороги. Прокладывал версту за верстой, как дорогу к будущему России. Железная дорога была для него средством одолеть отсталость российскую, невежество и бедность народа. Первая его самостоятельная дорога была в Сибири, северное начало Великого Сибирского пути: Екатеринбург — Тюмень. А последняя его дорога была Одесса — Бахмач со знаменитым для того времени инженерным сооружением — мостом через Днепр. После этого он помер на рождество 1913 года. Всего он настроил около шестнадцати тысяч верст железных дорог. В том числе была дорога Эльтон — Баскунчак с выходом к волжской при-

стани. Дорога небольшая, но особая: шла она через засоленную пустыню, и ему пришлось решать связанные с этим строительные проблемы. После этого отца пригласила англо-французская смешанная компания в Северную Африку. Там хотели строить дорогу от Марокко к границе Сахары. Старший Тимофеев-Ресовский отправился «учить басурман», как и что делать в условиях пустыни. Нечасто русского инженера англичане и французы приглашали руководить строительством. От руководства Владимир Николаевич отказался, согласился быть консультантом. Он говорил: «К своим жуликам я уже привык, знаю, как с ними обходиться, а басурманских жуликов изучать не хочу». Жаль, что Колюшу мало интересовали тогда отцовские дела; может, оттого, что жизнь отца проходила в разъездах, отлучках, видел он его нечасто. Колюша родился, когда отцу было пятьдесят лет. Что он хорошо помнил, так это рассказы отца про охоту в Африке на слонов, антилоп и гепардов.

Выходило, что ехать за границу «учить басурман», можно сказать, была потомственная тимофеевская традиция. Лелька тоже присоединилась к уговорам Кольцова и Семашко.

«Если до двадцати восьми лет ничего существенного в науке не сделал, то и не сделаешь» — фразу эту он будет потом повторять молодым, не жалея их. Беспощадная фраза. В 1925 году у него вроде бы еще оставалось какое-то время в запасе. Да кроме того, он уже и сделал кое-что путное. Но существенное ли? Он знал, что должен вот-вот что-то такое ухватить, это был самый азарт, самая горячка работы... И то, что в Германии можно будет не отвлекаться на преподавание ради заработка, решило дело. Он согласился.

Командировка, почетная командировка, ему завидовали, а он вздыхал. Более всего он сожалел, что лишался четвериковского Дрозсоора.

Рассказывая про те годы, он снова и снова возвращался к Дрозсоору.

— Вы знаете, я вам прошлый раз не рассказал про Александра Николаевича Промптова. Он тоже входил в Дрозсоор...

— Вы упоминали его.

— Да разве в упоминании дело? Он же был не только генетик, он был еще орнитолог и любитель пения птиц. Птичье пение заслуживает отдельной науки. Пром-

птов мог подражать всем воробьиным птицам Средней России. Тогда магнитофонов и прочих хитростей не было, записать пение и чириканье было не на чем. Он запоминал. Все свободное время он проводил в полях и рощах, наблюдая птиц. По чести говоря, он наверняка умел говорить с птицами, во всяком случае, с воробьиными. Был он горбатенький, хроменький, на вид убогий, а король птичий! К тому же он сделал еще несколько первоклассных работ по генетике скелетов птиц... А про Астаурова я вам рассказывал?..

Ничто не доставляло ему такого удовольствия, как рассказывать про талантливых людей. Восхищение талантами других — редкая вещь и в науке, и в искусстве. Похоже, он начисто был лишен зависти. Рассказывая о С. С. Четверикове, Н. И. Вавилове, В. И. Вернадском, он, сняв шляпу, раскланивался перед ними со всем почетом. Они принадлежали к его ордену, где требуются три качества: талант, порядочность и трудолюбие. Он чтит не только ученых первого ряда. Заботливо вытаскивал он из забвения зоологов, ихтиологов, какого-нибудь ботаника Зверева, отдавал должное их работам, их человеческим качествам. Похоже, что он знал весомость своего слова. Своей похвалой он как бы награждал. Его характеристики расставляли всё по своим истинным местам, отбрасывая казенную славу. Если он называл, например, Тахтаджяна лучшим нашим ботаником, то, значит, так оно и было, и никого не смущало, что Тахтаджяна еще не скоро выбрали академиком. Но признали, дошло до всех, во всем мире признали. Если он говорил, что Блюменфельд самый умный человек, то все принимали это как должное.

Но так же безжалостно и бесстрашно он умел разделять бездарность всех рангов, особенно претендующую. Во времена Дроздоева был такой Вендровский. Он ходил в португезе и полувоенной форме. Колюша пел ему вслед: «Когда легковверен и молод я был, военную форму я страстно любил». Вендровский кипятился, обижался и в конце концов написал на Колюшу жалобу.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Противиться Кольцову было трудно. Он был беспощаден ко всякого рода глупости — сентиментальной, романтической, беспечной.

Многие его не любили, считали хмурым, нелюбезным. Боялись, потому что всякую глупость он высмеивал, подчеркивая разницу уровней. То есть если ты плохо соображаешь, то он тебе показывал, как ты плохо соображаешь. Но к тем, кого любил и ценил, он относился просто и сердечно.

В Дрозсооре считали, что нет никакого смысла принимать во внимание возраст участников, когда обсуждается научная проблема. Со времен древних греков ни возраст, ни положение, ни дружба не являются защитой. Мог же семнадцатилетний Аристотель сказать о шестидесятилетнем своем учителе: «Платон мне друг, но истина дороже!»

Для Кольцова тоже не существовало разницы возрастов и положений. Брак Колюшин он одобрил и обоих новобрачных принял в свои друзья.

Кольцов воспринимался одновременно и как большой начальник, и как большой ученый. В те годы считалось нормальным, что авторитет ученого и руководителя совпадает. Руководителю никто не писал диссертации. При нем подчиненные боялись обнаружить свою бездарность. Бездарный не мог получить особых преимуществ перед способными. После революции было неприветливое, невыгодное время для посредственностей и проходимцев, не вышло им льгот, поэтому они не стремились в науку. Не директоров избирали в академию, а академиков назначали директорами.

Наука была тощей, с пустым кошельком. Монографии печатались на оберточной бумаге, академических пайков не было. И тем не менее наука чувствовала себя неплохо. Голодная диета не мешала энтузиазму. В то время совершалось немало глупостей, но было и немало умнейших, мудрых акций.

Нарком просвещения А. В. Луначарский пригласил Владимира Михайловича Шимкевича стать ректором Ленинградского университета. Крупнейший специалист по беспозвоночным, академик Шимкевич был убежденным дарвинистом, материалистом и при этом членом кадетской партии. Луначарского это не смущало. Профессура была поражена: большевики доверяют кадету университет! Луначарский знал, что делал: во-первых, Шимкевич был человек неподкупной честности, во-вторых, акт этот удержал в университете многих ученых, привлек их симпатии к новой власти. В длинном коридоре университета, по которому шутники устраивали

гонки на роликах, стояли столики с надписями: «Эсеры», «Меньшевики», «Большевики». Студенты митинговали, партии вербовали молодежь. Шимкевич, да и власть, относились к этому спокойно; и до самой смерти он добросовестно руководил университетом. Студентов он увлек созданием естественно-научного института в Петергофе; в имении герцога Лихтенбергского организовывались новые лаборатории: гидробиологии Дерюгина, лаборатории Д. Насонова, Костычева, В. Догеля, Ю. Филипченко. Золотая пора! Юрий Иванович Полянский, студент-дипломник тех лет, вспоминает о ней как о самом счастливом времени своей ученой жизни. До революции подобного настроения не было; тут же все вдруг убедились, что новая власть за науку не на словах, а на деле.

Бедность, в которой жили и профессора, и студенты, была экономически оправданной, всем понятной, а кроме того, в ней было равенство, то самое, что, казалось, шло от священных заветов Великой французской революции, — свобода, равенство и братство!

Тимофеевы заметили свою бедность, лишь когда стали собираться в Германию. Выяснилось, что ехать-то не в чем. Ни обуви, ни одежды нет. У Колюши имелось бывшее полугалифе, некогда синее, ныне же, по случаю полной изношенности, неровного цвета: где темно-серого, где светло-невыразимого. Зато имелись «танки» — выходные английские военные сапоги, которые шнуровались до самого верха. Шнурки давно порвались, их заменила пеньковая бечева, окрашенная тушью. Свои «танки» Колюша еженедельно мазал касторкой, поскольку он знал, что она токсична для гнилостных бактерий. «Танки» не гнили и стали абсолютно водонепроницаемыми. Были остатки солдатской гимнастерки, летние штаны из посконной холстины, имелось пять рубаш. Летом он ходил босиком, к зиме надевал шерстяные лапти: рабочая обувь. Старушки плели такие лапотки, подошву — из шпагата. Ехать во всем этом за границу, где штучки-брючки, пиджачки-котелки, было невозможно. Купить? Фогт предложил оплатить переезд, дать нечто вроде подъемных. Но Колюша высокомерно отказался. С какой стати брать у немцев незаработанные деньги, одалживаться? Вел он себя барственно. Всю жизнь вел себя так. От того, чтобы ему наняли в Берлине меблированные комнаты, тоже отказался. Сами найдем! Никаких услуг задарма не принимал. Са-

молюбие не позволяло, точнее — гонор. Чтобы не подумали, что по бедности подачки принимает.

Лельке тетка сшила нарядные платья из каких-то шелковых штор. Ему же приобрели одну серую рубашку с запасом пристежных воротничков, две пары трусов, и был найден портной, который согласился из огромного старого плаща Лелькиного дядюшки сшить костюм-тройку. Все промерил, и выходило как раз — пиджак, брюки и жилетка. Никаких других возможностей не было, ибо весь дореволюционный гардероб проели. Правда, нашелся студенческий парадный китель отца — белый с золотыми пуговицами, со стоячим воротником, в кителе были прорези для шпаги. Но все решили, что это — не костюм двадцатого века, и переделать его не было никакой возможности. Наодолжив денег у друзей, приобрели полуботинки и две пары запасных шнурков. С костюмом уже в дороге начались неприятности: на локтях и на коленях стали вздуваться пузыри. Никакой утюжкой разгладить их не удавалось. Материал плащевой, что ли, был такой — леший его знает. Одно выручало: врожденная стать Колюши. Ни в какой одежде он не выглядел смешным, тем более провинциальным вахлаком. Украсить его эти пузыри не могли, но он их не чувствовал, поэтому существовал и воспринимался независимо от них. Тем более что бедности в то время интеллигенция не стыдилась.

Поезд нес их сквозь знойное июльское марево. Зреющие поля, деревни, пестрые от белого теса новых домов... Шел 1925 год. Разгар нэпа. На станциях бойко торговали жареными курами, топленым молоком, пышными пирогами с визигой, самодельной ветчиной. Колюша всю дорогу отъедался и пел. Вдоль обочин высились груды ржавого железа. Ломовые лошади тащили на телегах к станциям остатки самолетов, броневигов, орудий — мусор знаменитых сражений; чертыхаясь, его убирали с полей. На что пойдет этот лом? Никто не предполагал, что когда-нибудь его переплавят на новые пушки. Германия, во всяком случае, воевать больше не будет. Потянулись разоренные, нищие польские селения, разбитые костелы, каменные распятия на перекрестках. Кто выиграл эту войну? Сорняки, которые заполонили поля? Пузырь имперского тщеславия лопнул смрадно и кроваво.

Смешно вспоминать, он ехал в Германию без всякого трепета, чуть ли не с миссионерской самонадеян-

ностью — обучать немцев, насаждать генетику, создавать кадры, просвещать бедных тевтонов. Про себя опасался, знал, что не такими уж безнадежно темными они были, но чувство превосходства в нем играло.

Никаких удостоверений, бумаг он не взял, диплома тоже не было, было лишь то самое письмо Н. К. Кольцова, в котором говорилось, что Тимофеев-Ресовский его ученик, обучен и рекомендуется им.

Хмуро посапывая в усы, Кольцов сказал, прощаясь: «Перевернуть жизнь, не дать ей залежаться — уже хорошо».

Можно было подумать, что он завидовал Колюше. Во всяком случае, нужды его заботили куда меньше, чем счастливый случай, который он хотел во что бы то ни стало использовать для своего ученика.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Институт помещался в Бухе, берлинском пригороде. Тут же и поселились. И первым делом Колюша затеял лабораторный треп наподобие московского Дрозсоора. Собирались у Тимофеевых дома. В лаборатории чем неудобно? Надо ждать, пока уйдут уборщицы. А дома хорошо. Чаек попивают и треплются. Немцы к такому домашнему сборсоору непривычные. Они больше по пивным собираются.

— Ну, мы их приохочивали к самоварному застолью на свой манер. Хошь не хошь — ходили. В генетике они невинные были, приходилось приучать их размышлять. А это куда как трудно. Чтобы взрослого человека, да еще считающего себя ученым, заставить думать — легче кошку выдрессировать.

Все делалось по испытанному московскому образцу. В Москве собирались у Четверикова, у Ромашовых или у Тимофеевых — на квартирах треп шел свободнее, чем в лаборатории. Немцы к себе домой не звали, все трепы происходили у Тимофеевых в их тесной квартирке.

Бух находился в двадцати пяти километрах от центра Берлина. Сейчас Бух — это Берлин, а тогда между Бухом и собственно началом Берлина было примерно десять километров. Так что жили и работали как бы на отшибе, что во всех смыслах было удобно. В Бухе были выстроены огромные больничные корпуса на четыре

с половиной тысячи коек, туберкулезная клиника на две с половиной тысячи коек, многие другие клиники, всего на пятнадцать тысяч коек с обслуживающим персоналом и институтами.

Какое счастье было работать, ни на что не отвлекаясь. Работать с утра до ночи — ничего слаще быть не могло.

Во-первых, он закончил работу по фенотипике — действие генов и их совокупности в ходе развития особи, — отличную работу; затем в 1927 году вместе с Лелькой — две хорошие работы по популяционной генетике. Это обосновало важнейшие идеи С. С. Четверикова.

Он расширил фронт своих исследований, чувствуя в себе все растущие силы. Он привлекает к своим работам физиков Макса Дельбрюка и Карла Гюнтера Циммера. Сокращенно его звали Ка-Ге. Все имели прозвища или клички. Колюша, кроме Колюши, получил еще короткое и легкое имя — Тим. Ка-Ге был флегматично нетороплив, невозмутим, работал методично, не спеша, и поэтому успевал сконструировать все необходимые установки для облучения разными видами лучей, создал методику измерения доз облучения, которой пользуются и поныне. Как рассказывает Николай Викторович Лучник, они прекрасно дополняли друг друга, Тим и Ка-Ге: горячий, нетерпеливый, шумный — и медлительный, попыхивающий трубочкой над чашкой черного кофе... Казалось бы, несхожесть, казалось бы, противоположность. Тем не менее сошлись, и на многие годы. Противоположны — не значит противопоказаны. «Ка-Ге был экспериментатором, — рассказывает Лучник. — Для обсуждения безумных идей у Тимофеева были другие друзья: физик-теоретик Макс Дельбрюк, Паскуаль Йордан, Джон Бернал». (Тут Зубр неизменно басил: «Голубь мира».)

В данном случае «Зубр» означает уже другое время, пятидесятые — шестидесятые годы. Для многих, прежде всего для сверстников, он оставался Колюшей, для тех, кто знакомился с ним в зрелости, он был Тим. Прозвищ ему хватало, он и сам раздавал их достаточно щедро.

— Что это за человек, — удивлялся он, — если ему нельзя дать никакого прозвища, это совершенно невыразительный человек.

С Германией у Советской страны в двадцатые годы были наиболее дружественные отношения. После Рапалльского договора 1922 года Германия первая устанавливает дипломатические отношения с молодой Советской страной, налаживает торговлю, позже заключает договор о дружбе и нейтралитете. Создаются совместные издательства, акционерные компании. Проводятся встречи советских и немецких физиков, электротехников, химиков. Выходят немецко-русские журналы.

Поразительно быстро завоевал он авторитет, этот русский, командированный из Советской России. Надо отдать должное и немцам, и всей тогдашней научной среде: русский, советский — их это нисколько не смущало, так же как и его молодость и самоуверенность.

Кроме того, наше мнение о нас самих влияет на мнение других о нас, а мнения о себе Колюша был высокого.

В 1926 году С. С. Четвериков напечатал теоретическую работу, которая стала классической: «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения генетики». Он показал, что природные популяции не обходятся без внешнего давления. Поэтому надо ожидать, что популяции содержат много разных мутаций. Они впитывают их в себя, как губки. Колюша экспериментально подтвердил этот вывод. Наловив несколько сотен мух, он получает потомство и выуживает оттуда двадцать пять разных мутаций. В 1927 году он публикует «Генетический анализ природных популяций дрозофилы». В том же году С. С. Четвериков приезжает в Берлин на V Международный генетический конгресс и делает доклад на эту тему. Самое желанное, самое душеласкательное, что может быть в науке, — когда найденное на кончике пера предстает в эксперименте зримой — в красках, в подробностях — явью. Сон, который вдруг сбылся, даже не сон, а сладкое виденье!

Публикация произвела впечатление в разных странах. Генетики бросились проверять открытие на других объектах. Сам же Колюша продолжал эти работы уже вполсилы. Почему? Имелась же замечательная перспектива! Можно было пожинать и пожинать...

— Ученый должен быть достаточно ленив, — объяснял мне Зубр. — На этот счет у англичан есть прекрасное правило: не стоит делать того, что все равно сделают немцы.

Он занялся обратными мутациями: не появится ли у дрозофил-мутантов возврат к норме? Тогда была гипотеза, что всякая мутация разрушает ген. Ему не верилось в это. Если разрушает, тогда не должно быть обратных мутаций, а их удалось получить. Можно надеть перчатку и выбить стекло в окне, но таким же ударом стекла не вставишь. Есть примеры и сравнения, которые действовали сильнее научных доводов.

Одновременно он выясняет, как влияет отбор и внешние условия на разные проявления определенной мутации. Год за годом уходил на обработку тысяч, десятков тысяч мушек. Поколение за поколением, воздействие, проверка, подсчеты. Семь лет потребовала эта работа. В 1934 году удалось наконец опубликовать итоги. Сперва он публиковал большую статью или даже книгу, затем, после того как проблема прояснялась, устаивалась, печатал краткую статью, которая итожила и оставалась надолго. Потому что любую работу можно изложить кратко, ежели, конечно, сам до конца ее понял. Довести до самой что ни на есть простоты — это и есть настоящая наука.

Он пришел к выводу, который многое определил: все исходное должно быть просто.

Однажды он услышал от Нильса Бора и усвоил на всю жизнь: если человек не понимает проблемы, он пишет много формул, а когда поймет, в чем дело, их останется в лучшем случае две.

Одновременно он занимается радиационной генетикой — мощные дозы, жесткое излучение и тому подобное. В результате в Геттингене была опубликована знаменитая «Зеленая тетрадь», написанная им вместе с Максом Дельбрюком и К. Г. Циммером.

— Вы не слыхали про «Зеленую тетрадь»? — спрашивает он меня.

— Не слыхал, — признаюсь я.

Чем меньше я знаю, тем лучше и обстоятельнее он рассказывает, не проскакивая, вдавливая в мою пустую голову элементарные сведения. Иногда я провоцирую его ради удовольствия послушать, но про «Зеленую тетрадь» я действительно ничего не знаю. Его удручает мое невежество, как если бы я не знал про «Зеленую лампу» декабристов, про «зеленую» революцию...

Я не собираюсь описывать его научные достижения, не мое это дело. Не о них я пишу, я рассказываю про

одну человеческую жизнь, которая, как мне кажется, стоит внимания и размышлений.

Он бранит мою серость, ему стыдно, что я не в курсе вещей, необходимых каждому культурному человеку, а я сетую про себя на самомнение ученых. Им кажется, что гром открытия ДНК, хромосом, двойной спирали отдается во всех сердцах. Человечество ликует — еще одна тайна устройства жизни приоткрылась! Всемирный праздник отмечен салютами, ибо нет ничего важнее этих событий, все остальное постольку поскольку.

Вместо этого неблагодарный обыватель ставит памятник Черчиллю, зачитывается книгами о Мэрилин Монро, киоскеры продают открытки с портретами «Битлз», толпы любителей выпрашивают автографы у Карпова. Что это за мир, где прыгунов и генералов знают лучше, чем гениев, разгадывающих шифры Природы!

За открытием следовали будни, когда вперед удавалось продвигаться еле-еле, маленькими шажками. Это было скучно. Он решил заняться эволюцией на материале чаек и дубровника, их систематикой. Ставил опыты по жизнеспособности определенных мутаций. Постепенно формировалось количественное изучение пусковых механизмов эволюции. Ему удалось определить минимум популяции и максимум популяции. Разница бывает колоссальная. Бывает, что в какой-то год отдельная популяция размножается вдруг до гигантских размеров. Например, гнус на Севере. Даже суточные колебания гнуса достигают от единиц до десятка миллионов. Сезонные размахи могут оказаться мириадными, вообще невообразимыми. Или столько дубовых шелкопрядов разведется, что деревья голыми стоят. И тогда незамеченная мутация получает вдруг гигантское распространение, перепрыгивает этапы, на которые потребовались бы тысячи лет. Развивая давние идеи Четверикова, Колюша искал механизм волн жизни. В чем их смысл? Какую роль эти волны жизни играют в эволюции? Много лет он обдумывает, изучает эти явления. В 1938 году он делает сенсационный доклад на годовом собрании генетического общества «Генетика и эволюция с точки зрения зоолога», в 1940 году участвует в книге, которую составляет Джулиан Хаксли, «Новая систематика», книге, посвященной генетике и эволюции. Там крупнейшие биологи мира пишут по главе, Зубр писал третью, а Вавилов заключительную.

Джулиан Хаксли был братом замечательного английского писателя Олдоса Хаксли. Хотя Зубр считал наоборот — Олдоса братом знаменитых биологов Джулиана и Эндрю, внуков Томаса Хаксли, которого называли «бульдогом Дарвина» за пропаганду и защиту дарвиновской теории.

К тому времени его дружба с физиками окрепла. Бывая в Копенгагене на боровских коллоквиумах, он стал переманивать физиков, желающих заняться проблемами биологии. Они решили отделиться от Бора, создать свой собственный международный биотреп.

Но до этого, в конце двадцатых — начале тридцатых годов, произошло прозрение.

— Мы с Максом Дельбрюком, потом и Полем Дираком увидели, что всюду, где какие-то элементарные существа размножаются, строят себе подобных рядом, — всюду имеется удвоение молекул, репликация... Одно из главных проявлений жизни состоит не в том, что нарастает масса живого, а в том, что множится число элементарных особей. Некое элементарное существо строит себе подобное и отталкивает его от себя, давая начало новому индивиду.

Денег на треп добились у Рокфеллеровского фонда. Собралось четырнадцать человек, все — звезды первой величины. Генетик Дельбрюк, цитолог Касперсон; биологи: Баур, Штуббе, Эфрусси, Дарлингтон; физики: Гейзенберг, Йордан, Дирак, Бернал, Ли, Оже, Иеррен, Астон. Съезжались они на каком-нибудь шикарном курорте в несезон, когда номера дешевы.

На всех семинарах, коллоквиумах, встречах, во всех своих выступлениях он ссылался на работы Кольцова, Четверикова, Вернадского и других русских. Если Томас Хаксли заслужил прозвище «бульдог Дарвина», то Колюшу можно было назвать «бульдогом русских». Во многом благодаря ему вклад русских ученых в биологию стал вырисовываться перед мировой наукой. Вклад этот оказался неожиданно для Запада велик, а главное, плодоносен: давал множество новых идей.

Молодые ученые, которых он соблазнил, и тогда уже совсем не напоминали кабинетных затворников. Их можно сравнить с нынешними молодыми физиками, кибернетиками — с этими аквалангистами, альпинистами, танцорами, ловеласами, знатоками поэзии и буддизма. Просто тогда их было мало, об их времяпрепровождении, об их облике мало кто знал. А между

тем они умели жить весело, ничуть не заботясь о своей репутации.

На этих биотрепах надумали вычерчивать изолинии. Вайскопф и Гамов разработали так называемые изокалы, кривые женской красоты, наподобие изотерм, температурных кривых. Вычерчивали их на карте Европы. Каждый научный сотрудник, куда бы он ни приезжал, должен был выставять отметки местным красавицам. Задача была выявить, как по Европе распределяются красивые женщины, где их больше, где меньше. Сбор сведений шел отовсюду. Розетти присылал их из Италии, Чедвик — из Англии, Оже — из Франции. Большею частью наблюдения велись на улицах. Встреченным женщинам выставлялись отметки по пятибалльной системе. Наблюдатель прогуливался с друзьями, которые помогали вести подсчеты и придерживаться объективности. Отметку «четыре» ставили тем, на кого наблюдатель обращал внимание приятелей; отметку «пять» — тем, на кого он не обращал внимание приятелей; отметку «три» — тем женщинам, которые обращали внимание на них. Собирались данные, допустим, на тысячу встреченных женщин, обрабатывались статистически и наносились изокалы. Максимум красавиц приходился на Далмацию, Сербию, в Италии — на Болонью, Тоскану. В Средней Европе особых пиков не было. У Розетти висела большая карта, на которой вычерчены были изокалы за несколько лет энергичных наблюдений.

На буховский треп стали приезжать из других городов. Пришлось перенести из-за этого треп на субботы. Отдел стал расти, достиг восьмидесяти человек, больше, чем по тем временам для европейской науки. Кооперация с физиками привлекала своей принципиальной новизной.

Макс Дельбрюк, ученик Бора и Борна, внук одного из создателей органической химии, был молод, самоуверен, нагл.

— Мы с ним тоже нагло обращались. Это его быстро отрезвило!

Дельбрюк работал у Бора в Копенгагене с Гамовым, а в 1932 году вернулся в Берлин и стал ассистентом у Отто Гана и Лизы Мейтнер в Кайзер-Вильгельм-Институте. Один из главных его интересов сосредоточился на тайне природы гена. К тому времени генетический анализ дрозофил позволил Зубру измерить ген, величи-

на которого оказалась сравнима с размером молекулы. Сходные данные получили и в вавиловском институте в Москве.

Ген есть особый вид молекулы, но стало ясно, что это уже элемент жизни. Наконец-то они его ощутили, ухватили...

Все это было в их совместной статье. Внимания она особого в то время не привлекла. Почва для нее не была готова. Она появилась чуть раньше положенного. Открытие должно появляться вовремя, иначе о нем забудут. Небольшое упреждение необходимо, но именно — небольшое, как в стрельбе по летящей цели.

Позже, однако, на эту статью сослался Шрёдингер в своей нашумевшей книге «Что такое жизнь? С точки зрения физика», и тогда открытие Зубра стало сенсацией.

Биология, генетика, радиационная генетика двигались вперед во всех европейских странах и в США, через лаборатории Англии, Франции, Швеции, Германии, России, Италии, но участок в Бухе заметно выдавался вперед. Почему? В чем состояло преимущество этого русского? Да в том, что кроме бурного его таланта он сумел собрать подле себя дружину, он действовал не один, в окружении не лаборантов и помощников, а скорее — соратников, сомысленников. Он был не одинокий охотник в заповедных лесах, он атаманил со своими молодцами, его дар соединился с дарованиями тоже ярких и самобытных ученых. Он умел, как никто другой, воодушевлять, поджигать самые негорючие натуры. Сложившийся в России Дроздоор был тоже открытием; и он, Колюша, а теперь Тим, внедрял его, держался за него да к тому же и полюбил эту форму работы — шумную, веселую, компанейскую.

Младший сын Тимофеевых Андрей Николаевич вспоминает: «Мебель у нас в доме была вся сборная: покрашенный в черный цвет дубовый шкаф, маленький письменный столик отца. Бедно было, беднее, чем у любого немецкого бюргера. Я однажды зашел к садовнику в Бухе, который жил напротив, помню, как меня поразили зеркала, кресла. Зато народу у нас по субботам-воскресеньям собиралось много. Ходили за грибами. Это отец приучил всех. В субботу многие оставались ночевать. Раскладушки деревянные устанавливались во всех комнатах. Окна у нас выходили в парк. Жили мы на

первом этаже. Утром в воскресенье многие вылезали в окна, а не через дверь. Такой стиль был. Русские наезжали сами, немцев приглашали. Кто-то что-то привезет, помогали маме готовить. Мы с отцом варили оксеншванцензуппе (суп из бычьих хвостов)...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Прежде всего меня, конечно, интересовали русские друзья Зубра. Кто они такие? Берлин в двадцатых — начале тридцатых годов был центром русского зарубежья. С кем из русских общались? Кое-что мне рассказывал сам Зубр, кое-что было в рассказах Андрея. Жизнь русской послереволюционной эмиграции интересовала меня давно, приходилось с этими людьми сталкиваться за границей, встречи оставляли сильное впечатление особой, ни с чем не сравнимой горечью, которой была пропитана жизнь этих людей, а еще тем, что русская эмиграция удивительно много дала европейской культуре, науке. Вклад этот у нас мало известен, недооценивается, как, впрочем, и на Западе. Можно назвать сотни имен в физике, химии, философии, литературе, биологии, живописи, скульптуре, имен людей, которые создали целые направления, школы, сами явили миру великие примеры народного гения.

С русской эмиграцией Тимофеевы общались мало, они были слишком поглощены работой, а кроме того, к ним, как к советским людям, советским подданным, белогвардейские круги относились подозрительно.

Дружба была с Сергеем Жаровым. Жаров, дружок его, как раз к революции окончил Синодальное училище. С какими-то казачьими частями мальчишкой эвакуировался за границу. Ткнулся туда-сюда, назад ходу не было. Мыкался он на разных работах, потом в Вене в 1922 году организовал мужской хор. Был он исключительно одаренным музыкантом и оказался к тому же великолепным организатором. В хоре он держал тридцать шесть человек. Из них тридцать певцов, четыре плясуна, завхоз и он, Жаров. Никаких солистов. И он, и остальные хористы получали одинаково. Этим самым исключалась зависть — беда всякого художественного коллектива. Обосновал он это так: если у тебя хороший голос и ты можешь солировать, так кому я буду платить за это, господу богу? Он же, голос, у тебя от бога, бес-

платно, божий дар. Дисциплину держал железную. Если кто на спевку придет выпивши, иди прочь.

О Жарове Зубр потом любил рассказывать. И мы любили слушать, потому что ничего не знали о таком явлении, между прочим примечательном в истории русского искусства. К тому же у Зубра имелось несколько пластинок с записями жаровского хора, и он демонстрировал их, подпевая.

— Они год репетировали программу, а с девятьсот двадцать третьего стали концертировать и сорок пять лет концертируют. К концу двадцатых годов стали зарабатывать сколько хотели. Больше немецкого профессора получали. И сверх того получали много, и это «сверх того» шло на стипендии русской молодежи. Помогали детям русских получать образование, становиться на ноги. Сережка Жаров и лады знал, и гласы, и сам аранжировал. Программа у него из трех частей была: первая — казачьи песни, вторая — военные, третья — хоровые переложения. Рахманинова прелюды перекладывал, да так, что сам Рахманинов благодарил его. Я вообще против переложений, но тут они меня покорили. Когда они жили в Берлине, там у них была штаб-квартира, каждую субботу устраивали коллоквиум. Музыковеды делали доклады. Все крупные музыканты, дирижеры, бывая в Берлине, бывали у них. Писатели их посещали, ученые. Русские, конечно, в первую очередь. Метальников при мне рассказывал им про бессмертие простейших... Ох ты господи, да Метальников, к вашему сведению, еще до революции во Францию уехал и заведовал в Институте Пастера отделом. До него заведовали Мечников, потом Безредка, потом Гамалея и уже потом Метальников. Это же наши корифеи, гордость, полагалось бы знать их... Габричевский у жаровцев на коллоквиумах выступал, Евреинов, Мозжухин, кроме Рахманинова еще такой композитор, как Глазунов. Гречанинова я там слушал... Эти хористы высококультурные люди были. Стравинский к ним наезжал, Роберт Энгель сделал доклад о русском колокольном звоне и о производстве колоколов. Борис Зайцев читал свои рассказы, Ремизов читал, очень занятный писатель Осоргин бывал у них. Ну, натурально, певцы — Держинская, Петров. Был у них Ершов...

Его перебивает один доктор наук, филолог, которому давно уже невтерпех:

— А Осóргин, это что же за писатель? Фельетонист?

— Осоргин, к вашему сведению, романист, отличный писатель, роман «Сивцев Вражек» не читали?

Доктору кажется, что он знает литературу, искусство, уж это по его части, и всякий раз убеждается, что о многом понятия не имеет. Он злится. Впервые он слышит о Жарове, впервые о Гречанинове, то есть слышал что-то, вроде как о «Могучей кучке», но вот перед ним сидит человек, который прогуливался с Александром Тихоновичем Гречаниновым по Унтер-ден-Линден. Всякий раз доктор попадает впросак. Никак он не может примириться с превосходством Зубра в разных искусствах, не понимает, что это несоответствие не знаний, а жизни, аналогичное тому, как если бы он пришел на спектакль со второго действия и поэтому не понимает, путается.

Сам Колюша рассказывал жаровцам о боровской методологии естествознания, о популяционной генетике, о том, как помогал Грабарю реставрировать фрески. В 1919 году он расчищал целых три недели каких-то ангелов, трубящих в Дмитриевском соборе во Владимире.

Потом у Жарова произошла катастрофа. Переезжал хор на двух автобусах из города в город по горной дороге Америки, первый автобус сорвался в пропасть. Все погибли. Там была жена Жарова и половина хора. После этого они год не выступали... Потом пополнили состав. Конкурс к ним был огромный, со всего мира. Попасть в хор к Жарову было не менее трудно, чем в «Ла Скала». Вакансия у них открывалась только за смертью или выбытием, как в Английском королевском обществе.

Зубр, рассказывая о жаровцах, и восхищался ими, и завидовал возможности попеть в хоре во всю силу своего голоса, который уставал умерять. Широченная грудь его расправлялась, плечи раздвигались, и непривычно мечтательно-счастливое выражение смягчало его черты...

Дружба была и с Олегом Цингером, сыном замечательного русского физика, автора учебника «Начальная физика». Эта книга и задачник А. В. Цингера много лет служили русской и советской школе. Поэтому Александра Васильевича Цингера считают физиком, и сам он так себя считал, а знаменитую книгу «Занимательная ботаника» приписывали его брату Николаю Васильевичу, выдающемуся русскому ботанику. На самом деле

«Занимательную ботанику» написал физик Александр Васильевич Цингер. В двадцатые годы он поехал лечиться за границу и там, будучи больным, занялся любимым делом — ботаникой. Мне уже несколько раз встречались случаи подобного рода. Владимир Иванович Смирнов, академик-математик, причем блестящий математик, говорил мне, что тайная его страсть — музыка, что всю жизнь он мечтал стать музыкантом. Примерно то же было и с Александром Васильевичем Цингером — любовь к ботанике жила в нем с детства. Можно подумать, что любовь — это одно, а способности — другое и им необязательно совпадать. Возможно, двойственное это чувство перешло к нему от отца-математика и почетного доктора ботаники.

С Олегом Цингером, точнее с его письмами, меня познакомил Зубр. Это были необычные письма — письма с рисунками гуашью. Олег Цингер был художник-анималист. Он рисовал животных для разного рода изданий. Рисовал их в зоопарках, в аквариумах, в музеях. Прямо посреди текста письма появлялись великолепные акварельки какого-нибудь зоопарка с индийскими носорогами, неподалеку от которых на стульях сидят посетители. Райская идиллия. Письма писались по-русски на плотной бумаге, годной для краски, писались тушью четким, почти печатным почерком:

«Самый лучший аквариум, который я видел, это был в Stuttgarteneé «Wilhelma». Там огромные витрины для пресноводных экзотических рыб. Устроены они так, что вы сразу видите сушу, поверхность воды, растения и жизнь под водой. Все эти коралловые рыбы, морские звезды, морские ежи и актинии производят на меня большое впечатление. Особенно рыбы! Меня восхищает утонченный, я бы сказал, рафинированный вкус этих различных форм и окраски. Никак нельзя обвинить рыб в декадентстве и упадничестве. В то же время сочетание цветов, форм, все их «выполнение» создано как бы для знатоков Пикассо, Дягилева, Пьеро делла Франчески, Миро и прочих. Но еще лучше, тоньше и к тому же живые. Не могу оторваться от этих морских рыб. Когда я смотрю на эти новые устройства в аквариумах и в зоопарках, мне становится печально, что этого не было, пока жили мои родители и жил мой друг В. А. Ватагин».

Василий Ватагин, известный художник-анималист, график и скульптор, был учителем Олега Цингера. Ватагин, как и Олег, был влюблен в животных и, соответ-

ственно, любил и ценил лучшие зоосады и заповедники, где животные не только выставлялись, но и могли жить хоть более или менее естественно.

«Еще очень хороший зоосад в Антверпене. Он расположен рядом с вокзалом, но там так умно посажены кусты и деревья, что близость вокзала и неприятной части города не чувствуется. Так же, как в Лондоне, имеется Moonlight World, то есть дом для ночных животных. Тут можно наблюдать всяких лори, трубкозубов, древолазных дикобразов, ящуров, ехидн. Вы идете в полной темноте по коридорам, а перед вами витрина с животными, которые оживают только с наступлением ночи».

Тут же нарисован ночной дом в Антверпенском зоопарке. Олег Цингер описывает зоосады Лондона, Франкфурта, Берлина, Амстердама, Нью-Йорка, Буффало и другие, описывает с таким увлечением, что невозможно оторваться:

«...Хорошие звери очень хорошо устроены в своих витринах и сильно отдалены от нью-йоркской публики. Здесь, в Бронксе, чувствуется, что всех этих кинкажу, куэнду, фосс и сумчатых крыс надо оберегать от публики. Я это очень хорошо понял, когда увидел три десятка негритят, которые барабанили палками по металлическому барьеру и гонялись по всему помещению друг за другом».

Олег Цингер не только анималист, он пишет пейзажи, делает иллюстрации (маслом!) к Гоголю, работает в довольно широком диапазоне. С ним я списался уже после смерти Зубра, и он многое рассказал о жизни Тимофеевых в Берлине.

Они познакомились в Берлине в 1927 году. Их познакомил тот самый художник Василий Алексеевич Ватагин, к которому еще мальчиком привязался Олег Цингер и который приехал специально из Москвы в Берлин, чтобы поработать в Берлинском зоологическом саду. Тогда это было просто. Поселился Ватагин у Тимофеевых, хотя квартирка их была маленькая. С утра Тимофеевы уходили в институт, маленький Митя, то есть Фомка, оставался на попечении некоего Владимира Ивановича Селинова, милейшего человека, который зарабатывал себе на жизнь, набивая табаком гильзы для русских папирос. Прокормиться на такой заработок было нельзя, и Тимофеевы, чтобы ему помочь, взяли его нянькой к сыну и поваром.

Тимофеевы не могли жить, чтобы кому-то не помогать. Селинов стряпать не умел, мог готовить нечто вроде котлет, которыми он кормил всех из месяца в месяц. Но гости приезжали и уезжали, а Тимофеевым деваться от котлет было некуда. Кончилось дело тем, что они заболели от однообразного питания. Зато Селинов хорошо знал русскую поэзию. С Олегом Тимофеевы скоро перешли на «ты», Елена Александровна превратилась в Лельку, а Николай Владимирович — в Колюшу.

Целыми днями Олег Цингер и Ватагин пропадали в зоо, рисуя зверей; в субботы за ними заезжал Колюша, и втроем они отправлялись в балаган. За небольшую цену там можно было смотреть борьбу, бокс и кетч. Три раунда. Потом надо было платить заново. В балагане публика преображалась. До этого приличные, воспитанные люди начинали орать, ругаться, толкали друг друга, плевались, подбадривали атлетов, кидали на арену всякую всячину. «Атлеты» были татуированные верзилы, имевшие тем больший успех, чем грубее, хамее они на арене себя вели. Устраивали из борьбы целое представление, особенно в кетче, где позволялось все. Терли противника мордой об пол, вывертывали ноги, топтались на спине, кусались, выдирали волосы, и все это с криками, воплями и руганью. Публика приходила в восторг.

«Все это было для меня ново, а особенно нов был Колюша! Я до тех пор такого человека не встречал. У него было какое-то обаяние дикости, под которое я сейчас же попадал. Он орал громче всех: «Пифик, перевернись, дурак!» Он в отчаянье обращался к нам: «Ну и идиот, глуп, туп, неразвит, кривоног, соплив и богу противен!» Все эти выражения были тоже для меня новы. Он впадал в раж и все воспринимал всерьез. Мы возвращались домой к ужину с опозданием, и Лелька упрекала Колюшу: «Наверное, опять на рундике были!» К ужину подходили гости. Вспоминаю испанского биолога Рафаэля Лоренцо де Но. Колюше он нравился, и поэтому все испанское вызывало у него восторг. Немцев в тот период за что-то не уважал и называл их туземцами. К ужину была всегда самодельная водка, конечно, селиновские котлеты и его же папиросы. Колюша был еще молод, темперамент в нем бурлил. Когда Колюша начинал ходить по комнате и что-либо рассказывать, то новый человек в доме просто обалдевал. На

какую тему велись беседы в конце концов было безразлично. Помню и то, как я был в восторге от него и старался Колюше подражать. Когда Колюша рассказывал о себе, получалось впечатление, что перед вами человек, проживший не одну жизнь. Рассказывал, как он был студентом, казаком, как был где-то ранен, но верная лошадь его спасла. Где-то он голодал и питался в сарае воробьями, которых убивал снежками! Где-то на Украине он отбивался от бешеных собак. Один раз, спрыгнув с дерева, босой упал на гадюку... Все рассказы были красочны, нельзя было ими не восторгаться... Было в них что-то гоголевское, смесь Ноздрева, Хлестакова, да еще с примесью Лескова. Так зарождались вечера у Тимофеевых».

Судя по всему, вечера эти получили известность. Характер Колюши, его нрав, манера разговора, его крик, его фонтанирующий талант — все это невероятно будоражило довольно-таки чинную немецкую научную среду почетнейшего учреждения. Этот неистовый русский втягивал всех в кипучий водоворот своих увлечений. Им угощали, как диковинкой, на него приглашали, знакомые зазывали знакомых подивиться, и почти все на этом попадались. Тот, кто хоть раз побывал у Тимофеевых, стремился к ним еще и еще. Пленительно раскованно здесь чувствовали себя все, без различия должностей и возраста. Процветала, разумеется, игра в городки, не ведомая прежде в немецких краях. Игра шла под выкрики Колюши, который накачивал азарт. Мазилам он кричал: «Мислюнген! Три раза «почти» — это только у китайцев считается за целое!» Вскоре респектабельные профессора обнаруживали, что и они выкрикивают что-то несусветное.

Со временем Тимофеевы получили при институте квартиру побольше, и немедленно прибавилось гостей. Всем было приятно приехать в субботу за город. Олег Цингер вспоминает, как он привозил к Тимофеевым сына художника Добужинского, библиотекарей Андрея и Дину Вольф, Мамонтова, Ломана, Всеволожского... Затем каждый из них привозил своих друзей. К тому времени в Бухе жил биолог С. Р. Царапкин с семьей, которого тоже откомандировали из Советского Союза в Германию для работы в этом институте. Приехал Саша Фидлер, брат Елены Александровны, были Блинов, Слепков, Кудрявцев и другие, поскольку институт чис-

лился германо-советским научным учреждением. Об этом времени рассказано в шуточной поэме «Бухиада», сочиненной Белоцветовым. Кто такой Белоцветов — установить не удалось, но поэма — одна из тех самодельных, какие обожают строчить даже люди с хорошим литературным вкусом для разного рода юбилеев и семейных праздников, — поэма эта чудом сохранилась до наших дней:

Вы помните, когда впервые,
Созрев для славы и побед,
Решать вопросы мировые
К нам прибыл юный муховед.
В те дни мы жили с ним бок о бок.
Слегка растерян, даже робок,
Он был на кролика похож
При виде посторонних рож.
Поденка ль, прачка ли в передней,
Тотчас Колюшенька за дверь —
И в подворотню. Но теперь
Он тоже ментор не последний,
И, окрыленному стократ,
Сам черт ему теперь не брат.

Больные из лечебниц Буха стояли за решеткой своего больничного сквера и наблюдали, как, что-то выкрикивая, вполне, казалось, нормальные люди яростно бросали палки, играя в какую-то варварскую игру. Предводителем у них был босой, волосатый, в распущенной рубахе русский, похожий на атамана шайки. Грива его развевалась, орал он нечто немыслимое.

Каждая фигура в городках имела свое название: «бабушка в окошке», «покойник», «паровоз», — и битье их сопровождалось соответственно сочными комментариями, которые и придавали самый жар игре.

Зимой или в непогоду с таким же азартом играли в блошки. И тут, в этой ерундовой игре, Колюша выкладывался весь. Лежа на столе под лампой, он целился фишкой, нижняя губа его вздрагивала, глаза сверкали, он рычал: «Так ему и надо, сучку! Мислюнген!» Его азарт возбуждал окружающих. Есть люди, которые вселяют спокойствие, он же обладал обратным даром — будоражил, флегматичные натуры вдруг приходили в волнение, его присутствие раскачивало самые инертные, вялые души.

В новой квартире была столовая и просторный кабинет у Колюши. Сюда обычно набивались гости. Колюша ходил из угла в угол и проповедовал, спорил, возгла-

шал. В углах кабинета, там, где он резко поворачивался, скоро протерся ковер.

Точно так же он ходил спустя годы в Обнинске, а до того — на Урале. По этим знакомым мне квартирам я мог представить себе и обстановку его дома в Германии. Хотя ничего толком про обстановку, допустим, в Обнинске я бы рассказать не мог. Помню только стеллажи с папками, куда раскладывались оттиски. И все. Остальное было как-то стерто, обезличено. Дом Тимофеевых отпечатывался людьми, тем, что там делалось, что говорилось.

Мебель, какие-то картины на стенах, обои — все уходило в тень, становилось невидимым. Это был стиль Тимофеевых — безбытность, равнодушие к моде. Никто здесь не интересовался коврами, вазами, посудой, диванами. В квартире было необходимое, чтобы чувствовать себя удобно. Никому в голову не приходило искать стильную мебель, обновлять ее, загромождать жизнь какими-нибудь подсвечниками, креслами, торшерами. И многочисленные гости не видели отсутствия гарнитуров. Это не была бедность, которая бросалась бы в глаза несоответствием положению. Не было ни богатства, ни шика, ни художественного вкуса — ничего, что отвлекало бы или существовало самодовлеюще. Стул был всего лишь предметом, на котором сидели, не более того. Обит ли он тисненой кожей или дерматином — никто не различал. И прежде всего не различал сам Колюша. Так было и в Германии, и в России, так было всегда.

Однажды я спросил его:

— Какую эволюцию вы претерпели?

— Эволюцию? Боюсь, никакой эволюции у меня не было. Однажды я сам стал искать эволюцию в себе и не нашел. Даже неприлично как-то. Что ж я так живу неинтересно, что это за человек без эволюции? Между тем после восемнадцати лет у меня никакой эволюции не происходило. А потом подумал: что делать, нет так нет, и хрен с ней, проживу без эволюции.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Родился еще один сын, Андрей, которого Колюша называл «личность чрезвычайно малозначащая», но произносил это с необычной для него нежностью. Фому между тем бранил нещадно за школьные промахи.

«Глуп, туп, неразвит, разве это учеба, одна грусть и тоска безысходная!» — приговаривал он, ходя из угла в угол кабинета.

«Сколько вечеров провел я в этом кабинете, — вспоминает Олег Цингер, — и что за люди там только не перебивали! Старые друзья, малознакомые ученые, какие-то дамы, юноши, важные немцы, а под конец советские военные. Колюша то впадал в чрезвычайный шовинизм и чрезмерное православие, провозглашал, что самый вшивый русский мужичонка лучше Леонардо да Винчи и этого треклятого Гоете (Гёте он всегда произносил как «Гоете»). То он доказывал, что немцы после русских самые лучшие, что на немца можно положиться, а что русский все проспит или пропьет. Из русских художников он более других любил Нестерова и Сурикова. Я предпочитал с ним на эту тему не спорить».

Спорить с ним боялись. И ученики, и друзья. Он буквально сминал их. А между тем чего он жаждал, чего ему не хватало, так это оппонентов, сведущих, достойных противников.

В Советском Союзе на биологических школах, когда сходились вечерком у костра просто так покалякать и начинались всевозможные его рассказы, рано или поздно раздавался вопрос про них, русских за рубежом: как они там, кто они? Огромная эта первая волна русских людей — а было их около трех миллионов, оказавшихся за рубежом, — издавна привлекала, возбуждала особый интерес: были в нем тайная жалость и неосознанное родственное чувство — наши! Может быть, потому, что большей частью люди эти уезжали не по обдуманному собственному решению — их вытолкнули обстоятельства трагические, запутанные, о которых и знаем-то мы плохо. В эмиграции оказалось немало имен блистательных. Когда-то они составляли славу русской мысли, искусства; но и там, на Западе, таланты их большей частью не затерялись. Смутные слухи об их успехах доходили до нас редко, обрывками. Имена их вычеркивались, отношение ко всему русскому, что действовало за рубежом, было исполнено подозрительности.

Зубр рассказывал о них почему-то без охоты, хотя и благожелательно:

— Большинство никакой политикой не занималось и заниматься не желало. На всю жизнь они были напуганы всяческой политикой. Одно слово «политика» вы-

зывало у них тошноту. Они старались где-нибудь пристроиться и вести незаметную, сытую, спокойную жизнь. Среди тех миллионов эмигрантов политиков было меньшинство. Более же всего было беженцев-трудяг...

Однажды он рассказал то, о чем мы знали совсем мало, а многие и вовсе слышали впервые:

— В девятьсот двадцать втором году — это неоднократно обвиралось — утверждали, что Ленин выгнал из России многих интеллектуалов. А Ленин — интереснейшая акция! — группе лиц, гуманитариев преимущественно, лично предложил: если вы отвергаете революцию, можете уезжать. Понятно, что, скажем, философу-мистику, идеалисту в условиях диктатуры пролетариата и марксизма делать нечего... И многие уехали. Тем более голод, разруха...

Зубр называл Питирима Сорокина, Бердяева, Франка, Шестова, Лосского, Степуна, литературоведов, античников, журналистов... Это была группа человек в двести. Причем большинство из них вплоть до второй мировой войны жили в Европе на любопытном положении: они имели советские паспорта, числились формально советскими подданными без права въезда в СССР. Были три главных центра, где осели эти выехавшие: Берлин, Прага, Париж. В Праге большую роль сыграл так называемый Русский вольный университет, где однажды Зубр читал лекцию. Создали его вокруг кондаковского семинара. И он изложил целую повесть о Кондакове — академике, историке, блестящем специалисте по старой русской живописи, иконам и фрескам. Был он старик, умер в 1925 году, но успел при жизни наладить семинар, в который привлёк лучших русских ученых за границей. Из этого семинара и организовали университет.

Вспоминал он о русских писателях, с которыми встречался или которых слушал: Шмелеве, Зайцеве, Бунине, Тэффи, Алданове, далее шли уже совершенно незнакомые мне имена; также об ученых: Тимошенко, Зворыкине, Бахметьеве, Сикорском, Чекрыгине, Костицыне; художниках: Чехонине, Ларионове, Цадкине, Судейкине...

Называл он, например, Леву Ботаса, который был главным декоратором в берлинской опере, еще каких-то балетмейстеров, музыкантов, химиков, которых мы по невежеству своему и по скудости информации знать не знали.

Несколько лет назад я побывал на русском кладбище святой Женевьевы под Парижем. Выдался солнечный день теплой осени. Дорожки кладбища были аккуратно посыпаны красным песком. По дорожкам прогуливались аккуратные старички и старушки, тихо разговаривали. Впрочем, людей было мало, а вот знакомых имен вокруг было много. Я нашел могилу Бунина и его жены, затем Бориса Зайцева, артиста Ивана Мозжухина, писателя А. Ремизова, под деревянным крестом — художника Дмитрия Стеллецкого. Вместе с Иваном Шмелевым под одной плитой похоронена его жена Ольга. Стоял белого мрамора крест у искусствоведа Сергея Маковского — из семьи художников Маковских. Над могилой химика Алексея Чичибабина водружен его бюст из черного камня, у подножия в ведерке стояли свежие цветы. Здесь и мой любимый художник М. Добужинский. Над могилой Евреинова — медальон с его изображением, рядом — биолог К. Давыдов, художник К. Коровин... Вот где удалось свидеться с теми, о ком рассказывал Зубр. В маленькой прикладбищенской церкви, расписанной Альбертом Бенуа, кого-то отпевали. Рыжие листья бесшумно кружились в токах солнечного тепла. Трава еще была полна жизни. Черные дрозды, опустив желтые клювы, семенили среди кустов. На этом кладбище примиренно сошлись обманутые и обманщики, беженцы и беглецы, те, кто мечтал вернуться на родину, и те, кто вспомнил о ней лишь перед смертью, люди разных убеждений, разной славы, но все они считали себя русскими.

Чичибабин в 1930 году, уехав за границу, там и остался. Несколько ранее другой замечательный химик, Ипатьев, послан был в заграничную командировку и не вернулся. Появился термин «невозвращенец». Уехал и не вернулся Феодосий Добржанский — один из создателей синтетической теории эволюции; уехал и не вернулся известный физик-теоретик Георгий Гамов, который, кстати говоря, предложил первую модель генетического кода. Таких случаев хватало, и относились к этому в те годы спокойно. Ныне эти невозвращенцы возвращаются — входят в энциклопедии, словари, им отдают должное, их цитируют, о них пишут...

В Берлине белоэмигрантов и невозвращенцев жило много, и изолироваться от них Тимофеевы не могли. С годами русские стали стремиться в тимофеевский дом, прямо-таки льнули к Колюше со всей его и показ-

ной, и внутренней русскостью. Вскоре это сыграло свою роль, обернулось непредвиденно драматично.

А пока жизнь в Бухе полнилась. Олег Цингер видел домашнюю часть этой жизни, лишь догадываясь, как там, в лаборатории, бушует, клоочет темперамент его друга.

Бесполезно было уличать Зубра в противоречиях. Ругая все немецкое, он облеплен был немецкими друзьями. Ругая немецкую нацию, он защищал немецкую точность, порядочность, немецкую философию, почту, немецких инженеров, немецкие карандаши и еще множество немецкого. Правда, продолжал настаивать на том, что отдельно взятый немец хорош и годен к пользованию, вместе же собранные — ужасны, в большом количестве — невыносимы.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Наступил 1933 год, власть захватил Гитлер; и довольно быстро обстановка в Германии стала зловеще меняться. Однако менялась она прежде всего для самих немцев. Наверное, Тимофеевы пока еще ничего особенного не замечали. Бух был в стороне от событий, политикой Зубр не интересовался, а главное — ни его самого, ни его работ все происходящее ничем практически не коснулось. Он был советским гражданином и чувствовал себя независимо и непричастно.

«Летом мы вместе поехали в отпуск на Балтику, в Померанию,— вспоминает Олег Цингер.— Там мы сняли большой крестьянский дом с соломенной крышей. В одной половине поселились Тимофеевы, в другой — я с женой и малышом. Колюша вставал рано. Загорелый до черноты, в трусиках, с палкой, с детективным романом под мышкой, он отправлялся каждый день лежать голым в дюны. Сопровождать его было не принято. Иногда Колюша готовил для всех суп: кидал в огромную кастрюлю бобы, фасоль, морковку, кусочек мяса, томаты, все, что было в доме. Кастрюля заворачивалась в одеяло до самого вечера. Вечером он сам развешивал одеяло, разливал суп, все это молча, потом все с глубоким вздохом говорили: «Гениально!»

Иногда мы вместе «учиняли шпацир», как выражался Колюша. В один такой шпацир мы наткнулись на берегу моря на труп дельфина. Я захотел получить

дельфиний череп. У нас был дорожный нож, и Колюша, присев на корточки, объявил: «Ну, вспомняем анатомию», — и действительно очень ловко отделил от туловища голову дельфина. Потом мы ее выварили, и я получил чудесный дельфиний череп».

Немецкая интеллигенция далеко не сразу сумела понять бесчеловечную суть фашизма. Тимофеевы — тем более. Их куда больше беспокоили вести из Союза. С 1929 года там начались неприятности для биологов. Была разгромлена лаборатория Сергея Сергеевича Четверикова, сам он был выслан в Свердловск. Передавали, что в вину ему, в частности, ставили Дрозсоор. Участились нападки на Н. К. Кольцова. Нападали прежде всего философы, да и свои же биологи, подводя, разумеется, под критику идеологическую базу. Семашко был отстранен и послан на кафедру санитарной гигиены в МГУ. Кроме биологов, доставалось и физикам, особенно теоретикам, которых винили в том, что они занимаются неизвестно чем, не помогают народному хозяйству.

В советских газетах и журналах сообщали, что известные заслуженные профессора поддались буржуазным влияниям, не тому учат молодежь, преподают оторванно от практики. Ученики отрекались от них. Передавали, что племянник энтомолога М. Н. Римского-Корсакова заявил, что с такого-то числа он не считает себя больше его племянником. Сперва громил Деборин, потом громили Деборина. Дискуссии заканчивались увольнениями. В письмах друзей из Москвы обо всем этом говорилось глухо, намеками. Появлялись проработочные статьи, фельетоны в газетах. Месяц за месяцем проработки ожесточались. Начались аресты. Разоблачали — слова-то какие появились! — механицистов, органистов. Отозвали из Буха Слепкова, в Москве его арестовали.

Приходили журналы с материалами дискуссий, там красовались бредовые выступления Презента и прочих. Печатали покаянные письма авторитетных ученых... Творилось черт знает что, и все это зловеще нарастало.

Примерно в это время Колюша стал получать предложения вернуться — то в Белую Церковь возглавить Институт генетики сахарной свеклы, то в Пушкин под Ленинградом. Он сообщал обо всех предложениях своему учителю Кольцову, спрашивал совета. Тот через друзей — шведа Кюна, физиолога растений Макса Харт-

мана — отвечал: «Неужели вам не известно, что у нас делается? Сидите там и работайте. Командировка у вас на неопределенное время. Что вам неймется?»

В другой раз он предупредил еще яснее: «По приезде вы наверняка с вашим характером вляпаетесь в какую-нибудь скандальную историю и угодите на Север. И всем вашим друзьям достанется».

Существует легенда: когда Н. К. Кольцов, будучи в последней своей заграничной командировке, встретился с Тимофеевым и посоветовал ему то же самое — наберитесь терпения, пока страсти у нас улягутся, не суйтесь под горячую руку, — то Колюша очень сетовал на то, что охота домой, в Москву, к тому же там зимние вещи остались, а здесь денег нет купить. На это Кольцов снял с себя шубу и отдал ему.

Сам я от Зубра ничего подобного не слышал, думаю, что это одна из сказок, какие о нем сочинялись. Разные люди повторяли мне эту историю в разных вариантах — шуба была лисья, воротник, конечно, бобровый, старорежимная шуба, хорьковая... Легенда, самая невероятная, многое говорит внимательной душе. «Хорошая история необязательно должна быть истинной, достаточно правдоподобия, — повторял Зубр слова Нильса Бора. — Нужно ли слишком строго следовать за фактами?»

Официально он имел право оставаться за границей. По-прежнему он считался в командировке вместе со своей семьей, у них были советские паспорта. Институт числился германо-советским. Он мог переждать.

В 1935 году пришло известие, что президентом ВАСХНИЛ вместо Н. И. Вавилова назначили не ведомого Зубру А. И. Муралова (замнаркома земледелия, спустя два года, в 1937-м, его расстреляли как врага народа).

И до этого происходили наскоки на Н. И. Вавилова, после же снятия гонения на него усилились.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Всякий раз, приезжая в Германию, Николай Иванович Вавилов останавливался у Тимофеевых. И в Америку, и в Италию, и в прочие страны Европы путь тогда лежал через Берлин. Оба Николая — Николай Иванович и Николай Владимирович — имели здоровье богатырское, кроме того, выработали в себе одинаковую

способность мало спать, так что могли трепаться ночи напролет. Под утро заснут часа на три-четыре и встанут в восемь свеженькие, готовые к работе.

— Я бывал полезен Николаю Ивановичу в смысле корректуры его немецких докладов. Из Берлина ему приходилось ездить в Халле — крупный центр прикладной ботаники, сортводства. Там он выступал, доклады писал по-немецки, и их приходилось малость подправлять.

Тут Зубр отвлекался, вспоминал дом Генделя в Халле, собор, узорчатые его своды и отлитую из металла фигурку Христа, падающего с распятия...

Дружба с Вавиловым, начатая в Москве, не прервалась с отъездом Колюши, разлука укрепила ее. Издалека как бы лучше виделось и ценилось. Н. И. Вавилов предстал перед Тимофеевым уже не в российском, а в европейском масштабе. Оказалось, это гигантская фигура. Через четыре года, на VII генетическом съезде в Эдинбурге, куда Вавилову не разрешено было поехать, хотя он был избран президентом конгресса, профессор Крю вышел на сцену и, прежде чем на него надели мантию президента, сказал: «Вы пригласили меня играть роль, которую так украсил бы Вавилов. Эта мантия мне не по плечу. Я буду выглядеть в ней неуклюже. Вы не должны забывать, она сшита на Вавилова, куда более крупного человека».

Эта мантия не была никому по плечу в том, 1939 году, кроме Вавилова.

Тимофеев тянулся к нему по-детски, с не свойственной ему нежностью, как к старшему брату. С Вавиловым его сближало многое: Москва, генетика, друзья, вплоть до любви к живописи. Вавилов обходил все крупные музеи Европы, знал классику и, что самое дорогое для Тимофеева, имел личные пристрастия и личное отношение ко многим картинам и художникам: одни волновали душу, другие — ум, третьи отвращали. Такое же пылкое отношение было и у Колюши. Они то и дело схватывались, не уступая друг другу. Несмотря на трепет перед Вавиловым, Колюша бушевал, вопил, но того никаким голосищем не проймешь. Они были представителями исчезнувшего слоя русской интеллигенции, из тех, кто умел вырабатывать собственное, не экскурсионное отношение к искусству. Их не водили по музеям. Сами бродили по картинным галереям, отыскивая интересное для себя, часами разглядывали и так

и этак, определяя силу, мастерство, тайну художника. Они листали книги искусствоведов, проверяя себя, все-речь переживали, обнаружив свою слепоту. Суждения их часто бывали наивны, грубы, вкусы дурны. Олег Цингер возмущался высказываниями Зубра о некоторых картинах. Другой сотрудник Зубра, Гребенщиков, морщась, рассказывал мне, как залихватски судил шеф о французской опере, хоть уши затыкай. Нелепо, зато по-своему, незаемно. И книги читали, классику — опять-таки для себя. Читали, вчитывались, запоминали, цитировали. В их речи то и дело звучали строки, фразы, стихи.

Зубр подмигивал:

Нынче я все понимаю,
Все объяснить я хочу,
Все так охотно прощаю,
Лишь неохотно молчу.

И вдруг опасно щурился, заметив на моем лице неуверенное движение.

— Чьи стихи?

Он не понимал, как можно не знать Некрасова, Лермонтова, как можно не помнить Грибоедова, Гоголя, не говоря уж о Пушкине.

К тому же они владели латынью. А латынь давала знание корней большинства европейских языков. Поэтому, не тратя особо времени на грамматику, они говорили по-французски, по-английски, понимали кое-как по-итальянски.

— ...Вавилов отличался большой простотой, он не любил генеральничать, — продолжал Зубр. — Относился к людям без чинопочитания, одинаково разговаривал и с министром, и с академиком, и со студентом.

Вдруг он расхохотался, вспомнив интересный случай. Когда Герман Мёллер, один из основателей радиационной генетики, приехал в Советский Союз, Вавилов решил его и кого-то еще из иностранцев прокатить по разным республикам. Летели они из Баку в Тифлис. Что-то их задержало в пути — грозу, что ли, пришлось обходить, — только летчик шепотком сообщает Николаю Ивановичу: «У меня бензина не хватит. Мы погибнем, сесть-то негде — горы. В Баку обратно тоже не долетим». Вавилов сообщил об этом Мёллеру. Тот вытащил записную книжку, последние распоряжения записывает. А Николай Иванович сел поудобнее, ноги вытянул:

«Ничего не поделаешь, самое время отдохнуть и подремать!» Взял и задремал. Оказалось, что бензина тю-тельница в тю-тельку хватило до какого-то предтифлисского аэродрома. Вот тогда-то родилась у них формула: жизнь тяжела, но, к счастью, коротка!

— ...Не тонуть в многообразии — вот его редкий дар. Вы, неспециалисты, не представляете себе того огромного материала по изменчивости, которым владел Николай Иванович. И вот не тонуть в этом огромном материале, найти какие-то генетические закономерности за этим многообразием — дар особый, им он владел в совершенстве. Я могу об этом судить потому, что мне пришлось заниматься системной изменчивостью и я представляю способности, какие надо было иметь молодому Вавилову, чтобы не захлебнуться, как захлебывается большинство. На многих миллионах экземпляров культурных растений — миллионах! — увидеть закономерность...

Это отрывок из его лекции о Вавилове. Читал он ее на какой-то биошколе, и кто-то, к счастью, записал ее на пленку.

К счастью потому, что свои лекции он готовил в уме, не писал никаких тезисов. Лекция его была лекцией, доклад докладом, не рукописью будущей статьи, как это принято ныне. «Ибо не пропадать же добру», — пояснил мне молодой доктор наук, считая, очевидно, всякое свое выступление большим добром.

Жаль, что лекции его, посвященные Нильсу Бору, Макс Планку, Георгию Дмитриевичу Карпеченко — ленинградскому генетику, Хаксли, Кольцову, остались незаписанными. Жаль! Он умел, как никто, делать эти портреты. Кассета с лекцией о Вавилове дошла до меня, будучи передана через многие руки. Радоваться и удивляться следует тому, как много людей понимали уникальность слышанного и записывали. Среди его учеников, сотрудников, слушающих журналистов, студентов часто появлялся кто-то с магнитофоном. Благодаря стараниям С. Э. Шноля в Пущине скопилась большая коллекция записей — двадцать пять километров пленки, десятки бобин. Обнаружилось собрание рассказов, записанных специально сотрудниками МГУ. Также де-

сятки кассет. Надеюсь, что где-то еще хранятся записи его рассказов. Если все это перевести на бумагу — получится собрание сочинений. Прослушать весь этот материал у меня не хватило сил, я почувствовал, что дурую, гибну, тону в этом обилии мыслей, воспоминаний, имен. Я не представлял, сколько может вместить тимофеевская память. Пришлось ограничить себя. Конечно, остались пробелы. Но чем больше я привлек бы материала, тем больше было бы пробелов. Биография никогда не бывает полной.

Те, кто не записывал, — запоминали. Иногда слово в слово. То есть тоже как бы включали некое запоминающее устройство внутри себя.

В сборе материала для этой повести участвовали люди из разных стран, все считали себя обязанными помочь мне. Приезжали из Москвы, из Обнинска. Игорь Борисович Паншин прилетел из Норильска. До этого он прислал мне полсотни страниц писем-воспоминаний. Люди откладывали свои дела, разыскивали свидетелей, знакомых Зубра, записывали их воспоминания. Одним хотелось восстановить справедливость, другие считали себя обязанными Зубру, третьи понимали, что это История. Встреча с Зубром оказывалась для большинства самым ярким событием их жизни.

Зубр хорошо запоминался. Его необычность возбуждала память, люди ощущали значение этой фигуры, а вместе с тем — и свою включенность в историю, чувствовали себя свидетелями.

— ...Конечно, многое Вавилов получил от Бэтсона, который был одним из самых образованных генетиков. В восьмидесятые годы он выпустил замечательную книгу «Изменчивость животных» — толстенная штука, в которой собран громадный материал по изменчивости морфологической и физиологической. Читать ее нельзя, ею можно пользоваться. Вообще читать научные книги не стоит, ими надо пользоваться. А читать надо Агату Кристи...

Он называл ее не Агатой, а Агафьей, так же, как Ганса Штуббе он называл Ванечкой Штуббе, Бора — Нильсушкой.

— ...Кое о чем из бесед с Бэтсоном мне рассказывал Николай Иванович. Бэтсона я тоже знал. Мне везло в жизни: я знал всех корифеев физики, математики, со-

здавших новое представление о картине мира: Эйнштейна, Планка, Гейзенберга, Шрёдингера, Борна, Паули, Лауэ, Дирака, физика Йордана, математика Винера, Бриджеса, Мёллера, Бернала...

Он мог бы продолжать и продолжать. Насчет всех корифеев — не преувеличение. Его общительность, его слава за восемнадцать лет заграничной жизни свели его со многими учеными. К тому же он ездил по всяким семинарам, университетам, конгрессам, посещал лаборатории и институты, читал доклады. Непонятно, конечно, как это совместить с тем, что все эти годы были плотно заполнены, утиснуты научной работой — не теоретической, не размышлениями о том о сем, не вычислениями, а плотной экспериментальщиной: сидением за микроскопом, возней с посевами, потом облучением, возней с дрозофилами, подсчетами, астрономическими подсчетами, когда тысячи и тысячи мушек надо перебрать руками. Требовалось безвыходно торчать в лаборатории. Откуда же набралась эта уйма знакомств? Бесчисленные разговоры происходили не просто так, с каждым было связано что-то важное. Как это все уместалось — понять не могу, могу лишь представить себе появление его в любом обществе: сразу фокус внимания переносился на него. Он перетягивал интерес к себе. Он ошеломлял. Ему необходимо было освободиться от накопленных мыслей, идей, и он выплескивал их, не заботясь об аудитории. Этот грохочущий взлохмаченный зоолог, «мокрый зоолог», как он рекомендовался, обладал той чудинкой, сумасшедшинкой, которая позволяла ему увидеть в чреве природы то, что не видели другие. Подозреваю, что не он стремился знакомиться с корифеями — они знакомились с ним. Все они воспринимали мир чуть сдвинуто, иначе, чем обычные люди. Он был из их породы. Но, кроме того, он умел об этом рассказать сочно, страстно. То, над чем он бился, разумеется, было наиважнейшим, решающим во всей науке. Известный немецкий физик Роберт Ромпе вспоминал, какой сенсацией были лекции Зубра тогда, в Германии тридцатых годов.

— ...Бэтсон меня особенно интересовал. Он был уже стар и слаб. Вот кто был до известной степени учителем Вавилова — это наш географ и биолог Лев Семенович Берг. Он был немного старше Вавилова. От Берга

и Вернадского, отчасти от Докучаева он получил изумительное чувство Земли как планеты, как среды обитания, как биосферы. Практическая часть его работы состояла в том, что мы будем жрать в двадцать первом веке...

В его лекциях хороши отступления от темы. Порой его уводило бог знает куда, и в этих свободных завихрениях рождались неожиданные для него самого идеи, мысли парадоксальные, всплывали истории из его собственной жизни и жизни известных людей, исторические события, о которых нигде не написано.

Например, упомянув прославленного английского естествоиспытателя Джона Холдейна, он рассказал комическую историю о том, как Холдейн участвовал в первой мировой войне рядовым, а кончил майором, заработал крест Виктории. Холдейн так любил воевать, что просился туда, где было наступление. Сидеть в окопах было скучно, он пристаивал к начальству, чтобы устроили атаку: «Хоть бы вылезти из окопов, подраться без всякой стратегической надобности!» После войны кто-то из английских умников додумался сбрасывать с самолетов небольшие железные стрелы. Они должны были пробивать стальные шлемы. Для защиты были сделаны специальные металлические колпаки. Накрывался им, и в него швыряли стрелы. В колпаке грохот стоял страшный, Холдейн чуть не оглох...

Ни в одной из биографий Холдейна нет этой истории, рассказанной самим Холдейном Тимофееву за каким-то обедом.

В той же лекции о Вавилове его вдруг вынесло на биохимию:

— Биохимией называют у нас те случаи, когда скверные химики занимаются грязными и плохими работами на малоподходящем для химии материале. Это не биохимия. Биохимия — это физико-химический структурный анализ активных макромолекул. Вот что такое биохимия, а не те случаи, когда девчонка, кончившая университет, выучилась определять крахмал в картошке, мать честная!..

Его стихия — спор. Лекция, которая лишена живого диалога, меньше привлекала его. В последние десятилетия с ростом его авторитета, научного и человеческого, возможности спора и дискуссии суживались. С ним боялись схватиться.

— ...В любой эпохе взлетов имеются свои великие люди, то есть люди, по масштабу явно превышающие уровень обыкновенного. Культурные эти взлеты и накопление великих людей кажутся нам случайными. Может быть, это отражение сверхстатистической закономерности, позволяющей почти сливаться скоплениям культурных достижений и скоплениям видимой формы — трудов, которые остаются после великих людей. Русская наука — часть большого европейского комплекса, но в то же время — автономное явление внутри этого комплекса. Если строить систему культурных типов человечества, то в большом типе европейской культуры будет и русский тип. С конца восемнадцатого века началось бурное взаимодействие русского культурного типа и европейского культурного типа. Оно протекало не мирно, что сказалось и в языке. Русский язык был наводнен таким количеством иностранных слов, что русские люди понять друг друга не могли, говоря по-русски. Может, этим объясняется традиция перехода русской интеллигенции на французский... Затем русская культура пережила своеобразный ренессанс, который затронул науку. Произошло слияние русского культурного центра и европейского. Русские физики приняли активное участие в перефасонивании физической картины мира от старой, классической картины с абсолютным детерминизмом — к современной, значительно более свободной, интересной, богатой различными возможностями как теоретическими, так и практическими... Русский культурный центр создал вспышку великих русских ученых в конце девятнадцатого — начале двадцатого века. Среди них учителя Николая Ивановича Вавилова как фактически, так и теоретически. Это основатель современного почвоведения Докучаев; основатель всей агрохимии, не только нашей — а наша агрохимия одна из великих — Прянишников. И, наконец, общий наш учитель, с которым Николай Иванович дружил, перед которым он преклонялся, и я преклоняюсь перед ним, один из величайших ученых нашего века — Владимир Иванович Вернадский... К сожалению, Вавилов сделал не все, что мог, — слишком мало жил. Математик за такой короткий срок жизни может сделать много, для полуописательных, полуэкспериментальных наук требуется время. В этом смысле Вавилову было дано мало времени...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Замечательных людей кругом него было много. Замечательных биологов, физиков, химиков, математиков. Он питал слабость к талантам. К талантам и красоте. Оба эти качества всегда изумляли его, в них было торжество природы. Нечто божественное, необъяснимое. Выражение «божья искра» стоило того, чтобы в него вдуматься. Частица чуда. Нечто из высшей материи, нечто таинственно-прекрасное, залетевшее в обыкновенный человеческий организм. Значит, не свойственное нормальному разуму, а постороннее, чего никак не достичь, не вырастить изнутри ни трудом, ни воспитанием. Всплеск наивысшего, вспышка, озарение, при котором мы можем увидеть что-то иное...

Восторг перед талантом, слабость к нему — да, но не преклонение. Преклонялся он всего перед одним человеком, с которым судьба сводила его дважды подолгу в Берлине. Это был Владимир Иванович Вернадский. Все связанное с Вернадским было для него свято. Никак не думалось, что он способен на такое почтительное, даже трепетное чувство. Он и рассказать-то о нем не сразу решился. Начинал с подступами, издалека и долго не мог добраться, словно бы отступая перед этой скалой. То примется за «вернадскологию» — так он назвал учение, которое развивал в последние годы, — то про сына Вернадского... Будучи в США, он уговорил Лельку, и они специально поехали в Йель, чтобы познакомиться с сыном Вернадского, который работал профессором Йельского университета.

Георгия Владимировича Вернадского они звали, как звал отец, — Гуля. Про Гулю Владимир Иванович много рассказывал Зубру, будучи в Берлине. Гуля был деканом философского факультета, читал курс русской истории и выпустил монографию по русской истории на английском языке. Зубр прочитал вышедшие тогда три тома и горячо их нахваливал, заверяя, что В. И. Вернадский тут ни при чем, это не потому, что автор — его сын, а потому, что там рассматривается развитие Российского государства с IX века как наследника степных империй, в число которых входили скифская и другие... И потому еще, что издан этот труд был «евразийцами», которых, конечно, Зубр знал, которые у него бывали — Трубецкой, Савицкий, Сувчинский — и о которых я, конечно, не имел ни малейшего понятия.

— Ну как же так, — укорял Зубр, — а еще писатель. Ведь в евразийском издательстве много занятных книг вышло. Например, жизни русских святых, история иконописи...

Оказывается, что о Трубецком он даже напечатал некролог в каком-то немецком журнале. Он знал и про Сергея Трубецкого, выборного ректора Московского университета, которого выбрали в 1905 году и он вскорости помер, и о Евгении Трубецком, интересном философе, с которым Зубр встречался еще в Москве. Был этот Трубецкой последователем Владимира Соловьева, другом его. А племянник — Николай Трубецкой, один из создателей русской фенологии, с разрешения Ленина уехал. И тут следовал новый рассказ о том, как уезжали гуманитарии, которые считали, что не могут быть полезными советской власти. Им было разрешено в течение полугода связаться с какой-нибудь страной, которая их примет. Они получали выездные советские паспорта, долгое время жили по ним, а потом получали так называемые нансеновские паспорта, становились подопечными Фритьофа Нансена...

Все это были истории и личности прославленные, но нам неизвестные; и никто не прерывал Зубра в его отступлениях. Каким-то образом от Трубецких он перескочил на Мережковских, с которыми был знаком, от них — на Брема.

Так что к Вернадскому мы возвращались не скоро.

По словам Зубра, Владимир Иванович Вернадский — явление исключительное, чуть ли не идеальный герой. Есть люди хорошие, есть очень хорошие и есть некоторое количество замечательных людей, редко попадаются весьма замечательные, и, наконец, среди весьма замечательных людей может попасться совершенно замечательный человек. Вернадский, конечно, был совершенно замечательным человеком. Классификация весьма туманная. Однако сделаем поправку на то, что Зубру встречалось больше замечательных и весьма замечательных людей, чем кому-либо из нас. Ему было с чем сравнить и из чего выбирать.

Зубр не понимал, почему ни в Москве, ни в Ленинграде не устанавливают памятник Вернадскому. В школах должны были проходить Вернадского, должен быть музей Вернадского, должна быть премия Вернадского.

Он никогда не мог в точности определить — за что же он преклонялся перед Вернадским:

— ...вселенский масштаб мышления, космический человек.

— ...интересовала всякая всячина: живопись, история, геохимия, минералогия.

— ...был ученым высшего типа, не лез в академики, в начальники.

— ...вокруг Вернадского никогда не было ни шума, ни крика, никто не нервничал, политикой после революции он не занимался. Его либерально-демократическая натура объединила многих порядочных людей. Сволочи вокруг него не было, не приживалась. Правда, тогда среди ученых не было столько шушеры, сколько сейчас.

— ...в Берлине выступали Ферсман, Кольцов, Луначарский, Костычев, Платонов — замечательный русский историк, были крупные медики. Немцы, однако, более всех восторгались Вернадским. Он производил какое-то умиротворяющее и возвышающее впечатление. Он заставлял думать над главными проблемами бытия Земли и Человека.

— ...принял приглашение и уехал читать лекции во Францию. Через несколько лет вернулся без всяких скандалов, без покаяний, как свободный человек.

— ...За границей делал что хотел: читал лекции о чем хотел, например в Сорбонне — геохимию.

— ...в Берлине читал лекцию на хорошем немецком языке. Знал французский безупречно, английским не владел, зато хорошо говорил по-русски. Тогда это была не редкость. Сейчас в пределах обширного нашего отечества хорошо владеющие русским языком — счастливая находка. У него же был вкуснейший русский язык...

О чем они говорили? Зубр планировал тогда начало больших экспериментальных работ. Он решил применить меченые атомы для выяснения коэффициентов накопления растениями радиоизотопов: как накапливаются, как распределяются, перераспределяются, — словом, каковы их судьбы в системе растение — почва. Работу эту Зубр окрестил «вернадскологией». Они обсуждали проблемы биосферы, взгляды Вернадского на роль живых организмов на планете Земля. Было у них несколько табу. Например, запрещалось всерьез разговаривать о происхождении жизни на Земле. Табу это Зубр сохранил до конца жизни. Я слышал уже в семидесятых годах, как в ответ на приставание какой-то дамочки о происхождении жизни на Земле — как, мол, это все

было? — он набычился, засопел, зафыркал, а потом, пересилив себя, глуповато моргая, развел руками: «Я тогда маленький был, ничего не помню. — Потом утешающе добавил: — Спросите у Опарина, он знает точно».

Вернадскому более всего нравилась теория вечности жизни Аррениуса. Он увлеченно рисовал перед Зубром картину Вселенной, где носятся зародыши микроорганизмов и, найдя на какой-нибудь планете подходящие условия, колонизируют ее, начинают там эволюцию. Так представлял себе Сванте Аррениус, знаменитый шведский физик и химик, происхождение жизни на Земле. Она появилась из Вселенной. Жизнь во Вселенной вечна в том смысле, как вечна Вселенная. Жизнь является частицей мирового добра. По ряду философских и религиозных воззрений абсолютное добро — это вся Вселенная. Абсолютного зла нет, а есть только абсолютизированное зло какого-то падшего существа, в разных религиозных системах обозначаемого различно.

Зубр всегда жалел, что не успел встретиться с Аррениусом, ибо весьма его уважал.

Шли у них с Вернадским разговоры о пространстве и времени, об относительности времени. Тогда как раз начинались у Бора и Дирака споры о возможности квантования пространства и времени. Масса была квантована, энергия квантована, а пространство и время вроде оставались непрерывными и подчинялись классической механике, а не квантовой.

На эту тему Зубр любил потрепаться, так сказать, с общефилософской точки зрения, онтологической, а не физико-математической. Он считал, что есть кванты времени и кванты пространства.

Спустя тридцать пять лет — и каких лет! — он почти дословно воспроизводил их диалоги. Суть сводилась к тому, что известно химическое и биологическое ничто. Он пояснял мне: когда мы помираем, то как живые существа перестаем быть. Это биологическое ничто. Химическое ничто — торричеллиева пустота, можно получить пространство, в котором не останется ни одной молекулы.

Усилия, которые отражались на моей физиономии, действовали на него удручающе.

— Это, конечно, представить себе трудно, — утешал он. — Пока что это чистая фантастика.

Фантастику в литературе, жанр научной фантастики они оба дружно не любили. Детективы — другое дело, без детектива умственная жизнь зачахла бы. Сами же они фантазировали вовсю, и свою фантастику они считали Научной, Плодотворной, Законной, то есть это было Непонятное с точки зрения известной картины мира. О таких вещах порассуждать — самое милое дело.

Ноосфера в эпоху ядерной энергии требует перестройки сознания человека. Уменьшается «я», увеличивается «мы». Думать надо о «мы». Не «они» и «мы», а только «мы». Вся ноосфера — это «мы».

«Быть или не быть» Гамлета касалось его одного, принца Датского. Теперь это касается нас всех. Ядерная опасность, биологическая и прочие соединяют человечество общим страхом, общей зависимостью...

Хотелось бы послушать разговор этих двоих, полюбоваться, как гуляют они по аллеям парка в Бухе. Всегда есть что-то волнующее в свиданиях великих: Бетховен и Гете, Толстой и Горький, Эйнштейн и Бор. Их притяжение, их отталкивание. Причем чаще — отталкивание. Необъяснимое для простых смертных нежелание общаться, даже встретиться. Помню, как узнав, что Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой очутились однажды на лекции в одной аудитории, видели друг друга и не стали знакомиться, я долго мучился этим несостоявшимся свиданием.

Иногда я люблюсь на старую фотографию. Говорят, она была сделана в Калифорнии, в Пасадене. На ней трое — посередине Томас Гент Морган, по бокам Николай Иванович Вавилов и Зубр. Классики, великие и тому подобное. Они идут размашистым шагом, палит солнце, они ни на что не обращают внимания, занятые своим разговором, они возбуждены, почти кричат и смеются при этом, дружба и влюбленность в жизнь переполняют их. Томас Гент Морган много старше своих спутников, но тут это не чувствуется, такие они стройные, сильные все трое. Если бы можно было услышать их голоса!

Любовное содружество Зубра с Вернадским основано было на том, что Зубр, развивая взгляды Вернадского применительно к своим работам, громогласно признавал их как заповеди и печатно закрепил свое признание, называя свое направление «вернадскологией».

Опыты ставились в простейших условиях: взаимобмен меченых атомов между высеваемыми растениями и грунтом осуществлялся в дощатых ящиках и в проточных бачках. Бачки заряжались ящиками с землей, с одного конца пускали раствор радиоизотопов, и все компоненты можно было мерить на выходе, устанавливать миграцию тех или иных изотопов. Только сейчас ясно, насколько вперед смотрел Зубр: на этих работах строится защита от радиоактивности.

Существуют разделы химии, физики, где действительно нужна совершенная и поэтому сложная аппаратура. Но уж слишком долго у нас, да и во всем мире, считал Зубр, повсюду — надо, не надо — стараются нагромоздить побольше аппаратуры. Многие молодые уверены, что чем дороже аппаратура, которой они пользуются, тем значительнее их наука. Одни искренне в это верят, другие же прикидываются, что чем больше они денег истратят на установки, тем начальство более уважает их работу.

— Если же делом мерить, то чем сложнее и дороже аппаратура, тем глупее наука, которая этими аппаратами проделывается. — Зубр щурился и улыбался улыбкой заговорщика. — Кнопка «стоп» — самое мудрое техническое изобретение. Я ее в каждом приборе прежде всего ищу. Аппаратура, — ворчал он, — должна быть оптимальной, а не максимальной точности.

Со второй половины тридцатых годов контакты с Вернадским оборвались. Работы — «вернадскология» и «вернадскология с сукачевским уклоном» — развивались, опыты ширились, но обсудить их с Владимиром Ивановичем не было возможности.

Никто из них понятия не имел, куда приведет, чему послужит эта работа всего через каких-нибудь десять лет. Так же, как физики из Института Бора не знали, что из их обсуждений, подсчетов, прикидок, из всего веселого трепа через несколько лет родится атомная бомба, а работа Зубра и его коллег послужит биологической защите от радиации, от последствий бомбы. И те и другие находились в счастливой поре неведения, когда наука, которой они занимались, выглядела чистой, свободной от властей, промышленников... Одна святая любознательность двигала умами физиков той золотой поры.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Святая любознательность сблизила в те годы физиков с биологами. Физики-теоретики потянулись к биологии, к физическому постижению жизненных явлений. Биологи еще со времен кольцовских работ пытались осмыслить физико-химические проблемы живой клетки. В 1927—1928 годах Кольцов выступал с докладами на съездах о физических и химических основах биологии, дал теоретическую схему физико-химической структуры хромосом. В отличие от западных генетиков, Зубр был готов к интересу, который пробудился у физиков к биологической проблематике. Когда он свернул к физикам, все боялись, что он свернул в сторону от дороги. Оказалось, что сюда и пошла дорога.

Вместе с Дельбрюком он стал ездить к Бору.

— Нильсушка Бор, по-моему, был умнейший ученый двадцатого века. До сих пор никого нет умнее и крупнее его в физике. А уж о добропорядочности и говорить нечего. Добротный человек во всех смыслах.

Нильсушка — это не фамильярность, а приступ нежности, и Дарвин у него Карлуша; таков стиль той копенгагенской жизни с ее системой взаимоотношений. Много в ней уже неуловимо.

Будучи в Копенгагене, я отправился в Институт Бора. Просто взглянуть на это место. В Копенгагене для меня существовали прежде всего два человека: сказочник Ханс Христиан Андерсен и физик Нильс Бор. Все, связанное с Андерсеном, показывали наперебой, а где был Институт Бора, знали немногие. Он стоял в глубине улицы, темно-серый трехэтажный дом, крытый черепицей, — такой, как на всех старых фотографиях. Мало что изменилось здесь с довоенных лет. Я узнал его сразу, хотя никогда здесь не был. Дом не имел архитектурных примет, скромная, невидная постройка, никакого сравнения с размахом застекленных объемов современных физических центров. Я вошел в подъезд, спросил, можно ли посмотреть кабинет Нильса Бора, что для этого нужно. Привратник пожал плечами — ничего не нужно, разве что подняться по лестнице. Лестница была как лестница. Я походил по коридорам мимо комнат, где работали нынешние физики, листали журналы, стучали на машинках. Никто меня не останавливал, не проверял документов. Наконец я набрел на кабинет Бора. В нем тоже не было ничего мемориально-торжест-

венного. Ни экспонатов, ни надписей. Обыкновенный кабинет. Стоял письменный стол и стулья. Разве что на стенах висело множество групповых фотографий: боровская школа, коллоквиумы разных лет. Бор в центре, вокруг него ученики и коллеги. Сперва молодые, неузнаваемые. Потом, от снимка к снимку, черты этих людей становились знакомее и наконец превратились в портреты из моих институтских учебников. Канонические портреты всем известных классиков. Великие творцы современной физики. Маги всемогущей науки. Авторы уравнений и формул. Атомной бомбы. Атомной энергии. Теории частиц меченых атомов. Изотопов, ускорителей...

То был круг людей, которые когда-то привлекали меня. Они должны были изменить мир к лучшему... Теперь я смотрел на них без восхищения. С некоторой жалостью и разочарованием. Памятники несостоявшихся надежд? Соавторы способа ликвидации человечества? Жертвы или герои? Я сидел один в этом кабинете, пытаясь разобраться в своем чувстве. Достойны они любви или проклятья? А сам по себе это был милый мемориальчик, галерея исторических персонажей, может быть, лучшая страница истории физики, еще невинная, полная пылких утопий, силы, веселых розыгрышей.

Зубр знал их всех, дружил со многими, прогуливался, выпивал, трепался. Он-то не был застеклен от меня. Он здесь бывал, здесь рокотал его голосище, гремел его смех. Он связывал нас с этим знаменитым местом, вознесенным на пьедестал истории.

Со вкусом и хрустом поедали они яблоко познания. Но недолго. Им не удалось насладиться его чистым вкусом. Война вытащила их на передний край, связала с проклятой бомбой, развела по разным сторонам фронта. Одни уехали в Америку, другие — в Германию. Политика грубо вмешалась в судьбу почти каждого, ткнула в сделки, и Зубр не избежал общей участи. Я увидел его долю не исключительной, в ней было нечто общее, сходное с другими, с теми, кто стоял рядом с ним на этих старых снимках.

— ...Собирались крупные теоретики со всего мира на боровский кружок потрепаться. Приезжали только те, кого приглашал Бор. Я тоже такой порядок перенял. От пятнадцати до двадцати пяти человек у нас собира-

лись. Больше-то интересных не собрать. А у Бора я с тридцать третьего года бывал постоянно...

Непросто было разыскивать его на некоторых фотографиях. Я привык его видеть отдельно или в центре. А тут он стоял позади, в рядах. Правда, ряды эти сплошь из классиков, золотые ряды. В те годы большинство из них не были увешаны медалями, награждены званиями, лауреатством. В этом доме не принято было считаться с блестящей мишурой славы. Нобелевский лауреат или аспирант — один черт, важно, как ты соображаешь и что делаешь. Это была хорошая школа, она закалила Зубра. Спустя тридцать лет выяснилось, что у Зубра не накопилось никаких чинов. По старинной табели о рангах он находился внизу, чиновник XIV класса — фендрик, коллежский регистратор. Труды имелись, имя было, а чинами не вышел. Специалисты чтили, но чины и звания зависят не от специалистов.

Джеймс Чедвик, тот, который рассчитал критическую массу урана, приятель его Патрик Блэкетт, тоже Нобелевский лауреат, тоже ученик Резерфорда, француз Пьер Оже, физик Перрен — всех их вовлек Тим в круг своих увлечений.

Боровский коллоквиум был физическим, в нем развивалась современная теоретическая физика, создавалась новая картина материи. Генетики и те физики, которые вкусили сладости проблем биологических, хотели разговаривать, не мешая чистым физикам. Они решили затеять свой треп. Кружок их стал быстро расти. Из Англии приезжал замечательный цитолог Дарлингтон; из Франции — Фрэнсис Тора, биохимик Рабкин (как называл его Зубр, душка Рабкин), Борис Эфрусси, биолог, который занимался культурой тканей; из Италии — Андриано Буццати Траверзо, Эдоардо Амальди; из Швеции — Густаффон, цитолог Касперсон; из Норвегии — Отто Лукс, из Германии — цитолог Ганс Баур, Ганс Штуббе, затем физик Циммер, Дельбрюк, Гутман — «настоящий биохимик, а не просто скверный химик». Был там Астбюри, так называемый текстильный физик... А вот Ферми, знаменитого Энрико Ферми, обошли приглашением; почему-то Зубр отзывался о нем плохо...

Имена эти вошли в энциклопедии, в словари, они составляют славу своих народов так же, как художники,

поэты, музыканты, ибо кем прежде всего гордятся нации, как не художественными и научными гениями?

— ...Наш коллоквиум был организован, как я организую все свои коллоквиумы: на каждом собрании назначался «провокатор». Задача его — спровоцировать дискуссию. Он кратко, почти афористично и обязательно с юмором формулировал проблему, чтобы позадористей, чтобы не серьезно. Серьезному развитию серьезных наук лучше всего способствует легкомыслие и некоторая издевка. Нельзя относиться всерьез к своей персоне. Конечно, есть люди, которые считают, что все, что делается с серьезным видом, — разумно. Но они, как говорят англичане, не настолько умны, чтобы обезуметь. На самом же деле, чем глубже проблема, тем вероятнее, что она будет решена каким-то комичным, парадоксальным способом, без звериной серьезности...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Юмор был отдушиной, спасением от той наружной жизни, в которую они попадали, покидая стены института. Фашизм становился бытом. Портреты фюрера, марширующие отряды наци, бесчеловечные лозунги, свастика, воинственные угрозы, воззвания, расистские речи — душный, отравленный воздух Берлина так или иначе приходилось глотать. Германия преображалась, не замечать этого было уже нельзя. Хотя они тешили себя тем, что в Бухе мало что изменилось и они могут работать по-прежнему, тем не менее расизм бесцеремонно всовывал повсюду свою коричневую морду. Один за другим увольнялись, уезжали сотрудники-евреи. Фома в школе должен был писать со всеми сочинения: «Германский мальчик не плачет», «Германский мальчик не знает страха», «Какое счастье родиться немцем». Повсюду заявлял о себе крикливый шовинизм.

К 1936 году, к моменту открытия в Берлине всемирной Олимпиады, нацисты сбавили тон, старались вести себя демократичнее, навели лоск на фашистский режим. Сделаны были разные послабления, запрещены противоеврейские выступления, дискриминация, какие-либо расистские выходки. В Берлин приехало много иностранцев, цветных, черных, и к ним относились подчеркнуто внимательно.

У Макса Дельбрюка была двоюродная сестра, молоденькая киноактриса Кетти Тейк. Не имея особого таланта, Тейк решила сделать себе карьеру с помощью нацистов, что было наиболее доступным для посредственной актрисы. Чем она могла выдвинуться, отличаться, угодить? Простейшим средством был антисемитизм. Для антисемитизма не требовалось ни знаний, ни храбрости. Самое простое дело было винить во всем евреев и международное еврейство. Требовать их изгнания, лишения всяких прав, вплоть до уничтожения. Считать их нацией, оскверняющей кровь... Надо было повторять это громче других, дольше других. Кричать, гневно поносить евреев, не стесняясь в выражениях... Она старалась изо всех сил и начала преуспевать.

Вот эту-то сестрицу Макс Дельбрюк решил прочесть, и Тим разработал сценарий. Кетти сообщили, что в Берлин на Олимпиаду прибывает сукугунский магараджа. Сама Сукугуния расположена где-то в голландской Индонезии, подведомственной королеве Голландии, но она — государство свободное, населения в ней — двенадцать миллионов. Магараджа не говорит ни на каком языке, кроме сукугунского, да еще кое-как по-голландски, который он обязан знать. Почему они выдумали голландскую Сукугунию? Только потому, что у Макса Дельбрюка приятель работал в голландском посольстве и имел машину с дипломатическим номером. Кетти, которая всего-то снялась в двух кинофильмах на второстепенных ролях, рассказали, что магараджа ее пылкий почитатель. Он видел ее в этих картинах, и она так ему понравилась, что он приобрел эти картины и ныне, приехав в Берлин на Олимпиаду, желал бы вручить ей диплом Сукугунии. Психологически Колюша рассчитал точно: самомнение и тщеславие посредственных артистов таковы, что они готовы поверить любой бессмыслице, лишь бы она была лестной.

Жила Кетти довольно шикарно, в хорошем пансионате на Курфюрстендамм. Ее предупредили, чтобы она подготовилась, магараджа приедет к ней примерно через неделю, чтобы сшила себе соответственный туалет, разучила бы малую придворную книксу. Парень он, мол, простецкий, говорить будет по-своему, поэтому секретарь голландского посольства будет переводить слова магараджи. Следует приготовить хороший кофе с ликером, с тортом, все в лучшем виде. Народу на церемонии будет немного: он со своим рабом, секретарь по-

сольства, еще один голландец (его должен был играть Олег Цингер). Колюша выбрал роль русского специалиста по Сукугунии. Роль раба предназначалась Максу Дельбрюку. Церемонию изложили так: при появлении магараджи Кетти должна исполнить выученную придворную книксу, магараджа протянет ей руку, она должна почтительно поцеловать руку, потом он сядет, будет пить кофе, расточать свои восторги. При отъезде все следует повторить.

Самого магараджу должен был играть один физик-теоретик, еврей. Умысел и заключался в этом. Точнее, он был на три четверти еврей, на четверть немец. Такие люди тогда могли еще состоять на службе, но только не казенной. Магараджу он сыграл великолепно. Кетти волновалась ужасно, заказала феерический туалет, приготовила дивное угощение. Достала ликер, настоящий бенедиктин, привела в порядок мебель, так что потратилась. Олег Цингер блестяще загримировал этого физика. Одели магараджу, как полагается приехавшему в Европу, с чисто парикмахерским шиком: бордовые туфли, оранжевый галстук, огромные запонки, по жилетке — золотая цепочка. Из раба сделали настоящего сукугунца в белых одеждах. Помогала им приятельница Лельки, недавно приехавшая из Индокитая. Все обставлено было научно, вплоть до того, что на одеждах раба сделали орнамент, так что сукугунец получился первоклассный, лучше настоящих, если бы они были.

Приехали на голландской дипломатической машине и одной частной. Магараджа вошел величественно, подал свою лапу. Был он мужчина здоровенный, курчавый, физиономия натерта коричневой краской. Кетти сделала книксен, поцеловала руку. Раб стал в углу со свитком. Компания расселась и принялась поглощать торты и ликеры. Магараджа шпарил по-сукугунски, голландец переводил. Наконец наелись, напились. Магараджа махнул рукой — раб выступил из угла, бухнулся на колени и, потупясь в землю, не смея поднять глаза на своего владыку, поднес свиток и порожняком отправился в угол. Магараджа развернул свиток, прочел по-сукугунски текст, начертанный золотом, скрепленный печатью. То был диплом, изготовленный сообща. Кетти, млея от восторга, благодарно целовала руку магараджи, тот хвалил ее, она вновь прикладывалась к его руке, проводила до машины.

Они тронулись, и тут выяснилось, что с ликера их развезло. Проехав по Курфюрстендамм, остановились у шикарного кафе, сели за столики. Не пропадать же реквизиту, слишком много чести этой Кетти Тейк, чтобы ради нее одной так наряжаться. К ним подскочил кельнер, и они стали заказывать всякие дорогие угощения. Съели, поболтали по-сукугунски, хотели расплатиться, но тут пожаловал хозяин: «Что вы, что вы, для нас честь принять знатных иностранцев...» Поехали дальше. Остановились у кафе-автомата. Тогда это было новинкой. Длинный коридор был заставлен автоматами с бутербродами, пивом, вином. Магараджа поразились чудесам европейской техники, заволновался, потребовал принести фишек. Появился хозяин и самолично преподнес ему задарма кучу фишек. Магараджа стал тыкать их во все щели, и полилось, посыпалось, завывали бутерброды, пакетики. Магараджа хохотал, хлопал себя по ляжкам, остальные кланялись ему, поздравляли. Толпа, которая собралась, была в восторге.

Неподалеку находился большой универмаг. У входа висело объявление, что можно затребовать переводчика с любого языка. Затребовали с сукугунского. Переводчика не оказалось, и магараджа пришел в сильное огорчение. Вызванный хозяин заверил, что ошибка будет исправлена, переводчика найдут с помощью голландского посольства. Сотрудник посольства успокоил хозяина: «Ничего страшного, этот магараджа для виду шумит. Я все, что надо, ему переведу. Его в данный момент интересуют пластинки». За пластинками пришлось подняться на верхний этаж. Тут произошло несчастье — потеряли раба. Раб ни на каком языке, кроме сукугунского, не говорил. Как он найдет своего властелина? Но, представьте себе, нашел. Толпа, продавщицы, конечно, помогли ему, доставили. Свита выбирала пластинки. Те, которыми магараджа восхищался, откладывали в сторону. Набралась целая стопа, которую хозяин просил принять в дар. Когда потом подсчитали, оказалось, сорок штук набрали. На этом похождения магараджи кончились.

Кетти восхищалась дипломом, хвасталась, киношники ей завидовали. Она стала требовать ролей. Спустя две недели Макс Дельбрюк и Колюша прочли ей текст диплома. Замечательно стилизовав готический шрифт, художник изобразил там рекламу «минимакса». Это был огнетушитель. Подобная реклама висела по

всему Берлину: «Огонь не распространится, если у тебя дома есть «минимакс». На рекламе берлинцы приписывали: «„Минимакс“ — изрядное дерьмо, если тебя нет дома». По-немецки получалось в рифму и складно. Это и было — в завуалированном виде — изображено на дипломе. Вскоре все на киностудии узнали про текст диплома. Кроме того, стало известно, что Кетти целовала руку еврею. Ее антисемитизм после этого вызывал смешки.

После Олимпиады, с 1937 года такие шутки стали невозможны. На бульварах стояли скамейки, выкрашенные в желтый цвет, — для евреев. Вышел приказ об обязательной военной службе. Приезжая в Берлин, Зубр всякий раз замечал перемены. Их нельзя было не заметить. Фашисты заявляли о себе все бесцеремонней, они влезали в частные дела людей, преображали стародавнюю жизнь города. Олимпиада кончилась, однако повсюду продолжали торчать гранитные дискоболы, борцы, всадники. Непременно гигантские фигуры, воплощение торжества силы нордической расы. Фигуры Завоевателей и Победителей. Суровые воинственные физиономии. Гордые и прекрасные, ибо немецкий народ превосходит все другие народы, он самый ценный из всех народов земли. Искусство скульптора состояло в соблюдении точных размеров черепа, шеи, губ, ушей в соответствии с типом арийца. Женские фигуры сохраняли безукоризненно выверенные пропорции арийских женщин, «опорных женщин», производительниц чистопородных немецких мужчин. Учреждения украшались аллегорическими фигурами сталеваров и крестьян, солдат и шахтеров, группами «Война и братство», «Клятва воинов», «Призыв к борьбе». Решительные атлеты потрясают мечами, зовут в бой на врага. Наследники тевтонских рыцарей, будущие властители мира...

У Бранденбургских ворот грохотали взрывы, поднимались облака кирпичной пыли — сносили дома, затейливые, милые Зубру дома старого Берлина. Поговаривали о каких-то немислимых дворцах, что будут возводиться Шпеером по идее фюрера, каких-то площадях, арках, но толком никто ничего не знал.

Зубр любил старые берлинские кварталы. Физиономии у города почти не было, но была прелесть каменных его закоулков с маленькими шумными пивными, ресто-

ранчиками, пекарнями. Утренние рынки на площадях, цветочные базарчики, ярмарочные представления. Играла шарманка, инвалиды войны сидели на скамеечках, гудел орган в костеле. Все это исчезало, испуганно съеживалось. Проступал новый, фашистский Берлин: тяжелые массы бетона, прямоугольные здания, похожие на гигантские долговременные бараки. Насупленные темно-серые здания, созданные не для радости глаз, а для устрашения и демонстрации власти.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Жизнь в Бухе, как и во всех научных городках такого рода, шла замкнуто, устойчиво, сохраняя свой распорядок дня, свои обычаи. Ход лабораторных опытов не менялся от захвата власти фашистами. По крайней мере, для Зубра. Ни ему, ни его сотрудникам никто не мешал, институт Фогта продолжал числиться как германо-советский, они с Царапкиным оставались советскими гражданами. Исследования шли успешно, одна за другой публиковались работы Зубра, слава его ширилась, особенно возросла она после публикации вместе с Циммером и Дельбрюком «Зеленой тетради». Это была пионерская работа, заложившая количественные основы современной радиационной генетики. Из нее стало ясно, что наследственная информация сосредоточена не во всей клетке, а в ее ядре, в маленькой части, мишени, на которую можно воздействовать жестким излучением, мощными дозами, — что-то в этом роде.

Может быть, тут следует сказать о его главных работах, которые завершали цикл исследований к 1935 году (совместно с Циммером и Дельбрюком), а затем еще работы 1936 года. В них были заложены основы современной молекулярной биологии. Значение обеих работ можно представить, сравнив с тем, что сделал в начале века Резерфорд для атомной физики. Труды Зубра понастоящему оценили после книги Шрёдингера «Что такое жизнь? С точки зрения физика».

На тридцатые годы приходится зрелость классической генетики как науки. Все ее основные законы открыты. Выяснено, как гены родителей комбинируются в хромосомах потомков. Составлены подробнейшие хромосомные карты мушки дрозофилы, а также одного из важнейших хозяйственных растений — кукурузы. На

этих картах со скрупулезной точностью указано положение вдоль хромосом многих сотен генов, отвечающих такому же количеству наследственных признаков. Обнаружено, что темп изменений генов — мутация, — очень низкий в обычных условиях, может быть увеличен тысячекратно действием рентгеновских лучей. Вот только, что такое сам ген — не знал никто. Среди биологов были и такие, которые полагали, что это — одна из сокровенных тайн природы, которую не суждено разгадать. Нечто вроде вопроса — почему существует Вселенная? Сам Бор полагал, что жизнь, а тем самым, по-видимому, и гены как мельчайшие ее элементы столь сложны и «деликатны», что любые опыты с целью установить их природу могут разрушить объект — и мы ничего не узнаем.

В те годы Зубру часто приходилось отбиваться от вопросов о природе гена. Особенно настойчивы были физики. Но что он мог ответить, если даже размер гена был неизвестен. А может, ген и вовсе не имеет размера, а являет собой сложную систему биохимических реакций? И тогда ген — не тело, а процесс. Но все-таки, строго определенное расположение генов в хромосоме, передача их от родителей к детям, способность к мутациям (поломкам?) — все эти факты говорили, что ген — скорее всего тело и поэтому обязан иметь размер. Зубру пришла идея: а что, если использовать свойство гена мутировать при рентгеновском облучении для определения размера?

Кольцов сказал: молекула от молекулы. Зубр сказал: конвариантная редубликация. Для непосвященных трудновыговариваемые эти слова означают, что самовоспроизводится не просто молекула, но и те случайные в ней изменения (варианты), которые произошли между актами самовоспроизведения. Вот с этого большинство биологов ведет начало молекулярной генетики. Зубр как бы коснулся того трепетного источника, откуда проистекает все сказочное разнообразие земной жизни.

Изменения производили ионизирующим излучением. Обработав свои данные, авторы подсчитали, каковы должны быть эффективные размеры мишени. То есть они решили, что в клетке должна таиться выделенная частица, удар по которой приводит к мутации. Сама постановка вопроса о существовании такой частицы поразительна. Надо заметить, что Зубр владел высшим

искусством экспериментатора — он умел задавать природе вопросы, на которые она должна была ответить «да» или «нет».

Легко сказать — сделать трудно! Ведь частота мутаций даже всех вместе взятых генов — очень мала, а тут надо было измерить ее крохотную долю, приходящуюся на один ген. Приходилось, согнувшись над бинокляром, просматривать сотни тысяч мух! И вот Зубр вместе с физиком Циммером доложили результат: в среднем в хромосоме содержится не менее десяти тысяч и не более сотни тысяч генов. Это значит, что ген — вовсе не «точка» на хромосоме, а в молекулярном мире весьма крупное образование, построенное не менее, чем из десяти тысяч атомов. Так была сделана первая надежная оценка размера гена.

Можно спорить, эта ли работа Зубра или же исследования генетических основ эволюции — его главное достижение. Но одно несомненно: именно оценка величины генов послужила мостом между классической генетикой и генетикой молекулярной, возникшей в 1953 году, когда Уотсон и Крик открыли двойную спираль ДНК. Тогда стало ясно, что гены — это протяженные участки ДНК, размер которых впервые надежно оценил Зубр, «вычислил» ген, как Резерфорд вычислил атомное ядро.

С этого времени он делается одним из признанных лидеров в биологии. Он в расцвете сил и энергии. Темперамент, любопытство, силища — все в его могучей натуре мешает ему осесть на открытых им землях, он дарит их другим, а сам спешит дальше. Освоение не для него, он не колонизатор. Он отбывает в эволюцию, переправляется на совершенно другой материк — к чайкам и овсянкам-дубровникам, занялся их систематикой, опытами по жизнестойкости отдельных мутаций. Перед ним прояснился путь к количественному изучению пусковых механизмов эволюции. Какой нужен, например, минимум популяции и какой максимум? И проволну жизни. Например, гнус, почему его то мало, то много? Сезонные колебания гнуса от единицы до миллиона. Что делает эта волна? Разбалтывает ли она мутации?..

В этой кипучей работе политическая жизнь немцев редко и неглубоко затрагивает его душу. Он переполнен тем, что творится на родине. Там все чаще печатают разгромные статьи об известных биологах, называют их

взгляды реакционными, вредными. Трудно понять, что именно обсуждается, что-то философское, неконкретное, больше всего это походит на судилище. В итоге кого-то зачисляют в идеалисты, кого-то в антидарвинисты, кончаются дискуссии административными мерами. Филиппченко назвали буржуазным ученым, заставляли уйти из Ленинградского университета, и после его смерти Презент продолжал клеймить его: «Буржуазно воспитанный буржуазными устоями проф. Филиппченко...» Выслали Левитского, затем Максимова, Попова, Кулешова, что-то происходит с Карпеченко. Что именно — неизвестно. Арестовали профессора Райнова. Зубр не мог поверить, что эти крупные ученые, люди безупречной честности, научной добросовестности, могли оказаться вредителями, или проходимцами, или врагами народа. Оскорбительные ярлыки никак не вязались с обликом этих людей. Было непонятно, зачем шельмуют цвет советской науки. Кому это надо? Для чего? Дочь профессора Б., которого обвинили в идеализме, отреклась от него. Такие отречения от отцов, замечательных ученых, происходили все чаще. Наконец пришло известие, что заставили уйти из университета Кольцова. Все большую силу набирали неведомый Зубру, да и вообще здесь никому не известный своими работами Трофим Лысенко и его идеолог, его перо И. Презент. Этого Зубр помнил. Еще в Москве Презент просился к ним в семинар, в Дрозсоор; шустрый, с хорошо подвешенным языком юнец предлагал свои услуги в качестве теоретика. Никаких самостоятельных исследований он не вел и не собирался вести. Ему объяснили, что теоретизировать в Дрозсооре умеют сами... И вот теперь этот Презент стал главным теоретиком Лысенко, занялся прежде всего разоблачениями механистов, менделистов, морганистов. Ученый, имеющий не труды, а одни разоблачения. Не список работ, а список разоблаченных.

Сами термины, которые он применял, казались Зубру каким-то бесовским вывертом: и Мендель, и Морган были классиками биологии, их трудами биологи пользовались так, как электрики пользуются законом Ома, почему же менделисты и морганисты стали бранными кличками? Ладно еще бранными — брань на ворота не виснет, — так ведь ответить не давали. Лысенко с Презентом уже и на Вавилова стали нападать. Один из шведских ученых, приехав из Советского Союза, пере-

дал Зубру письмо от Кольцова. Там после неутешительных новостей Николай Константинович повторял свой совет: не спешить домой, переждать. В нынешней обстановке, да еще со своим невыдержанным характером, Колюша, как только вернется, сразу же подвергнется опале. К тому же иностранные его связи не ко времени, неуместны они для нынешнего климата. Надо годить, набираться терпения, скоро все образуется, такое не может долго продолжаться.

Письмо появилось не само по себе — Николай Константинович отвечал на просьбу Колюши узнать, куда бы он мог вернуться: в Московский университет либо же в кольцовский институт. Его тянуло домой, в Москву. Пока из Москвы приезжали Вавилов, Вернадский, тот же Кольцов и другие, пока существовало свободное общение, переписка, командировки, он не ощущал никакой тоски. По мере того как поездки сокращались, связи обрывались, он начал страдать. Отсутствие общения с родной наукой угнетало его.

Его «теория мишени» была подхвачена в институтах Англии, США, Италии, его наперебой приглашали читать лекции, доклады. Генетика, она всюду одна и та же. Куда бы он ни приезжал, он привык чувствовать себя представителем советской науки, русской науки; он наращивал ее славу, он пропагандировал работы своих учителей и товарищей. Теперь же все зашаталось, накренилось. В советской биологии хозяйничали не ученые, а какие-то мракобесы с дикими, невежественными понятиями о генетике. Ее вообще отрицали, уничтожали, вытравливали. Тех, кем он гордился, кого цитировал, преследовали...

В 1937 году из Союза вернулся Герман Мёллер, друг-приятель Зубра, знаменитый американский генетик, впоследствии Нобелевский лауреат. Десять лет назад он прославился, доказав опытным путем, что мутации можно получать, воздействуя рентгеновскими лучами. В 1933 году Мёллер уехал работать в Советский Союз. Он хотел участвовать в строительстве социализма, приблизиться к новому миру. Он хотел быть рядом с Н. И. Вавиловым. Однако в последнее время научная обстановка резко изменилась, лысенковщина отняла возможность заниматься сколько-нибудь серьезно генетикой, селекцией. Месяц за месяцем он пытался найти компромиссы, приспособиться — ничего не получалось. Прибыл он в Берлин в тяжелом состоянии и все на-

копленные чувства вывалил на Зубра. Слезы стояли у него в глазах, а Зубр не знал, чем утешить его.

Стало известно, что расстреляли родного брата Зубра, который работал у Кирова. Расстреляли Василия Слепкова, отозванного из Буха.

Через месяц после приезда Мёллера Зубра вызвали в советское посольство. Молодой человек, пухлощекий, с кудрявой куделькой на лбу, с милым слуху окающим говорком, предложил Зубру выехать на родину. Срочно. Почему срочно — вразумительно пояснить он не мог, выехать, и все. Говорил он приказным тоном, от которого Зубр отвык, на вопросы отвечал свысока, постукивая карандашом, предупреждал, что тот, кто повторяет злопыхательские слухи, клевету, играет на руку врагам, подпевает с чужого голоса. Зубр попытался, как он выразился, прошибить броню невежества этого «ташкентца», кто в физиономии ближнего видит не образ божий, а место, куда можно тыкать кулаком. Молодой дипломат Щедрина не читал и не собирался, а вот на каком основании Зубр появился в Берлине, чем он тут занимается, зачем якшается с эмигрантами, угрожал докопаться. Какие там мухи, что за мутации? А не похоже ли это на ту, чуждую нам науку, с которой идет борьба? Понятно, почему труды его охотно печатают английские и прочие буржуазные журналы. Услышав фамилию Семашко, он пренебрежительно прошелся насчет отставной козы барабанщика и, уже не церемонясь, поднял голос на Зубра, много о себе возомнившего — поднабрался на Западе вшивого либерализма! — и в конце концов запустил матерком по ученой шатии, что сидит на шее у народа. Хотя от матерка Зубр отвык, но отвычка не привычка, вспоминать не учить, всадил в ответ такого матюка — из вагона в вагон, через весь эшелон, — что этот, с куделькой, рот раскрыл. Сладостно швырнув дверь, ушел. Невоздержанность на язык оставалась в нем смолоду, никакие синяки-шишки дерзости не умили, ума-разума не прибавили. Отмалчиваться — важнейшему искусству — не научился, что уж говорить о выборе выражений или о том, чтобы держать язык короче. Знал, что из-за худых слов пропадешь, как пес, — но этого в расчет не брал.

Лелька, выслушав его рассказ, повздыхала, потом заявила, что, может, оно и к лучшему, — ехать сейчас безумие, чистое самоубийство, у них дети, надо и о них думать. Царапкины тоже отказались уезжать. Советы

всех друзей сводились к тому же — переждать хотя бы годик, долго так продолжаться не может, кампания репрессий, или, как тогда называли, перегибов, пройдет. Разберутся. Выправят. Зубр успокоился, его самого удерживал разворот лабораторных исследований. Бросить их на полпути, не получив результатов, он не мог. Физически не мог оторваться. Так не может оторваться хирург от операции, так мать не может покинуть малого ребенка. О последствиях он не думал, плевать ему было на дальнейшее, ему нужно было завершить эксперимент.

Вдова Александра Леонидовича Чижевского, биофизика, прославленного изучением влияния солнечных лучей на жизнь на земле, рассказывала мне, как, сидя в лагере, Чижевский выпросил разрешение создать лабораторию, ставить кое-какие опыты, работать. Однажды, в 1955 году, в один воистину прекрасный день, пришел приказ о его освобождении. Чижевский в ответ подает начальству рапорт с просьбой разрешить ему на некоторое время остаться в лагере, закончить эксперименты. С трудом добился своего, ибо это было нарушением всех правил, и завершил исследование.

Как-то я спросил у одного из заслуженных наших генетиков, Д. В. Лебедева, которого в тридцатые годы исключили из университета, а позже выгоняли из института за то, что он не соглашался отречься от менделизма-морганизма, — в чем тут дело, почему так ополчились именно на генетику, почему такая жестокая, можно сказать, кровавая борьба развернулась вокруг, казалось, невинного для идеологии вопроса — существует ли ген, какова природа наследственности?

— Биологам доставалось крепче, чем физикам и прочим естественникам, — сказал он. — Ясное дело, заморочки с неурожаем, то да се... Сшибка, конечно, не из-за генов была. Не они встревожили. Преподнесли это как очаг сопротивления. Указаний не слушают, сами с усами, начальства не признают, считают, что в науке своей разберутся без вмешательства сверху. Наука ихняя должна развиваться, видите ли, свободно... В этом суть — свободно или по приказу сверху. Многие из нас ясно понимали, что в тех условиях это была борьба против культа личности.

— То есть как это?

— Лысенко повсюду заявлял, что его поддерживает сам Сталин. И вдруг осмеливаются против Лысенко вы-

ступать. Невеждой его называют. Это как понимать? Что они имеют в виду? Кого оспаривают? Скульптура, между прочим, выставлена была в Третьяковке: Сталин и Лысенко сидят на скамеечке, Лысенко колосок ветвистой пшеницы показывает. Яснее ясного! Признать должны были Вавилов и прочие! В других научных дисциплинах подчинялись, признавали мудрость, а биологи не желали, сопротивлялись. И сами биологи сознавали, что они выступают не только против лысенковщины.

Все эти годы Зубр испытывал жалость, сочувствие к эмигрантам. При этом было тайное превосходство человека, имеющего родину. Теперь угрожали превратить его в эмигранта, а то еще в невозвращенца. Уродское словечко!

К счастью, его отказ, да и весь скандал, не был воспринят как политическая акция. Паспорт у него оставался, тем более что отношения с Германией наладились, происходили взаимные визиты руководителей, которые обменивались любезностями, заверяли в дружбе между странами. Может, сыграло свою роль и то, что он отказался от предложения принять немецкое подданство. Было такое настойчивое предложение. В чем-то заманчивое, потому что для поездок по миру ему тогда не надо было бы хлопотать о визе, он освободился бы от многих формальностей.

Но угроза оставалась, пухлощекий с кудряшкой не забыл, не простил, не отступился.

Почти сорок лет спустя вышла книга — смелые воспоминания человека, который сам немало пострадал от лысенковщины, храбро боролся с нею.

Читая книгу, я наткнулся на строки о Зубре. Автор сурово осуждает его как невозвращенца. Это было неожиданно. Я знал про их закадычную дружбу... Как только мне представился случай встретиться с автором, я заговорил о Зубре, которого уже не было в живых.

— За что вы его так? — спросил я. — Разве он мог в то время вернуться?

— Почему же не мог?

— Вспомните, какой это был год.

Он наморщил лоб, рассеянно вскинул на меня глаза, затем лицо его затвердело.

— А собственно, какая разница? Какой бы ни был год...

— Разница большая. Вы сами предложили бы ему вернуться в том, тридцать седьмом году? Написали бы ему письмо — возвращайтесь со всей семьей?

— Вы поворачиваете вопрос в другую плоскость.

— Это не ответ.

— Знаете... не я его осудил.

— Кому была бы польза от его гибели? А ведь он пропал бы. Это точно.

— Я пишу о том, что он нарушил закон, — упрямо сказал он, и ничего не осталось на его ухоженном лице от недавней приветливости.

Я вспомнил, что он был среди тех, кто встречал Зубра в 1956 году в Москве на Казанском вокзале. Они обнимались и плакали от радости. Еще я вспомнил, что у Зубра в Бухе над столом среди прочих портретов и фотографий висел портрет этого человека. Все годы висел, в гитлеровской Германии висел.

— Вот видите... — Он вздохнул. — А он не посчитался...

С чем не посчитался? С кем? Да с автором, с их старой дружбой. Оказывается, в одном выступлении автор этот покритиковал Н. К. Кольцова за его увлечение евгеникой, вредное увлечение вредной наукой с расистским душком. За это на него накиннулись ученики Кольцова. Защищали не принципы, а своего учителя. И Зубр к ним присоединился.

— Вот оно, значит, в чем дело!

Я как мог выделил слово «значит», но он не обратил внимания. Он потряс кулачком:

— Как им не стыдно!

Он весь кипел, забыв, что никого из них не осталось на этой земле. Они ушли, оставив его с неразряженной ненавистью. До чего ж все оказывалось просто: поссорились, вот он и написал такое про Зубра — невозвращенец; со стороны же для тех, кто не знал подоплеки, все выглядело идейно, монументально. А подоплеки никто и не знал.

Решение Зубра не возвращаться — поступок или самосохранение? Можно ли требовать от человека самоубийства? И если человек отказался шагнуть в пропасть, то поступок ли это? Каждое время, наверное,

имеет свое понятие поступка. В те времена нормальным считалось подчиниться. И подчинялись. Безропотно. Любому указанию.

Зубр не придавал значения своему непокорству и уж наверняка не задумывался о последствиях.

Вся его жизнь состояла из поступков, один поступок следовал за другим, но для него это были не поступки, а способ жить.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Не вернулся — и точка, и забыл, и окунулся вновь в свою биологическую немецкую буховскую жизнь.

Так говорится — поставить точку. В человеческой судьбе точка — это свернутая спираль, это праатом, из которого вырастает новая вселенная.

В 1938 году он выступает на годичном собрании генетического общества с докладом «Генетика и эволюция с точки зрения зоолога». Публикует книгу «Экспериментальное исследование эволюционного процесса» плюс две «птичьи» работы. Плюс в Италии выходит книга «Генетика популяции». Книга — для нас звучит солидно, для него же, как помним, книга значила нечто обратное: он пишет книгу потому, что ему многое неясно, приходится изъясняться длинно. Когда же все прояснится, уляжется, сойдется, он напишет краткую статью, которой вполне достаточно.

Вторая мировая война обрывает одну за другой связи с учеными Европы, Англии, Америки. Однажды становится известно, что из Германии нельзя выезжать, границы закрыты. Двери захлопнулись.

В замкнутую обитель Буха нацизм проникает сперва в виде гонений на ученых еврейской национальности. Их увольняют, один за другим они куда-то исчезают. Затем начинается поиск скрытых евреев, выясняют, вынюхивают, кто наполовину еврей, кто на четверть, на восьмую. Страхи, доноительство, шантаж...

Расизм обнажил свою сущность. Никогда до этого Зубр не замечал в немцах такого истового национализма. Занятие наукой приучает к международному братству ученых. Биология, математика, физика, любая естественная наука безразлична к национальности. Законы генетики, эволюции действуют среди всего живого. Рыбы, ландыши и скворцы не знают государствен-

ных границ. На разного рода международных сборищах — симпозиумах, коллоквиумах — ученых никогда не интересовало вероисповедание коллеги, тем более национальное происхождение. Какая разница, еврей — не еврей, сколько в нем течет еврейской крови; важен был талант, добросовестность, умение решить задачу, найти истину. Антисемитизм был отвратителен Зубру как подлинному русскому интеллигенту. Отвращение к антисемитизму он впитал вместе с отвращением к черносотенству, к поповщине, к этим смердящим, гнилым устоям русского самодержавия. Поэтому он охотно участвовал в тайной акции, придуманной немецкими учеными. Кто именно ее предложил — неизвестно. Дело в том, что специалистов-ученых евреев ряд ведомств имел право оставлять для своих работ. Для этого нужно было заключение экспертов о том, насколько данный ученый необходим. На этом и решили сыграть. Приходил запрос о квалификации ученого Икс. В ответ из Буха сообщали, что ученый Икс интересен такими-то хорошими работами, что же касается его работ в области, о которой идет речь, то их может оценить ученый Игрек. Шла бумага к Игреку. Тот пасовал ее на консультацию к Зету. Неторопливо катилась эта высоконаучная переписка, причем в качестве консультантов и экспертов привлекались ученые-полуевреи, «частичные» евреи, которых тем самым включали в категорию необходимых специалистов. В конце концов множество заключений и отзывов солидно доказывали высокую квалификацию Икса, а заодно и нескольких других неарийских ученых. Замысловатая система долго действовала, спасая, выручая, защищая...

В Бухе появился нацистский партсекретарь, некий Гирнт. Однажды он затеял разговор с Зубром, снова предлагая ему принять немецкое подданство. Такое дозволялось редко кому из иностранцев. Предложение, как дал понять Гирнт, исходило от высоких инстанций и являлось весьма лестным. Зубр наивно выкатил глаза: чего это ради? Мне и так хорошо, от добра добра не ищут...

До начала войны с Англией и Францией, да и позже ему выпадало несколько случаев выезжать в Скандинавию, в Соединенные Штаты, в Италию. Фашистская Италия выглядела куда терпимее, чем фашистская Германия. Но все, что не Россия, его не прельщало. Что Италия, что Швейцария, куда звал его Фогт, — один ле-

ший. Всюду он будет эмигрант, здесь он советский гражданин. В Бухе, по крайней мере, было все налажено. Переехать — значило потерять два, а то и три года. Кроме того, потерять темп, мысль потерять.

Как сказал философ: «Второго раза не бывает».

Бух был не Германия и даже не Берлин. Бух представлялся ему теплицей, оазисом, не причастным к тому, что творилось в стране.

Гитлеризм рассчитан был прежде всего на немцев. Он, Зубр, пребывал иностранцем, и на него не обращали внимания. Это было своеобразное положение, которому многие немцы завидовали и друзья в России завидовали.

Для него ничего не изменилось. Он был свободен от страхов, свободен от повинностей. Он мог делать то, что делал.

А в берлинских киношках крутили картину: на экране показывался Кремль, торжественный момент подписания договора о ненападении. Риббентроп горячо пожимал руку Сталину, обнимался с Молотовым. Все они довольно посмеивались, но у Риббентропа блуждала еще добавочная улыбочка, предназначенная немцам.

Газеты приводили выдержки из речи Молотова на сессии Верховного Совета: «Мы всегда были того мнения, что сильная Германия является необходимым условием прочного мира в Европе... Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция... стоят за продолжение войны...»

Он обвинял англичан и французов, которые пытаются изобразить себя борцами за демократические права народов против гитлеризма, доказывал, что невозможно силой уничтожить идеологию: «Преступно вести такую войну, как война за „уничтожение гитлеризма“».

В Берлине стали продавать «Правду» и «Известия». В них ругали англичан, не было ничего против фашизма, и все печатали материалы о шестидесятилетии Сталина. Иногда появлялись большие статьи о положении в биологии: «Многие из так называемого генетического лагеря обнаруживают такое зазнайство, такое нежелание подумать над тем, что действительно нужно стране, народу, практике, проявляют такую кастовую замкнутость, что против этого надо бороться самым решитель-

ным образом». Или: «Лжеученым нет места в Академии наук». Это против Льва Семеновича Берга, Михаила Михайловича Завадовского, Николая Константиновича Кольцова.

Вскоре из России начали прибывать эшелоны с зерном, сахаром, маслом.

В Бухе ничего не могли понять — что происходит?

В 1940 году докатилась страшная весть — арестован Николай Иванович Вавилов. А затем сообщили — умер Николай Константинович Кольцов. Оба события казались внутренне связанными. И Вавилов, и Кольцов были несовместимы с тем, что творилось в России. Они не могли сосуществовать с такими, как Лысенко и Презент. Для них невозможно было жить в атмосфере лженауки. Зубр это хорошо понимал. Но все же решиться на арест Николая Вавилова, признанного во всем мире великого биолога, гордости советской науки! Как могли на это пойти?

Гадали и так и этак. И Лелька всякий раз утешающе заключала: «Раз уж с Вавиловым так обошлись, то ты тем более бы не избежал». Судя по всему, происходил полный разгром несогласных генетиков. Погибнуть, да еще в бесчестии, как враг народа, ради чего? Зубр угрюмо отмалчивался. Фыркнет непонятно, а то и раздраженно. Уцелел. Принял мудрое решение. Правильно поступил. Всех своих спас... А что толку в его правоте? Поехать на похороны своего учителя и то не мог. Стыдно и гнусно.

Прежде он не скучал по Москве. Не до того было. Теперь ему снилась Остоженка, Арбат, московские переулки. Снилась Калуга, березовая аллея Концепполя. Это была не ностальгия. Не страдал он ностальгией. А была несправедливость и подлость истории, которая настигла его в самый неподходящий момент...

Задержанные войной, прорывались вести уже не свежие, но такие же невероятные: об аресте и гибели Н. Беяева, о неприятностях с другими друзьями — А. Серебровским, Д. Ромашовым. Участникам Дрозсоора припоминали эту чуть ли не «организацию».

Про Зубра, казалось, забыли, в посольство не вызывали, не предавали анафеме. В Европе он оставался для всех крупной фигурой советской науки. Просоветские круги использовали его как пример успехов советской науки. Вот человек, который демонстрирует советский

гений, умственное опережение при яркой личностной окраске!

Его сравнивали с Горьким в Италии...

Среди русской эмиграции было немало ученых, которые прославили себя, но в случае с Зубром все подчеркивали, что человек этот не имеет никакого отношения к эмиграции...

Вторая мировая война набирала силу. Немецкие войска двинулись по дорогам Польши, самолеты бомбили Варшаву. В апреле 1940 года гитлеровцы маршировали в Дании. На севере в те же дни их отряды заняли норвежские порты. Спустя месяц Гитлер оккупировал Голландию, Бельгию, Люксембург. С недолгими боями немецкие войска обошли «линию Мажино». Танковые колонны, изукрашенные на башнях крестами, стреляя, двигались через Францию к Парижу. Столица Франции была объявлена открытым городом, и Гитлер в длинном, коричневой кожи блестящем пальто, держа в левой руке белые перчатки, прошелся по Елисейским полям к Триумфальной арке.

Германия принялась бесстыдно, уже не заботясь об оправданиях и поводах, захватывать, грабить, поработать. Германия, которую Зубр успел полюбить, немцы — честнейший, работающий, талантливый народ, среди которых у него было столько друзей.

У него не осталось Германии, его лишали России, с ним пребывала лишь наука. Синие стены лаборатории, часть парка за окном, вытоптанная площадка для рюх — вот как все сузилось.

Рушились, падали королевства, правительства, горели города, бомбоубежища стали кровом, чемоданы — домами, горький дым поражений, бессилия и позора стлался над Европой.

Как можно было в этих условиях сидеть над микроскопом, возиться с мушками, препарировать, вскрывать разных козявок? Что это за мозг, что за нервы, которые могли отрешиться от грохота всеобщей войны? Вырубиться, и не где-нибудь в Америке, в Африке, а здесь, в центре событий, в Берлине?

Понять до конца его поведение я так и не смог. Для меня в тех его действиях было что-то вызывающее и неприятное.

Но были некоторые его замечания, обмолвки, по которым мне казалось, что не так все гладко у него складывалось. Что-то точило и грызло его душу в те годы. Было ему, видно, несладко. И хотя на любые упреки он имел что ответить и выставить себя кругом правым, от этой самой правоты становилось ему самому тошно. Дома бьют, долбают единомышленников, а он отсиживается у фашистов за пазухой...

Тут я чувствую, что вступаю на зыбкую почву догадок и психологических построений, от которых закаялся в этой вещи. Зубр тоже не допускал никакого «психоложества». Однажды я заупорствовал, выжимая из него что-то более определенное. Но он отмахнулся: чужая шкура не болит, кусай меня собака, только не своя, — а потом вдруг налился кровью, закричал: «А вы как все сносили? Почему терпели?» И, тыча в меня пальцем, стал предъявлять такое, что у нас давно условились не ворошить, заторкали по углам, прикрыли.

Он никогда не был анахоретом, не был одержимым, не был фанатиком науки. Он жил «во все стороны», бурно и жадно. Теперь наука стала его убежищем. Он погрузился в нее, как водолаз, как спелеолог уходит в глубь пещер, удалялся от грохота войны, от слез и криков, от бомбежек, набатных призывов, спеси нацизма.

Он обдумывал синтетическую теорию эволюции. Выстраивалось учение о микроэволюции. Начиналась она с популяции. Постройка возводилась из элементарного эволюционного материала — мутации и простых известных факторов — популяционные волны, изоляция, отбор. Открывалась дивная картина миллионнолетних стараний природы, стало видно, как в ее сокровенных, тайных мастерских из бесконечного числа комбинаций отбирались лучшие. Там неведомым образом действовали механизмы отбора, работа то убыстрялась, то что-то происходило, как будто природа уставала. Появлялись какие-то сигналы, менялись признаки, краски...

Он вспоминал разговор с Эйнштейном о прикосновении к тайне. Прикосновение к ней — самое прекрасное и глубокое из доступных человеку чувств. В нем — источник истинной науки. Тот, кто не в состоянии удивиться, застыть в благоговении перед тайной, все равно что мертв.

Само прикосновение было лишь сигналом о том недоступном ему, Зубру, мире ослепительной красоты и мудрости, которые существовали в действиях природы.

Что значила перед волшебными процессами живого война? Не так уж много...

Сражения у Дюнкерка, на Висле отодвигались в ряд тысяч других сражений, которые тоже когда-то слыли великими, историческими, славными. Задерживали они ход истории, ускоряли? У каждого народа история состояла прежде всего из истории его войн. Бесконечные войны ничего не решали, ничего не прибавили человеческому разуму. Само существование «тысячелетнего рейха» казалось безумным мигом перед вечными законами науки. Он гордился могуществом науки и принадлежностью к ней. Она позволяла погрузиться в невнятный лепет природы. Слух его выбирал осмысленность — то, что он был способен расшифровать. Это было немного, но он первый из смертных слышал его. Буквы, слова были известны, связи между ними не было. Он следил за сплетением тончайших нитей, осторожно ступал по блистающей проволоке с новым, свежим чувством восторга. Легче было понять путаницу движения планет, звездного неба, чем действия простейшей букашки. Он считал любую гусеницу умнее своего ума. С какой непостижимой гениальностью было устроено в ней все, каждая ножка, ворсинка! Разрозненные, казалось, явления вдруг соединялись в нечто ошеломляюще простое. Из кирпичей складывался собор. Впоследствии спорили: кто Зубр — открыватель или пониматель? То есть тот, кто нашел, или тот, кто первый понял и объяснил? Пожалуй, большинство склонялось к тому, что он — пониматель, для него результат измерялся приближением к истине, а истинно то, что плодотворно. Все равно его усилия — лишь ступенька на лестнице, идущей в небо. Да и можно ли мерить жизнь результатами? За суммой результатов пропадает жизнь. А жизнь больше любых результатов. Жизнь — это прежде всего любовь. Научиться можно только тому, что любишь, и понять можно только то, что любишь...

Казалось бы, очевидная эта истина усваивалась с трудом, немногими. Зубр иногда приходил в ярость от равнодушной методичности, от спокойствия своих сотрудников.

Вести из бушующего мира доходили все глуше. Он пробивался к секретам мастерства природы — как она запускала живое, которое потом работало, развивалось самостоятельно. Он должен был понять удачу природы, понять устойчивость ее созданий: почему чайка остается тысячелетиями чайкой, почему так важно разнообразие птиц, жуков. Самое трудное — увидеть то, что у тебя перед глазами. Увидеть в мухе то, что не видели другие, хотя это видно всем.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Нападение Гитлера на Россию взорвало мир Зубра, заставило его подняться на поверхность. Война с русскими была неожиданностью, поражала бесстыдством и низостью. Только что звучали клятвы в дружбе. Риббентроп ездил в Москву...

Лелька, дети, Царапкины — все они вдруг очутились в ловушке. Не стало посольства, они превратились в пленников. По закону, как все граждане страны противника, они обязаны были являться в полицейский участок для отметки. В соответствующих списках ставили галочку, означавшую, что сие лицо не скрылось. Требовали отмечаться каждую неделю. Всякая переписка оборвалась — и с Россией, и с Францией, и с Англией. Радиопередачи можно было слушать только немецкие.

В Германию эшелонами пошли посылки с Украины, из Белоруссии, из Прибалтики — награбленные одежда, продукты, картины, мебель. В пивных висели карты военных действий, каждый день на них передвигались флажки дальше на восток. Но странно, спустя несколько месяцев в медном громе победных маршей и гимнов что-то задрезжалось, повеяло смрадным запахом тлена. Немецкие войска еще рвались к Москве, голодал блокированный Ленинград, а берлинский обыватель уже учуял первые зловещие признаки: прибывали переполненные составы раненых, в пивных стало полно инвалидов. Война, которая так бойко двинулась на восток, к зиме забуксовала: она еле ползла, натужно скрежеща гусеницами; мотор войны задымился, утыкаясь в оборону советских войск. А ведь сообщали, что войска эти давно уничтожены. В криках геббельсовских пропагандистов наостренное ухо улавливало болезненный надсад.

Оттуда, через Зубра, я стал различать немецкую изнанку нашей войны, выворотное ее обличье, не ведомое нам.

В Бухе мысль о неизбежности поражения Германии появилась рано, сперва у русских, а к зиме 1941 года, после разгрома немцев под Москвой, и у немцев. С научной дотошностью анализировали средства, резервы, силы сторон и убеждались в безумии затеянной войны с Советской Россией.

В конце 1942 года начальник буховского полицейского участка сказал Зубру:

— Господин доктор, вы нас знаете уже больше пятнадцати лет, и мы вас знаем столько же времени. Все эти годы мы жили в дружбе. Ну зачем вам таскаться к нам? Я эти галочки буду ставить сам.

Высокая репутация знаменитого ученого, погруженного в какие-то исследования над мухами и птичками, помогала и самому Зубру, и кое-кому из его окружения. После войны из документов выяснилось, что когда на Зубра поступил донос, местный группенфюрер дело прекратил, сказав, что этого не может быть.

Таким образом, лично ему ничего не грозило. Здесь, в Бухе, он был в безопасности, мог «возделывать свой сад», ибо ценность всякой теории состоит в ее плодотворности. Положение его было исключительно выгодным. Никто не мешал ему в условиях войны продолжать заниматься своим делом. Но что-то испортилось в нем самом. Чувства его очнулись, интерес к работе пропал.

Глыба эта, которая, казалось, ни на что не отзывалась, вдруг ожила. Что произошло? Неизвестно. Он знал, что в условиях гитлеровской Германии ученый должен стараться выжить, спасти культуру, передавать ее людям. Теперь все менялось. То есть он по-прежнему считал, что не его это дело — бросать гранаты, перерезать проволоку. Разрушительную сторону борьбы он для себя не признавал. Более эффективным он считал не убить десятков-другой мерзавцев, а спасти одного человека. Будь он в армии, он бы стрелял; в том же положении, в каком он находился, предпочитал спасать. Во всяком случае, он не мог больше пребывать в бездействии. Его страна воевала с Германией, и от него требовалось участие.

От себя — требовал, Фоме — запрещал. У него возникли первые разногласия с Фомой, старшим сыном.

Фоме было уже восемнадцать лет. Его поведение настояживало отца. О чем-то он догадывался, о чем-то не хотел знать. Он лишь твердил Фоме: всякий честный человек должен делать то, что может делать, не более того. «Твое дело — наука, — повторял он Фоме, — в ней ты можешь более всего совершить. В науке!» Он мечтал, что Фома станет биологом.

Постепенно мне становилось ясно, что существовала какая-то группа немецких антифашистов, связанная с Бухом, они помогали военнопленным, которым удалось бежать. В тех условиях самостоятельно бежать через Германию было безнадежно. Нашли, однако, возможность спасти беглецов. Надо было превратить их из военнопленных в рабочих, вывезенных в Германию на работы. Для этого надо было снабдить их документами. Научились изготавливать для советских церковноприходские свидетельства, фабриковали удостоверения остарбайтеров. Еще какие-то бумаги. Подробностей мне установить не удалось.

Все это происходило где-то рядом с Зубром, вблизи. Его не посвящали. Кое-чем Фома делился с матерью, с ней он был откровеннее.

Далее надо было устроить беглецов на работу. Лучше всего для этого годились дальние хутора, туда их направляли батраками. Иногда просили Зубра взять к себе в лабораторию. Таких тоже набралось за годы войны немало. Всего, по некоторым данным, насчитывалось более ста человек, в спасении которых приняли участие Зубр и связанные с ним люди. Фамилии коекого удалось установить. Прежде всего тех ученых, кого пристраивали по лабораториям. Поиски этих людей заняли у меня много времени. Надо было за что-то зацепиться — одно, даже единственное свидетельство многое могло раскрыть. Прошло сорок лет. Где эти люди? Куда разбросала их судьба, кто из них жив, как их искать?

Если бы в свое время Зубр рассказал о том, как они спасали людей, можно было бы найти больше свидетелей и фактов. Но он никогда ни словом не обмолвился. Почему? Много позже я догадался, вернее, мне подсказали.

Как проходили поиски материала — это особое повествование. Помогали друзья и ученики Зубра, работа-

ла целая «оперативная группа». Еще раз я убедился, насколько преданны они его памяти — Маша Реформатская, Коля Воронцов, Валерий Иванов, Анна Бенедиктовна Гецева, Володя Иванов...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Первым разыскали Гребенщикова. Он жил и работал в ГДР. Случай помог мне. Я ехал в командировку в Берлин, а оттуда в Веймар.

Июнь стоял изнуряюще жаркий. Машина петляла по немецким проселкам. Мы то и дело сверялись с картой. В Берлине никто из моих друзей не слышал про такой городок — Гатерслебен. На карте он был обозначен самым мелким шрифтом. Из Берлина пытались созвониться с Гатерслебеном, разыскать там господина Гребенщикова. После нескольких попыток телефонный разговор состоялся. Гребенщикова просили принять меня, но он отказался. Он болен, он занят, — словом, свидание наше невозможно. Разговаривала с ним моя знакомая Ева. Для нее вопрос был исчерпан. Ей было неловко передо мной, она не ожидала, что встретит такой холодный отказ, и старалась смягчить слова Гребенщикова. Я понятия не имел о том, что за человек этот Гребенщиков. Судя по рассказам Н. Н. Воронцова, Гребенщиков прожил в Гатерслебене все послевоенные годы, работал научным сотрудником в генетическом институте и был человек весьма милый, порядочный.

— Вы сказали, что я хочу говорить с ним о Тимофееве? — спросил я Еву Данеман.

— Конечно, я повторила все, о чем вы просили.

В этом можно было не сомневаться. Ева в этих делах была безупречно точна.

— Все-таки позвоните, пожалуйста, еще раз. Скажите, что я все равно приеду, — сказал я. — Такого-то числа.

Ева пожала плечами. Она не понимала, как можно при таком отказе возобновлять разговор. Тем не менее она снова потратила кучу времени, чтобы дозвониться. У меня не было иного выхода. Гребенщиков — один из спасенных, один из живых свидетелей. От него должна была потянуться ниточка дальше.

Гатерслебен лежал в стороне от моего маршрута. Надо было сделать порядочный крюк, чтобы попасть

в этот поселок, или городок, или как там еще числится эта дыра.

Дыра оказалась благоустроенным институтским парком с низкими кирпичными корпусами лабораторий. Сам Игорь Сергеевич Гребенщиков — худущим, вытянутым в длину человеком, похожим на Дон Кихота, только без усов. Говорил он по-русски безупречно, с приятной старомодностью, какую у нас можно еще встретить кое-где в провинции. Игоря Сергеевича я застал в лаборатории. Много лет он заведовал отделом прикладной генетики, занимался кукурузой и тыквенными, теперь просто научный сотрудник, поскольку возраст — за семьдесят. Учился он в Белграде. Родители вывезли его из России мальчиком во время революции.

Отвечал не сразу, как бы вслушиваясь в мой вопрос. Голова втянута в плечи, весь настороже. Но, к счастью, так долго он держаться не мог. Природное радушие взяло верх.

В детстве он увлекался театром и жуками. Точнее — навозными жуками-скарабеем. Война застала Гребенщикова в Белграде. На руках у него был нансеновский паспорт. То есть был он бесподданный. Согласно немецким законам 1941 года, ему надлежало ехать на работы в Германию. Прибыв из Белграда в Берлин, он пытался устроиться куда-либо, но не мог. По положению он имел право работать только на государственных предприятиях. Ему предписали отправиться в восточные области. Этого Гребенщиков не хотел. Это означало уже напрямую помогать фашистам в их оккупации. И тут он прослышал, что в Берлине есть некий профессор Тимофеев, который помогает иностранным людям. Тимофеев — биолог, и это заставило Гребенщикова решиться. Он позвонил в Бух. Тут он изобразил голос Зубра, у которого что по-немецки, что по-русски, что по-«аглицки» манера говорить оставалась та же. Гребенщиков объяснил ему: так, мол, и так, с детства занимался жуками. Приезжайте, сказал Зубр. Это было в начале 1942 года. Следовательно, уже тогда в Берлине знали, что есть такой Тимофеев, который пристраивает... Приехал. Встреча была превосходная. После всех расспросов Зубр сказал: «Я вас устрою заштатным ассистентом».

— И, представьте себе, устроил! Было это хлопотно. После этого все равно с некоторым страхом я отправился в Восточное министерство сообщить, что не могу

ехать, поскольку здесь устраиваюсь на работу. Принимал меня некий Врангель. Видимо, из *тех*. Представьте себе — обрадовался! Поздравил. Вот какие зигзаги случались.

Гребенщиков застал в буховской лаборатории других пристроенных — француза-механика, грека Канелиса (сейчас он в университете в Салониках, попутно отмечает Игорь Сергеевич), позже неведомым ему образом появился С. Варшавский из советских военнопленных (он слышал, что тот жив, здоров, работает где-то на Волге). Еще был Бируля, этого вывезли из Ростова эшелонам на работы в Германию. Впрочем, может, он тоже из военнопленных, но его оформили как вывезенного. Были еще голландец, секретарша-полуеврейка — фамилии ему позабылись. Непонятно было, каким образом Зубру удавалось всех их устраивать. Помогало, по мнению Гребенщикова, то, что Бух находился в стороне, в пригороде, во всех смыслах на окраине, ибо на науку гитлеровское начальство внимания не обращало, тем более — какое значение для войны могли иметь генетика, биофизика?

Гребенщиков предупредил, что ему известна из вырученных Зубром только малая часть, те, с кем непосредственно приходилось работать; были и другие, но кто, сколько — не знает, считал, что не вправе интересоваться.

Вскоре Гребенщиков смог выписать свою жену из Белграда и с головой влез в работу, которой его усердно загружал шеф. Жили голодно, недоед заставлял изворачиваться. Для кормления дрозофил выдавали патоку и шроты (кукурузную дербь), сотрудники отбирали у своих дрозофил это питание, посадили мух на голодный паек. Присылали кроликов для опытов по радиации. Облученные кролики в пищу не годились. По мере того как паек сокращался и голод увеличивался, Зубр решил подвергать кроликов слабому облучению. Опыты эти давали тоже любопытные результаты, главное же — слабо облученных можно было есть. Потом, однако, он решил их вовсе не облучать: наука подождет, лучше есть здоровых кроликов. Так и делали. Пиршества устраивали у Тимофеевых. Елена Александровна готовила кролика и приглашала всех. Когда кроликов не было, пекли пудинг из шротов и патоки. Зубр вываливал его на доску для «всеобщего пожирания».

— Он и здесь, в этой обстановке, оставался собирателем. Есть собиратели коллекций, я, например, собиратель жуков (я вам потом покажу свою коллекцию), есть собиратели знаний, он же был собирателем людей. Собирали они их не призывом к чему-то, соби-
рал мышле-
извержением. Вулкан идей! Одному таланту достаточно
писчей бумаги, другому — своей лаборатории, Николаю
Владимировичу, Энвэ, как мы его звали, нужны были
всегда и всюду слушатели. Ему нужно было делиться,
раздавать, спорить, подначивать. Тогда у него высека-
лась искра нового. В общении.

Слушая Гребенщикова, я поглядывал на портрет, сделанный черным карандашом. В простенькой рамочке, застекленный, он висел над столом Игоря Сергеевича. Я люблю портреты в лабораториях. Они не бывают случайными. На этом портрете был изображен в профиль молодой, носатый, чубатый, губастый человек; и меня вдруг осенило — это же был Зубр тех лет, сорокалетний. Портрет сделал Олег Цингер, и Гребенщиков выпросил у него.

— ...Что же касается искусства, то мы с ним все время спорили. Ведь это полный абсурд, что он нес про оперу! Переспорить его было невозможно. А его высказывания о Врубеле!..

Давняя досада ожила, заставила Гребенщикова вскочить. Морщинистое длинное лицо его слабо порозовело, он смущался своей горячности и не мог от нее отделаться.

Самые преданные ученики Зубра, говоря о своем учителе, сохраняют ироничность. Такова традиция — без слепого поклонения. Ничего похожего на пушкинистов, чеховедов, блоковедов, которые и слушать не хотят о каких-либо слабостях, недостатках своих кумиров, для них их изучаемый — совершенство.

— В Германии Энвэ после ареста сына стал ходить в церковь, чтить святых. Считал святых связующим мостом между богом и людьми. Молился о спасении сына.

— Как жили в Бухе? Что за быт был?

— Жизнь у Тимофеевых продолжалась, видимо, с довоенных времен самая что ни на есть простая. Мебель в квартире — с бору по сосенке. На стене несколько картин — подарки Олега Цингера. В столовой большой стол, за которым каждый вечер усаживались гости попить чайку. К русскому обычаю приучили немцев

и прочих. После чая сидели в кабинете у самого. Там были диван, письменный стол, книги — научных немного, больше стихов. На ковре вытоптана дорожка, по ней носился весь вечер взад-вперед хозяин.

Об этой вытоптанной дорожке вспоминали многие. О каких-либо достопримечательностях интерьера не вспоминает никто. Зато всем немецким друзьям и ученикам врезались в память порядки лабораторной работы. Какие такие порядки — никто назвать не мог, но порядок был. Соблюдали его две ассистентки, преданные Зубру. И еще — была самостоятельность научных сотрудников. Весь стиль руководства Зубра состоял в «ферментивном» действии на сотрудников (выражение И. С. Гребенщикова). С административными обязанностями Зубр справлялся просто. Два раза в месяц приходил бухгалтер выдавать деньги. Генетический отдел помещался в отдельном флигеле, был автономен, никакой бюрократии не водилось.

— Если мне надо было какую-нибудь научную книгу или особый пинцет, я ехал в город, покупал и подписанный Энвэ счет передавал бухгалтеру.

С техническим персоналом Зубр вел себя аристократически учтиво. В самых тяжелых случаях, когда его просили сделать какой-нибудь нерадивой девице строгий выговор, Зубр соглашался неохотно, долго собирался с духом. Зато в научных спорах он бывал резок, груб и не стеснялся.

В той, гитлеровской Германии, бюрократической, чиновной, затянутой в мундир, его свобода выделялась ярко. Пытаясь втиснуть его поведение в какую-то рубрику, немцы не нашли ничего лучше, как именовать его *Narren-Freiheit*, что означает как бы право шута говорить то, что нельзя другим. А возможно, этим колпаком с бубенчиками они защищали его.

Перед отъездом Гребенщиков заставил осмотреть его коллекцию жуков. Открывал коробку за коробкой: крохотные жучки, ювелирно выделанные, и огромные, с ладонь, красавцы, словно выкованные или отлитые из металла, рогатые, бархатно-коричневые, вороненые, рубиновые, черно-маслянистые. Цвета чище, теплее, чем у драгоценных камней. К цвету еще и разнообразие поверхностей. Убеждаешься, что живому существу природа дарит лучшие краски и фантазию. В одном только этом виде сколько выдумки. Недаром в Древнем Египте

жуки-скараabei почитались священными, их вкладывали вместо сердца в мумии.

На улице, прощаясь, я спросил, почему поначалу Гребенщиков отказывал мне во встрече. Со всей деликатностью, со множеством оговорок он пояснил, что не представлял, для чего мне нужны сведения о Зубре, то есть он понимал, что раз я писатель, то собираю материал — но какого рода материал? Он читал мою повесть о Любичеве, и все же у него были опасения, отчасти извинительные, поскольку о Зубре ходят всякие домыслы, что, может быть, я собирался писать о нем плохое...

Наконец-то всплыла причина. Я рассмеялся. Мы так обрадовались, что крепко обнялись на прощание. Машина тронулась. Улыбка еще держалась на моем лице, но я понимал, что все обстоит не так уж хорошо, если опасения эти дошли и сюда, в дальний немецкий институт, и если из-за этого могут избегать встречи со мной.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Имя Сергея Николаевича Варшавского в наших розысках всплывало несколько раз, найти его было не просто, еще труднее было добиться от него ответа.

Выяснилось, что жил он в Саратове, работал там по своей специальности зоолога в институте. Несмотря на энергичную помощь Коли Воронцова, Сергей Николаевич долго отмалчивался. Видимо, по тем же соображениям, что и Гребенщиков. Наконец я уговорил его написать мне хотя бы вкратце о том, как он попал в Бух. Вот его воспоминания:

«Встреча с Николаем Владимировичем произошла в конце 1944 года, после того как мы, моя жена Клавдия Тихоновна, Иван Иванович Лукьянченко и я, пережив очередную бомбежку, бежали с фабрики. Работали мы там в качестве оstarбайтеров, после того как нас вывезли из Ростова-на-Дону в Германию.

На фабрике уже давно ходили слухи о том, что в одном из пригородов Берлина, в Бухе, живет русский профессор, который помогает советским и другим иностранным рабочим, вывезенным насильственно в Германию».

Строки эти были для меня чрезвычайно важны. В 1942 году Гребенщикову тоже посоветовали обратиться к некоему русскому профессору, который помо-

гает иностранным людям. Следовательно, и в 1942, и в 1944 годах в Берлине циркулировала устойчивая молва о русском профессоре-вызволителе. Потом Гребенщиков в одном из писем ко мне уточнил, как это произошло. Оказалось, что он прослышал о Тимофееве на толчке, который крутился на Александерплац. Там был своеобразный рынок новостей, сведений, и среди прочих слух шел и о русском ученом.

«Бежав с фабрики, — продолжал Сергей Николаевич Варшавский, — мы решили попытаться найти этого профессора и тоже просить о помощи, у нас не было никакого иного выхода. Берлин в это время подвергался систематическим, почти ежедневным страшным налетам англо-американской авиации, не только по ночам (как это было в 1943 году), но и днем... Пройдя несколько километров по разрушенному и пылающему городу, мы попали в Бух. Этот поселок-пригород поразил нас своей целостью, союзники его почему-то не трогали.

Институт, где, нам сказали, размещалась лаборатория профессора, занимал многоэтажное здание в большом парке. Иван Иванович и я остались ждать в парке, а Клавдия Тихоновна отправилась искать Николая Владимировича, чтобы узнать о возможности устройства нашей судьбы. Через некоторое время Клавдия Тихоновна вернулась и радостно сообщила, что Тимофеев ждет нас всех.

После встречи и знакомства Тимофеев сказал, что знает нас по научным работам и постарается нас устроить. Походив немного по своему кабинету, небольшой рабочей комнате, кажется, угловой, НВ предложил мне подумать о возможности работать у него в питомнике экспериментальных животных, сказав, что, к большому сожалению, другой должности в лаборатории у него пока нет. Я, не раздумывая, конечно, согласился. Потом НВ просил Клавдию Тихоновну извинить его за то, что из-за отсутствия мест он не может принять и ее, но обещал достать продовольственную карточку ей как члену семьи. Тут же написал записку своему знакомому, старому русскому врачу А. И. Соколову, с просьбой устроить И. И. Лукьянченко на работу в соседнюю больницу тут же, в Бухе. Мне НВ сразу выдал справку о том, что я являюсь сотрудником его лаборатории, продиктовал текст девушке, сидевшей за машинкой в соседней ком-

нате. Справка была оформлена в течение нескольких минут.

Наша судьба была решена. Мы не знали, как благодарить НВ. Он же, быстро ходя по комнате и улыбнувшись, сказал, что ничего особенного не сделал и что это его долг — помочь в страшное время. Насколько мы узнали потом, НВ так спас (во вполне конкретном смысле) несколько десятков (и наверняка более) иностранцев, прежде всего советских, русских.

Впечатление от знакомства и общения с НВ было самое поразительное. Никак не укладывалось в голове, что в самом центре Германии, в столице смертельного врага, может жить и активно действовать, рискуя все время жизнью, человек, который не только был русским патриотом, но и открыто этим гордился. Стены кабинета НВ были увешаны портретами русских ученых — естествоиспытателей и биологов от М. В. Ломоносова до Н. А. Северцова, М. А. Мензбира, Н. К. Кольцова, С. С. Четверикова и С. И. Огнева».

«Мой иконостас» — так это называл Зубр.

Действительно, как это могло быть? И ведь это не в 1944 году началось и даже не в 1943-м, и происходило на глазах у всех. Не мудрено, что в местное гестапо шли доносы. Как же это могло происходить и продолжаться?

С этим вопросом я, будучи в Берлине, обратился к Роберту Ромпе, известному немецкому физику, связанному в те годы по работе с Кайзер-Вильгельм-Институтом, в который входила лаборатория Зубра, и жившему одно время в Бухе. С Николаем Владимировичем у них сделано было несколько совместных исследований.

Это так говорится — обратился. Встречи с Р. Ромпе я добивался неделю. С ним повторилась та же история, что с Гребенщиковым. Они все опасались, что их свидетельства используют против Зубра, что они могут чем-то повредить его памяти.

Я встретился с Ромпе в его Институте электронной физики. Он мне сказал:

— Тима не трогали потому, что слава его к тому времени была настолько велика, что это было просто невозможно. Так же, как не трогали Макса Планка и Макса фон Лауэ, великих немецких физиков, известных своими антифашистскими взглядами. Тим имел уже Кистяковскую медаль и считался самым известным генетиком. Добавьте сюда и то, что авторитет Кайзер-

Вильгельм-Института стоял так высоко, что покушаться на него возбранялось.

Затем Ромпе вспомнил, как Тим поил водкой нужных людей, когда надо было, чтобы на еврея изготовили справку о полуеврейском происхождении, потому что полуевреям уже разрешалось работать на некоторых должностях.

Ромпе хорошо говорил по-русски. Он был из петербургских немцев. Ему ко времени нашей встречи было около восьмидесяти лет. Он руководил институтом и, судя по всему, работал много. Мы сидели с ним в его директорском кабинете. Ромпе был тоненький, хрупкий, смуглый, напоминал засушенный цветок.

Судя по кое-каким фактам и по некоторым замечаниям, оброненным в свое время Зубром, Роберт Ромпе был связан с антифашистским подпольем. Во время войны он возглавлял лабораторию фирмы ОСРАМ, известной своими лампами накаливания. Занимался он физикой плазмы, физикой твердого тела... По-видимому, в те годы он много пережил. Жаль, что я не сумел упросить его рассказать о собственной его подпольной деятельности. Знаю лишь, что она была активной и после войны он возглавил руководство высшими школами и научными учреждениями ГДР.

— ...Организовать помощь советским военнопленным было, конечно, трудно. Они помирали с голоду... — Ромпе, вдруг что-то вспомнив, перескочил: — Тим отличался огромным мужеством... Я у него жил два месяца. Это было уже в сорок пятом году... — Он опять замолкает. Чувствуется, что сейчас он вспоминает куда больше, чем рассказывает, не в пример другим вспоминающим. Он из тех старых людей, которые не любят рассказывать лишнее, тем более о себе. Как назло, мне попался такой редкий случай.

Что означает фраза о мужестве? Я возвращаю его к ней.

— Ах, это... Ну вот, например: один человек прибежал к Тиму зимой сорок пятого из тюрьмы, она сгорела под Дрезденом. Был он явно не арийского происхождения. Тим его спрятал. Не побоялся.

Похоже, что Зубр и впрямь никого не боялся, ни наших, ни ихних. Ни до, ни после победы. Но прежде мне необходимо закончить с перечнем спасенных им людей.

После всех расспросов, собранных документов, свидетельств удалось установить, что среди спасенных бы-

ли французы братья Пьер и Шарль Перу, Шарль был офицером французской армии, блестящий физик. Были грек Канелис, китаец Ма Сун-юн, голландец Бауман, затем были русские супруги Паншины, Александр Сергеевич Кач, полунемец-полурусский, жена его была еврейка, вот ее особенно трудно было спасти. А. С. Кач впоследствии стал директором института в Карлсруэ. Был француз Машен — слесарь-механик, еще один француз, рабочий, фамилии его узнать не удалось. Были полунемцы-полуевреи Петер Вельт и лаборантка Хегнер. Выяснилась фамилия того человека, который бежал из дрезденской тюрьмы, — Лютц Розенкеттер. Это не считая тех, о ком я рассказывал раньше. Кроме того, в лаборатории, естественно, продолжал работать прежний штат немцев, научных сотрудников, лаборантов, среди которых неизменные физик Карл Гюнтер Циммер и физико-химик Борн.

Поскольку штаты лаборатории были заполнены, больше брать людей было нельзя, Зубр договорился об организации в других институтах как бы дочерних лабораторий. Так, в концерн «Ауэргезельшафт» он отправил Игоря Борисовича Паншина.

«НВ отправил меня к Рилью с официальной анкетой по оформлению на работу. Риль принял меня в своем большом и мрачном кабинете в одном из корпусов исследовательского центра Ауэр. Был сдержан и официален, разговор был краток — о том, что нам с НВ следует организовать тут, у него, лабораторию. Вероятно, эта первоначальная идея имела какой-то *не научно-производственный смысл* (курсив мой. — Д. Г.), обдуманый НВ с Рилем, так как потом вскоре она была отменена, и мое и Сашки (жена Паншина Александра Николаевна. — Д. Г.) рабочее место было рядом с кабинетом НВ, в большой комнате, где было и рабочее место НВ и Елены Александровны».

Это из письма Игоря Борисовича Паншина. Он предельно обстоятельно, с добросовестностью влюбленного в Зубра человека написал мне из Норильска несколько больших писем. События тех лет он восстанавливает с подробностями и со своими догадками.

«В первый месяц моего пребывания в Берлине НВ решил устроить некоторую проверочную акцию...»

Возможно, что Зубр сомневался в Паншине, на то были основания, но возможно и другое: хотел доказать

окружающим, что взятый им из военнопленных человек действительно специалист, а не самозванец.

«...Он предложил мне сделать доклад о моих уже опубликованных работах в присутствии сотрудников института. Народу было мало, но были какие-то незнакомые лица (фюрер местной организации Гирнт и другие). Докладывал я по-немецки, помогло прошлое чтение работ НВ на немецком языке. Я сказал о том, какую работу хотел бы поставить в лаборатории. Доклад прошел успешно. Мои планы были одобрены. НВ и Циммер многозначительно кивали: «Да, это сейчас очень важно», хотя обоим было ясно, что важно это сейчас только для ученых».

«...У меня с Ромпе началось научное сотрудничество по применению разработанного мной метода микрофотографии в длинноволновом ультрафиолете. Ртутно-кварцевые лампы, необходимые для этого метода, разрабатывались на заводе ОСРАМ. Ромпе пригласил меня на свой доклад по этим лампам, показал завод (кстати, Ромпе потом способствовал спасению этого завода)».

Риль, о котором шла речь, — один из русских немцев, звали его Николай Васильевич, — замечательный немецкий физик, в те годы занимался технологией урана. Один из близких Тиму людей... Риль еще появится в нашем рассказе.

Паншин же Игорь Борисович — сын известного селекционера и биолога, арестованного в 1940 году. В детстве помогал отцу в работах, пятнадцатилетним мальчиком, выловив в Днепре рыбку нового вида, написал о ней серьезную статью и привлек к себе внимание специалистов-зоологов. После Ленинградского университета стал работать в кольцовском институте. Там все внимательнее следили за успехами Зубра, знали через Кольцова о самых последних его работах — как-никак, Зубр был их представителем в Европе. Впрочем, Игорь Паншин знал о Тимофееве еще раньше, когда студентом работал у Николая Ивановича Вавилова в лаборатории генетики. Он ставил опыты по радиационной генетике и, естественно, прежде всего изучал работы Зубра, тогда ведущего специалиста, лидера в этой области. Было это в 1933—1934 годах, когда в Ленинград по приглашению Н. И. Вавилова приехал Герман Мёллер.

— Для нас он был светило. И вот этот Мёллер заинтересовался моими работами, предложил мне их опубликовать. Я написал статью, и там были, конечно, ссылки на Николая Владимировича. Но что нас всех поразило тогда — с каким восхищением Мёллер отзывался о Тимофееве. Он работал с ним в Бухе...

И далее Паншин вспомнил еще одну встречу с Зубром, пусть заочную, но чрезвычайно важную для меня.

Это было летом 1938 года в Институте генетики.

— Я был в оранжерее у Дончо Костова и встретил там Николая Ивановича Вавилова. Он сказал: «Вот скоро поедem на конгресс генетиков, там и решим вопрос о переезде Тимофеева-Ресовского». Но сказано это было как-то без обычного вавиловского оптимизма. Мёллера уже в Москве не было, вавиловский институт в области теоретических направлений был обезглавлен, у всех у нас настроение было подавленное...

Что означала эта фраза Вавилова? Очевидно, узнав о конфликте Зубра в советском посольстве, он надеялся уладить это дело на международном конгрессе. Вот-вот в Москве должен был собраться VII Международный генетический конгресс. Совнарком уже два года назад утвердил советский оргкомитет, который выработал программу конгресса и состав. Тысяча семьсот генетиков мира сообщили о своем согласии участвовать. Вавилов и его сторонники возлагали большие надежды на конгресс. Крупнейшие ученые мира должны были подтвердить их правоту в борьбе со лженаукой, со средневековыми воззрениями вроде того, что новые сорта можно выводить, воспитывая злаки, и тому подобное.

Вавилов ждал, что Тимофеев приедет на конгресс или, во всяком случае, когда на конгрессе будет восстановлена подлинная наука, Тимофеев сможет без всякого риска вернуться домой.

Осенью 1937 года вышло решение отложить конгресс на год, затем новый президент ВАСХНИЛ Т. Д. Лысенко стал делать все, чтобы конгресс в СССР не проводился. Международному оргкомитету пришлось перенести конгресс в Эдинбург на сентябрь 1939 года.

Зубр вместе с Мёллером, Харландом, Добржанским и другими предложили избрать Н. И. Вавилова президентом конгресса. Ученые других стран горячо поддерживали. Зубр ждал его приезда, надеясь, что Вавилов

найдет для него выход, подскажет, поможет вернуться в Москву. Казалось, Вавилов может все. Зубр держался за свою надежду до последнего часа, до той минуты на открытии конгресса, когда было объявлено, что Вавилов не приедет. Не пустили.

Так они ждали друг друга и не дождались, остались по обе стороны закрытой для них двери.

Иллюзии рухнули. Отныне Зубр мог надеяться только на себя.

Паншин живет в Норильске. Он давно уже оставил биологию. Но это другая история. Когда я его отыскал и списался, то стал аккуратно получать от него одно послание за другим, подробные воспоминания о Тимофеевых, десятки страниц, заполненных мелким почерком. Затем прибыл он сам, прилетел из Норильска, и несколько вечеров я слушал его рассказы. Несмотря на возраст, он был крепок, увлекался горнолыжным спортом, профессионально занимался фотографией. Личная его судьба непроста. Он прошел и войну, и плен, в плену работал в танковой дивизии переводчиком... Сложны были его приключения, неожиданны повороты судьбы, интересна история любви, женитьбы. Но приходилось ограничивать себя и его. Я твердо останавливал Паншина, не позволял уклоняться, возвращал в Берлин, в Бух, в лабораторию. Я выступал делягой, лишенным нормального человеческого сочувствия, — вот кем я был. И так каждый раз. Бессердечность, безучастие — как странно уживается это с литературной работой.

— ...Следующую информацию об Энвэ, — продолжал свои рассказы Паншин, — я получил весной сорок второго года, в плену. Случайно я разговорился с унтер-офицером Ракелем, мюнхенским архитектором и тренером горнолыжников. Он сказал мне, что проектировал и строил виллу для известного немецкого генетика Веттштейна. Тогда я спросил, не слышал ли он фамилию Тимофеев-Ресовский. Он слышал и был уверен, что Тимофеев жив и работает в Берлине.

Вскоре Паншин стал искать возможность пробраться к Тимофееву. Для этого понадобилось немало времени. Но к тому моменту в жизни Зубра произошли события чрезвычайные, страшные, вновь перевернувшие его жизнь.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Все годы после войны о судьбе старшего сына в доме Тимофеевых не принято было заговаривать, чтобы не тревожить рану. Всем было известно, что Фома погиб в гестапо.

Фома родился в 1923 году, его увезли в Германию двухлетним мальчиком, и лишь те, кто бывал в Бухе, знали его. Таких людей осталось немного. Для них Фома был фигурой почти легендарной.

Елена Александровна до последнего своего дня жила с тайной безумной надеждой на чудо, на то, что Фома жив. Между собой она и Зубр избегали говорить об этом. Мне кажется, что в глубине души каждый из них считал себя виновным в гибели Фомы. По крайней мере, у Зубра я ощущал это грызущее, ноющее чувство.

В те времена я не собирался писать о Зубре, никакого такого замысла у меня не было. Как и другие, я просто подставлял микрофон, чтобы сохранить в памяти его рассказы про запас, который лучше богатства. Однажды он рассказывал про немцев в войну:

— ...Росло ощущение, что Гитлер проигрывает. Все говорили, что немцы, наверное, как и в первую мировую войну, выложив все свои фактические преимущества, повторяют и все стратегические ошибки, свою безграмотность, проявленную тогда. Они живут не по английской поговорке. Англичане позволяют себе проигрывать все сражения, кроме последнего, — последнее надо выиграть. А немцы выигрывают все свои сражения, кроме последнего, а вместе с ним проигрывают и войну.

Мы посмеялись, и тут я, вдруг забыв про табу, спросил, как все произошло с Фомой.

Зубр помрачнел, сказал зло:

— Зачем это?.. Фома — это индульгенция. Хотите украсить меня? Писателю нужен, конечно, сюжетец? Как же без сюжета! Венец терновый... Оправдание... Все ваши сюжеты — вранье. Жизнь бессюжетна...

Я забыл выключить запись, и у меня сохранилась его ругательная речь, где он, распалясь, трепал и топтал меня, и мои книги, и все, что я собирался писать и способен написать. В гневе он несправедлив, остановить его нечем. До сих пор я не могу прослушать до конца эту рычащую, клокочущую запись, полную запрещенных ударов, обидных сравнений.

А потом на следующий день он позвонил, пригласил приехать и, ничего не объясняя, не извиняясь за вчерашнее, наклонясь к микрофону, сухо и кратко изложил историю с Фомой:

— Сын мой был арестован. Он попал в Маутхаузен и там погиб. Да, погиб!.. Он жил с нами, но болтался в русских компаниях в Берлине. Они проделали довольно большую работу: спасали восточных рабочих, пытались подкармливать военнопленных в лагерях, помогали оттуда удирать тем, кто еще мог двигаться, снабжали документом остарбайтеров, потом военнопленные давали себя поймать и попадали в лагеря восточных рабочих, в которых было на порядок терпимее... Так как мой сын хорошо знал несколько языков, то для всяких лагерей, где были также и западные и южные рабочие — югославы, французы, бельгийцы, голландцы, — были северные рабочие — датчане, были чехи, для них на машинках перепечатывали, фотографировали сводки английские и советские. Было несколько таких подпольных групп, в основном русских, из эмиграции. Остальные были немцы, сыновья крупных чиновников. А сел Фома потому, что нашелся провокатор в их группе. Тогда арестовали около полусотни молодых людей. Это было в сорок третьем году. Фома был студентом-биологом. Фамилию носил Тимофеев-Ресовский. Двойная фамилия на нем и кончилась, потому что младший сын, Андрей, просто Тимофеев.

Вот все, что было в том единственном его рассказе про Фому.

Начав писать о Зубре, я стал собирать и то, что известно о Фоме. В семье Ляпуновых хранились фотокопии писем Фомы из лагеря, писем о нем. Затем я спросил Роберта Ромпе, запросил Олега Цингера, узнал, что мог, у младшего брата Андрея. Я расспрашивал и запрашивал всех, кто мог знать про эту историю. Постепенно выяснилось следующее.

Фома действительно входил в какую-то организацию. Туда входили кроме детей русских эмигрантов дети крупных немецких врачей, в том числе почему-то врачей из Гамбурга. Вообще это была, судя по некоторым данным, молодежная группа. Были там также дети известных людей и даже государственных деятелей. Роберт Ромпе упомянул сына К. Каутского. Что они делали? Кроме того, о чем говорил Зубр, они добывали лекарства, лечили военнопленных, среди которых сви-

репствовала цинга, дистрофия, помогали скрываться беглецам. Фома, как известно, укрывал двух французских летчиков.

Отца и мать Фома не посвящал в свою деятельность. Оберегал их. Особенно не хотел вмешивать в такие дела отца — слишком он несдержанный человек и открытый. Это понимали все, кто хоть немного знал Зубра. На допросах Фома, видимо, убедил гестапо в том, что родители ничего не знали. Зубра не вызывали к следователю, не предъявляли претензий. Между тем он давно догадывался о некоторых связях Фомы, о подполье — иногда Фома пропадал на несколько дней, появлялись какие-то люди, ночевали, исчезали.

Все, что делал Фома, выросло из убеждений, взглядов отца, отцовского примера. Тем не менее сам Зубр твердил, что Фома не должен заниматься нелегальщиной, тайными организациями — это не для ученого. Давняя история с Кольцовым и Мензбиром вошла ему в плоть и кровь. Фома, считал он, должен был стать хорошим ученым, для этого он имел все данные.

Арестовали Фому 30 июня 1943 года, отвезли в берлинскую тюрьму.

Начались хлопоты. Гейзенберг, Вайцзеккер и другие немецкие ученые обращались к влиятельным чиновникам, просили, ручались... Добились того, что Тимофеевых согласились принять на каком-то высоком уровне. Зубр упирался. Елена Александровна заставила его поехать. Она умела избавлять его от тяжелых решений, взваливая их на себя. Понимала, что его этим не обманешь, но так ему становилось легче. Лелька была единственным человеком, перед которым он позволял себе падать духом, быть слабым, жалким, безвольным. После ареста сына никто не ожидал от этой хрупкой женщины такой энергии и стойкости. Она не останавливалась ни перед чем. Никакие предостережения, угрозы на нее не действовали. Во время визита им удалось вымолить обещание сохранить Фоме жизнь.

Но вскоре высокое лицо, у которого они были, отказалось помогать: раскрылось слишком много фактов. В группе Фома играл, очевидно, значительную роль. Все же какие-то неопределенные обещания удалось вырвать. Разрешили свидания, разрешили передачи. 11 ноября в Бухе они справили день рождения Фомы, ему исполнилось двадцать лет.

Сохранилась копия письма к нему от одного француза. По-видимому, писал тот самый француз, которого Фома прятал и которого арестовали вместе с ним. Возможно, это был французский летчик. Его потом обменяли. О том, что это был именно он, однажды обмолвилась Елена Александровна. Для меня было важно, что это же подтвердил мне Гребенщиков:

«...Фома был арестован гестапо за то, что укрывал французских летчиков и помогал русским военнопленным в лагерях. Что там с ним происходило, мучили его, пытали — ничего не известно. Николай Владимирович был подавлен, упал духом. Все передачи делала Елена Александровна, она держалась молодцом и заставляла держаться мужа».

Письмо француза замечательно не только личностью пишущего, его горячим чувством к Фоме, но и образом самого Фомы, который возникает из проникновенных строк этого документа:

«Берлин, 17 октября 1943 г.

Мой дорогой друг Дмитрий! ¹

Я не хочу покидать Берлин, не сказав тебе прощай. Это и понятно, так как мы провели вместе долгие недели, самое грустное время нашей жизни, самое грустное потому, что нам не хватало свободы, а только свобода может сделать человека счастливым. Это судьба, что я выхожу отсюда первым, но уверяю тебя, мой дорогой, что я предпочел бы видеть тебя первым выходящим отсюда.

Прощаясь с тобой, дорогой Дмитрий, я хочу сказать, что ты в моей жизни являешься тем редким человеком, в котором чувство дружбы никогда не исчезает. Ты проявил по отношению ко мне и по отношению к другим товарищам чувство необычайной ценности, чувство великое и совершенное — чувство товарищества. Случай помог мне узнать в тебе не просто молодого человека, но человека зрелого, характер исключительный и чувства необычайно тонкие.

Дорогой Дмитрий, сохрани эти качества на всю жизнь и благодари провидение, которое дало тебе родителей, чье совершенство и вырастило те качества твоего характера, о которых я говорил. Не нужно просить тебя оставаться верным себе и дальше, человек, склад ума

¹ Напомню, что это подлинное имя Фомы. Письмо дается в переводе с французского.

и души которого сформировался, как у тебя, себе никогда не изменяет. Живи, мой друг, для будущего. Ты выйдешь однажды, война закончится, и придет новая эра. И тогда мы сможем возобновить наши контакты и даже, может быть, увидеться. С огромной радостью я приму первые известия от тебя, с огромным нетерпением буду ждать возможности увидеться с тобой в других обстоятельствах.

Всю мою жизнь я буду вспоминать грустные вечера, которые мы просиживали вдвоем на краю окна в нашей камере и, любуясь звездами, строили планы, думали о будущем, мечтали о свободе. У нас были моменты уныния, но надежда не покидала нас никогда.

Бесполезно добавлять, что наш друг Петров представляется мне тоже существом, которое я никогда не забуду. Это человек высокой доблести духа, и характер у него такой, как нужно.

Завтра я возвращаюсь в Салоники, чтобы взяться за работу. Я необыкновенно рад возможности поехать туда. Нора меня, конечно, ждет. Без специального позволения секретной полиции я не могу вернуться в Швейцарию. Это не так уж меня расстраивает, хотя моя жена и хотела бы меня видеть. Ты знаешь, что Греция стала моей второй родиной, и невозможность поехать туда была бы для меня страданием.

Прощай, мой дорогой друг! Я снова тысячу раз благодарю тебя за все. Будущее покажет тебе всю меру моей признательности. Мои наилучшие пожелания тебе в случае, если ты скоро вернешься домой, в противном случае я желаю тебе мужества, много мужества, чтобы выдержать тюремные страдания. Дружески обнимаю тебя».

Не у кого спросить, кто такой Петров, кто такая Нора. Отрывок без начала и продолжения. Как у Пушкина:

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я.
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя...

Утешения и надежда пропитаны в письме незаметной, наверное, для автора печалью. Понимал ли он меру опасности, грозящей Фоме? Или же это сегодня видим мы, знающие, что случилось потом? Так или иначе —

облик двадцатилетнего юноши приоткрылся передо мною.

В июле 1944 года произошло покушение на Гитлера, и положение всех политических заключенных резко ухудшилось. Гитлеровцы теперь расстреливали, уничтожали, не считаясь ни с какими именами. Был расстрелян сын Нобелевского лауреата, великого немецкого физика Макса Планка, замешанный в заговоре Штауффенберга. Планк ничего не смог сделать. В августе 1944 года Фому перевели в концлагерь Маутхаузен. Об этом сохранилось письмо некоего Николая, товарища Фомы по берлинской тюрьме:

«29.7.44.

Добрый день, дорогая Елена Александровна, ваш муж и сын Андрей!

Прошу извинения, что так начал, но иначе я не мог начать, потому что я с Фомой просидел вместе семь с лишним месяцев и я его считаю за своего родного брата. Он, вероятно, вам писал уже обо мне. Меня зовут Николаем. Напишу вам несколько строк о том, как Фома разлучился со мной. Это было вчера утром, в 4.30 утра. Ему сказали 27 июля, что он должен будет с транспортом в 7 часов 47 минут выехать в концлагерь Маутхаузен. И он сказал, чтобы наш общий знакомый (вы знаете, конечно, кто) передал вам записку о том, чтобы вы что-нибудь ему прислали в дорогу. Он так и сделал это с расчетом в 6 часов утра прийти сюда и передать ему все. Но ночью пришло изменение об отправлении транспорта. Вместо 7.47 он должен был отправиться в 4.50, то есть почти на три часа раньше. Он принес пакет и передал мне, но когда я понес его, чтобы передать Фоме, то мне сказали, что он уже рано утром уехал. Мне пришлось только сожалеть об этом, конечно. Причем получилось все досадно — это в последний раз. До сих пор все пакеты, которые вы оставляли в бюро, мне с тем стариком удавалось забирать, а в этот раз не удалось. И со вторым пакетом тоже получилась неудача. Но это должно было когда-нибудь быть, потому что, как говорят по-русски: не все коту масленица, должен и пост быть. Этот человек пакет оставил у меня, потому что ему Фома сказал: в случае неудачи пакет он должен оставить у меня. Но я думаю, что там есть тоже хорошие люди, через которых можно будет снова устроить тесную связь. Распрощались с ним мы чисто по-братски, то

есть пожали друг другу руки, поцеловались и пожелали взаимно как можно скорее освободиться от решеток и конвоя и продолжать так же свободно жить, как и раньше.

Я понимал его внутреннее стремление к вам, но всегда предупреждал, что, несмотря на то, что ты еще молодой, ты должен во всех неудачах учиться терпеть. Осмелюсь немного написать о себе. Я сам был офицером в русской армии, по одной случайности попал в плен, потом оттуда бежал и пробрался в Германию, где в продолжение 1¹/₂ года работал и вследствие одной глупой неосторожности попал соседом к Фоме. Сам я тоже из Москвы, с Таганской площади. О вашем муже я слышал и в Москве и в Берлине только хорошие отзывы. Хочу сообщить еще одно. Александр Романов, офицер, что был у вас дома и рассказывал о Фоме, снова арестован и сидит у нас, я его сегодня видел; затем другой, черный такой, грузин, который был у вас, тоже арестован и сидит в одиночном заключении у нас. Ну, больше не хочу отвлекать вас посторонними вещами. Что представляет из себя этот концлагерь, я вам сказать не могу, потому что сам не знаю. На этом заканчиваю свое послание по приказанию Фомы. Извините, пожалуйста, что плохо написал, это все из-за отсутствия света и стола. И еще я хотел попросить вас об одном. Если получите какую-нибудь весть от Фомы, то прошу убедительно сообщить мне, если я еще буду находиться тут, через того же человека. А от меня передайте горячий привет и наилучшие пожелания.

Остаюсь жив и здоров, чего и вам всем желаю.

Многоуважающий вас всех и Фому

Николай».

Кто этот Николай — неизвестно.

Из Маутхаузена сохранилось единственное письмо (вернее, записка) Фомы, на лагерном бланке, написанное по-немецки. Может, оно и было одно:

«Маутхаузен. 8.12.1944.

Дорогие родители и брат!

Я здоров, и все идет нормально. Ваше письмо от 6/9 я получил, и от 13/9 также, спасибо вам. Пакет я еще не получил, но зато 25/9 получил извещение на пакет, за что вас благодарю. Я думаю часто о каждом из вас и шлю вам сердечный привет от верного сына.

Дмитрий Тимофеев».

И еще две записки — скомканные клочки, переданные, очевидно, тайком, от двух русских заключенных.

«7.12.44. Добрый день. Здравствуйте. Сердечно благодарю за передачу, получил табак, хлеб, масло. Большое спасибо. Изменений в жизни пока нет, что решат господа, неизвестно. Наручники до сих пор не сняли. Передайте Фомке сердечный привет... (неразборчиво) Сергею. Остаюсь пока жив и здоров, желаю вам во всем успехов, Андрею в учебе, без трудностей ничего не дается. Сердечно благодарю за передачу, желаю успехов во всем. Пока до свидания. Пишу ночью при лунном свете после тревоги, передайте, пожалуйста, иголку.

Фоменков».

Возможно, этот человек бывал у Тимофеевых, знал об Андрее, о его школьных делах. Или же это один из тюремных друзей Фомы?

Вторая записка написана торопливо, косым почерком. Выдалась, наверно, в один и тот же день okazия передать две записки.

«6.12.44. Добрый день. Сердечно благодарю за ваши услуги, все получил — масло, хлеб, табак. Передайте Фомке привет. Остаюсь жив и здоров. Сижу все законный, изменений нет.

Александр».

На обороте:

«Писать много нельзя, время... (далее два слова неразборчиво) сердечная благодарность-всем моим знакомым. Пока.

Александр».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Выяснить, кто они, товарищи Фомы по заключению, не удалось. Записки эти лежали в семейном архиве Тимофеевых, хранящемся у Ляпуновых. Из них следует, что Тимофеевы продолжали помогать заключенным и после того, как Фому перевели в Маутхаузен, передавали продукты в тюрьму, пользуясь налаженной связью.

Выдал Фому человек, который жил у Тимофеевых в доме, и об этом Фому уведомили почти тотчас. У Фомы

оставалось еще несколько часов до ареста, он мог скрыться, мог уехать в Гамбург и оттуда пытаться бежать, переехать в Данию. Было несколько вариантов. Но он знал, что по законам гитлеровского государства будут брошены в лагерь отец с матерью. Поэтому он не пытался бежать ни тогда, ни позже.

Концлагерь Маутхаузен оставлял мало надежд.

Зубр заставлял себя идти с утра на работу, выслушивать сотрудников, отвечать, советовать. С отъездом Фогта у него работы прибавилось. Он что-то говорил, подписывал, двигался по заведенному распорядку из кабинета в лаборатории — одну, вторую, в животник, вверх, вниз, но душа его оцепенела, ум бездействовал.

Если бы он взял семью и уехал в Америку, в Италию, к черту на кулички... Если бы он согласился вернуться в Россию тогда, в 1937-м... Если бы не подавал Фоме примера, не помогал выручать людей... Если бы в гордыне своей не возомнил, что нет ничего выше науки...

Возмездие настигло его. Неумолимое возмездие.

Много путей было предотвратить арест Фомы, да что там арест, теперь речь шла о его жизни. Он чувствовал, что Фоме не выбраться, его уничтожат. Германия двигалась от поражения к поражению, гестаповцы зверели, и шансов сохранить жизнь Фомы становилось все меньше.

Он стал ездить в церковь. Дома молиться не мог. Русская православная церковь стояла нетопленная, скупо-тонкие свечки еле освещали замерзшие лики. Он опускался на колени на ледяной кафельный пол, бил поклоны. Молился истово. Он все делал истово. Молитва избавляла от чувства бессилия. Больше ничто не может помочь, только чудо. К кому еще обращаться? На что надеяться? Если бы он что-нибудь мог сделать, чем угодно выручить... Он вдруг обнаружил, как дорог ему сын. Наука, успехи, истина, открытия — все, что так занимало, что, казалось, составляло смысл жизни, — все растаяло, рассыпалось ненужной шелухой. Не остается никаких ценностей, когда дело доходит до жизни ребенка. Фома снова стал ребенком, и отец готов был отдать все, что имел, что приобрел — свои знания, труды, славу, — лишь бы вытащить его. Как он мог раньше не понимать этого, считать детей само собой разумеющимся приложением к браку? Вспоминал, как мальчиком Фома ходил во французскую гимназию, как полюбил

французский язык. Вспоминал, как последние годы придирался к Фоме: медленно соображает, нет своих мыслей, студент, а ни к чему толком еще не прилепился. Его сын должен блистать чем-то необыкновенным. Способности — это мало, талант нужен. Война? Ну и что с того? Война придет и уйдет. Кричал на него: глуп, туп, неразвит. Это про Фомку — красавца, милягу, умницу...

Туп и неразвит душевно был он сам... Сына прозевал. Нашел, когда потерял. Опоздал, всего чуть опоздал, место еще теплое. Господи, спаси Фому, помилуй меня, помилуй всех нас, сжался надо мной! Пощади его, господи, не дай погибнуть!

Он ложился отдельно от Лельки, чтобы не мучить ее своим отчаянием.

Если Фома погибнет, это будет его вина, это он не сумел его уберечь. Когда же он прозевал, в какой момент? Ведь он, Зубр, бежал от политики, как мог, уклонялся от всяких высказываний, организаций. Все равно она настигла, проклятая политика.

Олег Цингер писал мне, вспоминая Фому:

«Один раз я поехал с Фомой в город, чтобы купить ему хороший перочинный нож. Нож мы купили какой хотели, а потом пили чай в кафе. И вдруг мне Фома рассказал, что он хочет убить Гитлера, и что он состоит в заговоре с друзьями, и что он уверен, что ему это удастся! Говорил он бодро и весело. Говорил, что никогда бы это не сказал отцу, с которым вообще трудно ему разговаривать, ибо отец его только ругает... Потом Фома долго говорил о России, где, по его мнению, были самые быстрые поезда, самые хорошие дороги, самые большие тигры и орлы и самый лучший народ в мире. Я был тронут, что Фома был так искренен со мной, но мне стало одновременно печально и очень страшно... Я почувствовал, как Фома впитал в себя все то, что Колюша ему рассказывал о России, и как по-детски он все это воспринял, и как опасно то, что он задумал. Я должен был дать слово никому ничего об этом не рассказывать».

Многие обитатели Буха не могли понять, зачем этому юноше столь знаменитой фамилии, с обеспеченным будущим, зачем ему было пускаться в страшные дела. Он был предназначен для другого.

В лабораторию русского профессора все больше устремлялось беглецов, остарбайтеров, русских, нерусских. Всех их надо было пристраивать, добывать справки. Спустя два месяца после ареста Фомы Зубр посылает бумагу в лагерь Тушенвальд, чтобы разрешили использовать «известного ученого Паншина и его супругу Александру Николаевну у себя в лаборатории». И берет их к себе.

Казалось, ему самое время поостеречься. Присмиреть. Не совершать ни одного неосторожного движения. Тоненькая ниточка, которая связывала их с Фомой, в любую минуту могла оборваться. Их могли лишить права переписки, права передачи. Малейшая оплошность могла сказаться и на его судьбе. Отказывать всем: уйдите, у меня сын в опасности, вы погубите его, мы не имеем права ни на что... Так надо, так обязан он себя вести. Никто не может его упрекнуть. Он заставлял себя — и не мог заставить. Натура не позволяла, не подчинялась ему. Не мог вести себя как заложник.

Роберт Ромпе был поражен его поведением: «У этого человека совершенно отсутствовал нерв страха!»

Нерв страха у него был, как у любого человека, но было другое мощное желание, которое подавляло страх, — быть самим собой. Он не мог с этим ничего поделать, как не мог стать ниже ростом. Обязательство перед Фомой, может, и состоит в том, чтобы не убояться.

Однажды в Бух приехал бывший президент Кайзер-Вильгельм-Института великий немецкий физик Макс Планк. Они долго гуляли с Зубром по парку. Их соединило несчастье. После июльского покушения 1944 года на Гитлера схватили сына Планка Эрика и через несколько дней расстреляли. Горе согнуло Планка, на почерневшем лице сохранилась прежней лишь его застенчивая улыбка.

С этой улыбкой он вспоминал свое давнее посещение Гитлера. Он надеялся убедить фюрера изменить отношение к ученым. Сделать, например, исключение для химика Фрица Габера, которому Германия обязана многим. Фюрер стал орать на Планка, тряс кулаками. Развеялась прежняя иллюзия о том, что фюрер ничего не знает, что во всем виновато его окружение. Они все составляли одну шайку, одну банду, захватившую Германию.

Последнее время Планк много раздумывал над могуществом веры. Есть ли связь у науки с религией? Не усиливается ли по мере развития науки чувство непонимания основ? Наука все больше утверждений принимает на веру. И здесь возможно соединение. Они не спорили, они размышляли над тем, что индивидуальное сознание человека находится за пределами науки. А душа? Существует ли она? С годами человек убеждается в этом, верит, что наделен ею. Как она появляется, как быть с эволюцией души? Существует ли вообще механизм, обеспечивающий направленный эволюционный процесс?

— Конечно, эту штуку — жизнь — начал господь бог, — с усмешкой сказал Зубр, — но потом он занялся другими делами и все пустил на самотек.

Планка мучили мысли о будущем Германии. В ее поражении сомнений не оставалось. Что же будет потом? Единственное, что он хотел, — как-то спасти немецкую науку от полного уничтожения. Без нее немецкому народу не скоро удастся духовно очиститься и возродиться. Ему не хотелось говорить об этом с немцами.

Война все дальше разводила людей, обрывала связи, заостряла разногласия. Зубр подолгу молчал, молчание никто не решался нарушить. Похоже было, что он потерял цель, не знал, что говорить людям, чем соединить их. Совершал глупости, дурью маялся. Однажды возвращались они из гостей ночью. Зубр был выпивши и, выйдя на Фридрихштрассе, запел во весь свой голосище про атамана Кудеяра и двенадцать разбойников. Потом про ямщика. В разгар войны среди ночного спящего Берлина орал русские песни. Сошло с рук, как многое другое такое же бесшабашно-отчаянное.

За большим тимофеевским столом теперь предавались воспоминаниям. Общим оставалось прошлое, которое вдруг отдалилось в давность. Уютное прошлое, которое вызывало сладостную печаль. Зубр иногда присоединялся ко всем, вспоминал, как они с Лелькой ездили в Америку. Как на обратном пути Королевское общество в Лондоне устроило обед в его честь — что делается редко — и там за обедом он захватил себе всю тарелку икры, по которой соскучился.

Олег Цингер вспоминал, как Зубр примчался к ним, узнав о смерти Олегова отца А. В. Цингера. Последней волей отца было, чтобы тело его отдали в Московский университет. Мать Олега пришла в ужас, и Олег не знал, что делать. «Колюша чрезвычайно нежно и тактично убедил меня, чтобы хоронить папу по-христиански и что его последняя воля является последней данью науке, но теперь надо думать об оставшихся, то есть о маме».

Норму продуктов в Бухе урезали до голодного минимума. С. Н. Варшавский рассказал, что им с женой продовольственной карточки и иждивенческой в придачу стало совсем не хватать. То же испытывали и Иван Иванович Лукьянченко, и даже терпеливый ко всему китаец-генетик Ма Сун-юн.

Отдельные части немецкой машины продолжали действовать с нерассуждающей пунктуальностью — подопытным животным аккуратно привозили бумажные мешки с кормом по прежней норме. В мешках лежали тщательно обернутые большие галеты. С благословения шефа часть галет изымали себе сотрудники. Добросовестно делили. Варшавский вспомнил, как ему выдавали две порции — на него и жену, которая в штате не числилась. Иногда добавляла еще Елена Александровна из своих кровных.

Елена Александровна спасала в это время одну лаборантку, ее сумели сделать еврейкой на одну восьмую. Пристроили лаборанткой одну француженку Шу-Шу (помнят только ее прозвище). Откуда-то Елена Александровна продолжала доставать документы о расовой полноценности.

Порой привычка возвращала Зубра в прежнее деятельное состояние.

— ...Мне Николай Владимирович велел знакомиться с литературой по генетике, — рассказывал Варшавский. — После освобождения от фашистов он собирался развивать популяционную генетику. Я ему, очевидно, подходил как биолог, занятый экологией популяции. Меня удивлял оптимизм Тимофеева: в любую минуту Бух мог превратиться в руины, а он обдумывал планы наших научных работ.

К весне выдачу продуктов по карточкам вовсе прекратили, рекомендовали собирать траву, грибы, улиток, кофе варить из желудей, хлеб печь из рапса.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Зубр поднялся на седьмой этаж, оттуда по черной лестнице вылез на заледенелую крышу института. Сверху был виден Берлин. Знакомый профиль города изменился от бомбежек. Пожары раскинулись по всему горизонту. Черные столбы дыма поднимались до самых облаков. Зубр смотрел на восток, откуда шел непривычный, на одной ноте звук, не похожий ни на гул самолетов, ни на канонаду. В глубине пространства что-то жужжало. Тяжелый, низкий гул стлался понизу. Вместе с ним доходила еле ощутимая дрожь, еще не знакомая этой земле. Новый звук войны рождался где-то на Одере. Зубр крутил бинокль, тщетно пытаясь что-то высмотреть. Еще несколько сотрудников поднялись на крышу. Прислушивались, боялись высказать догадку. Ждали, что скажет он.

Буховские специалисты поспешно эвакуировались на запад. Уехали физики. Уехали Гейзенберг, Вайцзеккер. Уехали медики. Сотрудники других институтов куда-то исчезали.

Три месяца назад, в ноябре 1944 года, Зубра командировали в Геттинген договориться с тамошним университетом, подготовить переезд лаборатории. Вскоре из Геттингена сообщили, что все готово, их ждут. Надо было собираться, однако Зубр заявил, что сперва придется демонтировать главную ценность — нейтронный генератор, люди всегда успеют уехать. Для демонтажа не было специалистов. Мог бы, конечно, помочь Риль, его завод находился рядом, в Ораниенбурге, но Риль ссылался на другие более срочные работы. Когда он приехал в Бух, они уединились с Зубром, о чем-то беседовали. Местный лейтер Гирнт нервничал, торопил: нельзя более откладывать отъезд. Бух пустел. Еще недавно их соседи в Институте мозга щеголяли в своих летных формах, перетянутых ремнями, — они выполняли исследования для авиации; теперь в коридорах безлюдно, двери опечатаны. Зубр внимательно выслушивал Гирнта, отвергающе мотал головой — разве можно так паниковать? Надо подавать пример спокойствия. В газетах, по радио твердят о неприступных укреплениях на Одере. В Берлине расклеивают плакаты: «Большевизм стоит перед решающим поражением в своей жизни!», «Кто верит фюреру, тот верит в победу!»

Один раз американская фугаска упала в парк рядом с лабораторией. Полетели стекла. Зубр велел вставить новые.

Сейчас на крыше он молился. Густой новый звук мог означать только одно-единственное — идут танки! Советские войска прорвали укрепления на Одере, танки двинулись на Берлин. Свершилось! Дожили. Неужто это правда? Сердце его гулко застучало, обдало жаром. Идут русские, фашизму конец, проклятая эта империя рушится, наступает агония. Скорей бы! Теперь уже Гитлеру ничто не поможет, никакое тайное оружие, никакой атомной бомбы не будет. Это он знал и от Рилля, и от Ромпе. Все остальное такая же чушь, как неприступность укреплений на Одере.

Надвигалось заключительное сражение. От Зубра ждали приказа уезжать. Его сотрудники-немцы требовали уходить на запад, ехать в Геттинген, во всяком случае не оставаться здесь.

Он понимал, что судьба подводит его к перекрестку, тому самому повороту, который определит дальнейшую жизнь. Не только его собственную, но жизнь его семьи и всех, кто пойдет за ним.

Террор с каждым днем усиливался. Быстро и беспощадно работали военно-полевые суды. За пораженчество расстреливали, за недовольство расстреливали, дезертиров вешали. Действовали специально созданные отряды ваффен-СС, полицейские батальоны, остервенелые подростки из ферфюгунсгрупп, опьяненные кровью.

Восток или Запад? Уезжать или оставаться? Америка или Россия? Вопрос этот неотступно пытал людей, заставлял каждый вечер собираться у Зубра, обсуждать, гадать, ловить слухи. Страшно было оказаться между двух жерновов, погибнуть в огне надвигающегося последнего боя. Теплилась надежда на крепость дружбы союзников. Может, она сохранится? Эти фашисты хотят рассорить американцев, англичан с русскими. Им не удастся, союзники останутся друзьями, будет свободное общение с Россией, будут совместные лаборатории, научные центры...

Мечты, иллюзии — это тоже документы истории.

Как виделась Зубру эта проблема и для себя, и для других? Не знаю. Мне сильно мешало мое прошлое, моя

собственная война с фашистами. Я никак не мог представить себя в Германии, в Бухе, среди немцев, представить, что́ они там чувствовали. Я видел себя только стреляющим. Это был комплекс войны. Ничего я не мог поделаться с собой. Я не мог вообразить себя по ту сторону, это значило стать перебежчиком, мне было никак не перейти линию фронта без оружия, без задания...

Авиация перемалывала Берлин в развалины, улицы превращались в горящие тоннели, горели целые кварталы. Огонь с воем поднимал в небо пылающие смерчи. Корчились стальные балки, плавился камень, огонь бесновался, словно выжигал дотла все, бывшее здесь, — парады, пытки, страхи, надежды...

В топку войны фашизм бросил наспех собранные отряды ополчения из шестнадцатилетних школьников, пенсионеров... Женщины, волоча детей, метались со своими чемоданами, выискивая, где бы укрыться.

При этом происходило невероятное: развалины объявлялись площадками для строительства новой столицы. Над дымящимися руинами вешали лозунг: «Мы приветствуем первого строителя Германии Адольфа Гитлера!» Никто не видел в этом абсурда.

Геббельс заставлял всех работников пропаганды смотреть добытый за границей фильм про оборону Ленинграда, чтобы на примере противника они научили берлинцев стойкости и самоотверженности. Однако почему-то фашизм не порождал ни героев Сопротивления, ни героев подпольной борьбы. Ни в Восточной Пруссии, ни в Силезии не было слышно о немецких партизанах. Когда мы продвигались к Кенигсбергу, никто нас не беспокоил в тылу. Фашистские части дрались ожесточенно, в них были фанатики верности фюреру, но не было фанатиков идеи, за которую можно биться после поражения.

Берлинские друзья, знакомые Тимофеевых бежали из города в Бух. В доме Тимофеевых можно было видеть тех, кого выручали в свое время, — советского военнопленного пианиста Топилина, Олега Цингера, какого-то француза-механика, появлялся и исчезал Роберт Ромпе.

В институте наступила тишина и безлюдье. Куда-то пропал Гирнт. Никому уже не было дела до лаборатории. Сошел снег. Парк стоял пустой, почернелый, готовый к весне. Прилетели птицы.

Фюрер взывал по радио: «Я ожидаю, что даже раненые и больные будут бороться до последнего!»

Рядом с институтом на больничной ограде появилась надпись: «Лучше умереть, чем капитулировать!» И еще: «Драться до ножей!»

На следующий день черной краской наискосок было написано: «Нет!» Это «нет!» кто-то бесстрашно выводил и в Берлине на стенах министерств, на стеклах витрин, у входа в метро.

Разноязычный, разноплеменный Ноев ковчег лаборатории то делился, то соединялся. Немцы, воспитанные в беспрекословной дисциплине, хотели выполнить приказ — отбыть в Геттинген. Они боялись остаться. Повсюду твердили, что русские будут мстить, станут угонять в Сибирь. Ученый, не ученый — разбирать не станут. Тем более церемониться с генетиками, в России генетиков не жалуют.

— Зачем мы нужны в стране победившего Лысенко? — пытали они Зубра, имея в виду и его самого. — Они своих генетиков ссылают, нас тем более.

Все сходились на том, что Зубру с семьей следует уехать на Запад. И англичане, и американцы охотно примут его, слава его там велика, там полно его друзей, любой университет почтет за честь взять его. Обеспечат чем угодно. Изголодавшиеся, обносившиеся люди, они думали прежде всего о том, где сытнее, теплее. Доводы их были логичны. Логика была за то, чтобы он уехал. И чтобы они тоже двинулись на Запад.

Мимо Буха тянулись повозки беженцев. Катились высокие фуры, запряженные битюгами, попеременно с мальпостами, садовыми тачками, велосипедами. Несли детей, укутанных в газеты, в портьеры. Брела полубезумная старуха, сгибаясь под тяжестью портрета Гитлера. Пригороды Берлина бежали. Поток с каждым днем нарастал. Электричка не работала, связь с городом прервалась. Паническое желание бежать заражало самых рассудительных сотрудников. Только воля Зубра могла их удержать. Он же молчал, скрывая свое решение, и они топтались вокруг него. Формально они могли ему не подчиняться. Он ничего не приказывал, но он был вожак.

Он в самом деле не мог знать наперед, как с ним обойдутся, так что никакой уверенности у него не было. Наверняка он понимал, что безопаснее уехать в Геттинген хотя бы на время, отсидеться там, не попадаться

никому под горячую руку — ни немцам, ни русским, — потом всегда можно будет вернуться... Но он не двигался.

Иногда он все же что-то приказывал. Действия его в этот период отмечены предусмотрительностью, я бы сказал, дальновидностью; так что, как говорится, он владел ситуацией. Около института в пустом доме Паншин нашел брошенное фольксштурмовцами оружие. Вместе с Перу-старшим, офицером французской армии, они предложили всем вооружиться, чтобы в случае чего дать отпор рыскающим бандам эсэсовцев. Зубр не разрешил. С ним спорили, он накинулся на них, категорически запретил брать оружие. И, как потом оказалось, был прав.

Трудно объяснить, почему ему верили, еще труднее — почему слушались... Политически он был наивен, формально — безвластен. Может быть, потому, что он был для всех русский, советский человек? Он ведь оставался советским гражданином, советским подданным. Но, с другой стороны, все остальные — советские военнопленные, да и немцы, — говорили между собою, что ничего хорошего его не ждет после прихода русских.

Надежды сменялись отчаянием.

Линия фронта приближалась медленно, слишком медленно. Это — для Зубра. Для немцев она приближалась слишком быстро. Для Зубра все выглядело иначе, как в негативе. Слухи об армии Венка, идущей на помощь осажденному Берлину, приводили его в уныние. Для него победа шла вместе с советскими танками, она была и спасением Фомы.

Думать иначе, чем думают все, удастся не каждому, это всегда трудно, особенно же трудно было среди истеричного крика геббельсовской пропаганды, среди немцев бегущих, замороженных. Два десятилетия жизни в Германии не прошли для Зубра бесследно, в нем накопилось немецкое. И это неудивительно, удивительно другое — как мало он онемечился. Теперь немецкое в нем сочувствовало окружающим, ужасалось, отзывалось на рыдания и смерти, а русское — ликовало, радовалось возмездию.

Советские танки двигались не по бетонным автострадам, они пробивались сквозь заградогонь, засады, укрепрайоны. Они должны были форсировать реки, вы-

бывать из дотов... Но как невыносимо было ожидание! Успеют ли они освободить Маутхаузен?

Время испортилось. Нет ничего хуже застрявшего времени, когда все останавливается, часовая и минутная стрелки не крутятся, в голове проворачивается одна и та же бессмыслица. Спрятаться от этого паралича Зубр пробовал единственным способом — хватануть спирта и забыться, отключить ожидание.

Могучий организм мешал ему напиваться до бесчувствия. Выпучив красные глаза, шатался он по институту, по парку, однажды приволок за рога чью-то корову с криком: «Черт! Поймал черта!»

Появился у него собутыльник, немец, маленький горбун из соседнего института. Немец был не то стеклодув, не то монтажник. Он с пьяной бесцеремонностью доказывал, что, когда русские придут, Зубра повесят.

— А тебя? — спрашивал Зубр.

— У меня видишь, какие руки? — И он растопыривал свои обожженные, изувеченные работой пальцы. — Я рабочий класс. А если Гитлер удержится, все равно тебя повесят.

— За что?

— За то, что ты устроил тут убежище врагам рейха.

У горбуна под Тильзитом погиб восемнадцатилетний сын.

— А где твой Фома? — Они обнимались и плакали, потом горбун отталкивал Зубра. — У меня русские убили сына, а у тебя его забрали наци. Ты мне враг, а выходит, никакой разницы. Мы оба остались без детей.

— Фома жив! — кричал Зубр.

— Если его казнят, то русские тебя за это помилуют. Зачтут тебе. Но зачем тогда тебе спасение, профессор?

Горбун жалил его, язви. Зубр мог пришибить его одним ударом, но он становился на колени.

— Так мне и надо.

Горбун тряс его за плечи:

— Где моя идея? Ведь у меня была идея жизни — великая Германия. Я ее внушал Ральфу. Где она? Германия — одно большое дерьмо. Ральф погиб за дерьмо.

В апреле в день начала штурма Берлина горбун повесился. Накануне он принес Зубру известие о том, что команду «Мелк», в которую включен был Фома, вернули из Вены в Маутхаузен, вероятно, для уничтожения.

Впоследствии это подтвердилось. В ответ на мой запрос Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма ГДР, подняв все источники, смог сообщить следующее: «Дмитрий Тимофеев, рождения 1923 года, 11 сентября, студент, был препровожден в Маутхаузен 10.8.1944 г.; в команду «Мелк» послан 14.11.1944 г. Возвращена команда 11—19.4.1945 г.». Установить, что с Фомой стало далее, Центральный архив не мог. Известно лишь, на каких строительных объектах в Австрии использовали заключенных этой команды. Работники архива посоветовали продолжить розыски в Венском архиве документов Сопротивления. Оттуда на мой запрос ответили, что дополнительных данных у них нет, и переадресовали меня во французский архив, где хранятся документы Маутхаузена. Мне было известно, что Елена Александровна посылала и туда запросы и ничего толком не могла узнать. Где-то кто-то сказал, что Фома погиб во время восстания заключенных в Маутхаузене перед самым приходом американских войск. Слухи эти дошли до родителей позже, осенью 1945 года. А в ту весну они верили, что он жив, ежедневно ждали от него вестей. Фома должен был вернуться, и они должны были дожидаться его.

Все понимали, что Зубр остается не только из-за Буха, куда прежде всего кинется Фома. Он нашел бы их и в другом месте. Зубр не та фигура, чтобы затеряться.

Все ученые связаны между собой. Не будучи лично знакомы, они тем не менее знают друг о друге много — о характере, о семье, о пристрастиях. У них действует некое международное сообщество, братство, система оповещения и взаимовыручки. Так, оба брата Перу появились в лаборатории Зубра в результате хлопот научного издательства Пауля Розабуда. Издательство было связано с учеными разных стран. Старшего из братьев, Шарля Перу, французского офицера и физика, удалось освободить из концлагеря под предлогом перевода литературы для атомщиков. Помогли в этом немецкие физики. Когда Шарля пристроили к Зубру, приехал младший брат. Он привез от Жолио-Кюри обещание оградить Шарля от всяких обвинений в сотрудничестве с нацистами, которые после победы могли быть ему предъявлены.

Через эти тайные связи к Зубру поступило первое сообщение о том, что его ждут в Штатах и будут рады предоставить ему лабораторию в одном из университе-

тов, где работали его друзья — Дельбрюк, Гамов, Морган. Он никак не отозвался на это предложение. Тяжелый хмель не выходил из него. Р. Ромпе был единственным, кто как-то сумел завлечь в эти дни работой: они написали совместную статью «О принципе усилителя в биологии».

— Только силища его таланта могла вытащить его из трясины алкоголя, — сказал мне Ромпе.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Они были тезки и одногодки. Зубр звал его Миколой. Риль звал его Колюшей. На людях они говорили между собой по-немецки, оставаясь вдвоем — по-русски. Николаус Риль происходил из прибалтийских немцев. Начинал он работать как физик у таких великолепных ученых, как Отто Ган и Лиза Мейтнер. Высокие нравственные правила этих физиков несомненно повлияли на Н. Рилья. Придет день, когда это поможет ему совершить выбор. Но путь его был витиеватым. В первые годы фашизма Риль был вдохновлен возможностями, которые открылись перед ним, — применить свои способности физика в промышленности. Надо помнить, что изнутри для немецкого обывателя фашизм выглядел совсем иначе, чем снаружи. Все в гитлеровской Германии делалось под лозунгом: для блага народа, во имя будущего великой Германии. Это создавало иллюзии. Да, конечно, антисемитизм, национализм — плохо, но зато отчизна воспрянет!

Перед войной Риль уже заведовал центральной радиологической лабораторией фирмы «Ауэргезельшафт». Он обнаружил предприимчивость, деловую хватку и притом данные незаурядного экспериментатора. Ученый причудливо сочетался в нем с промышленником и коммерсантом. С 1939 года он способствовал Зубру в его радиологических исследованиях, помогал радиоактивными веществами. Любовь к Зубру была его тайной данью воспоминаниям детства, России и той верности чистой науке, которая быстро исчезала в Германии.

Разворачивалась война с Англией. Рилья вызвали в военное министерство, предложили заняться производством урана для уранового проекта. Скоро стало ясно, что на самом деле заказ имеет цель наладить полу-

чение урана для атомных бомб. Немцы, как известно, первые, раньше американцев, начали работы над атомной бомбой. Проблема увлекла Рилья. Для ученого всякая интересная проблема — великий соблазн, часто перевешивающий нравственные соображения. Риль работал самозабвенно. Его энергия, изобретательность позволили в короткие сроки развернуть промышленное производство металлического урана. Пришлось создавать технологию нового производства. К тому времени Риль стал главным химиком «Ауэргезельшафт».

История работ над атомной бомбой в нацистской Германии запутанна, таинственна. Несмотря на усилия историков, многое в ней остается неясным. В одном серьезном исследовании сказано: «Неудачи Германии в деле создания атомной бомбы и атомного реактора часто объясняют слабостью ее промышленности в сравнении с американской. Но, как мы теперь можем видеть, дело заключалось не в слабости немецкой промышленности. Она-то обеспечила физиков необходимым количеством металлического урана».

Действительно, семь с половиной тонн урана было произведено уже в 1942 году.

Мнения историков расходятся: одни считают, что немецких физиков преследовали неудачи, бомба не получилась из-за просчетов, досадных случайностей, другие полагают, что и Гейзенберг, и Вайцзеккер, и Дибнер незаметно саботировали атомные работы. Их неудачи — не случайность, а умысел. Они ясно понимали, что нельзя давать в руки Гитлеру столь страшное оружие. Делали вид, что занимаются изготовлением, темнили, ловко использовали льготы, избавляя от армии талантливых ученых, спасали немецкую физику. Не науку ставили на службу войне. «Война на службу немецкой науке!» — вот каков был их тайный лозунг.

В Бухе атомщики работали рядом с Зубром. Это был другой институт, но Зубр знал их, во всяком случае группу Гейзенберга. Что касается Лизы Мейтнер, то он помог ей устроиться в Англии, куда она бежала от нацистов. Известно, что он помогал и другим физикам. На мои расспросы о Гейзенберге Зубр отвечал, что вряд ли Гейзенберг и его окружение старались сделать бомбу, не похоже. Во всяком случае, поначалу они не торопились. Более определенных высказываний он избегал. Работы эти были секретными, и он мог лишь о чем-то догадываться по настроению Гейзенберга, по некоторым

его замечаниям. Но мнение Зубра существовало. Когда дело касалось чьей-то репутации, он становился осторожным.

С 1942 года Риль стал собирать все запасы тория в оккупированных европейских странах. Это был реальный капитал, ценность которого понимали только осведомленные. Постепенно в его руках сосредоточились огромные богатства — уран, торий...

Кроме группы Гейзенберга над бомбой работала вторая, не зависящая от нее группа физиков Дибнера. Работали они успешно, дух соперничества подстегивал их. Все благие намерения вскоре стали отступать перед азартом гонки: кто — кого, кто первый. Оправданием была любознательность. Чистое, казалось, бескорыстное чувство, из которого родилась наука. Опасное чувство, когда забываешь о любых запретах, лишь бы проникнуть, узнать, что там, за занавеской...

Но и Риль, и Гейзенберг, и Дибнер, и Вайцзеккер, как ни хитрили, в конце концов оказались в ловушке. Даже если поверить безоговорочно в их антифашистские настроения — все равно им не удалось удержаться. Тот, кто вступал на эту дорогу, попадался в капкан.

То одна группа, то другая получала обнадеживающие данные. Еще немного, совсем немного — и реактор заработает как следует. Бомбы тут ни при чем, уверяли они себя, реактор будет означать только атомную энергию. Точнее, возможность цепной реакции с имеющимися у них материалами. Ясно, что Германия проигрывает войну, зато реактор поможет ей выиграть мир; она опередит все страны в такой решающей области, как атомная энергия. Германия станет продавать энергию, чтобы восстановить разрушения...

Впоследствии Вернер Гейзенберг так сформулировал свое отношение к созданию бомбы: «Исследования в Германии никогда не заходили столь далеко, чтобы потребовалось принимать окончательное решение об атомной бомбе».

Не заходили потому, что наступление Советской Армии не позволило зайти.

Да и кто бы принимал окончательное решение? Вряд ли бы оно зависело от физиков.

А если бы зашли далеко? Удержались бы немецкие физики от искуса сотворить бомбу? Испытать ее?..

Что происходило дальше с немецкой бомбой? Об этом придется рассказывать, ибо она связана с судьбой Николауса Рия, которая, в свою очередь, связана с судьбой Зубра.

Итак, разгром Германии приближался, броневой вал советских танков накатывался, и обе группы физиков изо всех сил торопились изготовить практический атомный реактор. Мешали тревоги, бомбежки, эвакуация. В берлинском бункере в конце января 1945 года принялись собирать большой реактор. В эти дни из Берлина побежали те, кто мог. Нарастала паника. Персонал нервничал. Когда эксперимент, в сущности, был подготовлен, поступило распоряжение об эвакуации. Еще каких-нибудь два-три дня, и эксперимент осуществился бы. Но этих дней не было.

Счет пошел на часы. Обливаясь слезами, проклиная и Гитлера, и Советскую Армию, физики демонтировали реактор, не успев его испытать. 31 января груженные машины двинулись в Тюрингию. Из городка Штадильм пришлось переезжать дальше, в Хейгерлох. В конце февраля группа Гейзенберга обосновалась и стала собирать в пещере Хейгерлоха новый котел. Наконец в последний день февраля котел запустили. Реакция не получилась. Гейзенберг подсчитал: надо добавить тяжелой воды и урана. Эти материалы были, но доставить их из-под Берлина оказалось невозможно. Опоздали. Нарушилась телефонная связь, не хватало электроэнергии, бомбили дороги. Германия агонизировала.

Еще в сентябре 1944 года при бомбардировке Франкфурта сгорели заводы по очистке урана. Пробовали налаживать завод в Рейнсберге, но пустить не успели, подошли советские войска. Остались заводы в Ораниенбурге. Вместе с Бухом Ораниенбург должен был отойти в зону советских войск. Американцы к тому времени уже прознали об атомных работах немцев. Подробностей они не знали, знали, что немцы работают вовсю. Была создана «Миссия Алсос», проще говоря, спецгруппа для захвата материалов, документов по атомной бомбе и ученых-физиков. Американцы боялись, чтобы все это не попало русским. Генерал Гровс, руководитель американского атомного проекта, указал «Миссии Алсос» на Ораниенбург как на важнейший объект. Прикинули и решили послать туда инженерную команду демонтировать урановый завод, захватить специалистов во главе с Н. Рилем. Перед этим были захвачены про-

фессор Флейшман, специалист по разделению изотопов урана, и еще семь физиков. Таким же манером были «добыты» Отто Ган, Багге, Вайцзеккер, затем — Дибнер, Лауэ и сам Гейзенберг. Война гналась за атомщиками уже в прямом смысле. Немцы спохватились, но было поздно. История отомстила гитлеровцам за пренебрежение наукой, за презрение к высоколобым, за ненависть к интеллекту, к своей собственной культуре.

Проникнуть в Ораниенбург не удавалось. Генерал Гровс просил командование ввести туда американскую часть, но военные побоялись осложнений, которые могла вызвать незаконная акция. Тогда Гровс потребовал у генерала Маршалла, пока не поздно, разбомбить завод. Маршалл медлил, не видя военной необходимости. Гровс настаивал, угрожал и все же добился: 15 марта шестьсот бомбардировщиков — «летающих крепостей» несколькими волнами обрушились на этот город, превратив его в развалины. Уничтожено было все начисто.

Риль чудом выбрался из пылающего города и ушел в Бух к Зубру. Подлинная причина этой страшной бомбардировки была ему ясна. Американцы не могли не знать хотя бы от захваченных ученых, что ни о какой немецкой бомбе не могло быть речи. Реактор и тот не успели испытать. Следовательно, урановые заводы разрушили только затем, чтобы они не достались русским. Для этого Ораниенбург сровняли с землей. Не нам, американцам, — значит, никому! Риль негодовал, ругался. Получилось, что русские еще воюют с фашистами, а американцы, союзники, тем временем воюют с русскими. Разве союзники так поступают?! Что бы ни говорилось о политических соображениях, никакие высокие слова тут не могут служить оправданием. Уничтожить производство, в которое он, Риль, вложил столько сил, его детище, его выдумку! Постыдная акция! Он повторял слова Ратенау о том, что если средства безнравственны, то и цель безнравственна. Цель — любимое оправдание безнравственных.

Бомбардировка подтолкнула Риль. Решение, которое он принял, было не столько за Россию, сколько против Америки.

— Пока гром не грянет... — обиженно заметил Зубр. — Ну, ладно, аминь тому делу!

Приободренный Зубром Риль остался вместе с ним ждать прихода русских.

Тем временем среди развалин Ораниенбурга Риль искали эсэсовские офицеры. Они получили задание проверить, не осталось ли поблизости от фронта важных засекреченных исследовательских групп. Кого находили, тому приказывали немедленно отправляться на юг в «Альпийский редут». За неподчинение — расстрел. В «Альпийский редут» собирали конструкторов, связанных с проектом новых баллистических ракет, с производством «Фау-2», стали собирать атомщиков, узнав, что за ними охотятся американцы. «Редут» помещался на стыке границ Германии, Австрии, Швейцарии.

Буховским институтом не интересовались. Лаборатория генетики не принадлежала к важным объектам. Там возились с какими-то мушками, никаких спецзаданий она не имела. Риль мог спокойно отсиживаться здесь до прихода Советской Армии. Спокойно — так говорится. Спокойных не было. «Как меня примут русские?» — размышлял вслух Риль. «Прекрасно примут», — уверял Зубр. И насчет американцев из «Миссии Алсос» успокаивал: «Сюда они не сунутся, они нас боятся». Нас — означало русских.

Шла охота за мозгами — первая в истории охота такого рода.

Риль понимал, что, уговаривая его, Зубр ничего определенного знать не может, что уверенность его ни на чем не основана. Тем не менее она действовала. Более всего действовало то, что сам Зубр оставался, и не так, чтоб примеривал, где лучше, где выгоднее.

Ему нужно было оставить не только Риль, но прежде всего своих сотрудников-немцев, ядро лаборатории. Порожнь они не представляли той силы и ценности, как вместе. Последние дни, последние часы давала им война для выбора. Бежать или остаться? Восток или Запад? Куда податься? Циммер привык верить шефу, слишком часто тот оказывался прав. Борн нервно высмеивал его веру — чем может шеф поручиться? Где гарантии? Каторжный труд в Сибири — вот что их ждет.

Среди русских в Германии действовала специальная организация по переброске желающих на Запад. Раздувались гнетущие страхи, посулы и предложения сбивали с толку растерянных людей.

А «час ноль» приближался.

— Помните, Николаус, как вы трусили, когда мы к Нильсу Бору ехали? — Зубр начинал крупно трястись, изображая Риль.

Все смеялись, но как-то принужденно, а Циммер говорил:

— Вам-то что, вас Бор принял, вас и большевики примут, а что они сделают с нами?

Все разговоры, размышления сводились к этому подступающему «часу ноль».

Ни доводы, ни логика не действовали, требовались иные силы, чтобы удержать людей.

В эти дни появился молодой англичанин, вернее ирландец, еще вернее — ирландский австриец, который мог выдавать себя за немца, за швейцарца, а также за голландца, датчанина, тирольца и фламандца. Известно, что он был биохимиком, имел рекомендательное письмо из Кембриджа. После первого же разговора Зубру стало ясно, что этот симпатичный веселый парень в солдатских сапогах и шапочке с пером послан к нему той самой «Миссией Алсос», на сей раз с деликатной миссией. Зубр был трезв и слушал его не перебивая, свесив губу.

— На что вы надеетесь?

— На своих, на русских, — буркнул Зубр.

Парень этот взглянул на него внимательно, некоторое время продолжал про условия в американских университетах, про ставки, коттеджи, потом как бы между прочим обронил о слухах насчет Вавилова, есть сведения, что он погиб, его уничтожили.

— Николай Вавилов? Николай Иванович?

Голос у Зубра перехватило. Не может быть, невозможно! Но чутье подсказывало ему, что это правда. Вавилова нет, его не существует. Треснула подпора, оборвалась часть его собственной жизни. Он стал уже не таким живым, каким был, и эту мертвую часть, холодеющую часть души он ощущал. Там было погребено будущее, надежды, связанные с победой.

Очнулся он в парке. Крепко держа гостя под руку, он вел его к шоссе. Подумал, что гость не случайно сказал про Вавилова, что был у него расчет использовать и это: все годится, все идет в дело.

У него не было сил озлиться. Ровно и тихо выложил он, как претит ему бесцеремонность, с какой американцы торопятся запахать башковитых немцев, как грабят они интеллект этого и без того изуродованного народа. Как будто собирают трофеи после победы. Можно подумать, что это они, американцы, разбили немцев.

Биохимик несколько не обиделся.

— Любая политика — грязь, — сказал он. — Мы с вами не политики. Нам, ученым, хорошо там, где есть условия заниматься наукой. Здесь ведь вам было неплохо, не так ли?

Этот второй удар он нанес без всякой жалости, безошибочно. Зубр скривился от боли, представил себе, сколько таких ударов его ждет впереди. Бесполезно было объяснять, что здесь он был советским гражданином, а там, в США, он будет эмигрантом. Что здесь он оставался, а туда, в Штаты, он убежит...

Он выпроводил биохимика на шоссе, запретив ему говорить с кем-либо из сотрудников. Как вожак он охранял свое стадо от рыскающих хищников.

— Почему вы думаете, что вас не повесят? — спрашивали в лаборатории. — А заодно и нас?

— Да потому, что это русские, а не фашисты. Они спасли Европу, — отвечал он, понимая, что такие ответы их не удовлетворяют. Ничего, кроме ожесточенной веры, у него не было.

Он вдруг почувствовал, как сильны его корни, которые, оказывается, не засохли за все эти годы. Теперь ничего его не могло стронуть с места.

Это не был даже выбор. Под мощным прессом пропаганды человек фактически не мог устоять, его сминало, «божья глина» расплющивалась, принимала всеобщую форму. Свободы выбора не было. Непонятно, каким образом он сумел сохранить себя.

В парке находили трупы самоубийц, трупы расстрелянных. Никто не покидал Буха. Все жались к Зубру, затихшие, готовые ко всему. А жена Паншина считала в пробирках мух и пела. Советские школьные песни и пионерские песни.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В одном из писем Олег Цингер довольно красочно описал мне эти дни 1945 года:

«Я жил в Берлине, делать было нечего, еды тоже не было; и я обычно лежал на койке или слонялся по разрушенному городу. Ночи проводил где-нибудь в бомбоубежище. Сговаривался с друзьями, чтобы попасть в более надежный бункер. Питался кое-как, носил на себе сразу три рубашки, три пары носков и всегда при себе чемоданчик с самыми нужными вещами. Квартира

наша сгорела, с женой мы развелись, обитал я в ателье одного приятеля, который уехал в Австрию. Жена с сынишкой сняла комнату в Бухе, неподалеку от института Тимофеевых. Однажды весной я решил навестить жену, что я регулярно делал. На подземном вокзале я узнал, что поезда идут только до Буха, а не до конечной станции Кэро. Бросилась в глаза небывалая суeta, множество солдат, вооруженных, в касках и со связками сеток для маскировки. В поезде все говорили, что русские уже в Кэро и поезда обстреливают. На станции в Бухе я увидел дыры от обстрела с самолета. Жена была дома. Наш друг Селинов сидел у нее. По радио просили уходить в бункер. Мы втроем отправились в главный большой бункер в парке. Там мы провели две ночи, и там я открыл двери первым русским солдатам. Это были парни лет девятнадцати. Не буду описывать эти трогательные сцены. Тут было все!

Комната моей жены в Бухе была конфискована военными; мы, чтобы не остаться на улице, потащились с нашими чемоданчиками, конечно же, к Тимофеевым. Колюша и Лелька встретили нас радостно. Они успели пережить много за эти волнующие часы».

Тут я подверстаю отрывок из письма Игоря Паншина:

«Ночью все собрались в подвале дома, где живут Тимофеевы: Н. Риль, Р. Ромпе, оба Перу, Канелис, все наши, немцы — Циммеры, Эрленбахи — и другие неизвестные мне люди. Ночью тихо. Спим на полу вповалку... Утром и днем звуки боя все ближе. Из отступающих немецких частей только две батареи на конной тяге. Затем близко автоматные очереди. Редкие. Выхожу из дома. По полю идет несколько наших солдат (отделение, не больше). Беру белую тряпку, иду навстречу, кричу: «Тут русские, свои, немцев нет!» Один из солдат, наставив автомат, идет ко мне, говорит: «Знаем мы этих своих...» Подходим к дому Тимофеевых, заходим в вестибюль, тут уже многие говорят по-русски. Со стороны института входит другая часть, там есть старшие офицеры. Я впервые вижу погоны, путаюсь в знаках различия, а Николай Владимирович все знает. Начинаются объяснения — что мы за люди. Вникать в подробности нет времени, части идут штурмовать Берлин. Я было хотел пойти с ними, лейтенант спросил: «Бер-

лин хорошо знаешь? Если да — то возьмем». Берлин я знал плохо...»

Далее снова идет одно из писем Олега Цингера:

«...И вот мы оказались в опустевшем Бухе. Очень много людей покинули институт. Некоторые врачи покончили с собой, на территории институтского парка остались только кой-какие немцы, Колюша с женой, семья Царапкиных, один советский пианист, научные сотрудники и лаборанты Колюши. Как это произошло — не знаю, но мы сразу превратились в какое-то «собственное государство», и Колюша превратился в главнокомандующего. Колюша дал себе титул «директора института». Это было наивно и чревато последствиями, ибо всего института Колюша не знал, не знал, что происходило в госпиталях, да и не мог знать, он заведовал только генетическим отделом. Первая задача была оградить институт от всяких грабежей и порчи оборудования. Для этого был послан Селинов с грудой плакатов, написанных мной, чтобы он разместил эти плакаты по территории. По-русски было написано, что это научный институт, запрещается ломать, портить, брать... Первое время плакаты не помогали».

В институте хранились запасы метилового спирта. Зубр приказал уничтожить его, чтобы избежать несчастных случаев. Ночью сотрудники спустили весь спирт в канализацию.

Сумел договориться с медиками какой-то части, и к институту поставили советского часового с винтовкой. В институт перестали наведываться кто попало.

Весна 1945 года в Бухе была теплой, солнечной. Пока ни один человек из лаборатории не уехал, не ушел. Все ждали чего-то. Работать никто не мог, сидели за столами, кормили животных, переставляли приборы с места на место.

«Один раз утром приехал грузовик, — продолжает Олег Цингер, — и нас арестовали. Выбор арестованных был какой-то странный: Колюшу, меня, пианиста Топилина, советского биолога и еще двух советских зоологов. Мы, конечно, очень перепугались. Сперва мы провели ночь в каком-то бараке, потом нас повели пешком. Вел военный, все время угощал нас папиросами. Колю-

ша беспрерывно старался этому солдату внушить любовь и интерес к генетике. Военный ему только отвечал: «Да не суетись ты, профессор!» Вел солдат нас по карте, он не имел права сказать нам, куда нас ведут. Шли мы до позднего вечера и пришли туда, куда можно было прийти за полчаса. Колюшу допрашивали ежедневно. Погода была замечательная. С утра мы начинали слышать «катюшу», которая обстреливала Берлин. В наших яблонях жужжали пчелы. Матрос, который нас сторожил, угощал нас папиросами. Тут же сидел немец, хозяин дома, который все время жаловался, что у него отобрали ведро и он хочет получить его обратно. Мы старались ему объяснить, что горят города, людей убивают, а ты жалуешься на ведро. Мы над ним смеялись, совали ему деньги, которые, по нашему расчету, уже ничего не стоили. Немец аккуратно брал все эти бумажки. Впоследствии оказалось, что деньги эти еще имели большую ценность. Через одиннадцать дней нас отпустили. Мы вернулись пешком в институт. Началась какая-то фантастическая жизнь буховского института. Колюша превратился просто в диктатора и так следил за порядком, что мы все его боялись. Все получили свое назначение. Я был назван художником при институте. Мы с женой и мальчиком получили чудесную квартиру с кухней, которую покинул какой-то сбежавший немец. Гребенщиков, научный работник, получил тоже хорошую квартиру. Пленные французы получили хорошие помещения и звания: двое — научных работников, один — садовника, один — столяра, один — механика... Колюша сам продолжал свою работу, он был как-то одинок и нервен. Меня он тоже ругал, говорил мне, что я корчу из себя богатого англичанина и не чувствую самого важного! Все это было малопривно и совсем непонятно. «Буховские вечера» в их прошлой форме прекратились, но все же мы иногда собирались, как раньше, у Колюши...»

То, что было непонятно Олегу Цингеру — да и не только ему, — имело свое объяснение. В течение этих одиннадцати дней ареста шло выяснение личностей этих русских. С Цингером и другими все было просто. С Зубром было посложнее. Относительно него возникало много вопросов, выяснить их было нелегко. На его счастье, сообщение о его аресте дошло до Завенягина.

Аврамий Павлович Завенягин, легендарный директор Магнитки, строитель Норильского комбината, был к тому времени заместителем наркома внутренних дел. Он курировал некоторые вопросы советской науки. Приехал он на фронт не случайно — наши физики интересовались немецкими проектами. Один из них был связан с проблемой биологической защиты, ибо уже шли работы над атомной бомбой.

Когда Завенягин, посетив Бух, познакомился с Зубром, он безошибочно оценил значимость этого человека, ценность его работ и всего коллектива лаборатории, что досталась нам в полном составе, в целостности и сохранности. Зубр развивал перед ним идеи о том, что нужно восстанавливать советскую генетику, но Завенягин тактично сводил разговор к более насущной проблеме — атомной. Судя по дальнейшему, на Завенягина произвела впечатление натуральность этого человека без малейшей примеси каких-либо хитростей или личных соображений. Лучше других Завенягин мог понять историю с его невозвращением на родину в 1937 году. Тем более заслуживало уважения то, что он остался, ожидая прихода нашей армии, оставил Риля, своих сотрудников. Не сомневаясь, Завенягин поручил Тимофееву руководить институтом, пока не решится вопрос об их переезде в Союз. Репутация Тимофеева, очевидно, не вызвала у Завенягина никаких возражений.

Зубр был в восторге от бесед с ним. Человек этот ему чрезвычайно понравился. Это совпадает с мнением многих физиков, которые работали с Завенягиным в те трудные годы.

Зубра утвердили директором. Завенягин отбыл в Москву.

Тут уж он развернулся, наш Зубр. Установил на шоссе доску с надписью, что Институт Советско-Германский (благо никто официально не упразднял этот титул с двадцатых годов) и находится под контролем Главного советского командования. Все наши части спокойно проходили мимо. Прибыли трофейщики и стали забирать оборудование, приборы. Зубр вмешивался, указывал, с такой энергией, что поначалу его приняли за присланного откуда-то из Москвы уполномоченного. А Зубр орет на них: «Дурни вы, на кой черт вам эти приборы! Барахольщики вы, а не трофейщики! Что вы цепляетесь за микроскопы и прочую труху, старье это! Приборы мы новые сделаем, вы патенты бе-

рите, отчеты, а в первую очередь *людей*, специалистов». Верховодил он, командовал, пока кто-то не спросил: «А это кто такой?» И тут выяснилось. Озлились. Эх ты, растудыть твою, накинулись на него, еще орешь на нас! Фашистам служил! То-то ты приборы спасаешь! Так взъярились на него, что накатали, куда следует, бумагу... Так что можно считать, что Зубр сам фортуне своей ножку подставил.

«Отпраздновали мы взятие Берлина, капитуляцию Германии, смотрели из нашего парка на грандиозный фейерверк, — продолжает Олег Цингер. — Я очень любил ходить в театр, который устраивали солдаты с профессионалами для раненых. Подмости ставили между каштанами, вешали фонарики, и на сцене разыгрывалась всякая чепуха, но с большим юмором и талантом. Комические сценки вроде «Фронтowej Катюши», пляски под гармошку и даже чтение стихов. Меня это страшно привлекало, мне это напоминало *commedia dell'arte*, Петрушку, вахтанговскую «Турандот», во всяком случае в этих представлениях была чрезвычайная непосредственность. Колюша на эти представления не ходил, не ходил он смотреть и новые для нас советские фильмы... Он все время чего-то искал. Искал что-то главное, чего ему не хватало. Очевидно, спокойной научной работы».

Цингер прав, невозможность работать мучила его чрезвычайно, но мешало не только это. К тому времени случилось еще кое-что.

Прилетел из Москвы Лев Андреевич Арцимович, известный уже в то время физик. Ему представили буховских ученых, в том числе Риля и самого Зубра. Арцимович со всеми приветливо познакомился. Рилю обрадовался особо, когда же подошел к Зубру, сказал: «Да, да, слышал, но извините...» — и руку подать отказался.

Так Зубр и остался с протянутой рукой. Это была одна из самых позорных минут в его жизни. Он был публично оскорблен, обещан и не мог ничем защитить себя.

Он замер, как бык на корриде, когда шпага матадора входит в загривок между лопатками, сталь достает сердце, наступает момент истины, слепящий зазор между жизнью и смертью...

Арцимович позже вспоминал о своем поступке без раскаяния. А еще позже исполнился к нему уважением.

В тот год я тоже не подал бы руки русскому, который работал у немцев. В тот год непримиримость жгла нас. Огонь войны очистил наши души, и мы не желали никаких компромиссов. Мы ко всему подходили с фронтовой меркой: где ты был — по ту или по эту сторону черты? Боролся с гитлеровцами — свой, не боролся — враг. Мы парили над всеми сложностями жизни, свободные и счастливые победители, для которых все ясно. Мы были полны снисхождения к немцам, но нам трудно было отделить фашистов, нацистов от просто немцев. Что уж тут говорить о своих, русских, в Германии — все они были нам подозрительны.

Не подавать руки — это было нормально. Ах как недолго я был счастливым чистюлей. А потом сколько всяких рук я пожимал. Про одних — не знал, про других — не верил, про третьих — знал, да стеснялся или не хотел связываться: мне-то какое дело, не суди — да не судим будешь... Подавал руку отъявленным мерзавцам, вымогателям, ибо от них зависела премия для моих кабельщиков, без них не добыть трансформаторного масла, да мало ли всякой всячины, которая может затянуться петлей, а конец от той петли у них, голубчиков.

Немцы хорошо поняли, что произошло. Они стояли, смотрели на своего кумира, ждали, что он ответит. Он остался вдруг один, отделился от них всех, отмеченный бесчестьем. Он не имел права ответить пощечиной, он ничем не отвечал, недоуменно вглядываясь в свою жизнь.

Вот он и встретился лицом к лицу с тем, что ждет его отныне на родине.

— Ну, как теперь? — спросил его Циммер.

Еще можно передумать, уехать, чего ради сносить эти унижения — вот что стояло за вопросом Циммера. Они шли по парку.

Зубр смотрел в землю.

— А вы как думали, — сказал он, не поднимая головы, — по дешевке вывернуться?

«В это лето я очень сдружился с Гребенщиковым, — продолжал Олег Цингер. — Жена Игоря Нина была чудесная поэтесса. Игорь сам хорошо читал вслух. Селинов, очень любивший литературу и поэзию, тоже всегда проводил вечера с нами. Вечера были длинные, летние,

теплые. Елена Александровна часто примыкала к нам. Вообще мы были очень счастливы в этом «очарованном саду», как Нина Гребенщикова прозвала буховский парк. Колюша наши литературные вечера не посещал и вообще сторонился всякого развлечения, всякой веселости и все время был занят своими внутренними мыслями».

По рассказу Олега Цингера видно, что самые близкие Зубру люди не понимали, что с ним творится.

Он смотрел на их веселье издали, делал вид, что занят, притворялся умело, Лелька и та не замечала, полагая, что он что-то обдумывает. Его относил от них все дальше. Что-то изменилось — они, его сотрудники, обрели успокоение, надежды, он же терял все это. Открылась пробоина, и темное безразличие затопляло его.

Первое послевоенное лето дарило теплом щедро — и днем и ночью. Цветы цвели и пахли неистово. Появилось великое множество бабочек. Не переставая пели, верещали, чирикали, перекликались птицы. Звуки мелкие, давно не слышные наполняли сейчас пахучий травяной воздух. Цветущая земля шелестела, жужжала; над землей летающая живность стрекотала, взблескивала. Зелень, сочная, густая, наверстывала упущенное, точно торопилась прикрыть, уничтожить следы войны. И люди окунались в этот благоухающий целебный покой, который помогал забыть пережитое.

Зубр меж тем назначал, требовал, разносил... Селинова посадил за консьержа. Отделенный стеклянной стеной, он должен был проверять входящих, но проверять было некого. Перед ним стоял телефон, который не работал. Все сидели на своих местах и делали вид.

Раньше каждый знал, чем заниматься, не требовалось понукать и Зубр ни во что не вмешивался.

Все попытки узнать про Фому ни к чему не приводили; из Маутхаузена долетали слухи о восстании, в котором погибло много заключенных. Восстание произошло перед приходом американских войск. Подробностей не было, списков погибших не было, но кто-то якобы видел, как был убит Фома при перестрелке. Кто, что — выяснить не удавалось.

Николауса Рилия пригласили куда-то, и вскоре он уехал работать в Советский Союз. За ним отбыли в Союз несколько немецких сотрудников с семьями. Все произошло так, как предсказывал Зубр.

Наконец приехали за ним. Приехали поздно ночью. Через несколько дней стало известно, что он арестован и увезен в тюрьму.

Впоследствии выяснилось, что арестован он был «по линии другого ведомства», которое знать не знало о распоряжении Завенягина и планах на него. Препроводили его в Москву, там провели следствие, суд. Вменили в вину ему то, что в свое время он отказался вернуться на родину. Вот и весь разговор. Указания были строгие, время горячее, вникать в научные заслуги и прочие тонкости и нюансы не стали, следовательно все было ясно, чего мудрить. Сослали его в лагерь, куда ссылали и чистых, и нечистых — бывших полицаев, дезертиров, бандитов, власовцев, бандеровцев, мало ли их было тогда.

Когда Завенягин хватился, Зубра найти не могли; а может, и вправду затерялись документы, как объясняли потом. Во всяком случае, разыскивали его больше года и нашли лишь в начале 1947 года, доставили в Москву, а оттуда направили на Урал. И стал он там заниматься тем, о чем договаривался с Завенягиным еще в Бухе.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Озеро было синим, горы голубыми. По округлым холмам спускались темно-зеленые рати елей. Пики их блестели на солнце. Пустынные песчаные отмели тянулись вдоль берегов озера, уходя за пределы поселка. Коттеджи, здание лаборатории, склады, гаражи составляли этот малый поселок, затерянный среди уральских отрогов.

Первые недели Зубр посиживал на балконе, привыкая к покою, тишине. Передвигался, опираясь на палку. По лестнице самолично подняться не мог. На второй этаж приставленный ему в помощь лейтенант Шванев и подполковник Верещагин поднимали его под локотки.

— Ногу сам поставить мог, а подъемной силы в ней нет, ни боже мой, — вспоминал он.

Врачи определили ему месяцы для поправки; но то ли природа Южного Урала как нельзя лучше пришлась его организму, то ли собственное нетерпение, тоска по работе подгоняли — силы прибывали быстро. Голова пришла в порядок, заработала.

— А ведь насчет головы известно: чем она больше работает, тем лучше соображает.

По вечерам приходил начальник. Фамилия его была Уралец, Александр Константинович. С начальником повезло. В том смысле, что начальник был умница. Наверное, это самое полезное качество для начальника. Более всего Зубру нравилось, что Александр Константинович не стал влезать в ход работ, поправлять, указывать. Вместо этого он стал уяснять себе, что за штука такая Зубр, и, уяснив сие, доверился Зубру как специалисту.

Елизавета Николаевна Сокурова рассказывала:

— Другие администраторы напускают на себя вид понимающих, слова всякие произносят, а Александр Константинович не постеснялся признаться, что в нашем деле он ничего не понимает и полагается на Николая Владимировича. От такого признания мы его больше зауважали.

Спустя десятилетия многие люди вспоминали о порядочности А. К. Уральца, о его такте.

С обезоруживающей прямоотой он попросил Зубра по возможности образовать его по части биологии, поскольку плошать неохота. Зубр обрадовался: кому-то втолковывать свои идеи, просвещать — одно удовольствие.

— ...А что, сахар со всех сторон сладок, я каждый день в его начальническом шикарном кабинете у доски читал курс биологии, специальной генетики и радиобиологии. Самую суть выкладывал ему. Он окончил какой-то экономический институт в Харькове из тех, что принято кончать для бумажки. Учили его, разумеется, белиберде. Все лето по два часа в день слушал он мои лекции. Общую тетрадь завел. По субботам мне показывал свои записи, просил поправить или вычеркнуть, где ерунда.

Времени на него Зубр не жалел. Казалось, чего стараться, в ученого-то его превращать поздно. Тем не менее Зубр упорно делал свое дело, зная не зная, как все это окупится сполна и неожиданно.

Произойдет это позже. Пока что ему надо было организовывать лаборатории. Несколько лабораторий составляли его отдел — радиохимическая, физическая, радиобиологии растений, радиобиологии животных, радиологии, были еще мастерские. Писать заявки на оборудование, приборы, строить стенды, вентиляцию, под-

водить всякие сети, устанавливать, распределять, налаживать — сладостный, целебный поток дел, забот, проблем затягивал его все сильнее. Нужны были люди, специалисты, лаборанты. Он предложил пригласить своих сотрудников из Буха; людей, с которыми он сработался, которые остались в нашей зоне, поверив ему. Но где они? Что с ними? Прошло полтора года, как его увезли из Германии. Ни одной весточки за это время не мог он подать о себе. Он не знал, что с Лелькой, Андреем, на воле ли они, не отправились ли в Западную Германию, а то и за океан...

На самом деле Елена Александровна с сыном продолжали сидеть в Бухе. Иностранцы разъехались, некоторые из лаборантов подались на Запад. Она же никуда не двигалась в какой-то упрямой уверенности. Слала регулярно в Москву запросы о муже, в Вену, в американскую зону — о Фоме. Друзья советовали ей уехать с Андреем в Геттинген, в Мюнхен, в Австрию, пока ее самой не арестовали. Ей ведь тоже могли предъявить обвинение в невозвращении. Немцы полагали, что надежд на скорое освобождение Зубра нет, во всяком случае в ближайшие десять лет, если вообще ему удастся выжить. На что она обрекает себя? Стоит ли ей сидеть здесь в качестве жены преступника? В СССР ее не зовут, не разрешают туда ехать — чего ей ждать? Ни на один из этих вопросов ответить она не могла, да и не задавалась ими. Она сидела непреклонно, как если бы он оставил ее на вокзале, а сам пошел за билетами. Вокруг нее пустело. Уехал Ка-Ге, то есть Циммер. За ним уехал Борн. Известно было, что они отбывали в Советский Союз. С ними заключали договоры на научную работу по специальности.

Когда они стали приезжать на Урал к Зубру, вот тут-то от них он узнал, что Лелька и Андрей сидят в Бухе и дожидаются его. И успокоился. То есть он и раньше понимал, что Лелька не тронется с места, но теперь он знал, что они живы, здоровы.

Подбирали штат лабораторий, специалистов, дозиметристов, радиологов, химиков, ботаников. Естественно, Зубр больше знал немцев, тех, с кем приходилось сотрудничать все эти годы, но собирались и русские специалисты, которых удавалось разыскать, что было в ту послевоенную пору куда как непросто. Когда молоденькая выпускница МГУ Лиза Сокурова приехала на

объект, ее неприятно поразила немецкая речь, которая звучала в лабораториях, в коридорах...

Не мудрено, что она потянулась к Николаю Владимировичу. Если он говорил по-немецки, это все равно было по-русски. Он всех приглашал на свои лекции. Заставлял учиться радиобиологии, биологическому действию разных излучений. Никакого серьезного опыта тогда не было ни у нас, ни у американцев. Набирались ума-разума опытным путем, искали средства защиты от радиоактивности, пробовали; не мудрено, что сами «мазались», «хватали дозы» — несмотря на все предосторожности, болели. Предостерегаться тоже надо было учиться.

Работы, которыми они занимались в Бухе — биологическое действие ионизирующих излучений на живые организмы, — вдруг, после атомных взрывов, обрели грозную необходимость.

Буховские немцы получили хорошие квартиры, им всем назначили большие оклады. Зубра тоже переселили в роскошную квартиру из трех комнат, с балконом. Потолки высокие, солнечно, натертый паркет блестит. Он отказывался — что ему делать одному в этих хоромах? Тогда А. К. Уралец осведомился: не желает ли он вызвать супругу? И место, оказывается, ей приготовлено — научным сотрудником лаборатории. Имеется на то разрешение Совета Министров (в те времена семейственность запрещалась). Сына Андрея можно будет отдать в Свердловский университет, пусть там заканчивает учебу. Андрей тогда учился на физфаке Берлинского университета.

Итак, Уралец направил Елене Александровне официальное приглашение.

В августе они прибыли, Лелька и Андрей. Все трое были теперь вместе. Война для них кончилась. Они рядом, и не где-нибудь, а на родине. Это все сошлось разом — конец разлуки, они обрели друг друга, они живы, здоровы, разворачивается интересная, нужная всем людям работа, их работа, которую они начинали еще в двадцатые годы, и условия превосходные по тем временам: кормежка хорошая, одевают, обувают — что еще надо? Они чувствовали себя счастливыми.

Несмотря на трудности нового дела, на оторванность от «большой жизни», работа шла с подъемом. Это было Дело, необходимость которого признавали все, вплоть до лаборанта, вплоть до подсобного рабочего; они нащупы-

вали методы очистки вод рек, озер от радиоактивных примесей, изучали влияние радиозащитных веществ. Требовалось исследовать, найти способы, приемы, средства защиты живого, дать рекомендации... Гуманная эта миссия воодушевляла самых разных людей, собранных на объекте.

Случались, конечно, трения и конфликты. Лиза Сокурова занималась облучением спор папоротника. Молодой специалист, она хотела уяснить себе смысл и значение своей работы. Спросила у своего руководителя доктора Менке. Подняв брови, он ответил слегка удивленно: «Для вас это неважно. Вы старший лаборант и должны выполнять мои указания. Чем мы занимаемся — пусть это вас не беспокоит».

Наверняка Менке был неплохим специалистом, может, следовало найти к нему подход, но ее, комсомолку, тогда, в 1949 году, захлестнула неприязнь. Да какое право они, немцы, имеют вести себя так высокомерно! Можно подумать, что не они работают у русских, а русские — у них. Не желала она больше быть под немецким начальником. Она рванулась к Зубру, но тот ее довольно-таки холодно осадил: «Свои отношения выстраивайте сами».

Тем не менее она стала посещать семинары Зубра. Это он разрешил.

На семинарах Зубр рассказывал про чудеса: оказывается, при слабых облучениях происходит стимуляция растений. Это противоречило открытому им же принципу попадания. Поначалу он высмеивал своих сотрудников, бранил за нечистые опыты. Заставлял переделывать. Переделывали, и снова вместо угнетения получалась стимуляция. Странно, недоумевал Зубр, исходя из радиационной биологии, такого не должно быть. Думали, обсуждали, ни до чего не могли договориться. Вновь и вновь получалась стимуляция, особенно у бобовых растений. И вдруг, как это бывает, счастливое вдруг, он понял, в чем тут дело; и все тоже ахнули, как просто. С этой минуты начался увлекательный цикл работ по стимуляции растений слабыми дозами.

В МГУ Лиза Сокурова не встречалась с подобными семинарами.

Зубр брался решать задачу наравне со всеми, он не пользовался никакими льготами. Ни престиж, ни авто-

ритет тут не могли помочь. Вчерашние победы ничего не значили. Побеждать надо было сегодня. Каждый раз — сегодня.

В августе 1948 года состоялась известная сессия ВАСХНИЛ, в результате которой все противники Лысенко были разгромлены, заклеяны, охаяны, многим пришлось прекратить свои работы. Биологов, которые не разделяли его взглядов, отстраняли от преподавания, увольняли. До тимофеевской лаборатории на Урале волна докатилась через год с лишним. Вышел приказ — уничтожить дрозофил и чтобы никакого морганизма-менделизма в помине не было. Вот тут-то и сработало просветительское старание Зубра. Вызвал его Уралец и говорит:

— Вы, Николай Владимирович, непривычны к нашим порядкам, поэтому к вам особый разговор. Занимайтесь, как и занимались, своей генетикой, но смотрите, чтобы ни в каких отчетах и планах, которые вас, старых спецов, научили подписывать, ничего генетического или дрозофильского не значилось, ни-ни.

— То есть жульничать?

— Ну зачем же... Которой рекой плыть, ту и воду пить.

Даже то небольшое, что успел преподать Зубр, было достаточно А. К. Уральцу, чтобы самостоятельно разобраться в нелепостях учения Лысенко. Он сумел отделить генетику от лысенковщины, оценить истинную науку и принять решение довольно рискованное в тех условиях, и для его положения в особенности.

— Наворочали мы множество дрозофильных опытов, — рассказывал Зубр. — Публиковать ничего было нельзя. Американцы со своих атомных объектов публиковали, а мы ни черта не публиковали; мы первые, до американцев изучили комплексобразователи для выведения радиоизотопов из организма человека. Кроме того, мы занимались биологической очисткой сточных вод от радиоизотопов. По одной этой «водяной» теме были подготовлены десятки отчетов!

Все это время Зубра как бы не существовало. Где находится, уцелел ли после войны, что с ним случилось — никто из биологов не знал ни за границей, ни у нас, — таковы были условия его работы в лаборатории. Как-то понадобились ему культуры дрозофил, еще до того, как

Лелька привезла их из Берлина. В Москву в генетическую лабораторию Академии наук был направлен старший лейтенант Шванев — это было еще до августа 1948 года, позже нигде уже дрозофил достать было нельзя. Чтобы он знал, какие культуры брать, Зубр написал перечень, написал даже, из какой лаборатории какие культуры привезти. Разумеется, не подписался, никаких инициалов. Но этого списка было достаточно для того, чтобы генетики Москвы поняли, кто сидит на Урале и работает. Узнали его почерк несколько человек, с которыми он переписывался, будучи в Германии.

Пошел, покатился слух — жив Колюша, жив!

По биологической защите удалось решить ряд проблем. Застревающие в организме радиоизотопы, попадающие от всяких загрязнений, удаляли, вводя комплексоны — вещества, которые связывали радиоактивные изотопы.

К. Циммер, которого недаром Зубр считал лучшим дозиметристом в мире, организовал великолепную физическую лабораторию с мощным кобальтовым гамма-излучателем в огромном колодце. С помощью Циммера удалось наладить сравнительную дозиметрию разных ионизирующих излучений, благодаря этому можно было заниматься как следует радиационно-генетическими опытами с дрозофилами, с бактериями, на дрожжах, на растениях, изучать радиобиологическое действие разных доз. И Кач, и Борн, и Лихтин — словом, все немцы, уговоренные Зубром, приехавшие сюда, работали с душой, так, как работали у себя на родине.

Им жилось в этом заповеднике вольготно и даже весело. Они почти не замечали отъединенности от «большого мира», культурных центров и тому подобное. Лаборатория на Урале была, пожалуй, единственным местом, защищенным от террора Лысенко, местом, где жила научная генетика. Зубру повезло. Неизвестно, каких бы глупостей он натворил, если б не Александр Константинович Уралец.

— А еще Завенягин, — прибавлял Зубр, всякий раз возвращаясь к этой фигуре, — он здорово тянул. Вокруг него собиралось много хороших людей и сравнительно малое количество сволочи. Вот этим он и был замечателен. Завенягин был не только умница, но прекрасный, непосредственный человек.

Вместе с талантищем досталась Зубру от природы еще и везучесть. Что это за штука такая, не выяснено, но в науке она несомненно присутствует. Существует она в двух видах: с положительным знаком и с отрицательным — как невезучесть. И то и другое — не случайность, а качество натуры. Я знал научного сотрудника, у которого все приборы ломались. У других работали, а у него горели и портились. Причем нельзя сказать, что из-за его неуклюжести или неумения. Ничего подобного. Он мог подкрадываться к прибору прямо-таки на цыпочках, включать его со всей осторожностью, и тем не менее что-то там обязательно фукало, трескалось, заклинивало. Другой невезучий как сядет в такси, так авария, в купленной новенькой книге не хватит страниц, в столовой ему достанется пюре с обгорелой спичкой... Спугнуть невезучесть трудно, борьба с ней бессмысленна, как борьба с отсутствием музыкального слуха. Если невезучесть сочетается с талантом, она самым бессовестным образом обкрадывает несчастного. Два-три года работы — и вот уж добыты интересные результаты, найдена наконец закономерность, и пожалуйста — в последнем номере журнала публикуется работа какого-нибудь новозеландца, ашхабадца, марокканца с твоим открытием! Из-под носа вытащат, на ноздрю, но обойдут.

А когда с талантом соединяется везучесть, то это пир природы! Я даже подозреваю, что везучесть — одно из свойств больших талантов, иногда она может поднять их почти до гениев.

Часто везучие суеверно твердят, что везет тому, кто трудится, что удача любит терпеливых и тому подобное. Так, да не так. У везучего и нескладно, да ладно, у него, как говорят, и петух несется. Рот распахнет — удача туда и прыгнет.

Везучесть сопровождала Зубра всегда, и никакие обстоятельства не могли их разлучить.

Казалось бы, вот после лагеря заточили его в ссылку, в глушь, изолировали от академической, институтской ученой среды, а что получилось? После сессии ВАСХНИЛ Лысенко и его сторонники громят генетику, крупнейших ученых-биологов, которые не желают отрекаться от генетики, лишают лабораторий, кафедр, а в это время Зубр в своем никому не ведомом заповеднике преспокойно продолжает генетические работы на дрозофилах. Само слово «дрозофила» звучало в те годы

как криминал. Дрозофильщики чуть ли не вредители, фашисты — что-то в этом роде, страшное, враждебное советской жизни. В «Огоньке» печатают статью «Мухолюбы — человеконенавистники». Дрозофила была объявлена вне закона. Антилысенковцы изображались в куклукс-клановских халатах. Если бы Зубр вернулся в те годы в Москву, то по неудержимой пылкости характера он, конечно, ввязался бы в борьбу, и кончилось бы это для него непоправимо плохо, как для некоторых других ученых... Судьба же упрятала его в такое место, где он мог оставаться самим собой — самое, пожалуй, неременное условие его существования. В этом смысле везло ему всегда. Обстоятельства как бы отступали перед его натурой.

Повезло и в науке. Ему удалось продвинуться в новом направлении. Изучали пути радиоизотопов в растениях, в организмах животных, затем в природных зоо- и биогеоценозах, как водных, так и наземных. Вот загрязнена река, туда пущены радиоизотопы. Как они распределяются по растениям, по почвам, как они мигрируют? Изучали, как зависит смертность тех или иных организмов от действия различных доз ионизирующих излучений.

Приходилось иметь дело с радиоизотопами, у которых период полураспада несколько часов. («Пока их получишь, пройдя по всем секретным учреждениям, пшик остается, они уже распались!»)

Елена Александровна сделала работу по определению коэффициента накопления разных изотопов у пресноводных животных и пресноводных растений, всего у семидесяти пяти видов.

Везение заключалось и в том, что заниматься выпало ему самой жгучей, самой наинужнейшей на многие годы проблемой. Во всем мире развернулись работы с радиоактивными веществами. Создавали атомную бомбу, атомные реакторы, атомные станции. Защита среды, защита живых организмов, защита человека — все это вставало перед наукой впервые. Надо было обеспечить безопасность работ, безопасную технологию. Молодая атомная техника и промышленность ставили много проблем. Даже ученые-физики не представляли себе толком нужных мер защиты при пользовании радиоактивными веществами. Про младший персонал и говорить нечего. У Е. Н. Сокуровой работала препараторм

пожилая женщина. Прежде чем дать мыть чашки из-под радиоактивных веществ, Елизавета Николаевна подробно инструктировала ее: нужно надеть двойные перчатки, потом обмыть их, проверить на счетчике и так далее. Смотрит однажды, а она моет чашки голыми руками. «Что вы делаете!» — «А я, — отвечает она, — уже мыла так, без перчаток, и ничего мне не стало, так что зря ты кричишь».

Да что препараты, все «мазались». Муж Сокуровой, сам дозиметрист, облучился, и Николай Владимирович «замазался», сын Андрей тоже. Трудно было остаться чистеньким в работе с этой плохо изученной штукой.

Но, схватывая свои дозы, облучаясь, они вырабатывали средства защиты, средства очистки, пределы, нормы, технику безопасности работы для следующих поколений. То был передний край биологии тех лет, разведка боем, которую она вела.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Если бы я о Зубре сочинял, то после лагеря он бы у меня озлился. Ход рассуждений был бы примерно таков. Завенягин ему обещал золотые горы, вместо этого его схватили, услали, он чуть не помер... За что? За то, что не уехал на Запад, уговорил сотрудников остаться. За это его посадили? Работал бы он у меня на Урале, конечно, как и работал, в полную силу, иначе он не мог, так же, как и его немцы, все они плохо, даже средне работать не могли. Но вот внутри у него все пылало бы от возмущения. Это первое, что пришло бы мне в голову.

В том-то и дело, что первое. А первое, что лезет под перо, лучше отбрасывать. Я исходил из того, что Зубр был оскорблен, обижен. Он должен был как-то ответить на это. Например, надменностью: ага, не можете обойтись без меня! Или замкнутостью: отринуть всех и вся. Раз его так приняли на родине, раз сделали преступником, руки не подают, то и ему никто не нужен. Разные варианты напрашивались; тем более что немцы посмеивались над ним: уговаривал нас, а самого как встретили? За все старания в лагерь упрятали! Сочувствовали и посмеивались.

Да и все, что было с ним в лагере, не могло пройти бесследно. Нет, нет, он должен был измениться!

Стоило характеру Зубра выйти на просторы воображения, как он выкидывал самые причудливые номера. Мог запить, загулять, пуститься в бега, удариться в религию, мог стать циником, делать карьеру, для этого мог предложить свои услуги Лысенко.

На деле же произошло то, о чем я не сумел догадаться, единственный ход жизни, который я не мог вообразить, — Зубр остался таким же, каким был. Самый невероятный для меня и самый естественный для него вариант. В отношениях с немцами, своими сотрудниками, в семье все так же звучал его трубный глас, все так же подпрыгивала его нижняя губа и в гневе, и в хохоте. Был так же свиреп, так же распахнут, так же увлекался и увлекал. Не озлился, не упал духом, не изверился. Натура его оказалась незыблемой. О лагерном своем житье он вспоминал со смешком, словно причислял его к прочим занятым перипетиям своей биографии.

Действительная жизнь тем и отлична от сочинений, что никак не догадаешься, куда она свернет. Тут же вообще никакого поворота не произошло. Как двигалось, так и продолжало двигаться. Прямолинейно и неизменно. Не отзываясь ни на какие возмущения. Что это — инертность? Стойкость благородного металла? Неизменность его было не разгадать. Казалось бы, чего проще: какой был, такой и остался. В чем тут тайна? А тайна в том, что остался, сохранился, не уступил ни демонам, ни ангелам, разрывающим душу надвое. Благополучный человек, он может позволить себе быть нравственным. А ты удержи свою нравственность в бедствии, ты попробуй остаться с той же отзывчивостью, жизнелюбием, как тогда, когда тебе было хорошо. Не раз возвращался Зубр к одному разговору, что происходил в камере, где он сидел, — разговору о непостыдной смерти. Боймся мы смерти, презираем ее, думаем о ней, не думаем о ней — все равно войдем в нее. К этому надо быть готовым всегда, значит, надо стараться держать в чистоте свою совесть. Смерть ужасна, когда ты умираешь со стыдом за годы, прожитые в суете, в погоне за славой, богатством. Нет удовлетворения, к моменту смерти ничего не осталось, не за что ухватиться, все рассыпается, как пыль, не было добра, не было самопожертвования...

Рассуждение его сводилось к тому, что о смерти надо думать. Проверять свою совесть мыслью о смертном часе.

Трудность состояла в том, что порядков наших он не знал и никак не мог приноровиться к ним. Не видел смысла в собраниях, в общественной работе, в соревновании, в том, что отличает наш порядок от немецкого. Откровенно говоря, и не желал принаравливаться. Оставался белой вороной и от этого был всегда под некоторым подозрением. Но и привлекал к себе внимание, особенно молодых. Конечно, не следует думать, что лаборатория могла полностью изолироваться от происходящего в стране. Лизе Сокуровой, например, поручили проводить занятия о передовом учении Лысенко. Как бы политзанятия. Более всего ее смущало, как к этому отнесется Зубр. Не подумает ли, что она за его спиной говорит обратное тому, что утверждает он? Решила его пригласить на эти занятия. Он пришел, послушал немного и выскочил, негодуя. Счел, что она хочет переручивать его. Бесполезно было объяснять ему про поручения, обязанности. И так во всем. Часто недоумевал: «Зачем пишут анонимные рецензии на статьи в научных журналах? Зачем надо брать обязательства, когда и без них я должен делать все, что могу? Почему нельзя пойти купить реактив в магазине за свои деньги, потом бухгалтерия вернет?»

Его наивность одних забавляла, других озадачивала.

Один из сотрудников, Д., работавший с ним в уральской лаборатории, вспоминает, как Зубр в своих докладах о Дарвине ссылался на Мальтуса: мол, у Мальтуса вычислено то-то, сказано так-то. Для всех мальтузианство было бранным словом, слушали Зубра со страхом.

Как-то кому-то из физиков надо было что-то выяснить по микробиологии. Зубр направил к Сокуровой.

— Вы Елизавету спросите, она у нас микробиолог, должна знать.

Сокурова не знала. Так и призналась. Он со свирепой серьезностью сказал:

— Вот что, Елизавета Николаевна, поезжайте-ка вы в Москву, в университет, требуйте обратно деньги за обучение, раз вас там ничему не научили.

Какие деньги? Обучение у нас бесплатное. Это его не интересовало. И остальные, и сама бедная Лиза понимали, что не в этом дело, а в существе.

Так было и много позже — на биостанции Миассово и в Обнинске. Он мог рычать, потрясая спущенной сверху бумагой:

— Это что же получается, сдать научную работу до тридцатого декабря? А если я сдал второго января, значит, план не выполнен? Какое это имеет отношение к науке? При чем тут, к чертям собачьим, научная работа? Нет уж, извините, это никакая не научная работа, а бумагоиспускание!

У него это звучало ругательно грубо.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Наслышан о Д. я был давно, от разных людей. Говорили о нем всегда нехорошее — о каверзах, интригах, подлостях, которые он чинил Зубру. Из года в год десятилетиями неотступно пиявил он Зубра — своего учителя, наставника, шефа. Не отпускал, следовал за ним. Из рассказов вырастал пожизненный недоброжелатель, да чего там недоброжелатель — враг, настойчивый, истовый, как будто причиной была кровная месть или что-то в этом роде. Вражда выражала себя в постоянных укусах, больших и мелких, видно, скучная душа этого человека утешалась, лишь причиняя неприятности, досаждая Зубру.

За что? Тут мнения расходились. В точности никто не знал, за что этот Д. преследовал Зубра столь долго и упорно.

Их вражда не была взаимной. От Зубра я не слышал про Д. ничего плохого. Похоже, что Зубр вообще избегал говорить о нем, как будто Д. «не доставал» его чувства. Чувства, может, и «не доставал», а вот каверз и перипетий хватало.

С чего у них началось? Некоторые вели счет от случая, который произошел в самом начале пятидесятых годов, еще в уральской лаборатории.

Д. работал там младшим сотрудником, химиком. Появился он при драматических, можно даже сказать романтических, обстоятельствах. Во время войны юношей он попал в Бессарабию, сошелся там с какой-то красоткой, жил в ее поместье, и, когда пришли наши войска, его судили за уклонение от службы в армии. Впоследствии его реабилитировали. Но до этого, сидя в заключении, он, недоучившийся студент Харьковского университета, решил приложить все силы ума и воли, чтобы как-то выкарабкаться, надо было обратить на себя внимание, доказать свою полезность. Ему помогло то же

самое, что помогло и Зубру, — работы, связанные с био-защитой. Его отправили в лабораторию к Зубру, где он должен был оправдать то, что наобещал. Как ни удивительно, он сумел это сделать быстрее, чем кто-либо ожидал. Суть дела он схватывал на лету. Память имел исключительную, к тому же способности к языкам. С немцами вскоре изъяснялся по-немецки, читал литературу на французском и английском. Через год он догнал кандидатов наук, потом обошел их. Зубр доверил ему вести самостоятельную тему. В обстановке сочувствия Д. распрямился, расцвел. Появились молодая общительность, остроумие. Выяснилось, что он знает поэзию, сам пишет стихи. Охотно читал наизусть малоизвестных тогда Цветаеву, Мандельштама, Ходасевича. Сочинял капустники. Пел. Женщины с удовольствием опекали способного юношу, прочили ему блестящее будущее. Да он и сам уверился в себе. Не так-то просто было выделиться на фоне этого тщательно подобранного коллектива крупных ученых, где репутацию определяли не отношения с шефом, не выступления на собраниях, не анкета. Здесь все решало дело — как человек соображает и как работает. Так было тогда на всех атомных объектах — диктовали сроки и необходимость. Требования, ежедневные требования отбирали лучших, отбрасывали бездарей. Д. выдерживал эту гонку, значит, он был явлением незаурядным, как он сам себя оценил.

Однажды — теперь уже не выяснить, при каких обстоятельствах, — Зубр вспыл и громогласно припечатал его: «Надо же, столько способностей и ни одного таланта! Мишура!» Д. был потрясен. Честолюбие его нанесли удар, и кто — человек, которого он боготворил, которому подражал, высший авторитет, Верховный Судья, единственный здесь, к мнению которого стоило прислушиваться. Обругай его Зубр невеждой, зазнайкой, придурком, кем угодно — он бы простил. Тут же произошло другое, Зубр зацепил нечто глубинное, еще не ведомое самому Д., и вытащил перед всеми. Определил, формулу вывел. Есть вещи подсознательные, которые стоит обозначить, произнести вслух — и они начнут властвовать над судьбой. Отныне каждую свою неудачу, промах Д. соединял с этой формулой. Зубр вселил в него чувство неполноценности. Боль от удара проходит. Эта боль не проходила, она стала болезнью. А вдруг в нем действительно нет ни одного таланта, настоящего таланта, без которого ничего серьезного в науке не до-

бьешься? От изнуряющей этой мысли некуда было деваться. Виноват был Зубр во всех неудачах, ошибках, неприятностях...

Примерно так выстраивали историю их вражды.

Избавиться от ущерба, нанесенного честолюбию, Д. мог, лишь свергнув Зубра с пьедестала. Сорвать с него ореол, доказать раздутость его величины! Никакой он не гений, он устарелый крикун, пугач, фанфарон...

Вот какие объяснения мне предлагали.

Но достаточно ли одной фразы, думал я, для того, чтобы вести Тридцатилетнюю войну? А она длилась без малого три десятилетия. А если и достаточно одной фразы, то какое воспаленное честолюбие надо иметь! Что-то тут не так. Фраза всего лишь повод; такая упорная вражда может развиваться, если есть внутренний антагонизм, нужно, чтобы эта вражда чем-то питалась.

Затем мне стали известны факты, не влезающие в эту версию.

Когда лабораторию закрыли, немцев, щедро наградив, отпустили на родину, чему они немало удивились, полагая, что придется отрабатывать на победителя куда больше. Советских ученых распределили кого куда. Зубра — в Уральский филиал Академии наук и дали ему право отобрать себе группу. В числе прочих он взял к себе Д.

Его выбор вызвал общее удивление: зачем брать себе человека, который с ним не ладит, когда есть такой удобный случай расстаться?

А. К. Уралец пытался его отговорить. Дал понять, что Д. — человек не просто недоброжелательный, что он активно клеветает, не стесняется. Казалось бы, ясно? Но Зубр упорно не понимал, не хотел понимать. Ну, опасный он человек, доказывали ему, опасный. От соседства с ним могут последовать неприятности, и крупные. Зубр добродушно отмахивался. Один из кадровиков не вытерпел и, нарушив правила, показал заявления, написанные рукою Д. Там были тщательно собранные неосторожные замечания Зубра, двусмысленные его словечки-фразочки. Перетолкованы, откомментированы. Кадровик брезгливо сунул ему в руки — читайте!

Зубр поводил по строчкам карманной лупой, хмыкнул:

— Не вспоив, не вскормив, врага себе не сделаешь. Вы ведь кляузы эти не учитывали. И другие, надеюсь, не станут. А работник он толковый.

Кадровик пожал плечами — что поделаешь с этим упрямым простаком, с этим реликтом? Он надеялся теперь на самого Д., что Д. откажется: какой ему резон опять быть под гнетом ненавистного руководителя, когда есть другие адреса, другие возможности?

Однако — и это было для меня важно — Д. не отказался, он последовал за Зубром на новую работу в Миассово.

Знал, что Зубр знает про его доносы — всем это уже стало известно, — знает и не боится, берет его с собой, следовательно, не считает опасным. Это уязвляло еще сильнее.

Зная все факты, я никак не мог соединить этих двух людей, ничего не выходило, по всем параметрам они были несовместны. По крайней мере, Д. не должен был тянуться за Зубром. После уральской лаборатории, после Миассова они и в Обнинске вместе сошлись. Почти до самой смерти Д. сопровождал Зубра, заклятый его сподвижник. Преследовал он его, что ли? Но зачем? Кажалось, отвяжись, сколько можно, если он так мешает. Почему, за что Д. так ненавидел Зубра и, ненавидя, шел за ним?

Феномен Д. означал, что Зубра можно не любить. Более того — ненавидеть! Это было для меня открытием.

Я решил встретиться с Д. Тем более что он остался один из немногих, кто так хорошо и долго знал Зубра по работе, да и по жизни, что прошла после войны.

Меня отговаривали. Предупреждали, что он все замажет грязью, станет клеветать, напридумает пакости, потом не разберешься.

Чем сильнее меня отговаривали, тем больше мне хотелось увидаться с Д.

Я вспомнил книгу Константина Леонтьева о романах Льва Толстого. Язвительно, местами с убийственной злостью разбирает Леонтьев язык, стиль «Анны Карениной», «Войны и мира». Отдает должное и в то же время высмеивает безжалостно, без всякого почтения. Ничего подобного читать о Толстом мне не приходилось. Было страшно и любопытно. Неприязненный взгляд Леонтьева был зорек. То, что у Толстого могут быть такие огрехи, надуманность, слабости, то, что перед ними можно не преклоняться, потрясло меня. Многое из читанного о Толстом раньше показалось приторно-хвалебным. Я вдруг почувствовал, что моей любви не хватало

этого чужого, злого мнения. Оно пригodiлось — от критики Леонтьева в чувстве моем к Толстому ничего не убыло, скорее прибыло.

Уговорить Д. на встречу было непросто. Разумеется, он понимал, что я хочу написать о нем, что все равно я напишу, согласится он на встречу или нет, поскольку в повести о Зубре без него не обойтись. Он знал, что он — отрицательный герой, но до какой степени? Он не знал, что и сколько мне известно. И медлил, откладывал, ссылаясь на нездоровье.

— Мне нужно выслушать от вас то, чего никто другой не скажет, — уговаривал я. — Плохое, критическое, ироничное — все, что сочтете нужным.

— Назовем это истиной, — сказал он. — Объективной истиной. Грубый хлеб истины. А то ведь вы вскормлены пирожками обожалок. Ну что ж, если ради истины. Это ваша и наша профессия — служение истине. Наша даже больше, чем ваша.

Не будь высоких каблучков, он был бы совсем небольшого роста. Лицо узкое, нервное, жидкие пегие волосы, кокетливо зачесанные на лоб как бы челочкой. Глаза серые, увертливые. В тех рассказах, которые я слышал раньше, он был молодым, блестящим, играющим силой, умом. Здесь же передо мной предстал пожилой господин, хрупкий, усохший, — ничего зловещего, опасного. Мне хотелось, чтобы он был похож на Грушницкого, которого я с детства терпеть не мог. На Сальери. На Мефистофеля. Я готовился к герою типа Смердякова, Урии Гипа — к чему-то коварному, сатанинскому, соответствующему его роли.

Можно ли распознать по внешности злодея? Хотелось бы, конечно. Но сатана и дьявол приходят к нам с физиономиями стертыми, рога спрятаны под шляпой, мохнатый хвостик утиснут в вельветовые штаны. Симпатяга. Запаха серы не ощущается. Серия улыбок — и паленой шерсти не замечаешь.

Д. излучал приветливость и начал с легкого, ничего не значащего разговора. Когда я перешел к делу, он уселся удобнее, сплел пальцы и долго смотрел на меня с неясной улыбкой. Затем короткими фразами пункт за пунктом изложил возможный вариант предстоящей сделки. Он готов помочь при условии, что вместо него будет изображен другой. Некто Икс. И обстоятельства

будут неузнаваемы. Только так. Чем больше «не я», тем проще ему открыться. Чем больше «не я», тем больше будет его «я». Иначе нельзя, иначе открываться трудно. Писателю ведь хочется узнать сокровенное. Кто же станет раздеваться, показывать свои язвы? А когда «не я», когда «я» — другой, тогда легче оголиться.

Я не понимал, как же так: все лица у меня достоверные, и вдруг один появится вымышленный?

Не вымышленный, охотно поясняет Д., наоборот, он будет достовернее других, только обозначенный другой фамилией. Не все ли равно читателю? А раз уж будет придуманный герой, почему бы не перевести повесть в чисто художественную? И автору свободней, и никаких претензий.

Видно, что у Д. разговор наш продуман наперед, не знаю только, как далеко, пока что все движется по запрограммированному им пути. Я защищаюсь неуверенно. Меня давно одолевает соблазн вырваться в этой работе. Что меня останавливает? Единственное — я хочу рассказать про человека, которого знал, любил. Про него, а не про другого.

— Тогда выдумывайте про меня, — говорит он с улыбкой. — Вам все равно придется выдумывать, если я не откроюсь.

Он прав, положение у меня безвыходное. Но у меня есть еще один путь.

— Выдумывать я не буду. Хватит того, что про вас говорят.

Серенькие глаза-мышки обежали меня и спрятались в прищуре.

— Много вам наговорили?

— Много.

Он зависел от меня, а я от него. Кто кого перетянет?

— А может, нам лучше поладить? Как Фауст с Мефистофелем? — сказал он ласково. — Помните: ты больше в этот час приобретешь, чем мог бы раздобыть за год работы.

Может, он прав. И я согласился, что обозначу его Н. Нет, настоял он, не Н. Дадим ему фамилию, допустим, Демочкин, Макар Евгеньевич Демочкин, чтобы не думали, не гадали, не занимались поисками. Соорудим некоего Демочкина, на которого можно взвалить всю оппозицию и все недоброжелательство.

Кто этот Демочкин? Был такой? Не беспокойтесь, это придумано в честь Девошкина, Макара Девошкина.

Юридически не существовал, а фактически, в разбро-
санном виде, имелся, противники у Зубра были.

Начал он с того, что положение у Демочкина невы-
годное: все факты толкуют против него, автор преду-
бежден, — однако не будем делать ходульного злодея.
Представим себе человека, у которого все складывалось
несправедливо плохо. Анкета плохая, покровителей нет.
Изначальные условия гибельные. Осталось одно —
биться, как той мышке, что свалилась в горшок со сме-
таной. Билась, пока не взбила масло и не выбралась.
Самые лучшие годы на это ушли.

Я пытался вернуть его к Зубру, но он не мог ото-
рваться от Демочкина. Видно, что этот Демочкин был
ему близок и мил. О себе, ученом, авторе того-то и того-
то, вице-президенте, главном редакторе, главном кон-
сультанте — словом, Главном, он бы так не говорил,
а вот бедняга Демочкин, еще зеленый, небитый, слиш-
ком рано вылез со своими идеями. Натурально, сие
озлило Зубра.

— До этого у них был сплошной бонжур.

Он произнес это с разбегу, и я хмыкнул, услышав
знакомое выражение. Напрасно я позволил себе это. Он
насторожился, посмотрел на меня непрощающе. Но
продолжал как ни в чем не бывало. Излагал, иронизи-
руя над собой, притчу о том, как старый ученый ревнует
своего талантливое ученика, не дает ему выдвинуться,
осмеял его идеи. На всем скаку, на разгоне подсек. Если
позволите заметить, деспот-учитель власть свою охра-
нял свирепо, очень любил уничтожать людей, показы-
вать свою силу.

— «Власть отвратительна, как руки брадобрея», —
прочел он и взглянул на меня, проверяя.

Я знал эти строки Мандельштама и кивнул, под-
тверждая его образованность, заодно и свою.

— Однако у него столько благодарных учеников...

— О, учить он умел, любил учительствовать. Вокруг
него множество мальчиков развились в коротких шта-
нишках, возраст безобидный, а у меня зубки прорежа-
лись. Да, я себя в обиду не давал.

Постепенно они соединялись — тот, кого я знал по
рассказам, и этот, Демочкин Макар Евгеньевич.

Я не должен был считать его слова бахвальством, он
просто сочувствовал тому молодому талантливому па-
реньку, который пробивал себе дорогу. Ситуация древ-

няя, банальная, взирать на нее можно без гнева, прощая далекий звон тех мечей.

— «Живи еще хоть четверть века — все будет так, исхода нет», — декламировал он. — Четверть века для Блока было вечностью, а мы три с лишним десятилетия проскакали и судим-рядим, как о вчерашнем.

— Почему о вчерашнем? Отношения ваши продолжались и позже. Они, наверное, развивались.

— За тридцать-то лет. «Наверное»!.. — Он откровенно посмеялся надо мной. — Еще как развивались. — И потом сказал: — Веревоочка у нас с ним... — И опять процитировал: — «Не отстать тебе, я острожник, ты конвойный, — судьба одна, и одна в пустоте дорожной подорожная нам дана...» А путь мы прошли большой — от сопротивления к противостоянию. И дальше.

— Не понял.

Он удовлетворенно кивнул.

— Видите ли, великий человек должен иметь великого противника. Для этой цели он избрал скромную персону Демочкина. Так что он Демочкина в каком-то смысле высоко ценил. Гений не может сражаться с тенью осла. Достойное противоборствует достойному, и так далее.

— Вы что же, Демочкина видите гением?

— Несостоявшимся, — спокойно и серьезно поправил он. — Из-за него.

— Ну тогда, на первых порах, допустим. А дальше-то что он ему причинил? И за что? Может, он сам повод давал?

— Давал.

— Вот видите.

— Вам не терпится упростить. Вы берете часть явления, начиналось же оно с того, что он вынуждал, он делал Демочкина плохим.

— Делал?

— Плохой человек, допустим, злодей — им же стать надо. Этого тоже достигать приходится. У нас ведь вместо плохих людей дрянцо мелкое.

— Вы что же, признаете его злодеем?

— Злодеем — с его точки зрения. На самом деле сложнее. Стоит ли объяснять?

— Стоит.

Он пожал плечами, подчиняясь.

— Возьмем эти слова насчет плохого человека и дрянца. Считают, что это его выражение. На самом

деле — мое. От меня к нему перешло, от него, уже с эффектом, расцвеченное, взлетело. А потом мне же предъявили, что повторяю. Много было подобного. Другие подражали ему с восторгом. Для меня же... Ведь я соприкасался с ним вплотную. Ближайший сотрудник. На меня давила его речь, интонация, словечки. Мы все повторяли за ним: «треп», «душеспасительно», «душеласкательно», «это вам не жук накакал», «досихпорешние опыты» — прелесть, как он умел играть голосом, словами. «Кончай пря!» — в смысле пререкания. «Что касасемо в рассуждение...»

— Сплошной бонжур! — добавил я.

— Заметили? И это тоже. А жесты, а манера говорить. Голосище — труба громовая, все на пределе чувств. Темперамент. При нем нельзя оставаться вялым, спокойным. Все начинает резонировать. Самые упорядоченные, благодетельные граждане возбуждаются. Тоже орут, ручками машут. Однажды девица, которую я склонял, говорит мне: «Можешь ты нормально со мной разговаривать, своим голосом?» Я вдруг опомнился, услышал, как я повторяю его. Меня нет. Вместо меня с ней ходит он. Мыслию я так же, пристрастия те же, твержу, что Рафаэль красавист, что корреляция — не причинная связь, а совпадение — падение сов, и тому подобную чушь повторяю, ступаю след в след. То самостоятельное, что добывал, мною же добровольно превращалось в продолжение его взглядов. Я терял себя. Неповторимое свое. Он подчинял меня все сильнее. Это становилось невыносимо. Вы скажете — внешне. Нет, это мышления касалось, он мне в череп запускать свои щупальца. Я пытался бунтовать. Начну что-нибудь поперек — он заорет, мою мыслишку незрелую, первый росток выдернет, препарирует, покажет, что надо совсем не так, как я полагал, высмеет, оставит кострище, горелое место. Назад некуда вернуться, дым и вонь. Я — тень, я — копия. Ценность копии в чем? В ее приближении к оригиналу. Чем меньше от него она отличается, тем лучше. То есть никакой самобытности.

Он не горячился, не повышал голос. Мило и кротко сообщал для моего сведения некоторые поправки к портрету Зубра, добавляя, так сказать, отдельные черточки. Не про других, про одного себя.

— Вижу, мне надо бороться, чтобы отстоять свою драгоценную личность. Иначе и останков не найду. Личность ученого — это прежде всего свободное мыш-

ление. Самостоятельность духа. Предстояло освободиться. А как? Уехать? Тогда в лаборатории такой возможности не было. От себя тем более не уедешь. Оттолкнуться — вот в чем освобождение! Преодолеть силу притяжения. В этой борьбе за свободу я стал понимать, что, любя и преклоняясь, не одолеть. Помогала оттолкнуться злость. Как в ракете. Дошел я до этого постепенно, ожесточился в своей битве. Раз оттолкнулся, два, пихаюсь — он сдачи дает, морда моя в крови, так что все в порядке. Вот вам и ответ, как злодея изготавливать. Стал я выискивать в нем изъяны. Увидел я, что физику он знал приблизительно, математику слабо, хуже меня. А не признавался. Я подлавливал его, подножки ставил. И знаете, что меня больше всего мучило? Что у него, несмотря ни на что, получалось. Он плохо знал, допустим, математику, а указывал, и, представляете, — сходилось. Я вижу, что не должно получаться, — нет, получается. Вопреки всему! Всякий раз он меня в дураках оставлял. Чувствую, что соображаю не хуже его, а что-то мешает довести, в последний момент у меня срывается, а у него все сходится. Ох и возненавидел я его!

— Так это не он мешал.

— Нет, он, он, — смирняя голос, убежденно сказал Демочкин. — Как в его окружении, так и в моем нас противопоставляли друг другу. Понимаю ваш смешок — с кем равняюсь, — но мне самомнение помогало.

— Это очень похоже на зависть.

— Зависть? Она кое-что объясняет. Но не все. Кроме зависти, была несправедливость. Она более всего грызла меня. Почему ему досталось все, полный мешок: биография, телосложение, голос, сила, рост — все работало на него. Будь я бездарен, не было бы никакой борьбы. Смирился бы и преуспел. Другие шли за ним безропотно и награждались. Я боролся... У нас не умеют уважать человека, полностью расходясь с ним во мнениях.

— Смотря какие мнения.

Он вслушался в эту реплику. Она насторожила его, скорее всего она была подана слишком рано. Мне следовало быть терпеливее.

— Взять, к примеру, лысенковщину, — сказал я.

— В смысле лженауки? — спросил Демочкин. — Но ведь тут тоже свой парадокс. Сам-то Лысенко — фанатик своей идеи. Он в нее верил исступленно. Он не мог

заставить отречься истинных генетиков, они на костер готовы были пойти. И взошли бы. А я, грешным делом, думаю, что и Лысенко на костер пошел бы ради своей ложной идеи. Он убежден был, недаром обещал быстрые успехи. В том была его сила. Убежден был, что можно воспитанием менять наследственность. Поэтому и шли за ним. Чувствовали его веру. Подождите, давайте спокойненько, без эмоций, как принято в науке, анализировать любую гипотезу. Ложные идеи, разве они не могут иметь своих адептов? Лысенко мог верить в свои пророчества, как Савонарола верил в свои и взошел на костер, не раскаявшись.

Он вскочил, прошелся по номеру, мягко ступая кошачьей походкой. Из дальнего угла он, сложив пальцы трубочкой, посмотрел на меня, как в телескоп. Он держался куда вольнее меня, ни в чем не пережимая, освобожденно, будто сбросив тесное, тяжелое одеяние.

— Все же есть разница, — сказал я.

— Какая?

— Принципиальная. Неужели вы не видите? Получается, что вы ставите на одну доску настоящих ученых и...

— Отбросим приспособленцев. А вот те, кто заблуждался, они субъективно не отличались. И те и другие были убеждены.

— Почему-то при этом Вавилов никогда не разрешил бы себе пользоваться недозволенными приемами в борьбе, а Лысенко разрешал.

С самого начала между нами лежало, свернувшись калачиком, спрятав когти, совсем другое. Сейчас оно приоткрыло свои тигрово-желтые глаза.

— Вавилов боролся честно, — повторил я, — и Зубр тоже.

— У него власти не было.

— Можно и без власти, очень даже...

Я не кончил, подождал. Демочкин вернулся в свое кресло, уселся, закинув ногу на ногу. И тоже стал ждать.

— Не хотите ли кофе? — спросил я, снимая паузу.

В боксе это называется держать удар. Он держал удар.

— Не откажусь.

Пока я готовил кофе, он продолжал про борьбу за свое «я» через вражду, от которой и сам Демочкин портился, — так что именно в этом смысле его делали пло-

хим, хуже, чем он был: развивали в нем неизменное, то, что в каждом человеке можно вызвать.

— И вы не стеснялись в средствах,— сказал я, подавая ему чашку кофе.

— Помните, нас учили: если враг не сдается, его уничтожают. Слова эти приписывали Горькому. Хотя не похоже... Но тогда я верил, что с врагами любые средства хороши.

— Любые?

Он сказал неохотно и как-то скучливо:

— Другие понятия были. Что можно, что нельзя — все было другое. Теперь целуются прилюдно, на эскалаторе...

Он отпил кофе и обезоруживающе улыбнулся мне:

— Я знаю, о чем вы.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Итак, мы подошли к барьеру. То, что с самого начала было между нами, выпустило когти, изготовилось.

— А вы попробуйте непредвзято. Вы меня обвинить хотите, а вот если бы меня оправдать надо было, вы бы по-иному рассуждали, вы сказали бы, что да, он, Демочкин, имел право, он защищал самую большую ценность — свою личность. Другие теряли, превращались в муравьев, а он защищался, чем мог...

— Господи, да о чем вы!— вскричал я.— Как вы можете себя оправдывать!.. Вы хотели его погубить, вы писали на него...

Он поднял руку, останавливая меня:

— Подождите. Я полагал, мы можем спокойно изъясняться, без оскорблений. Вам что надо — узнать Демочкина или устыдить? Очевидно, узнать. Причем я вам не так интересен, как ваш герой. Вы его хотите оправдать, возвеличить. Я вам любопытен исключительно тем, что шел против него. Почему так было, я вам разъяснил.

— Не проходит ваша версия. Если бы вы свою неповторимую душу отстаивали, то уничтожать его зачем было? А ведь вы по-настоящему его уничтожить хотели. Не фигурально. Горький тут ни при чем. Да и имел в виду Горький не личного врага, а классового.

Он рассмеялся мне вполне дружески:

— Очко в вашу пользу.

Затем он допил кофе, вытер платочком губы, и лицо его потемнело, сморщилось.

— Давайте рассмотрим ситуацию иначе. Прошло сорок лет, к старому, заслуженному ученому Демочкину является некий Архивист и начинает выяснять: не вы ли, голубчик, восставали на своего Учителя? Понимаете ли вы, что проиграли и были не правы? Понимаю, говорит Ученик, я действительно проиграл, я вижу, как велик был тот, на кого я ополчился... О, если б знать в тот миг кровавый, на что он руку поднимал!.. Угрызения совести всплыли со дна его души, где лежали навечно похороненные, забытые... Сознайтесь, сказал Архивист, вы хотели погубить Учителя, у нас есть данные. За что вы его так? А за что вам надо, спросил Ученик. Нас бы устроило, если бы вы из зависти, говорит ему Архивист. Это меня не украшает, сказал Ученик, но что делать, и заплакал. Была зависть, была. Признаюсь! А знаете, что было после того, как Ученик поплакал? Утер он слезы и сообщает: не буду каяться! Зачем мне каяться? Я пребываю отлученным от прочих учеников, иными словами, я выделен. Все гадают обо мне — отчего он во-евал с Учителем, да как он осмелился? Если вам покажусь, то окажусь в куче, удивления не будет. А так мною всегда будут интересоваться — это враг Самого! Главный враг! Что бы ни говорили, а великие злодеи прославили себя. Герострат, Малюта Скуратов и другие. Иуду помнят более всех других апостолов.

— Убедил Демочкин Архивиста?

— У Архивиста было большое досье. Там все собрано про Ученика: письма, анкеты, выступления, старые разговоры, встречи. То, что он давно позабыл. Эх, много бы я дал, чтобы прочесть эту папочку... «И с отвращением читаю жизнь мою, я трепещу и проклиная, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю!..» Вот именно! Не отказываюсь.

— Как это понять?

— Он плакал, но не каялся, — с уважением подтвердил Демочкин и поднял палец. — Кому каяться? Архивисту, конечно, нужно было добиться от него покаяния. Воспитан он был на классической литературе. Чтобы мальчики кровавые в глазах маячили. Как же иначе? Раскольников терзается, Нехлюдов кается, Фауст кается. Все посыпают голову пеплом. Иначе нельзя. Впрочем, черт его знает, может, в старину так и бывало. Сам я подобного не видал. Передо мной никто не каял-

ся. Хотя должны были. Зазря ведь осудили. После всех нарушений чтобы кто-то пусть не на площадь, пусть на собрании вышел бы, встал перед людьми и сказал: «Товарищи-граждане, судите меня без пощады, я приговорил человека безвинного, да не одного...» Ни разу такого не слышал. А вы слышали?

Он подошел, сунул руки в карманы, наклонился ко мне:

— Слышали?

— Нет, не слышал.

— Так что же вы от меня хотите? Кругом нас полно нераскаявшихся. Жен в гроб вгоняют, врут, воруют... И хоть бы хны, живут припеваючи, спят крепким, здоровым сном. За что же с Ученика такой спрос? Раскаяние удобно для блюстителей закона, для ленивых следователей. Ах да, совесть... — Демочкин посмотрел на меня, показывая свою проницательность. — Но почему мы всегда обращаемся к чужой совести? Да и при чем тут совесть? Ученик не был погубителем.

— Но хотел погубить.

— Хотел. Но это ненаказуемо. А вы никогда не хотели кого-то убить? Раз Ученик не кается, представим его закоренелым злодеем. Поскольку дело надо закрыть. Такова задача. Иначе памятник Учителю нельзя ставить. Не будет прочности...

Его полуулыбка выглядела торжествующе, я поддался ей, тоже чуть улыбнулся и сказал:

— Не существует такой жизненной философии, которую разумный человек не смог бы убедительно обосновать. Ваш Ученик заслуживал бы сочувствия, но он не личность. Он муравей. Для раскаяния надо, чтобы совесть совершила работу. Работа эта по плечу личности. Совесть — привилегия настоящего человека. А то, что многие не каются, — это не пример. Это и есть муравьиное поведение. Муравей не личность, он всего лишь орган, а не организм. Он исполняет какую-то функцию, не более.

— Значит, Ученик — муравей? — Недобрый огонек разгорался в его глазах. — А ведь он был первый Ученик. Понимаете — первый! Хотя его не держали первым. Все время в тени, между прочим.

— Непризнанный гений — это тяжело.

— Женщина, которую он полюбил, — не слушая, все громче говорил Демочкин, — она тоже почитала Учителя. На вечере, когда Ученик пригласил ее танцевать,

она отмахнулась, увлеченная очередной байкой Учителя. От его похвал она была счастлива. Стоило Учителю сказать то же самое, что твердил я, это вызывало восторг. Меня она не слышала.

— Но, может, Ученик никогда и не был гением, а? У него был всего лишь комплекс.

Демочкин вытянул палец, покачал отвергающе:

— Не проходит! Ощущать себя гением дано избранным. Маяковский назвал себя гением раньше, чем его признали. Маленький поэт себя гением не объявит. Духу не хватит... «Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник...» Ученик мог, конечно, стать великим, все так считали.

— Зубр не считал себя гением.

— Ему не надо было. Его признавали.

— Его не признавали. Вы отлично знаете, как его не признавали. Не сделали же его академиком. Но он от этого не страдал. Чехов, например, искренне полагал, что его будут читать лет восемь, не более. Вот Сальери — тот считал себя гением.

Он отмахнулся пренебрежительно, не принимая моих слов.

— Возможно, что Учитель даже высмеивал перед той женщиной своего Ученика. Претензии его высмеивал.

Он будто сдунул пепел с углей, жар вспыхнул, красноватые отсветы побежали по его бледно-желтому лицу.

— Если бы не он... Я бы... Я и так многого добился. Несмотря ни на что, я достиг, — четко повторил он, вколачивая в меня эту мысль. — Так что я простил ему!

— Ого, вы простили? Это поворот!

— Мне простить ему было труднее. Я ненавидел и любил одновременно. Он был тем, кем бы мог стать я. Поняли? — Он наклонился ко мне и добавил тише: — Если бы его не стало. Я любил его как врага. Потому что у меня не было врага выше и значительней. Любите врагов своих, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда... Все же я стал не похожим на него. Верно? — Он заглянул мне в глаза. — И на всех его почитателей не похож. Видите, я себя отстоял.

— Вопрос — какой ценой, — сказал я. — Вы говорите — себя отстояли. А что, как в результате получились не вы? Разве это вы? Быть не похожим — этого еще мало.

— Что вы имеете в виду?

— А то — кем вы стали... — Я остановился, не решаясь договорить, передо мной сидел пожилой болезненный человек, умный, начитанный, всю жизнь работавший не разгибая спины.

Он ждал, наблюдая за мной, вдруг откинулся на спинку кресла успокоенно, расслабленно, засмеялся мягко:

— Господи, чего вы боитесь. И все так! Почему никто в глаза не скажет, только заглазно, за спиной, шепотом? И вы тоже... Ну, смелее.

Я почувствовал, что краснею. Я понимал, что он нарочно дразнит меня.

— Вы, Макар Евгеньевич, простили Зубра. За что же? За те доносы, которые вы на него писали?

— Наконец разрешились, — помолчав, сказал он спокойно и серьезно.

И тут я вспомнил одного из моих учителей. Благообразнейший красавец, седой, медоточивый, так мило шутивший на лекциях. Шутя и лаская, загубил он нескольких своих коллег во время борьбы с низкопоклонством, с космополитизмом, расчистил себе дорогу, стал ведущим специалистом, был избран в членкоры, увенчан лауреатством. Уехал в Москву. В новом институте его выдвинули ректором, его назначили членом ВАКа, членом редколлегии и прочая. Теперь он стал недосягаем. От него многое зависело, и, когда он приезжал к нам, его никто не осмеливался упрекнуть, напомнить о прежних делах. Старел он в почете, в президиумах — и так до самой смерти никто не сказал ему, что о нем говорят, какая о нем ходит слава. Нас послали на его похороны: мы стояли в почетном карауле, слушали хвалебные речи, несли венки...

Через два дня Д. позвонил мне, просил встретиться, он вспомнил нечто важное. Я попробовал уклониться, он настаивал. Категорически, почти официально-угрожающе. Свидание наше было коротким. Он сообщил мне про связь Зубра с Гейзенбергом в период работ над атомной бомбой. Несомненно, что Зубр помогал, был с ним заодно. Он был связан с фашистской наукой. Доказательств прямых нет, но их надо искать, и они найдутся. Я, писатель, должен искать. Иначе не имею права на свою повесть. Во всяком случае, он меня об этом поставил в известность. Кроме того, он напишет мне письмо, копию оставит себе — как официальное предупреждение. После публикации моей вещи наверняка

появятся люди, у которых есть компромат на Зубра. (Я не сразу понял это словечко «компромат» — компрометирующий материал.) Так что не лучше ли мне сделать из героя физика, электрика, перевести его в специальность, известную мне? Главное же — тогда все претензии разом отпадут. Вымышленный герой, с него спроса нет, и все загадки решаются. Например, он берет с собой на новую работу своего врага из-за женщины, в которую влюблен и которая является невестой его противника. Враг же этот, пусть тот же Д., едет из самолюбия, принимая вызов, это своего рода долгая дуэль. Факты остаются, надо лишь изменить некоторые фамилии.

Он держался уверенно, почти ультимативно. Как идет на пользу этим людям каждая уступка.

— Послушайте, а почему бы вам не написать о загубленном таланте, — вдруг предложил он задумчиво, как предлагают мировую. — Про человека, которому не дали полностью осуществить себя. Вот где трагедия. Типичная для нашего времени. То, что вы хотите написать, это, извините меня, пошло. Еще один великий ученый. Сколько их уже изобразили! Чему эти образы научили людей? Ничему. Потому что пример баловня судьбы ничему не может научить. А вы покажите талант, который служил мишенью. Все, кто хотел, упражнялись на нем. Как его изувечило. Ему не позволили стать великим. Ведь вот Зубр, где он стал великим? Когда он стал таким? То-то же! А вы не про этого счастливчика, а про того, кого под общую гребенку: не высывайся!.. Что, не поднять? Жжется?

Хорошая тема, подумал я, в чем-то он прав, важная тема — как изготавливаются подлецы, как вырастает ненависть. Он ненавидел Зубра посмертно. Есть вечная любовь, до конца дней. Это была вечная ненависть. Не так-то просто приобрести себе такого верного врага.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Впервые Валерий Иванов услышал о Зубре в Москве на одной из лекций в 1956 году. Лектор говорил о положении в генетике после сессии ВАСХНИЛ. Среди известных фамилий мелькнула незнакомая — Тимофеев-Ресовский. Валерий учился на третьем курсе университета. Он заинтересовался рассказом приятеля о Миас-

сове, где обитал этот неведомый им Тимофеев. О нем уже кое-что дошло из Горького от С. С. Четверикова, которого чтили как живого классика, — тем более удивительно было, с каким уважением Четвериков отзывался о Тимофееве. Они решили летом поехать на практику к нему на Урал, в Миассово. Добирались на поезде, приехав, узнали, что до биостанции двадцать пять километров. Попутки дожидаться не стали, махнули пешим ходом.

Было их четверо. Один из них хорошо знал брата Четверикова, математика, который, между прочим, любил делать маски. Изготавливал художественно, с тонкими деталями, весьма выразительно. Каждому он подарил по маске. Подходя к станции, они напялили на себя эти маски и с дикими криками ворвались на станцию. Произошел переполох. Откуда-то выскочил сам Зубр. Они его узнали сразу. Его всегда узнавали сразу, даже те, кто никогда не видел его. Он был в восторге от их выходки. И встреча эта мгновенно сделала их друзьями. Зубр потащил их к себе в кабинет. Показал развешанные портреты своих любимцев — Шрёдингера, Бора, Вавилова, Вернадского, немедленно наделил студентов прозвищами: Хромосома, Трактор, Диплодок. Среди приехавших был Георгий Гурский. Зубр прозвал его Джо и ревел на весь лагерь: «Джу не видели? Опять этого Джи нет!»

Миассово было для него вольной пущей. Иди куда глаза глядят, шагай то со студентами, то с охотниками, то с бородатым Ляпуновым, любителем минералов, уральских геологических чудес, карабкайся по валунам, слушай рев реки в каменном распадке.

Он возвращался на родину как бы поэтапно. Прибывало воли, прибывало людей. Несколько домиков вдоль проселка, поляна, озеро, на берегу палаточный городок, по вечерам костры, песни, молодые романы, горы...

Он и сам здесь поздоровел, раздался, распрямился под стать размаху этих лесистых склонов, огромных цветов, диковинных закатов.

Сила играла в нем. Валерий Иванов убеждал меня, что Зубр мог бежать за лошастью часами, не отставая. Мог резвиться с молодыми на равных. Наконец-то он вернулся на родину, ибо его родиной была русская наука, которую он оставил в двадцатые годы, буйный стиль тех лет с разбойной братией вне лаборатории и мощной кропотливой работой внутри лаборатории.

С этим он уехал; и сейчас, после всех передраг, к нему словно оттуда, из двадцатых годов, пожаловала вольница родного Московского университета. В нем самом, не остывая, кипел темперамент студента-нигилиста, буяна. Он все эти годы жил с этой буйностью, буйно работал, буйно мыслил, безоглядно высказывался. Сверстники его давно образумились, утишили свои голоса, посолиднели, выглядели благонаправными мужами, осторожно несущими свои знания и степени. У него не было ни званий, ни степеней, он был свободен и, когда услышал вопли этих ребят в масках, рванулся к ним, мгновенно сомкнулся с ними, такими же неимущими, душевно распоясавшись, наплевал на свой возраст. Кончилась долгая отлучка, он вернулся домой, в молодость.

Студенты восприняли Миассово как совершенно новый для них миропорядок: занятия проходили так, что не было различий между занятиями и отдыхом. После лекции Зубр шел к ним в палаточный городок к костру и рассказывал о чем угодно — о живописи, об Андрее Белом, о его отце — математике Бугаеве, профессоре Московского университета, об индейцах племени сиу, которые триста с лишним лет назад доказывали, что дух земли неделим, что со всеми животными нас связывают узы родства, то есть в переводе на наш язык, что существует биосфера и биогеоценозы... А американцы считали их дикарями.

Он не боялся надоесть, в нем не было никаких комплексов. Если ему было интересно, значит, и всем другим должно быть интересно. Он не боялся молодых, не боялся показаться несовременным. Это они — отсталые, невежды, олухи, тепы; он их жучил как хотел, уличал в серости, эпатировал, подначивал, и они бегали за ним.

Зубр был со всеми одинаков — от Нобелевского лауреата до лаборанта. Для него не было разницы, кто ты — татарин, эстонец, китаец, поэтому он, не задумываясь, с неумелым акцентом рассказывал армянские, еврейские анекдоты и первый хохотал, высмеивал америкашек, итальяшек, япошек, больше же всех от него доставалось русским, и никто его ни в чем не мог заподозрить.

По вечерам устраивали танцы. Зубр мог танцевать до утра. Трудно было угнаться за ним. Физически он оставался могучим, как прежде.

То, что студенты узнавали за летние месяцы пребывания на станции, определило для большинства философию жизни и подход к науке.

Он научил выделять главное. Понятно, что без скрупулезного исследования частных вещей все будет болтовней; но каким-то образом он достигал равновесия. Смеялся над узкими специалистами — «исследователь левой ноздри усонного рака». Детальные исследования были не для него. Он ценил их, но рассуждал так: раз уж тратить время, то на главное. И это главное он умел находить и у аспирантов, и у корифеев.

«Судьба Менделя напоминает судьбу Дарвина, — возглашал он. — Дарвин ведь не создал эволюционное учение, как это часто необоснованно считают популяризаторы: это учение было известно задолго до Дарвина... Гениальность Дарвина была в том, что он первым увидел в природе принцип естественного отбора, естественный механизм эволюции живых существ. Гениальность Менделя не в том, что он открыл закон наследственности; эти законы порознь были известны до работ Менделя... Гениальность его была в том, что он первым в биологии проводил точные и продуманные опыты...»

С того первого лета Валерий Иванов и другие стали приезжать в Миассово ежегодно. Никакие другие адреса уже не соблазняли.

Не сразу они уразумели, что перед ними личность экстраординарная, единственная. Понимание пришло много позже. Рассказывая про Миассово, каждый печалился о том, как поздно он прозрел. Единственное утешение, что во все времена со всеми так было и, видно, так тому и быть. Наверное, есть в молодой слепоте какая-то необходимость. Тогда в Миассове им было просто хорошо, очень хорошо, и их снова туда тянуло. На симпозиумы начали приезжать из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Киева. Пошел слух, что в Миассове можно узнать о запретной генетике, что там шли разговоры о кибернетике. Миассово стало прибежищем гонимых наук, оплотом биофизики. Зубр никого специально не агитировал, он просто распахнул ворота к себе. Говорил то, что думал, без самоцензуры. Оказалось, что можно. Никто ведь толком не знал, что можно. Все продолжали знать про «нельзя».

Студенты решили организовать выставку живописи. Разумеется, абстрактной, потому как в те годы шла

кампания борьбы с абстракционизмом — его честили в печати, по радио, на эстраде. В Миассове тоже спорили, искусство это или нет. Большинство уверяли, что абстрактную картину любой сумеет намалевать. В жюри были избраны Зубр, Ляпунов, еще кто-то из мэтров. Все желающие стали пробовать себя в этом жанре. Каждый изоощрялся, как мог. Сделали несколько десятков «полотен». Встал вопрос, где выставить, куда повесить картины, не было стен такой большой площади. Кому-то пришла в голову мысль поистине гениальная. Над столовой имелся обширный навес. Так вот выставку следует расположить на этом дощатом потолке и осматривать ее лежа на скамейках. Над входом повесили: «Первая выставка абстрактной живописи на Урале». Андрей Маленков прочел перед открытием специальное разъяснение, которое начиналось словами: «Публика, возможно, не подготовлена к восприятию нового для нас искусства. Считаем нужным предупредить, что зритель здесь выступает как творец. В этом отличие от предметной живописи, где на долю зрителя остается малая работа — понять настроение, композицию, колорит. В абстрактной живописи от зрителя зависит все. Если у него возникают богатые ассоциации, то он может с удовольствием рассматривать то, что другому зрителю покажется пустой мазней».

— Теперь ложитесь! — была команда.

Выстроилась очередь на лавки. Переходили с лавки на лавку. Лежа смотрели на потолок.

Потом жюри вынесло решение. Читал решение Зубр, сопровождая его комментариями. Восторг был всеобщий.

До сих пор у каждого, кто рассказывал про выставку, улыбка блуждала по лицу.

Биостанция в Миассове — это несколько коттеджей у озера, полянка, двухэтажное деревянное здание лабораторного корпуса. До ближайшего селения с десятков километров через хребет. О Миассове вспоминают как о райском месте. Не потому, что место само по себе красивое, а потому, что там все сошлось, одухотворилось, была полнота жизни и полнота науки.

— Я ездил туда четыре года, все летние каникулы проводил там. Это лучшее время в моей жизни. Казалось, что все можешь, — вспоминал Андрей Маленков.

Одухотворял биостанцию, был ее центром, ее осью Зубр. Он играл в волейбол, читал лекции, пел, выпивал, диктовал, упивался крепчайшим, дочерна чаем. Своего возраста для него не существовало, что же касается чужого, то, согласно старым добрым традициям, не было смысла принимать во внимание возраст, когда обсуждалась научная проблема.

Он умел быть беспощадным. Например, к уровню мышления. Он мог оборвать выступающего, ткнув его в недоказанный вывод, заорать: «Чушь собачья! Грязная работа!»

Студент, как бы он ни был увлечен, засачкует при первой возможности. Однажды ребята побросали пробирки в озеро — лень было мыть. Зубр пошел купаться, увидел «утопленников» и пришел в такую ярость, что если бы не память о том, что и он когда-то был подобным «мерзавцем», он, конечно, выгнал бы их. Но все равно крик стоял ужасный.

Чем больше его любили, тем больше боялись.

«Вы мне не нужны, но жить я без вас не могу. Вы мне не нужны, поэтому я вас люблю, люблю и больше ничего, ибо никакой корысти у меня к вам нет. И то, что я прожил последние десятилетия в обществе, которое мне дороже всего и нет мне ближе вас никого, — это утешение, которое дано было на склоне лет», — примерно так говорил Зубр на своем семидесятилетии.

Всеволод Борисов приехал в Миассово из любопытства. В биологию он пришел из физики с высокомерием точной науки, всеобщих законов материи, помноженным еще на спесь молодости. Биологи, пусть даже сам Зубр, копошились в частностях; только у физиков есть общий взгляд, высота, кругозор... Вот сейчас мы явимся и решим их проблемы — примерно с таким настроением он прибыл, явился, сошел в эту допотопную науку.

Первые же встречи с Зубром показали, как убоги его, Борисова, представления о живой природе, насколько она сложнее, богаче, таинственнее.

— Если вы будете цепляться за свои дээнкаки, вы ничего не поймете в живом организме, — учил Зубр.

Все эти новые, модные, щеголевато украшенные приборами науки отступали перед старинной зоологией, фактическая зоология бесконечно разнообразна. ДНК, РНК, аминокислоты — все это хорошо, но, кроме деревьев, есть лес, который не просто сумма деревьев...

Слова Зубра в те годы выглядели дерзостью, встреча с ним поражала непременно. Никому не удавалось сохранить ироничность. Реликт? Оригинал? Натуральный человек?.. В чем был его секрет? Причем поражал он не только молодежь, студентов. В Миассово приезжали крупные ученые и возвращались в некотором ошеломлении. В 1956 году Зубр появился у П. Л. Капицы, выступил с докладом на одном из так называемых «капичников». Он удивил там всех, начиная с самого Петра Леонидовича Капицы. В том бурном, богатом событиями 1956 году его выступление произвело сильное впечатление. Старшие отвыкли от подобной свободы поведения, младшие ее просто никогда не видели.

А загнать весь семинар в воду, чтобы избавиться от жары, чтобы все — и доктора наук, и студенты — сидели голые в воде и слушали докладчика, стоявшего на берегу, — кому это еще могло прийти в голову.

Надо заметить, что в те времена только физики-атомщики успели раскрепоститься; многие уже позволяли себе ходить в рубахах навыпуск, без галстуков, играли на работе в пинг-понг, пригрили у себя опальных генетиков, бесстрашно пререкались с министерским начальством. Но то были физики, царствующая фамилия науки, им тогда все дозволялось, с ними нянчились, они «ковали атомный щит», как любили тогда выражаться.

Зубр же, покинув уральскую лабораторию, превратился в рядового биолога. У него не было никакой защиты — ни высоких званий, ни покровителей. Разве что имя, оно одно служило золотым обеспечением — имя, которое не нуждалось в приставках. Важно было, что это — суждение Зубра, его слова, его оценка.

Имя — больше, чем любое звание. Докторов наук много, да и академиков хватает, имя же — одно-единственное. Но в случае с Зубром были свои тонкости, прежде всего то, что его знали немногие. Даже биологи. Тридцать лет отсутствия сделали свое дело. Все зачитывались знаменитой книгой физика Шрёдингера «Что такое жизнь...». Шрёдингер ссылался в ней на Тимофеева-Ресовского, который подвигнул его на эту работу. Многие, однако, не представляли себе, что это тот же самый Тимофеев. Не таким, по их представлению, должен быть классик, корифей.

Теперь историки считают, что книга Шрёдингера вдохновила Уотсона и Крика и тем самым привела к от-

крытию двойной спирали. Поэтому история молекулярной биологии отводит Тимофееву большую роль как катализатору этой современной науки. Но в те времена историки им не занимались. Рядом с его же уцелевшими однокашниками, его приятелями по университету, ныне всеми уважаемыми, заслуженными, награжденными, цитируемыми, талантливыми, сделавшими вклад в науку и тому подобное, он казался диким, неприрученным, допотопным и притом — неприлично молодым. Они были готовы для Истории, но для молодежи они выглядели устало-боязливыми. Голоса их звучали приглушенно. При появлении Зубра они неотличимо сливались, обнаруживали свою однородность.

То не было заслугой Зубра и не было виной наших биологов. На то были причины достаточно серьезные и всеильные обстоятельства.

— Увидеть на этом фоне «ископаемого», который сохранил все, что было отечественным накоплением — художественное, многомерное, личностное, — было просто спасением, — рассказывал один из бывших молодых. — Явился человек, который все в себе сохранил. Увидеть его нам было важно, важнее, чем ему — нас. Это было историческое время. Благодаря ему можно было соединить разорванную цепь времен, то, что мы сами соединить не могли. Даже наиболее мужественные, порядочные вынуждены были отмалчиваться все эти годы. Или же они сидели, были сосланы. Дубинин и Астауров, и Эффриомсон — сколько их, замечательнейших наших биологов, каждый по-разному был замурован в молчание. Разве что Владимир Владимирович Сахаров из фармацевтического института вел курс генетики подпольно на дому. Но это было не то. Нужен был трибун. И появился человек, который замкнул время.

Так он говорил на юбилее Зубра.

На том же юбилее выступали его ученики — Толя Ванин и Андрей Маленков. Они говорили о двух принципах Зубра: первый — что хорошие люди должны размножаться и что для этого надо сделать, и второй — наше поколение должно стараться все лучшее передать следующему, а уж там как выйдет.

Он взламывал правила, пугал, от него веяло дикостью, и это тянуло к нему. Он был как зубр среди медлительных волов, среди домашнего стада; зверь эпо-

хи двадцатых годов, о которой они знали меньше, чем о декабристах.

Он был живой связью с прославленными учеными Европы и Америки. Люди, известные по учебникам и энциклопедиям, были его друзьями, приятелями, его соавторами, его оппонентами. Одно это было непостижимо. Он сам был частью того мира. Он принадлежал одновременно и западной науке, и русской, соединял их. Он гордился русскими учеными и все сделал для их пропаганды на Западе; но внутри науки, на кухне какой-нибудь проблемы ему было все равно, кто ее решит — мы или американцы. Вопросы приоритета его начисто не волновали. Конкуренция между нациями его не затрагивала.

Он не был стеснен догмами, идеализм не был для него пугалом. Он не боялся хвалить западных ученых, перед иными из них преклонялся, ругал без оговорок Россию и русских за расхлябанность, хамство. Уважал немцев за пунктуальность. Не желал считаться с тем, что имя его одиозно из-за того, что жил в Германии всю войну, работал там при фашизме. Слухи ходили о нем (и пускались кое-кем, тем же Д.) самые невыгодные. Ему бы сидеть тихо-мирно, помалкивать в тряпочку. Он же трубно возвещал, что Лысенко — это Распутин, и это в тот год, когда Лысенко опять вошел в фавор.

Ясно было, что он не изменил своей манере: ругал что хотел, вел себя так, как всегда вел — и в Германии, и в лагере, и в уральской ссылке, и здесь, на воле. «Вольность» — слово, которое подходит ему больше, чем «свобода». Вольность требует простора, пространства, полей, распах неба и распах души. Это более русское понятие, чем свобода.

В нем сохранялся запал десятых-двадцатых годов, того пьянящего воздуха расцвета русской культуры, которого он успел наглотаться. То был праздник, подъем — и в живописи, и в музыке, и в поэзии, и в науке, эпоха Возрождения, которая вдруг неизвестно почему вздымает нацию на гребень.

Нельзя считать его борцом. Он не боролся за свои убеждения, он просто следовал им в любых условиях. У него выходило, что всегда можно быть самим собой. Ничто извне не может помешать этому. Все дело в препятствии внутри человека, их больше, чем снаружи.

Подход его к научным проблемам ошарашивал еретизмом.

— Мудрый господь учил: все сложное не нужно, а все нужное просто.

— Заниматься важными и неважными проблемами в науке одинаково трудоемко, так на кой черт тратить время на маловажные вещи?

— Когда ты себя последний раз дураком называл? Если месяца не прошло, то еще ничего, не страшно.

— Дай боже все самому уметь, да не все самому делать.

— Надо не только читать, но и много думать, читая.

— Пока нет не то что строгого или точного, но даже мало-мальски приемлемого, логического понятия прогрессивной эволюции. Биологи до сих пор не удосуживались сформулировать, что же такое прогрессивная эволюция. На вопрос: «Кто прогрессивнее — чумная бацилла или человек?» — до сих пор нет убедительного ответа.

Он считал глупыми претензии ученых на то, что они изучают какие-то механизмы. Он говорил:

— Вы получаете факты, вы получаете феноменологию. Механизм — продукт ваших мыслей. Вы факты связываете. Вот и все.

Он был противником прорывов, открытий, озарений, сенсаций, переворотов. Он считал, что важнее систематическое развитие науки, которое естественным образом приведет к переворотам. Не надо гнаться за единичными актами. Нужна вся череда событий, которая приводит к количественному скачку. Для него самого характерны не открытия, скорее он определял развитие науки. Были у него, конечно, и крупные открытия, но все же он был, как уже говорилось, скорее не открыватель, а пониматель. Первый понимал и объяснял всем. Это был огромный талант обобщения.

— Задача научного исследования в этом вечно текущем и таинственном мире — находить закономерное и систематическое. За это нам и жалованьишко платят.

— Наука — это привилегия для очень здоровых людей. Слабые могут в ней только прозябать. Вот, например, Вавилов, сколько экспедиций выдержал.

Его спросили:

— А если заболел?

Он решительно ответил:

— Не замечай. Те, кто лечится, жалуется, настоящими работниками быть не могут!

Они сидели в маленьком стильном кабинетике Зубра в Миассове. Все в одеялах — так холодно было. На спиртовке колба крепчайшего темно-коричневого чая. Зубр рассказывал, почему и как пришла ему в голову одна работа по радиобиологии. Набилось человек десять. Слушали упоенно. Это была логика науки. Наташа Ляпунова пробовала записывать, получались обрывки, потому что слишком интересно было, запись отвлекала, мешала... Так бывало часто: чувствовала, что следовало бы записать, жалко упускать такое, но слушание забирало все внимание, все силы.

Миассово... О нем вспоминают до сих пор: «Мы все вышли из Миассова», «Это было как лицей». На юбилее Зубра читали стихи про то, что вначале было слово, которое они услышали в Миассове:

Ведь человек и суетен, и грешен,
Не отличает в слепоте своей
Немногие существенные вещи
От многих несущественных вещей.
Чему вы только нас не обучали!
Но если все до афоризма сжать,
То главное — и в счастье, и в печали
Существенное в жизни отличать.

Быть великим при жизни он не умел. То и дело срывался с пьедестала. Однажды к Тимофееву приехал молодой генетик Варгаш Г. Он прибыл в Миассово как в Мекку, как ходили в Ясную Поляну. Предстать пред очи самого Зубра со своей работой. Чтобы тот взглянул. А работа, по общим отзывам, была замечательная: он статистически прослеживал старую генетическую задачу — когда рождается больше мальчиков, когда девочек, от чего это зависит, дал определение пола потомства; результаты были интереснейшие. Но достоверны ли? Зубр, не вникнув, накинулся на него, как на шарлатана. Страшно слышать было, когда такой большой зверь орал и топтал этого юнца. Это было нехорошо, некрасиво.

Срывался, потом страдал, стыдился. Так что у Зубра все было, как у людей.

Он был свободен и не зависим от своей славы.

Завидуя свободе его поведения, я часто спрашивал себя: откуда она, какова природа ее, почему мы не такие? Скованные, зажатые, контролируем себя. Сперва

думалось, что причина в независимости, которую ему дает талант. Но не все же талантливые люди так свободны. Талант, конечно, вселяет уверенность в себе, достоинство. Однако и от своего таланта он был не зависим. Не заботился об оправе, о первенстве. Независимость его имела скрытые опоры, глубокие корни. Каждый человек мечтает о независимости, но силы духа для этого не всегда хватает, трудно освободиться от желания славы, успеха, денег. Что касается Зубра, то ему эту силу придавала вера. Он верил в справедливость, в превосходство добра над злом, в абсолютность добра.

Независимость связана была и с родословной, с предками, правилами чести. Связь эту гениально уловил и сформулировал Пушкин:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам...

На них основано от века
По воле бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Задумываясь над секретом Зубра, убеждаешься, что в нем было развито именно самостоянье — слово, изобретенное великим поэтом. Самостоянье, как объяснение величия, как ощущение себя продолжателем знатного рода, обязанным охранять его честь.

ГЛАВА Сороковая

— У меня по морской линии в предках в восемнадцатом веке адмирал Сенявин, тот, который заменил голландский рассеянный бой кильватерной колонной. Сенявина была моя прабабушка. И Головнина была прабабушка — из тех самых Головниных, помните, адмирал Василий Головнин, который кругосветно плавал, у японцев в плену сидел, изучал Курилы, Камчатку и прочие острова. Еще Нахимов был мне и родственник, и свойственник. Последний в роде Нахимовых был почетный нахимовец, мой внучатый племянник. А Невельской был моим родственником по «матерной» ли-

нии. По настоянию министра иностранных дел Нессельроде его разжаловали в матросы за «неслыханную дерзость». Состояла она в том, что, исследовав Амур, его устье, Татарский пролив, он, несмотря на все запреты, основал там зимовья и сделал все для присоединения Амурского края к России. Вызвали его во дворец. Николай сказал ему: «Здорово, матрос Невельской, следуй за мной». В следующем зале царь сказал: «Здорово, мичман Невельской!» И так до контр-адмирала, пожал ему руку и поздравил. От Николая поначалу утаили всю историю расхождений Невельского с Нессельроде и особым комитетом по амурскому вопросу. Узнав, в чем дело, он его и вызвал, а на докладе комитета написал: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться уже не должен!» А Нессельроде, промежду прочим, тоже в родственниках.

Историю эту я сверил по обстоятельному повествованию Н. Задорнова об адмирале Невельском. В романе есть подобная сцена, которая, очевидно, взята из воспоминаний современников или самого Г. И. Невельского. Но меня удивило, как сохранилась изустная история, передаваясь от поколения к поколению в фамильном роду. С какой сравнительной точностью прозвучала она в очередном трепе Зубра о своих предках.

Он не изучал исторических книг, не любил исторических романов, но был пропитан русской историей, был ее частью. Восемнадцатый век, девятнадцатый и двадцатый, наше время, наша обыденщина представляли в его рассказах равноправно, пронизанные единым ходом истории. Ему не надо было дистанции, чтобы увидеть историчность нашей жизни. К современности он относился как летописец. Так же как в своей генетике он умел находить в каждой проблеме существенное, так и в нынешнем дне он выделял то, что определяло время. Это было отнюдь не очевидное. Как докладывал один биолог: «Таким образом, в настоящее время этот вопрос совершенно ясен, что говорит о его слабой изученности».

Историки у нас хватает, а вот летописцы — специальность не частая и не популярная. Легче быть пророком прошлого, чем настоящего.

Он был благодарен любознательности молодых, от этого прошлое сопровождало его постоянно, было под

рукой, не истлевало где-то позади в забвении, не осыпалось в пропасть. На эти свои рассказы он не жалел времени и тратил его щедро, как деньги.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Завенягин поднял на ноги все учреждения, разыскивая Зубра. Какие-то бумаги затеряли, и не так-то просто оказалось его найти. Завенягин настойчиво ставлял продолжать поиски. Ему докладывали, что такого нет, не числится, не обнаружено. Завенягин не верил, что эта махина, мастодонт может незамеченно исчезнуть. И он добился своего, отыскал Зубра в Карлаге. Был он в тяжелом состоянии, обессиленный, с последней стадией пеллагры, страшной лагерной болезни, когда от голодухи наступает авитаминоз, такой, что никакая пища уже не усваивается. Соседи по бараку тащили его на работы в котлован, сажали там к стенке, и он пел. Единственное, на что еще хватало сил, — петь. Ради этого и возились с ним заключенные.

Он умирал. Казалось, при его здоровье, силе он мог выдержать и не такие лишения. Но в том-то и штука, что для него беда была не в лишениях, не они сыграли роковую роль. У него не осталось ничего, за что стоило бы держаться.

Самочувствие ученого, которого лишили работы, лаборатории, опытов, настолько тяжелое, что неученому его трудно понять. Резерфорд, тот мог понять Капицу, который в Москве, в нормальных бытовых условиях, но лишенный возможности работать, бесился, впадал в депрессию. Беспокоясь за его состояние, Резерфорд писал: «Как можно скорей принимайтесь за научную работу (пусть даже это не будет эпохальная работа!) — и Вы почувствуете себя более счастливым. Чем труднее будет эта работа, тем меньше времени у Вас останется на другие заботы. Как известно, сколько-то блох собаке нужно, но, как мне кажется, Вы считаете, что Вам блох досталось больше нормы».

Сам Капица писал Бору: «Наш институт находится в стадии завершения. Мы получили научное оборудование, надеюсь возобновить нашу научную работу. Испытываешь огромное облегчение, приступая к исследовательской работе после двухлетнего перерыва. Я никогда не думал, что научная работа играет такую существен-

ную роль в жизни человека, и быть лишенным этой работы было мучительно тяжело».

В положении Зубра все несравнимо заострилось. Жажда жизни покинула его, жизнь лишилась прелести, смысла...

Его положили в сани и повезли на станцию. Приказ есть приказ, тем более категоричный — доставить немедленно в Москву. Раз немедленно, то лечить не стали. Сто пятьдесят километров предстояло скрипеть на лютом морозе. К тому же на прощанье уголовники, те самые, что возлюбили его за бас, за разбойные песни, вырезали бритвочкой спину его суконного бушлата. Все равно доходит профессор, доедет мертвяком, так что ж добру пропадать, из сукна теплые портянки выйдут. Труп зла не помнит...

Сани двигались в ледяном мареве, розовое туманное свечение застилало ему глаза. Чудно, не было никакого беспокойства и серьезного отношения к пропащему своему положению.

Кончено дело, зарезан старик...
Дунай серебрится, блистая...

На станции погнали в вошебойку, у него сил не было идти, потащили на рогоже. Поезд в Москву вез его через всю Россию, трясая по раздолбанной, надорванной войной железке. Организм пищу не принимал, все проскакивало. И боли не было, изболело все, что могло, все внутренности, осталась легкость пузырчатая, даже на стоны сил не мог набрать. Ехал в полном беспамятстве. Звуки к нему еле доносились, только по дрожанию пола под ногами понимал, что все еще едет. Конца не было этому пути. Сознание вспыхнет иногда копотно, и не понять — неужто жив еще, за что она цепляется, душа, кажись, все оборвано, а не отлетает; какая-то жилка осталась, держит, дряблая, тонкая, не натягивается, сил нет, но что-то пульсирует в этой жилке еле слышно. Чудеса, да и только. Всякий раз, выныривая из обморочности, равнодушно удивлялся самостоятельной живучести своего организма. Прерывистое сознание перешло в прерывистое забытие, просветы возвращались все реже, исчезновение из жизни не вызывало огорчения.

Однажды, очнувшись, он увидел над собой женщин в белых одеяниях, они бережно обмывали теплой водой

его невесомую плоть. Он понял, что это ангелы, следовательно, он умер и пребывает в чистилище. Ангелы улыбались ему, прикосновения их слабо ощущались. Кругом было бело, стены блестели непорочной белизной, струилась вода, он куда-то плыл. Серая скомканная кожа была как мешковина, внутри этого мешка глухо клацали кости. Тело ему было уже ни к чему, но ангелы зачем-то еще возились с этой изжитой оболочкой. Никак не мог он разглядеть у них крылья за спиной.

Вспомнилось, как его приятель Джон Бердон Холдейн вычислил, каковы должны быть мускулы у ангела, чтобы он летал. Фигура ангела получалась с тонкими птичьими ногами, а грудь обложена мышцами такой толщины, что впереди выступал бы большой горб. Эти же настоящие ангелы были стройны и красивы. Рассуждения Холдейна, когда-то веселившие, показались ему кощунственными. Жизнь, вроде большая, пестрая, сжалась в маленький, исчирканный помарками листок, черновик чего-то. Солнечный греющий свет переполнял его и относил, точно былинку. Он попробовал осмотреться. Река Стикс, перевозчик Харон, — видимо, все это осталось позади. Но тут же он подумал, что эта его страсть наблюдать осталась от прежней жизни, надо просто отдаться этому теплему свету и нестись с ним...

В следующий раз, открыв глаза, он увидел наверху белую лепнину, появлялись и исчезали какие-то лица мужские в накрахмаленных шапочках. Не скоро он понял, что находится в больнице. Подмигивая и похихатывая, он признался мне, что и не спешил понимать и признавать себя живым. Позже он узнал, что происходило с ним. С вокзала его привезли в больницу МВД и стали всеми силами вытаскивать из смертельного беспамятства. Был разработан метод кормления его внутривенным способом. Причем вводили не просто глюкозу, а все необходимые аминокислоты, потому что при пеллагре, когда она в последней стадии, разрушается синтез белков, по-простому же значит, что пища вовсе не усваивается. Лечащему врачу поставили рядом с больным койку, чтобы он находился при нем неотлучно. Судя по всему, нагнали страху: делайте что хотите, но чтобы спасти!

Время от времени он видел перед собою полковников и прочих чинов в накинутых на мундиры халатах. Они стояли над ним, ожидая, не попросит ли он чего-нибудь.

Приносили горы масла, шоколада, фруктов, раздобывали ветчину, всякие вкусности.

Через месяц он заговорил. Утром появлялся шеф-повар, спрашивал, что приготовить на обед, на ужин. Зубр обсуждал меню охотно, это напоминало раннее детство, когда маменька так же обговаривала меню с поваром.

Сам Зубр ел еще мало и тайком подкармливал продуктами бывших ангелов — сестричек, санитарок.

— ...Учинили мне переливание крови. Сделали грязно. Пошло рожистое воспаление. У нас ведь не могут удержаться, где-то обязательно нагадят. Поднялся переполох, я думал, посадят главврача, еле-еле вызволил... Перемогся и пошел, пошел набирать силы...

Выздоровление признавали чудом. Кроме могучего здоровья, таилась в недрах его существа как бы сила предназначения. Незавершенность его жизни была настолько очевидна, что судьба не могла отпустить его из этого мира.

Без последствий, конечно, не обошлось — резко ухудшилось зрение, так что читать мог только с лупой.

Кроме физических, были последствия и душевные. Его стали волновать вопросы бессмертия души. Он продолжал строить свою веру. Добро абсолютно — это ясно. Зло относительно. Мир устойчив, потому что строится на добре, в этом есть изначальность духа, духовная сущность мира. Зло же преходяще и случайно...

Когда он начал выздоравливать, то стал учить медицинский персонал церковным песнопениям. Начальство вздыхало, но спорить с ним не решалось.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

В Миассове наладился первый в стране после сорок восьмого года — так биологи обозначают роковую сессию ВАСХНИЛ — практикум по генетике. Несмотря на то, что лысенковщина вновь набирала силу. Страхи возвращались на свои обжитые места. Слишком много людей пострадало, а то и погибло в прошлые годы. У всех, кто боролся с Лысенко, оказалась так или иначе испорчена жизнь, работа. Людям приходилось браться за любое подсобное дело — переводили, устраивались счетоводами, скрывались на захолустных агростанциях. З. С. Никоро работала тапером в клубе, Ю. Я. Керкис

уехал зоотехником в совхоз, Н. Соколов — в Якутию, А. А. Малиновский стал врачом, Б. А. Васин отбыл на Сахалин. Это все были первоклассные ученые. Годы истрачены были зря. А те, кто не боролся, — преуспели. Обросли званиями, наградами, выдвинулись. Молодежь имела перед собой поучительный пример приспособления.

Что такое лысенковщина, Зубр стал понимать лишь здесь, в Миассове, сталкиваясь с живыми ее жертвами и противниками. Не сразу открывались размеры нанесенного урона. Пострадали не только ученые, пострадали — и надолго — агрономия, селекция, животноводство, физиология, медицина, пострадало мышление людей.

Не так-то легко было переубеждать тех, кто поддался Лысенко. Отсутствие реальных результатов не обескураживало его последователей. Когда опыты не получались, Лысенко объяснял: «Вы не верили. Надо верить, тогда получится».

Силы биологии были подорваны. Сами биологи — это он чувствовал — не в состоянии были завоевать свободу научного творчества, слишком много было повыврублено, переломано, наука упала духом. И тут на помощь биологам пришли физики и математики. В Миассово со своими теоретиками из Свердловска приезжал академик С. В. Вонсовский, приезжала группа кибернетиков во главе с А. А. Ляпуновым. Приходили письма от Тамма, Энгельгардта, Капицы.

В октябре 1955 года Игорь Евгеньевич Тамм пригласил Зубра выступить в Москве в Институте физических проблем у П. Л. Капицы с докладом о генетике. Ни в одном биологическом институте доклад на такую тему был в то время немыслим. Все институты находились еще под контролем лысенковцев. Одни физики пользовались автономией. У них была своего рода крепость; и в стенах этой крепости они решили организовать публичное выступление Зубра. Вместе с ним на этом «капичнике» должен был выступать Игорь Евгеньевич Тамм. Его интересовали только что сформулированные представления Уотсона и Крика о двойной спирали как основе строения и репродукции хромосом. Структура ДНК стала сенсацией тех лет. Он решил доложить об этом на «капичнике». Зубра же Игорь Евгеньевич попросил рассказать о радиационной генетике и механизме мутаций. Согласовали с Петром Леонидо-

вичем Капицей. Он одобрил темы, и в программу первого годового собрания были поставлены оба доклада.

Известие об этом взбудоражило ученых Москвы. Шутка ли — публичные доклады о генетике, которая еще пребывала под запретом. О генетике, о которой не разрешали читать лекции. Многие побаивались, что в последнюю минуту все сорвется, лысенковцы добьются отмены. В сущности, это был вызов, публичный вызов монополии лысенковцев. И то, что появится сам Зубр, что впервые в Москве перед всеми выступит человек, о котором ходили разные слухи, тоже вызвало интерес. Капица попросил повесить всюду объявления — и в институте, и в физическом отделении Академии наук, чтобы все носило открытый характер. За три дня до заседания кто-то из начальства позвонил в институт и дал указание снять с повестки генетические доклады, как «не соответствующие постановлению сессии ВАСХНИЛ». Этот кто-то добивался самого П. Л. Капицы, но не добился и вынужден был передать сие референту. Выслушав референта, Капица спокойно сказал, что постановление ВАСХНИЛ не может касаться Института физических проблем. На следующий день звонок повторился. На сей раз голос в трубке звучал категорично, сослался на указание Н. С. Хрущева. Тогда Капица решил выяснить положение у самого Хрущева.

Личность П. Л. Капицы всегда пользовалась особым уважением. В свое время, когда его привлекли к работам над атомной проблемой, он столкнулся с Берией. Берия был груб, бесцеремонно и невежественно вмешивался в работу ученых, кричал на Капицу. После одного из резких столкновений Капица написал возмущенное письмо Сталину, не побоялся пойти на открытый конфликт со всесильным тогда министром. Жаловаться на Берию — поступок для того времени безрассудный. Мало того, со свойственной Капице открытостью он просил Сталина показать это письмо Берии. Разумеется, без последствий это не осталось; вскоре Капица был отстранен от работы, снят с должности директора созданного им института. Он уединился на даче и, как известно, упрямо продолжал вести эксперименты в сарае, соорудив там себе примитивную лабораторию. Это был поистине героический период, который продолжался до 1953 года, до падения Берии.

В 1937—1938 годах Капица не побоялся вступить за несправедливо арестованного академика Владимира

Александровича Фока, замечательного физика-теоретика, вытащил его из тюрьмы, так же как позже спас Л. Д. Ландау.

Они, все эти исполины, отличались бесстрашием. И Капица, и Прянишников, и Тимофеев. Мужество мысли, ее отвага у них соединялись со смелостью гражданской. В этом была цельность их натур.

С Капицей вынуждены были считаться, его поведение создавало ауру неподчинения, а неподчинение — то, что всегда смущает чиновные души.

Итак, Капица позвонил Хрущеву, его соединили. Он спросил: правда ли, что Хрущев запретил семинар? Ничего подобного! Известно ли Хрущеву о звонке в институт? В ответ получил заверение, что ему, Хрущеву, ничего не известно, что, если бы было надо, он сам позвонил бы Капице и что программа семинаров — их внутреннее дело и зависит только от П. Л. Капицы.

На следующий день, 8 февраля 1956 года, в семь часов вечера, как обычно, открылось триста четвертое заседание «капичника». Зал института был забит, заполнены были коридоры и лестница, ведущая в зал. Физикам срочно пришлось их радиофицировать. Наплыв предполагали, но к такому ажиотажу готовы не были. Набилось от академиков до студентов. Тогдашние студентки Наташа Ляпунова, Елена Ляпунова до сих пор помнят подробности заседания, хотя к ним доносились лишь голоса из репродукторов. Бывают не только в политике, но и в науке исторические доклады. Все понимали — это прорыв блокады, это начало восстановления нормальной биологии.

Доклады не носили боевого характера. Докладчики не занимались выпадами, полемикой, разоблачениями. Игорь Евгеньевич Тамм сделал обзор работ в связи с открытием двойной спирали. Зубр нарисовал картину развития радиационной генетики и механизма мутаций.

Успех, как позже говорил Зубр, был вызван не «искусством докладчиков», просто научная публика, особенно молодежь, истомилась по современной генетике. Впервые за много лет открылся блистательный мир новых идей, движение мировой мысли — все то, что так долго скрывали. Генетический «капичник» стал событием не только для Москвы, новость восприняли как

выход научной генетики из заключения, как прецедент, как благую перемену.

После успеха этого «дуэта» Игорь Евгеньевич Тамм с новыми силами отдался увлечению генетикой. Именно в генетике он ждал важнейших открытий ближайшего будущего. Он говорил, что важна битва за знания, а не победа. За каждой победой, то есть за достигнутой вершиной, наступают «сумерки богов», само понятие победы растворяется в тот самый момент, когда она достигнута.

Зубр не был защищен, как И. Е. Тамм, ни званием, ни специальностью физика. И эпитет «одиозный» продолжал волочиться за ним. Смелость его выступления признавалась всеми, для него же в этом не было никакой смелости, просто была возможность исправить положение в биологии и надо было этой возможностью воспользоваться. Что значит нельзя, если можно? Он не нащупывал предела «можно». И после его выступления вдруг все обнаружили, что можно говорить о генетике, о законах Менделя, о новых работах американцев. Это воодушевило молодых. Конечно, петух не делает утра, но он будит!

По мере того как он узнавал о лысенковщине, откуда она появилась, разрослась, набрала силу, он все меньше понимал, почему же это произошло. Он назвал Лысенко Распутиным, лысенковщину — распутинщиной. Фигура Распутина была единственным аналогом в истории этого абсурда.

Наследственность — результат воспитания! Перерождение овса в овсюг, сосны в ель, подсолнуха в заразиху! Превращение животных клеток в растительные и обратно! «Какие могут быть наследственные болезни в социалистическом обществе?» «Из неживого возникает живое!» Все это преподносилось директивно еще в 1963 году! Зубр хватался за голову, рычал в ярости. Он не представлял себе, как широко распространилась эта бредовина, как внедрилась средневековая чушь в умы, особенно молодежи. Даже критически настроенные говорили: «Все же тут что-то есть».

Царила, расцветала фикция: то, чего не существовало, не могло существовать. Миражи были объявлены явью, мистификации утверждены. А то, что существовало, то, чем занимался весь мир, было объявлено несущ-

ществующим. Гены — не существуют. Хромосомы — не существуют. Посвященные изгонялись из храмов науки. Тех, кто не отрекался от истины, называли шарлатанами. Добытые великими трудами факты выбрасывали, как мусор. Кумиров сбрасывали с пьедесталов. Среди обломков резвились бесы. Они дудели в рожки и трубы во славу своего вожака. Водружали его портреты — аскетическое, изглоданное лицо с косой челкой, из-под которой пылал сверлящий взгляд. То, что он, самоучка, «не кончая академиев», запросто одолел, разоблачил мировых корифеев, льстило чиновникам, к тому же его учение было понятно любому невежде, каждый становился посвященным. Не требовалось ни знаний, ни тем более таланта, можно было судить, рядить, поправлять любого специалиста. Требовалось всего лишь верить. Вера творила чудеса, делала опыты успешными. Не получилось — значит, не верил. Вера влияла на урожай, на удои, на лесопосадки. Истовые крики Самого порождали верующих. Он обещал чудо, и не когда-нибудь, а вот-вот, через год, через два. К нему устремлялись доверчивые души, уставшие от недородов замученной земли, от реформ, починов, невыполненного плана, понукания толкачей, постановлений, оравы уполномоченных. Ему устраивали овации, не согласных освистывали.

Он умел вовремя пообещать. За тем, кто больше обещает, охотнее идут.

Находились, конечно, скептики, которые кричали: «Король голый!» Находились и такие, которые требовали проверки, ссылаясь на заграничную науку. Их хватали, выкручивали руки, мордовали, затыкали рот.

В научном фольклоре гуляет фраза из какого-то журнала тех лет: «Проявил полную беспринципность, отказавшись признать ложность своих взглядов».

Юрия Ивановича Полянского, известного генетика, сразу после сессии ВАСХНИЛ сняли с должности проректора Ленинградского университета. Выгнали с кафедры профессора Стрелкова за то, что он сказал, что был и останется другом Полянского. Затем Полянского исключили из партии за такие-то и такие-то методологические ошибки по генетике. О том, что было дальше, он рассказывал мне так:

— Вызывают меня на райком. Докладывают: «Единодушно исключен своей организацией! Какие будут мнения?» Смотрю, слово берет генерал-лейтенант, член

бюро райкома, начальник Академии тыла. Бывший мой командир. Я даже постеснялся с ним поздороваться, чтобы не смущать его. А он: «Кого? Полянского? Это за что же? Это того, который у меня на фронте был? Да вы что, с ума сошли? Да он же у меня четыре года!.. Да вы!.. Да что!..» Вот такая штука! Все растерялись, он кричит... И представьте, отменили решение собрания! Дали просто строгача. Вот такое было неожиданное бюро. Я иду домой. Жена стоит на лестнице, а я иду и песенку пою. Она говорит: «Ты что, с ума сошел?» Дальше сижу выгнанный. Жил я в доме института, на служебной площади. Они же могли меня выселить к черту. Никто не тронул, ни единого слова. Сижу месяц. Сижу три. Кушать нечего. Никаких денежных запасов не было. Никто на работу не берет. Один был звонок, мерзкий звонок! Вечером сижу, перевожу Мечникова для серии «Классики науки». Оказалось, некоторые работы Мечникова на русский язык не переведены. И вот я из немецкого журнала перевожу про медуз. Вдруг звонок. Из Москвы. «Кто говорит?» — «Заместитель министра Светлов. Как вы себя чувствуете, Юрий Иванович?» — «Ну как вы думаете, как я могу себя чувствовать?» — «Хотели бы, чтобы все вернулось?» — «Ну естественно! Но каким путем?» — «Вы числитесь в лидерах вейсманизма-морганизма. Нам нужна большая развернутая статья в центральной газете, разоблачающая это направление, полностью поддерживающая Лысенко. Ну, что вы скажете?» Я не мог выразиться по-настоящему, потому что в комнате была жена. Но все-таки я достаточно крепко сказал. Я говорил ему: «С кем вы имеете дело? Вы имеете дело с элементарно порядочным человеком. Что вы мне предлагаете? Полное предательство!» И повесил трубку. А что я мог сказать? Какая мерзость! Я этот звонок никогда не забуду.

Любая вера находит поклонников. А уж если она побеждает, то у нее появляется множество ревнителей. Один из ученых сказал Лысенко: «Позор, когда теорию охраняют не факты, а милиция!» Почувствовав охрану и поддержку, ревнители немедленно стали захватывать кафедры, институты, издательства, лаборатории, журналы. Лжепрофессора принялись читать лженауку, ставили лжеопыты, выпускали лжеучебники, молодые приспособленцы защищали лжедиссертации.

Ложь обретала ученую солидность. Вместо результатов она изготавливала обещания. Снабжала их циф-

рами, графиками. Обещания росли, взамен невыполненных обещаний преподносились новые, еще заманчивее, еще краше.

Ложь выглядела прочной, всесильной.

Несмотря на страх, то там, то тут появлялись смельчаки, которые вызывали ее на поединок, бросали ей в лицо свои докладные записки, письма. А. А. Любищев написал целый том исследования «Вред, наносимый Лысенко». Показал, как упала урожайность, снизилась продуктивность животноводства, как загублена селекция, выведение сортов. Том прочитывали, сочувственно вздыхали и прятали в сейф. Когда-нибудь будет написана история сопротивления с такими героями, как Астауров, Сукачев, Хаджинов, Сахаров, Формозов, Эфроимсон, Баранов, Дубинин, Рапопорт, Полянский, Александров, Жебрак. Многих еще я не знаю, имена их затерялись. Это славные страницы, которые говорят не о позоре нашей науки, а о ее достоинстве. Сопротивление действовало без надежды на успех, но не сдавалось. Это Сопротивление заслуживает того, чтобы писать его с большой буквы. На собрании в Ленинградском университете докладчик-лысенковец прямо спросил: «Неужели среди вас нет морганистов?» Встал Д. Лебедев: «Почему ж нет, есть, я морганист!» Они были те, кто не отрекался, вставал.

Слишком многие из коллег, друзей, знакомых изменились, и неузнаваемо. Внутренне изменились. Что-то с ними произошло. Какой-то общий недуг постиг их. Притихли, сжались, взвешивали каждое слово. Те, кто не избегал Зубра, слушали его, беспокойно оглядываясь. Отмалчивались. П. переходил на шепот, ежился, существенно уменьшался в размерах. Виноватая улыбочка так не шла его грубой распаренной физиономии. Он помнился Зубру забиякой, весельчаком; говорили, что в войну он выделял чудеса в артиллерийской разведке. Выдвинулся он как специалист по селекции животных, несколько его работ получили мировую известность. Ныне же, особенно при посторонних, трибунным голосом он одобрял лысенковское: «...в главном они правы... в принципе... надо брать философскую сторону... и практически... недаром практика за них...» Зубр тряс его, требовал доказательств, орал, что они загубили земледелие. Картофель, кукуруза, цитрусовые, везде, где вмешивался Лысенко, происходило снижение урожайности. «Опричники,— кричал он,— кромешники!»

П. зажмурился от испуга, умолял замолчать. Стыдить его было бесполезно. «Ты не знаешь, что это такое, ты не испытал», — твердил он в ответ. П. не верил никаким переменам. Когда стали разоблачать фальшивые опыты Бошьяна, высмеивать бредовую теорию Лепешинской, он продолжал отмалчиваться.

У каждого был свой страх. К. Т. долго терпел проработки и в конце концов сдался, перешел на службу к лысенковцам. Явился к ним и предложил мировую. Они с удовольствием ухватились за него. Полемист он был блестящий, хорошо писал. Он включил в свою монографию главу о мичуринской агробиологии, украсил ее портретом Лысенко, покритиковал «плоскую эволюцию» Дарвина, и книга вышла без задержки. Он не стеснялся, наоборот, хвалился, что по дешевке откупился. Цинично предлагал и Зубру переход на почетных условиях: «За академика ручаюсь, а то и институт дадут! А так что — протомитесь в злобе...»

Дочь старинного друга Зубра, известного эволюциониста С-ва, после сессии ВАСХНИЛ, когда ее отца заклеямили вейсманистом, публично отреклась от него. Отец уехал на Дальний Восток, устроился в совхозе звероводом. Дочь, женщина толковая, выдвинулась, стала начальником в Министерстве сельского хозяйства. Несколько раз она порывалась поговорить с Зубром, он отказывался. В шестидесятых годах отец ее вернулся в Москву, его восстановили в институте, он приехал к Зубру, они обнялись, расцеловались.

— А дочь ты не должен осуждать, — сказал С-ов, — я ее не осуждаю, и ты не должен. Она кормила всю семью, квартиру сохранила, библиотеку. Я благодарен ей, она своей честью пожертвовала.

Зубр упрямо сопел, мотал головой:

— Библиотеку сохранила! А душу? Разве такую жертву можно принести?

Простить он мог, понять отказывался.

— Ты европейский человек, тебе не пришлось всего этого пережить.

У них произошел тяжелый разговор. С-ов привел в пример их общего друга Михаила Михайловича Завадовского.

— Ты его винил за ту историю в Аскании-Нова, а ведь он боролся с Лысенко в самые страшные годы, когда это требовало мужества, может, больше, чем в гражданскую войну. Он тебе не рассказывал, как его

выгнали из университета? Его, Шмальгаузена и Сабинина в сорок восьмом году выгнали. Все шепотом возмущались, и никто не встал на их защиту. Никто не подал в отставку в знак солидарности, как это сделали в том же университете в девятьсот одиннадцатом году. У Завадовского был инсульт, Сабинин застрелился. Так что война у нас была не словесная. Кровь лилась.

Зубр готов был отдать должное и Завадовскому, и Сабинину — всем, кто выстоял, но примеры на него не действовали. Слишком много имелось оправданий. Никто не замечал, как разительно переменялась наука. Та русская, советская наука, которую он оставлял в полном расцвете, которой привык гордиться, пропагандировал ее на Западе... Она заросла сорняками, опозорила себя средневековыми ахинеями: ель порождает сосну, граб порождает дуб, пшеница превращается в рожь. Научные журналы публиковали эти случаи, находились свидетели, которые подтверждали. Не стеснялись клясться. Академики покорно заверяли: да, все так и есть.

Сам Лысенко перещеголял своих учеников: у него пеночка порождала кукушку.

Налетели на легкую поживу — посты дают, звания! Бери, хватай! Тут не до чести. С идеями и принципами потом разберемся. Сейчас не упустить, места освобождаются. Признавай, разноси всех, кто против Корифея нового учения, поноси немичуринскую генетику! Брань произносили как нечто положенное — таков был ритуал посвящения, так же как акафист Корифею. Отбирали тех, кто истовее других славил.

Какие измятые судьбы обнажились перед Зубром, какие разоренные характеры предстали. А что творилось с молодежью. Она видела, что ценить стали не самостоятельность, а послушание. Талант становился подозрительным. Газеты и журналы славил правоту нового учения. Разве можно было сомневаться? Были пересмотрены учебники всех вузов. Эмбриология, семеноводство, физиология, лесоводство, медицина, ихтиология, цитология, овощеводство, ботаника — куда ни кинь взгляд, во всех науках, теоретических, практических, появились энергичные молодцы-корчеватели «в свете сессии ВАСХНИЛ». Крупные чиновники поддерживали Новатора, он поддерживал их, отладилась система...

Немало людей сделали в те годы карьеру. Ученую, наиболее надежную. Заняли места в ученых советах, на

кафедрах, в институтах, в редколлегиях. Обрели себе репутацию борцов. Они разгладили науку — утюги, — им несвойственны были сомнения, инфаркты, укоры совести. Лысенковщина, или, как тогда говорили — облысение науки, привела к тому, что позволяли себе подделывать данные, передергивать цитаты, приписывать себе чужие идеи. Приемы были отработаны.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Открытое выступление Зубра против лысенковщины не могло остаться безнаказанным. В нем учуяли противника опасного, с мировым именем. Не физик, не почвовед, самый что ни есть биолог чистых кровей, генетик, причем, как говорится, непуганый, не прошедший проработку, не имевший ярлыков... В 1948 году с ним бы расправились быстро, но времена пришли другие, удавку не накинешь. «Буржуазная наука», «мухолюбывчеловеконенавистники», «генетика — продажная девка империализма» и тому подобные примеры не проходили, шел все же 1957 год. Надо было сокрушить этого шедшего на них зубра чем-то другим, как-то припугнуть, подрезать ему жилы. Пустили слух, что в Германии он работал на гитлеровцев, занимался опытами на людях, на советских военнопленных. Пошли анонимные письма в ЦК, в Академию наук. Фактов не приводили, клевета не нуждается в фактах: «Как известно, он был главным консультантом Гитлера по биологии», «Был близок с Борманом». В измышлениях не стеснялись. Человек, который жил в Германии во время войны, уже за одно это принимался неприязненно. Тем более работал. Тем более русский...

В 1957 году, когда я впервые был приглашен издательством в ГДР, друзья осуждали меня: «Как ты можешь ехать в Германию?» Официальная пропаганда настойчиво отделяла немцев от фашистов, в народе же еще пылала ненависть за причиненное горе, не разбирали — кто фашист, кто не фашист.

Мало того что он остался в Германии, так он еще на отечественную науку нападает... Наветы действовали. Близкие ему люди и то избегали его расспрашивать о немецкой жизни. Тем более что и Зубр не рвался оправдываться, протестовать. Это много позже, помимо него стало выясняться насчет помощи военнопленным,

подробности ареста Фомы. Он молчал. Молчание усиливало подозрения. Клевета расплзалась, формально никто обвинений ему не предъявлял, но холодок отчуждения сопровождал его. Перешептывались при его появлении, чинили ему препоны. Посторонние люди в разных учреждениях встречали его недружелюбно. В те годы ничего не было позорнее, чем быть пособником фашистов.

Это была искусная расправа. К тому же безопасная. Заплечных дел мастеров за руку не хватали, и они громоздили ложь на ложь.

— Пусть докажет свою невиновность! — требовали они. Это был испытанный в репрессиях 37-го года прием.

Судьба отняла у него сына, бросила его самого в лагерь, теперь в довершение лишала его чести. Похоже, что под личиной судьбы, случайности скрывался рок. Разве Иову не казались случайностями кары, которыми испытывал его бог? Дети погибли. Мор охватил скот... А ведь это Господь испытывал его веру. Рано или поздно Иов догадается об этом. Может, и Зубра испытывало провидение? И ныне — этой клеветой, ложью, которые облепили его? Но возникал вопрос: на что испытывало? Он не находил ответа. Рушились небеса, он барахтался под обвалом, униженно беспомощный, подавив крик боли. Глыбы должны были придавить его, распластать, он был слишком большой зверь, чтобы уцелеть. Злой рок лишал его то родины, то сына, то свободы и, наконец, честного имени. Любое из этих лишений было убийственным, раздавливало и душу, и ум. Почему? за что? — вопрошал он, как вопрошал во все века человек, будучи не в силах найти свою вину. За что, о Господи? — теряя веру, обращал он взор в сияющее синее небо. Все зло, был убежден он, шло от политики, от которой он бежал, ограждая свою жизнь наукой. Он хотел заниматься одной наукой, жить в ее огромном прекрасном мире, где чувствовал свою силу. А политика настигала его за любыми шлагбаумами, за институтскими воротами. Нигде он не мог спрятаться от нее.

Его сторонились: падший ангел. Но унижение не устраивало его врагов. Унижение — это субъективное переживание, как говорил Д. Задача состояла в том, чтобы обезвредить его. Для этого надо было сломать его независимость и закрыть ему путь вверх. Путала кар-

ты таинственная сила, что всякий раз возрождала его из небытия. Когда все бывало кончено и он лежал бездыханный, заваленный, пригвожденный, оказывалось, уцелела последняя жилочка, и жилки этой хватало, чтобы удержать душу. Злому року противостояла другая сила. Что это было? Везенье, удачливость, счастье? Что бы то ни было, эта сила вызволяла его, поднимала из-под руин. Удачливость и рок боролись, и ареной борьбы была его судьба.

Был ли у него свой Бог? Я никогда не мог уяснить себе этого до конца. Достоевский полагал, что если бога нет, то все дозволено, а раз дозволено, то можно и духом пасть, отчаяться. Но человек есть тайна, от себя самого тайна. Не верит ни в черта, ни в дьявола, тем не менее что-то его останавливает. Не дозволяет. Бога нет, страха нет, а — нельзя. Тот, кто преступает, тот и с богом преступал, поклоны бил и все равно преступал. Когда вера религиозная схлынула, думали, наступит вседозволенность. Не наступила. Необязательно, значит, что неверующей душе запретов нет. Всегда они были, запреты, во все времена; они-то и роднят поколения, народы, всех, кто когда-то плакал и смеялся на этой земле.

Что же это такое, что за сила удерживает человека, не позволяет сдаться перед злом, впасть в ничтожество, потерять самоуважение, запрещает пускаться во все тяжкие, пресмыкаться, подличать?

Вот вопрос вопросов. Вот вопрос, который пытался я постигнуть на судьбе Зубра.

Что касается бога и веры, то мне так и не удалось выяснить, был ли он верующим человеком, имел ли своего Бога. Одни считали — был, имел, другие уверяли, что не был, не имел, что он материалист, атеист. Спрашивать напрямую о таких вещах и вообще-то не положено, а у него было просто невозможно. Он не позволял непрошено приближаться к себе вплотную, появлялась надменность, высокомерие породистого аристократа, неприятное, замораживающее любого.

Впрочем, потом кое-что набралось от разных людей, с которыми у него с глазу на глаз происходили откровенные разговоры. Но к этому мы еще вернемся.

Он продолжал отмалчиваться. Ему ничего не стоило собрать свидетельства военнопленных, которых он спасал в Германии, прятал у себя. Живы были еще Бируля,

Борисов, был Лютц Розенкеттер, о котором известно лишь, что он бежал из Дрездена и скрывался в Бухе у Фомы, был некий П. Вельт, у которого мать погибла в концлагере, был какой-то грузин, еще итальянец... Можно было запросить сведения у буховских немцев, сотрудников Кайзер-Вильгельм-Института, у многих немецких ученых, которые находились в ГДР или уехали в Западную Германию, — все еще были живы, переписывались: Мелхерс, Шарлотта Ауэрбах, Борис Раевский, французы братья Перу. Наверняка можно было собрать письма, справки, показания спасенных при его участии людей, тех, кому он в годы фашизма оказывал помощь. Сотрудники Буха опровергли бы измышления о каких-то опытах над людьми и тому подобную клевету. Многие дали бы свидетельства — и Лауэ, и Гейзенберг, и Паули. Зубр посрамил бы клеветников и появился бы перед нами как один из героев антифашистского Сопротивления. Это была бы славная история о советском ученом, который, отвергнув свое безопасное существование, включился по-своему в борьбу с фашизмом в центре Германии. История о том, как, потеряв сына, он не отступил, продолжал... Оснащенная документами, датами, именами, фотографиями, она выделилась бы из многих других.

Ничего этого сделано не было, теперь приходится заниматься археологией, искать черепки. Недаром в ту пору вокруг Зубра вертелись журналисты. Чутье подсказывало им, какой тут скрывается клад.

Пущенные слухи делали свое дело. Близкие ему люди понимали, что ничего такого не могло быть. Незнакомые — те верили.

Шла реабилитация незаконно осужденных, возвращались из лагерей пострадавшие, их принимали как мучеников. Его же арест и ссылку клеветники истолковывали как наказание справедливое, за сотрудничество... Никто не задавался вопросом, почему следователи не предъявляли ему подобного обвинения, почему и в приговоре такого не было. Никто не ставил ему в заслугу сорок пятый год. Недоверие окружило его петлей, чуть что — она затягивалась.

Не пригибая головы с лохматой, заиндевелой уже гривой, шел он сквозь недобрые косые взгляды, не желал отвечать тем, кто кидал ему обвинения. Однажды такое произошло при мне. И не от какого-нибудь проходимца, от вполне уважаемого, порядочного человека.

Я бестолково кинулся на защиту Зубра, что-то кричал, возмущался, сам же Зубр ничего не ответил, выпятил презрливо нижнюю губу, запыхтел и молча вышел.

Когда повесть была напечатана в журнале «Новый мир», я стал получать письма читателей, прежде всего людей, знавших моего героя. Их было сотни. Тех, кто откликался. У каждого из них встреча с Зубром осталась в памяти, они сообщали подробности, желая помочь мне, чем-то дополнить повесть.

Если бы я писал теперь, эти сведения, конечно, можно было использовать и, наверное, характер повести изменился бы. Но вещь была выстроена, закончена и вставлять туда что-то уже было нельзя. Когда пишешь — соразмеряешь, ищешь ритм, чтобы не было пауз, длиннот; вставка же, хочешь не хочешь, нарушает, она обязательно перекосит. Вставка обычно так и останется вставкой.

Однажды среди писем пришло письмо из Харькова, от Владимира Григорьевича Кучерявого. Он спрашивал, не интересуют ли меня более полные сведения о Фоме Тимофееве, он мог бы сообщить, поскольку, сидя в лагере Грюневальд, входил в подпольный «Берлинский комитет ВКП(б)». На самом деле он не был берлинским, он успел охватить один из южных районов города. Связь с этим комитетом шла через Фому. Один из руководителей комитета, Евгений Васильевич Индутный, виделся с Фомой в пересыльной тюрьме, это уже после провала организации, и есть воспоминания Индутного.

Разумеется, я попросил Владимира Григорьевича прислать эти воспоминания. Вскоре я получил объемистую рукопись в семьдесят с лишним страниц воспоминаний Индутного-старшего, умершего в 1980 году. Сильно сокращенный их вариант был напечатан в 1985 году в харьковском журнале «Прапор». Вслед за этим нежданно-негаданно я получил из Архангельска подробное письмо-воспоминание о работе Фомы в антифашистской группе. Письмо было от Михаила Ивановича Иконникова, который знал Фому по подпольной работе в Берлине. Иконников тоже был связан с «Берлинским комитетом ВКП(б)», который возглавлял полковник Бушманов.

Из уцелевших членов комитета за эти годы почти все ушли из жизни. Но вот эти двое прислали свои воспо-

минания. Даже первое чтение материалов поразило меня. То, о чем я лишь догадывался, о чем писал по слухам, по обрывкам сведений, дошедшим через не то что третьих, через пятых лиц, стало подтверждаться документально, облекаться подробностями. Откровенно говоря, до этого кое-что из рассказов казалось мне приукрашенным, домысленным рассказчиками для сюжета, никто из них не был очевидцем, никто не работал с Фомой в антифашистском подполье. Поэтому я оставлял самую суть, лишь бы не преувеличивать.

Записки Индутного писались в семидесятые годы, Фома там всего лишь эпизодический герой, о котором сообщается попутно и, очевидно, объективно. Письмо Иконникова — оно о Фоме, оно дополняет этот материал. Образ Фомы стал наполняться для меня делами, добровольной бесстрашной работой подпольщика, и отсюда многое открылось в той атмосфере, что царила в семье Тимофеевых в годы войны.

В конце концов я все же решил вставить в повесть сведения об участии Фомы в «Берлинском комитете ВКП(б)». Может, рассказ этот не включится, останется заплаткой, но я не могу отказаться от счастливой находки, от щедрого подарка судьбы, от поразительных свидетельств жизни сына, неизвестных и Зубру, и Елене Александровне.

В 1941 году Евгений Васильевич Индутный не успел эвакуироваться со своим заводом из Харькова, остался в городе и вскоре при облаве был взят и эшеленом отправлен в Германию. В лагере получил нашивку «OST» и стал «восточным рабочим». Его направили в Грюневальд, в районе Берлина, на завод, где он грузил на складе метизы. В конце 1942 года он стал создавать подпольную группу из восточных рабочих. Группа занялась антифашистской пропагандой и диверсиями. При ремонте вагонов сварщики пережигали металл, слесаря плохо крепили, повреждали оси. Индутный узнал, что в Берлине действуют подпольные организации военнопленных, и решил связаться с ними. С помощью одного из заводских мастеров, немцев, он заполучил старенькую штатскую одежду и начал выходить в Берлин. Разговорным немецким он овладел, и в городе пытался установить связь.

«Через несколько дней во время моих вечерних прогулок недалеко от лагеря я познакомился с русским парнем, проживающим в Берлине со своими родителями».

ми. В разговоре он подробно расспрашивал о нашей лагерной жизни, об условиях работы на заводе. Интересовался, как я попал в Германию, чем занимался до войны. Сочувственно относился к моему рассказу о страшном карантинном лагере в Дабендорфе. Чувствовалось, что он как-то заинтересован во мне, что «прощупывает» осторожно мою настороженность, мои оценки положения, мои реакции на события. Что же это? Какая-то полицейская провокация или что-то иное? Мы условились о следующей встрече здесь же, в ближайшем лесу. Грюневальд (Зеленый лес) врезался с запада в черту города прекрасным живописным лесом.

В следующую нашу встречу Фома Тимофеев много рассказывал о себе. Это было необычно и очень интересно. Отец Фомы, профессор Тимофеев, видный советский ученый-биолог, в тридцатых годах выехал в длительную научную командировку в Германию. С профессором выехала его жена и сын, Фома. Живя в Берлине, профессор занимался наукой в одном из биологических институтов, а Фома стал студентом Берлинского университета. Фома чувствовал, что не сможет найти себе настоящих друзей среди немецких ребят, воспитанных при гитлеризме в организациях «Гитлерюгенд» в остро националистическом, шовинистическом и антисемитском духе.

Вскоре немцы предательски напали на СССР, и началась вторая империалистическая война. Теперь, казалось, все мосты окончательно сожжены. Единственным утешением пока было то, что он не был немецким подданным и мобилизовать его в армию не могли. Он всеми силами старался как-то помочь своей Родине, своим сверстникам, своим товарищам по детству, с оружием в руках защищавшим Родину от варварского нашествия озверевших фашистов. Но как помочь? Что сделать? Мучаясь в поисках средств и возможностей, по его словам, ему удалось познакомиться с людьми, которые организовали активную борьбу против фашизма в Берлине. И вот теперь, когда он сам включился в эту борьбу, он почувствовал, что снова нашел себя. Фома сказал, что, познакомившись со мной, почувствовал, что я тоже ищу возможность активно включиться в борьбу.

В то время он не сказал мне, что приехал в Грюневальд по поручению Н. В. Казбан, которому не удалось вызвать меня на полную откровенность, но он почувствовал, что, может быть, можно при моем участии про-

вести работу с русскими рабочими «Райдсбан-Грюневальд».

Можно ли было верить всему, что рассказал Фома Тимофеев? Не хитрая ли это гестаповская провокация? Почему Фома вышел на меня, фактического организатора и руководителя подполья в Грюневальде? Может, меня выследили и теперь так хитро заманивают в ловушку? Эти мысли не давали мне покоя. Я начал еще пристальнее присматриваться к обстановке на заводе. Все шло нормально, своим чередом, ребята продолжали портить вагоны, экспроприировать из них продукты, саботировать, где только можно. Начатое дело продолжалось.

Следовало думать, что если бы гестапо заподозрило «недоброе», то меня должны были немедленно арестовать, под пытками вынудить назвать истинных виновников вредительства и прекратить, пресечь продолжающееся вредительство. Нет, видимо, Фома не гестаповский провокатор. Наверное, мне можно дать ему согласие на участие в работе берлинской подпольной организации, не рассказывая пока об уже действующей группе «Грюневальд». Так я рискую только собой.

При следующей нашей встрече я дал согласие на вступление в подпольную организацию. Фома сообщил мне о том, что он и Н. В. Казбан докладывали обо мне руководству организации и было принято решение о моем приеме.

Фома рассказал мне о том, что организация называется «Берлинский комитет ВКП(б)». В нее входят только советские граждане, много из числа военнопленных. Благодаря разветвленной системе подпольных групп на заводах, стройках, в лагерях русских рабочих и военнопленных, проводится большая работа по подъему патриотического духа советских людей, сообщению им правдивой информации о положении на фронтах и внутри страны, организация саботажа и вредительства, создание боевых отрядов, способных наносить относительно мелкие, но чувствительные удары в глубоком тылу, сбор и передача советским органам ценной военной и промышленной информации, агитация против вступления в ряды власовской армии и РОА (Русская освободительная армия).

В конце нашего разговора Фома достал из-за подкладки пиджака несколько экземпляров листовок, отпечатанных на папиросной бумаге. В листовках была по-

мещена свежая сводка Верховного командования, а также обращение комитета к русским рабочим, временно находящимся в фашистской неволе. Короткие, но очень теплые выражения были написаны простым и доходчивым языком. Организация призывала всех советских людей, временно находящихся на фашистской каторге, твердо помнить о своем гражданском долге и повсеместно организовывать и осуществлять борьбу с зверствующими немецко-фашистскими оккупантами. Листовка была подписана: «Берлинский комитет ВКП(б)».

Я нес листовки в лагерь как что-то особенно дорогое. Придя в барак, я их прежде всего надежно спрятал. Затем я встретился с моими ближайшими товарищами Василием Поляковым и Николаем Михно и подробно рассказал им свои новости, конечно, не называя имени своего связного».

В листовке была сводка о разгроме немецких армий под Сталинградом. Всех поразило, что здесь, в Берлине, рядом действует комитет ВКП(б). «Люди были просто в шоковом состоянии от этой листовки». Через связных Фому Тимофеева и Федю Чичвикова стали регулярно поступать листовки. Росли диверсии. Листовок не хватало. Тогда в комнате Фомы в родительской квартире наладили печатание листовок стеклографическим методом. Снимали зеркальную дверцу платяного шкафа, укладывали на стулья, на зеркало наносили клише текста, затем печатали листовки. «Тираж регламентировался только наличием бумаги и временем, когда в квартире отсутствовали родители Фомы». Индутный несколько раз бывал в этой квартире, получая листовки. С руководством комитета он не встречался. Однажды за городом хотели устроить эту встречу, но, приехав на станцию, он увидел в условленном месте Фому с красной хозяйственной сумкой в руках. Это значило — немедленно уезжайте. От Фомы было известно, что руководит организацией полковник Бушманов Николай Степанович, комиссар — Рыбальченко Андрей Дмитриевич. Они и пишут листовки. Еще Фома сообщил, что установлена связь с организациями Сопротивления — чехов, поляков, французов.

31 июля 1943 года Индутного арестовали. Провокатор, Владимир Кеппен, выдал все руководство «Берлинского комитета». Далее следовали непрерывные допросы, избиения. В конце октября Индутного приговорили

«за распространение коммунистических идей» к пожизненному заключению в лагере строгого режима. Приговор подписал Эрнст Кальтенбруннер.

10 ноября в пересыльной тюрьме он встретил Фому Тимофеева и рассказал, как провалился «Берлинский комитет».

О стойкости Фомы на допросах в гестапо было уже известно арестованным. Михаил Иванович Иконников узнал об этом в тюрьме на Принцальбрехтштрассе и крепости Торгау. Поведение Фомы многое решало: он знал всех, все руководство и всех представителей на местах. Михаил Иванович познакомился с ним весной 1943 года и регулярно встречался в Зоологическом саду, на Александрплатц: «Не принято было знать подробности друг о друге в условиях подполья. Поэтому в то время я знал мало о нем, да и присущая нам подозрительность к бывшим белоэмигрантам мешала близкому сближению».

Поначалу Фома рекомендовал своих родителей как людей аполитичных, просил товарищей держаться с ними настороже, не раскрываться. Он делал все, чтобы не вовлечь родных в свою опасную деятельность. Если что случится, подполье должно знать о их непричастности. Более того, он намекает, что отец его отказался вернуться в СССР. Конечно, кое-кто из руководства комитетом догадывался об истинных настроениях родителей, ведь долго скрывать постоянные встречи на квартире, печатание листовок, хранение их — все это было невозможно.

Фома к моменту знакомства с Михаилом Ивановичем, оказывается, уже возглавлял группу русской эмигрантской молодежи. Все они входили в известную молодежную организацию «Норма» (национальная организация русской молодежи).

Первым из военнопленных познакомился с Фомой Федор Чичвиков. В одном из кафе на Александрплатц собирались иностранцы — «западные рабочие». Чичикову понравился «красивый, интеллигентный молодой человек, который родился в России, но вырос в Берлине». «Главное, что отец его не был белоэмигрантом, а был профессором, выехавшим в Германию для работы, — пишет М. Иконников. — Нам было известно, что такой обмен специалистами у нас был. Обычно мы не доверяли белоэмигрантам, но здесь был исключительный случай. О Фоме Чичвиков доложил полковнику

Бушманову, который посоветовал основательно «прощупать» Фому. И, если ему можно доверять, установить с ним контакт. Были подключены ряд подпольщиков с этой целью, в том числе и я. Меня познакомил с Фомой Антипин Николай. Мы, бывшие студенты, вскоре нашли общий язык. Фома знал в совершенстве французский, немецкий и английский. Его знания помогли нам переводить листовки с русского на эти языки. Федор убедился, что Фома — надежный товарищ, и познакомил его с полковником Бушмановым. Фома горячо откликнулся на предложение Бушманова участвовать в подпольной работе. В мае 1943 года Фому Тимофеева ввели в руководящий состав «Берлинского комитета ВКП(б)». Так подписывались листовки, которые печатали болгарские антифашисты в тайной типографии немецкой коммунистки Эвы Кэмлайн-Штайн».

Фома помнится Иконникову как общительный, умный собеседник. У него появлялось множество идей, планов; он рвался выполнять любые задания, и хотя он был моложе Михаила Иконникова на три года, не служил в армии, не знал войны, но, как признается автор письма, «я преклонялся перед его умом и чистотой души... Он был порой детски наивен, слишком откровенен, не умел скрывать свои мысли».

Выдал группу Владимир Кеппен — сын белоэмигранта. «По его доносу (он был связан с абверовцем Эрвином фон Шульцем) были арестованы подпольщики, в том числе — Фома, Александр Романов, Николай Капустин. (Это его письмо родным Фомы сохранилось и приводится в повести, как свидетельствует Иконников. — Д. Г.)

В 1944 году Иконников встретил Федора Чичвикова в Тегельской тюрьме. Федор сообщил, что Фома вел себя мужественно, ничего не сказал в гестапо, несмотря на пытки. Чичвиков признался, что не ожидал от него такой стойкости.

После войны Иконников встретился в Москве с Бушмановым, и тот рассказывал о большой роли, которую сыграл Фома в берлинском подполье. Перед кончиной (в 1976 году) Бушманов просил продолжать поиски материалов о погибших товарищах. О том, что Фома погиб в Маутхаузене, ему не было известно.

Евгений Индутный тогда в камере узнал от Фомы, что следствие шло долго, Фому избивали, устраивали очные ставки и приговорили Чичвикова и Тимофеева

к смертной казни. «После хлопот отца и матери Фоме заменили смерть пожизненной ссылкой в концлагерь. Мы надеялись, что, может, нас сошлют вместе. Но утром увели сначала Фому, а позже пришли за мной». Это было в ноябре 1943 года.

Всего вместе с Фомой Тимофеевым погибло восемь участников берлинского подполья. Судьба остальных складывалась по-разному: они устраивали побеги, участвовали в других подпольных группах. Михаил Иконников весной 1944 года в Тегельской тюрьме встречался с Мусой Джалилем. И В. Кучерявый, и М. Иконников достойны специального повествования, настолько это интересные характеры, биографии и настолько это малоизвестная страница войны. Но как бы потом ни трепала судьба этих людей, все они, оказывается, сохранили в памяти своей трогательный облик этого берлинского советского юноши Фомы Тимофеева.

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Конец пятидесятых годов пылал счастливым ожиданием новых перемен. Кроме всеобщих надежд, вскипали еще свои, научные: создание новосибирского Академгородка, при нем интернатов для одаренных детей — математиков и физиков. Собирались на московских квартирах, страстно обсуждали — как воспитывать в закрытых учебных заведениях, кого там выращивать. А. А. Ляпунов заманивал лингвистов, гуманитариев ехать преподавать этим вундеркиндам, вычислял норму чтения художественной литературы, составлял программу его — что именно полезно для будущих математиков. Всерьез считали, что под покровительством математики станут развиваться искусства. В Академгородке организовали выставку картин Павла Филонова, которого еще нигде не выставляли, затем сделали выставку Фалька.

Лихорадочная, путаная кривая мечтаний ученой братии в те годы то взмывала вверх, то круто осаживалась. Кибернетику, за которую ратовал А. А. Ляпунов, один из замечательных математиков страны, объявили «лженаукой, порожденной империализмом». На кибернетику нападали не специалисты, а философы вроде В. Колбановского. Их профессией была битва «за советскую науку против ее идейных противников». Они гро-

мили генетиков И. Агола, С. Левита, Н. Вавилова, пока их не арестовали. Затем боролись с О. Ю. Шмидтом. В. Колбановский присоединился к Лысенко. От одной борьбы переходил к другой. Ни дня без борьбы. Эти философы ничего другого, кроме борьбы, не умели. Против кибернетики он открыл самостоятельный фронт борьбы; тут он был командующим и все силы положил на то, чтобы задержать развитие этой науки. Надо признать, он добился своего, добился бы и большего, если бы не активность А. А. Ляпунова и А. И. Берга, которые целиком отдались защите кибернетики, ее пропаганде, утверждению.

Первое, что бросалось в глаза при знакомстве с Ляпуновым, это неисчерпаемая доброта. Однако этот добрейший человек проявил в битве за кибернетику беспощадность, неслыханную твердость и изворотливость. Привлек академика Акселя Ивановича Берга на свою сторону, добился выпуска сборника «Проблемы кибернетики», старался обеспечить кибернетику базой математических исследований.

Ляпунов и Зубр сошлись сразу и полностью, как будто дружили с детства. Понимали друг друга с полуслова. Так же у Зубра происходило с И. Е. Таммом и П. Л. Капицей. Никто из них не считался с тем, что Зубр не академик, и Зубр тоже не считался ни со своей «безлошадностью», ни с их титулами. Особенно вцепились друг в друга Ляпунов и Зубр. Ляпунов проектировал курс математики для биологов на восемьсот часов. «Замысел этого курса, — пишет он Зубру, — возник еще в Миассове под Вашим влиянием». Зубр отвечает: «Я взял и написал для вас, кибернетиков, «Микроэволюцию». Постарался, с одной стороны, охватить все существенное, с другой — выражаться просто. Получилось тридцать два параграфа в афористическом стиле, иначе, чем все писания об эволюции».

Никто не хотел приютить крамольную кибернетику. Ляпунов дома собирал своих учеников, они слушали доклады, обсуждали их. А летом все вместе уезжали в Миассово. Ученый понимал, что как бы ни ругали кибернетику, все равно надо готовить для нее кадры, готовить теорию, математический аппарат — задел, который он мог создавать своими силами.

Домашние сборища запрещали, но Ляпунов продолжал читать на дому лекции по теории программирования. Использовал малейшую возможность выступить

с лекциями по кибернетике у инженеров, у военных, у медиков. В домашнем кружке читал для студентов-биологов теорию вероятности, показывая, как статистическая безграмотность приводит некоторых агробиологов к фантастическим выводам. Он стал как бы связным лицом между математиками, физиками и биологами. Он боролся за реабилитацию одновременно гонимых кибернетики и генетики. Организовывал письма физиков в ЦК партии о бедственном положении генетики. Война избавила Алексея Андреевича Ляпунова от чувства страха за себя. Он начал воевать с декабря 1941 года и дошел до Кенигсберга старшим лейтенантом.

Из-за роскошной черной бороды его иногда принимали за Курчатова. Они были совсем разные с Зубром, и тем не менее Ляпунов хорошо дополнял нравственный климат, который сложился в Миассове. Ляпунов, например, никогда ни с кем не публиковался совместно. Зубр почти всегда совместно. При этом и тот и другой исходили из одинаковых принципов. Зубр считал, что раз он вынужден пользоваться собеседником, оппонентом, то они должны быть соавторами. Алексей Андреевич был бесконечно добрым человеком, никому не мог отказать. Зубр мог отказать, но мог и сам, без просьбы помочь неожиданно.

Познакомились они на вокзале в 1955 году. Никогда до того не виделись, слышаны были друг о друге. Собирались в гости на дачу, где их хотели познакомить. Стояли порознь в очереди в кассу. И вдруг Зубр подошел: «Вы — Ляпунов?» Каким-то нюхом вызнали друг друга.

Я спрашивал: что привлекло Ляпунова в Зубре? Мне отвечали: кипучая натура, широта научного мировоззрения, стремление к четкости научных формулировок, стремление выделить единицы в биологических процессах. Но ведь ничего этого не было, когда они стояли в очереди в кассу... Людей притягивает друг к другу не сходство взглядов на элементарные единицы. Есть скрытая магнитная сила, которая влечет нас к одним и отталкивает от других одинаково незнакомых людей. Они оба были действующими вулканами, в их грохоте и пламени ощущался жар подземных сил. Старомодные рыцари порядочности, они сразу узнали друг друга.

Сколько с тех пор прошло разочарований, сколько надежд высмеяно. Стоит узаконить кибернетику — и пойдет, наладится управление, информация... Восста-

новим генетику — начнется изобилие. Расцветет наука в Академгородках, станет независимой, оценят таланты..

История разочарования — самая полезная история, если вообще знание истории может чему-либо научить. И все же те пятидесятые годы вспоминаются с нежностью.

Сочетание Зубра с Ляпуновым, с другими производило неожиданный эффект. Академик Лев Александрович Зенкевич был старше Зубра, помнил его еще студентом. «Оба огромные дяди, глыбы, ходили почти молча, понимая друг друга без слов, — вспоминает С. Шноль. — Они напоминали мне древних ящеров. Я с опаской полоскался между ними. Они как два философа на картине Нестерова; ход мыслей их связан со вселенной, верой, сознанием, идут, погруженные в молчаливый спор».

Зубр с Зенкевичем сидели за праздничным столом и громко обсуждали, почему стало много инсультов. Пришли к мысли, что раньше, во времена их детства, на постоянных дворах, в гостиницах клопы производили кровопускание, вводили в кровь антикоагулянты, и инсультов было меньше. У Зубра никогда нельзя было понять, что означают его шутки, — вроде чушь, а что-то в них есть...

Явился на юбилей Зубра Борис Степанович Матвеев, один из учителей Зубра. Молодым, конечно, было удивительно видеть живого учителя их учителя. Борис Степанович вел у Кольцова практикум по позвоночным. Вдруг он спрашивает при всех Зубра:

— Колюша, мы хорошо вас учили?

— Хорошо, Борис Степанович.

— А скажи мне тогда, Колюша, пожалуйста, как называются рудиментарные вены у млекопитающих, оставшиеся от рептилий?

Все замерли. Отмечали семидесятилетие Зубра. Борису Степановичу было за восемьдесят, но для молодежи оба они были одинаково ветхозаветными старцами.

Зубр засопел, насупился и выпалил:

— *Vena azygos* и *vena hemiazygos*!

Этого Борис Степанович не вынес, заплакал, и Зубр тоже умилился.

Сукачев, Прянишников, Астауров, Вавилов, Кольцов, Зенкевич... Из таких людей составлялась горная цепь. Они создали масштаб высоты. По ним мерили порядочность. Их боялись — что они скажут? Настоящего, постоянно действующего общественного мнения не доставало, повырубали, что называется, обществом научную среду, которая определяла бы нравственные критерии, осуждала бы такого-то за плагиат, за эксплуатацию учеников, за бесчестные поступки, хвалила бы за гражданскую смелость, за порядочность. Общественное мнение заменяли отдельные ученые, в которых счастливо соединялся нравственный и научный авторитет. Но, как говорится, дни их угасали, великаны отходили во тьму, никто их места не замещал. По крайней мере так нам казалось.

Все меньше становилось тех, чьего слова боялись. Не перед кем было стыдиться. Одни умирали, других усылали, одни замолкали, другие отчаялись. Их правила чести становились слишком трудными, поэтому их называли старомодными. Они уходили в легенду — Пророки, Рыцари Истины, Хранители Чести.

Теории, работы, созданные когда-то товарищами Зубра, разрослись так, что первоначального ствола не стало видно. Открытия, вызывавшие некогда восторг, изумление, превратились в само собой разумеющееся, труднодоступное — в наивные рассуждения. Те мамонты, которые еще доживали, многого в новейшей науке не понимали и не принимали. Как говорят, ученые не меняют взглядов, они просто вымирают. Новые поколения со школьной скамьи усваивают новые взгляды: через два-три десятка лет их надо опять менять.

Все меняется — трактовка, объяснение, связи, понятия гена, клетки, законов наследственности. Но есть вещи, которые остаются от ушедших ученых. Их нравственные поступки, их нравственные правила, законы их порядочности. Это живет — в той же среде биологов, например — долго, удивительно долго, передается от учеников к ученикам учеников, составляет основу каждой «гильдии». Зерна чести прорастают сквозь поколения, раздвигая камни, надгробия.

Когда речь заходила о Сукачеве, говорили прежде всего о том, как он выступал в защиту леса, против

хищнических лесозаготовок в те годы, когда подобные мнения считались вредными и были опасны.

О чем, допустим, вспоминали на заседании, посвященном столетию крупнейшего гистолога Алексея Алексеевича Заварзина? О его доброте, неутомимой заботливости, о шумной веселости и — о непримиримости к злу. О том, как после доклада О. Лепешинской, заполненного ненаучной ахинеей, Заварзин поднялся на трибуну и сказал: «Если бы студент мне показал препараты вроде ваших, выставленных к докладу, я бы его выгнал вон!» — и с раскатистым хохотом сошел в зал.

Иногда подход этих людей к обычным для нас делам поражал. Однажды я спросил у Симона Шноля: не обкрадывали ли Зубра, не присваивали ли идеи, которые он так беспечно высказывал любому? Шноль обрадованно подхватил:

— Стащить? Стащить можно часы с рояля, а рояль не стащишь. Зубр иногда умолял — стащите! А никто не тащит. Говорят — слишком тяжело. Украденная вещь требует внедрения. В технике тащат то, что очевидно, что можно сразу пристроить. Мутагенез стащить нельзя. Дельбрюк, например, когда приезжал сюда, всячески убеждал нас, что главный автор его открытия — Тимофеев-Ресовский, его идея... Правда, когда он получал Нобелевскую премию в Стокгольме, почему-то не сказал этого. Забыл, наверное. Но я уверен, что Николай Владимирович не обратил на это внимания, он рад был, что идея его пошла.

Для С. Шноля, оказывается, с этого «не тащат» начинается другая проблема, которую он развивал Зубру: почему не тащат, почему не замечают, почему пропадают великие открытия?

— Открываем, потом забываем, потом воскрешаем. Сперва хороним, потом эксгумируем, и начинается новая жизнь. Безумие! Расточительность! Может, можно не хоронить? Есть же закономерность нового знания. Муки рождения мысли связаны с суммой взглядов на мир. Дарвин дал теорию эволюции. Эта теория могла быть создана за пятьдесят лет до него. Почему надо было ждать полвека? Великий биолог Дэвид Кейлин открыл то, что за сорок лет до него открыл шотландский физик Мак-Мун; он посмотрел на крылышко моли в спектроскоп и пришел к выводу, что гемоглобиноподобные вещества есть всюду, и был раздавлен великим австрийским биохимиком Комози. И вот Кейлин полу-

чил Нобелевскую премию, прославив Мак-Муна, прославил себя. Но зачем надо было давить Мак-Муна? Это просто была уверенность в себе, уверенность в том, что другие дураки.

Отблески вулканического пламени Зубра полыхали на его остром лице. Когда они — и С. Шноль, и А. М. Молчанов, и Володя Иванов, и другие — начинали говорить о Зубре, во всех них что-то светилось. Они стараются быть беспристрастными и строго отмечают всякое нарушение нравственных правил, ставят в вину Зубру неприятнейшее ехидство, грубость. Коля Воронцов вспоминает, как сурово кидался Зубр на него, на Яблокова.

— Очень тяжелый был собеседник, синяки, которые от него оставались, долго не отходили. То, что я тратил время на общественные дела, вызывало у него ярость.

И по лицу Воронцова ходят все те же счастливые отсветы давних огней.

Нравственный уровень Зубра открывался не сразу. Вначале производила впечатление его манера общения, его эрудиция, сила мысли.

В его присутствии молодые проходили труднейший урок — доблесть не в том, чтобы доказать преимущества своей идеи, а в том, чтобы отказаться от своих заблуждений, позволить себя опровергнуть, сдаться истине. Это бывает горько, но это единственная возможность остаться в строю.

Гете писал в «Фаусте»: «Ты равен тому, кого понимаешь». Владимир Павлович Эфроимсон сказал мне когда-то по этому поводу: «Энвэ был выше меня потому, что я его не понимал. Но дело в том, *как* я его не понимал. Не понимал, как не понимаем мы чутье животного. Поражала его работоспособность, энергия. Все равно он многого не успел, но он успел связать нас с теми, с кем цепь времен порвалась».

Он принижал себя, мой собеседник, но делал это беззаботно, как всякий талант.

Я спросил у Валерия Иванова:

— Попробуйте рассуждать без личной заинтересованности. Наука, как вы понимаете, не знает границ, ей все равно, где был открыт ген — в Канаде или Японии, важно — когда. Она интернациональна по своему смыслу. Какая ей разница, где работал Зубр — у нас или в США, куда его звали после войны. Уехал бы из

Берлина на Запад и тоже работал бы успешно, избежал бы обид и неприятностей, а прибыль науке была бы та же.

— Извините, это представить себе невозможно, чтобы он у нас не остался. Моя личная заинтересованность — это заинтересованность целой школы. Создать школу удастся не многим. Человек сто, если не больше, обязаны ему. Это не профессорское обучение. Это было воспитание. Нет, нет, науке не все равно. Нигде бы он не сумел развернуться так, как на родине. От его присутствия наша наука получила... как бы это сказать?.. Достаточно несколько крупных ученых, чтобы определить расцвет. Вот из фашистской Германии уехали десять больших ученых — и все, вышел воздух. Физика, затем математика и биология пришли в упадок. То же было в Италии. Критическая масса нужна. В Сибирь Лаврентьев взял с собою человек восемь-десять больших ученых — и появился настоящий центр науки...

Склонности к философии у Зубра не было. Однако биология заставляла его задумываться над вечными вопросами о смерти, душе, а значит, и о вере. Мысли его были не вычитанные, а нажитые. Молодые тянулись к нему с этими вопросами. Вот один из таких разговоров.

— Мы с тобой оба глубоко верующие, — говорил Зубр. — Только разница между нами в том, что я верю в существование высших сил, а ты веришь в их несуществование. Доказать ни я, ни ты свой тезис не можем, и никто не может.

— Но я все время вижу отсутствие этих высших сил, их ненужность. Мир обходится без них и действует на основе других сил, познаваемых, логичных.

— А эти высшие силы недоказуемы по определению. Они — высшие, непознаваемые. Доказать их существование нельзя. Иначе они утратят свои атрибуты как высшие... Я считаю мою систему более простой и удобной для человеческого бытия. А у тебя надо все время признавать веру в несуществование.

— Вы вот отлучаете науку от религии, а наука занимается существованием.

— Наука может устанавливать связи между явлениями, а решать исходную задачу философии она не может и за это не отвечает.

— Любая религия — это просто ошибочная наука, потому что настоящая наука способна на основании своих постулатов и логики описывать факты и часто предсказывать действия материального мира...

Это был не спор, а именно разговор, не философов, а естественников, обсуждение на их уровне проблемы, в частности проблемы души и ее бессмертия, что тогда волновало Зубра. Шла речь о том, что научная постановка проблемы души бессмысленна. Существует или нет душа — научно рассмотреть нельзя. Это дано каждому непосредственно, и тут другому ничего нельзя доказать. Наука не может доказательно опровергнуть тезис о бессмертии души. Но и религия также не может доказать свой догмат о продолжении существования души после гибели тела.

— К сожалению, проверить экспериментально, сохраняется ли твоя душа, никакой другой возможности, кроме смерти, не существует, — заключил Зубр.

И опять все повисло между шуткой и серьезностью.

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

То, что он все еще не был членом Академии наук, создавало неловкость. Не для него. Не тот был характер, чтобы из-за этого чувствовать себя ущемленным. Неловко чувствовали себя другие биологи, увенчанные и признанные. Для учеников Зубра положение представлялось несправедливым, более того — абсурдным. Решено было втайне от него что-то предпринять. Главные хлопоты взял на себя Николай Николаевич Воронцов, а затем к нему подключился Алексей Владимирович Яблоков. Написанные ими тогда бумаги составили большую папку; по ней можно судить, какую огромную работу они на себя взвалили. Прежде всего надо было расчистить путь, разъяснить историю его пребывания в Германии, отвести облыжные обвинения. И вот с конца шестидесятых годов Воронцов и Яблоков посылают запросы, собирают свидетельства, документы, поднимают архивы, пишут справки. Н. Н. Воронцов и А. В. Яблоков — ныне известные биологи, со своими учениками и школами. Н. Воронцов — доктор биологических наук, А. Яблоков — член-корреспондент Академии наук СССР, оба признанные, много сделавшие, прославленные... Они уже не помнят, что в те годы они, занимаясь делами Зубра, рисковали своей карьерой. Им давали

понять, предупреждали. На них ничего не действовало. Они жили в счастливом убеждении, что если защищают правое дело, то бояться нечего. Они добиваются приема у руководителей разного рода инстанций. Показывают материалы, разъясняют, убеждают. Их поддерживают академики, кто имел представление о работах Зубра. Можно лишь поражаться энергии и самоотверженности и Н. Н. Воронцова, и А. В. Яблокова, я уж не говорю об А. А. Ляпунове, М. В. Волькенштейне. Я находил в этой папке письма академиков А. Яншина, Л. Зенкевича, В. Меннера, А. Прокофьевой-Бельговской... Не скрою, мне доставляет удовольствие перечислять фамилии людей, которые выступили в поддержку кандидатуры Тимофеева.

Ценность собранных документов в том, что они официально и окончательно снимают все формальные возражения, слухи, какие циркулировали в то время. Например, я нашел там примечательное письмо президента Академии сельскохозяйственных наук ГДР Ганса Штуббе академику Энгельгардту:

«...Николай Владимирович известен мне с 1929 года, когда он был руководителем отдела Кайзер-Вильгельм-Института в Берлин-Бухе. Нас связывали в то время общие научные проблемы. При обсуждении этих проблем и во время следовавших затем вечерних прогулок было удобно беседовать и о все более обострявшихся политических вопросах. В Бух тогда был приглашен Г. Мёллер, американец, Нобелевский лауреат, и его присутствие вызвало споры с национал-социалистами буховского института. С полной ответственностью утверждаю, что Тимофеев-Ресовский постоянно был на стороне антифашистов. Это могут подтвердить другие свидетели, такие как профессор Мельхерс (Тюбинген), профессор, доктор Баур. Из нашего общения постепенно образовался маленький кружок ученых, который превратился в активную группу Сопротивления. Ученые, которые в последующие годы притеснялись фашистскими властями, находили при встречах в Бухе возможность откровенного обмена мнениями, получали указания о наиболее целесообразном поведении. Сам я преследовался в 1936 году за антифашистскую деятельность и был уволен из Института гибридизации. Тимофеев был для меня в это время образцовым советчиком. Молодые коллеги удерживали его от излишней

активности, что позволяло относительно спокойно вести научную работу. Кое-кто из его сотрудников вел антифашистскую деятельность вне института, и, если я не ошибаюсь, некоторые из них переходили на нелегальное положение, чтобы избежать ареста».

Далее он пишет о гибели Фомы, судьбой которого он занимался после войны, и завершает:

«С момента моего знакомства с Тимофеевым и до конца войны он был для меня не только учителем в науке, его высокие человеческие качества привели к нашей тесной дружбе, которая неизменно сохраняется до сих пор».

Я знал Ганса Штуббе, они с Зубром однажды нагрянули ко мне в Ленинграде. Мы просидели целый вечер, но мне не пришло в голову спросить Штуббе про антифашистскую группу в Бухе. Однако и сам Зубр не заводил разговора об этом, не воспользовался приездом Штуббе в СССР, не заручился его свидетельством.

Неверно было бы считать, что его не заботила собственная репутация. Еще как заботила! Почему же он молчал, так упорно отмалчивался? Я настойчиво допытывался об этом у Воронцова и у Яблокова. С некоторыми оговорками они сходились в одном — гонор мешал. Оправдываться не желал, доказывать свою честность, порядочность, любовь к родине. Не желал защищаться гибелью сына. Гордость не давала. Самолюбие.

Перед кем оправдываться? Перед клеветниками, шпаной, людьми, лишенными совести? Кровь потомственного русского дворянина заставляла его молчать. Он-то знал, что ни в чем не виноват, и этого знания ему было достаточно. Гонор его захлестывал: если вы мне не верите, я не унижусь до объяснений. Что говорить, спесь не ум, а далеко ведет. Но было тут и самоуважение, дающее свободу от всех суждений. Прежде всего он был ответствен перед своими предками, перед честью своей фамилии. А перед вами, господа любезные, — нет и нет.

Чувства эти мало кто понимал, слишком они были архаичны.

В нем вздыбился аристократизм. Это с ним бывало. Не зря биофизики выбрали для своего юбилея его фотографию, где он восседает на ступеньках лестницы закутанный в одеяло, — ни дать ни взять, римский патри-

ций на ступеньках сената. Патриций это время от времени надувался и перед нами без меры. Но тот же аристократизм заставлял его к рабочему человеку относиться уважительно, без хамства. Он мог уничтожить кого-либо пренебрежительным взглядом, словом, и опять же в этом не было хамства. Была разница положения, таланта, воспитания — разница между мрамором и булыжником, гончей и дворнягой...

Отмалчиваясь даже перед друзьями, он поступал неумно. В этом, кроме прочего, было еще обидное высокомерие. Теперь, оценивая случившееся, можно понять Зубра, но нельзя его оправдать. Он позволял себя любить, и только. Он не разрешал себе быть перед нами несчастным, обиженным, не искал наших утешений. Это было неравенство, тайное чувство превосходства человека иных сил, прав и обязанностей.

Он ведь и в трамвае не ездил. Только на такси. Расплачивался бумажками. Мелочь не признавал — плебейство! Спесь пучила его и в большом, и в малом. Яблоков неумоимо ходил по учреждениям, хлопотал за него. Но однажды сорвался: «Какого черта, почему сам не шевельнется, не походатайствует о снятии судимости?» Он ответил: «Я никогда ни о чем не просил и просить не буду». Проявить бы хоть немного гибкости: написать о ком-то рецензию, похвалить, упомянуть, сослаться, признать — мало ли возможностей? И это помогло бы решить вопрос с Академией наук. Но он ни на что не шел.

Интересно, что Яблоков не заспорил, не воспринял его ответ как чванство, снобизм. Фраза вырвалась у Зубра из глубин родовых, стародавних. Яблоков точно уловил в ней принадлежность к другому веку, нрав предков. В чем-то Зубр ощущал себя ближе к Александру Невскому, чем к современникам.

Он был случайно уцелевшим зубром. Когда-то они были самыми крупными из зверей России — ее слоны, ее бизоны. Тяжелая махина, плохо приспособленная к тесноте и юркости нынешней жизни, одинец, небывалый бычище...

«Исчезновение зубров — безвозвратная гибель частицы опыта адаптации к изменяющимся условиям существования. Миллионы лет копила жизнь этот опыт адаптации...» — прочитал я в одной работе о зубрах.

Конечно, мы не знаем, как эта «частица» поддержи-

вала равновесие, как она способствовала развитию человека, но как-то она действовала. Без зубров что-то изменится и в человеке.

Библейский Иов вел себя человечней: «Вот я кричу «обида!», и никто не слушает; вопию, и нет суда». Иов призывал Бога к ответу, искал справедливости, требовал встречи с Богом, чтобы доказать свою невиновность. Он не боялся единоборства. Он горько жаловался друзьям на беззаконие Бога, на безжалостность его, оправдывался перед ними, просил их внимания, сочувствия: «Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражение уст моих».

Зубр на месте Иова, наверное, надменно молчал бы, презирая оправдания, жалобы. В этом была его независимость и свобода от всех властителей вплоть до Вседержителя. Собственное достоинство было для него превыше всего. Пусть другие выясняют правду, тем более что правда, обнаруженная другими, убедительнее.

Так ничего он и не открыл про антифашистское Сопротивление в Бухе, про то, чем занимались Фома и его друзья.

Утрата оказалась непоправимой.

Но глубоко в душе, сквозь все осуждения и попреки, я завидую его безоглядной свободе.

С Академией ничего не получилось. Кандидатуру его не допустили до выборов. Начальство убоялось. И с начальством спорить тоже убоялись. А ему это было вроде бы совсем безразлично. Не получилось, и ладно. Может, это поражение, а может, так и надо. Все относительно, и вчерашняя ошибка может стать победой. Стоит повернуть выключатель, и минувшее осветится иначе. Щелчок — и все хорошо; щелчок — и все плохо. Щелчок: прошлое — цепь потерь. Щелчок — и оно предстает как цепь везений, открытий. В самом деле, сколько их было, угроз неминуемой гибели, а ведь уцелел, жив курилка. Можно было печалиться о том, как он терял родину, о том, как неприветливо она приняла его. Можно было радоваться тому, что он вернулся на родину и как горячо она приняла его.

Несколько жизней осталось позади. Три? Пять? Он не подсчитывал. Где-то дымились потухшие вулканы

его увлечений. Текли реки. Воды их опали, вошли в русло. Шумели рощи. Раскинулись долины, пройденные им когда-то. Туманы ползли в неведомых нам ущельях.

Кончено дело, зарезан старик,
Дунай серебрится, блистая...

Путешествие по Америке, мраморные столы в греческих ресторанчиках, высокие стаканы с мутной мастикой, итальянские дворики, тень олив, залы конгресса... Некоторые его жизни так и остались скрытыми, знание мое было неполным, я неуверенно обводил лишь известные мне контуры, прерывистые пунктиры жизни, соединял точки, между которыми зияли провалы. Там смеялись неизвестные мне женщины, пылали вождедения и страсти, происходили попойки и драки.

Архив Зубра пропал. Пропали письма, документы. Пришлось собирать его жизнь по обрывкам. Иногда отыскивалось такое, что никак было не пристроить, черт те знает откуда оно вывалилось. Ну кто бы мог подумать — законопослушность! Качество, которое, оказывается, свойственно ему было так же, как еретичность. Судебный приговор, например, он принял как должное. Был закон о невозвращенцах? Был. Нарушил он этот закон? Нарушил. Все.

Стихи были для него дороже, чем его наука. Он ставил их высоко, как музыку. В глубине души он признавал талант живописца, талант поэта даром божьим, как, например, красивый голос. То есть это было нечто ниспосланное свыше. Наука была для него иное. Ученый обладает способностью задавать точные вопросы природе, находить, улавливать, понимать ответы на них. Тут нет ничего исключительного. Раз я, Тимофеев, это могу, следовательно, и другие могут. А вот стихи настоящие написать — это я не в состоянии (а сколько я их прочел!), рисовать не могу, музыку сочинять не могу. А в науке все и всё могут.

Как выглядел мир его мечтаний? Куда он уходил в них — к звездам, к травам, букашкам? Что подавлял он в себе, какие страсти и желания?.. Что знаем мы про внутренний ход жизни человека, совсем несхожий с его речами и поступками? Что знаем мы про тайные страхи, несостоявшиеся подвиги, укоры совести?.. Что знаем мы про людей, о которых, казалось бы, знаем все, — что творилось на душе у Пушкина или Гоголя? Разве стихи

исчерпывают душевную жизнь поэта? По капле дождя разве поймешь, что делается в облаке?

В 1965 году Зубра наградили Кимберовской медалью «За замечательные работы в области мутации». И до этого его награждали весьма почетными медалями — Дарвинской (ГДР), Менделевской премией (Чехословакия), медалью Лазаро Скаланцани (Италия). Он был действительным членом академии немецкой, почетным членом — американской, Итальянского общества биологов, Менделевского общества в Швеции, генетического общества Британии, научного общества имени Макса Планка в ФРГ. И многих других организаций, которые ему надоело перечислять. Подобные знаки внимания были, конечно, приняты, но он не придавал им значения. Кимберовская медаль была крупнейшей наградой генетиков, она заменяет Нобелевскую премию, поскольку Нобелевской для биологов нет, в ней — признание серьезных заслуг, признание международное; и Зубр с удовольствием показывал всем ее большой золотой диск и бронзовую копию. Тщеславие его было удовлетворено. Особенно его веселила бронзовая копия:

— Предусмотрена на тот случай, если золотой оригинал придется загнать для пропитания, то есть предвидится будущая нужда и безработица награждаемых корифеев. В основе, так сказать, славы заложена ее непрочность...

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

Одним из поздних учеников Зубра был Анатолий Никифорович Тюрюканов. Большой, мужиковатый, с физиономией грубой, как он сам говорил, «шлакоблочной», по виду недалекий, простак, по выговору работяга, из разнорабочих — словом, не скажешь, что ученый, да к тому же тонкий, культурнейший человек. Не то чтобы он специально создавал такой свой образ (хотя это часто бывает!). Но природа явно готовила его для одного, а в последний момент душу и ум вложила совсем иного предназначения, как бы показывая, что всякие соответствия формы и содержания, то бишь вида и сути, — ерундовина, человека предугадать невозможно, по внешности определять — пустое занятие; и сколько бы мы ни изучали, как соотносятся обличье и душа, человек остается загадкой. К счастью.

По специальности Анатолий Никифорович почвовед. Посему Калужскую область в числе прочих он исколесил, исходил пешком и в свободное время тешил Зубра рассказами про «Калуцкую губернию»:

— ...Вообще-то, слушать он никого не любил, а тут слушал...

Было это уже в Обнинске, куда Тимофеевы переехали в шестидесятые годы. Калужская губерния была родиной Зубра. И, слушая рассказы Тюрюканыча, как он его звал, Зубр вздыхал, причмокивал, мычал: «Да-да-а...» Что-то у него там внутри ворочалось и томилось.

В девяностые годы отец Зубра, будучи уже солидным инженером-путейцем, возрастом под пятьдесят — не шутка! — строил в здешних местах железную дорогу от Сухиничей. В один прекрасный день, шествуя куда-то по просеке, сломал ногу. Рабочие оттащили его в ближайшую усадьбу. Пришлось отлеживаться недели три. Ухаживала за ним помещичья дочь, милая, тихая, застенчивая девица, с которой образовался роман; роман их развивался в точности по традициям, установленным со времен пушкинского «Станционного смотрителя». Правда, молодой человек был не гусар, не офицер, но в девяностые годы инженер-путеец был фигурой модной, не менее романтической, чем гусар. Нечто вроде космонавта сегодня. Молодым он тоже не был, но девица засиделась, по тем понятиям двадцать девять лет — перестарок. Любовь их вспыхнула без оглядки на возраст, не считаясь с деспотическим нравом матери невесты. Захудалый род Тимофеевых не устраивал Всеволожских, гордых своим происхождением от Рюриковичей.

— Сегодня первым делом смотрят, кто родители, их образование, положение, — заметил Тюрюканов, — тогда ж в расчет брали дедов, прадедов, происхождение, так сказать, генетику, какого ты рода.

Чтобы как-то подравняться, Тимофеев приобрел поблизости от Всеволожских именице на берегу речки Рессы. Средств у него хватало. Тем самым он вошел в калужское дворянство. От речки Рессы стал Тимофеевым-Ресовским. Речка Ресса течет до сих пор и, по словам Тюрюканова, остается самой чистой речкой, какую он знает. Воду из нее можно пить.

— Случайно, видать, уцелела, поскольку не имеет промышленных постояльцев и стратегического значения.

Раньше Русскому географическому обществу дано было право по случаю свершения какого-то полезного дела присваивать человеку двойную фамилию. Например, Семенов-Тянь-Шанский, Муравьев-Амурский. Тимофееву пожаловали Ресовского ввиду его путейских заслуг.

Переселение Зубра в Обнинск было возвращением в калужское детство. Счастье, подаренное как раз тогда, когда память о детстве оживает сладкой печалью. Любимой темой Зубра было героическое прошлое Калужской губернии. В пятнадцати километрах от Обнинска находится Тарутино, там происходил марш-маневр кутузовской армии. Далее на реке Протве стоит церквушка, построенная боярином Лыковым по случаю изгнания поляков из Москвы и воцарения Михаила Романова в 1613 году. Церквушка — красавица, и стоит — загляденье. Рассказывал он про подвиг судьи Саввы Беляева в войне 1812 года. Французы, наступая, из пушек палили нещадно. Как их остановить? Савва Беляев сообразил: спустить воду из запруд. Вокруг было много мельничных запруд. В одном Козельском уезде во времена Петра было сто четыре водяных мельницы на маленьких речушках. Разобрал Савва первую запруду, затопил часть пушек французских, редуты. Все было потоплено. Пришлось французам возвращаться на старую Смоленскую дорогу.

Рассказывая это, Зубр страшно возбуждался, заставлял Тюрюканова возить гостей на те места, показывать что да как.

В один из таких моментов, взволнованный, схватил он лист бумаги, нарисовал план тимофеевского поместья: «Вот какое у нас было расположение в Конецполе».

Название происходило от конца мешковского ополья на границе моренных и лесных ландшафтов — конец поля.

Рисовал он кухню, галерею у дома, березовую аллею, где грачовник был, плотину на речке, улицы деревенские.

Тюрюканов тут возьми да скажи: «А почему бы нам не податься туда? Посмотрим, что осталось».

Зубр зафырчал, руками замахал, но его стали уговаривать, упрашивать: чего, мол, бояться? Конечно, им-то чего бояться, им не страшно. Однако позже Тюрюканов

признавался, что почувствовал, как коснулись они столь глубинного, чего и сам Зубр в себе не подозревал.

Уломали. Раздобыли машину, поехали. Перед самым выездом случилось одно происшествие: Зубр ни с того ни с сего вспомнил про какого-то тамошнего продавца — ворюгу, подонка, прохиндея и всякое такое. Распалился, занегодовал, а почему — неизвестно, да и неинтересно, поскольку никто понятия об этом типе не имел, и вскоре про этот взрыв возмущения забыли.

Сопровождали Зубра несколько его учеников. Сам он сидел впереди, на капитанском месте, возбужденный, восторгался ландшафтами, узнавал их, то есть характер ландшафта, дух, потому что полвека прошло (поездка эта была в 1967 году) — многое изменилось, забылось.

Проехали Мещовск, старинный городок, где, по рассказам Зубра, обитали лучшие басы. Двинулись дальше. Тюрюканов поднапутал, велел свернуть не там, однако признаваться не стал, чтобы не сбить настроение учителя, тем более что беды особой нет, так или иначе должны вырुлить на Конецполье. Добрались до Серпейска, ну тут Тюрюканов решил уточнить дорогу. На крылечке сидит милая старушка с самоваром. Подошел Тюрюканов к ней, она объяснила, как ехать. И тут вдруг он спросил, не слыхала ли она про Тимофеевых-Ресовских. К ним они едут.

Она отвечает:

— Как же не слыхать, я ведь их меньшего сына Виктора нянчила...

А Виктор — это брат Николая Владимировича. Известный в нашей стране соболятник. Между прочим, полная противоположность Зубру. Нетороплив, тих, застенчив. Он восстановил стране соболя. Во многом именно ему мы обязаны тем, что численность соболя стала больше, чем во времена Ивана Грозного.

— ...И Николая я знала.

Вернулся Тюрюканов к машине растерянный.

— Представляете, Николай Владимирович, эта женщина вашего Виктора нянчила.

— Как?!

Он выскочил, побежал к ней, целует, обнимает, чуть не плачет.

Потом из Обнинска он ей посылки отправлял, заболел.

Едут дальше, выехали из леса на поляну. Глядь — стоит домик. Развалюха. Появляется у домика старик.

Тюрюканов выпрыгивает, идет к нему проверить — правильно ли едут. Тот что-то бурчит. Воодушевленный встречей с няней, Тюрюканов спрашивает, слышал ли он про Тимофеевых-Ресовских. Старик скривился да как зашипит, как кулачками затрясет и принялся поносить их: кляп им в рот, сукины дети, бары с барчуками, угнетатели трудовых масс... Выяснилось, что это не кто иной, как тот самый продавец, который Зубру безо всякого повода вспомнился перед выездом.

Естественно, Тюрюканов ничего про этого встречного не сообщил, чтобы Зубра не расстраивать. Про себя же подивился происшедшему. Хороша случайность, чтобы именно на этой лесной дороге пересеклись пути двух человек, расставшихся полвека назад! А если прибавить сюда же встречу с няней, то никакая теория вероятностей не справится. Нет, извините, тут не иначе как вмешалась чертовщина.

Подъезжают к Концеполью, и — о радость! — сохранилась березовая аллея!

— Это матушка Екатерина распорядилась, — пояснил Зубр, — насадить вдоль дорог березы, чтобы путники не сбивались. Березы ночью в темноте лучше других деревьев видны.

Вековые березы выстроились белой колоннадой. Увидел он грачовник и ахнул — надо же, и он сохранился с начала века! От кирпичных же строений усадьбы остались развалины, торчали заросшие камни фундаментов — единственное, что не растащили. Стояло несколько лип старого парка. Спуск к реке еще существовал. Все-таки природа мудрее человека — она не меняет без толку хорошее на плохое. Все лучшее отбирает и оставляет, наподобие этого грачовника, что пребывает в березах столько грачиных поколений. Птицы гнезда свои не порушили, сберегли.

Все вышли из машины, один Зубр сидит, застыл, на приглашение не отвечает. Молчит, насупился. Еле уговорили его, считай, под руки вытащили из машины.

Спустился он к пруду, сделал буквально несколько шагов; все замерли, ждут от него ахов, чуть ли не сцены из «Русалки»: «Вот мельница, она уж развалилась...» Развалилось действительно все. Или развалили. Но все же на память должно приходить бывшее, и всякие воспоминания должны ожить. Он же стоит, оцепенев.

Как раз в эти дни чистили пруд. Воду спустили, обнажилось дно — грязная жижа, в вонючем месиве ле-

жат железные банки, ржавые колеса, гнилая лодка, торчит остов пружинного матраца. Зубр голову в плечи втянул, как от мороза, — ни шагу дальше. Потемнел лицом. Его просят в парк пойти, показать, что где было. Может, что уцелело. Он не отвечает.

На берегу из старинного кирпича сложена кособокая хибара, на ней вывеска: «Сельская библиотека». Для безразличного зрения Тюрюканова и прочих — домишко ничем не приметный. Для Зубра же... Сопит хрипло, не сдвинуть его с места, никаких уговоров не слышит. Вдруг рванулся, прямо-таки стряхнул всех с себя и бегом назад, в машину. Уселся, ни на кого не смотрит, скомандовал сиплым голосом:

— Домой! Поехали домой!

И больше ни слова. Закрылся наглухо. По себе знаю, по своему печальному опыту — лучше не возвращаться в места детства. Они никогда не становятся краше. Для Зубра на той детской картинке, которую он бережно сохранял в памяти, и эта хибара возникла своеобразной кляксой. Куда-то исчезла вода... Куда-то исчезло все, осталось страшное нутро пруда.

Спустя несколько дней он пробурчал:

— Тюрюканыч, ты того... лучше сам съезди в Концеполье, потом расскажешь, какие там почвы.

— ...Поехал я. Пробовал там расспрашивать старожилы. Никто ничего не знает — кому принадлежали эти земли, кто чего строил, делал. Живут иваны, не помнящие родства. Однако знаю, в любой глухомани все же кто-то наверняка краеведничает. Большей частью среди учителей. Так и оказалось. Был там директор школы, который записывал рассказы стариков. Про здешних помещиков Всеволожских, соседей их Тимофеевых, про сыроварню — сыры у них делали. Швейцарца они пригласили, он наладил технологию, так что производилось по наилучшим образцам. Сыры доставляли в Москву. Дворяне они были из тех, что сами работали от зари до зари. Любопытно, как они молоком снабжали московские магазины на Арбате, как ловко это у них организовано было. Молоко в бидонах, вечернего надоя, везли до станции двенадцать верст. Поспевали точно к поезду. Поезда тогда ходили по расписанию, тютелька в тютельку. По гудку паровозному часы сверяли в деревнях. Грузили бидоны, ехали до станции

Сухиничи. В Сухиничах вагон с бидонами прицепляли к киевскому поезду, и ранним утром свежее молоко было на Арбате. Все длилось одну ночь. Это с двумя пересадками, из глуши, из дыры, из Концеполья — до Арбата! Молоко приходило в Москву невзболтанное. Поставляли и сыры. Все это описано было в тетрадке учителя. Любопытным получился образ бабки Зубра. Писал ее учитель под Салтычиху, как нас учили про крепостников. Ругалась по-черному. Обливала девок кипятком в своих отчаянных злобах. Но уловил в ней учитель и нечто своеобразное, нарождавшееся тогда в России: образ толковой хозяйки современного, передового по тем временам производства молочных продуктов. Проживи она еще несколько лет, и швейцарца бы обогнала, такую бы индустрию наладила... Про Салтычиху я, естественно, Николаю Владимировичу говорить не стал. Доложил только, сколько в почвах азота, калия — обычный анализ, чтобы ему мозги не запудрить.

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Деньги свои он раздавал без счета. Пока жива была Елена Александровна, финансы находились в ее руках. Время от времени он орал: «Лелька, дай на книжки Тюрюканычу!», «Дай на дефективы!» После смерти жены, оставшись один, деньги он ссужал всем, кто просил. Студенты приходили просить, соседи, мастера. Бралаи взаймы, затем вскоре поняли, что он за человек, и долги мало кто возвращал. Не давать он не мог, неприлично. Просят, допустим, пятерку, он вытаскивает бумажку из кармана, вот, говорит, пятерки нет, бери десятку. Стали ходить нищие, сперва клянчили, потом настаивали. Бывали дни, когда он для них последнюю мелочь выгребал из карманов.

Дошло до того, что милиционер явился: «Николай Владимирович, прошу вас, не давайте вы всем этим прохиндеям. Слухи пустили, что у вас в коробке деньги. Мало ли чего удумают».

— Он всегда жил, как на площади, — точно определил один из его обнинских сотрудников. — Ему нужно, чтобы кругом были люди, слушатели.

Хорошо, если людей много, но можно и мало. Он мог увлеченно ораторствовать в камере, и перед конвойными, и перед уборщицей. Когда в Ленинграде он заболел

и слег в больницу, я навещал его. Палата была большая, человек на двенадцать. Его хотели перевести в маленькую. Он воспротивился. Тут была аудитория. Подле него всегда сидели любопытные, приходили слушать и врачи. До сих пор они помнят его. То, что он говорил, запоминалось навсегда — такая сила была вложена в его слова. Он забивал их, как гвозди.

А. Ярилен так говорил про отношение Зубра к нищим: он считал себя обязанным подавать. Не то чтобы видел в этом христианский долг: мол, милосердием очищаемся от грехов, — нет, не это лежало в основе его поступков. Их дело, считал он, — просить, мое — давать. И обсуждать тут нечего. Так устроено, таков социум.

— У нас есть три категории, которые работают хорошо, — говорил он не то шутя, не то всерьез, — это артисты балета, артисты цирка и таксисты. А есть такие, что работают более или менее, во всяком случае лучше, чем научные работники, — это нищие.

Обирали его беззастенчиво. Брали книги и не отдавали. Ярилен и другие друзья вынуждены были буквально выдворять настырных посетителей.

У него случались пароксизмы отдачи. Дни дарения.

— Допустим, начнет перебирать книги или пластинки. И примется тут же дарить. Не может остановиться. Отдавать ему интереснее, чем брать. Приходилось как-то прерывать это расточительство.

Мы возвращаемся к проблеме нищих: как к ним относиться? Мне, откровенно говоря, позиция Зубра непонятна. Александра Александровича Ярилена это не занимает: идеи, может, и завиральные, но он принимает Зубра целиком со всеми его недостатками. Зубр мил ему именно такой, какой он есть.

Да и я ведь обсуждаю все эти теории отдельно как таковые; они же были частью его характера, его поведения, без них он был бы другим; а хочу ли я, чтобы он был другим, пусть даже лучше? Нет, ни в коем случае. Для любви нужны не только достоинства.

Дни переборки книг, приведения в порядок книжных полок были праздниками. Тюрюканов, например, считал, что большей радости лично он не испытывал. Они могли возиться целый день. Зубр брал книгу, листал, вспоминал, что у него с ней было связано, какие мысли, возражения она возбудила, с каждой был свой спор, свои отношения. «Нет, это не тот Фомин, который... Это другой, не путай, он в таком-то году то-то

сделал, а брат его...» И начинался рассказ про автора. Он не так про книгу любил, как про автора. И так книжка за книжкой.

Любовь к книгам Зубр считал врожденным качеством.

Тюрюканов вспомнил, как они писали вместе статью:

— Разумеется, основополагающую, мы других не писали. Страниц двадцать на машинке получилось — биосфера, почвы, то да се. Двадцать страниц, и все от себя, никаких ссылок. Я говорю: неудобно, нужны, как водится, цитаты, ссылки. Конечно, на это Энвэ заругался. С какой, говорит, стати! «Да разве мы с тобой не сами, не своим ходом шли, чего мы будем сажать себе кого-то на шею?..» Ругался, ругался, потом бурчит: «Ну, кто там у нас больше всех строчил по этому вопросу и ничего в нем не понимает? У тех всегда длинные списки литературы». Достāju какой-то талмуд и нахожу огромный список литературы. Пошли мы по алфавиту. Моя обязанность читать имя автора. Идет Аболин. Он повторяет: «Аболин, Аболин, по-моему, подвергался гонениям. Ну, тогда ставь галочку. Дальше?..» «Берг», — говорю. «Лев Семенович? Упомянуть надо, хороший человек. Но сколько там Берга?.. Шесть названий... Куда, к черту, это не годится, давай четыре. Дальше?.. Вернадский... Вернадский — душка... Шестнадцать его?.. Много. При всем уважении оставим девять». Так мы и шли. «Это приличный человек, это цивилизованный господин, а это путаник, этот — прощелыга». Набралось примерно двести из шестисот. Так много нашел он достойных людей. Происходил поучительный, интереснейший отбор. Затем производили дальнейшую чистку, уже с развернутыми характеристиками авторских взглядов, пока не ужали до полусотни. Он говорит: «А где мы эту пеструю компанию цитировать будем? О господи Иисусе, давай читай нашу статью». Читаю первую фразу: «За последние годы в современном естествознании было много сделано в том-то и том-то...» «Вот, — говорит, — тут пиши скобку, и с первого до пятидесятого сюда вбухаем, в конец». Так и сделали, все были довольны, ничего читать не надо.

Каждый соавтор удивлялся его манере работать.

Николай Воронцов красочно рассказывает, как по утрам вместе с Алексеем Яблоковым они отправлялись в Обнинск на электричке к Зубру работать.

— Елена Александровна кормила нас и уходила на работу. Энвэ требовал, чтобы она кормила как следует, иначе мы помрем и ничего не напишем. «Начнем. Что в прошлый раз было?» Практически всю книгу он надиктовал. Шагал быстро из угла в угол и диктовал. Алеша с обезьяньим проворством успевал все записать, когда раздавался рык: «Ты погоди, погоди. Ты чего написал?» Тот читал. «Убери. Надо не так, а так. Это же лучше». Был такой случай. Алеша одну главу потерял. Явился к Энвэ с повинной. Ну что делать? Тот снова отдиктовал. Глава нашлась. Сравнили. Сошлось слово в слово, так все у него было продумано. Были разделы, которые писали мы. Читали ему. «Это хорошо, — заключал он, — а здесь мы напишем преамбулу».

Про то же самое рассказал мне А. Яблоков. Мне нравилось сопоставлять рассказы разных людей.

— Я брал на себя чтение литературы и перелопачивал за неделю все, что имелось по очередной главе. Кратко выписываю, делаю схему этой главы, как бы я ее написал. Приезжаю, читаю ему. Он начинал кипятииться: «Как это можно? Что ты берешь за основу? Да ты дурень!» — и принимался диктовать, не дает мне больше встречать. Я все же встречаю. Иногда после вспышки невероятной ярости его мысль поворачивала: «Черт с тобой, пиши!» И диктовал, учитывая мою точку зрения. Получалось чудо. Он диктовал готовый текст, который не надо было править. Происходила вспышка гения. Иногда на следующий день приеду и говорю: «Все-таки хотя мы и упомянули о том-то, но для дураков это не ясно». Он кричит: «Ну и черт с ними, пусть не ясно! Ну ладно, пиши». И выдает то, что я просил, но выдает совсем не в той форме, в какой я говорил. Много времени он уделял оглавлению, то есть композиции книги. Метод у него был такой. В первом плане, который умещался на одной страничке, намечалось подробнее, где, что потом расположится. Далее, после обговаривания, возникали детали — десять, а то и пятнадцать страниц. Вот эти пятнадцать страниц были уже подступом к книге, каждая глава была раздраконена хотя бы на полстраничке, все выстроено. Метод этот я принял и для себя — очень долго придумывал общую схему работы, ступенька за ступенькой расширяя ее.

Один он работать не мог. По молекулярной биологии, например, все его работы написаны с Дельбрюком.

Тогда Дельбрюк был молодым физиком. Он выступал перед Зубром в той же роли, что Воронцов и Яблоков.

В человеческой культуре самое древнее искусство — искусство общения. Когда не было ни театра, ни живописи, ни музыки, было общение. Из него родились все искусства.

Трудно определить, в чем состояло искусство общения Зубра и можно ли назвать это искусством. Он не навязывал себя, не захватывал площадку и в то же время мог ворваться бесцеремонно в любой разговор, расшвырять собеседников. Он выигрывал тем, что слушать его было интересно. Все оживало с его появлением, падало под напряжение. Его просили говорить, его хотелось слушать.

Делать доклад он шел как на праздник. В этом было для него больше самовыражения, чем в написании статьи. Шел счастливый от возможности что-то сообщить, в чем-то убедить; и люди тянулись к нему, чувствуя, что живое общение ему дороже всего остального.

Силы влияния или обаяния его личности были таковы, что люди, сами того не замечая, перенимали его выражения, его манеры.

— Годами я говорил, интонационно подражая Энвэ,— признался мне Молчанов.— Я даже не сопротивлялся, а активно вживался в эту роль, обезьянничал.

Его это не тяготило, у него не возникало комплекса Демочкина. Он подражал охотно, как и другие.

— Меня не волновала проблема обезьянничанья,— продолжал он.— Бывали у меня периоды, когда я прекрасно имитировал Энвэ, потом это исчезало.

Главным было — перенимать его мысли. Происходило запечатление, импринтинг — есть такой термин в генетике, запечатление на таком глубоком уровне, что спустя десятилетия мне воспроизводили его слова, его выражения, как он вскакивал, носился взад-вперед, как свирепел, добрел...

В Миассове большинство не понимало докладчиков. Как, впрочем, и на других симпозиумах, школах подобного рода. Да еще если математики и физики намешано, то не разберешь, в чем суть. Зубр на докладах обычно подремывал, опустив голову, свесив губу. Когда действие кончалось, он открывал глаза и подводил итоги. Все прояснялось. У него был талант извлечения смысла.

Он умел соединить частные, казалось бы, разрозненные вещи и сказать, зачем это нужно в-пятых. Это был один из его любимых вопросов: «Почему сие важно в-пятых?» И бывало, следовало печальное заключение: «В-пятых, сие вовсе и не важно».

Ему помогала замечательная память. Память — это не талант, но талант, обладая памятью, успевает во много раз больше. Анна Бенедиктовна Гецева рассказала: когда она приехала впервые в Миассово, познакомилась с Зубром и представилась, что она из зооинститута, то он спросил, кто у нее заведует отделом. Ах, Попов? Так это Владимир Вениаминович, он напечатал статью в 1921 году в таком-то журнале о таких-то таракашках? Как же, известно!.. А она сама и понятия не имела об этой работе шефа...

В Обнинске вокруг него по-прежнему бурлила, клотала молодежь его лаборатории, и те молодые, что наезжали из Москвы, и те, что тянулись, не могли оторваться от него со времен Миассова, и те, что прилеплялись к нему после каждой биошколы.

Собирались на его обнинской квартире (а где же еще?), обычная трехкомнатная квартира в стандартной новостройке, с низкими потолками. Урчал помятый самовар, Лелька разливала чай, он же носился взад-вперед по столовой, по своему кабинету, был так же размашист, зычен. Невозможно понять, как он мог бегать среди людной тесноты, неразберихи рук, ног, голов.

Ничто не менялось. Если не считать генетики, радиологии, биофизики и прочих наук.

Со времен Дроздоора порядок оставался тем же; все происходило точно так же, как в Берлине, как на Урале. Незыблемо, несмотря ни на что.

Как-то мы приехали в Обнинск вместе встречать Новый год. В молодежном застолье Зубр и Лелька мало отличались от своих аспирантов, сотрудников, от этих наехавших из Москвы и еще невесть откуда молодых. Песни они пели громче, слова знали лучше, он так же танцевал, так же дурачился. Читали стихи. Устроился капустаник. Стоял Большой Всеобщий Треп. Все смерчем завивалось вокруг Зубра, никто не ревновал, не соперничал с ним.

Наутро, выспавшись, катались на лыжах (вот этого он не признавал), а с обеда опять сидели за столом, допивали, доедали и уже не могли оторваться от ученых, то есть своих рабочих, разговоров, в которых я не смыс-

лил, но из любопытства записывал отдельные фразы. Его и не его, спровоцированные им:

— Инженеры забывают, что биосфера нужна не только в виде пищи.

— Избавиться от дураков нельзя, мы можем только тормозить их деятельность.

— Верхний ярус леса, если он мощный, например затененный, определяет нижний ярус — тенелюбы, теневыносливые. При лучевых поражениях страдает верхний ярус, освобождая нижний ярус, и тот начинает формировать верхний ярус.

— Синтетика, когда одно биосырье заменяют другим. Овцы — осиной... А что можно уничтожить быстрее? Это еще вопрос!

— Я думаю, что мы можем задохнуться быстрее, чем помрем с голоду.

— В природе есть угнетенные и угнетатели.

— Апостол Петр трижды отрекся от Христа, и это не помешало ему стать одним из главных апостолов.

— Давайте нарушим изоляцию популяции и проверим давление изоляции.

Они теребили какую-то идею накопления радиомутации, выхватывали ее друг у друга, грызли ее и так и этак, тянули в разные стороны. Это была игра, и это была работа.

Притомясь, запустили на проигрывателе грузинскую музыку.

Музыка входила в процедуру их общения. Зубру мало было рабочих споров, он организовал у себя на дому (опять же — где же еще?) нечто вроде семинара по истории музыки и вообще искусств. Собирались раз в две-три недели. По очереди выступали с разными сообщениями. Гуманитарное образование, рассуждал он, закончилось у всех его гавриков в школе. Музыкой, например, они последний раз занимались в седьмом классе, на уроках пения. С тех пор только укреплялись в своем невежестве и деградации. Поскольку в университетах на биофаках никакого гуманитарного пополнения организма не происходит. Несмотря на диплом высшего образования, а также аспирантуру, то есть наивысшее образование, все равно цивилизованными людьми их считать нельзя. И в этом дремучем состоянии они хотят превратиться в профессоров и преподавателей. Что окончательно опозорит нашу интеллигенцию.

Речи эти сопровождались наглядной демонстрацией серости, а то и полной темноты дегрантов, которые пытались отстоять себя. Проверки позорили и приводили строптивых к общему знаменателю.

Начались занятия семинара. Совершенно новая пища ума увлекла молодых. О грузинских песнях, инструментах. О Гайдне. О Рерихе... Саше Ярилену, например, поручили доклад о старых полифонистах. На плохоньком тимофеевском проигрывателе иллюстрировали.

Набивалась орава двадцать-тридцать душ. Сидели кто где — в коридорчике, на полу, под столом. Потом чаевничали с печеньем. Кто пристраивался ближе к хозяйке получить чай покрепче — «без обману». Собирались в восемь вечера, расходились в двенадцать.

— Хорошо нам было не информацией, а духом расположения, — рассказывал Александр Александрович Ярилен. — Мы ведь невесть какие знатоки, а он делал так, что мы не стеснялись. Может, потому, что он встречал, подначивал. Он любил выдвигать формулы: «В девятнадцатом веке я знаю четырех великих художников: Александр Иванов, Делакруа, Ван Гог и Врубель». И все. Спорить бесполезно. Он так считал, и попробуй Сурикова вставить. Не получится. Сомнет. Изрешетит. Но при этом формулы его запоминались, усваивались: «Леонардо всерьез гениальный человек. Всерьез гениальный человек — это здоровый человек. Бывает такой масштаб личности, что не поймешь, человек это или бог».

Ярилен вспоминал свою борьбу за Скрябина, которого он любил. Удалось добиться, что Скрябин пианист хороший, есть фортепианные вещи удачные, симфонические же — ерунда.

— И я соглашался, не сумел отстоять. — Ярилен не стеснялся своего поражения, он посмеивался, разглядывая те проигранные Зубру схватки. — Зато Римского-Корсакова он мне открыл. Я обожал Стравинского и узнал, что он тоже любил. Радости было много, мы обнялись. Густава Малера он, например, считал безнадежно скучным. Самое замечательное, когда он сам брался делать доклад. Все вырастало. Появлялись иные мерки. То, чего он не знал, угадывал, тоже было интересно. К своим докладам он готовился. Придешь чуть пораньше, он ходит, нервничает, бормочет. Так было и когда к нему приезжали школьники из Москвы, восьмой-десятый классы. Также готовился, материалы заказывал.

Ему безразлично было, академикам или ученикам читать лекцию — одинаково ответственно...

Года полтора эти музыкальные семинары шли хорошо, пользовались огромной популярностью. Счет их пошел на четвертый десяток, когда вдруг разразилась гроза. Появилось в городе новое *лицо*, новый начальник. Отличался он твердым убеждением, что на нынешнем этапе наибольшее зло и неприятности происходят от интеллигенции.

Проведав о каких-то семинарах на дому, он установил, что они нигде не оформлены, следовательно, являются недозволенными. Значит, не могут называться семинарами, а представляют из себя недозволенные сборища. Кто же их проводит? Ученый, который во время войны работал в фашистской Германии. Между прочим, насчет ученого тоже вопрос — что за ученый, если не имеет положенных дипломов. Он и не профессор, и не доцент. Сидел. Вообще личность, не заслуживающая доверия.

На семинары стали приходить неизвестные люди. Молча записывали. Затем с трибуны начальник разразился гневной речью с цитатами. Ничего эдакого-такого в цитатах не было, но в то же время они выражали аполитичность, безыдейность, отсутствие марксистского подхода. Сборыща, как он выразился, имеют «душок». Куда смотрела общественность? Как позволили, чтобы нашу молодежь... Кому доверили...

При своей гордыне Зубр и пальцем не пошевелил бы в свою защиту. Но семинара было жалко, и Зубр решил отправиться на переговоры с начальством. Его отговаривали. Никакое замирение с этим Лицом невозможно, зачем ему замиряться, у него совсем другой интерес. Однако Зубр был уверен, что сумеет растолковать, опровергнуть наветы, любому человеку можно показать, как полезны эти семинары для ребят. Явился он на прием. Смирненно сидел в приемной. Час, другой. Накалялся, но терпел. К обеду секретарша, притворив дверь кабинета, сказала: «Идите к инструктору, сам вас принимать не будет». Сказала, восхищенная могуществом своего тщедушного шефа над этой косматой громадиной.

Ученики его, эти молокососы, которым он втолковывал про Рубенса и про Стравинского, куда лучше него разбирались в порядках этих канцелярий и кабинетов.

Семинар прикрыли. Ничего не помогло. А раз прикрыли, то можно было искать виноватого. Виноват руководитель. Предложено было его из института уволить. И уволили.

Оборвались работы. Один за другим стали уходить его ученики, кто куда. Самого Зубра вскоре пригласил к себе в московский институт академик Олег Григорьевич Газенко, и там он проработал до последних своих дней.

В Кембридже, где была лаборатория Резерфорда, на стене изображен крокодил. Таково было прозвище великого физика. В Обнинске, может, когда-нибудь повесят доску с изображением зубра. Но тогда, в начале семидесятых, городскому начальству хотелось избавиться от этого человека. Им и в голову не приходило, что память его будут чтить.

В сентябре, перед тем как лечь в больницу, Зубр собрал друзей, старых и молодых. Ему шел восемьдесят второй год. Смерть Лельки пригнула его, словно тяжесть жизни навалилась уже неразделенная, тащить надо было за обоих. Нижняя губа еще больше выпятилась. Краски на лице поблекли, в бледных чертах резче проступила древняя его порода. Старческого, однако, не было, заматерел — да, но стариком так и не успел стать.

Мысль его оставалась свежей и острой. Недавно вдруг взял и продиктовал статью в «Природу» о том, что следует изучать в биологии. Статья произвела впечатление. Ему не было износа, хватило бы на столетие, если бы рядом оставалась Лелька.

Все понимали, что собрал он их неспроста. Старались шутить, вести себя как обычно. Не получалось.

Он сказал, что жизнь его была счастливой благодаря хорошим людям, окружавшим его и Лельку. Это была правда. У него не было ни горечи, ни обиды за все то, что пришлось перетерпеть, за клеветы, за несправедливые удары, за то, что «недодали»... Оказывается, куда дороже академических и прочих званий, кресел, наград было то, что много людей любили его, помогали. Ходили по очереди читать ему, держали его в полном курсе, вели его домашнее хозяйство. Народу вокруг него не убавлялось. Какие-то юнцы, совсем молодые, никому не знакомые, липли к нему, толклись табунами, хотя теперь у него вовсе не было ни положения, ни должности.

Приходили слушать, поднабраться, попользоваться, и это было хорошо.

Слово «прощание» он не произнес. Но понимали, что это и есть прощание. Происходило как у древних римлян — уходящий, покидающий этот мир призывал друзей, чтобы проститься с ними. Спокойно и мужественно они рассуждали о смерти. Например, бывает ли смерть славной, или же она безразлична. «Никто не хвалит смерть, хвалят того, у кого смерть отняла душу, так и не взволновав ее».

Он пребывал еще с ними, но в каком-то ином времени. Может быть, в прошлом? Но иногда он взглядывал на них затуманенно из такого далека, где вообще не было времени. Все понимали, что дойти туда необходимо, а вернуться оттуда нужды нет. И смерть оттуда никакое не явление, не загадка — она всего лишь конец жизни; можно этот свиток взвесить на руке, развернуть, посмотреть, что же там за рисунок получился, ибо жизнь сама по себе ни благо, ни зло, как догадались те же римляне, она лишь вместилище блага и зла.

Он не горевал, расставаясь с ними, то есть с жизнью. Может быть, потому, что ему мечталось встретиться с Лелькой. Не то чтоб он верил в загробное существование, но душа-то должна остаться. На это он надеялся. Душа ведь существует в виде какой-то психической точки, значит, души их могут встретиться. Это была вера для себя. Всего лишь вера, которую он не путал со своими знаниями.

Каждому он что-то присоветовал, мимоходом, чтобы без торжественности. А. А. Ярилену, например, сказал об иммунитетах: «Он, который этим не занимался, сказал мне несколько фраз, я запомнил их навсегда, они касались самой глубины, сути дела».

О своих работах он не говорил. Раньше или позже они станут «историческим этапом». В них будут обнаружены, уже обнаруживаются ошибки, погрешности, то, что он принимал за один процесс, на самом деле было три одновременных процесса — все это называется прогресс. Новое объяснение ждет та же участь...

Он уходил, как уходит зверь, почуяв приближение смерти. Звери забиваются в глушь, в тайные убежища. Люди уходят в себя, спускаются в долины памяти...

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

Биофизиков собралось много. Съехались они со всей страны. Формально — на праздник, но под предлогом праздника, развлечений и банкетов они проводили симпозиум. У них все шло наоборот. Впервые я видел столько биофизиков сразу. Выглядели они одинаково молодыми. Двадцатилетние, тридцатилетние, сорокалетние — при этом одинаково молодые. Свежие, загорелые лица... Усатые, бородатые, лысеющие мужчины, совсем юные девицы... Они одинаково бесились, у всех мелькали одни и те же словечки, шуточки, они одинаково хохотали, вернее, гоготали. Сходство объяснялось тем, что они имели одних и тех же «родителей», происходили из одного гнезда — из кафедры биофизики физфака МГУ, которая справляла свой юбилей — четверть века существования. Я попал к ним случайно. Мне давно надо было поехать в Пущино. Там у С. Шноля хранились пленки с записями рассказов Николая Владимировича. Мой приезд совпал с праздником юбилея кафедры, которую Зубр хорошо знал. С Зубром мне везло, удача преследовала меня.

Билет на юбилейные празднества был сделан затейливо — со стихами и карикатурами на нынешних руководителей кафедры. На развороте билета выстроилась шеренга бюстов создателей, вдохновителей отечественной биофизики в университете. Бюсты корифеев напоминали римских императоров. Они все были академики: Петровский, Тамм, Семенов, Ляпунов, — все, кроме Зубра. Но его бюст нарисовали в центре. А в зале заседаний, куда поставили большие фотографии, его портрет был самый большой — тот, где он сидел на лестнице закутанный в байковое полосатое одеяло. Одеяло выглядело как тога, сам он мог сойти за Цезаря.

Его давно уже не было в живых, но, похоже, никто с этим не считался. Обстановка была как в Миассове, как на его семинарах. Здесь царил его дух.

На сцену выходили докладчики, воспитанники кафедры. Они рассказывали о себе — кто что сделал после окончания. Говорили просто и весело, так что даже я кое-что понимал. Из зала перебивали репликами, острили. Сами докладчики подтрунивали над собой больше всех. Они предпочитали иронизировать, нежели преувеличивать значение своих работ. Такова была традиция — «никакой звериной серьезности». Судя по их

сообщениям, биофизика была сродни ловле лукавых бесов, выглядела наподобие игры в жмурки или игры «вверх-вниз». Правда, было не похоже, чтобы эта игра доставляла им большое удовольствие.

Принято считать, что научная работа дает человеку высшее удовлетворение. Открытие и есть подлинное счастье, бескорыстное, пример всем, кто хочет быть счастливым, — на этом вырастали поколения, это обещали романисты, да и сами патриархи науки утверждали так в своих обращениях к молодежи.

— Боюсь, что занятия наукой — патология, — сказал Лев Александрович Блюменфельд. Он выступил последним, в заключение, как заведующий кафедрой. Он не хотел ничем отличаться от своих студентов. — Многие из вас убедились, что удовольствие от науки — приманка для непосвященных. Радость успеха, что маячит впереди, достается так редко, что не следует на нее рассчитывать. Да и, кроме того, удовольствие вовсе не связано с большими результатами. Занятие наукой скорее напоминает мне болезнь вроде наркомании или алкоголизма. Пьешь потому, что не можешь не пить. Отказаться нет сил. Пьешь — и противно, как говорил один алкаш, но не пить еще противнее.

Лев Александрович припоминал, сколько у него лично было случаев такой радости за эти четверть века. Насчитал всего пять. То есть в среднем раз в пять лет выпадает успех, удовольствие найти что-то стоящее. И то один из случаев был ликованием неоправданным. Потом выяснилась ошибка — результаты пришлось опровергнуть, удача не состоялась. Остается четыре. Четвертый раз был десять лет назад, когда, чтобы что-то понять в неравновесных состояниях, пришлось писать о них книгу. До этого Лев Александрович сделал несколько докладов, в которых никто ничего не понял. Сам он понимал не больше слушателей. Когда же написал больше половины книги, сообразил, что к чему. Все прояснилось — и это было наслаждение.

Другой случай произошел, когда он лежал в больнице с инфарктом. Нельзя было ни читать, ни писать. Оставалось думать — «занятие малопривычное для научного работника». Стал он думать и обдумал проблему слабых взаимодействий в биологии.

Удачи и неудачи играют с исследователем в прятки. Возглавлял он одну работу, где обнаружил некие новые магнитные свойства в клетках. Обнаружили, возликова-

ли, опубликовали. Потом усомнились, испугались, стали перепроверять, нашли грязь и опровергли собственную работу. Было, конечно, огорчительно. Но, как говорится, за честь можно и сгинуть. Однако кое-кто продолжил работу и позже нашел, что сомневались зря, ферромагнитные вещества, о которых шла речь, все же существуют... Это была самая шикарная неудача... Остальное время потрачено на рутинные опыты, на занудную обработку данных, никому не нужные отчеты...

Мне было странно, почему он не щадил себя, с какой стати надо было подставлять борта этой стае юнцов, не знающих снисхождения.

— У меня есть работы, которые я делаю один, без соавторов, — продолжал он.

По залу прошел смешок. Это оценили. Не то чтоб ему внимали. Нисколько. Он не имел никаких преимуществ. Скорее наоборот — возраст был его недостатком. У него было всего лишь превосходство пройденной дистанции. Кое о чем он мог предупредить.

Непросто было соревноваться с молодыми. На классиков они смотрели с тайной улыбкой жалости. Они знали больше, чем покойные лауреаты Нобелевской и прочих премий. Им были известны их ошибки, несовершенство их методик. Приборы старинные, примитивные. Классики — значит, освоенное, устарелое. Наука — это не музыка и не литература.

Молодые были правы, и было что-то грустное в их правоте, в их беспощадности. Великим именам оказывалось должное уважение, им кланялись, но живого чувства не было. Зубра все помнили, но и он уходил в прошлое, полное заблуждений. Задевать его, однако, побаивались. Эти ребята обходили его с осторожностью. Он продолжал действовать, и в один прекрасный день могло стать, что прав он, а не они. На этом некоторые уже обожглись.

Оставаться лидерами среди них можно было, очевидно, только выступая на равных. Руководители кафедры сохраняли форму, потому что не пользовались никакими скидками — ни Л. А. Блюменфельд, ни старожил Пущина С. Э. Шноль. Им ничего не нужно было от своих бывших учеников, так же, как и тем от своих бывших учителей.

Я спросил одного парня из Риги, чего ради он приехал сюда, взял три дня за свой счет и приехал.

— Соскучился по ребятам, — с ходу объяснил он. Подумав, добавил: — Надо проверить свои идейки, обговорить. — Замолчал, наморщив лоб. Ему не хватало еще какой-то причины. — Может быть, потому, что здесь не стесняешься всякие глупые мысли высказывать. На работе-то неудобно...

Но чувствовалось, что и это было не все. Никто из них не мог точно объяснить — зачем им надо время от времени слетаться к бывшему гнезду.

Выпускники сидели по годам. Вдоль длинных столов ресторанного зала кучковалось более двухсот человек. Произносили тосты, выступали с воспоминаниями, с капустниками. Для выпускников последних лет Зубр стал легендой. Я подсел к первым выпускникам, где все его знали. У них до сих пор ходили прозвища, которыми он их окрестил. Вот — Трактор, а вот — Хромосома. Они проходили практику у Зубра в Миассове. Там им прочищали мозги, вправляли мозги, доводили до дела, до ума. Они пользовались остротами тех лет, фольклором, который передается из поколения в поколение: «Есть две точки зрения — моя и неправильная», «Нельзя спрашивать, как это происходит, надо спрашивать, как это может происходить».

Здесь все обращаются друг к другу по имени. Дяди и тети, они здесь становятся мальчишками, девчонками, им приятно, когда их отчитывают. Если бы я разговаривал с Андреем Маленковым в его институте, передо мной сидел бы солидный ученый муж. Сейчас мне рассказывал о Зубре мальчик, один из его поклонников:

— Я по образованию физик. Руководители нашей кафедры не биологи. Настоящее генетическое образование мы получили у Николая Владимировича. Мне вообще везло на учителей. Ляпунов научил меня мыслить математически. Последнее время я об этом размышлял, потому что мне надо определить стратегию моих работ. Важна школа, преемственность. Тимофеев — главное звено. Он во многом определил мою судьбу. Он научил рассматривать биологию эволюционно. Научить мыслить биологически — самое трудное. Связь физики и биологии, принцип дополнительности, мутации — все это врубилось в меня. Он был достаточно эгоистичен, свои устремления ставил на первое место. При этом к своим работам относился критично, критичнее, чем другие ученые... Отличал его оптимизм. Я занимался геронтологией и убедился, что долголетие невозможно

без оптимизма. Оптимизм дается генетически. Нажить его трудно. Несмотря на исключительную свою судьбу, Николай Владимирович был самым последовательным и энергичным оптимистом... Он обращался с нами беспощадно. Услышать его одобрение было непросто, а уж чтоб заинтересовать его, чтоб он начал вас слушать внимательно — для этого надо было все силы напрячь. К уровню мышления он был требователен, если кто-то начинал малоинтересное, не доказанное, он обрывал: «Чушь! Грязь!»

Кто-то еще включается в разговор с ходу, как будто мы обсуждаем актуальную проблему:

— ...Старые его меньше интересовали. Поэтому он так прилепился к нашей кафедре. Он, конечно, приукрашивал молодых, наносил на них лак двадцатых годов, но довольно успешно. У него было два принципа: один — хорошие люди должны размножаться, второй — наше поколение должно все лучшее передать следующему, а там как выйдет.

Они повторяли вещи, уже известные мне, но я не останавливал их.

— Лучших лекций я не слышал, чем у него, — вступает еще один из молодых. — По генетике, популяционной генетике, кроме того, по искусству: Чехов, Врубель и Серов. Всего у него было шесть лекций по искусству.

На следующее утро перед симпозиумом Андрей продолжил свой рассказ:

— С точки зрения науки, масштабности мышления Энвэ был намного выше всех. Вначале производили впечатление его темперамент, манера общения, эрудиция, значительно позже я мог оценить глубину его мышления. Мы с ним даже договорились написать одну работу о России. Он считал, что Россия не страна, а нечто большее — некий мир. Существует арабо-иранский мир, существует Дальний Восток, существует латиноамериканский мир, и существует Россия — материк со своей судьбой, путем, предназначением. У каждого материка есть свой смысл... Его волновал в последние годы вопрос о бессмертии души. Если добро абсолютно, рассуждал он, то это и есть бог. Зло относительно, а добро абсолютно — вот на чем зиждился его оптимизм. Он отличался при этом конкретностью мышления. Никогда не рассуждал о чем-то вообще. Человек во многом западный, он был рационален. Культура мышления не позволяла ему заниматься химерами. Это был русский

западник, петровская натура, с тем отличием, что высоко ценил людей... Расхождения у нас были. Я, например, в бессмертие души не верю. Бессмертие души — значит сохранение индивидуальности. Бессмертие в делах есть, но остальная личность растворяется, как бы человеку ни хотелось сохранить себя. Растворяется в некоторой цели развития, хотя цель эта, по-моему, существует.

— ...Он был географ, генетик, ботаник, зоолог, — добавляет Шноль. — Но дело не в широте, а, я бы сказал, в протяженности. Для него родной человек — Крашенинников, который пошел на Камчатку, исполняя волю Петра...

— А как вы думаете, — это кто-то из молодых обращается ко мне, — почему после разоблачения лысенковцев никто из его последователей не застрелился?

Этот вопрос вызывает общий интерес, отвлекает от Зубра.

Впрочем, дела давно минувших дней занимают их недолго. У них идут свои битвы. Лысенковщина — история такая абсурдная, что они не понимают торжества старших, неостывшего их гнева.

О Зубре им интереснее. Каждый что-то хранит в памяти о нем и преподносит мне как сувенир.

Вскоре спор перекинулся на тему, можно ли считать, что «Пиковая дама» — трагедия неньютоновской науки: я вот делаю так, должно из этого получиться что-то, а не получается! От этого можно с ума сойти.

Слушая их, я обнаруживаю словечки, обороты речи, заимствованные у Зубра. Они усвоили его манеру мыслить незаметно для себя. По крайней мере еще одно поколение он проживет, «разобранный» их душами. Все мы состоим из чьих-то советов, примеров, кому-то следуем, кого-то повторяем. Зубра осталось много. Казалось, он тратил себя нерасчетливо. Ничего подобного! Это был, пожалуй, самый верный способ передать себя другим... Как он говорил, наше поколение должно все лучшее передать следующему, а там как получится.

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Жизнь обладает одним чудесным свойством: она, как хлеб, не приедается. Обнинск был для Зубра не просто новым местожительством, новой работой в Институте

медицинской радиологии, но и возвращением в Калужскую губернию, к родным местам детства. Родина — это всегда детство: старый деревянный дом, который живет в памяти, — огромный, со скрипами, вздохами, солнечной сухой пылью, запахом сушеных грибов, зеленым мхом колодца и запахом, влажным запахом реки из него, а еще роща со страхами перед совами и ужами, с крутой лестничкой вниз, к зеленому пруду.

Обетованная земля была ему дарована в завершение пути. Отсюда он никуда не уйдет, не уедет с земли своих предков. Пришел конец его паломничеству.

Новые ученики, новая молодежь, новые семинары, летняя школа на берегу Можайского моря. Все повторялось, как в Миассове, по следующему кругу.

Летом он отправлялся с Лелькой путешествовать пароходом по Енисею, Амуру, Каме, Волго-Балту, Оби, Белой. Его тянуло посмотреть новые края. Если бы он не был зоологом, он был бы путешественником. Он сидел бы на палубе, часами глядел на медленное кружение берегов, деревень, на пристани, на полеты чаек. Он упивался Россией. Месяц проплывал огромный, как целая эпоха. Экскурсии он пропускал, в города не сходил, его влекла природа. Он смотрел, думал, работал.

Особенность его таланта состояла в том, что он умел находить главное и заниматься им. Ныне, когда времени для жизни оставалось в обрез, дни стали короче и стрелки вращались быстрее, предстояло выбрать последнее, главное.

Замечу, что его отношения со временем всегда были уважительные, он чтит своенравность этого неслышного потока, который то мчался, то еле двигался. Все в мире было сделано временем и из времени. В том числе и человеческая жизнь. Но время было не однородно и не равноценно. Из него можно было выбирать лучшее, превращать пустое время в золотые часы и минуты.

Однажды вечером я застал его ликующим: домашние собрались в кино, он же в самую последнюю минуту отказался идти, остался дома и выиграл два часа превосходного времени.

По глади водохранилища плыли желтые листья. Это под водой в разгаре лета осыпались несрубленные берзовые рощи. Сердце у него болело при виде больных, заваленных гнилыми бревнами речек, опустевших лесов, озер, затянутых нефтью и грязью. Зеленый покров России рвали на части, сдирали до подзола. Лучше дру-

гих он понимал, как уникально чудо, сотворенное природой после миллионнолетних поисков. Чего стоило хрупкое равновесие тайги, степей, равновесие ландшафта, что удерживают лисы и синицы, божьи коровки и кроты, черви и бабочки — две, а то и три тысячи составляющих, сложнейшая система переменных. Система саморегулирующаяся, устойчивая, пока в нее не вмешался человек.

Откуда ее устойчивость — вот над чем он размышлял. Каковы пределы устойчивости? Как живые существа приспосабливаются друг к другу и сохраняют из поколения в поколение равновесие?

Он решил ввести в эту задачу человека. Решить проблему взаимодействия биосферы и человека. По крайней мере, очертить эту проблему.

Природа болела человеком. Человек не умел видеть землю как живое страдающее существо. Как укрепить силы этого существа? Как повысить производительность биосферы земли? Он предложил основы для анализа развития биосферы, ее взаимодействия с человеком.

До сих пор люди видели в природе прежде всего лакомые куски, жадно хватались за них, не заботясь о последствиях. Колокол тревоги звучал слишком тихо.

Одно дело заповедники, крохотные резервации, из милости оставленные природе, другое дело природоохранная деятельность.

В семидесятые годы его высказывания встречали отпор. Большинство людей, даже среди ученых, считали, что главное — это показатели производства, сельского хозяйства. Охрана природы — сантименты, занятия для интеллигентов, людей непрактичных. Считали, что природа безгранична, воздействие на нее человека ничтожно. Настоячивые призывы Зубра вызывали раздражение. Ему намекали на саботаж: «Вы что же, хотите остановить работы? Нам не нужна забота о природе, которая мешает развиваться промышленности». Его обвиняли в политической безграмотности — природу надо защищать от хищничества капиталистов, а не социалистического хозяйства. С грустным смешком применял он тут слова Капицы: «Это напоминает мне девицу, которая хочет отдаться по любви, а ее непременно хотят изнасиловать». Правда, Капица говорил это по другому случаю, о себе, о своих мытарствах. Но хорошее сравнение работает как поговорка.

В Институте медико-биологических проблем академик О. Г. Газенко с трогательной заботливостью опекал Зубра, дал ему возможность до конца дней осуществлять себя. Занимался он там вопросами космической медицины, наладил генетические исследования. Относился к нему Газенко с почтением и нежностью. Под конец жизни еще раз повезло!

Некоторые из ученых вызывали у Зубра недоумение. Они покорно соглашались с варварскими проектами, мало того, давали одобрительные заключения строить губительные предприятия на озерах, вырубать леса, возводить плотины, рыть каналы... Другие копошились в своих углах, избегая всяких конфликтов. Наука помогала человеку покомфортнее устроиться за счет природы. Мелиорация, атомная техника, химикаты — повсюду происходили непредвиденные последствия, тяжелые ошибки, наука теряла престиж. Порой она выглядела угодливой служанкой.

Обсуждая науку, он пробовал найти причины опустошающей ее беззаботности. Неумно ведь осуждать волков, пожирающих оленей, или саранчу, истребляющую зелень. Разум — продукт природы, он не может возвышаться над ней; то, что он творит, входит в неизвестные нам закономерности... Он не оправдывал — он искал сочетания наивыгоднейших вариантов сосуществования разума с биосферой.

Красавицы сосны стояли, заломив ветки над зыбким вечерним туманом. Березы сохраняли свет, кроны их золотились, озаренные закатом, сосны были черными, от них начинались сумерки.

Дни его убывали. Пребывание на этой земле заканчивалось. Не было уже Лельки; и он так до конца не мог понять, как жить без нее. Оставалась наука. Наука не имела конца, да и то, чего он достиг, потеряло былую цену. То, над чем он трудился все годы, загадки этого мира, которые он раскрывал, которые пожирал с неослабным аппетитом, на которых рос его дар, — все это померкло перед главной тайной жизни.

Ему не хотелось ничего переиначивать в своей судьбе. Он понимал, что главную тайну разгадать не удастся никому никогда, и это утешало его.

Вновь он сидел в кресле на верхней палубе, над ним, крича, кружились чайки. Когда-то он занимался ими.

Среди зоологов он более всех чтил орнитологов. Он шутил, но с гордостью, что он единственный из зоологов, кого в «природных условиях обкакал пеликан»!

Птицы вели себя загадочно. Взять хотя бы их песни, их язык. О чем они переговаривались? Птенцы могли лететь через океан без сопровождения родителей. Как они находили свой остров в океане? Допустим, это записано в наследственном коде, — но как эта запись переходит в ориентацию, в маршрут?

Река ширилась, величаво приближалась к устью. Жизнь его тоже приближалась к устью. Былые наветы, обиды, история с Академией наук — все, что когда-то волновало, осталось позади, виделось мелким. Он чувствовал себя рекой, текущей уже долго и бог знает откуда. В нем были воды верховья и тот исток, с которого все началось; в сущности, он жил много раньше, чем появился на свет, он был из прошлого века. Россия Тургенева, Чехова и Россия гражданской войны, Россия послевоенная, современная, Европа довоенная, гитлеровская Германия, атомный мир — в нем сошлись все эпохи нашего века, и все они продолжали пребывать в нем...

Иногда мне кажется, что он не умер. Если он мог прийти к нам из прошлого века, то он мог и уйти туда. У индейцев в одной из легенд говорится про день, когда с заоблачных пастбищ спустятся бизоны, помчатся по прерии. И мужчины племени будут бежать за ними, чтобы почувствовать дрожь земли под тяжестью исполинов, чтобы вернуть себе чувство страха и восторга.

ВЫБОР ЦЕЛИ

В апрельский полдень 1945 года на берегу Эльбы встретились части нашей Пятой гвардейской армии с частями Первой американской армии.

Эльба напротив городка Торгау неширока. На пароме через реку, с торжественно развернутым американским знаменем, подплывают к нашему берегу американские офицеры. Пожилой американский генерал, с планками боевых орденов, берет знамя и вручает его советскому полковнику.

— Это знамя мы пронесли от Соединенных Штатов через Атлантический океан в Англию, через Ла-Манш, на берег Эльбы. Передавая вам знамя, я передаю вам и офицерам вашей Армии мою любовь и уважение.

На крутом «американском» берегу толпятся солдаты, машины, танки, и наш берег полон солдат, замерших в торжественном внимании к этому долгожданному и праздничному моменту войны.

Советский офицер принимает знамя, вручает американцам альбом с медалью «За оборону Сталинграда».

— Дружба наших народов, выкованная в огне войны, скрепленная кровью, должна остаться навеки!

Американский генерал взволнован:

— У меня не хватает слов... Дружба между нашими народами выльется в союз на долгие годы...

— А теперь прошу вас к нам обедать! — приглашает советский офицер.

Залпами из автоматов, винтовок солдаты на обоих берегах салютуют встрече. Приветствия на кумаче полыхают сквозь пороховой дым. Развешаются союзные флаги. Солдаты обнимаются, угощают друг друга походным своим довольствием — сигаретами, махрой, водкой, виски. Обмениваются пуговицами с гимнастерки, дарят сувениры: звездочки, открытки, конверты — кто

что может. Заиграл баян, зазвенела песня. Смешалась русская, английская речь, каким-то образом объясняются, понимая что к чему, а главным образом «по-немецки»: «Гитлер капут! Фашизм капут!» Обмениваются открытками — вот Кремль, а вот Капитолий, Белый дом. Огромный негр и наш мальчишечка-сержант отплясывают друг перед другом в полукруге у самой воды, кто кого перепляшет.

Внимание кого-то привлек плывущий по реке шар, довольно большой, величиной с хорошую тыкву.

— Мина!

Негр, в хмельной бравате, хватает автомат:

— Гитлер капут, мина капут!

Остановить, задержать его уже невозможно, единственное, что успевают крикнуть:

— Ложись! — И все привычно плюхаются на землю. Строчит очередь. Взрыва нет. Станный этот шар, мокро блистающий на солнце, крутится, прошитый пулями, и продолжает плыть, медленно погружаясь в воду, среди всеобщей тишины.

Русский сержант прыгает с берега, бежит по воде в своих высоких кирзовых сапогах, палкой подгребает шар.

— Мать честная, глобус! — восклицает он с жалостью.

Оказывается, это всего-навсего большой школьный глобус. Сержант поднимает его. Из пробоин тонкими струйками хлещет желтая вода. Сержант стоит, расставив ноги, и бережно держит над собой, на вытянутых руках этот израненный пулями, блистающий голубой шар, со всеми его океанами и материками.

Потсдам. Резиденция И. В. Сталина в Бабельсберге. Большая бильярдная. Играют Сталин и Жуков. Молотов видит, как Сталин прицеливается и мажет, подставляя шар. Молотов предостерегающе поглядывает на Жукова. Сталин берет мел, натирает кий.

— Вячеслав Михайлович, маршал Жуков сам знает, что надо делать.

Жуков прицеливается и не может удержаться, кладет шар в лузу. Игра закончена.

— Что-то маршал Жуков стал часто побеждать, — хмуро произносит Сталин и направляется в столовую. Прохаживается вдоль стола, на котором расставлены

супницы и стопки чистых тарелок. Поднимая крышки и заглядывая в супницы, он приговаривает:

— Харчо... куриная лапша, нет... а вот и щи... нальем щей.

Жуков и Молотов тоже наливают себе щи, садятся за стол.

— Что произошло с Трумэном? — говорит Молотов. — Его словно подменили. Стал вдруг заносчив. Вы обратили внимание — даже Черчилль поглядывал на него с удивлением. Похоже, что американцы готовы сорвать конференцию. Хотят, чтобы мы пошли на их требования насчет Болгарии и Румынии.

— Я знаю, почему Трумэн стал неговорчивым, — говорит Сталин. Он открывает бутылку вина, нюхает его, разливает не торопясь, поигрывая паузой.

— После заседания Трумэн, как бы невзначай, сказал мне, что у них появилось новое оружие. Бомба. Необычайной разрушительной силы. Черчилль стоял чуть в стороне, так он впился в меня глазами. Я сделал вид, что ничего особенного, пусть они подумают, что Сталин ничего не понял.

Молотов говорит:

— Цену себе набивают.

— Пусть набивают. — Сталин смеется. — Надо будет переговорить об этом с... как его, — в досаде щелкает пальцами, но никто не может подсказать. — С Курчатовым! — вспоминает он малознакомую ему фамилию. — Да, с Курчатовым!

На лодке, в конце жаркого августовского дня, возвращались по реке трое рыбаков. Курчатов в заплатанных брюках сидел на корме, выставив руку, по большой его ладони ползла божья коровка.

Божья коровка, улети на небо,
Принеси мне хлеба,
Черного и белого,
Только не горелого... —

как в детстве, приговаривал он и осторожно дул ей под брюшко, пока она не выпустила из-под оранжевого своего панциря прозрачные крылышки, взлетела.

Вьется река. Мимо навесистого ивняка, мимо полей с высокими хлебами, серебристыми овсами и полей пустых, незасеянных. Откуда-то, из-за плеса, доносится

песня, поют хором, весело и в то же время чуть надрывно. Рыбаки причаливают в заводи к берегу, поросшему ольшаником, берут снасти, кукан с уловом, поднимаются по обрыву.

Перед ними открылась сожженная, полуразрушенная подмосковная деревня. От колокольни остался разбитый снарядами каркас. На околице стоит заросший лопухами горелый немецкий танк. Торчат могучие остовы русских печей; между черными развалинами уже белеют подлатанные свежими досками, тесинами рамы, двери, флигеля, редкие избы. Кирпичи разобраны, сложены аккуратными грядками.

Рыбаки — Курчатов, работник ЦК Зубавин и Переверзев, помощник Курчатова, — подходят ближе.

Во дворе стоят столы, уставленные нехитрым угощением тех трудных лет. Идет гулянье. Вернулись с войны первые демобилизованные солдаты. Они, двое, сидят во главе стола при всех своих медалях и значках, окруженные радостью, заботой баб, инвалидов, детей, стариков.

Начинается мирная жизнь. И люди сегодня веселятся без тоски, без слез.

— Заходите, заходите, — приглашает рыбаков хозяйка. — У нас такой праздник. Вернулись наши! Живы, здоровы!

Переверзев и Зубавин смотрят на Курчатова.

— Не неволь, Настя, может, им неинтересно с нами. А от угощения не отказывайтесь.

Курчатов кланяется ей, подходит к столу:

— С возвращением!

Они садятся за столы, сооруженные из досок, положенных на ножки из кирпичей. На скатертях печеная картошка, капуста, огурцы, свиная тушенка из армейского пайка. Их рассадили между женщин, и сразу начались смешки, и «ах, пожалуйста», и «кушайте на здоровье».

Соседка спрашивает у Курчатова:

— А вы ведь молодой, почему вы, извиняюсь, с бородой? — И тут же прыскает: — Как складно получилось: молодой, молодой, зачем ходишь с бородой!

— Я зарок дал на фронте, — поясняет Курчатов. — До победы не бриться. А теперь привык. И скажу вам по секрету — нельзя мне ее снимать.

— Это почему?

— На работу не пустят. На пропуске-то я с бородой заснят.

Девушки смеются:

— Разыгрываете?

Зубавин спрашивает у хозяйки:

— Где тут есть телефон?

— В сельсовете, ребяташки проводят.

Он отдает ей улов:

— Вот, пожалуйста, присоедините...

И уходит. А за столом уже поют, выводят:

За Доном гуляет,
За Доном гуляет,
За Доном гуляет
Казак молодой...

Курчатов подпевает, постепенно входя в широкий разлив этой старой песни.

Зубавин вернулся, подошел сзади к Курчатову, присел, будто помогая петь, и тихо на ухо:

— Американцы сегодня сбросили атомную бомбу. На Хиросиму. Город разрушен. Нас вызывают. Сюда выехала машина.

— Ах ты... Боже мой... — Курчатов замечает устремленные на него взгляды. Но в это время вдруг частым перебором ударила гармонь, и все вскочили, закружились.

Поднимая пыль, потянулось стадо, несколько коровенок, которые возвращались с пастбища.

Курчатову припомнилось другое: огромное мычащее стадо измученных, недоенных коров, что шли мимо Эрмитажа, мимо могучих атлантов, мраморных портиков, мимо дворца, мимо Капеллы.

Июльский полдень сорок первого года, когда усталые, запыленные колхозники гнали эту процессию сквозь город. Прохожие молча стояли на тротуарах, глядя на необычное зрелище. Остановились трамваи, машины. Никогда еще Дворцовая площадь не знала такого. Курчатов на «эмке» напрасно пытался пробиться. В конце концов он тоже вынужден был остановиться, выйти из машины.

Идут, тянутся по набережной, протяжно, голодно мыча, коровы с запавшими боками, изможденные долгой дорогой.

В маленьком сквере Физико-технического института собирается отряд ополченцев. Свалены в кучу чемоданчики, рюкзаки. Люди на этой июльской жаре снимают пиджаки, пальто, плащи, сворачивают их в виде скаток.

Из парадной института выносят ящики, грузят в машины. Часть института эвакуируется. В коридорах перестук молотков, стружка, сотрудники несут приборы, пакуют. Печальная эта картина пустеющих лабораторий почему-то мало трогает Курчатова. Он мчится, перепрыгивая через доски и коробки, взбудораженный радостью.

— Еду! — сообщает он каждому встречному. — Разрешили! Еду на флот, в Севастополь!

Заглядывает в непривычно просторные лаборатории, где стоят пустые длинные столы, высокие распахнутые шкафы, голые стеллажи.

— Абрама Федоровича не видели?

Иоффе в своем кабинете, тоже частью опустошенном, складывает в стопку какие-то оттиски, справочники — самое необходимое.

— Абрам Федорович, получил вызов! — с порога, ликуя, объявляет Курчатов. — Поздравьте, теперь все в порядке.

Иоффе смотрит на него с любовью и жалостью:

— Это вы называете «все в порядке»?

— Буду в Севастополе налаживать защиту кораблей от магнитных мин!

Иоффе слушает его пылкую речь без сочувствия. И так нелегко видеть, что творится с институтом, а тут еще расходятся, разъезжаются лучшие сотрудники, цвет института, руководители ведущих лабораторий.

— Абрам Федорович, дорогой, не могу я ехать с вами в Казань, не могу.

— Что останется от лаборатории... какая была тема, как все шло...

Курчатов беспечно машет рукой:

— Кому это сейчас нужно, Абрам Федорович, все наши атомные исследования сейчас роскошь. Все для фронта! Верно? Воевать! Флёров ушел в армию, Петержак на фронте, Александров в Севастополе. Чем я хуже? Самое насущное надо делать, самое главное...

Зазвонил телефон, Иоффе слушает, кивает словно бы на слова Курчатова и вдруг, отложив трубку, говорит грустно:

— То, что нужно, мы знаем... А вот что окажется ненужным — это неизвестно.

Удивительное у него лицо, то старчески мудрое, то совершенно молодое.

Вырезки из разных газет, журналов: карикатуры на Рузвельта. Чьи-то руки подклеивают их в альбом, одну за другой, едкие и беззлобные, смешные и пошлые...

Большой письменный стол. Высокое до потолка окно выходит на зеленую лужайку. За столом, в кресле с двумя флагами по бокам, сам президент США, это он перебирает свежую партию карикатур на себя для своей коллекции. Странное увлечение, которое развлекало Рузвельта в последние годы его жизни.

За кофейным столиком напротив президента Александр Сакс, плотный мужчина, примерно одних лет с президентом, продолжает устало и упрямо:

— ...Эйнштейн полагает, что если найдут способ применения быстрых нейтронов, будет несложно создать опасные бомбы...

Рузвельт посасывает сигарету, зажатую в длинном мундштуке, и, усмешливо прищурясь, разглядывает очередную карикатуру.

— ...Правительство должно установить прямой контакт с физиками... — настаивает Сакс. — Эйнштейну можно верить.

Рузвельт демонстративно поднимает и откладывает в сторону письмо Эйнштейна.

— Вера... Нет, Алекс, вера — аргумент для постройки церквей, а не заводов. Все это интересно, но вмешательство правительства пока что преждевременно. — И Рузвельт в лупу разглядывает новую карикатуру: президент на своей коляске едет навстречу немецким танкам и беспечно смеется.

Но Сакс не хочет сдаваться.

— Дорогой президент, — говорит он, не скрывая возмущения, — я приехал в Вашингтон на собственные деньги, я не могу отнести расходы за счет правительства, поэтому прошу вас быть внимательнее.

Рузвельт, вздохнув, захлопывает альбом.

— Поймите, Фрэнк, немцы, очевидно, взяли старт. Когда бомба окажется у Гитлера, то человечеству будет угрожать смертельная опасность. Тогда карикатур у вас

будет еще больше. Это все реально. У Гитлера есть выдающиеся физики, есть уран. Они начали работать...

Входит официант, забирает поднос с посудой, в приоткрытую дверь врывается черный шотландский пес Фал, бросается к хозяину.

Рузвельт достает мяч, бросает, Фал ловит мяч в прыжке, приносит в зубах, начинается привычная их игра.

Сакс, чувствуя безнадежность положения, встает, но задерживается, разглядывая развешанные по стенам гравюры старых кораблей. Взгляд его останавливается на изображении первого парохода Фултона.

— Будь я проклят, — кричит Рузвельт, — Алекс, посмотрите, что он наделал!

Фал замочил ковер и теперь виновато жметя под столом.

— Майк, Майк! — зовет Рузвельт; входит охранник, схватив Фала за ошейник, тычет его носом в мокрый ковер и выносит.

— До свидания, Фрэнк, — говорит Сакс.

— До свидания, Алекс, — весело отвечает Рузвельт. — Буду рад видеть вас снова!

Сакс подходит к дверям, но снова смотрит на гравюру с пароходом Фултона.

— Фрэнк, могу я отнять у вас еще минуту?

— Что у вас еще за блестящая идея?

Сакс постукивает пальцем по гравюре:

— Фрэнк, вы знаете, что здесь изображено?

— Разумеется. Это первый пароход Фултона.

Сакс молчит.

— Ну и что? — спрашивает Рузвельт.

— Хочу напомнить вам одну легенду, — говорит Сакс. — Во время наполеоновских войн к императору Франции явился молодой американский изобретатель и предложил ему построить паровой флот. Чтобы Наполеон мог пересечь Ла-Манш при любой погоде. И высадиться в Англии. Корабли без парусов? Тогда это тоже несколько дико звучало для уха политика. Великий корсиканец прогнал Фултона. По мнению историка Актона, это хороший пример того, как Англия была спасена... Прояви Наполеон больше воображения, история девятнадцатого века пошла бы иначе.

Некоторое время Рузвельт сидит молча, посасывает потухшую сигарету. Затем поднимает трубку:

— Генерала Уотсона.

Входит Пат Уотсон.

Рузвельт берет письмо Эйнштейна, протягивает генералу:

— Пат, разберитесь, это, кажется, требует действия.

Курчатов, ничего не слыша, не видя, встает из-за стола, продолжая повторять:

— Боже мой... значит, сделали... И сбросили... И сбросили.

Женщины смотрят на него, но в это время гармонист прошелся по ладам и выкрикнул:

— Тустеп!

И, отвлекая Курчатова, встает его соседка, рослая, красивая, протягивает ему руку с таким ожиданием, что Зубавин совсем неуверенно пробует помешать:

— Да он не танцует.

— Так ведь они обещали!

— Точно. Обещал. И буду, наперекор всему на свете, — объявляет Курчатов. И началось... Знал ли Курчатов этот танец, неизвестно, но во всяком случае это не имело никакого значения для этой девушки. Важно было, что она танцует с мужчиной, а не как другие — «бабочка с бабочкой». Да и Курчатов хотел соответствовать. Танцевать так танцевать. Пропади они пропадом, американцы с их бомбами. Назло! Нарочно! И Переверзев не выдержал, пошел танцевать, и демобилизованные. Один Зубавин остался за столом...

А перед Курчатовым кружится разгоряченное счастливое лицо девушки, и кружение, и музыка напоминают ему тот вечер, когда он танцевал в последний раз. Как давно это было, словно в другой жизни. Хотя всего лишь пять лет назад.

Вместо травы был паркет, и вместо двора — зал физтеха, вместо этой незнакомой девушки — с ним в вальсе кружилась Марина. Горела свечами высокая новогодняя елка. Висел транспарант: «С Новым годом! 1941-й!» Оркестр играл Штрауса, и «Дунайские волны», и румбу...

На верху лестницы появляется Абрам Федорович Иоффе, с ватной бородой, — Дед Мороз. За ним несут мешок с подарками. Каждому выдается подарок со значением: кому — рогатка, кому — кукла. По очереди

один за другим подходят к Иоффе, вот и Курчатов, ему Иоффе достает голубой воздушный шарик с надписью: «Ядро атома». Курчатов протягивает руку, но в этот момент Иоффе, чуть усмехнувшись, отпускает ниточку, и шарик поднимается вверх. Курчатов прыгает за ним, не достает, и шарик уплывает выше и выше...

Несутся звуки вальса, молодой безбородый Курчатов, молодая Марина Дмитриевна, все вокруг Иоффе молодые, веселые, и сам Иоффе еще не стар.

Поет, разливается гармонь, наигрывая тустеп. И этот деревенский танец долетает до английского замка Фэрм-Холл. Сельская подмосковная гармонь, она упорно возвращает нас в тот рубежный августовский день 1945 года. Здесь, в Англии, содержались в августе 1945 года пленные немецкие ученые-физики, цвет немецкой науки, захваченные, собранные специальной службой ОЛСОС.

Вдоль высокого забора прогуливается седой большеголовый человек. Багрово-красного кирпича особняк Фэрм-Холл, зеленые подстриженные лужайки, вечернее солнце и тишина. Прочная мирно-сельская тишина. Ничто здесь не напоминает войну. И только из открытого окна, с хрипом и воем помех, взхлеб бормочет радиоприемник. Что-то особенное в голосе диктора. Мужчина прислушивается. В окно высовывается английский майор. Он прижимает к уху наушник, лицо его сияет.

— Ган! Мистер Ган! — зовет он и неистово машет рукой, показывая, чтобы Ган скорее поднялся к нему.

Голос по радио нарастает:

— ...Через пять минут после сброса бомбы темно-серая туча диаметром пять километров повисла над Хиросимой... Город, имеющий более трехсот тысяч жителей, закрыт облаком дыма... Очевидно, уничтожен... Изготовление атомной бомбы обошлось союзникам в пять миллионов фунтов...

Майор Риттнер от восторга, от возбуждения все время чешется.

— Атомная! — кричит он. — Слыхали?! Мистер Ган, это по вашей части! Это что, бомбы из атомов?

Он весело хлопает Гана по плечу, исполненный гордости за своих.

— ...Изготовление атомной бомбы — потрясающее достижение союзных ученых! — кричит диктор в полном

упоении. — Взрывная сила ее эквивалентна двадцати тысячам тонн взрывчатки!

Ган затыкает уши, жмурится, чтобы не слышать, не видеть.

— Эй... что с вами? — встревожился майор.

Покачиваясь из стороны в сторону, Ган полубезумно твердит:

— Это я... Вот оно, боже мой, это я, я виноват, это мое открытие, вот оно к чему привело...

— Какое открытие, при чем тут вы? — не понимает майор.

Замутненные глаза Отто Гана невидяще смотрят на него:

— Это же я открыл расщепление урана!

— Ну и что?

Ган, не слушая его, кричит:

— Сотни тысяч людей. Я их убийца! Они, и я тоже, я, Отто Ган! Но ведь я не хотел... Я не имею к этому отношения! — Он хватает Риттнера за руки. — Знаете, Риттнер, еще тогда у меня были предчувствия. Но я не думал...

— Бросьте, — говорит Риттнер. — Вы же в Германии работали над этой штукой. Ну ладно, не вы, так ваши дружки.

— Да, да, все равно, немцы, американцы, они меня сделали соучастником, — с отчаянием соглашается Ган. — Я убийца! — Он бьет кулаком себя по лбу. — Я, я подтолкнул их!

Риттнер наливает ему стакан виски.

— Выпейте. Вот так. Вы хоть и пленные, но я отвечаю за вас. Чего вы мучаетесь? Это же война. А когда ваши летчики бомбили Лондон?

Стакан в руке Гана трясется, но он подставляет еще и еще, ему надо напиться. Мелкие слезы скатываются, застревая в морщинах его разом постаревшего лица.

Они пьют вместе.

— По мне, — говорит Риттнер, — лучше сто тысяч этих японцев, чем потерять хоть одного нашего английского парня.

Отто Гану шестьдесят шесть лет, пожалуй, он самый старый из собранных здесь немецких физиков. Кроме Макса фон Лауэ, его одноклассника, но который почему-то числился старше Гана и выглядел старше, да и считался чуть ли не патриархом. А Ган, крепкий, широкопле-

чий, сильный, — никому и в голову не приходило называть его стариком.

Пинком ноги он распахивает дверь в столовую.

Кирпичные своды, длинный стол со скромной вечерней трапезой. Застывшие, оцепенелые фигуры ученых. Сразу ясно, что они уже знают, они слышали это известие.

Захмелевшему Гану что-то напоминают люди, сидящие за этим столом по обе стороны от Вернера Гейзенберга. Он во главе. Он — признанный авторитет, руководитель, гений, учитель. Ах, да — Учитель, а кругом апостолы, сколько их — девять? Десять? Двенадцать? Так вот оно что — это же Тайная вечеря!

Как они там вопрошали, апостолы: не я ли, господи?.. Вот что их терзало.

— Не я ли, господи? — вслух произносит Ган. — Вот что надо спрашивать!

Все смотрят на Гейзенберга. Он сидит в торце стола, худощавый, подтянутый, гордость немецкой физики, уже двенадцать лет назад награжденный Нобелевской премией.

— Это блеф, — говорит он как можно уверенней. — Не может быть. Никакая это не атомная бомба. Разве в сообщении было слово «уран»?

— Нет, — говорит кто-то.

— Значит, это просто пропаганда. Нет, это не атомная бомба, — упрямо, как заклинание, повторяет он.

Хартек, что-то прикидывая карандашом на салфетке, сообщает негромко, ни к кому не обращаясь:

— Эквивалентно двадцати тысячам тонн взрывчатки... Похоже... — но не решается высказать до конца. — Что же это, по-вашему?

Уставив руки в дверной проем, пьяно усмехается Ган. Он безжалостно разглядывает каждого.

— Эх, вы... А если американцы ее сделали? Тогда что? Тогда вы все по-сред-ственности! Бедный Гейзенберг, это именно атомная бомба. Значит, вы тоже посредственность. Зря вас тут держат. Всех нас — зря! Ха, они воображают, что захватили великих немецких физиков. Вы самозванцы!..

Воцаряется тишина.

И словно бы перед глазами их всех возникает пятилетней давности картина — встреча Нового года, того

самого 1941 года, который вспомнился Курчатову, но который встречали в замке Гитлера, в Берхстенгадене.

Огромная, отделанная зеленым мрамором столовая, где собрались близкие Гитлеру люди, не так уж много, человек пятнадцать. Гитлер необычайно любезен, весел, в черном фраке с цветком в петлице, он сидит между двумя дамами за празднично накрытым столом.

— ...С Новым годом!

Все встают.

— Наступает тысяча девятьсот сорок первый год! — возглашает Гитлер. — Год окончательной победы великой Германии! За счастливый год! За победу! Наши солдаты ее обеспечат!

В большом окне, которое тянется чуть ли не во всю стену, огни площадей на темных аллеях, светит белизна альпийских снегов. А дальше при холодном свете луны угадываются лесистые горы. Расцвечены лампочками иллюминации дороги, ведущие к Берхстенгаденскому замку.

Официанты обносят гостей огромными подносами с гусем, поросятиной. Гитлер, положив себе салата, овощей, вздыхает, глядя, как Геринг накладывает себе в тарелку мясо.

— Ах, Герман, Герман, — укоризненно замечает он, — если бы вы побывали на скотобойнях... несчастные животные... Эти жалобные, беспомощные крики...

Рядом, в гостиной, перед зажженным камином, идут последние приготовления к традиционному новогоднему гаданию, которое любил Гитлер. На огне греется тигель с расплавленным свинцом, и рядом большая медная чаша с водой.

Гитлер поднимается, неловко целует руки сидящих рядом дам, выходит из-за стола. Вслед за ним встают гости. Большинство из них, да и сам Гитлер, старательно изображают «высший свет», аристократов, поэтому одни держатся чересчур церемонно, другие слишком развязны, — все это достаточно напряженно. К Гитлеру подходят генералы, чиновники, поздравляют его с Новым годом, и затем все следом за хозяином направляются в холл. Гитлер идет, держа под руки двух дам. В большом зале люди кажутся маленькими, тени от камина колышутся на стенах, увешанных гобеленами.

Начинается гадание. Гитлеру подают ковш с расплавленным свинцом. Гитлер держит его за длинную ручку, сосредоточивается, чувствуется, что он серьезно

относится к этому гаданию. Наклоняет ковш, струя свинца льется в воду. Шипение, брызги, пузыри, облака пара окутывают чашу. Наконец открывается медный блеск днища и на нем застылые извивы свинца, причудливые фигурки.

Наголо обритый гадалщик, опустив подведенные синью глаза, поясняет, истолковывает; слов не слышно, но слышно, как медовый голос его кое-где поскрипывает, обходя опасные места. Наклонясь над чашей, Гитлер подозрительно всматривается — там, среди изломанных веток, сучьев сухостоя, горелого леса, ему чудится, а может, и впрямь что-то напоминает очертания черепа.

— Все равно мы будем... — ожесточенно бормочет Гитлер. — Меня не сбить... Больше самолетов... — Он отходит к окну, голос его поднимается, становится острым, почти кричащим: — Я знаю! Самолеты... Никто не знает... Только я... я!.. Строить самолеты...

Трещат поленья в камине. Отсветы пламени выхватывают вынужденные улыбки, показную беззаботность гостей. Они делают вид, что ничто не может испортить их настроения. Впрочем, все они искренне хотят как-то утешить, отвлечь своего фюрера. Первым решается на это министр почтового ведомства генерал-полковник Онезарг. До сих пор он скромно держался позади, но тут он понял, что пробил его час, ему выпала миссия поддержать фюрера. Он спускается со ступеней и идет к окну, где одиноко стоит Гитлер.

— Мой фюрер, позвольте сообщить вам о новом оружии.

Гитлер рассеянно кивает.

— ...Группа немецких физиков, собранных по инициативе почтового ведомства, работает над получением взрывчатого вещества из урана. В принципе одна такая бомба сможет уничтожить целый город, несколько бомб — и с Англией будет кончено. А несколько десятков бомб — и...

Гитлер поднимает палец, и Онезарг умолкает на полуслове. Отсутствующий взгляд Гитлера устремлен на его замершую фигуру.

— Полюбуйтесь, господа! В то время как мы ломаем себе голову, каким образом выиграть предстоящую войну, является наш почтмейстер и приносит готовое решение. А?

Гости облегченно и громко смеются. Все рады возможности отыгаться, как-то исправить положение,

люди ожили, распрямляются. А Гитлер продолжает, нагнетая:

— ...Не нужно полководцев, не нужно усилий нации... Где же эта чудо-бомба?

От унижения и страха Онезарг мучительно заикается:

— Т-требуется ис-с-следования... нужны оп-пыты... чтобы сделать проект...

Гитлер взрывается:

— Я запрещаю тратить деньги на исследования! Мне надо оружие, которое можно изготовить в течение грех месяцев. Полгода максимум! — Он потрясает кулаком. — У нас слишком развивается интеллект! Слишком много ученых. Наша военная техника обеспечит блицкриг без этих халдеев!

Гитлер, а за ним и вся его свита переходят к роялю. Все рассаживаются. Гитлер садится на ступеньку. Где-то в стороне Геринг отводит в сторону Онезарга, спрашивает его, согласно кивает...

Выходит хор малышей — девочки в голубеньких платьицах с бантами, мальчики в коротких штанишках, с галстучками. Нежные детские голоса великолепно звучат в этом зале. Трогательная рождественская песня разгоняет мрачные мысли.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie grün sind deine Zweige!
Du blühest nicht nur in Sommerzeit —
Und auch im Winter, wenn es schneit...¹

А через несколько месяцев, в сентябре 1941 года, под неистовую дробь барабанов, сотни девочек и мальчиков, одетых в форму гитлерюгенда, самозабвенно маршируют на лейпцигской площади. Рослые унтеры командуют детьми. Чеканный прусский шаг отбивают подошвы по каменной брусчатке. Сухие листья несутся из-под ног. На детских лицах восторг. Сотни рук взлетают вверх в приветствии:

— Зиг-хайль! Зиг-хайль! Зиг-хайль!

Они надвигаются на Гейзенберга и Лауэ, которые пересекают площадь. С болью, с ужасом Лауэ вглядывается в эти пылающие счастьем лица марширующих детей.

¹ О елка, елка,
Как зелены твои ветки!
Ты цветешь не только летом,
Но и зимой, когда идет снег... (нем.) — *Ред.*

— Боже мой, что с ними сделали...

Гейзенберг не замечает ничего, он увлечен сейчас своим, он только что из лаборатории, где, кажется, что-то начинает получаться.

— ...Как только наш котел начнет действовать, я обойдусь и без урана-235. У нового элемента будет такая же взрывчатая сила. Я вам сейчас покажу.

Они заходят в пивную, тут же на площади, присаживаются у окна, за свободный столик.

У прилавка висит карта Восточного фронта. По флажкам видно, что линия фронта приближается к Москве, вплотную окружила Ленинград.

Максу фон Лауэ уже за шестьдесят, но в нем сохраняется детская голубоглазая наивность, то доверчивое прямодушие, про которое говорят: ну что с него спросишь...

И он действительно, пожалуй, единственный из немецких физиков продолжал держаться независимо, он позволял себе резко высказываться против антисемитизма, помогал преследуемым ученым. Он был в те годы нравственным примером...

Лауэ почти не смотрит на то, что пишет и рисует перед ним Гейзенберг, — пофыркивая, он вглядывается в его лицо.

Наконец Гейзенберг замечает это молчание.

— Что с вами?

Лауэ молчит.

— Вы что, не верите? Вы бы могли меня поздравить.

— Поздравляю.

— Я надеюсь, мы обставим всех.

— И что дальше, дружок?

Гейзенберг оглядывается, быстро пьет пиво.

— Макс, согласитесь, это интереснейшая задача.

— Итак, господин лауреат, мы открываем путь к атомной бомбе для наших дорогих прохвостов. Они сразу станут хозяевами. Потом уже мы не сумеем остановить их.

Лауэ выразительно оглядывает пивную — сановную лейпцигскую пивную тех лет, с гравюрами старинных замков и рыцарей. За столиками пьют, курят офицеры, эсэсовцы, чиновники в мундирах.

— Теперь, когда следующий вариант твоего котла может стать успешным, не мешало бы спросить себя: имеем ли мы моральное право давать им в руки такое оружие? — откровенно формулирует Лауэ.

— Хорошо, а если американцы его сделают?

Лауэ задумывается.

— Это не довод... Вот что. Надо поехать в Копенгаген. Придумать какой-нибудь предлог...

— Предлог можно найти, там через две недели будет симпозиум.

— Ну и прекрасно... Пойми, Вернер, если бы я мог тебя заменить, я бы не раздумывал. Но ни с кем из нас Бор не станет говорить, как с тобой. Ты его любимец.

— Был. Для них мы все теперь наци...

— Я тебя понимаю, это риск...

— Я связан с секретной работой.

— Учти, что и за ним наверняка следят...

— Господи, что за страна, в которой даже нельзя совершить геройство, — с тоской произносит Гейзенберг. — Тихо запрячут в концлагерь и запретят упоминать, как будто тебя и не было. Активное сопротивление — это бессмыслица. Парадокс в том, что можно что-то сделать, лишь сотрудничая с ними...

Он почти перешел на шепот. Лауэ соблюдает осторожность совершенно иначе: голос его не снижается, он разговаривает так, как будто они продолжают обсуждать свои дела.

— Я лично всегда держал военных в неведении относительно результатов работ. И тебе советую. Нельзя им давать никаких надежд. Я не хочу думать об американцах. Нам пора для самих себя определить нашу позицию. Чтобы говорить с Бором, надо понять, что мы предлагаем.

— Не знаю. Я хочу просто посоветоваться с ним. Пусть он скажет, что нам делать.

— Но для этого ты обязан ему все рассказать, все!

— Это нельзя... А если мы идем впереди американцев?

Они молчат. Лауэ допивает пиво, подходит кельнер, забирает стаканы, вытирает столешницу.

— Надо иметь мужество информировать его... полностью, — говорит Лауэ, не стесняясь кельнера.

Гейзенберг ждет, пока они останутся одни.

— Информировать его, а значит, и их, наших противников... то есть предать... совершить...

— Измену? Подумаешь. Меня эти слова не трогают. Кому измену?

— Макс, я не могу желать поражения своей стране. Мы с вами немцы... Нильс поймет меня. Давайте рас-

суждать логически. Что реально в наших условиях? Для обеих сторон? Договориться, чтобы и мы, и они затормозили изготовление бомб...

— Но как ему это сказать?

Звуки фанфар. По радио передают победную сводку.

Отряды гитлерюгенда на площади останавливаются. Кельнер подходит к карте, переставляет флажки ближе к Москве.

Военные, видимо фронтовики, встают, затягивают песню «Мы уходим на Восток». И вся площадь поет. Пьяный капитан с перевязанной рукой подходит к физикам с поднятым стаканом вина.

Они машинально приподнимаются, продолжая разговор.

— Нет, это невозможно. Ты должен с ним договориться,— настаивает Лауэ.

— Нельзя подвергать Бора опасности.

— Отставить разговоры!— кричит капитан.— Петь! Всем петь!

Лауэ подзывает кельнера.

— Уберите его,— свирепея, кричит он.— Это невоспитанный человек!

Кельнер отводит капитана, что-то шепчет ему.

— С ним надо быть откровенным,— продолжает Лауэ.

И тут капитан со своей компанией громко провозглашает:

— Великому ученому нашей великой Германии!

Они высоко поднимают кружки в честь Гейзенберга. Шипит, лопается пена. Гейзенберг кланяется, морщась, и все же слегка польщенный.

Все стоит на прежних местах в гостиной дома Нильса Бора. Так же горит камин, и так же дымится большой кофейник на столе. Но сместилось значение вещей. Одним из главных предметов стал телефон. На молчащий аппарат посматривают, к нему прислушиваются. Часы тикают встревоженно, и все слышат этот отсчет. Приемник дежурного бормочет в углу. И шторы плотно закрывают окна.

— Если он согласился возглавить Кайзер-Вильгельм-Институт,— говорит Розенталь, близкий друг и сотрудник Бора,— значит, он помогает фашистам.

— Он оправдывал оккупацию Польши,— говорит сын Бора.— Что можно ждать от него?

— Такие заявления бывают иногда вынужденными,— говорит Розенталь.— Мы знаем, как заставляют их делать.

— Что, его пытали?— спрашивает Нильс Бор.— Нет, я никогда не понимал двойной игры. И не желаю понимать.

Они трое ходят по гостиной, встречаясь и расходясь. Нильс останавливается у пианино, пробует пальцем начало той песенки, что когда-то пелась в этом доме.

— Ах, Вернер, Вернер...— говорит он.— Но для чего ему понадобилось это свидание? Чего он хочет?

— Может быть, он надеется что-то узнать,— говорит Розенталь.

— Во всяком случае, отец, ты должен быть крайне осторожен.

— А если его специально подослали?— спрашивает Розенталь.

— Послушайте, это же Гейзенберг!— с отчаянием восклицает Бор.— Это же не полицейский провокатор.

Он с треском захлопывает крышку пианино. Надевает пальто.

— Отец, проводить тебя?

— Нет, нет.

...Моросит дождь по набережной Ни-Карлсберга. У воды стоят, как всегда, рыболовы с удочками. Нильс Бор идет под зонтом, рядом с ним Гейзенберг. Он иногда оглядывается. Воротник его плаща поднят, шляпа плотно надвинута.

— ...Ничего особенного, я просто давно не видел вас. Я решил воспользоваться этой конференцией...— объясняет Гейзенберг.

— Благодарю вас, очень рад,— церемонно приговаривает Бор.

— Я представляю себе, как изменились ваши оценки немецкой физики,— говорит Гейзенберг.— Многие люди связывают имена ученых Германии с нынешней государственной политикой. Но вы-то понимаете, что тут надо разделять... Власть — это одно, ученые — это другое, и вряд ли мы должны отвечать за их действия...— Он осторожно обрывает себя.— Нельзя не учитывать нажима, который оказывают на каждого

ученого. Трудно даже передать атмосферу, в которой мы живем.

— Хм, не знаю, не знаю,— бурчит Бор.

— Иногда приходится заниматься вещами, которыми и не хотел бы.

— Хм...

— Например, урановой проблемой...— И Гейзенберг выжидательно замолкает.

— Что же тут такого неприятного?

— Нет, нет, ничего... Однако урановая проблема связана с проблемой атомного оружия.

— Хм...

— Вы думаете, атомное оружие практически невозможно создать?

— Не знаю. Я с начала прошлого года ничего не слышал о развитии атомных исследований,— официальным тоном отвечает Бор.— Ни в Англии, ни в Америке. Может быть, они держат их в секрете. А может, и бросили заниматься этими вещами.

— А если не бросили?

— Кого вы имеете в виду?

— Я хочу спросить вас напрямую, Нильс. Имеем ли мы вообще моральное право во время войны заниматься таким оружием, как атомная бомба?

Бор пытается вникнуть, разгадать шифр этого вопроса,— не замечая, он шагает по лужам. Весь разговор как шахматная партия, дебют разыгран, и теперь надо все тщательнее рассчитывать очередной ход.

— Раз вас интересует такой вопрос,— чутко и осторожно выводит Бор,— значит, вы уже не сомневаетесь, что расщепление атома можно использовать для военных целей?

— Теоретически — да.

— А практически?

— Не знаю,— тотчас замыкается Гейзенберг.— Думаю, что технически это слишком дорого и сложно.

— Ого, значит, уже технически...

— Я надеюсь, что никому не удастся это осуществить в ходе войны.

— Кто бы мог подумать, что дело у вас пойдет так далеко...

— Нет, нет, вы меня не так поняли,— страдальчески вырывается у Гейзенберга.

Они останавливаются. Бор ждет. Кажется, сейчас начнется то главное, ради чего приехал Гейзенберг. Где-

то поблизости клацают солдатские сапоги — проходит патруль. Каждый вглядывается в лицо другого, каждый неуступчиво ждет от другого первого шага, и оба молчат.

Гейзенберг протягивает руку и не решается прикоснуться к Бору, стряхивает намокший рукав. Они оба страдают от недоверия друг к другу и оттого, что не в силах преодолеть это недоверие.

— Я так надеялся получить от вас совет... помощь...

— Вы знаете, Вернер, все слишком круто изменилось, боюсь, что физики в этих условиях будут продолжать начатое, как бы ни были опасны такие работы.

— Послушайте, Нильс, надо их остановить, пока не поздно. Мы должны договориться.

— О чем?

— Ученые не должны толкать свои правительства... чтобы, ну, словом, разворачивать эти работы.

— Вот как...

— Вы думаете, это нереально?

— Вы не могли бы, Вернер, несколько полнее сформулировать свою мысль?

— Нильс, вы пользуетесь достаточным влиянием в Англии и Америке. Вы единственный, с кем я могу говорить об этом. Скажите, как вы полагаете, пошли бы в Америке физики на то, чтобы не создавать бомбу? Если, конечно, и немецкие физики сделают то же. Возможно ли такое соглашение?

— Странно, — задумчиво говорит Бор. — Странное предложение. — При своем простодушии он не в состоянии скрыть внезапное подозрение. — Это же рискованный вариант. Какие у нас могут быть гарантии?

Гейзенберг не сразу понимает, в чем его заподозрили.

— Но если мы договоримся...

Бор берет его под руку.

— Дорогой Вернер, мало ли что мы... вы сами толковали мне про то, как заставляют немецких физиков. Согласитесь, что ваш фюрер в смысле коварства...

— Да при чем тут фюрер? — вырывается у Гейзенберга, он оскорбленно высвобождает свою руку.

— Все равно, Вернер, ваше предложение в условиях войны выглядит двусмысленным, — вежливо и твердо заканчивает Бор.

— Вы мне не доверяете?

Бор молчит.

— Когда-то вы считали меня своим любимым учеником. Вы не доверяете мне за то, что я остался в Германии. Но я немец.

— А я датчанин, и должен бежать из Дании.

— Это ужасно, что мы так разговариваем.

— Ах, Вернер, разговаривать можно как угодно. Трагично, что мы не в состоянии договориться и что и вы, и американцы будут продолжать делать бомбу...

— Да, вы правы, Нильс. Прощайте, привет Маргарет и вашим ребятам. Да хранит вас бог.

Бор остается один. Дождь часто, все громче, стучит в зонт. Откуда-то из-за угла появляется Оге Бор. Он берет отца под руку.

— Они делают бомбу. Они занимаются вовсю атомной бомбой,— потрясенно повторяет Бор...

Они возвращаются домой узенькими улочками, и, проходя мимо кинотеатра, Бор вспоминает одну давнюю историю.

Это произошло в тридцатые годы, когда в очередной раз его мальчики съехались к нему.

Интересно, вспоминал ли эту историю Гейзенберг?

Или Оппенгеймер, ведь он тоже мог вспомнить ее?

...Из темноты кинозала доносится стрельба. На экране довоенный американский вестерн: шериф, невозмутимый и неуязвимый стрелок, спасает от бандитов бедную очаровательную красотку. Стоит кому-то из бандитов взяться за пистолет, как этот парень вытягивает свой кольт, и очередной злодей падает, сраженный пулей. Бар завален трупами бандитов...

Молодежь, которая затащила Нильса Бора в это кино, хохочет, но сам Бор чем-то заинтересовался, он внимательно следит за действиями героя, за всей этой, казалось бы, чепуховой игрой в поддавки. И на улице, после картины, Бор отключен от общего веселья.

— Надо же нагородить такую безвкусицу...

— Оппи, и тебе не стыдно за твой Голливуд?

— Каков супермен!— Оппи наставляет вытянутые пальцы и палит из двух пистолетов.— Бах, бах, бах!..

Они потешаются и резвятся, пародируя неправдоподобные подвиги героя.

— Нильс, пожалуйста, простите нас, неразумных,— говорит Сциллард.— Это все Оппи, это его продукция.

Однако Бор не разделяет их иронии. Вполне серьезно, без улыбки он говорит:

— Мне думается, ситуация довольно реальная. Несмотря на любовь и уважение к своему учителю, его спутники не могут скрыть веселого удивления.

— Господи, о чем вы, это же бред собачий, — не выдерживает Сциллард.

— Разве так бывает...

Бор берет Гейзенберга за пуговицу пиджака:

— А не кажется ли вам, Вернер, что тот, кто защищается, действует быстрее?

Гейзенберг недоверчиво пожимает плечами, да и остальные насмешливо переглядываются.

— Инстинкт самосохранения должен срабатывать быстрее... — упрямо продолжает Бор, теребя пуговицу.

— Давайте проверим, — предлагает Сциллард. С энтузиазмом экспериментатора он жаждет опыта, реальных доказательств и тут же организует этот опыт. — Купим пистолеты и сейчас все это выясним.

Сказано — сделано. Они направляются в ближайший магазинчик, выходят оттуда с парой детских пистонных пистолетов. Поединок решено провести безотлагательно, здесь, на улице.

— Кто будет гангстером? — распоряжается Сциллард. — То есть кто нападает?

— Я!.. Я!.. — одновременно выкрикивают Оппи и Теллер.

— Тогда я жертва, то есть благородный герой, — требует Гейзенберг.

— Нет уж, героем буду я, — простодушно просит Бор. — Все-таки это моя гипотеза.

— Прекрасно, я гангстер! Теоретик должен сражаться с теоретиком, — восклицает Гейзенберг. — И вообще, мы, немцы, любим стрелять. — Он бесцеремонно забирает у Сцилларда пистолет.

Оппи недоволен.

— Силы неравны... Этот Вернер и не подумает уступить. Сейчас он ужокошит своего учителя.

Бор и Гейзенберг становятся в позицию. Лео Сциллард помогает Бору зарядить пистолет.

— Итак, Вернер, ты начинаешь! — командует Лео.

«Враги» прячут пистолеты в карманы. Наблюдатели окружают их кольцом. Гейзенберг, уверенный в победе, не спешит. Бор немного смущен, доброе большое лицо

его совершенно не соответствует происходящему и невольно вызывает улыбки.

Гейзенберг выхватывает пистолет, но, на какое-то мгновение опережая, весело хлопает пистон. Невероятно, что это успел выстрелить Бор, такой неуклюжий, сутулый, чем-то напоминающий медведя.

— Ого! Вот так штука! Еще, еще, снова! — требуют все.

Собираются прохожие, привлеченные шумным сборищем, необычным в этом респектабельном Копенгагене. Отворяются окна, останавливается возчик пива. Подходит полицейский.

— В чем дело, господа? Добрый вечер, господин Бор!

— Видите ли, мы проверяем одну психологическую теорию, как бы это выразиться...

— Судьба агрессора, — подсказывает Сциллард, он снова заряжает пистолет и подает сигнал.

— Всякое действие, — продолжает рассуждать Бор, засунув пистолет в карман, — которое требует решения, выполняется медленнее...

— Дайте я попробую, — просит Оппи.

Он отбирает пистолет у Гейзенберга, решив во что бы то ни стало опередить Бора. Закусив губу, он ждет, изготовился.

— Нильс, следи за ним, — предупреждает Сциллард.

— Он мне не мешает... Так вот, решение неизбежно выполняется медленнее, чем действие, вызванное внешним раздражителем...

Решившись, Оппи выхватывает пистолет, вкладывая в движение всю свою молодую стремительность, и снова Бор успевает выстрелить раньше.

Ему аплодируют.

— Это похоже на фокус, — досадливо бурчит Гейзенберг. — Я понимаю вашу теорию, но что же получается? Что же делать бедным бандитам?

— Если они хотят убить друг друга, — необычайно серьезно заключает Бор, — то им ничего не остается другого, как разговаривать. Ибо тот, кто решится стрелять, будет убит прежде, чем исполнит свое решение.

Маленькое зимнее солнце в морозном ореоле, и ветер. Тишина безлюдного заснеженного Ленинграда. Репродукторы на столбах гулко разносят тиканье мет-

ронома. Литейный мост через Неву. Отсюда открывается путаница тропинок по льду, бездымные заводские трубы, белый город над белой рекой. У набережной стоит пар над прорубью, окруженной ледяными наростами, прорубленные ступеньки, редкие фигуры людей, тянувших ведра на саночках.

Молоденький воентехник Гуляев, в полушубке, с вещмешком, бредет по бесконечно длинному Лесному проспекту. Мимо разбитых домов и домов с замерзшими окнами — по ним видно, что там еще живут. Постукивает движок в какой-то мастерской. Закутанные, перевязанные платками люди, не поймешь, кто они — мужчины, женщины, разбирают крыльцо деревянного дома. Обвязав веревкой столб, тянут, пытаюсь свалить его. Воентехник подходит, впрягается. Столб трещит, падает.

Снова даль проспекта, свистящий навстречу ветер, сугробы снега на путях, на мостовой, развалины, тропинки. Красный трамвай «девятка», воентехник читает привычную надпись: «Нарвские ворота — Политехнический институт». Провода давно оборваны, пути занесены, и уже трудно представить, как попали сюда эти два вагона. Воентехник поднимается в передний передохнуть, укрыться от ветра. Нетронутый холм снега на открытой площадке. Дверь открывается с пронзительным вскриком стилого железа.

Воентехник садится, закрывает глаза. Тишина, ветер, удары метронома. Еле слышно возникают звуки движения колес, голоса людей, хранимые памятью тех мирных дней, когда он каждое утро ездил в институт этим трамваем и у Финляндского в трамвай набивались приезжие, а у Флюгова шумно втискивались студенты Политехнического. Голос кондукторши, звон денег, гудки машин, и вдруг, обрывая эти воспоминания, резко и громко дзенькает трамвайный сигнал.

Заледенелый подъезд Физико-технического института. Напротив, в парке, зенитная батарея. Из вестибюля доносятся голоса. Воентехник открывает дверь...

На застекленной веранде дачи Сталина в Кунцеве несколько человек сидят в ожидании. Сюда вызваны трое из ведущих физиков страны, причем каждый из них не случайно: Владимир Иванович Вернадский — как крупнейший специалист по радиоактивным материалам, Сергей Иванович Вавилов — как директор Физического института и Абрам Федорович Иоффе — как

директор Ленинградского физтеха и глава школы советских физиков.

На веранде кожаный учрежденческий диван, желтый канцелярский стол и желтые стулья, вся эта мебель какого-то обезличенно-казенного вида.

Входит Сталин, здоровается с ожидающими здесь Зубавиным и академиками.

— Здравствуйте, товарищ Сталин. Разрешите представить вам — Владимир Иванович Вернадский... Абрам Федорович Иоффе... Сергей Иванович...

— Мы знакомы, — говорит Сталин, обращаясь к Иоффе, затем к Вернадскому: — Здравствуйте, Владимир Иванович.

— Здравствуйте, здравствуйте, очень рад с вами встретиться, — добродушно и беззаботно отвечает Вернадский. Он здесь самый старший и обращается со всеми, включая Сталина, по-отечески покровительственно.

— Наверное, товарищ Зубавин рассказал, что нас интересует? Как вы полагаете, — говорит Сталин, — могут ли немцы изготовить бомбу такой силы? Реальна опасность того, что они ведут эти работы?

Вавилов решается ответить первым:

— У немцев, товарищ Сталин, для этого есть все, у них отличная химия. У них осталось немало крупных ученых, великолепные лаборатории... Что касается физики, то Абрам Федорович может подтвердить, он работал в Германии, физика мирового класса...

— Так, так. — Сталин переводит взгляд на Иоффе.

— Теоретически не существует никаких препятствий, — начинает было Иоффе, но спохватывается: — Как практически сложится у них... у немцев... не знаю. Видите ли, слишком мало данных есть, чтобы судить...

— А вот некоторые ваши молодые сотрудники, Абрам Федорович, сообщают нам, что в западных журналах перестали печатать статьи по атомной физике, — не торопясь, рассказывает Сталин.

— Да. Сперва в английских прекратили, — подтверждает Иоффе, — а сейчас и в американских.

— На основании этого они делают вывод, что работы засекречены. Почему, спрашивается?

После некоторого молчания Вавилов отвечает:

— Возможно, чтобы не давать материала немцам. Они опасаются, что немцы развернули работы над бомбой.

— Так, так...

— А может, американцы с англичанами сами тоже приступили к работам,— добавляет Иоффе.

— И нам, товарищ Сталин, пора бы подумать об этом,— простодушно советует Вернадский.

— Почему же вы, академики, специалисты, сами не ставили об этом вопроса?— Голос Сталина становится жестко-угрожающим.— Почему вы ждете, когда вас вызовут? Почему, наконец, товарищ...

— Флёров,— подсказывает Зубавин,— младший лейтенант...

— Да, младший лейтенант, обыкновенный научный сотрудник, сопоставил факты и не постеснялся написать, предложить, а вы стесняетесь?

Молчание.

Сталин продолжает:

— Вот, например: союзники сейчас усиленно бомбят завод тяжелой воды в Норвегии. Что это, по-вашему, значит?

— Тяжелая вода нужна для атомных исследований,— говорит Иоффе.

— Вот видите!

— Но можем ли мы сейчас, во время войны, позволить себе...— И Вавилов выразительно умолкает.

— Это уж мы сами будем решать, товарищ Вавилов. Речь ведь идет об оружии, не так ли?

— Да, товарищ Сталин.

— Не надо оправдываться войной, не стоит... Что нам надо для того, чтобы подготовить такое оружие?

— Это потребует огромных затрат. Трудно сразу определить.

— А может, вы все же попробуете, Владимир Иванович?— неожиданно обращается Сталин к Вернадскому.

Нисколько не смущаясь, Вернадский поясняет:

— Примерно это будет стоить столько, сколько стоит одна война.

— То есть?

— Очень просто. Весьма дорого и неопределенно. Смотря по тому, как будет уклоняться от нас истина. А кроме того... вот, например: наш маленький урановый рудник придется развернуть так, чтобы резко увеличить добычу. В сотни раз...

Сталин нетерпеливо постукивает по столу.

— Вы считаете — нам следует за это дело приниматься?

Все молчат. Никто не решается первым высказать свое мнение.

— Но если союзники занимаются атомной проблемой,— говорит Вернадский,— то зачем же нам тратить на это средства? Можно же договориться, я знаю там Комптона, и Лоуренса, и доктора Рабби. Это вполне порядочные люди...

Сталин недоверчиво приглядывается к Вернадскому, как бы раздумывая, потом вдруг начинает тихо смеяться.

— Политическая наивность,— говорит он, обрывая свой смех.— Они с нами делиться своими секретами не станут. Нам самим надо решать для себя... Как, товарищ Вавилов?

— Я думаю, что нам придется заниматься этим, и чем раньше, тем лучше,— говорит Вавилов.

— Вы полагаете, наши ученые смогут решить эту проблему?

— Думаю, да. Если организовать и дать средства...

— А кто, по-вашему, мог бы возглавить эту работу? Вавилов смотрит на Иоффе.

— Я думаю... Курчатов,— говорит Иоффе.

— Кто такой Курчатов?— спрашивает Сталин.

— Это физик, молодой, энергичный, отличный ученый. Он как раз перед войной руководил исследованиями по ядру...

Сталин поднимает руку, останавливая:

— Почему Курчатов? Что у нас, мало академиков?

— Товарищ Сталин, Курчатов — профессор, доктор наук, и потом, это работа не на месяц... на годы...

— Совершенно верно,— подтверждает Вернадский.

— Курчатов совмещает в себе хорошего организатора и крупного ученого, специалиста именно в этой области,— настаивает Иоффе.

— Значит, вы рекомендуете Курчатова. Так? А вы?— обращается Сталин к Вавилову.

— Я поддерживаю.

— Где он?

— На фронте. В Севастополе,— отвечает Иоффе.

Сталин смотрит на Зубавина:

— Надо отозвать.

— Может быть, и еще несколько специалистов?— спрашивает Зубавин.

Сталин, не сразу, кивает.

...Постукивает, мотает ночной вагон. Раскинулись ноги в кирзе, валенках, обмотках. Проход забит спящими, прикорнувшими и между скамеек, на мешках, чемоданах.

Старик и старуха развязывают торбу, достают хлеб, яйца.

— Угощайтесь, — говорит старуха Курчатову, который сидит напротив и смотрит за окно, в ночь... Он в матросском бушлате, вид у него больной. Лицо заросло, он недавно начал отращивать бороду.

— Спасибо. Не хочется что-то.

— Севастопольский?

— Да нет, из Ленинграда я, — говорит Курчатов.

— Семья там?

— Отец с матерью... остались.

— Господи, как подумаешь о них, ленинградцах, — говорит старик, — так наше горе не бедой кажется.

— Отец умер, — вдруг сообщает Курчатов, — не знаю, как мать. Может, и она. А?

Привыкшие за эти месяцы ко всему, люди молчат, не сочувствуя, не утешая, потом деликатно переводят разговор:

— И куда ж ты сейчас?

— В Казань. Институт наш там. Жена там. Вот, звали.

Вагон мотает, колышутся тени, где-то плачет ребенок. Душно, жарко, а Курчатов кутается, озноб бьет его... Он идет, перебирая рукой по стене и полкам вагона.

И улица Казани шатается, как вагон. Вздрагивают дома, лязгают сугробы. С трудом Курчатов находит дом, где живет Марина Дмитриевна, заходит во двор, присаживается на чурбан, уже не в силах подняться, сделать последние шаги до квартиры...

Марина Дмитриевна, которая шьет на машинке, вдруг поднимает голову и видит его, вернее, узнает, еще вернее — угадывает, бежит во двор, поднимает его, тащит на себе...

Проходная комната Курчатовых в большой коммунальной квартире. Женщина-врач осматривает Курчатова. В коридоре за полуоткрытой дверью ждет Иоффе с пакетом в руках.

— Ваше сердце нуждается в полном покое,— гремит голос врача,— миленький, вы некультурный человек... Думаете, на войне можно не щадить здоровья... Извините. Жизни не щадить, это да, а здоровье извольте беречь.

В дверях она сталкивается с Иоффе, подозрительно оглядывает его и обращается к жене Курчатова:

— Марина Дмитриевна, и никаких серьезных разговоров. Хотя бы недельку — анекдоты, одни анекдоты.

Иоффе входит в комнату, кладет на стол пакет. Марина Дмитриевна провожает доктора через кухню, завешанную бельем и пеленками. За окном шумит крикливый казанский двор. Сквозь проходную комнату все время, бочком, деликатно, ходят какие-то люди.

— Абрам Федорович, почему вы меня рекомендовали?— тихо и быстро спрашивает Курчатов.— Как вы могли?

— А кого? Никто лучше вас не справится. Слава богу, я вас достаточно знаю.

— Вы говорите так, будто ясно, как решать эту задачу.

— От нас, специалистов, требовали сказать «да» или «нет». Простите, Игорь Васильевич, я не мог сказать «нет».

Разговор идет торопливый, приглушенный, и, когда в коридоре раздаются шаги Марины Дмитриевны и она входит в комнату с чайником, Курчатов внезапно начинает смеяться:

— Ох, уморили, Абрам Федорович, великолепно. Вот это анекдот!

— Расскажите, Абрам Федорович,— просит Марина Дмитриевна.

Абрам Федорович укоризненно смотрит на Курчатова.

— Маша, это не для дам,— выручает его Курчатов.

— Вот уж не знала за вами, Абрам Федорович!

— Огрубел, Марина Дмитриевна... Между прочим, тут сахар и даже некоторые лекарства.

Марина Дмитриевна накрывает на стол. Со двора доносится звук трубы. Она берет жестяную банку.

— Керосин привезли, я сейчас. Игорь, ты бы прилег.

Как только она выходит, Курчатов увлекает Иоффе в коридор:

— Тут нам никто не будет мешать.

Они укрываются за развешанными пеленками, в глухом полутемном тупичке, Курчатов с наслаждением закуривает.

— Судя по всем данным, — тотчас начинает Иоффе, — немцы занимаются ураном, и американцы, и англичане.

— Но, Абрам Федорович, вы представляете, чтобы начать — только для опытов, — графит нужен, производство налаживать надо, тяжелая вода нужна, а уран? Тонны урана! Рудники необходимо переоборудовать. А измерительная аппаратура, где ее брать? Чистого изотопа ни столечко нет. Начинаешь думать — голова идет кругом. Я сейчас в Севастополе, Абрам Федорович, нахлебался — самолетов нет, снарядов в обрез. Какое же право мы имеем отвлекать огромные средства?! За счет крови наших людей? Я понимаю, если бы броню нам поручили усовершенствовать, это конкретное дело, а бомба — кот в мешке. Годы и годы нужны.

Марина Дмитриевна возвращается с керосином, заглядывает в комнату — никого нет, обеспокоенная, идет на кухню, спрашивает у мальчугана, восседающего на горшке:

— Дядю Игоря не видел?

— Там... они про бомбу говорят.

Из-за развешанного белья Марина Дмитриевна слышит голос Иоффе:

— ...Материальные трудности — полбеда. Образуется. Сложнее угадать правильный путь. С чего начинать...

Решившись, Марина Дмитриевна раздвигает белье:

— Хороши!

Курчатов виновато возвращается в комнату.

— Зачем вы его уговариваете, Абрам Федорович? — говорит Марина Дмитриевна. — Дайте ему другую работу. Почему именно он...

— Он лучше других сумеет воодушевить людей... — Иоффе разводит руками. — Но пусть он сам решает...

— Я боюсь, — говорит Марина Дмитриевна, — боюсь, боюсь...

С открытыми глазами Курчатов лежит в темноте. Стучит швейная машинка. Марина Дмитриевна шьет тряпочных зайцев. Это работа, которую она берет на дом. Груды белых ушастых зайцев растут на столе.

Время от времени она поглядывает на мужа.

Он видит новогоднюю елку, летящий голубой шарик с надписью: «Ядро атома», вальс, и следом горящий Севастополь, себя на борту эсминца, раненых, которых несут по сходням на корабль, эвакуацию под бомбежкой, и снова бал в физтехе, и снова обстрел Севастополя... Кружатся, сталкиваются эти две картины, нет, уже не картины, не воспоминания, а два направления жизни: война, бой, его солдатский долг, и физика, атомное ядро, лаборатория — два, как ему кажется, разных, даже противоположных направления жизни. Потому что заняться атомными делами — это, как бы там ни было, оставить фронт, уйти с войны...

Голубой воздушный шарик поднимается все выше, выше и лопается страшным взрывом, кроваво-слепающим столбом, который медленно поднимается к небесам, растет, превращается в атомный гриб.

В кабине пилота — веселые ребята команды самолета «Энола Гэй». Ведет свой репортаж американский журналист Лоуренс, который получит потом за это высшую журналистскую премию — Пулитцера:

— ...Наш самолет «Энола Гэй», названный полковником Тибетсом по имени своей покойной матери, соответствует двум, а может, четырем тысячам «летающих крепостей». Впереди лежит Япония. В мгновение, которое нельзя измерить, небесный смерч превратит в прах ее обитателей... Столб фиолетового огня в пять тысяч метров высотой. Вот он уже на уровне самолета!.. Это уже не дым, не огонь, а живое существо, рожденное человеком.

Души всех японцев поднимаются к небесам! О том, что здесь был город Хиросима, я могу судить лишь по тому, что минуту назад видел его собственными глазами... Мы передавали репортаж корреспондента газеты «Нью-Йорк таймс» с театра военных действий...

Ужин закончен, скатерть снята, открылся черный дубовый стол, за которым восседали физики-апостолы. Теперь они бродят по этой большой столовой, не находя себе места, не в силах успокоиться. Сообщение о бомбе не сплотило, а разъединило их.

Большинство не могло поверить, они просто не хотели верить тому, что американцы сделали атомную бомбу.

Карл Виртц, например, был убежден, что он вместе с Гейзенбергом, точнее, их группа первая в истории осуществила цепную реакцию. Не совсем осуществила, не до конца, но это уже технические детали, а в принципе у них уже получилось. Там, в пещере под скалой в Хайгерлохе, осталось совсем немного, чтобы разогнать котел. В самом начале марта они уже получили на сто нейтронов — семьсот, реакция вот-вот должна была пойти, еще немного — и возникли бы критические условия. Нужно было только добавить еще урана.

Не хватало еще хотя бы полтонны урана и меньше чем тонны тяжелой воды. Один грузовик. Тем более что все это было у группы физиков, возглавляемых Дибнером.

Поначалу хотели все оставить Дибнеру, весь уран, всю тяжелую воду, все вывезенное из Берлина оставить в той тюрингской деревушке, где этот ловкач Дибнер приспособил школьный подвал для нового реактора, и все машины, которые Виртц вел из Берлина, уже разгрузили там. Виртц поднял шум, накрутил Гейзенберга, надо было, чтобы тот дозвонился до начальства, чтобы как-то переиграть это решение. Гейзенберг сам с Вейцзеккером приехали в Штадтильм к Герлаху и выхлопотали несколько грузовиков урана и тяжелой воды. В Штадтильме и во всех окрестных городках воздушная тревога не прерывалась. Сигналов отбоя почти не было. В небе одна за другой плыли эскадрильи союзных и красnozвездных бомбардировщиков. Был февраль сорок пятого года.

Если бы еще поднажать, можно было бы взять еще тонну урана. Виртц не мог простить себе... В который раз успех, удача в самую последнюю минуту ускользали от него. Так было и в Берлине. Он собрал последний реактор, самый большой реактор с тяжелой водой. Оставалось только залить тяжелую воду. Полторы тонны. И начинать пуск. Двадцать девятого января поздно вечером его группа кончила последние приготовления. А на следующий день пришел приказ демонтировать реактор, и во двор института прибыли тяжелые крытые грузовики с охраной для эвакуации. Из Берлина уходили, уезжали, бежали. Свет в бункере то и дело меркнул, гас. Бомбежки усилились. Виртц был вне себя — ему не хватило двух-трех дней.

В пещере Хайгерлоха пахло винным спиртом, и на деревянных стеллажах кое-где лежали старые бутылки.

Его люди работали, не жалея себя, готовя котлован для реактора, монтировали контейнеры, баки, приборы. Условия были здесь самые примитивные, никакого сравнения с берлинским бункером, где имелся кондиционер, а наверху ходил тельфер, люди были изолированы от реактора стальными дверями, специальными иллюминаторами. Котлом можно было управлять на расстоянии, с подземного пульта. Предусмотрено все для защиты людей от радиации.

Хайгерлох был деревушкой, живописной и никак не приспособленной для исследований. Негде было даже расточить подшипник насоса. И все же они за неделю вручную подвесили к проволокам почти семьсот кубиков урана и к первому марта начали закачивать тяжелую воду в новый котел.

По дорогам тянулись потоки беженцев из Пруссии, из разбомбленного Дрездена, из Чехословакии. Воздушные налеты не прекращались. Однажды бомбы попали в тюрьму, что стояла на утесе, и в пещере все дрогнуло, бетон у контейнера треснул.

К этому времени и Виртц, и Гейзенберг поняли, что можно было обойтись без тяжелой воды, без всей этой норвежской эпопеи, без жертв и боев за эту тяжелую воду. Графит вполне годился как замедлитель.

Безумная надежда подстегивала Виртца: может быть, им все же удастся опередить всех, не только своих немецких конкурентов, но и вообще всех в мире, он чувствовал, что они подошли вплотную к получению атомной энергии.

Они были совсем близко и невероятно далеко.

Они двигались быстро, но понимали, что советские войска приближаются еще быстрее.

Что подгоняло этих последних действующих физиков гитлеровского рейха? Любознательность? Тщеславие? Одна за другой опустели лаборатории Кайзер-Вильгельм-Института в Берлине. Американские войска приближались к Штадтильму, работа там тоже прекратилась, эсэсовцы приказали всем атомщикам Дибнера эвакуироваться на юг. А в пещере Хайгерлоха все еще лихорадочно работали. Виртц пытался дозвониться в Штадтильм: один грузовик с брикетами урана — вот что ему надо было. Если бы они успели прислать всего один грузовик...

...Все сорвалось в последний момент. Опять не хватило нескольких дней. Роковое стечение обстоятельств преследовало их неотступно уже второй год.

Со всех сторон Гейзенбергу твердили, что если реактор заработает, то немецкая наука обретет великое преимущество. Открытие поможет добиться приемлемых условий мира. Секрет этого открытия необходим для всех стран, можно будет спасти ученых Германии, сохранить ее науку...

И он, Гейзенберг, верил им всем, и этому хлопотуну Вальтеру Герлаху, который пытался быть хорошим для всех и всех выручить, и всем помочь, и мотался между Герингом и Борманом. Они и впрямь считали, что они откроют миру глаза, они, немецкие физики... И это в то время, когда, оказывается, давно уже в Штатах работали реакторы и бомбы были сделаны.

...Гейзенберг не ушел из столовой. Он решил испытать чашу унижения до конца. Единственное, что он не мог себя заставить, — встретиться глазами с Отто Ганом. Почему-то перед ним было особенно стыдно. То ли потому, что Ган не постеснялся сказать им всем правду в глаза. То ли потому, что Ган один среди них всех чувствовал свою вину, взвалил ее на себя, мучился.

— А я рад, что бомба не у нас, — вдруг вскакивает Вейцзеккер, с вызовом оглядывает всех. — Американцы совершили безумие.

Хартек останавливается перед ним:

— Все же они оказались способны сделать ее. А мы нет. Если бы не наша клика невежд и тупиц, мы были бы первыми.

— А может быть, все дело в том, что не они, не наши невежды, а мы сами не хотели успеха. Во всяком случае, большая часть наших физиков. — Голос Вейцзеккера крепнет, с каждым словом он обретает уверенность.

— То есть как?

— А так! Из принципиальных соображений! — со значением творит легенду Вейцзеккер. — Если бы мы желали победы Германии, мы бы добились своего, но мы не хотели. Мы уклонялись...

Ган поднимает голову:

— Брехня! Не верю.

Скандал вот-вот разразится. Единственный, кто чувствует себя свободным, даже довольным этой на-

пряженностью, это Лауэ. Он берет Гана за плечи, с помощью Карла Виртца усаживает в кресло.

— Вейцеккер, простите меня, это абсурд! — возмущается Эрих Багге. — Может, вы и не хотели успеха. Не знаю. Но остальные — вряд ли.

— Выходит, вы саботировали работы над бомбой. Допустим, — ядовито соглашается Хартек. — Но правильно ли это? Если бы мы сделали такое оружие, наша наука не оказалась бы сегодня в этом положении. — Он выразительно обводит руками их место заключения. — Что будет с Германией... Средневековье...

Гейзенберг ходит, опустив голову, садится, встает.

— Как они это сумели? Мы ведь занимались тем же... Неужели они настолько обогнали... Непостижимо. — Гейзенберг не в силах скрыть свое расстройство, его самолюбие уязвлено. — Какой стыд!

— Вы считали себя первым, — не унимается Ган, — а вы второй... вы третий... а может быть, вы сотый...

Поздно вечером того же дня Лауэ и Гейзенберг стоят у дверей комнаты Гана. Из полуоткрытых дверей светит ночник. Ган мечется, стонет во сне.

— Я боюсь за Отто, — говорит Лауэ. — У него мания вины.

Он берет Гейзенберга под руку, они спускаются по скрипучей деревянной лестнице. Мимо проходит сержант английской охраны.

— Я всерьез занялся физикой в семнадцать лет, — говорит Лауэ, — я мечтал превратить ее в великую науку и быть свидетелем исторических событий. И то и другое осуществилось.

— Да, осуществилось... — удрученно повторяет Гейзенберг.

— Но как...

В Принстоне, в саду при доме Эйнштейна, они встретились весной 1945 года. Альберт Эйнштейн и Александр Сакс, приятель Лео Сцилларда, советник Рузвельта, тот самый Сакс, который уговаривал президента пять лет назад начать работы над бомбой.

Цветут яблони, вишни, белые лепестки осыпают седую голову Эйнштейна. Сандалии на босу ногу хлопают по гравию. Эйнштейн напоминает библейского старца. А может, и самого господа, идущего по райскому саду.

Только бог этот не всемогущ, не грозен, а дряхл и печален.

— Стыдно... стыдно... — повторяет он слова Гейзенберга, но иначе, совсем иначе. — Вы знаете, Сакс, самое ужасное, что у нас нет оправдания, у всех этих военных и политиков есть оправдание, а у нас с вами нет...

Сакс отводит свисающие на их пути ветви.

— Откуда мы могли знать? — несогласно говорит он. — По всем данным, немцы работали над бомбой. Они не успели. Вернее, мы обогнали их. Это же все так и было. Разве мы виноваты, что теперь, когда немцы разбиты, бомба в руках таких, как Гровс, а Рузвельта уже нет? Послушайте, профессор, я понимаю, мы все влипли, но я сам ничего не могу исправить. Я могу только просить вас. Вы должны обратиться к президенту.

— Опять? Один раз я уже спасал человечество — я просил сделать бомбу. Теперь вам снова нужно мое имя. Чтобы спасти мир от бомбы...

К ним навстречу по аллейке спешит Сциллард. Это тот самый Сциллард, который пять лет назад приезжал к Эйнштейну организовать письмо Рузвельту. Сциллард, который работал над бомбой в Лос-Аламосе, Сциллард — любимый ученик Макса фон Лауэ.

— Простите, Сакс, я задержался. Профессор, я точно знаю: они хотят сбросить бомбу на Японию.

— При чем тут Япония? — удивляется Эйнштейн. — Германия капитулировала. Война окончена.

— Япония воюет. Гровс сказал, если у нас есть такое оружие, то мы должны применить его.

Они выходят на лужайку. Пять лет назад здесь Сциллард и Теллер обсуждали с ним текст письма к Рузвельту.

Эйнштейн подавил вздох.

— Я думаю о том, что подтолкнуть на новое оружие всегда легче, чем остановить...

— Мы были правы и тогда, мы правы и сейчас, — настаивает Сакс.

— Надо просить Трумэна воздержаться, — говорит Сциллард. — Какие могут быть колебания, если мы можем спасти жизнь тысяч и тысяч людей. Мы сейчас единственные, кто понимает, что стоит взорвать бомбу — и русские поймут, что она реальность. Они ее сделают. Если успеют. Зачем им зависеть от милости всяких Гровсов.

Эйнштейн безнадежно кивает.

— ...Мы не могли предвидеть так далеко, — говорит Сакс. — Да, мы испугались чучела.

— Когда-то я предупреждал вас, что мы ходим возле самой субстанции. — Эйнштейн устало опускается на скамейку. — Дело сделано... Бомба у них... Что мы теперь...

— Именно теперь. — Сакс заставляет себя воодушевиться. — Авторитет и влияние науки поднялись как никогда...

Птица, покачиваясь на ветке, смотрит на Эйнштейна. Круглый глаз ее неподвижно и вдумчиво блестит.

Эйнштейн тоже смотрит на нее. Сакс и Сциллард стоят перед ним, ожидая ответа. Он говорит, глядя на эту птаху:

— Я не знаю, во что вы верите, но в науку верить нельзя. Она беспомощна и равнодушна... Видите, она позволяет пользоваться ею как угодно. Она может установить только то, что есть, а не то, что должно быть. — Он горько усмехается. — Грустно убеждаться, что есть вещи, куда более нужные людям, чем знания...

Птаха улетает, и Эйнштейн обрывает себя, как будто он говорил ей.

— Где ваше письмо? — устало спрашивает он.

Сакс достает письмо; не читая, Эйнштейн подписывает.

— А как же Оппенгеймер? — вспоминает он. — Ведь он может куда больше, чем я...

Сциллард молчит, и Сакс тоже молчит. Эйнштейн встает, направляется к дому.

Сбоку от старых гравюр паровозов и парусников, ближе к окну, висит большая фотография Рузвельта, увитая траурными лентами.

В кабинете президента за столом Гарри Трумэн. Перед ним сидят генерал Гровс и военный министр Стимсон.

— Что им не нравится, этим ученым? — спрашивает Трумэн, отодвигая прочитанное письмо. — Они ж сами ее делали. Чего они теперь боятся?

Отвечает Стимсон, он старается не смотреть на президента: трудно привыкнуть к тому, что за этим столом, в этом кабинете, на месте Рузвельта, хозяйничает этот маленький человек.

— Видите ли, атомная бомба — не просто новая бомба. Сила ее взрыва эквивалентна двадцати тысячам тонн тротила.

Трумэн вскакивает, снова садится.

— Ничего себе! А! Сколько ж она сама весит? — подозрительно спрашивает он.

— Взрывной заряд не больше апельсина, — поясняет Гровс.

Трумэн оценивающе взвешивает в руке круглую пепельницу.

— А вы уверены, что у России нет такой штуки?

— Нет, и не скоро будет. У них на это не хватит ни промышленных мощностей, ни сырья.

— А у англичан?

Гровс пренебрежительно машет рукой.

— Атомная бомба обеспечит американской дипломатии большую силу, — говорит Стимсон. — Это козырная карта в политике.

— У вас остается единственная возможность продемонстрировать бомбу перед всем миром, — решительно говорит Гровс. — Сбросить ее, пока Япония еще не капитулировала. И все станет ясно. Всем станет ясно! Когда увидят действие атомной бомбы. Гарантирую, что Советский Союз станет более уступчивым в Восточной Европе. Да и вообще...

Трумэн поворачивается на своем вертящемся кресле к портрету Рузвельта, разглядывает его, тонкие губы его поджаты. Потом он весело раскручивается в обратную сторону.

— Послушайте, Стимсон, но это же меняет все дело. Тогда я смогу по-другому разговаривать с русскими. Я буду диктовать. Если они заартачатся — пусть убираются к черту... А она взорвется? — вдруг спрашивает он у Гровса.

— Разумеется, господин президент.

— Если она взорвется, у меня будет хорошая дубинка для русских парней.

— Но можем ли мы не считаться с протестами ученых? — Стимсон кивает на письмо. — Они отражают мнение влиятельных кругов.

— Не стоит преувеличивать. Среди ученых разные мнения. — Гровс замысловато вертит рукой. — Я изучил эту публику. Если они что-нибудь сделали, они обязательно хотят пустить это в ход, они все тщеславны.

Трумэн внимательно следит за его жестом.

— Я тоже думаю... но хорошо, если б они сами вынесли рекомендации.

— Господин президент,— говорит Гровс,— я надеюсь, что они дойдут до этого.

Гровс и Стимсон молча спускаются по лестнице.

— Господи, как он мог, как у него хватает духа, чтобы так легко согласиться на такое?— удрученно произносит Стимсон.— Сбросить бомбу...

Гровс неожиданно хохочет:

— Знаете, Стимсон, он не так уж много сделал, сказав «да». Сейчас надо иметь куда больше мужества, чтобы сказать «нет».

В другое время Стимсон оценил бы это замечание, но теперь победный вид Гровса раздражает его.

— Боюсь, что с учеными вам будет потруднее, чем с Трумэном,— едко замечает он.— Особенно с этим вашим Оппенгеймером. Вряд ли на него подействует ваша эрудиция...

...Черный лимузин, сигналив, пробивается через карнавальное шествие какого-то маленького американского городка. Взрываются петарды, сыплется конфетти, веселые маски заглядывают в окна машин. Тамбурмажор-девица вышагивает впереди женского оркестра.

За рулем машины Оппенгеймер, он в светлом костюме, в лихо сдвинутой шляпе. Рядом с ним Сциллард. Сквозь разряды и потрескивание включенного приемника доносится скрипичный концерт.

— ...Рвется крохотный сосуд в голове одного человека, и все...— говорит Сциллард.— Ход истории нарушается. Чего стоит этот мир, построенный на таких случайностях? Если бы Рузвельт прожил еще несколько дней... всего несколько дней... А мы пытаемся установить какие-то законы развития. Ищем логику...

— Будь Рузвельт жив, он бы тоже не сумел остановить военных,— утешает его Оппенгеймер.— Ты идеалист, Лео. Вся разница в том, что Рузвельт сделал бы это нехотя, а Трумэн делает охотно.

— Я вижу, ты ловко устроился в этой разнице,— со злостью говорит Сциллард.— Ладно. Ясно, что надеяться нам не на кого. Только на себя. Пока эти упыри с нами считаются, мы должны их придержать.

Машина сворачивает в боковую улочку, где сидят на крылечках старые негритянки. Гирлянды бумажных

цветов повисли между дощатыми лачугами, сколоченными из фруктовых ящиков. Ограда из колючей проволоки, пакгаузы, и там, в глубине складов, на открытых площадках пирамиды стальных солдатских касок. Они высятся, никому уже не нужные, до следующей войны, как курганы, как памятники...

— Отправить еще килограмм писем? — насмешливо спрашивает Оппенгеймер.

— Не валяй дурака. Ты руководитель проекта. Ты отец бомбы, ее папуля, папочка... кумир всех горилл в генеральских мундирах. От тебя зависит больше, чем от кого-либо из нас.

Перед ними расстилается безрадостная равнина. Прямое шоссе, размеченное рекламными щитами, бетонной стрелой воткнулось в горизонт. Шлейф пыли клубится за одинокой машиной.

— Ничего от меня не зависит, — говорит Оппенгеймер, — я технический советник.

— Оппи, ты начинаешь работать на дьявола, — предостерегает Сциллард.

— Дьявол... — Оппи кривится. — Не ты ли хлопотал, чтобы его выпустили из бутылки?

— Мы все ответственны за это, но ты, Оппи, ты обязан остановить их, тебя слушают. Если ты этого не сделаешь...

— Я не хочу вмешиваться в политику. Я ученый.

— А зачем же ты начинал работу над бомбой? Ну-ка потревожь свою знаменитую память. Мы делали бомбу против Гитлера, теперь он разгромлен. Зачем же сейчас ее сбрасывать? На кого?

— Лео, ты делал ее против Гитлера. Я тоже, но, кроме того, я делал ее для своей родины. Я — американец...

— Ага, а я — эмигрант... Вот до чего мы дошли... Ну конечно, ты политик, только ты плохой политик. Это оружие принесет твоей Америке больше вреда, чем пользы. Ах, Оппи, как разделила нас эта проклятая бомба. Гейзенберг, Ган... теперь ты. Мне кажется, что ты все время чего-то боишься.

— Чего мне бояться? — Голос Оппи вдруг срывается на крик. — Я ничего не боюсь!

— Тебя окружает страх, — не слушая, продолжает Сциллард. — Ты не смеешь оглянуться. И боишься смотреть вперед...

Голос Сцилларда отдаляется, затихает. Машина мчится по бетонному шоссе. За рулем Оппи, и рядом уже нет никого...

По вечернему подмосковному шоссе с зажженными фарами мчится ЗИС-101.

В машине Курчатов, Зубавин, Переверзев, в рыбацких своих плащах и ватниках, они возвращаются из того колхозного застолья.

Затихают звуки гармонии, кончается вальс, отлетают все дальше за стеклом огни деревень. Курчатов смотрит в темноту.

— Игорь Васильевич, — оборачивается к нему Переверзев, сидящий рядом с шофером. — Для чего они?.. Что теперь будет?

Курчатов молчит. Кончился вальс, кончился праздник, кончилась песня — для него все это мирное разом кончилось. Не успев по-настоящему начаться. Когда теперь ему придет случай вернуться к мирной жизни? Что проносится перед ним в зеркальной глубине стекла?

— Они метили не в Японию, — говорит Зубавин. — Она что... Она полигон.

— Хотят нас запугать?

Курчатов откидывается на сиденье, возвращается к своим спутникам.

— Итак, начинается новая эра — эра атома. Атомный век, — задумчиво говорит он.

— Ничего себе начало, — бурчит Зубавин.

— Да, кровавое начало... Боюсь, многое сейчас будет зависеть от того, успеем ли мы ее сделать.

Зубавин с особым вниманием посмотрел на Курчатова, словно бы увидел его иначе, совсем не так, как привык за эти два года.

— Да, все зависит от вас, — говорит он. — Впервые, наверное, в истории отвечать будут ученые.

Курчатов озабоченно кивает:

— По крайней мере ясно, что ее сделать можно.

Под утро Курчатов, Зубавин, несколько ответственных работников Совета Министров и генералов вышли из подъезда дома в Кремлевском переулке.

На свежеполитой площади их ждали машины.

Курчатов молча попрощался с товарищами, еще не замечая, как перед ним вытягиваются...

Пешком через площадь он направился к Троицким воротам. Его обгоняли автомобили. Позади, в отдалении, следовал Переверзев.

Вдруг Курчатов свернул на Соборную площадь. Одинокие шаги его гулко звучали в тишине раннего утра. Москва еще спала. А может, сюда не доносились ее шумы. Солнце только позолотило маковку колокольни Ивана Великого. Все было в тени, но там, наверху, полыхало. Сверкали золотые купола колокольни и Успенского собора. И такой покой, тишь царили кругом, что казалось, время спит, что его нет, а существует эта незыблемость, исчисляемая веками, нерушимость устоев... И вдруг Курчатову послышался свист, вой падающей бомбы. Ему увиделось небо, охваченное пламенем. Облака и весь небосвод горели, корчились в неистовой вспышке, чернели, прожигались насквозь. Колокольня Ивана Великого начала оседать, крениться, стали плавиться купола Успенского собора, потекли камни древних стен...

В кремлевском кабинете Сталина за длинным столом сидят Курчатов, Зубавин, работники Совета Министров.

Сам Сталин, как обычно, ходит по кабинету, то останавливаясь у письменного стола, то подходя к своему креслу во главе стола заседаний. Идет одно из тех рабочих совещаний, на которых решались подробности достаточно серьезные и достаточно спорные. Зубавин, в защитной суконной гимнастерке, обычной для того времени, докладывает и, как видно, подводит первые итоги.

— ...Кабель, изоляторы обеспечиваем за счет фондов легкой промышленности. Стройматериалы, цемент, металл снимаем с южных районов — то, что было намечено для восстановления городов. Начатые там объекты придется заморозить, оставляя только Донбасс.

Его слушают хмуро. В сущности, он забирает самое насущное, режет без ножа, потому что в 1945 году всего этого — и цемента, и металла, в стране, еще не оправившейся от войны, было в обрез, на счету была каждая тонна металла, каждый вагон цемента, надо было восстанавливать разрушенные заводы, шахты, города. Немудрено, что предложения Зубавина, то есть проект

приказа, хозяйственники встречают мрачным молчанием. Оно настолько явно, что Сталин вынужден спросить:

— Как, товарищ Сергееenko, обеспечите?

Сергееenko встает, он старается говорить бесстрастно, никак не выдавая своих чувств.

— Трудности в том, что многие предприятия с людьми выехали обратно. В Харькове одни развалины... — Он следит за выражением лица Сталина и заканчивает несколько иначе, четко и бодро: — Будем исходить из того, что нужно, товарищ Сталин, а не из того, что есть.

— Вот это правильно, — одобряет Сталин. — Продолжайте, продолжайте.

Зубавин отрывается от бумаг:

— Оба химкомбината на Урале передать в распоряжение Александрова. Но, товарищ Сталин, приборостроителей нужно втрое больше, чем есть. — Он выжидательно умолкает.

Мягко ступая, Сталин останавливается боком к столу и смотрит на министра, затем с легким нетерпением спрашивает:

— Ну, как же?

Министр поднимается, одергивает черный пиджак:

— Простите, я прошу два месяца, чтобы хоть как-то подготовить замены.

— Товарищ Зубавин? — вопросительно проверяет Сталин.

Зубавин покосился на Курчатова, но тот сидит, опираясь на палку, совершенно безучастно, никак не помогая Зубавину, не отзываясь на его призыв, он смотрит прямо перед собою, лицо его холодно и неподвижно.

— Месяц, — жестко говорит Зубавин.

— Ясно, — подчеркнуто по-военному, показывая, что это подчинение, а не согласие, чеканит министр.

А Зубавин дожимает, он учитывает растущую напряженность и торопится скорее выложить все конфликтные дела. Каждое слово у него продумано.

— Самое трудное, товарищ Сталин, с электроэнергией, — предупреждает он, давая тем самым некоторые возможности своим оппонентам. — Главный объект, как известно, весьма энергоемкий — потребуются две линии передач, и надо обеспечить мощностью.

Сталин повозился с трубкой, потом спрашивает.

— Как, товарищ министр?

Министр встает, докладывает почти ожесточенно:

— Линии протянем... Но вот насчет мощностей... в тех районах... — Он выразительно замолкает.

— Мощности нужны когда?

— К зиме, — чуть виновато отвечает Зубавин, потому что он-то понимает, как это плохо, что к зиме, то есть к максимуму, к самому тяжкому времени для энергетиков.

Министру все это уже известно из предварительных разговоров с Зубавиным, и Зубавину известна его позиция, но министр еще на что-то надеялся до этой последней минуты. Сейчас он говорит убито:

— Понятно.

— Это хорошо, что вам понятно, — говорит Сталин. Министр продолжает стоять, и Сталин, помедлив и подумав, спрашивает: — Ну? Вы, кажется, что-то хотите сказать?

— Нет, товарищ Сталин, — привычно отвечает министр, но, услышав себя, он неожиданно решается: — Да, товарищ Сталин. У меня нет мощностей в тех районах. Нет, — тверже повторил он. — И я не знаю, откуда их взять. Разве что отключить города, держать людей в потемках. Это ж невозможно, не война. Что я скажу людям? Первая зима. Хоть бы дали прийти в себя... — Он спохватывается. Не принято говорить так в этом кабинете. — Простите, пожалуйста.

— Ничего, ничего, — успокаивает его Сталин, у него своя тактика в этом разговоре, его даже устраивает такой поворот. — Я вас понимаю. Что же мы будем делать, товарищ Зубавин?

Никто не обращается к Курчатову, его обходят, и тем не менее круги, которые все делают, сужаются.

— Товарищ Сталин, я думаю... — начинает было Зубавин.

Не доводы министра потрясли Зубавина, а его смелость. Чем-то она зацепила его, был в ней упрек, укор ему.

— Что вы думаете? — Взгляд Сталина становится тяжелым.

— Правильно он говорит. Там же люди. Если бы сроки первой очереди передвинуть, тогда мощности значительно сократятся. Надо искать какой-то выход.

Сталин раскуривает трубку, все смотрят на него, он долго прохаживается, потом садится рядом с Курчатовым.

— Товарищ Курчатов, может быть, вы в чем-то пойдете навстречу просьбам товарищей?

Настигла все же и его эта доля... Он поднимает голову и смотрит на Сталина, прищурясь, разгадав его маневр — переложить все на него, на Курчатова, и чтобы при этом еще и сам Курчатов лишний раз взял на себя ответственность.

— К сожалению, товарищ Сталин, мы не в состоянии ничего сократить против наших расчетов. Никаких сроков сдвигать не можем. Никаких,— еще раз подтверждает он.

Сталин доволен его ответом. Он разводит руками:

— Вот видите, товарищи. Ничем не могу вам помочь. Ничем.— Он встает.

Ну что ж, все получилось как нельзя лучше, он ни при чем. Он подходит к окну, поднимает белую штору — за окном рассвет, розовое небо полыхает, поднимается над Кремлем. Он смотрит на часы:

— Полпятого утра уже. Почему вы приуныли? — удивляется он.— Пойдемте, посмотрим хорошее кино.

И все за ним направляются в кинозал, маленький, на несколько человек, уставленный глубокими креслами. Все рассаживаются, гаснет свет, и начинается «Большой вальс».

На экране едет, мчится под звуки штраусовского вальса карета, катит по солнечной аллее, несутся кони, счастливые лица Штрауса и его возлюбленной, они поют, и в лад им цокают копыта, и мелькают тени раскидистых яблонь, карета движется на нас, покачивается смеющийся кучер, сверкают зубы Милицы Корьюс.

А Курчатов видит на этом экране другое: как впряглись в плуг бабы, тащат на себе цугом, пробуя вспахать землю, как упираются грудью в жердину и босыми ногами в заросшую пашню...

Видит он русскую печь посредине поля — все, что осталось от сожженной деревушки, в этой печи пекут хлеб пополам с корой, голодные ребятишки в ватниках, в каких-то отцовских пиджаках вертятся тут же... Видит он разрушенные кварталы Харькова, обгорелые коробки каменных домов тянутся длинными улицами, переходят в развалины, уже поросшие крапивой.

Видит Курчатов подбитый фашистский самолет, где живут люди, и военные землянки, тоже приспособленные под жилье, и даже в горелом танке живут, потому что надо же где-то жить.

Это не его воображение, а документы кинохроники, то, что он сам видел, то, что безыскусно снимали кинооператоры в те послевоенные месяцы.

А на экране под плавные звуки вальса мчится в венском лесу карета, и молодой Штраус беззаботно напевает свой вальс...

Висят карты, лежат папки с фотографиями. В кабинете Зубавина накурено, людно, за столом министры, генералы, хозяйственники. Совещание кончается. Несколько в стороне, скрытый тенью книжного шкафа, сидит Курчатов.

— Что же делать, — заключает Зубавин, — если другого выхода не найдете, будете лимитировать, даже отключать...

— Да ведь и так на голодном лимите держим, — с отчаянием восклицает молодой человек в очках.

К Курчатову доносятся голоса.

— ...Новороссийский цементный разбит... Минский тракторный... Кировский... Я буду жаловаться в Политбюро...

Зубавин подходит к пожилому усатому начальнику главка.

— Не надо жаловаться, — дружески и очень серьезно говорит он.

Начальник главка опускает голову.

— К сожалению, никаких сроков мы сдвигать не можем, — продолжает Зубавин, обращаясь ко всем. — Никому объяснить тоже не можем. Да, как на войне. — Зубавин идет вдоль стола, сочувственно оглядывая этих видавших виды людей, переживших такую войну, сумевших эвакуировать промышленность, развернуть заводы, построить электростанции в Сибири за короткие сроки, но даже им нынешнее задание не в меру тяжело. — Может, и потруднее, чем на войне, — признается он. — Американцы считают, что атомную проблему мы решим не раньше, чем через десять лет. За это время они хотят диктовать нам... Да, они надеются многое успеть. Ну что ж, часы включены. Строительство объектов будем вести теми же темпами, как разворачивали эвакуированные заводы. Насчет кадров...

Курчатов горбится, пригнутый тяжестью, что все наваливается и наваливается на него. Пожалуй, даже этим людям, у которых отбирают последнее, им и то

легче, — лишаться в этом положении легче, чем забирать.

— ...Обкомы партии обеспечат мобилизацию специалистов: строителей, химиков, электриков. Учтите, людей берем на длительный срок. Лучше холостых. Все. Прошу остаться вас и вас...

Люди молча расходятся. Многие из них еще не знают Курчатова, они проходят мимо, не обращая на него внимания, обмениваясь иногда короткими репликами в адрес Зубавина, на него направлено их возмущение.

Курчатов сидит все в той же позе, в опустевшем кабинете, где кроме Зубавина остались генерал и начальник геологического управления. Сцепив руки, он положил их на палку...

Зубавин отдергивает занавеску, открывая карту на стене.

— Прошу сюда, товарищ Николаев. Две танковые части перебросить надо в Сибирь. Сюда. Точный пункт назначения вам дадут к вечеру.

— С боекомплектами? — спрашивает генерал.

Впервые короткая улыбка освещает изможденное лицо Зубавина:

— Нет, лучше с концентратами. Танки помогут расчистить площадки в тайге. После этого вашим ребятам придется остаться работать на стройке. — Он обращается к штатскому: — Твоим изыскателям сколько еще надо?

— Месяц. И не дави, — предупреждает геолог.

— У меня есть всего две недели, — говорит Зубавин. — Боря, прошу тебя, — неожиданно и устало обращается он.

Наконец кабинет опустел.

Зубавин идет вдоль стола, сваливает окурки в большую пепельницу.

— Бедняги... Ну что, довольна твоя душенька? — осуждающе говорит он Курчатову. — Подчистую обираешь... — Он выходит выбросить окурки, но тотчас возвращается, распаленный собственными словами, накопленным гневом. — Ни задавиться, ни зарезаться нечем. Что делаем, что делаем... — Он ходит все быстрее по кабинету, наконец-то давая выход своим чувствам. — Все, что по сусекам, можно сказать, люди сгребли, все забрал. — Он подходит к дверям и говорит Курчатову со всей возможной едкостью: — Да, правду говорят: бог

дает денежку, а черт дырочку...— И уходит к себе в закуток, с силой хлопнув дверью.

Курчатов встает, открывает захлопнутую дверь: в маленькой узкой комнатке — койка, тумбочка с телефоном; на койку, закинув руки за голову, прилег Зубавин. Огромная фигура Курчатова заполнила эту каморку, нависла над железной койкой.

— Не понимаю смысла этого разговора,— начинает Курчатов.— Если ты думаешь, что я запрашиваю лишку, пожалуйста, соберем экспертную комиссию, устроим проверку.

— Пользуешься?.. А смысл разговора моего тот, что не могу я...

Курчатов поднимает палку, трясет ею:

— А зачем ты мне душу мотаешь? Я ничего этого слушать не желаю. Я беру необходимое и буду брать! И избавьте меня, Виталий Петрович, от подобных совещаний!

— Нервы бережешь?— с вызовом спрашивает Зубавин.

— Да, берегу!— с еще большим вызовом отвечает Курчатов.

— Конечно, так оно поспокойнее. Только учтите, Игорь Васильевич... Вы хотите ваших людей вдоволь обеспечить. А может, зря?— С каждым словом Зубавин накаляется, он вынужден сидеть на своей койке, встать он не может, слишком мало места, все свободное пространство занял Курчатов.— Да, да, зря, от достатка мозги заплывают. Голь-то, она подogaдлинее.

— Вот что, товарищ Зубавин,— яростно подчеркивая официальный свой тон, выговаривает Курчатов.— Мне дело надо делать. Либо корма жалеть, либо лошадь. Давайте договоримся: то, что мне поручено, я буду делать так, как я это понимаю.— Каждое слово он загоняет молотком.— Устраивает вас — пожалуйста...

Зазвонил телефон. Курчатов в запале, чтоб не мешал, хлопает трубкой о рычаг. Тут Зубавин не выдерживает.

— Да ты что? Ты что хозяйничаешь?— кричит он и, перейдя на непримиримую вежливость, сообщает:— Имейте в виду, Игорь Васильевич, отныне на поблажки не надейтесь. Ни одного дня, ни одной минуты!

— А я и не надеюсь!

— И не надейтесь!

— И вы не надейтесь!

Бессмысленно, не слыша друг друга, они со злостью твердят одно и то же. Опять звонит тот же телефон, и теперь уже Зубавин остервенело хлопает трубкой...

Пушки на башнях повернуты назад. Колонны тяжелых танков, развернувшись уступом, прокладывают дорогу в тайге. Ревут моторы. Облака снежной пыли взлетают от падающих елей. Стелется синий дым выхлопа, сквозь лязг гусениц слышен треск ломаемых стволов. От вывороченных корней летят комья мерзлой земли. Горят огромные костры, темнеют военные палатки.

Столик вкопан в снег. Тут же рации, полевые телефоны. Карты. Танкисты, вместе со штатскими, командуют этой операцией, похожей на сражение. Нежданно появляется Курчатов. В распахнутой шубе, с палкой, он нагрянул в сопровождении целой свиты. Не слышно, что он говорит, но заметно, как он недоволен. Резко указывает он палкой, куда направить машины, где ускорить работы. Кто-то из генералов пробует ему возражать, и вдруг оказывается, что этот академик, интеллигент, способен ставить генералов по стойке «смирно», что он умеет не только докладывать, но и приказывать. Стремительно шагает он через рытвины и завалы, танкисты из машин смотрят удивленно за этой странной фигурой, столь не похожей на привычных начальников, даже самых больших.

За ним еле поспевают.

У сопки, из передних машин, навстречу ему вылезают геодезисты с приборами. Вбивают колья, натягивают бечевки.

Раскидистый, опушенный снегом кедр вздрагивает под напором танка, но не поддается. Ствол обматывают тросом, танк, взревев, тянет, кедр трещит, рушится, открывая вывороченное нутро земли.

В этом снежно-земляном месиве только Курчатов может вообразить ряды однообразных глухих бетонных зданий, которые вскоре поднимутся здесь, окруженные высоким забором.

За окнами салон-вагона проплывают платформы, груженные станками, автомашинами, барабанами с кабелем. Повсюду на запломбированных вагонах разма-

шисто написано: «В Сибирь». В тамбурах стоит военная охрана.

За большим столом в салон-вагоне идет утреннее чаепитие. Стаканы в подстаканниках, по-походному на бумаге лежат хлеб, сухари, нарезанная колбаса. Халипов пьет чай вприкуску, наслаждаясь, как истый чаевник.

— Что творится, а? — глядя в окно на эшелоны, говорит Таня. — Что творится?..

Со стаканом чая в руке подходит Федя. Еще издали он возглашает:

— Грязный, грязный, как свинья. Я погибаю от грязи, а им и дела нет...

— Что случилось? — без интереса спрашивает Таня.

— Он опять грязный, этот уран. Что ни делаем, никак не избавиться. Примеси, примеси. В графите примеси, здесь примеси. Свинство! Я умру.

— Это по-мужски, — соглашается Таня. — Лучше умереть в грязи, чем жить в чистоте.

Опустошив очередной стакан и отдышавшись, Халипов продолжает, видимо, прерванный разговор с Изотовым:

— Не согласен. Послушайте, друзья, я считаю, что все же надо поговорить с Зубавиным. Иначе это черт знает чем может кончиться.

— Не знаю, не знаю, — задумчиво повторяет Изотов. — Борода ничего не делает наобум.

Халипов отодвигает стакан, сахарницу, всю посуду, вытаскивает бумаги, раскладывает их.

— Полюбуйтесь! Вы уж простите меня, я так не умею. Я всю жизнь привык сперва производить эксперимент, потом давать заключение. А сейчас надо наоборот. Мало того — посадили в поезд, везут черт знает куда и еще требуют рекомендации! Есть же, в конце концов, профессиональная репутация, честь... Мне моя честь дороже!

— Дороже чего? — задумчиво спрашивает Таня.

— Дороже всего. — Халипов поправил очки, вспомнив, усмехнулся: — Знаете выражение — жизнь родине, честь никому.

Вряд ли Таня знала это выражение, никто из них, молодых, его не знал, не мудрено, что они в первую минуту призадумались.

Федя вдруг стучит кулаком по столу:

— А меня никто не слушает! А почему? Потому что у меня нет бороды...

Увидев в дверях салона Зубавина, Халипов сразу же агрессивно обращается к нему:

— Вы хотите спросить, как у нас дела? Плохи у нас дела, плохи. Эксперименты еще не кончены. А мы уже заводы строим. Как лучше — не знаем, а строим. А если ошибемся? Где это видано — стрелять в цель, которая еще не появилась! Зачем вы толкаете на это Курчатова? С вас ведь тоже спросят!

Зубавин садится за стол, не спеша наливает чай.

— Хорошо, если спросят, а то и спрашивать не станут,— благодушно усмехается он, никак не затронутый наскоками Халипова.

Тот недоумевает:

— Тогда зачем же вы? Как же вы...

— А что я могу, если Игорь Васильевич сам предлагает!

— Сам?— Вот чего Халипов, да и остальные не ожидали.— Сам?.. Отговорить!

Зубавину остается лишь вздохнуть над подобными советами, все это продумано им и так и этак, и он охотно поясняет.

— Речь, между прочим, идет о том, чтобы выиграть полгода. Полгода! При нынешнем международном положении кто меня слушать станет, всякие мои опасения?.. А представьте себе, что Курчатов прав? А?

— Физкультпривет!.. Федя, ну как, открытие есть?— С этими словами входит Курчатов, веселый, бодрый, потирающий руки от удовольствия энергично начатого дня. Ему освобождают место за столом, и он включается в чаепитие.

— Простите,— говорит Халипов Зубавину.— А если Курчатов не прав? Уж больно все это зыбко...

Пауза. Курчатов, улыбаясь, пьет чай.

— Ах, да! Чуть не забыл. У меня же для вас сюрприз,— громче обычного объявляет Зубавин и выкладывает на стол несколько фотоснимков.— Толя, и вы тут есть,— сообщает он Изотову.

— А, да... да, да,— приговаривает Изотов, рассматривая фотографии.— Это Бор... Это мы у него дома. А это Гейзенберг. Это Сциллард...

Это была юная счастливая пора физики, которая больше никогда не повторится. Изотова тогда направили работать в Копенгаген, к Бору, в институт, этот трех-

этажный, похожий на школу дом под красной крышей, где играли в пинг-понг, пили без конца кофе и работали все время, даже во сне.

А Гейзенберг был тогда белокурый долговязый парнем, он любил щеголять в кожаных шортах, цитировать древних греков и без конца обсуждать с Бором свои идеи. А венгр Лео Сциллард, который был ассистентом Лауэ и работал у него в Берлине, тоже приезжал к Бору на его собеседования.

Они собирались сюда со всего света, гении и корифеи, старики и мальчишки, путешественники и домоседы, — они все тогда знали друг друга. Мало кто из них еще был похож на свои будущие портреты. Всем им придется заняться бомбой. Одни будут делать ее в Англии, в Америке, другие в Германии и третьи в Советском Союзе.

— А вот там Вейцзеккер, — продолжает узнавать Изотов.

Карл фон Вейцзеккер, сын германского статс-секретаря, был другом и в какой-то мере учеником Вернера Гейзенберга, получившего уже тогда Нобелевскую премию; он тоже работал тогда у Бора и сделал неплохую работу, кажется, по изометрии.

— А это кто? — спрашивает Курчатов.

— Это? По-моему, Оппенгеймер, — говорит Изотов. — Оппи...

...Стройный, пижонистый, заядлый курильщик Оппи, который умел быть центром всякого так называемого физического трепа. Ему было за тридцать, он хорошо знал мифологию, но, кажется, по физике у него серьезных работ не было, во всяком случае, Изотов не помнил.

— Да, это Оппенгеймер, — подтверждает Зубавин, — отец атомной бомбы, как его называют в Америке.

На фотографии он в компании других молодых физиков на какой-то улочке Копенгагена. Курчатов разглядывает его, пытаясь выделить, обособить, угадать в этих чертах будущего Оппи.

— И ты тут, Толенька! — восклицает Таня.

— А... это на конгрессе. Помните, вы тогда отказались ехать, Игорь Васильевич?

Да, это было, когда Курчатов только взялся за работу на циклотроне у Халипова. Ему надо было получить пучок, и пришлось отказаться от конгресса. Как давно это было! Кто мог знать, что пройдет много лет,

прежде чем он встретится с этими физиками, знакомыми ему по работам, по статьям, по теориям, взглядам, ошибкам, пристрастиям... Тогда казалось, что не на этот конгресс, так на следующий, через год, он тоже поедет к Бору, или в Геттинген, или на Сольвеевский конгресс, да мало ли...

Изотов перебирает снимки с грустью и удивлением. Неужели это он был среди них? До чего ж быстро изменились судьбы и взгляды всех их...

— Эйнштейн... А это старик Лауэ! — узнает Изотов, и нежность непроизвольно прорывается в его голосе.

Эйнштейн — понятно, но Лауэ? На него смотрят недоуменно, и он смущается, хмурится, — конечно, в их глазах знаменитый физик Лауэ сейчас — физик гитлеровской Германии; для него же он прежде всего веселый, сердечный человек, тогда он считал его стариком, но вокруг этого старика постоянно звучал смех, он был первый лыжник, первый музыкант и первый автомобилист. И ученый он был первоклассный. Как объяснить им всем, что Лауэ не мог стать нацистом? От так ненавидел расизм, он не побоялся выступить против избрания фашиста Штарка в Академию наук, он ни черта не боялся, — не может быть, чтобы за эти годы Лауэ изменил свои взгляды. Хотя, наверно, нельзя ручаться, чего только не происходило с людьми за годы войны...

— Да, Лауэ, — упрямо повторяет Изотов с нежностью.

— Фон Лауэ! — поправляет Курчатов.

Изотов ничего не может возразить: Курчатов ведь Лауэ не видел, и холодность и даже враждебность его понятны.

Все выяснится еще только через год-полтора, как достойно и мужественно держался Макс фон Лауэ все годы фашизма, вплоть до конца войны. Он был совестью и нравственным примером, доказывая всем, что даже под гнетом фашизма человек мог не согнуться, не сломаться.

— Это Ган... Это Гейзенберг, — показывает Изотов.

Какие они тут все беспутные, ничто еще не разделяет их.

И Гейзенберг, в свитере, в темных очках, и Отто Ган, в клетчатой рубашке, в тирольской шапочке с пером, над чем они хохочут? Отто Ган, неужели и он, этот благородный человек, тоже стал фашиствующим физиком?..

— Так вот, — вдруг прерывает Курчатов. — Американская стратегия нам не подходит. Мы фронт исследований сужаем. Риск? В какой степени? Ну что ж, степень риска, осторожности — все это ведь тоже можно просчитать научно. — Он чертит в воздухе: — Вот выигрыш во времени. А вот степень риска. Наша задача — найти оптимальный вариант...

— Нашел! — вдруг завопил Федя. — Какая голова! Таня, погладьте эту голову! Пощупайте ее, пожалуйста, разрешаю! Голова гения! Я гений! Я сделал великое открытие!.. Нет... Кажется, ерунда. Ерунда...

Курчатов не обращает внимания на его возгласы. Снова его привлекает к себе фотография Оппенгеймера.

— С кем это он?

Огромный, плечистый, грузный человек в форменной рубашке рядом с Оппенгеймером. Они стоят как приятели, позируя фотографу.

— С генералом Гровсом, — поясняет Зубавин. — Начальником Манхэттенского проекта. Снято это, если я не ошибаюсь, году в сорок втором, когда Оппенгеймера назначили руководителем Лос-Аламосской лаборатории.

Курчатов всматривается в фотографию, пытаюсь разгадать, что же за человек этот Оппенгеймер.

Летят за окном заснеженные ели и кедры сибирских лесов, и вдруг они сменяются жаркой аризонской равниной. Кое-где распаханное, засеянное кукурузой и маисом прерии тянутся вплоть до коричневатых скал на горизонте. Проплывают редкие фермы — низкие белые постройки с рекламными щитами.

В купе входит Борис Паш — спортивный, всегда улыбчивый блондин, лишенный каких-либо примет, и тем не менее знакомый даже тому, кто видит его впервые. Именно такие лица постоянно улыбаются с рекламных объявлений. Он приятно безлик. Его трудно запомнить, но зато он хорошо запоминает.

— Ваш Оппи на подходе, генерал, — сообщает он Гровсу, сидящему у карты, разложенной на столе.

Дверь салона открывается. На пороге нерешительно останавливается Роберт Оппенгеймер. Он в пальто, с поднятым воротником. Гровс поднимается ему навстречу, огромный, полнеющий, в расстегнутой генеральской куртке.

— Рад вас видеть, мистер Оппенгеймер, могу сообщить приятную новость — вы утверждены руководителем проекта игрек.

И, отбросив торжественность, приятельски хлопает Оппенгеймера по плечу:

— Поздравляю, Оппи. Мне пришлось крепко повоевать за вас. Некоторым нашим бюрократам хотелось чего-то посolidнее, например Нобелевского лауреата!.. — Он смеется, с грубоватой прямоотой добавляет: — Да и прошлое ваше не очень устраивало. Но я поручился... Ну ладно, располагайтесь, и за работу. Мы поэтому и здесь. Пора решать — где разместить ваш атомный центр.

Оппенгеймер, сбросив пальто, садится к карте, они начинают работать.

— Да, да... Я думал... Лучше всего к Санта-Фе, там есть прекрасное плато, неподалеку от Лос-Анжелеса... У меня тут ранчо неподалеку, — поясняет Оппи. — Правда, в Санта-Фе я давно не бывал, лет восемь...

— Девять, — вдруг с улыбочкой поправляет Паш.

Оппи внимательно смотрит на него.

— Ну что ж, давайте сразу поедem туда, — решает Гровс, — дорог каждый день. У русских все трещит, Сталинград не сегодня-завтра падет. И тогда... — Гровс машет рукой.

— Вы так полагаете? — недоверчиво спрашивает Оппенгеймер.

— А вы? — с интересом проверяет Паш.

— Я думаю несколько иначе, — твердо говорит Оппенгеймер. — Я думаю, что русские удержат Сталинград.

— Вы высокого мнения о них, — вежливо говорит Паш и смотрит на Гровса с уличающей, не очень понятной Оппенгеймеру усмешкой.

Гровс хмуро прокладывает на карте трассу.

— У вас какой-то знакомый акцент, — задумчиво замечает Оппи.

Паш доволен:

— Знакомый, да? Я русский. Правда, не из тех, кто вам нравится.

— Простите, а кто же вы по профессии? — невозмутимо и как бы наивно спрашивает Оппенгеймер.

Паш, улыбаясь, молчит. Гровс громко смеется:

— Борис Паш — познакомьтесь! Кто он по профессии? Бейсбольный тренер! Спортивный авторитет! —

чуть мстительно подкалывает этого приставленного к ним Паша и смеется, превращая все в шутку.— Вы должны понять, Оппи, эта штука не просто бомба. Вы думали об этом?

Оппи встает. За окном по красному от заката плато на лошади скачет мальчик.

— Я думал о другом, вы никогда не задавались вопросом — почему Данте отправил Вергилия искать истину в ад, а не в рай?— Голос Оппи становится опасно острым.— Может, мы берем на себя смертный грех. Никто не знает, чем это все кончится, но сегодня я не могу заботиться о своей душе. Для меня... для физика это единственная возможность воевать с фашизмом, не дожидаясь вашего фронта...

А за окном вагона смеркается, какой-то городок проносится, мелькая вспыхами цветных реклам, гудит под колесами мост, и снова огни прочерчивают широкое вагонное стекло.

Поезд, поскрипывая тормозами, останавливается на большой узловой станции.

Курчатов, стоя у окна, наблюдает привокзальную толчею тех лет. Пути забиты теплушками. Возвращаются домой реэвакуированные, с детьми, с чемоданами. Демобилизованные солдаты тоже возвращаются, но эти на Восток, хотя есть и такие, кто едет с японского фронта. И те, кто никуда не возвращается, а ищут, куда бы податься. Вокзал забит спящими, ждущими поездов, люди обосновались в садике, вдоль стен, с ребятишками, со всем своим скарбом, тут же едят, меняют хлеб, консервы, махорку на белье, на подметки, кто на что. Вокзальная торговля идет быстро, без споров и сожалений. Стоят неубывающие очереди к ларькам, где дают по аттестатам, очередь с чайниками за кипятком.

Тянутся длинные дощатые прилавки, за которыми продают местные — кто вареную картошку, кто семечки, кто сухари.

Халипов с Изотовым прогуливаются по перрону. Толпа окружила сидящего на подстилке безногого. Идет игра в три листика. Вдруг Изотов кидается к однорукому солдату. Они обнимаются, в полном счастье трясут друг друга, и начинается неслышный Курчатову выразительный разговор фронтовых друзей, расспросы, ахи, вздохи...

Гудок, поезд трогается. Изотов все не может оторваться, бежит, оглядываясь на дружка, вскакивает на ходу, расстроенный, мрачный.

Проходит по тряскому коридору мимо строя полированных дверей, не отвечая на вопросительный взгляд Тани, идет к себе в купе, достает зеленую бутылку водки, наливает в стакан. Выпивает. Сидит, стиснув голову, глядя в мелькающую мимо лесную глушь.

Курчатов работает у себя в купе, пьет чай, синька разложена у него на коленях.

Стук в дверь, входит Изотов с шахматами в руках:

— Сыграем, Игорь Васильевич?

— Сыграем.

Изотов усаживается напротив, открывает доску, расставляет фигурки.

— Выпил? — спрашивает Курчатов.

— Выпил.

Они разыгрывают цвет и начинают партию. Изотов вслушивается в перестук колес и вдруг начинает читать Блока:

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели,
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели...

Потом спрашивает:

— Помните эти стихи, Игорь Васильевич? Вот мы с вами в желтых или синих... едем... А куда едем? От кого? Лично я еду от своего фронтового дружка Васи Фролова. Тороплюсь. Некогда мне. Не до него. Что мне судьба Васи Фролова, с которым вместе в танке... Я ведь судьбы человечества решаю, бомбу делаю, это важнее, это высшая цель. Оправдание жизни. А если не оправдание?.. Не хочу! Не хочу!

— Чего не хочешь? — обдумывая ход, интересуется Курчатов.

— Ну, сделаем мы бомбу, сделаем... А потом нас спросят: а что кроме бомбы дает людям ваша наука? Или мы так и останемся: «Люди, которые сделали бомбу?» Вот чего я не хочу.

Курчатова раздражают излияния Изотова, но он сдерживает себя, пытается притушить спор, свести на шутку:

— А знаешь, мы ведь еще ее не сделали.

— Сделаем, не беспокойтесь, сделаем, ничем не хуже Оппенгеймеров и прочих, таких же...

Вот тут Курчатова зацепляет:

— Нет, не такие же! Не желаю быть таким же.

— А-а-а... конечно, мы вынуждены делать, это нас оправдывает,— обрадовался Изотов.— Мы имеем право не терзаться сомнениями, ни о чем не думать... Лучше ни о чем лишнем не думать, беречь рабочее настроение. Нам нельзя отвлекаться. Нильс Бор, тот пусть мучается, ему положено, буржуазный специалист, прослойка!..

Наконец-то ему есть на кого взвалить свои сомнения, Курчатов силен, он выдержит,— Изотов не замечает, как жестока его откровенность, это жестокость любви — она безжалостна.

— Скажи, пожалуйста, в чем ты можешь упрекнуть себя? — говорит Курчатов. — Вот я тебя могу упрекнуть: дела не сделали, а ты уже в сторону глядишь, тебя на ускорители тянет, мирное использование... Между прочим, тебя не для этого с фронта отзывали. Небось когда с фронта писал: «Надо работать над бомбой», тебе все ясно было, а теперь что же?

— А теперь не война, Игорь Васильевич. Можно думать о другом. Ведь я же совсем думать перестал. Кто я? Машина для производства опытов. А какие у машины угрызения? Ей, чем меньше угрызений, тем лучше. Считаешь, если мы бомбы не сбрасывали, значит, мы чистенькие? Я себе тоже так доказывал. Но совесть понятие не относительное. Или она есть, или ее нет.

Курчатов в гневе сгребает шахматы с доски, с грохотом укладывает их. Невозможно в этом тесном купе ему разрядиться в движении.

— Иди-ка ты со своими угрызениями знаешь куда... Думать стал! Вот и думай — какое мы имеем право ехать в комфорте, за счет кого это все? И ковыряешься в душе своей за чей счет? Ты мне все это говоришь почему? Потому что знаешь, что я себе такого позволить не могу. Я сомневаться не имею права. Да. Знаю — найдутся люди, которые будут считать, что мы и этот Оппенгеймер одним миром мазаны. Осудят нас... Я это не беру в расчет. И даже тех не беру в расчет, кто еще через годы поймет всю разницу между американцами и нами. Мне себя не жалко. Каким я буду выглядеть? Плевать мне на то, как меня будут расценивать в будущем! Я делаю дело не в расчете на место в истории. Мне важен суд моих соотечественников, моего народа, а в будущем... Если будущее будет и будут жить в нем потомки наши, самое главное, что они будут жить! Что

хочешь мне говори, а я буду думать только одно: успеть, успеть! Мы успеть должны! — кричит он, и огромная ручища его трясет Изотова. — Вот вся моя нравственность! Они там, эти американцы, создали себе эти проблемы, пусть и расхлебывают. А для меня нет этих проблем. Нет! Понятно? И для тебя нет, мир не обеспечишь призывами даже самых лучших людей, таких, как Бор. Это все слова! А вот когда у нас бомба будет — вот тогда можно будет и разговаривать, и договариваться!.. А у нас с тобой проблема, если хочешь знать, пострашнее, чем у них у всех, самое страшное... Это...

В последнюю минуту осаживает себя на полном ходу. Лицо его каменеет, сжимается, так что проступает широкая кость. Он выходит из купе, заставляя себя не хлопнуть дверь, а медленно с силой притворить ее.

Изотов сидит. Стучат колеса, все громче, громче.

Высокий, сияющий огнями зал. Между мрамором колонн течет разодетая толпа, снуют официанты с подносами. Идет какой-то официальный прием, один из бесчисленных приемов, какие задавались в конце войны, когда в единодушии близкой победы соединялись дипломаты с военными, негры с белыми, ученые с чиновниками. Мужчины сегодня во фраках, женщины в пышных туалетах того времени, блистающие драгоценностями и ослепительными вырезами. Роберт Оппенгеймер чувствует себя в этом обществе великолепно, он весел, игрив, возбужден, зарницы восходящей славы сияют над его головой. Он знает, что здесь ловят каждое его слово, каждый жест.

Гровс проходит сквозь эту светскую толпу, небрежно раскланиваясь, грубовато-неуклюжий. Генеральский мундир его измятый, отнюдь не парадный. Только широкие полосы орденских планок украшают его. Прислонясь к колонне, Гровс свысока, и в смысле роста, и в смысле выражения лица, оглядывает, процеживает проходящих, пока не находит Оппенгеймера, и выходит ему навстречу.

— Хелло, Гровс! — замечает его Оппи без особой радости.

Безмятежно улыбаясь, Гровс берет его под руку. Вряд ли Оппенгеймеру приятна демонстрация этой близости, но он сохраняет беззаботность и даже улыбку воспитанного человека. Подозвав официанта,

они берут по стакану виски и отходят в сторону, отыскав пустой столик. Оппенгеймер садится на диванчик, помещивает лед в стакане. Голос Гровса доходит к нему обрывками фраз, то отчетливо громкий, то невнятно стихающий:

— ...если проявить характер, Ферми вас поддержит. И Лоуренс... Комитет должен вынести рекомендацию... Это же ваше детище... Оппи, ради чего вы вкалывали четыре года... весь мир узнает и ахнет...

Оппенгеймер допивает виски, нетерпеливо бренчит льдом в пустом стакане, как в колокольчик.

— Когда-то, Гровс, мне хотелось самому довести эту штуку до конца, я благодарен за то, что вы позволили мне это сделать и даже защитили меня.— Фразы его отчетливы и вежливо-холодны, он отстраняет ласковые заходы Гровса и его грубую генеральскую лесть. Пришла пора поставить этого солдафона на место.— Наверное, после всего, что было, вы думаете, что буду плясать под вашу дудку?

Он внимательно наблюдает за реакцией Гровса — сказано достаточно откровенно, однако Гровс делает вид, что ничего не произошло, он не обиделся, он неуязвимо добродушен.

— Эти битые горшки попросту завидуют вашей славе,— продолжает свое Гровс.

Оппи презрительно хмыкает на примитивную хитрость:

— Не воображайте, Гровс, что вы можете играть на моем тщеславии. Моя репутация в глазах этих битых горшков дороже мне, чем вы полагаете, и даже...

— Ах, ваша репутация!— с вызовом подхватывает Гровс. И умолкает, растягивая опасную, угрожающую паузу.

Но тут Оппи уклоняется, ему выгодно зайти с другого бока.

— Послушайте, Гровс, на кой черт вам приспичило сбрасывать бомбу?

— Чтобы ускорить мир.— Гровс откровенно посмеивается.— Чтобы показать, что мы не зря потратили деньги, чтобы утвердить наш приоритет.

Оппенгеймер доволен, он правильно рассчитал, с наслаждением он вытягивает ноги, берет у проходящего официанта еще виски.

— Не морочьте мне голову, Гровс, плевать вам на мир и на приоритет. Вы хотите запугать Россию. Запу-

гать всех. Думаете, я не понимаю? Вы меня изучали, но и я вас изучил. И хватит. Мы квиты. Я буду на комитете голосовать, как я хочу. И нечего меня обрабатывать.

Все, казалось бы, все, но Гровс спокойно пьет, разглядывая стакан на свет, ничего не дрогнуло в этой глыбе, затянутой в мундир, железная решимость Оппенгеймера нисколько не подействовала на него.

— Мы квиты,— повторяет Оппи, чтобы пробить толстокожесть этого кабана.

И тогда Гровс улыбается. Предостерегающе. Чуть приоткрывая свои козыри. И Оппенгеймер не выдерживает, срывается на крик:

— Мне надоело, не боюсь я вас, со всеми вашими агентами, микрофонами, кинокамерами... Убирайтесь отсюда!

А рядом, за колоннами, так же заманчиво струится нарядная веселая толпа, занятая светскими разговорами, шутками, мелькают обнаженные женские руки, слышен смех и звон бокалов.

— Убирайтесь отсюда!

Но Гровс и не думает уходить. От этого вскрика ему становится грустно. Утешая себя, он отпивает виски и говорит с жалостью:

— Бедный маленький Оппи, вы слишком многим пожертвовали — вот в чем была ваша ошибка...— Он кладет свою громадную руку на плечо Оппи, грубовато, бесцеремонно встряхивает его.— У вас нет своей репутации. Запомните это. Ваша репутация — вот она где...— Он чуть касается своего бокового кармана, набитого бумагами.— Хотите, я вам напомним, как вы продали своего друга Шевалье?— Гровс брезгливо морщится: этот Оппи сам напросился, идиот, честное слово, он изрядный идиот, этот великий и прославленный корифей...— Вас никто не тянул за язык... Ведь он был неплохой парень, этот Шевалье. Хотя и коммунист. А?.. Думаете, нам неизвестно, отчего покончила с собой ваша любовница? Славная была девочка. Как ее звали?— Подождав, Гровс со вздохом напоминает:— Джейн? Знаете, Оппи, я солдат, и не очень мне приятно копать в этой вашей грязи. Но типы, подобные Пашу, знают свое дело...— Он примиряюще накрывает своей рукой руку Оппенгеймера, но тот яростно сбрасывает ее.

— Ненавижу вас! Какой вы солдат...— Гнев душит его, он сжимает кулаки.— Ублюдок!— отчетливо произносит он.— Не боюсь! Не боюсь вас!— Он встает

и совершенно прямо, слишком прямо уходит с застывшей усмешкой.

Гровс провожает его глазами. Такой же огромный, невозмутимый. Пожалуй, он чуть погрустнел, сочувствуя этому естественному, но бесполезному трепыханию маленького Оппи.

У входа в свой номер Оппенгеймер сбрасывает черные лакированные туфли, в одних носках входит в темный холл. Там, у окна, в глубоком кресле, при неровном мигающем свете уличных реклам, сидит человек. Оппи останавливается, пальто на плече, туфли в руках.

— Шевалье? — в ужасе узнает он.

— ...Все же я не понимаю, Оппи, почему вы скрываете свои работы от русских? — доносится в ответ давний вопрос Шевалье. Это его, его голос, мягкий, доверчивый. — Они же наши союзники, они воюют, как никто...

Оппи зажигает свет: просторный холл пуст, в кресле никого, за окном вспыхивает и гаснет реклама.

Пошатываясь, он бредет к ванной комнате. Лицо его в поту, глаза блуждают. Из ванной слышится шум воды, он распахивает дверь. За занавеской под душем моется женщина. Это Джейн, очертания ее тела просвечивают, движутся. Он отшатывается, захлопывает дверь, но тут же снова распахивает ее, отдергивает занавеску. Никого. Он один в этой слепяще-белой холодно-кафельной ванне. Он сует голову под кран, пытаюсь прийти в себя, освободиться от преследующих призраков.

Он садится на унитаз, вода с волос, с лица стекает на его накрахмаленную сорочку, на черный фрак. Мокрый, измученный, он, медленно трезвея, смотрит на белый ровный кафель, окруживший его со всех сторон.

— Господи, какой ты смешной, Оппи! — говорит Джейн, наклоняясь к нему: они сидят за стойкой какого-то бара, а может, ресторана, потому что кругом танцуют, и они тоже танцуют, и снова пьют за столиком, Джейн водит пальцем по его щекам, разглаживает морщинки в углах губ, он любуется ею, какая она красивая, и вдруг говорит:

— Джейн, мы больше не увидимся. Мы должны расстаться.

— Почему? — Она ничего не понимает. — Почему?

Щелкает затвор фотоаппарата. Короткий металлический звук — как звук взведенного курка. Перо в чьей-то руке обводит чернильным кругом лицо Джейн на фотографии.

Спина Паша, его круглый, ровно подстриженный затылок.

Он за канцелярским столом. Напротив на табурете сидит Джейн. Яркий белый свет лампы направлен ей в лицо.

— Выгораживаете своего дружка? Напрасно, — предупреждает Паш. Он допрашивает с удовольствием, и с еще большим удовольствием выкладывает ей в лицо про Оппенгеймера: — Он все рассказал нам, все... и как Шевалье подкатывался к нему, все вытряхнул... вы все одна шайка коммунистов. Ах ты простушка, ты, поди, считала его полубогом? А ты знаешь, что стоило чуть пригрозить, и он наложил полные штаны, твой святой Оппи?.. Он от всех вас готов отречься, плевать ему...

Джейн бежит по ночной пустынной улице. Белые снопы света ловят ее, скрещиваются на ее фигуре, как лучи прожекторов, не отпуская следуют за ней, настигают ее в воздухе, когда тело ее летит с Бруклинского моста к застылой поблескивающей далеко внизу глади воды.

— Оппи! Оппи!..

Крик этот настигает его в кабинете военного министра США Стимсона.

Идет заседание комитета по выбору цели.

На стене карта Тихоокеанского театра военных действий на июнь 1945 года. Острова Японии окружены флажками.

— ...Атомный удар несомненно ускорит конец войны. Прежде всего мы должны побережь жизнь наших американских солдат, — говорит генерал Маршалл, начальник штаба сухопутных войск.

— Почему именно атомный? — не соглашается адмирал Леги, который был начальником штаба Верховного Главнокомандующего. — Японские города перенаселены. Там большая скученность. Это классический объект для самой обычной авиации.

— Да потому, что нам важен элемент психологический, — настаивает Маршалл. — Удар будет такой сокрушительный, что любой дух будет сломлен. Все сразу решится. Никто и не подумает о продолжении войны.

— А. вы уверены, что японцы еще хотят продолжать? — спрашивает Леги.

Стимсон, который сидит во главе стола и ведет заседание, примирительно стучит по столу.

Они сидят в высоких кожаных креслах, удобных для заседаний. Все они люди в возрасте и привыкли относиться к этим заседаниям достаточно цинично, но сегодня действительно кое-что решается. Стимсон понимает, что от них не зависит, сбрасывать бомбу или нет. От них зависит лишь, куда сбросить. Он реалист и не хочет зря тратить время и возбуждать какие-то надежды у этого славного старика Леги.

— Господа! По поручению президента комитет ученых вынес рекомендации. Прошу вас, профессор Оппенгеймер.

Он допущен. Штатский. Его считают своим эти мундиры всех цветов, увешанные орденами, украшенные золотым шитьем. Точнее — почти своим.

— Я не знаю военного положения Японии, — начинает Оппенгеймер. — Если можно заставить ее капитулировать другими средствами...

Он ни на кого не смотрит, он смотрит в сырую ночь, где летит с моста Джейн...

Стимсон с усмешкой косится на Гровса. Не выдержав, Гровс перебивает Оппенгеймера:

— Простите, профессор, мы так никогда не доберемся до существа.

Оппенгеймер умолкает. Никто не вмешивается. Все ждут, что произойдет. Это не секунды, а миги последнего сопротивления Оппенгеймера, он все еще пытается удержаться... А потом что-то происходит. То есть в том-то и штука, что ничего, совсем ничего не происходит, если не считать возросшего до невыносимости напряжения.

— Для выявления максимального эффекта атомной бомбы, — начинает Оппенгеймер совершенно новым, бесцветно-ровным голосом, — избранные объекты должны представлять тесно застроенную площадь на равнине, желательны деревянные постройки. Они создадут дополнительный эффект из-за пожаров. Чтобы воздействие бомбы было достаточно наглядным, цель следует выбирать из объектов, которые еще не подвергались бомбардировке...

Леги с шумом отодвигает свое кресло. Чего угодно, но этого он не ожидал, и от кого, от этого шпака!..

— Такая война не для моряка моего поколения.

Надо отдать должное Гровсу, мгновенно он срабатывает в защиту своего компаньона:

— Профессор Оппенгеймер докладывает техническое заключение,— подчеркивает он и, не дожидаясь предложения, кладет на стол фотографии намеченных к уничтожению городов.— Наш комитет по выбору цели должен на случай облачности предложить на выбор не менее трех-четырех городов-мишеней. Нам нужно визуальное бомбометание.

— Что выбрано конкретно?— спрашивает Стимсон.

— Хиросима, двести тысяч жителей, двадцать пять тысяч солдат, армейские склады, порты; Ниигата — порт, двести тысяч жителей, промышленность; Киото, миллион жителей, культурно-промышленный центр...

Поворачиваясь в вертящихся креслах, они передают друг другу большие фотографии — снимки городов сверху, снимки площадей, узких многолюдных улочек, парков, дворцов. Чья-то рука держит фотографию храма со сложным и тонким рисунком крыш и лакированными колоннами, длинная процессия паломников тянется к храму, где восседает гигантский Будда.

Но члены комитета выше Будды, они боги богов, они решают судьбы храмов и городов, сотен тысяч людей — кто из них останется на земле, а кто исчезнет, испарится вместе с дворцами, синтоистскими храмами и буддистскими храмами и школами...

— ...Нагасаки, порт, триста тысяч жителей.

— В Нагасаки лагерь наших военнопленных,— вспоминает адмирал Леги.

— Но там японские военные доки,— настаивает Гровс.

— Вот в них-то и работают военнопленные.

Гровс идет на уступку:

— Тогда есть Киото. Прекрасная цель. Большая площадь застройки. Можно точно определить радиус разрушения.

Стимсон рассматривает фотопанораму Киото с его пагодами, садами, с золотыми павильонами, великолепный замок Нидзе, императорскую виллу Капура, ярко-красный лакированный храм...

— Киото... невозможно,— говорит Стимсон,— немыслимо, это же древняя столица Японии. Я там был. Боже, какие там дивные памятники старины!.. Нет, лучше пусть останется Нагасаки...

— Думаю все же, что наше дело заботиться не о памятниках, — твердо возражает Гровс. — Киото имеет наибольшую площадь, и для меня, как для военного человека, это лучшая цель.

Стимсон покачивается на стуле, сохраняя внушительность и уверенность министра, ему надо осадить этого генерала, который сейчас чувствует себя хозяином положения: он владелец нового оружия. И кажется, такого оружия, которое сделает все их штабы, и корабли, и военных, и академии — ненужными... Отныне и во веки веков?.. Война кончена, но война начинается.

— К счастью, Гровс, нам приходится думать не только о наших интересах.

В одной руке фотография Киото, в другой — Нагасаки. Они решают, они делают выбор, кому остаться на этой земле...

Последний взгляд на Нагасаки, и на месте города разливается море огня. Пламенные смерчи поднимают в небо крыши домов. Плавится железо, течет камень, все превращается в прах, в летучий смертоносный пепел.

На бетонном полу котлована с помощью мостового крана физики выкладывают графитовые и урановые блоки. Растет основание реактора, диаметр его около восьми метров. Блоки урана и графита складываются специальной решеткой. Тянутся провода от счетчиков нейтронов, от неоновых сигнальных ламп. Каждый слой укладывается с величайшей предосторожностью. Восемнадцатый... двадцать первый...

Сколько намучились с этим графитом, пока стали получать от заводов вот эти чистые плотные бруски. А урановые блоки кругленькие, с тусклым желтоватым блеском.

Гуляев наносит точки на график. Кривая должна показать, как возрастает плотность нейтронов с каждым законченным слоем. На схеме реактора каждая ступенька — слой — отмечена номером. Всего их семьдесят. Гуляев обводит кружком тридцатку. Уложен тридцатый слой.

Курчатов вычисляет с логарифмической линейкой в руках.

— Теперь каждый слой стройте с вдвинутыми предохранительными стержнями.

Три кадмиевых стержня спущены в каналы.

— Вот сюда... Аккуратнее. Ими регулировать и останавливать. Иначе...

Над котлованом в дюралевах трубах висят кадмиевые стержни. В любой момент по сигналу они падают в каналы реактора. Это надо, чтобы быстро погасить цепную реакцию. На аварийный случай. Потому что всякое могло быть.

Курчатов возвращается к себе, у дверей кабинета его поджидает Федя.

— Волнуетесь, Игорь Васильевич?

Напряженная деловитость Курчатова как бы спотыкается. И вдруг, неожиданно для себя, доверчиво решается:

— Я? Очень.

— Я тоже, — с облегчением и даже радостно признается Федя. И обоим от этого признания становится спокойнее.

Все с большей осторожностью идет укладка блоков. Плотность нейтронов растет. Уже вспыхивают неоновые лампы на пульте управления. Раздаются щелчки нейтронных датчиков.

Пятьдесят восьмой слой. Быстро поднимаются стержни. На короткое время слышны щелчки.

— Все в порядке. Приближаемся, — говорит Гуляев. Он звонит по телефону:

— Игорь Васильевич, уложили шестидесятый слой... Хорошо... Ждем...

— Придется всем уйти, — говорит Гуляев.

Курчатов приходит, осматривает пульт, оглядывает график, проверяет приборы радиационной опасности.

— Игорь Васильевич, ну как, попробуем?

— Рано.

— Я знаю, что рано, а все же...

Курчатов почесывает бороду:

— Мне самому не терпится. Ладно. Давай. Поднять стержни, — командует он.

Гуляев нажимает кнопку управления, поднимая предохранительные стержни. Громкоговорители отщелкивают редкие удары. Вяло вспыхивают и гаснут неоновые лампы.

— Маловато... — Гуляев разочарованно смотрит на счетчики. — Что-то не того.

Перо самописца еще немного ползет вверх и переходит на горизонтальную линию.

— Почему нет нейтронов? — спрашивает Гуляев.

— А может, опять где-нибудь грязь? — говорит Федя.

— У тебя одна надежда на грязь. Тысячу раз проверили. Самые чистые блоки отбирали. — Гуляев потирает щеку, оставляя черноту графита на и без того уже измазанной физиономии.

Не обращая на них внимания, Курчатов разглядывает графики.

— Прекрасно, идем дальше, — решает он.

Гуляев молча отпускает стержни. Смолкают громкоговорители, гаснут лампы. Федя и Гуляев недоверчиво следят за Курчатовым, но он, не отвечая, уходит.

Белые стены котлована почернели. Пыль, как сажа, покрывает пол, который стал скользким, — люди в халатах, в защитных очках ступают осторожно. Лица их тоже черны, блестят лишь зубы и белки глаз.

Черная громада реактора растет.

Кладка идет уже на лесах.

На пульте Гуляев обводит кружком цифру 60. Осторожно, рывками, Курчатов сам поднимает предохранительные стержни. Дробь в громкоговорителях нарастает. Учащенно вспыхивают неоновые лампы.

Курчатов неотрывно следит за круглым пятнышком — зайчиком гальванометра. Кажется, что вот-вот зайчик дрогнет, двинется. Но идут минуты, зайчик остается на месте. И частота щелчков больше не увеличивается.

Волнение людей спадает. Наваливается разочарование, усталость.

Курчатов опускает стержни. Лампы гаснут.

Курчатов, Гуляев, Федя садятся за графики, проверяя расчеты.

Пользуясь перерывом, люди дремлют, некоторые от усталости засыпают тут же на стульях.

— Реакция может вот-вот начаться, — бормочет Курчатов, работая линейкой и нанося на график последние точки. — Ну, что у тебя, Федя?

Кривая, которую вычерчивает Федя, пересекается с линией графика на уровне шестьдесят второго слоя.

— Еще бы сантиметров на десять поднять стержень.

Курчатов молча разглядывает график.

— Кто его знает, может, десять, а может, двадцать,— нервничает Гуляев.

Раздается чей-то могучий всхрап. Гуляев вздрагивает.

— Фу, черт.

— Это Павлов храпит,— смеется Курчатов,— а ты думал, начался разгон реактора...

— Хуже нет работать вслепую.

Все ждут от Курчатова ответа. Он должен знать. Он должен принять решение. В эту минуту никто не думает — откуда ему знать.

Помедлив, Курчатов подытоживает:

— Будем пробовать при шестидесяти двух слоях!

— А ведь может и фукнуть!— мрачно заявляет Гуляев.

— Не должно!— Федя задумывается.— А впрочем...

— Ну и хай поднимется...— Гуляев вздыхает.

— Тебя это уже не будет касаться,— утешает его Курчатов.

— Обидно что? Что не узнаем, в чем была ошибка.

— Кроме того, он может расплавиться,— меланхолично отмечает Федя.— Управлять мы еще не умеем. Как-никак это первый реактор. Бог знает, что мы рожаем — беспомощное дите или дракона...

— Понесло.

Но Курчатов слушает Федю с удовольствием.

— А что, в каком-то высшем смысле он прав? А?— поддразнивает он Гуляева.

Идет кладка следующего слоя.

Часы показывают час ночи.

Павлов, что стоит наверху, подстраховывая аварийный сброс стержней, жалуется:

— Неужели Новый год будем тут встречать?

Гуляев обводит кружком цифру 62.

— Начинаем?

Курчатов оглядывает помещение.

— Выйдите, Федя.

— Игорь Васильевич, ни за что. Теоретики тоже люди.

Курчатов, пожав плечами, нажимает кнопку. Медленно поднимаются стержни. Дробь усиливается, неоновые вспышки учащаются. Перо самописца идет вверх. Гуляев и Федя сияют, но тут Гуляев подталкивает Федю локтем, они видят, как Курчатов напряженно вслушивается.

— Что-то учуял,— говорит Гуляев.

— Где?

— Не знаю.

Перо самописца замирает и переходит на горизонтальную линию. Щелчки обретают определенный ритм.

— Стоп!— командует Курчатов.

Гуляев опускает стержни. Становится темно и тихо.

— Реакция не самоподдерживающаяся,— произносит Курчатов.

На него смотрят с надеждой. В эти решающие минуты все доверилось ему, они хотят видеть в нем всезнающего, всеведущего. Они убеждены, что он догадается, что происходит в реакторе.

— Может, отложим?..— нерешительно предлагает Федя.— Соснем?

Курчатов встряхивается, встает, расправляя плечи.

— Неужели вы могли бы уснуть, Федя?.. Я — нет.— Азарт охватывает его, он снова свеж, бодр, полон вызова.— Мы кто? Мы солдаты. А солдаты себя не должны... Что?

— Жалеть!— отвечают все хором.

— Верно. Отдохнем и поднимем еще. Это вам не теория, а техника, со всеми последствиями,— подмигивает он своим помощникам.

Часы показывают пять.

В дверях Таня, за ней теснятся еще несколько сотрудников.

— Игорь Васильевич... разрешите нам присутствовать... Мы поможем.

— Нет, спасибо,— холодно отказывает Курчатов,— я сказал: всем удалиться.

Таня вспыхивает от возмущения:

— Господи, одни герои вокруг, ни одного нормального человека! Скоро у них над головами нимбы появятся!..— Она в сердцах хлопает дверью.

Раздаются краткие команды Курчатова:

— Чуть выше... Еще... Еще...

Щелкают громкоговорители. Поднимаются стержни. Реакция нарастает. Курчатов следит за пером самописца, щелчки убыстряются.

Федя, не выдержав, отворачивается от приборов.

— Еще немного,— командует Курчатов.

И вдруг репродуктор захлебывается пулеметной дробью, дробь переходит в слитный сплошной вой. Линия самописца безостановочно ползет вверх. Неоновые

вспышки сливаются в ало-желтое сияние. И хотя все понимают, что произошло, секунду-другую еще слушают, не решаясь поверить, смотрят на Курчатова. Зайчик гальванометра отклоняется все быстрее и быстрее.

— Заговорил!— кричит Курчатов и смеется от счастья, потирает красные глаза.— Поздравляю! Вот они, первые сто ватт от реакции деления!

Гремит общее «Урра!».

Гуляев обнимает Федю:

— Варит котелок!..

— Стоп!— командует Курчатов и нажимает кнопку аварийного сброса стержней. Все смолкает, гаснут лампы, щелчки раздаются все реже. Реакция погашена. Эта покорность реактора тоже вызвала радость.

— Игорь Васильевич,— умоляет Гуляев,— попробуем еще разогнать? Поднимем?

Курчатов покачивает головой.

— Нельзя. Слыхал?— Он показывает на импульсную установку.— Она пощелкивала. Значит, уже сюда попадает. Мы не знаем, какое излучение мы получим.

— Двадцать шестое декабря тысяча девятьсот сорок шестого года,— торжественно провозглашает Федя.— Шесть часов вечера. Атомная энергия у нас в руках!

— Тьфу, тьфу, тьфу,— сплевывает через плечо Гуляев.

— Митинги отменяются,— говорит Курчатов,— вот теперь пора и над собой поработать!

— Игорь Васильевич, неужели вы сможете заснуть?— спрашивает Федя.

— Еще как!

Они выходят грязные, потные, счастливые, скрипит снег. Земля гулко звенит под ногами, словно полая, словно они шагают по упругому настилу — легкие, не знающие земного притяжения.

В окнах домов светятся цветные огни елок. Где-то рядом обтесывают комель елки, и звук топора звучит после сухих щелчков сочно и весело.

Они неузнаваемо нарядны: впервые перед всеми Зубавин в черном костюме, при галстукe, а кто-то даже с бабочкой-«кисой», мужчины начищены, наглажены, женщины в вечерних туалетах. Впрочем, все относительно — какие вечерние туалеты могли быть под Новый, 1947 год, первый полностью мирный год? У кого черная юбка с белой кофточкой, у кого шерстяное

платье, украшенное бусами. Ах, да в этом ли дело, главное, что в углу сияет елка, пахнет духами, хвоей, главное, что весело, как давно уже не было весело.

Встречают у Курчатовых. Приехал Абрам Федорович Иоффе. Его усадили в центре самодеятельного оркестра, и он до того «разошелся», что играет на барабанчике. Тут же играют на гребенке, на дудке и прочих инструментах. Не просто играют, а аккомпанируют хору, составленному из трех бородачей. У них нацеплены длинные «курчатовские» бородки, все они одеты «под него», и держатся «под него», и поют его голосом:

Академик я молодой,
А хожу все с бородой.
Я не беспокоюсь —
Пусть растет до пояса.
Вот как только с бомбой сладим,
Буду бриться, как все дяди,
Бриться, бриться, умываться,
Атомными электростанциями
В мирных целях
За-а-ниматься!

В этот час их смешит и радует любая малость. Шутка ли — пущен реактор, работает, ведь начинали когда, еще в 1943 году, в самую войну, в Москве, и все было по-военному: пульт в землянке, нейтронная пушка в палатке, кругом пустынное ветреное поле, и круглые сутки тикают часовые механизмы приборов, и не гаснет свет в землянке.

Первый реактор, на котором можно получить плутоний, столько измерить...

Три «Курчатова», три бородача — Изотов, Федя, Гуляев — изображают своего шефа без всякого трепета, вышучивая солидность, и величественность, и гнев, и прочие «устрашения». Почему-то на них широченные кепки блином, пестрые кашне...

Кто-то садится за рояль, и Зубавин, не выдержав, вне программы, пускается в пляс, отбивает дробь перед женщинами. Они принимают вызов, выходят в круг...

Никто не заметил, как исчез Курчатов. Когда танцы кончились, он появляется из столовой — неизвестно откуда раздобытый цилиндр блестит на его голове, белый шелковый шарф развеивается, палка в его руках превратилась в чаплинскую тросточку. Под песенку из фильма «Огни большого города» он пританцовывает, утино растопырив башмаки, и все больше становится похожим на

Чаплина. Борода нисколько не мешает, она даже кажется приклеенной и делает его смешнее... Даже эти близкие ему люди не ожидали, что он способен выкинуть такое. Ах, как он отплясывает и как хохочет!

Горят свечи на елке. Наступает 1947 год. Голубой недоступный шарик, запущенный Абрамом Федоровичем Иоффе в новогоднюю ночь сорок первого года, наконец-то пойман, схвачен.

Тот самый, с надписью: «Ядро атома», уплывающий вверх, который столько раз вспоминался, снился Курчатову...

Играют Моцарта. Старый приемник в деревянном футляре посвечивает зеленым глазком из темного угла рядом с письменным столом. Курчатов протягивает руку, чтобы выключить музыку, но, передумав, слушает, поглядывая на лежащий перед ним снимок взрывного устройства.

От удара ногой дверь распахивается, показывается Гуляев, на руках он держит Федю.

— Игорь Васильевич, вы просили — получайте. — Гуляев кладет Федю на диванчик. — Замучился я с ним. Не хочет пересчитать диффузионный метод.

— Да, не хочу, — немедленно подхватывает Федя. Он худенький, маленький и свободно умещается на этой невесте откуда попавшей сюда софе. — Некрасивый этот метод, Игорь Васильевич, неинтересный, такой же занудный, как сам Гуляев, — лежа, не стесняясь своей позы, рассуждает он.

Курчатов прячет фотографию в стол, мысли его еще далеко.

— Зато надежный, — рассеянно говорит он. — Мы ведь уже обсуждали.

Федя мрачно садится, подобрав ноги.

— Отпустите меня, Игорь Васильевич!

— То есть как?

— А так... отпустите, вообще отпустите.

— Ладно, в следующий раз, — отмахивается Курчатов. Ему не терпится остаться одному.

— Нет, я серьезно. Я сделал все, что мог. Теперь пошла техника. Эра инженерных дел.

— Эта эра не для него, — иронизирует Гуляев. — Он рожден для иной жизни. Его узкая специальность — тайны мироздания.

— Представь себе! — Федя вскакивает, мечется по комнате. — Мы... мы все дальше уходим от общего к частностям. А мне интересно наоборот, от частного к общему.

— Все туда, а он оттуда, — приговаривает Гуляев, засунув кулаки в карманы халата.

— Рассчитывать прочность труб? Усовершенствовать чайники? И ты будешь уверять, что это твое призвание? — набрасывается Федя на Гуляева. — Думаешь, это и есть геройство?

— Видите, Игорь Васильевич, какой законченный себялюбец, обыватель от науки.

Перепалка их начинается чем-то задевать Курчатова. Он стоит, расставив ноги, посреди своего кабинета, из-под хмуро сведенных бровей следит за их поединком.

— Ты просто не хочешь честно подумать, — продолжает Федя. — Это и есть обывательщина. Вам легче понять меня, Игорь Васильевич, вы сами...

— А кто меня отпустит? — вдруг спрашивает Курчатов.

От неожиданности, от серьезности этого вопроса Федя не сразу может найтись.

— Вы другое дело, — уклоняется он.

— Почему же другое, — спокойно настаивает Курчатов. — Вы хотите сказать, что я теперь стал администратором. Променил физику на администрирование. Такова суть?

Жестокая его прямота, как ни странно, подстегивает Федю.

— Ага, признаетесь. Вас тоже это мучает. А уж меня-то подавно, я теоретик. Вас хоть как-то масштабы вознаграждают. Вы свой талант в руководстве реализуете. А мне чем утешиться? Я в журналах почти не успел появиться... Никто не знает про мои главные работы. Печатаю... так... отходы. Фактически я не существую как физик. Речь идет не о славе, а о науке. Пока мы не можем открыто публиковать свои работы...

— Наука, наука, — повторяет Курчатов. — Вы твердите, как заклинание... Все для науки, все ради науки... А не кажется ли вам, что наука не должна быть самым главным в жизни человека? Есть нечто важнее науки. — Обняв Федю за плечи, он усаживает его рядом с собою на этот диванчик. — Знаете, Федя, новые законы откроют и без вас...

— Бомбу тоже сделают без меня.

— Сделают. И без меня сделают. Но без нас позже. На неделю. Или месяц. И эта неделя для меня больше значит, чем вся моя личная... — Он ищет слово и не находит, или не хочет произносить. — Вы хороший теоретик, Федя, но вы не умеете думать о смысле собственной жизни. Или боитесь подумать. А иногда надо думать — ради чего ты живешь...

От этих слов они оба призадумываются. И даже Гуляев молчит, глядя в зеленый глазок приемника.

...Накинув на плечи белый халат, Курчатов идет за медсестрой по светлому больничному коридору.

Их останавливает врач.

— Я к Халипову, — говорит Курчатов. — К Дмитрию Евгеньевичу. Как он?

— Без сознания.

За стеклянной дверью видна длинная одиночная палата. На высокой кровати в забытьи лежит Халипов. Глаза закрыты, бескровно-костяное лицо уже неизгладимо измучено долгими страданиями. Со всех сторон тянутся к нему шланги, трубки, на высоких штативах реторты, по которым поднимаются пузырьки. Живет не он, а эта аппаратура. Прислонясь к дверному косяку, Курчатов вглядывается сквозь стекло в умирающего, в жизнь, которая вот-вот оборвется...

«Дорогой ты мой, Игорь Васильевич... ну дай же на тебя посмотреть...»

«Наконец-то, Дмитрий Евгеньевич... как долетели?»

Невнятно-тихие голоса эти возникают в памяти Курчатова откуда-то из прошлого. Чьи-то сильные руки обнимают его сзади, он поворачивается и видит Халипова. Они в двухкомнатном номере гостиницы «Москва». Переверзев вносит чемоданчик Халипова.

— Дорогой мой... ну-ка, дай тебя обозреть! — громыкает в полный голос Халипов, могучий, костистый старик.

— Наконец-то, Дмитрий Евгеньевич... как долетели?

— Палили в нас, как положено. Да мы ведь в Ленинграде к этому привычны. Каждый божий день обстрел.

Они садятся за круглый столик, с удовольствием оглядывая друг друга.

— А твои препараты целы. Дожидаются. Не велю трогать.

— Дмитрий Евгеньевич, хочу просить вас, — начинает Курчатов, доставая бумагу с программой исследований. — Вы, один, можете помочь нам. Взять на себя радиохимию. Вот эту программу.

Переверзев тем временем в уголке на плитке сооружает чай. Халипов, нацепив очки, внимательно читает программу. Курчатов в другой комнате подбирает еще бумаги для Халипова.

— В этом-то номере до войны, говорят, артисты останавливались. Народные! — доносится веселый голос Курчатова. — Пианино есть! — Он выходит и видит Халипова, стоящего спиной к нему. Тяжкое его молчание, опущенная голова — пугают Курчатова.

— Дмитрий Евгеньевич... — робко произносит он.

Халипов вытягивает платок, шумно сморкается, утирает слезы.

— Ты уж прости, нелегко так... сразу... — сдавленным голосом, не оборачиваясь, говорит он. — Хоть и стар я, а цепляюсь... Песецкий... знал его? Он от этой самой химии загнулся. Второй месяц слег и уже не встает.

Курчатов садится, смотрит себе в стакан.

— Что же, защиты нет? — спрашивает он бесчувственно-спокойным голосом.

— То-то и оно-то, что пока не получается. Не умеем. Надо нащупать, а при таких сроках, да такой объем...

— Но почему вы все на себя берете? У вас большой институт.

— А ты не понимаешь? Потому и беру, что не могу других подставлять. Да никто так, как я и мои помощники, не разбирается.

Курчатов берет программу, складывает ее.

— Тогда и говорить нечего. — И рвет бумаги.

Халипов поворачивается к нему, вытирает рукой глаза.

— Ну и дурак. Разве это решение? Кто же тебе сделает в такие сроки? Кто, если не я?.. То-то и оно...

— Давайте все же подумаем, как выбраться из этого, — выдавливают Курчатов, не поднимая головы. — Можно ли как-то обойти... Я не представлял.

— Знаю. Теперь представляешь, и что? — с каким-то ожесточением допытывается Халипов. — Что изменилось? Ничего. Тут уж мы с тобой ни при чем. Все равно надо. Схитрить тут не удастся. И не будем в жмурки играть. Не пристало нам. — Он берет обрывки програм-

мы, бережно составляет, расправляет их. — Давай лучше обговорим, сколько сырья ты даешь.

Зябко съезжившись, Курчатов схватил себя руками: — Не могу я...

Допив чай, Халипов, прищурясь, деловито водит пальцем по строчкам:

— Это не сумеем, а под это дело усиленный паек сотрудникам я выцыганю, уж тебе придется раскошиться... — Но, не выдержав, он срывается: — Ну что ты на себя наворачиваешь?! Ты иначе не мог, и я не могу. Война же идет! Война. Конечно, от пули или там бомбы оно полегче. Знаешь: «Легкой жизни я просил у бога, легкой смерти надо бы просить». А впрочем... откажись я, так ведь еще хуже, совесть бы заела. — Он снимает очки, подойдя к Курчатову, утешающе кладет руку на плечо: — Ну, брось, может, чего успеем придумать. А нет — тоже не беда. По крайней мере не зазря...

Голос его стихает, слов уже не разобрать, губы шевелятся все медленнее, застывают, сложенные в хитрую усмешку, и живое лицо его вдруг обретает черты портрета. На портрете он чуть величественнее, чуть пронзительнее, чем был, появилась суровость, которой никогда не было.

Портрет этот укреплен на пирамидке могилы, заваленной цветами. Небольшое подмосковное кладбище пустынно. Курчатов один здесь. Похоже, что он остался после похорон. Стоит с непокрытой головой на осеннем ветру, снова — в который раз — допрашивая себя...

В зеленом, неверном свете луны — спальня, открытая дверь на лестницу. Курчатов лежит, не в силах заснуть, потом осторожно, чтобы не разбудить жену, встает с кровати, спускается на первый этаж. Проходит через холл в кабинет, освещенный луной из большого окна. За крестовиной переплета — сад, теплая рассветная тишь, первые нерешительные вскрики птиц.

Курчатов стоит, подняв голову. Слезы катятся по его щекам. Он оттирает их рукавом пижамы, они опять набегают, ему никак не справиться с собою.

Сзади неслышно подошла Марина Дмитриевна, тронула его за плечо. С неожиданной злостью он оттолкнул ее, отошел, стиснув зубы.

Она снова подошла.

— Уйди... уйди, — бросил он.

И вдруг не выдержав, разрыдался, стыдясь себя, стискивая кулаки, уткнулся ей в плечо. Она ровно и быстро гладила его по голове.

— Боюсь... я боюсь... — вырывается у него. — А что, если не так... У меня голова раскалывается... Я не могу больше... Не могу... Я же не бог... Они думают, что я знаю... что я знаю все, до конца... а я не могу все рассчитать... ведь все может быть... А если пшик? А? А если все напрасно... — Слова его неразборчиво сливаются, да Марина Дмитриевна и не слушает его, лицо ее закаменело, впервые она видит его рыдающим, ее бьет озноб. У нее хватает лишь сил гладить его, пока он не затихает на ее плече.

Сквозь анфилады лабораторных комнат, где работают люди в халатах, идут Зубавин и Переверзев. В каждой комнате Зубавин спрашивает:

— Курчатова не видели? Курчатов не заходил?

— Не видели... не был, — отвечают всюду.

С Зубавиным здороваются, его тут знают.

— Ну как, получил? — спрашивает он кого-то на ходу.

— Спасибо, все в порядке.

Под тиканье счетчиков мечется рыба в аквариумах у биологов.

В теплицах сниклые цветы, люди здесь работают в защитных костюмах.

Механики испытывают манипулятор.

В затененных комнатах на экранах вспыхивают бледные треки разрядов.

Воспаленные до красноты глаза просматривают бесчисленные рулоны фотопленок, тысячи снимков. Зажигаются надписи: «Не входить», «Идет опыт», «Опасно».

Тесно от приборов, пультов, стендов.

Лаборатории выползают на лестничные площадки.

Потрескивают разряды, звякает посуда, постукивают насосы, завывают центрифуги, вентиляторы, моторчики. Среди этого звукового хаоса все явственнее приближается звонкое цоканье целлулоидного шарика.

Зубавин сворачивает на этот звук и видит: в тупике коридора играют в пинг-понг Федя и еще один молодой теоретик с бородкой «а-ля Курчатов».

На стене висит грифельная доска, исписанная, исчерканная формулами, схемками.

Появление Зубавина никак не смущает игроков, по крайней мере Федю. Он режет, нападает, крутит с таким

азартом, что Зубавин непроизвольно начинает следить глазами за ходом поединка. Федя выигрывает подачу. Зубавин встряхивает головой, как бы освобождаясь от этого гипноза, спрашивает:

— У вас что, обеденный перерыв?

— Не обеденный, а умственный, — отвечает Федя и начинает новую партию.

У Зубавина выпячивается было челюсть — признак гнева, — но тут же он усмехается над самим собой, над привычным своим представлением о работе, которое здесь явно не подходит. Да ведь и достаточно он узнал уже этих теоретиков и особенности их работы, когда в самые напряженные, мучительные часы человек с виду бездельничает, валяется на диване, стоит, прижавшись головой к стеклу.

По коридору мимо играющих спокойно проходят лаборанты, сотрудники, никто не обращает внимания на эту игру в разгаре рабочего дня, все считают ее в порядке вещей, естественной частью изнуряющей работы...

...Пустой кабинет Курчатова, отделенный стеклянной перегородкой от соседних рабочих комнат. Этот кабинет не приспособлен для совещаний, но он и не для академической работы. Кабинет очень рабочий, рациональный, скорее напоминает конторку мастера, помещение начальника цеха, во всяком случае это продолжение лаборатории.

Звонит телефон. Умолкает. Вспыхивают лампочки на коммутаторе. Гаснут.

Из раскрытого окна весеннее солнце, ветер. Распахивается дверь, входит Зубавин, за ним Переверзев. Быстрым взглядом Зубавин окидывает стол, бумаги.

— Где он может быть?

— Не знаю, — отвечает Переверзев.

— Кто же знает? Вы для чего здесь?

— Виноват, Виталий Петрович.

Чем-то подозрителен Зубавину этот смиренный тон. Зубавин внимательно приглядывается к Переверзеву:

— Что-то у вас не очень виноватый вид...

Переверзев молчит, вытянувшись по-военному.

Звонит отдельно стоящий белый телефон. Зубавин берет трубку.

— Зубавин слушает... Здравствуйте... Его здесь нет. Я только что вошел... Сейчас выясню... Минуточку. — Он зажимает микрофон рукою. — Ну, что будем делать?

— Виталий Петрович, разыщем,— тихо обещает Переверзев.— Не беспокойтесь.

— Ты меня не успокаивай. Где он?

— Уехал подумать.

— Почему один? Что он, тут думать не может? Какого черта...

— Виталий Петрович, поймите, надо ему иногда выключиться, побыть без всего этого...

— Блажь, капризы. Понимать не желаю. Вы имейте в виду, Переверзев!— Забывшись, он стучит трубкой по столу.— А, черт...— Он прикладывает трубку к уху.— Извините... Алло... Курчатов уехал, к сожалению, связаться нельзя... Просто поехал подумать...

Некоторое время он слушает сердитое клокотание трубки, шея его вздувается. Он встает, вытягивается, отвечает как можно сдержаннее:

— Почему же расхлябанность... У него все же несколько иная работа, чем у нас с вами. Ему не всегда нужны телефоны, ему нужно и так, чтобы без всяких телефонов... Простите, товарищ министр, я вас не учу, я просто возражаю...— Гудки, он медленно опускает трубку на рычаг, стоит, опираясь на аппарат, лицо его постепенно отходит, снова обретает свое хмуровато-спокойное выражение. Впервые, может быть, приоткрылось Переверзеву, сколько приходится принимать на себя этому человеку.

Окраина Москвы, на горе старый Коломенский дворец, шатровая церковь Вознесения, на свежем зеленом откосе нежатся на солнышке мамы с детьми, компания студентов перекидывается мячом, носятся ребята. Но это там, внизу, а здесь, на скамейке, в пятнистой подлиственной тени, тихо, спокойно. Длинно поблескивает река, пересвистываются птицы.

Откинувшись на ребристую спинку скамьи, Курчатов словно растворился в этом солнечном покое молодого лета. Далеко на горизонте дрожит, мерцает профиль Москвы, ее колоколен, золотые маковки церквей, трубы теплостанции. Курчатов смотрит на эту московскую даль, но глаза его невидяще устремлены в какую-то мысленную точку. Он сидит неподвижно, весь уйдя в размышление. Это не задумчивость, это именно размышление, работа. Иногда он хмурится, иногда недоуменно морщится, а бывает, что лицо его разгладится

в довольной ухмылке. Конечно, со стороны он выглядит отдыхающим, надо внимательно приглядеться, чтобы понять внутреннюю напряженную работу, которая происходит сейчас.

Кто-то трогает его за плечо:

— Папаша, не найдется закурить?

Не оборачиваясь, Курчатов вынимает коробку «Казбека».

— Ого, красиво живете! — Парень, не торопясь, берет папироску, сигналил кому-то.

Появляются еще двое ребят. Это все студенты. Студенты сороковых годов: демобилизованные парни или же недавние школьники, отошальные, одетые в отцовские кители, в гимнастерки, в солдатские ботинки; учебники, перевязанные ремешками, вечные ручки торчат из кармашков...

— Налетели на дармовщинку, — выговаривает первый, — нахальная молодежь пошла.

— Берите, берите, — угощает Курчатов, не замечая розыгрыша. И они берут, и еще берут про запас, закладывают за ухо, закуривают, смакуя, растягиваются тут же рядышком, на скамейке, расстегивают воротнички, подставляя солнцу грудь, любуясь на реку.

— Да, жизнь прекрасна, как сказал поэт, но удивительна.

— Никаких «но». Жизнь прекрасна, что удивительно.

— Солнышко-то... И почему это говорят, что неученье — тьма?

— Ле-на-а-а! Ползи сюда! — кричит один из них.

Две девушки на берегу собирают портфели.

— Если бы не зачет, мужики... Полного счастья не бывает.

— Не ной... Не порти картины.

— Поставят трояк.

— Ну и что, тройка — это удовлетворительно. Понимаешь — государство удовлетворено. А мне главное — удовлетворить государство. Пятерка — это для себя. Это эгоизм.

Внизу речная волна колышет траву, лодки. Слепящее солнце дробится на воде. Курчатов закрывает глаза, и желтые круги несутся, сталкиваются, разлетаются осколками, напоминая фотографии, снятые в ионизационных камерах.

Девушка режет толсто хлеб, накладывает по кусочку колбасы, раздает ребятам, подумав, безмолвно показывает на сидящего рядом с ними этого странного бородача, который, как ей кажется, из деликатности отвернулся.

— Феликс...

Феликс с набитым ртом мычит, протягивая Курчатову бутерброд.

— Угощайтесь, папаша.

Курчатов оборачивается, досадливо отмахивается:

— Спасибо, не хочу.

— Да вы не стесняйтесь.

— Ладно, не приставай,— говорит Лена.

— Сачки вы,— неожиданно сердито определяет Курчатов.

На него смотрят удивленно и заинтересованно.

— Однако, жаргон у вас, папаша,— усмехается Феликс.— Вы, очевидно, лицо духовное, а выражаетесь...

Этого «духовного лица» Курчатов никак не ожидал. Но в то же время он сразу соображает, в чем дело: церковь, он тут же сидит, опершись на палку, с бородой, столь редкой тогда...

— Витя, нас обидели. Ты, можно сказать, мучаешься, изучая на себе солнечную радиацию...

— И космические ливни,— гудит Витя.

— Между прочим, это не молебен служить. Если вы служитель культа, вы должны радоваться.

— Чему?

— Тому, что физика благодаря нам развивается медленно.

— А что, если действительно податься в астрофизику?— мечтательно рассуждает третий.

— Не перспективно,— говорит Феликс,— сейчас решать будут ядерщики. Все условия. Оборудование, оклады, звания...

— Это за что же?— любопытствует Курчатов.

О нем уже забыли, и опять вопрос его удивляет.

— О господи, темнота наша,— вздыхает Феликс.— Про бомбу вы слыхали? Так вот, мы делаем бомбу.

— Вы?

— Конечно, мы, кому еще... У нас дипломный проект.

Слабая улыбка освещает лицо Курчатова.

— Не верите...— снисходительно говорит Феликс и начинает «травить»:— Лена, у тебя с собой опытный образец?

Лена отрывается от конспекта:

— Ребята, а кто знает, на что расщепляется уран?

— На барий...— вспоминает Вася.

— А еще?

Они неприятно озадачены, листают тетрадки, ищут, бормочут, повторяя.

— Слыхали, у Бора сейчас конгресс по слабым взаимодействиям...— мечтательно говорит кто-то.

— То у Бора...

— А у нас?— спрашивает Курчатов.

— А что у нас?— Феликс потягивается, делает несколько приседаний.— У нас пока антракт. Вся надежда на нас.

— Ну, не вся...— примирительно гудит Витя.

— Ну кто еще? Старики, конечно, еще трепыхаются, а весь цвет-то где?

— А перед войной, помните? Как Флёр и Петержак рванули! А?

— А Александров?— напоминает Лена.— А Алихановы? Это же первоклассные работы были!

Они загораются, щеголяя друг перед другом своими знаниями, оказывается, что они действительно кое-что знают, читали.

— А Курчатов, Курчатов! По сегнетоэлектрикам, по циклотронам...

— А Харитон... Изотов. Да, были люди...

— Может, живы...— сомневается Вася.

— Эти мужики могли бы соответствовать. Они тянули.

Донесся колокольный звон с церкви. Все примолкли, слушают, погрузнев.

— А может...— говорит Вася.— Кто-то же делает бомбу.

Лена хозяйственно свертывает остатки продуктов.

— Все равно мы обгоним американцев.

— Это почему же?— интересуется Курчатов.

Феликс пренебрежительно фыркает.

— Настоящие физики, отец, всегда против невежества и реакции. Еще со времен Галилея, когда ваша церковь мучила его.

— Между прочим, не наша,— поправляет Курчатов,— но неважно.

— Сейчас все зависит от физиков, вся судьба человечества.

— Почему же не от химиков, не от врачей? — говорит Курчатов.

— Да, Феликс, ты тут подзагнул! — басит Вася.

— Нисколько!..

Тем временем поверху к ним подъезжает ЗИС-101. Резко тормозит. Из машины выскакивает Переверзев.

— Игорь Васильевич! — кричит он.

Курчатов, который внимательно слушал Феликса, неохотно поднимает голову, кивая: сейчас, мол. Феликс умолкает.

— Давай, давай... — приглашает Курчатов, но Феликс уже настороженно замкнулся.

— Неважно... это так... — бормочет он.

Курчатов надевает накинутый на плечи пиджак. Прощально оглядывает высокое небо, речную даль и этих ребят.

— Между прочим, кроме бария, — говорит он, — получается еще криптон, это очень просто. Атомный номер урана девяносто два. Бария — пятьдесят шесть. Значит, остается тридцать шесть. Верно? Это и есть криптон. Ну, счастливо...

И уходит к машине. Лихо развернувшись, она взлетает по косогору...

— ...Пятьдесят два... Пятьдесят один... — ровно и бесстрастно звучит команда отсчета.

Парусники скользят по бухте мимо Инкермана, Константиновского равелина. Бьется волна о теплые щербатые камни Приморского бульвара тех дореволюционных времен, когда Курчатов, гимназистом, наезжал с отцом в Севастополь. Прыгают в воду мальчишки и тут же карабкаются обратно по каменной кладке, блестя коричневыми телами. А по бульвару шагает военный духовой оркестр, и повсюду сверкает море — детская мечта Курчатова, извечная его мечта.

— ...Сорок восемь... Сорок семь...

Красное знамя развевается над головами красноармейцев. Впереди командир с шашкой, перепоясанный ремнями, за ним кавалеристы с карабинами в буденновских шлемах. Горнист поднимает трубу, цокают подковы по булыжной мостовой.

Лесной проспект Петрограда, и в конце его сквозь сосны белеет колоннада Политехнического института.

У доски приказов — толпа. Курчатов, совсем молодой, высокий, худой, поверх голов всматривается в плохо отпечатанный листок:

«Курчатова И. В., студента кораблестроительного факультета, — отчислить за академическую задолженность».

Всплывает голос неумолимого отсчета:

— ...Тридцать пять... Тридцать четыре...

Поеживаясь на холодном ветру, в своей потрепанной куртке, Курчатов шагает, размахивая связкой книг, по Николаевскому мосту через Неву. Обгоняя его, трусят извозчики, бежит красный трамвай с открытыми площадками, с громкими звонками. Еще на вывесках: «Булочная Филиппова», «Рыбачий кооператив». Это Петроград 1924 года, нет, уже Ленинград, потому что май месяц и по Неве плывет ладожский лед.

Под плакатом: «Долой неграмотность!» сидит укутанная в платок торговка семечками и маковками.

На набережной можно было еще встретить точильщиков с точилом на плече, маляров с кистями, трубочистов; еще путейцы носят фуражки с инженерным значком, а служащие идут с портфелями; много людей еще в шинелях и кожанках.

Вдали видны стапеля и краны Балтийского завода. Там ремонтируют пароходы с высокими трубами, а по Неве шлепают старенькие колесные пароходики.

Курчатов спускается по гранитной лестнице к воде, смотрит на этот морской Ленинград, с бескозырками, верфями, памятником Крузенштерну, с бухтами каната, лежащими здесь на набережной, и разбитыми миноносками, что ржавеют у пирсов.

— Ну и черт с вами, займусь физикой! — объявляет он громогласно всем кораблям и причалам.

— ...Пятнадцать... Четырнадцать!.. — перебивая его, звучит голос отсчета.

И снова порт — горящий Севастополь. Немцы обстреливают пристань, где идет погрузка раненых. По сходням поднимают носилки. Курчатов в мокром бушлате работает на палубе, проверяя размагниченность корабля перед выходом в море.

— ...Семь!..

В бетонированном бункере наблюдения собрались члены государственной комиссии. Тут же Курчатов, Зубавин, Изотов, Таня.

Щелкает, прыгая, огромная секундная стрелка на большом циферблате, горят сигнальные лампочки пульта.

Федя вынимает конфетку.

— Не хочешь? «Взлетная»... Помогает от неприятных ощущений.

Таня внимательно смотрит на себя в карманное зеркальце, медленно подкрашивает губы. Каждый здесь старается выглядеть спокойным и успокаивает себя привычным ему способом.

— ...Шесть!

Неподвижное лицо Курчатова. Набережная нынешнего Приморского бульвара Севастополя. Из-под аркады, от моря бегут дети. В шортах, майках, они бегут на Курчатова, как в массовом забеге сотни мальчишек.

— ...Пять!

Все взгляды сходятся к Курчатову. На него смотрят с надеждой, страхом, испытующе, недоверчиво. Увидим, мол, что это еще за бомба.

— ...Один!

Курчатов на мгновение прикрывает глаза: голубой новогодний шарик с надписью: «Ядро атома» медленно поднимается над украшенной елкой.

В окулярах стереотрубы ему видна пустыня, черные контуры вышки и висящая в ней бомба — итог всех усилий, надежд и сомнений. Последний раз он как бы проверяет себя.

— ...Ноль!

Наступает тишина. Теперь только удары сердца отсчитывают время. Палец Курчатова ложится на кнопку «Пуск». Какие-то миги он еще медлит.

В нестерпимо белом свете отчетливо, до малейших подробностей, проступает отстроенный жилой кирпичный дом, он стоит одиноко среди барханов, непонятный еще до этого последнего момента в своей бесприютности и ненужности; виден железобетонный дот, танки, расставленные на разных расстояниях, самолеты, клетки с кроликами, радиологические пункты, артиллерийские орудия, мастерские, заставленные станками, — все это расположено вокруг вышки по каким-то вычисленным радиусам. И все это предстает в последний раз перед

взором в немыслимой четкости, со всеми подробностями.

Беззвучно и неторопливо начинает расти столб огня, белый шар поднимается, разбухает, он ярче солнца, больше его, и все растет и растет. Грохот вселенского обвала обрушивается с неба. Люди в траншеях лежат ниц... Осыпается песок, колышется земля.

От мгновенно представшей картины с домом, мастерскими, танками ничего не осталось, все исчезло, есть лишь гладко поблескивающая поверхность спекшегося песка. Где-то вдали дымятся остатки паровоза, каких-то станков...

В Вашингтоне, в скучной комнате с голыми стенами, за простыми канцелярскими столами заседает административная комиссия Комитета по делам кадров.

Выбрана ли специально эта неудобная, душно прокуренная комната для такого разбирательства, или же это получилось случайно, трудно сказать. Скорее всего эти судьи вряд ли были способны на такие тонкости.

Показания дает Борис Паш. Он все так же жизнерадостен, уверен в себе, спортивен.

— ...Мы поставили Оппенгеймера перед выбором между дружбой и карьерой. Он выбрал карьеру и выдал Шевалье. Мы не ошиблись.

Он оглядывается на сидящего посреди комнаты Оппенгеймера, готовый к его возражениям.

— Вы уверены, мистер Паш, что Оппенгеймер оставался в душе коммунистом? — спрашивает председатель Гордон Грей.

— Может, его и мучили сомнения, но мы должны судить о нем по его поступкам.

— Какие поступки убеждают вас в этом?

— Из-за него Штаты потеряли три с лишним года, не приступая к работе над термоядерной бомбой. Он нанес нам вред.

— Вы думаете, что слава и любовь, какими его окружала страна, не изменили его взглядов?

— Нет. Я сужу по его действиям. Он виновен. Более того, мы постараемся, чтобы двери наших лабораторий были для него закрыты.

Председатель:

— Адмирал Льюис Страус!

С кожаной кушетки, на которой сидят свидетели, поднимается адмирал Страус, маленький, ловкий, на вид веселый, этаким округлый, приветливый старичок-бодрячок.

— Я думаю, мистер Паш ошибается. Оппенгеймер давно не коммунист, он хочет другого — видеть мир у своих ног. У него неограниченное самомнение и мессианство. Я обратил на это внимание еще в 1949 году, когда нам стало ясно, что русские взорвали атомную бомбу, уже тогда русские развили бóльшую скорость, чем мы, бомб-то у нас было больше, но, несмотря на это, русская бомба за одну ночь изменила соотношение сил, разрушив нашу стратегию. Не стоит лгать, мы не предполагали такого темпа. Наши ученые в эти критические минуты оказались не на высоте. Некоторые вообще не признавали русской бомбы, другие же истерически требовали от нас компромиссов, и в этом виноват Оппенгеймер. Мне сразу же стало ясно: спасти нас может только водородная бомба. А Оппенгеймер не соглашался... Но я надеюсь, что у Америки есть, кроме Оппенгеймера, люди, которые понимают веление времени...

Роджер Робб, советник Комитета по атомной энергии, восклицает с места:

— У Америки есть вы!!! И есть Теллер!

Председатель, Гордон Грей, обращается к Оппенгеймеру:

— Господин профессор, вы были убеждены, что водородную бомбу не нужно было делать?

Как он изменился, этот уверенный в себе, блестящий, привыкший к славе, почету Роберт Оппенгеймер. Даже на заседании Комитета по выбору цели, даже после смерти Джейн не было в нем такой горечи и разочарования.

Прошло девять лет. Сейчас апрель 1954 года. Точнее, 22 апреля, день рождения Роберта Юлиуса Оппенгеймера, которому исполнилось пятьдесят лет. Вот он где встречается его — в сущности, на скамье подсудимых. Процесс шел уже десять дней и должен был продлиться еще столько же. На скамье подсудимых сидел один Оппенгеймер, но вместе с ним, незримо, все его поколение молодых американских атомщиков. Тех, кто вместе с ним начинал у Резерфорда, занимался в Геттингене, — судили их вольнолюбивую юность, отвращение к фашизму, то, что было, а теперь ушло, отодвинулось перед могущественным взлетом физики, славой, почестями,

деньгами. Они решили, что они-то и есть властители и творители судеб истории. Кончилось это быстро. Ответственность придавила их, сломала, оказалось, что они беспомощны и не приспособлены к такой роли.

Высохшее, обтянутое лицо Оппенгеймера застыло. Он не пытается блеснуть красноречием, острым ответом. Он не изображает героя, несправедливо судимого, он не жертва, но он и не кающийся грешник, он не преступник, он слушает судей и свидетелей крайне рассеянно. Похоже, что существенно для него не происходящее, не вся эта процедура, а совсем иное. Сейчас он, вместе со своими судьями, судит себя.

— Это имело бы смысл, — отвечает Оппенгеймер, — если бы мы достигли такого военного преимущества, что без войны принудили бы противника признать наши требования... Однако русские создали свою бомбу в такой невероятно короткий срок, что стало ясно: нам не удержать преимущества. Русские шли за нами вплотную, в затылок. Никакой безопасности не получилось. Над всем миром нависла угроза уничтожения. Мы потратили миллиарды долларов. И что? Мы ничего не получили. Мы не сильнее, чем русские. Мы не имеем ни уважения, ни признания от стран свободного мира.

— Это вы сейчас так рассуждаете, — с чувством и значительностью говорит Робб. — А когда-то вы вместе с другими убедили наших государственных деятелей, что у нас есть преимущество в десять, а то и в двадцать лет. Если бы вы правильно информировали правительство, оно бы не допустило этой опасности — конкуренции русских.

— Каким образом не допустило... — не спрашивает, а усмехается Оппенгеймер. — Вы несколько преувеличиваете мою роль. У правительства было много информаторов.

— Доктор Теллер, — спрашивает председатель, — вы согласны с подобной оценкой?

Теллер хочет говорить сдержанно, но с первой же фразы срывается. Враждебность его к Оппенгеймеру смешана с честолюбием, с жаждой прослыть единственным автором водородной бомбы, защитником американской науки от красных...

— Не согласен, во всяком случае не совсем. Получилось так, что ради работы над атомной бомбой Оппенгеймер пожертвовал чистой наукой. Бомба стала как бы его личной собственностью. Он считал ее своим достоя-

нием. Он ревниво оберегал ее. Идея же термоядерного оружия была не его, она принадлежала мне. А это означало, что слава Оппенгеймера быстро поблекнет. Отважусь сказать, что это чувство и является причиной того, что Оппенгеймер боролся с нами.

— Что сделали бы вы, профессор Оппенгеймер, — спрашивает Роджер Робб, — если бы перед вами поставили задачу создать водородную бомбу?

После некоторого колебания Оппенгеймер неуверенно признается:

— Это трудно сказать.

— Вы были бы с нами или вышли бы из наших рядов? — допытывается Робб. — Да или нет?

— Думаю, я выполнил бы возложенную на меня задачу... — с трудом произносит Оппенгеймер.

— Считаете ли вы, что правительство вас обидело?

— Нисколько. — Оппенгеймер медленно усмехается. — Я согласен с Макиавелли, что неблагодарность — основная обязанность государя.

— У меня нет вопросов.

Комната быстро пустеет.

К Оппенгеймеру подходит один из судей, старый профессор-химик Ивенс.

— Имейте в виду, Оппи, я решительно против этих взбесившихся кресел. Жаль, что я тут в меньшинстве. Но я уверен, что это им так не пройдет. Они хотят объявить вас подозрительной личностью.

Оппи продолжает сидеть на стуле, посередине комнаты, сосредоточенно глядя прямо перед собой.

— Представляете, — продолжает Ивенс, — любого из нас, ученых, правительство запрашивает о чем-то, и если, допустим, мой ответ, то есть мое мнение, не понравится этим болванам, они начинают рассматривать меня как подозрительного. Хороши порядки. Этот Маккарти окончательно спятил. Нет, это касается не одного вас, это на нас всех покушаются. Вы слышите, Оппи?

— Не знаю, Ивенс, не знаю... — говорит Оппи. — Мне хочется понять свою собственную ответственность. В чем я виноват. Сейчас мне важно не оправдаться, а выяснить...

Он остается один. Пустые, обшарпанные канцелярские столы стоят перед ним, пустые кресла, папки донесений, досье, показаний. Коробки с магнитофонными лентами записей. Фотографии с рулонами пленок-негативов. Протоколы опросов...

В доме Курчатовых, внизу, в холле, у деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, одевается старый доктор. Марина Дмитриевна, зябко стягивая на груди платок, допытывается:

— Ну что, профессор?

— Второй инсульт, он и есть второй инсульт, — ворчливо отвечает профессор. — Он это знает. Сейчас состояние... — Марина Дмитриевна подает ему шубу. — Спасибо... Состояние несколько лучше, но по-прежнему строжайший постельный режим. Никаких резких движений, никаких деловых разговоров. Никаких волнений... Никаких посетителей. Покой, покой и покой... Вот главное его лекарство.

Он застегивает свою старомодную шубу, целует Марине Дмитриевне руку, смотрит на нее из-под мохнатых своих седых бровей, стараясь быть как можно строже и суровей:

— Марина Дмитриевна, вы сами должны понимать, второй удар, тут можно всего ждать.

Нахлобучив меховую шапку, он уходит. Марина Дмитриевна, прикрыв дверь, стоит, держа руку на холодном замке, собираясь с силами.

А наверху, в спальне, высоко на подушках, лежит Курчатов. За стеклянной перегородкой кипятит шприц медицинская сестра. Курчатов, прикрыв микрофон рукою, тихо и весело говорит в трубку:

— Николай Васильевич? Вас приветствует дважды ударник Курчатов, да, дважды ударник, — подмигивает он и сразу переходит на серьезный тон. — Задерживаете, задерживаете рабочие чертежи ОГРы... Но этот фантазер Головин хочет закончить ОГРу в конце года. И дай ему бог... Что? Не согласен. Воронежская атомная уже строится. Белоярская тоже... Судовые реакторы прошли испытания... А сейчас самое главное... Одну минуточку...

Тем временем входит со шприцем сестра. Курчатов, не прерывая разговора, поворачивается на бок, откидывает одеяло, подставляя для укола ягодицу.

— Хм... — крикает он от укола и тотчас повторяет: — Сейчас самое главное... Спасибо. Да нет, это не вам. Вас благодарить рано, рано, да...

Сестра выходит, а Курчатов, изучая развернутый чертеж, уже говорит по телефону с другим:

— Привет, Анатолий Петрович, нет, нет, ни о каких делах я разговаривать не собираюсь. Просто я придумал

название для импульсного реактора. ДОУД-три. Что это значит? А значит, что я хочу увидеть его в действии до того, как меня хватит третий удар. До удара три. Физкульт-привет! — Он кладет трубку как превеликую тяжесть, бледный, потный, бодрый его голос никак не вяжется с его изнуренным, больным видом.

Блестит мокрая брусчатка. Постукивает палка. В шляпе, в тяжелом пальто, опираясь на палку, по Кремлю идет Курчатов. Весна, орут воробьи, синее небо омыто и туго натянуто над Москвой. Пальто на Курчатове кажется тяжелым в этой солнечной теплыни, а может, еще и потому, что он исхудал и вид у него не очень здорового человека. Борода его поседела и стала жидкой. Его обгоняют депутаты, все направляются на сессию.

У царь-пушки, как обычно, толкуются любопытные, особенно мальчишки. Они забираются на огромные ядра, на самую пушку, бесстрашно заглядывают в ее черный зев. И гомон сливается с воробьиным щебетом. Курчатов останавливается, наблюдая за этой детской игрой с такой древней, такой грозной на вид и совсем безобидной пушкой.

— Дед, а она стреляет?

— Наверное, — отвечает старый казах, с такой же длинной, висячей, тонкой бородой, как у Курчатова.

Курчатов сворачивает на Соборную площадь, поднимает голову и видит горящие на солнце маковки колокольни Ивана Великого, стоящей в белой своей нетронутой красе незыблемо и прочно, во веки веков. И все эти соборы, и могучие кремлевские стены, и маленькие ели, и дальше московские крыши... А в воздухе слышится звон колоколов, не набатный, не праздничный, а памятный с детства — музыка, которую вызванивали мастера-звонари на колоколах звонницы, как на гигантском органе...

Георгиевский зал сверкает белым мрамором, золотом. Многие депутаты так или иначе знают друг друга, хотя бы в лицо. Они здороваются, издали раскланиваются. Генералы, маршалы, знатные сталевары, чабаны — пиджаки увешаны орденами, медалями, звездами — этим здесь никого не удивишь. И все же фигура

Курчатова привлекает общее внимание. Не только три Золотые Звезды Героя Социалистического Труда и лауреатские медали выделяют его. Что-то иное, необычное есть в этом богатырски сложенном человеке с интеллигентным лицом, с длинной редкой бородой. И взгляд его, сосредоточенный, ушедший в себя.

Перед ним расступаются, смотрят вслед, припоминая или спрашивая: «Кто это?» Кто-то радостно здоровается с ним. Но таких мало, его еще знают немногие. Постукивая палкой, он проходит в Грановитую палату, оглядывая картинки библейских сюжетов, расписанные на стенах, и бога Саваофа, парящего на потолке: румяного старичка среди пухлых облаков.

Не обращая внимания на устремленные к нему взгляды, с той же сосредоточенностью направляется он к трибуне, когда председатель объявляет:

— Слово имеет депутат Курчатов.

Гремят аплодисменты, из задних рядов кто-то приподнимается, всматриваясь в этого человека. С любопытством, почтением, с тем чувством, которое так свежо было тогда перед всемогущей и таинственной атомной силой. Может, от этого Курчатов чуть опечален, встревожен. Ему кажется, что шум аплодисментов не имеет отношения к нему, поэтому-то и доносится отдаленно.

Он надевает очки, раскрывает папку:

— ...С этой высокой трибуны я обращаюсь к ученым всего мира с призывом направить и соединить усилия для того, чтобы в кратчайший срок осуществить управляемую термоядерную реакцию и превратить энергию синтеза ядер водорода из оружия уничтожения, разрушения в могучий живительный источник энергии, несущий благосостояние и радость всем людям на земле...

Он к чему-то прислушивается, словно бы цокают копыта, — нет, показалось. Он снимает очки, глядя вдаль, говорит:

— Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке великой Страны Советов... Я глубоко верю и твердо знаю, что наш народ, наше правительство только на благо человечества отдадут достижения этой науки...

Снова слышится цоканье копыт. Курчатов умолкает, всматривается, видит, как далеко отсюда, где-то в 1924 году, вдоль гранитной набережной Невы едет мо-

лоденький красноармеец с карабином за плечом, в буденновском шлеме. Подковы цокают по торцовой мостовой. Опустив поводья, он едет мимо дворцов и узорчатых решеток, мимо рыбаков, лодочников, красный цветок торчит у него в петлице. Куда он смотрит? В какое будущее? Что он там видит? Эту ли трибуну, этот зал, этих людей?.. Куда он держит свой путь, этот парнишка двадцатых годов? И почему он явился сейчас перед Курчатовым? Молодость?.. Может, не только он слышит этот далекий цокот копыт, такой непривычный ныне, даже неизвестный для молодых. Может быть, и другие в зале слышали, поэтому они не удивляются внезапному молчанию Курчатова и ждут.

А он все всматривается, с нежностью и грустью следя за этим пареньком, едущим вдоль невской набережной...

1975

ЗАПРЕТНАЯ ГЛАВА

Случилось это в 1978 году. Мы с Алесем Адамовичем работали над второй частью «Блокадной книги». Не помню уж, через кого вышли мы на Б-ва. Блокадники, которых мы записывали, передавали нас друг другу. О Б-ве мы были наслышаны от многих и давно добирались до него, однако получилось это не сразу, он жил в Москве, был человек занятой: первый зам союзного министра. Во время блокады Б-ов работал помощником Алексея Николаевича Косыгина, направленного представителем Государственного Комитета Обороны в Ленинград. Услышать Б-ва нам было важно, чтобы обозреть блокадное время как бы с иной стороны — государственных усилий по снабжению осажденного города, по эвакуации населения и ценностей. До этого нас занимали частные судьбы, бытовые истории, но мы чувствовали, что читателю надо приподняться и окинуть разом всю картину, увидеть то, о чем не знал никто из блокадников, замерзавших в своих ледяных норах.

Б-ов отнекивался, как мог, наконец сдался и щедро потратил на нас несколько вечеров. С трогательной добросовестностью уточнял каждую цифру, факт, а когда речь заходила о самом Косыгине, щепетильно проверял по каким-то источникам даты, маршруты поездок, названия предприятий. Чувствовалось глубочайшее почтение к Косыгину и школа. Но эта же школа исключала проявление всякого живого чувства. Требовался точный доклад, отчет, пояснительная записка. При чем тут личные переживания? Эмоции мешали. И никаких самостоятельных рассуждений, впечатлений, догадок.

Добиться от Б-ва рассказа о том, как он прожил в блокадном городе семь отчаянных месяцев среди обстрелов, пожаров, трупов, нам не удалось. Он выступал

лишь как функция, как помощник Косыгина, не более того. Не считал возможным фигурировать отдельно, сам по себе. Он помощник Косыгина, все они были помощниками Косыгина. Ну, а сам Косыгин? Сам-то как — волновался, боялся, страдал? Что для него значила блокада? Ведь жизнь его ленинградская, казарменная проходила на ваших глазах.

Он смотрел на нас с недоумением. Такие вопросы в голову не приходили, да и вообще... Он был несколько смущен, не представлял себе, как такие переживания отзовутся на репутации шефа. Речь шла о нынешнем Председателе Совета Министров страны. Да и в ту блокадную пору Косыгин был тоже заместителем Председателя Совнаркома. О людях такого ранга не принято... Да и нельзя за другого. И вот тогда нас осенило — а если спросить у самого Косыгина? Взять и записать его рассказ! Точно так же, как мы записывали рассказы других блокадников. Он для нас в данном случае такой же блокадник, как и все другие. Мысль, что Предсовмина можно расспрашивать и записывать, как обыкновенного блокадника, явно ошарашила Б-ва. Сперва он высмеял нас. Это было легче, чем возразить. Мы настаивали, и воистину — «толцые и отверзится», — вскоре он призадумался, закричал и разродился туманно-осторожным: «Попробуем узнать».

По своей провинциальной простоте мы полагали, что Б-ву для этого стоит снять трубку и по кремлевской вертушке позвонить своему бывшему шефу: так, мол, и так. Всё же почти фронтовые кореша, да и по должности своей Б-ов тоже не жук на палочке. На это Б-ов зажмурился от невозможности слушать такую дичь.

Как там далее блуждал наш проект в лабиринтах власти, неизвестно. Время от времени Б-ов сообщал нам: «выясняется», «рассматривают», «надо кое-что уточнить», «дело движется»... Потом оно перестало двигаться. А потом двинулось вспять. Почему, отчего — нам не сообщалось, фамилии Косыгина в телефонных разговорах не упоминалось. Текст применялся инскапательный. Мы решили, что вступаем в особую зону правительственных контактов, шут его знает, может, у них положена такая таинственность и постоянная опаска — «это не телефонный разговор».

Уж не рады были, что втянули Б-ва в эту историю. Сказал бы: да — да, нет — нет, что там мудрить. Но,

оказывается, чего-то там зацепилось, и назад ходу не было.

Однажды Б-ов позвонил мне в Ленинград и попросил назавтра быть в Москве. Достать билет в тот же день было непросто, но я понимал, что с такими мелочами Б-ов считаться не может, тем более лицо, которое он представлял.

В Москву я прибыл. К вечеру Б-ов заехал за мною, и мы отправились в Кремль. По дороге он пояснил, что согласились принять меня одного, тут ничего не поделаешь.

Бесшумные коридоры, охрана, лесенки, переходы, все блестит, начищено. Приемная... Минута в минуту, нас уже ждали, сразу провели в кабинет.

Косыгин существовал для меня издавна. На портретах, которые мы носили во время демонстрации, на портретах, которые вывешивали шеренгами по улицам: все в одинаково черных костюмах, одинаковых галстуках, разница была в золотых звездочках Героев — были с одной, были с двумя. Годами, десятилетиями они пребывали, не старея. На экранах телевизоров, неизменно благожелательные и строгие, они тоже шеренгой появлялись в президиуме, вместе начинали аплодировать, вместе кончали. Что мы знали о них, об их характерах, взглядах, пристрастиях? Да ничего. Ни про их жен, ни про друзей, ни про детей. Не было слышно, чтобы кто-то из них когда-нибудь покупал что-то в магазине, ехал в троллейбусе, беседовал с прохожими, ходил в кино, на концерт, сам по себе, просто так. Индивидуальность скрывалась тщательно. Впрочем, Косыгин чем-то отличался. Пожалуй, его отличала хмурость. Он ее не скрывал, и это привлекало. Хмурость его шла как бы наперекор общему славословию, болтовне, обещаниям скорых успехов. Из мельчайших черточек, смутных ощущений мы, ни о чем не ведающие винтики, накапливали симпатию к этому озабоченному работяге, который силится и так и этак вытащить воз на дорогу.

...Под коротким седым ежиком лицо узловатое, давно усталое, безулыбчивое. Никаких предисловий, деловитость человека, привыкшего быстро решать, а не просто беседовать. Но мне надо было именно беседовать, заняться воспоминаниями, мне надо было сбить его деловитость. Поэтому вместо вопросов я принялся осматривать кабинет. Нарочито глазел, как бы по-писательски, не скрывая любопытства. Дубовые панели вдоль стен,

могучий старомодный письменный стол в глубине, ковровые дорожки, тяжелые кресла. Чем-то этот просторный кабинет и высокие окна, и вид из них показались знакомыми. Как будто я видел все это, но когда?.. Он уловил мое замешательство. «Да это же кабинет Сталина», — подсказал мне Косыгин.

Вот оно что! Тогда ясно. Сколько навидались мы фотографий, кинофильмов, где Сталин, попыхивая трубочкой, прохаживался по этой дорожке, вдоль этого стола. Годами он работал здесь.

Все во мне насторожилось, напряглось, словно бы шерсть вздыбилась.

— М-м-да-а, — протянул я с чувством, где вместо восторга было то, в чем я сам не мог разобраться. Косыгин бросил на меня взгляд, линиялы его глазки похолодели.

Мы сели за маленький столик поблизости от входа, подальше от того рабочего письменного стола. Втроем. Косыгин, Б-ов и я. На столике стоял белый телефон. Ни разу за весь вечер никто не отвлек нас звонком, никто не вошел.

Я достал магнитофон, небольшой испытанный магнитофон, который безотказно послужил нам уже в сотне встреч. Но Косыгин отвергающе помотал головой. Нельзя!.. Почему? — я недоуменно уставился на него. «Нельзя», — повторил он именно это слово. А от руки записывать карандашом? — Это можно. И предупредил, что, когда запись будет обработана, прежде чем включить в книгу, он просит обязательно дать ее ему прочесть. И еще: поменьше упоминать его личные заслуги, не выпячивать его роль. Все мероприятия проводились совместно с Военным советом и городскими организациями.

Все было изложено сухо, бесстрастно и без каких бы то ни было пояснений. С самого начала мне давали понять: все это не так просто, извольте соблюдать.

Он испытующе подождал, не откажусь ли я...

Итак, что меня интересует? Я перечислил вопросы. Известно, что в Ленинграде к зиме 1941 года скопилось на Сортировочной станции две тысячи вагонов с ценным оборудованием, цветными металлами для военных заводов. Почему это произошло? Можно ли было отправить их до того, как блокада замкнулась? Почему ГКО пришлось послать в Ленинград своего представителя, то есть Косыгина? Как было наладить эвакуацию по Доро-

ге жизни всякого рода приборов, инструмента, наиболее дефицитных вещей? Одновременно срочно вывозить голодающих детей, женщин, мастеров, ученых. Как приходилось выбирать?..

Б-ов сидел прямо, отстраненно-молчаливый. Свидетель, что ли? Похоже, что совершалась какая-то процедура, как бы ритуал, предназначенный неизвестно для кого.

Отвечать Косыгин начал издалека. Но вскоре я понял, что он не отвечал, а рассказывал лишь то, что собирался рассказать, независимо от моих вопросов. Блокадники тоже рассказывали не то, что я спрашивал, а то, что было им интересно.

Это меня устраивало. Тем более что это действительно было интересно. И рассказывал он хорошо — предметно, лаконично.

В конце августа в Ленинград из Москвы была направлена комиссия: Молотов В. М. (председатель), Маленков Г. М., Берия Л. П., Косыгин А. Н., Кузнецов Н. Г. (нарком военно-морских дел), Жигарев П. Ф. (командующий военно-воздушными силами), Воронов Н. Н. (начальник артиллерии).

— ...Летели самолетом до Череповца. Дальше нельзя — шли воздушные бои. В Череповце взяли паровоз с вагоном. Недалеко от Мги попали под бомбежку. Вышли из вагона, укрылись в кювете, впереди зарево, горят станция, склады, поселок. Пути разбиты. Сидим. Я говорю Кузнецову: пойдём посмотрим, что делается впереди. Пошли. Кое-где ремонтники появились, еле шевелятся. Стоит какой-то состав. Часовые. Мы к ним: что за эшелон? Красноармеец матом нас шуганул. Представляете — наркома и меня, заместителя Председателя Совнаркома! — Он благодушно удивился. — Мы потребовали вызвать командира эшелона. Он явился. Попросил извинить. Оказывается, сибирская дивизия следует на фронт. Через них кое-как связались с Ленинградом, с Ворошиловым. Он прислал за нами бронепоезд — два вагона плюс зенитки.

Этот рассказ я записал буквально. Картина была впечатляющая: в мокрой канаве, ночью, приткнулись, в сущности, все высшие чины правительства и армии. Воют бомбардировщики. Грохочут зенитки. Полыхают пожары. Впервые в жизни попали они в такую передрягу. Вжались в землю, съежились... По себе знаю, какой это страх — первая фронтовая бомбежка. Любо-

пытно, конечно, кто там как себя вел — всемогущий Берия, и Маленков, и Молотов, — как они держались, хлебнув на несколько минут хотя бы такой войны.

Под утро добрались до Ленинграда. Прибыли в Смольный, собрали командование. О положении на фронте докладывал Ворошилов — главком Северо-Западного направления. Наступление немецких войск удержать не удалось. Немецкие армии двигались на город с нескольких сторон. Обстановка была запутанной, нарушалось управление фронтами. Вечером комиссия подвела итоги. Несколько Военных советов — Северо-Западного направления, города, Красногвардейского укрепрайона и других — создавали неразбериху. Решено было создать единый Военный совет, выделить самостоятельный Карельский фронт, передать ему такие-то части.

Уже тогда стало ясно, что руководство города, не понимая опасности, угрожающей Ленинграду, не заботилось обеспечить эвакуацию жителей и промышленности.

Формулировки Косыгина были сдержанны. Можно было бы сказать и резче. Мы с Адамовичем столкнулись, например, с фактами агитации и настроений тех дней, когда отъезд из города считался малодушием, неверием. Поощрялась бравада: «Мы, истые ленинградцы, не покинем своего города!», и это затрудняло организованную эвакуацию.

Комиссия должна была определить, можно ли оставлять Ворошилова командующим, как наладить взаимодействие армии и Балтийского флота. А за всем этим поднимался грозный вопрос: удастся ли удержать город? Следовало предусмотреть самые тяжкие варианты. Если не удастся — что делать тогда с флотом, с населением, с городом?.. Назавтра разбились на группы. Молотов занимался Смольным, Берия — НКВД, Косыгин — промышленностью. Вечером докладывали в Москву. Молотов сказал Косыгину: «Вы здесь задержитесь. Так сказал Сталин. Потом созвонимся». Косыгин остался организовать эвакуацию предприятий на восток. Вместе с заводами надо было отправлять специалистов.

Вскоре Ставка отозвала Ворошилова, в Ленинград прибыл Жуков. «Провожали Ворошилова тепло, устроили ему товарищеский обед, так что все было по-человечески, — подчеркнул Косыгин, — а не так, как изобра-

жено в некоторых романах». Он старался внушить сочувствие и уважение к Ворошилову: «Одно его имя воодушевляло, а появление его на передовой поднимало войска».

Мне вспомнилось августовское наше отступление и сентябрьские бои под Ленинградом, уход из Пушкина. Связи со штабами не было, снаряды не подвозили, обстановки никто не знал, офицеры командовали то так, то эдак. Легенды о Ворошилове вызывали насмешку, даже ругань: где-то, мол, он поднял солдат и повел их в атаку. На кой нам эта атака и этот вояка!.. Два месяца боев нас многому научили, мы понимали, что если командующий фронтом ведет в атаку, то никакая это не доблесть, а отчаяние. К середине сентября фронт окончательно рухнул, мы оставили Пушкин, мы просто бежали. На нашем участке противник мог без всяких препятствий идти до самого Ленинграда. Таково было наше солдатское разумение, вытекающее из того, что видели мы на своем отрезке от Шушар до Пулкова.

Я мог бы кое-что еще выложить Косыгину про командование Ворошилова, до чего оно довело, и как переменилось на фронте, когда появился Жуков, даже до наших окопов дошло... Но я не стал прерывать, понял, что Косыгин не знает военного дела и не знает про Ленинградский фронт. Зато про блокаду он знал то, чего не знал никто.

...Постепенно он увлекся, видно, ему самому интересно было показать, какие масштабы приняла помощь окруженному Ленинграду (это уже в январе 1942 года), как ему удалось мобилизовать обкомы партии разных областей на сбор продовольствия, как наладили в областях прием эвакуированных. Память у него сохраняла фамилии, количества продуктов, машин, названия предприятий. Поразительная была память. Думаю, что рассказывал он про это впервые. Так свежо было удовольствие, которое он испытывал, вспоминая. Бесстрастный голос его смягчался, его уносило в какие-то отступления, которые вроде и не относились напрямую к нашей теме. Но они были интересны ему самому. Одно из них касалось октябрьских дней 1941 года в Москве, самых критических дней войны. Москва поспешно эвакуировалась, в Куйбышев отбыл дипломатический корпус, отправили артистов, Академию наук, наркомов... Из руководителей остались Сталин, Маленков, Берия и он, Косыгин. Между прочим, организуя отправку, Ко-

сыгин назначил Николая Алексеевича Вознесенского главным в правительственном поезде. Вознесенского такое поручение рассердило, характер у него был крутой, его побаивались, тем более что он пребывал в любимцах у Сталина. Сталин его каждый вечер принимал. Вознесенский пригрозил Косыгину, что пожалуется на это дурацкое назначение. Следует заметить, что Вознесенский был уже кандидатом в Политбюро, а это много значило.

— Я не отступил, и Вознесенский вскоре сдался: черт с тобой, буду старшим. А я не боялся, мы с ним друзья с ленинградских времен...

Косыгин вдруг замолчал, сцепил пальцы, останавливая себя.

Мало уже кто слышал про Вознесенского. Сделали все, чтобы имя это прочно забыли. Как и «ленинградское дело». Не было такого, и следов нет. Тем более что делу этому не предшествовала борьба мнений, оппозиция, никого не разоблачали. Да и разоблачать-то было нечего. Не было публичного процесса. Уничтожили втихую. Наспех заклеямили, прокляли, но толком никто не понимал, за что, почему.

Значит, они были друзья... Вознесенский Николай Алексеевич, один из самых образованных и талантливых в том составе Политбюро. «Один из» — это я по привычке. Просто самый образованный, талантливый, знающий экономист. Заодно уничтожили и брата его, министра просвещения РСФСР, бывшего ректора Ленинградского университета, и сестру, секретаря одного из райкомов партии Ленинграда, всю их замечательную семью. Всех подверстали к ленинградским руководителям — П. Попкову, Я. Капустину, А. Кузнецову, в то время уже секретарю ЦК. Происходило это спустя четыре года после войны. В 1949—1950 годах. Те, кто вернулся оттуда в шестидесятые годы, случайно уцелев, рассказывали мне, как пытали и Кузнецова, и других. Добивались от них, чтобы признали заговор, будто собирались создать российское ЦК, сделать Ленинград столицей России, противопоставить, расколоть партию... Словом, даже для того времени — бредовина, состряпанная кое-как. Преподносил ее в Ленинграде на активе Маленков, не заботясь о правдоподобии, — наплевать, сожрут.

Кто там с кем боролся за власть — Маленков с Берией, оба ли они против Вознесенского, — не разбери-

поймешь. Убрать Вознесенского устраивало и остальных, поскольку Сталин прочил его в преемники, механика клеветы была отработана.

Косыгин, конечно, знал подноготную тех страшных репрессий, что опустошили Ленинград, перекинулись и на Москву, и на другие города. Брали бывших ленинградцев, и не только их. Косыгин уцелел чудом, почти единственный из «крупных» ленинградцев. В ту зиму 1949—1950 годов за ним могли прийти, взять его в любую минуту. Внешне он оставался на вершине власти, его чтили, боялись, сам же он жил день и ночь в непрестанном ожидании ареста. Смерть предстояла совсем иная, чем наша фронтовая, солдатская, с пулевым при свистом или снарядным грохотом, отчаянная или нечаянная, и другая, чем блокадная — обессиленно-тихая, угасание... Он-то хорошо знал, что вытворяли с его друзьями, про ту пыточную, издевательскую...

Понимал ли он гнусность присходившего? Или все простил за то, что его минуло? Нет, вроде не простил... Но оправдывал ли Сталина? Чем мог его оправдать? Позволял ли себе думать об этом? Что же, гнал от себя недозволенные мысли, чтоб не мешали работать? С годами привык гнать, ни о чем таком не задумывался? Куда ж они деваются, придавленные сомнения, загнанные в подполье мысли, во что превращаются старые страхи?

Ничего нельзя было прочесть на его твердом, опрятно-прибранном лице.

— За что же его так, — начал я про Вознесенского, — если Сталин его привечал, то почему же...

Но тут Косыгин, не давая мне кончить, словно бы и не было паузы, словно бы я помешал ему, сделал останавливающий жест и продолжал свой рассказ. Позже я понял значение этого предупреждающего жеста.

Одну за другой выкладывал он интереснейшие подробности о том, как шестнадцатого октября здание Совнаркома опустело, — двери кабинетов настежь распахнуты, валяются бумаги, шуршат под ногами, и повсюду звонят телефоны. Косыгин бегом из кабинета в кабинет, брал трубку, алёкал. Никто не отзывался. Молчали. Он понимал: проверяют, есть ли кто в Кремле. Поэтому и носился от телефона к телефону. Надо, чтобы кто-то был, пусть знают...

Тут я вставил про нашего лейтенанта, который, прикрывая отход, бегал от пулемета к пулемету, стрелял очередями, как будто мы еще сидим в окопах.

Один из звонивших назвал себя. Это был известный человек. Деловито справился: «Ну как, Москву сдавать будем?» Косыгин всадил ему: «...А вы что, готовы?» И выругался. Никогда не ругался, а тут выругался.

В Ленинград он вновь прибыл в январе 1942 года. Решилось это под Новый год. 31 декабря к Косыгину зашел П. Попков, в то время председатель Ленгорисполкома. Приехал он в Москву в командировку. С Косыгиным они дружили — земляки, да к тому же Косыгин сам когда-то работал в Ленинграде на той же должности. За разговором припозднились, и Косыгин предложил поужинать вместе. В это время позвонил Вознесенский, спрашивает: «Где будешь Новый год встречать?» — «Не знаю». — «Давай у меня дома». — «Хорошо, но я с Попковым приду». — «Годится». Договорились, поехали к Вознесенскому, поужинали у него, хозяин предложил посмотреть какую-нибудь комедию. Все же Новый год. Отправились в просмотровый зал на Гнездниковский переулок. Сидят, смотрят, смеются, вдруг появляется дежурный: Косыгина к телефону. «Вас товарищ Сталин вызывает». Действительно, Сталин его разыскал, спрашивает, что он, Косыгин, делает. Кино смотрит? С кем смотрит? Выслушал, помолчал, потом спрашивает — каким образом вы вместе собрались? Косыгин подробно объяснил, как происходило дело. Сталин говорит: «Оставь их, а сам приезжай к нам». Косыгин приехал. Было часа три ночи. У Сталина сидели за столом Маленков, Берия, Хрущев, еще кто-то. Выпивали. Настроение было хорошее. Берия подшучивал над тем, как лежали в канаве. И тут Сталин сказал: «Неплохо бы вам, Косыгин, в Ленинград поехать, вы там все знаете, наладить надо эвакуацию».

— Так состоялось мое назначение.

— Ну и ну, — сказал я. — Хорош Сталин, что ж это он на каждом шагу подозревал своих верных соратников.

У меня это вырвалось непроизвольно, я был полон искреннего сочувствия к Косыгину.

Он помрачнел и вдруг смаху ударил ладонью по столу, плашмя, так что телефон подпрыгнул.

— Довольно! Что вы понимаете!

Окрик был груб, злобен, поспешен. Весь наш разговор никак не вязался с такой оплеухой.

Меня в жар бросило. И его бескровное серое лицо пошло багровыми пятнами. Б-ов опустил голову. Молчание зашипело, как под иглой на пластинке. Я сунул карандаш в карман, с силой захлопнул тетрадь. Пропавши он пропадом, этот визит, и эта записка, и эти сведения. Обойдемся. Ни от кого начальственного хамства терпеть не собираюсь.

Но тут Косыгин опередил меня, не то чтобы улыбнулся, этого не было, но изменил лицо. Качнул головой, как бы признавая, что сорвался, и сказал примиренно:

— О Сталине лучше не будем. Это другая тема.

И сразу, без перехода, стал рассказывать о том, как готовился уехать в блокадный Ленинград в январе 1942 года, как собирал автоколонны для Дороги жизни, обеспечивал их водителями, ремонтниками, добывал автобусы, нельзя же в стужу везти по озеру детей и женщин в открытых грузовиках.

Записывал я машинально, все еще не мог прийти в себя. На кой он выдал мне эту историю про Сталина, мог же понять, что любой слушатель на это отозвался бы так же. Если у тебя болит, так какого черта ковыряешь. Сталинист он или кто? В самом деле, почему он ничего не изменил в этом кабинете, все оставил, как было? Почитаает? Боится?

Исподлобья по-новому я озираю громоздкую мебель кабинета, угрюмо-добротную, лишенную украшений и примет, торжество канцелярского стиля... Массивная дверь в глубине, позади письменного стола, откуда, бесшумно ступая в мягких сапожках, появлялся вождь народов.

Спустя четверть века дух его благополучно сохранился и мог привольно чувствовать себя среди привычной обстановки. Есть ли они, духи прошлого, обитают ли они в местах своего жития, — не знаю, какая-то чертовщина все же действует, для меня ведь что-то витало, для нынешнего хозяина тем более многое должно было оставаться. Он-то наглядно представлял, как решались здесь судьбы того же Вознесенского, и Попкова, и Кузнецова, и всех остальных тысяч, уничтоженных по «ленинградскому делу», как обговаривали здесь выселение калмыков, чеченцев, балкар с родных мест, проведение разных кампаний то по борьбе с преклонением,

то с космополитизмом, то со всякими шостаковичами, зощенками, ахматовыми.

Господи, какие молитвы и какие проклятия неслись к стенам этого respectable кабинета из всех тюрем, лагерей, эшелонов. Кровавые призраки прошлого, они блуждали здесь и поныне неприкаянные, куда же им деваться? Звенели телефоны, шелестели бумаги, заседали министры, замы, референты, секретари приносивисто двигались сквозь бесплотные видения. Минувшее действовало незаметно, как радиация.

Сталинист, не сталинист — такое упрощенное определение не годилось. Он вспылит не обязательно из-за Сталина, тут ведь тоже вникнуть надо: вам излагают факты, преподносят случай разительный, вот и толкуйте его как хотите. Но не вслух! И не требуйте выводов! Факты святы, толкование свободно... Это не то чтоб осторожность, это условие выживания. Не трактуй, и не трактован будешь. Усвоено, стало привычкой, вошло в кровь. Любые сомнения в правоте вождя опасны. Чем выше поднимаешься, тем осмотрительней надо держаться, тем продуманней вести себя. Взвешивай каждый жест, взгляд. Оплошка приводила к падению, а то и к гибели. Недаром большая часть членов Политбюро погибла.

Выучка обходилась дорого. Личность по мере подъема состругивалась, исчезала. Когда-то Федор Раскольников довольно точно описал, как Сталин растаптывал души своих приближенных, как заставлял своих соратников с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей.

Страху хватало. На всех. Ни с того ни с сего высывались чудовищные морды подозрений: а не агент ли ты чей-нибудь?.. Страх сковывал самых честных, порядочных.

«Вот и вся хитрость — запугивали. Все боялись», — подхватывают молодые, и в голосе их звучит пренебрежение.

Попробуй объяснить, что, кроме страха, была вера, было обожествление, надежда, радость свершений, — сколько всякого завязалось тугим узлом. Моему поколению и то не разобратся, следующие и вовсе не собираются вникать. «Уважать? — спрашивают молодые. — За что? Предъявите!» Упрощают самонадеянно, обидно, несправедливо, но, наверное, так всегда обходятся с прошлым. Оно или славное, или негодное.

Прибыв в Ленинград, он все усилия сосредоточил на Дороге жизни — единственной жилке, по которой еле пульсировала кровь, питая умирающий город. Из дня в день налаживал ритм движения, ликвидировал заторы, беспорядок на обоих берегах Ладоги. Пришлось устранить излишества приказов, пустословия, улаживать столкновения гражданских властей и военных, моряков и пехотинцев, больных и здоровых. Надо было превратить эти водовороты в напористый гладкий поток, чтобы пропустить вдвое, впятеро, в пятнадцать раз больше: из города — людей, а в город — муки, консервов, крупы, мяса... Проложили через озеро трубопровод, чтобы снабжать город и фронт горючим. Наладили доставку угля электростанциям города. Мобилизовали коммунистов на восточный берег Ладоги, чтобы навести порядок на складах, потому что с хранением продуктов творилось черт знает что. Он переправлялся по этой дороге туда — назад. Когда лед сошел, ходил на катере. Однажды угодил под прицельный огонь с вражеского берега так, что еле выбрался. По катеру сажали из крупнокалиберных пулеметов... Он рассказывал об этом не без фронтовой небрежности.хлопотная была работа, на ногах, без кабинетов, бумаг. Боевая, и с точным результатом: каждый день столько-то тысяч спасенных людей — и тех, кого вывозили на Большую землю, и тех, кому доставляли хлеб. Звездные месяцы его жизни располагались среди штабелей легких, иссушенных голодом трупов, аккуратно по расписанию наступающих бомбежек, воя сирен, артиллерийских обстрелов, сна в душном, затхлом бомбоубежище Смольного. Странная вещь — для большинства блокадников, которых я наслушался, трагическая эта, наиболее ужасающая пора в то же время озарена счастливым состоянием духа. Никогда они не дышали такой вольностью, была подлинность отношений, люди кругом открылись. Это, казалось бы, невозможное сочетание горя и счастья подметили и Ольга Берггольц в своих блокадных стихах, и Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих записках: «Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование».

В Ленинграде Косыгин был сам себе хозяин, был избавлен от каждодневного гнета, хоть отчасти, но свободен. Поэтому ему вспоминалось иначе, с признательностью. Мотался по заводам, отбирал станки, прессы,

приборы, специалистов — для вывоза. Скорей, скорей готовить в районах детей, родителей, кто еще мог передвигаться, для отправки их. Поездами с Финляндского вокзала, а дальше пересадить на автобусы и туда, на тот берег, а там тоже наладить прием, кормление, медицинскую помощь и отправку этих сотен тысяч дистрофиков, доходяг, обессиленных, беспомощных людей, с их малым скарбом, одеждой, фотографиями, остатками прежней жизни в глубь страны. Отладить систему взаимодействия военных с милицией, с медиками, с железнодорожниками...

Вдруг он спохватился, прервал рассказ: нет, нет, все делалось совместно, разумеется, совместно с Военным советом или же с горкомом партии... Произносил отчетливо, словно бы не только для меня.

...Тем более совместно, что кругом были друзья-товарищи: и А. А. Кузнецов (с ним в некотором роде родственники), и Яков Капустин, и В. С. Соловьев, и В. С. Ефремов, и Б. С. Страупе... Полузабытые фамилии из той питерской гвардии, которую я еще застал, вернувшись с войны. Слой, что отстоялся после Кировского дела. Когда убили Кирова, тоже произошли массовые репрессии в Ленинграде, почти все они погибли, ленинградские руководители, специалисты, хозяйственники тех лет.

Во времена «ленинградского дела» опять стали косить подчистую. Не унять было. Заметное, яркое, тех, кто с честью прошел военное лихолетье, выдвинулся, — всех под корень. Я тогда работал в кабельной сети Ленэнерго. Приедешь в управление — того нет, этого. Где? Молчат. Исчезали директора электростанций, главные инженеры. Рядом, в Смольнинском райисполкоме, творилось то же самое. Город затих. Снова — в который раз — навалилась беда, одна не угасла, другая разгорелась. Чего только не натерпелся этот великий город и до войны, и в войну, и после; кара за карой, ни одна горькая чаша не миновала его. Все согнуть старались, в провинцию вогнать, под общий манер обрядить.

Косыгин был коренной питерец. Не помню уж, по какому поводу, а может, и без повода, он рассказал, что учился в Петровском реальном училище, там, где теперь Нахимовское училище, там, где высоко, в нише здания, стоит черный бюст Петра Великого. В прошлом году, будучи в Ленинграде, он заехал в училище, просто так, взглянуть на классы своего детства.

— ...Представляете, в спальне двухэтажные кровати стоят, — сердито недоумевал он. — Будто места мало. В столовой ложки алюминиевые, перекрученные. Что мы, не можем будущих офицеров обеспечить?..

Главная досада была на то, что неприглядней стало, чем в его школьные годы.

Опасно возвращаться в места своего детства, большей частью там поселяются разочарования. И все же детство надо иногда навещать, нельзя, чтобы оно застарело, заглохло. Мне нравилось, что он любил свое детство и бывал там. Директор Эрмитажа Борис Борисович Пиотровский рассказал, как однажды Косыгин приехал к ним в музей и попросил провести его по старой экспозиции, по тем залам, по которым водили до революции. Разыскали сотрудника, знающего границы старого Эрмитажа. Косыгин признался, что ему хочется осмотреть то, что когда-то показывал ему его дед. И долго ходил из зала в зал, останавливался, узнавал, удивлялся детской своей памяти. За время своего директорства Пиотровский не помнил, чтобы кто-то из высшего начальства, сам по себе, без делегации, посетил Эрмитаж, захотел бы полюбоваться его сокровищами. Косыгин был первый. Тогдашний секретарь Ленинградского обкома и тот за все годы не нашел времени походить по Эрмитажу.

В чем состояла сложность работы в блокадном городе? — вот что мне хотелось узнать. Всегда ищешь конфликты, столкновения характеров, взглядов, трудно решаемые проблемы. Друзья друзьями, но ведь приходилось добиваться, заставлять разворачиваться того же Кузнецова и Попкова, обеспечивать Дорогу жизни. Да и с А. А. Ждановым было непросто. Тем более что ни в город, ни на фронт в передовые части Жданов не выезжал, обстановку на местах знал плохо. На это жаловались многие блокадники. К чему же сводились разногласия? То, что они были, — известно. Не случайно в своем рассказе Косыгин ни разу не упомянул Жданова, ни по какому поводу.

— Разногласия? — Косыгин посмотрел поверх меня вдаль, морщины медленно соединялись в невеселую улыбочку. — Никаких разногласий быть не могло... Не могло, — повторил он, настаивая. — Вот Хрулев, генерал армии, тот помогал всячески.

Перевел на Хрулева, потом перешел на ленинградских милиционеров, которые, помирая с голоду, про-

должали нести службу. Пришлось настоять, чтобы Берия прислал с Большой земли свежие милицейские подразделения. Они крепко помогли тогда.

— Берия не хотел... Отношения Сталина и Жданова к тому времени стали неважными, — как бы невзначай бросил он. — Это Берия постарался...

Разговор коснулся продовольственных поставок, что шли через Микояна. И тут тоже, как я понял, сказались трения между Микояном и Ждановым, не случайно Жданов жаловался Сталину на Микояна. От всего этого возникали дополнительные трудности в снабжении города, Косыгину приходилось маневрировать, учитывать сложные взаимоотношения вождей. Из Ленинграда не так-то хорошо просматривались коридоры власти. Скупые его замечания высвечивали малый промежуток — лишь на шаг, чтоб не запнуться. Вообразить эти самые коридоры власти мне было трудно, у меня появлялась другая картина, привычная мне, — подстанция, распреустройства высокого напряжения, нависшие провода, тарелки изоляторов, медные шины. Воздух насыщен электричеством, повсюду потрескивает, гудит...

Как-то мне пришлось работать под напряжением, у самых шин, вопреки всем правилам безопасности. Поднимаешь руку медленно, глаз не спуская с басовито жужжащей рядышком тусклой меди. Каждое движение соизмеряешь, мышцы сводит, всюду ощущаешь электрическое поле, готовое вот-вот пробить тебя насквозь смертельным ударом. Примерно с тем же замедленным, бесконечно растянутым страхом ползли мы однажды через минное поле...

Косыгин вел свой рассказ, умело огибая запретные места, искусно сворачивая, не давая мне рассмотреть, прочувствовать, спросить... По обеим сторонам тянулись запертые, опечатанные двери. А почему? От кого заперты? От себя самого? От нас? Ему бы воспользоваться случаем. Когда еще придется повторить эту дорогу. Времени впереди немного. Восьмой десяток идет, возраст критический, когда ничего нельзя откладывать. Голова его хранила огромные материалы о блокаде, о войне, о послевоенных делах. Расскажи, чего же ждать? Второго раза не бывает. Народ доверил тебе в решающие годы руководить промышленностью, правительством, ключевыми событиями, и, будь добр, отчи-

тайся. Напиши или расскажи. Тем более что творили вы эту, нашу историю, судьбу нашу — безгласно, решали при закрытых дверях, никому не открывались в сомнениях или ошибках. Когда-то существовало в обществе историческое сознание. И большие, и малые деятели понимали свою ответственность перед детьми, внуками, свою включенность в историю. Куда исчезло это чувство? Люди стали так немо, словно виновато, уходить из жизни. Но почему? Ведь сделано много хорошего. Если что не так, то тем более надо поделиться... Ты же остался последний из всех твоих друзей-сподвижников, никто из ленинградских секретарей обкома тех лет не уцелел, никого из членов Военного совета тоже нет в живых...

Чем дальше я слушал его, тем меньше понимал, чего он так стережется. Ему-то чего опасаться? Глаза наши сошлись.

— Нельзя того, нельзя этого, а что можно? — вырвалось у меня.

Он понял, о чем я, и понял, что я понял, что перешло из глаз в глаза. Ничего не ответил, хмыкнул то ли над моей бестолковостью, то ли над тем, что я не в состоянии был увидеть.

Молчаливый телефон стоял между нами на пустом столике. Присутствие его мешало. Он стоял, как соглядатай, слухач.

Господи, хоть бы что-нибудь сменил в этом кабинете. Мне стало жаль этого старого, но еще сильного, умного человека, который вроде бы так много мог, имел огромную власть и был так зажат.

...Все же одно обстоятельство надо было прояснить. Во что бы то ни стало. Не отступаться, пока не узнаю, как совершался выбор в делах эвакуации. Выбор между населением и оборудованием. Между умирающими от голода и станками, аппаратурой, необходимой для военных заводов. Вывозили самолетами, баржами, машинами, но транспорта было в обрез, не хватало, приходилось выбирать, что вывозить раньше — людей или металл, кого спасать, кому помогать: фронтовикам — танками, самолетами — или же ленинградцам... Так вот, на каких весах взвешивали нужду и срочность?

— И людей вывозили, и оборудование. Одновременно, — ответил Косыгин.

— Ясно, что одновременно, но это в общем и целом. А практически ведь всякий раз приходилось решать, чего сколько.

— Так и решали, и то и другое, — сердито настаивал Косыгин. — А как тут еще можно выбирать?

— Но приходилось выбирать!..

Я упорствовал, и он упорствовал. Я понимал, что в том-то и беда была, что ему нельзя было выбирать. В этом безвыходность была и общая мука. Не могли выбирать и не могли не выбирать. Вот какого признания я добивался — о мучительности положения, о том, какой душевный разрыв происходил. С него требовали скорее отгружать, обеспечивать заводы, ради этого шли на все. И в то же время надо было вывозить горожан, каждый день умирали тысячи людей. А мы на передовой смотрели в небо и не могли дождаться наших истребителей. Такая вот сшибка происходила. Хоть словцо бы одно произнес об этом. Словечко про ту горечь, про случай самый малый, когда сердце стиснуло, — было же что-то, кому-то помог, пожалел, нарушил. Или, наоборот, не помог, упустил...

Но нет, ничего не мог добиться.

Насчет выбора передо мной маячила одна сценка. Пойди у нас по-другому разговор, я бы ее обязательно рассказал. Тогда, кстати, я впервые увидел Жданова. Это было зимой 1942 года. Прямо из окопов нас вызвали в штаб армии, там придирчиво осмотрели, как выглядим. Накануне мы получили новые гимнастерки, надраили свою кирзу, подшили свежие подворотнички. Штаб помещался на Благодатном, так что в Смольный нас везли через весь город. Мы ехали на газогенераторной полуторке стоя, чтобы не запахаться. В Смольном на вручение орденов нас собрали из разных частей фронта. Нас — человек шестьдесят. Я плохо что видел и замечал, потому что волновался. Провели нас в маленький зал. За столом сидели незнакомые мне начальники, командиры. Единственный, кого я узнал, был Жданов. Все вручение он просидел молча, неподвижно, запомнилась его рыхлость, сонность. В конце процедуры он тяжело поднялся, поздравил нас с награждением и сказал про неизбежный разгром немецких оккупантов. Говорил он с чувством, но круглое, бледное, гладко-блестящее его лицо сохраняло безразличие. В некоторых местах он поднимал голос, и мы добросовестно хлопали. Когда я вернулся в батальон, пересказать толком,

о чем он говорил, я не мог. У меня получалась какая-то ерунда, ничего нового, интересного. Ни про второй фронт, ни про наши самолеты. Нас Жданов ни о чем не спросил. Хотя мы были наготове, нас инструктировали в политотделе. Мы все видели его впервые. Ни у кого из нас он в части не бывал, вообще не было слышно, чтобы он побывал на переднем крае. Весть об этом дошла бы.

Вот про обед я ребятам рассказал. Как нас повели вниз в столовую и кормили шикарным обедом. То, что покушать дадут,— это мы знали, это полагалось. Но обед был на скатерти, на фарфоровых тарелках, с казенными ложками. Дали суп гороховый — с кусочком сала, на второе — перловую кашу и котлетку, на третье — розовый кисель. Порции крохотные, не обед, а воспоминанье. Зато лежали вилка, чайная ложка. Самое трогательное — на блюдечке три куска хлеба и конфетка в зеленой бумажке. Конфетка была как бы сверх всякой программы, сюрприз. Ее совали в карманы, в планшеты, на память, друзей угостить. Из всех обедов именно этот помнится. Потом был концерт московских артистов. Пела певица, крупная женщина в длинном шелковом платье с вырезом, чтец читал Некрасова, запомнился баянист с плясуньей. Меня поразило, какие они розовые, свежие. В зале было тепло, некоторые разомлели, похрапывали. После концерта какой-то мужик в защитном френче подозвал нас, сделал замечание: «Мы,— говорит,— летели из Москвы, чтобы порадовать своим искусством, а тут храпака задают, некрасиво. В нас зенитки стреляли, артисты жизнью рисковали в надежде... Концерт этот дорогого стоит...» И в таком роде, и тому подобное. Кто-то извинился, виноваты, с отвычки, мол. Подошел еще помощник Жданова (это мы потом узнали), стоит, слушает. Тогда Витя Левашов, комвзвода артразведки, сунул руки за ремень, голову набок и спрашивает: «А сколько вы, дорогой товарищ, весите?». Тот оторопел. Левашов оглядел его: «Килограммов семьдесят потянете, не меньше. Вместе с остальными артистами, да еще баян прибавить, составит шестьсот кило, не меньше. Вопрос к вам такой: если эти шестьсот кило переведем на муку и консервы, которые вместо вас привезли бы, мы бы почти целый полк подкормили, что касается гражданских, так тех, считай, тысячу спасли бы. Артисты, конечно, тут ни при чем, им спасибо, но концерт, точно, драгоценный, шестьсот кило продовольствия проспать, за это наказывать надо!»

Все посмеивались, даже концертный начальник заулыбался, один только помощник помрачнел. Если бы не орден, погорел бы Виктор. Его потом долго драили. Шутка шуткой, однако прошла по армии, занозистой оказалась. После нее мы стали кой-чего как бы на вес прикидывать.

...Мне было известно про Косыгина несколько историй сердечных, добрых. Одну из них я слышал от Михаила Михайловича Ковальчука, врача на Ладого. Я попробовал напомнить ее, но Косыгин безучастно пожал плечами. Похоже, что забыл. И про мальчика, умиравшего на проходной Кировского завода, забыл как несущее, как слабость души. А ведь возился с ним. Видимо, то, что не имело отношения к делу, память его не удерживала, отбрасывала.

Наверное, чтоб отделаться от меня, рассказал, как в одном из писем отец попросил провести их ленинградскую квартиру. Родители эвакуировались, квартира стояла пустая. Заодно, писал отец, пошарь в полке над дверью. К счастью, дом уцелел, квартира уцелела. Стекла, конечно, повыбивало, стены заиндевели. Косыгин встал на табурет у входной двери, сунул руку в глубину полки и вытащил оттуда одну за другой чекушки водки. Оказывается, у отца был обычай на Новый год прятать «маленькую» на память о прожитом годе. Извлек оттуда бутылочки еще царской водки, с орлом. Целый мешок набрал, потом в Смольном всех угощал.

Вот то личное, что вспомнилось. Все чувства сосредоточены были на Деле. Насчет Дела он мог рассказывать сколько угодно.

Шел девятый час вечера. Я завидовал его выносливости. Меня уморил напряг этого кабинета, вымотали сложные извороты нашего разговора. Пора было подниматься и благодарить: нельзя же отнимать столько времени, да еще после рабочего дня и всякое такое. Косыгин встал, пожелал успеха в издании книги. На это я сказал, что со второй частью у нас будут трудности. По поводу первой части наш ленинградский партийный руководитель заявил, что никому такая книга не нужна, что ленинградская блокада — это прежде всего подвиг и геройство, а мы зачем-то описываем страдания людей, лишения, смерти. Такие примеры ничему не учат. Его

слова, конечно, поспешили передать нашему московскому издателю, и тот, человек чуткий к начальственному мнению, попятился.

— Только геройство признает, — сказал Косыгин. — Знаток. — И он вложил в это слово ту иронию, с какой мы, фронтовики, слушали военные рассуждения гражданских.

— И никто не вступится, — обрадованно сказал я, помогая, подталкивая его, Косыгина. «Ну это мы вам пособим, поможем», — должен был ответить он. Первую часть он читал, после чего и выразил согласие встретиться. Следовательно, возражений не имел. Разве он не мог дать отповедь и нашему начальству, и кому угодно. Пристыдить, подтвердить. Достаточно было поручить своему помощнику позвонить в издательство. И все. Вопрос был бы решен...

Но на его узловатом лице не появилось никакого сочувствия, наоборот, оно лишилось всякого выражения, осталось каменное равнодушие, как будто не было ни этой встречи, ни нашего блокадного братства, как будто перед ним посторонний, докучающий своими просьбами. Он отвергающе покачал головой. Вмешиваться он не станет. Издательства не по его части. И все. Рука его была теплой, бескостно-мягкой.

Молча мы с Б-вым миновали застеленные дорожками коридоры, лесенки, переходы, охрану. На Красной площади горели прожектора. По мощеной брусчатке растекалось вечернее глазеющее брожение приезжих. Было просторно, свободно, шумно. С облегчением вдыхал я этот чадный, бензиновый воздух. Потянулся затекшим телом, подвигал лицом, почувствовал, как внутри расслабляется, отходит натянутая до предела душа и всякие нервные устройства.

Б-ов тоже расправил плечи, вынул платок, вытер шею, затем трубно высморкался, укоризненно понаблюдал мои гримасы.

— Эх, мил-человек, ручался я за вас, хлопотал, а вы...

— Что я?

— Подвели. Вопросыки ваши! Что ни вопрос — как в лужу. Всякий раз в неудобное положение ставили. Неужели не чувствовали? А меня от стыда потом прошибало.

— За вопросы? Да? А за ответы?

— Разве тактично спрашивать о разногласиях с Ждановым? Вы должны понимать — Жданов в то время был членом Политбюро.

— А Косыгин?

— Не был.

— И что с того. Теперь-то он...

Б-ов рукой махнул, весь скривился от невыносимого моего невежества. Есть правила, есть субординация, существует, наконец, этикет, если угодно — церемониал. И насчет личного не принято у людей такого ранга выспрашивать. Где вы слыхали, где читали, про кого, чтобы вам раскрывали, допустим, их настроения, болезни? Извините. Не положено... Значит, есть тому основания.

О чем он? Моя беда другая — слишком стеснялся! стыда много, вот и вылез голодным из-за стола. Разве это вопросы? Косыгин и без моих вопросов сам себя за язык держал. Сам себе не доверяет. У него никто ни в чем не виноват, не было ни столкновений, ни промахов, миллион ленинградцев погибли, и все было безупречно. Кроме фашистов, никто ни в чем не виноват. Нам с Адамовичем говорили: стоит ли ворошить, важно, что город отстояли, не в цене дело, победителей не судят, виновных искать — правых потерять, и всякое такое. Мы так надеялись на Косыгина, а он чужие грехи стал прикрывать. Зачем? К чему было то и дело приписывать свои заслуги Военному совету, предупреждать, чтобы не упоминалось лишний раз его имя. Неужели неизвестно, что литература имеет дело с человеком, а не с организациями. Какая тут к черту скромность, все кругами, в обход, на цыпочках, как бы не задеть, не дай бог, не испугнуть летучих мышей и ту нечисть, которую навображали себе...

Тут Б-ов не вытерпел, вскинулся. Будь я в его министерском кабинете, он бы грохнул по столу: «Молчать!» Выставил бы меня. Но тут, на площади, стола нет, чтобы грохнуть, и выставить некуда. Заругался — писатель называется, насочиняют с три короба, а разобратся в живой душе — кишка тонка.

Чего разбираться, когда и так ясно — не посмел вступить за нашу книгу! Да какая она наша, она — голоса погибших, память всех блокадников, свою собственную славу предал, так чиновно оттолкнул — не по моей части! Трепетный порядок зато соблюд...

— ...Речи слышать, а сердца не учуять, мыслитель, мать вашу за ногу! — прервал Б-ов и первый спохватился, что мы перешли на крик, оглянулся на окна Кремля, крепко взял меня под руку, потащил поскорее с площади. Выйдя на улицу Горького и сменив гнев в своем голосе на смиренное терпение, Б-ов осведомился: неужели я и впрямь не понял, что к чему? Допустим, *пошли бы* мне навстречу, *похлопотали бы* за нашу книгу, то есть за книгу, где будут воспоминания, которые я выслушал. Допустим. Однако, как известно, сейчас вышла книга с другими воспоминаниями. Про Малую землю. Там расписаны героическая оборона, лишения, пример политработы, пример руководителя. Книгу изучают, по радио читают, по телевидению, на иностранные языки переводят, ваши писатели хвалят ее взахлеб. Она сегодня Главная книга. Вслед за ней вторая часть вышла — «Возрождение», то же самое. И тут на всех, как с крыши, свалится другой воспоминатель. Здравствуйте пожалуйста, объявился, вот и я. У меня тоже эпопея, да какая! И размах, и заслуга, и достоверность — сортом выше, душой краше. Это как, по-вашему, — приятно будет? Сразу же выяснят и преподнесут хлопоты за «Блокадную книгу» как личный интерес. Старался, пробивал, мол, чтобы опубликовать в пику, чтобы принизить. Конкуренция, подножка, вызов — истолкуют подлейшим образом. Найдутся охотники, лизунов полно.

— Фактически это знаете как выглядело? Как будто вы сталкивали, как будто вы требовали противопоставить! — с некоторым даже ужасом заключил он.

Я вдруг увидел по-новому наш разговор — глазами их обоих. Физиономия у меня, надо полагать, стала озадаченная, а может, идиотская. Кто бы мог подумать, что за всем этим стояло? Вот, значит, в чем разгадка. Довольно просто и убедительно. Да, нехорошо получилось. Я смотрел вниз, на затоптанный асфальт, где дружно шагали наши ноги.

— Так что неизвестно, кто кому должен предъявлять, — сказал Б-ов, дожимая меня. Ясно ли мне теперь, что встречаться было вообще-то некстати. Потому и тянули. И все-таки не убоялись, пошли на это. Настоящая смелость ума требует. Другой оценил бы: кремень-характер. И как в кремне огонь не виден, так в человеке этом душа.

Передаю лишь общий смысл его торжествующей нотации, ибо ловкое косноязычие его, со вздохами, меж-

дометиями, миганием, позволяло обходиться без имен. Ни Брежнева, ни других он не называл, вместо Косыгина употреблял множественное число третьего лица — они.

— Ладно, не унывай,— отходчиво сказал Б-ов.— Наука будет.

— Ох, и большая у вас наука,— сказал я.— Далеко видите.

Здорово они вычисляют наперед, телескопы у них, локаторы, предвидят каждый ход и что в ответ может быть, все варианты продумывают. Поднаторели. Провидцы... Злость неудержимо подступала ко мне, потому что эти два с лишним года я жил среди отчаяния и голодухи блокадной памяти, среди рассказов, смешанных с рыданиями, там не было места расчетам, хитри не хитри, не выкроишь себе ни лишней корочки, ни тарелки бурды. Если только не украдешь, не обездолишь кого-то. Откуда брали они мужество жить по совести?

— Знаете, чего они боялись? Расчеловечиться боялись!— сказал я.— Вы же были там, вам смерть была нипочем...

— Все относительно,— сказал Б-ов.

— Нет, не все... Если кому персонально обязан Ленинград, так это Жукову и Косыгину. Он бы мог держать себя...

Б-ов остановился и так посмотрел на меня, что я заткнулся.

— Больно вы лихой... И вообще... Лучше до поры до времени помалкивать о посещении.— Взгляд его был сердечен и заботлив.

Мы помалкивали.

Но все равно главу с рассказом Косыгина в «Блокадную книгу» не пропустили. Б-ов всячески пытался нам помочь и не смог. Ничего нам толком не поясняли, никакие вычерки их не удовлетворяли, нельзя — и все. Косыгин в эти месяцы болел, не мог вмешаться. Так мы с Адамовичем уверяли себя и других, ждали, тянули.

...А вскоре Косыгин умер. Главу нам пришлось переделать, прямую речь убрать, превратить рассказ в набор сведений, неизвестно от кого полученных. Из «Блокадной книги» удалили немало дорогих нам мест, кое-что удалось отстоять. Но были потери особо чувствительные, и эта глава — одна из них. Раз уж мы не могли

обличить виновных, то хотелось отдать должное человеку, который в тех условиях сумел наладить эвакуацию и спасти тысячи и тысячи ленинградцев. Не позволили. А может, и хорошо, что Косыгин не увидел свой рассказ в таком изуродованном, безликом виде.

Прошли годы. Изъятую, запретную главу, за которую мы столько боролись, можно было восстановить. Но что-то с ней произошло. В ней явственно проступили пятна, подчистки, то есть умолчания, невнятная скороговорка, все то, что я пытался обойти, то, что творилось во время разговора. Фальшивая интонация временами непереносимо резала слух, тем более рядом с безыскусными рассказами блокадников. Дело было не только в Косыгине, написанное мною, автором, зачерствело, обнаружилось, что я сам не добиваюсь ясных ответов, веду себя скованно, *не смею*. От этого и сухость. Главное же, не понять было моего отношения к собеседнику — то осуждаю его, то чту.

Глава, которая казалась нам такой доблестной, честной, ныне обличала нас. И меня, и моего собеседника. Я видел перед собой его сцепленные пальцы, пасмурное наше прощание, как он стоял, опустив руки, сжатый, точно связанный. Что-то сместилось в моем восприятии, как бывает с лучом света, он ломается, переходя в другую среду. Может, все дело было в том, что мы перешли в другое время. Вдруг, почти физически, я ощутил в себе этот перелом-переход, и счастливый, и болезненный...

Порой мне кажется, что, если бы Косыгин знал в тот вечер, как скоро он умрет, или знал бы, как скоро кончится то время, он чувствовал бы себя свободнее, говорил бы не так, не было бы этой оглядки. Грустно, конечно, если только такое знание может освободить нас.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Клавдия Вилор	6
Молодая война	
Смерть интенданта	80
Молоко на траве	85
Солдат на КП	92
Пленные	98
Наш комбат	110
Дом на Фонтанке	125
Еще заметен след	170
Зубр	250
Выбор цели	535
Запретная глава	630

Гранин Д.

**Г 77 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3: Зубр: Повести
и рассказы.— Л.: Худож. лит., 1989.— 656 с.
ISBN-5-280-00863-X (Т. 3)
ISBN 5-280-00860-5**

Том содержит повести «Зубр», «Наш комбат», «Клавдия Вилор» и другие, а также цикл рассказов «Молодая война» и «Запретная глава».

**Г 4702010201-066 подписное
 028(01)-89**

ББК 84.Р7

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРАНИН

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ
ТОМ ТРЕТИЙ**

Редактор **Т. М е л ь н и к о в а**

Художественный редактор **В. Л у ж и н**

Технический редактор **Н. Л и т в и н а**

Корректоры **А. Б о р и с е н к о в а, Г. Щ е г о л е в а**

ИБ № 5271

Сдано в набор 31.08.88. Подписано в печать 17 05.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 34,44. Усл. кр.-отт. 34,86. Уч.-изд. л. 36,47. Тираж 100 000 экз. Изд. № ЛПН-233. Заказ № 1726. Цена 2 р. 80 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомиздате СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

